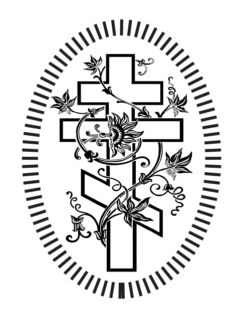
ИВАН ЗАБЕЛИН

ДОМАШНИЙ БЫТ РУССКИХ ЦАРИЦ В XVI И XVII СТОЛЕТИЯХ

Русская этнография



РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Серия главных книг самых выдающихся русских этнографов и знатоков народного быта, языка и фольклора, заложивших основы отечественного народоведения. Книги отражают главные вехи в развитии русского образа жизни – понятий, обычаев, труда, быта, жилища, одежды – воплощенного в материальных памятниках, искусстве, праве, языке и фольклоре:

Ярослав Мудрый
Нестор Летописец
Владимир Мономах
Русская Правда
Нил Сорский
Иосиф Волоцкий
Иван Грозный
Стоглав
Домострой
Соборное Уложение
Азадовский М. К.
Аничков Е. В.
Антоновский М. И.
Анучин Д. Н.
Афанасьев А. Н.
Барсов Е. В.
Батюшков П. Н.
Безсонов П. А.
Бодянский О. М.
Болотов А. Т.
Будилович А. С.
Бурцев А. Е.
Буслаев Ф. И.
Веселовский А. Н.
Гальковский Н. М.
Гильфердинг А. Ф.
Глинка Г.
Громыко М. М.
Даль В. И.
Державин Н. С.
Драгоманов М. П.
Ермолов А. П.
Ефименко А. Я.
Ефименко П. С.
Забелин И. Е.
Забылин М.
Зеленин Д. К.
Кайсаров А. С.
Калачов Н. В.
Калинский И. П.
Киреевский П. В.
Коринфский А. А.
Костомаров Н. И.
Кулиш П. А.
Ламанский В. И.
Максимов С. В.
Максимович М. А.
Мельников П. И.
Метлинский А. Л.
Миллер В. Ф.
Миллер О. Ф.
Надеждин Н. И.
Пассек В. В.
Потебня А. А.
Пропп В. Я.
Прыжов И. Г.
Риттих А. Ф.
Ровинский Д. А.
Рыбников П. Н.
Садовников Д. Н.
Сахаров И. П.
Снегирев И. М.
Срезневский И. И.
Сумцов Н. Ф.
Терещенко А. В.
Толстой Н. И.
Фаминцын А. С.
Флоринский Т. Д.
Худяков И. А.
Чулков М. Д.
Шангина И. И.
Шейн П. В.
Шергин Б. В.
Якушкин Е. И.
Якушкин П. И.

ИВАН ЗАБЕЛИН

ДОМАШНИЙ БЫТ РУССКИХ ЦАРИЦ В XVI И XVII СТОЛЕТИЯХ

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2014

УДК 930.95
ББК 63.3(2)
З 12

Забелин И. Е.

З 12 Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2014. — 704 с.

В настоящем издании публикуется книга выдающегося русского историка и знатока народного быта Ивана Егоровича Забелина (1820–1908) «Домашний быт русских цариц».

Основное внимание в своих трудах Забелин уделял домашнему быту русского народа, изучение которого, по его мнению, позволяет понять истоки национального своеобразия русской культуры, национального характера, национального самосознания.

«Домашний быт человека, – писал Забелин, – есть среда, в которой лежат зародыши и зачатки всех великих событий его истории, зародыши и зачатки всех т. н. великих событий его развития и всевозможных явлений его жизни – общественной, политической и государственной».

ISBN 978-5-4261-0057-2

ГЛАВА I
ЖЕНСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В ДОПЕТРОВСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Общие черты положения женской личности в допетровском обществе. — Суждение Котошихина и суждения исследователей-идилликов. — Коренное начало древнерусского общества. — Родовой быт. — Идиллия семейно-общинного быта. — Смысл рода и смысл общины. — Родовая идея есть идея родительской воли-опеки. — Достоинством личности было «отечество». — Местничество и вече суть выражения древнерусской общественности. — Существенный ее характер. — Родовая идея — воспитательница русской личности. — Домострой — школа личного развития. — В чем полагалась самостоятельность личности. — Основные черты характера русской личности. — Господарство воли и детство воли. — Общая характеристика допетровского общества.

Котошихин в известном своем сочинении «О России в царствование Алексея Михайловича» рассказывает, что когда были московские послы на свадьбе у польского короля, то правили посольство и подносили свадебные дары от царя и от царицы особо королю и особо королеве. Править посольство значило исполнять его самолично пред лицом потентата. Желая в той же мере отблагодарить московского царя, и польский король посылал к царю своих послов и велел посольство править и дары подносить от себя и от королевы царю и царице, тоже каждому особо – так, как делали наши послы в Польше. Этого, конечно, требовало обычное вежество, обыкновенный этикет во взаимных сношениях двух государей. Но, справив посольство и поднеся дары царю, польские послы *по московскому обычаю* не

были допущены к царице. «А к царице посольства править и ее видеть не допустили, – говорит Котошихин, –а отговорилися тем: назвали царицу больною; а она в то время была здорова. И слушал у послов посольства, т. е. обычные речи, и дары за царицу принимал царь сам». Точно то же случилось с английским послом, приезжавшим к царю с дарами по такому же поводу в 1663 г.

«Для чего так творят?» – вопрошает Котошихин, желая открыть иноземцам, для которых он писал свое сочинение, истинные причины этого обычая, и делая с этою целью сей достопамятный ответ.

«Для того, – отвечает он, – что московского государства *женский пол грамоте неученые*, и не обычай тому есть, а *породным разумом простоваты, и на отговоры несмышлены и стыдливы: понеже от младенческих лет до замужества своего у отцов своих живут в тайных покоях, и опричь самых ближних родственных, чужие люди, никто их, и они людей видети не могут*. И потому можно дознаться, от чего б им быти гораздо *разумными и смелыми*. Так же как и замуж выдут, и их потому ж люди видают мало. И только б царь в то время учинил так, что польским послом велел быть у царицы своей на посольстве; а она бы, выслушав посольства, собою ответа не учинила б никакого, и от того пришло б самому царю в стыд»[1].

Настоящий случай, почему царица не вышла принять посольство, Котошихин объясняет не совсем верно, ибо править посольство иноземным послам прямо пред лицом царицы строго воспрещал стародавний обычай. Послы не могли видеть царицу не потому, что царь боялся стыда от ее несмышленых и стыдливых отговоров, а потому, что хоромы царицы были совсем недоступны не только для иноземных послов, но и для своего народа, даже для боярства и всего двора, за исключением самых близких ей людей, обыкновенно близких ее родственников или самых

[1] *Котошихин Г. К.* О России в царствование Алексея Михайловича. – С. 44.

доверенных слуг двора. Но, неверно объясняя частный случай, Котошихин очень верно и вполне обстоятельно изображает вообще положение женской личности в нашем старом обществе, рисует действительность, над постепенным созиданием которой усердно работали целые века и целый ряд поколений. Короткими словами, но очень живо он рисует вместе с тем и характеристику самого общества, ибо характеристика женской личности всегда служит вполне верным изображением самого общества. Напрасно мы будем отвергать суровую, быть может, слишком жесткую правду этого отзыва, приводя в доказательство некоторые имена, заявившие своею жизнью и умственную, и нравственную самостоятельность женской личности; напрасно мы будем смягчать простую и, может быть, оттого слишком грубую и резкую силу этих неподкупных слов, указывая на некоторые идиллии, в которых выражались, иногда даже очень благодушно, семейные и общественные отношения женской личности и которые, сказать по правде, в той красоте, какая им приписывается, существуют только в воображении добрых защитников всего доброго и нравственного по форме. Ни одиночное какое-либо имя, т. е. личность, которая всегда может при известных обстоятельствах жизни выдвинуть себя из общего течения, даже с особенною славою; ни благодушная какая-либо идиллия, которая точно так же *бывает*, как и все, и всегда бывает и случается в человеческой жизни, словом сказать: никакие частные и потому случайные явления не в состоянии заслонить от нас в этих словах настоящий свет жизненной правды, настоящий свет действительной, а не воображаемой жизни. Отзыв Котошихина оправдывается не какими-либо исключительными одиночными явлениями, а всем строем допетровского русского быта, общим положением и умоначертанием тогдашней жизни, всею нравственною стихиею общества. Некоторые исторические явления, некоторые юридические определения,

придававшие женщине самостоятельный смысл, не могут колебать самой основы старых воззрений. Такие личности, как, например, Софья Витовтовна – литовка, Софья Фоминишна – гречанка, Елена Васильевна Глинская – тоже иноземка, которые, как известно, пользовались некоторою долею женской свободы, по крайней мере, иногда принимали лично иноземных послов и не прятались в своих хоромах, когда обстоятельства требовали их участия в подобных церемониях[1]; такие личности, как иноземки, ничего не могут объяснять в отношении общей характеристики. Некоторая доля самостоятельности принадлежала им отчасти потому, что они были *чужие*, что личность их, по их иноземству и по высокому значению их рода, сама собою уже приобретала в глазах русского общества особенное, независимое положение, которое ни в каком случае не могло равнять их со *своими*, а потому и освобождало некоторые их поступки от привычных ограничений женского быта. Но воспитанные в обычаях, дававших больший простор женской личности, они, однако ж, в московском дворце должны были жить так, как повелось исстари, т. е. должны были подчиниться тем понятиям и порядкам жизни, какие повсеместно господствовали в русской земле. А эти понятия почитали весьма *зазорным* всякое обстоятельство, где женская личность приобретала какой-либо общественный смысл. Эти понятия признавали ее свободу, и то в известной мере, в одних лишь семейных отношениях и в положениях исключительно семейного общежития. Как скоро общежитие принимало какую-либо форму общественности и из домашней, семейной сферы переходило в сферу

[1] Контарини рассказывает между прочим, что при его отъезде из Москвы Великий князь Иван Васильевич пожелал, чтоб посол представился Великой княгине Софье, «что и было мною исполнено с приличными приветствиями и поклонами. Великая княгиня обошлась со мною весьма вежливо и ласково и убедительно просила поклониться от нее светлейшей нашей республике (Венецианской). После сего я распростился с нею и возвратился в свое жилище». Подобные приемы впоследствии были уже немыслимы.

жизни публичной, тогда и обнаруживалось, что женская личность не имеет здесь своего места, что без особенного *зазора* в публичном общежитии она не может становиться рядом с личностью мужчины. Известная выработка идей и представлений в этом направлении привела вообще к тому, что женская личность своим появлением в обществе нарушала как бы целомудрие публичного общежития, не говоря уже о том, что собственное ее целомудрие при таком подвиге в глазах века погибало окончательно. Одному мужчине исключительно принадлежали интересы общественности. Он один обладал правом жить в обществе, жить общественно. Женщине оставалась обязанность жить дома, жить семейно, быть человеком исключительно домашним и в существенном смысле быть вместе с домом и домочадцами только орудием, средством для жизни общественного человека – мужчины.

В одном только случае самостоятельность женщины являлась законною и неоспоримою – в том случае, когда она становилась главою дома; а это могло произойти лишь при том обстоятельстве, когда, по смерти мужа, она оставалась *матерою* вдовою, т. е. вдовою – матерью сыновей. И мы видим, что *матерая* вдова в древнем русском обществе играет в некоторых отношениях мужскую роль; мы видим, что тип этой личности приобретает сильные самостоятельные черты и в общественной жизни, и в исторических событиях, а следовательно, и в народной поэзии, в былинах и песнях. Она пользуется и значительными юридическими правами.

Но матерая вдова все-таки была явлением случайным, в некотором смысле исключительным. Личность ее никак не может служить мерою самостоятельности женской личности вообще. Матерая вдова являлась случайным представителем дома, семьи, которая стояла уже, так сказать, на материке, т. е. на корню, ибо сыновья всегда придавали семье именно это значение корня. Вдова бездетная, у которой не оставалось под ногами материка или корня, у кото-

рой со смертью мужа разрушалась и семья, такая вдова, по убеждению века, равнялась в своем значении с сиротою и в древнейший период нашей истории вместе с сиротами, убогими, калеками и прочими и всеми беззащитными личностями поступала под покровительство Церкви, причислялась к людям церковным, *богадельным*, т. е. к людям, забота об участи которых была делом *Божьим*, потому что не была делом общественным. Вот почему вдова без сына почитает себя тоже сиротою. Одно это может уже свидетельствовать, что личность женщины не имела ни малейшей *общественной* самостоятельности и как скоро выделялась из семьи, где только и сохраняла известную долю самостоятельности, то теряла и эту малую долю самостоятельного значения и приравнивалась ко всем сиротствующим, совершенно беззащитным в общественном смысле, так что по необходимости переходила под опеку Церкви, подававшей ей руку вместо общества, которое отрицало в женском достоинстве всякий смысл личности, имевшей какие-либо общественные, а не семейные, только домашние права.

Идиллики истории очень серьезно и с подобающею ученостью, с ссылками на летописи и другие источники, с выписками подлинных текстов, доказывают, что, например, «красота жены ценилась»: Святослав женит сына Ярополка на пленнице гречанке «красоты ради лица ее»; Ольга удивляет красотой лица греческого императора; что жена имела право на часть мужнина имения; что все заботы о детях возлагались на мать; что попечения и заботы, которые употребляла мать при воспитании детей своих, давали ей в народном воззрении неоспоримое право на уважение последних; что тесная связь матери с детьми не могла не оказывать влияния на последних: характер матери явственно отражался и в детях; что девушку не стесняли в ее действиях (следуют доказательства и подтверждения о том, как девицы постригались в монахини); что дочь девица имела участие во всех событиях своей семьи; что,

покидая семью родительскую при выходе замуж, девушка, однако, не прерывала связи с нею; что воспитанная в общем кругу родной семьи, одинаково согретая любовью отца и матери, русская женщина этого времени (до монголов), являясь женою, стоит нравственно на одном уровне с мужем. В этом лежит объяснение тех отношений, которые возникают между ними. Подружье – название жены в книжном языке, ладой зовет жена мужа в языке народном. Равна жена мужу в законе: кто убьет жену – тот же суд, как за мужа. (Здесь, однако ж, закон, Русская Правда, говорит вообще об убийстве женщины, а не о жене мужа.) Любите жену свою, учит детей хороший отец (Владимир Мономах, который тотчас же и прибавляет другое поученье, пропускаемое автором: *но не дайте им над собою власти*, что, собственно, значит: властвуйте над ними). Жена стоит рядом с мужем, живет с ним одною жизнью, разделяя радость и горе, сопутствуя ему всюду, участвуя в самых сокровенных его думах. Муж видит в ней лучшего друга, спутника жизни, поверяет ей все; что где бы ни был муж, мысль о жене не покидает его; что жена была не стеснена в своей жизни, могла действовать свободно (доказательства: Верхуслава ведет переписку с епископом Симоном, принимает большое участие в монахе Поликарпе, желая устроить его где-либо епископом, – вот и все); что жена могла иметь свою собственную землю, села; жена независимо от мужа могла иметь свою казну и т. д.[1]

Подобные идиллические заключения носятся в сознании многих изыскателей нашей старины; но, в сущности, они обнаруживают только какое-то странное сомнение во всем том, что составляет существо человека, будет ли он мужчина или женщина, и что никогда не подвергалось спору, в чем ни один рассудительный человек никогда и нигде

[1] Русская женщина в домонгольский период. Историческое исследование Александра Добрякова. – СПб., 1864. – С. 32, 34, 35, 39, 57, 58, 62, 69, 77, 78 и мн. др.

не мог сомневаться. Все выводы, с таким усердием добытые из летописей, житий, грамот и т. д., сводятся к одному, что жена любила мужа, а муж любил жену; что мать любила детей, а дети любили мать; что женщина как член семьи пользовалась семейными правами, пользовалась известными правами как человек вообще и как член семьи в особенности. Кто же мог когда-либо в этом сомневаться? История застает Древнюю Русь именно на той степени исторического развития, когда семья составляет единственный и непосредственный узел народной жизни, когда семья составляет существо, основу народного быта; когда, следовательно, семейные добродетели являются неизбежным последствием, естественным продуктом жизни. Доказывать ученым образом, что муж любил жену, а мать любила детей – все равно что доказывать, что и в старину жили также люди. Не в том дело, имела ли женщина-человек человеческие чувства, находилась ли в человеческих отношениях к отцу, к мужу, к детям; вообще, не в том дело, что именем женщины обозначался человек женского пола; дело в том, пользовался ли женский пол общественными правами наравне с мужским полом, т. е. в равной половине; была ли женская личность самостоятельна в обществе именно этою своею женскою половиною; почиталась ли женская половина необходимою и самостоятельною половиною не семьи, а самого общества; или же эта половина, в сущности, была только придатком к тому целому, которое выражалось лишь одной личностью мужчины; вообще: была ли женская личность самостоятельна в обществе сама по себе, как личность женщины, или же ее самостоятельность определялась только ее принадлежностью к личности мужской, как, например, значением жены мужа, матери сына и т. п.

Вот вопросы, которые возникают сами собою, когда намереваемся узнать, каково было положение женской личности в допетровской Руси. Мы, одним словом, не должны смешивать понятий и свидетельств о правах женщины как

члена семьи, какие бы ни были эти права, нравственные или юридические, с понятиями и свидетельствами о ее правах как члена общества. Смешение, безразличие этих понятий и производит путаницу в наших представлениях о характере и общественном положении древнерусской женщины.

Само собою разумеется, что в этом случае необходимо прежде всего узнать важнейшее обстоятельство, а именно: признавало ли и могло ли признавать женщину своим членом древнерусское общество; а еще ближе, что такое было, каково было это самое общество, признавало ли оно вообще общественные права личности, почитало ли оно личность общественною единицею, самостоятельным целым, которым держится само общество; ибо самостоятельность женской личности является лишь там, где является самостоятельность человеческой личности вообще, где общество носит в своем сознании, а следовательно, и в своем развитии самую идею личности, идеал человеческого достоинства, независимо ни от каких частных, случайных бытовых его определений.

Очень понятно, что русское допетровское общество в своем взгляде на достоинство женской личности не могло стоять выше тех убеждений, которые господствовали вообще в средневековом европейском обществе, которые господствуют во всяком обществе младенчествующем. Точно так же, как и везде, на равной степени общественного развития, русское общество определяло нравственные и общественные права женской личности ветхим и по преимуществу восточным сознанием, что лицо женщины, каково бы ни было ее положение, не есть половина, а есть все-таки в отношении мужчины – величина меньшая; что женщина сравнительно с мужчиною есть малолеток, недоросль, член общества несовершеннолетний. Сама женская природа способствовала развитию такого убеждения.

В первую эпоху человеческой жизни в понятиях и представлениях человека господствовал и управлял всею

его деятельностью идеал богатыря, т. е. идеал собственной физической силы человека. В то время физическая сила была первою необходимостью для человека, а следовательно, первым, самым высшим, почти исключительным его достоинством. В то время по естественным причинам человек везде в своей деятельности должен был богатырствовать, богатырски завоевывать себе положение и побеждать природу больше силою плеча, чем силою ума. Богатырство было исходным началом его жизни, оно же стало и высшим его идеалом. Под влиянием этого-то идеала и созидались постепенно все первобытные воззрения человека: в его меру он мерил и все свои первоначальные отношения, все положения своей жизни.

Очень понятно, что по физиологическим особенностям своей природы женская личность не могла приравняться к этому идеалу, к этой первозданной и тогда единственной мере человеческого достоинства. Правда, что в богатырский век и она должна была носить в себе некоторые богатырские черты, но вполне сделаться богатырем ей было невозможно. Призванная природою к рождению детей и ко всем тяжким последствиям этого действия природы, каково воспитание или собственно вскормление ребенка и т. д., женщина одним этим действием природы обрекалась уже на страдательную, вполне зависимую роль пред личностью богатыря – мужчины, не говоря уже о том, что самый ее организм, сравнительно слабый и нежный, никогда не мог равнять ее физические силы с силами мужчины. Вот естественная причина, по которой богатырские воззрения первобытного человека очень легко могли воспитать в его сознании мысль о великом различии женского существа от мужского. Различие в физических силах обоих полов было слишком очевидно, а между тем богатырские силы, как мы сказали, были единою мерою человеческого достоинства, единою оценкою достоинства каждой личности. Таким образом, сама природа женщины, вовсе не способная отвечать

своею деятельностью первозданным идеалам человека, указывала женской личности место, которое в отношении ее самостоятельности всегда колебалось, да и до сих пор колеблется между мужчиною и его детьми.

С богатырской точки зрения женщина – существо слабое не только физически, но и нравственно, и умственно. Она отличается детскими чертами. Она даже и создана от кости самого богатыря; она в сущности его ребенок; поэтому зависимость, повиновение – вот ее идеалы, которыми она и воспитывается в течение тысячелетий, т. е. во все то время, когда в быту человеческом должен был господствовать идеал богатырский. Вообще достоинство женской личности на основании этих первозданных идей было возведено в идеал милой жертвы, милой *хоти*, как выразилось «Слово о полку Игоревом». Соответственно этому идеалу ценились и все качества женской личности, вся так называемая женственность, как исключительная сила ее природы, понятая лишь так, как требовал именно этот идеал. В этом идеале и выразился весь жизненный смысл женской доли, весь смысл ее роли общественной, а стало быть, и исторической.

Мы не должны также забывать, что эпоха богатырского идеала была вместе с тем и эпохою идеала родительского, т. е. идеала родительской опеки, по которому всякая почему-либо зависимая личность иначе не представлялась, как в образе малолетства.

Естественно, что навсегда слабая и зависимая женская личность должна была навсегда же сохранить в своем лице образ нескончаемого малолетства, нескончаемого детства, ибо такова была сила первозданных богатырских и патриархальных убеждений человека.

Само собою разумеется, что те же первозданные убеждения и идеалы управляли и нашим бытовым развитием. У нас по причине нашей молодости они сохранились даже с большею свежестью, чем у других европейских народов. Богатырские идеи, как и идеи родительской опеки,

у нас живут еще до сих пор, а в допетровскую эпоху они были в полном цвету.

Идеал родительской опеки был основателем и устроителем всего нашего быта. По этому идеалу создалось наше общество и государство. По этому идеалу наше общество представлялось совокупностью семьи или родни, так что его разряды или ступени, особенно низменные, иначе и не представлялись, как малолетними и постоянно обозначались именами родства, каковы были *отроки, пасынки, детские, молодь*. Самые низменные в общественном смысле именовались *сиротами*, т. е. людьми несчастными в смысле родства, а стало быть, и в общественном смысле, каково было вообще неслужилое земледельческое и промышленное сословие, не обладавшее властным положением в обществе.

По идеалу родительской опеки, не только личность женщины, но и личность мужчины не имела никакого самостоятельного, независимого значения по той причине, что этот идеал вообще не признавал, да и не мог понять самой идеи личности. Он знал только идею рода, идею отчества, т. е. идею принадлежности лица известному отцу или роду, идею полной зависимости лица от своего родства, вообще идею его детства, а не идею его свободы и самостоятельности. Для него независимая личность получала смысл личности *гулящей*, как и назывались вольные люди, которые, так сказать, выпадали из родового круга, т. е. из круга известной зависимости или принадлежности к тому или другому общественному разряду жизни.

Идея родовой зависимости построила по своему образцу и все эти общественные разряды, всякую другую зависимость, все общественные отношения лица, весь общественный наш быт, так что древнерусское общество в существенном и непосредственном смысле есть собственно не *общество*, а *родство*, ибо его общее, его идея заключалась в идее рода, а не в идее независимой личности. Вот

почему и древний наш быт очень основательно называется родовым бытом.

Но, говорят, у нас не было родового быта, а был общинный быт, следовательно, и общественные отношения устраивались по другому, т. е. общинному, началу; следовательно, не только мужчина, но и женщина пользовалась правами личности самостоятельной и независимой, ибо что ж такое община, как не совокупность более или менее обособленных, самостоятельных, равноправных и независимых личностей. Действительно, понятие об общине не допускает иных представлений в отношении устройства общежития, в отношении характера общественности; общее – значит равное для всех; община – значит равенство. В общине, если она служит основою быта, невозможно представить себе какой-либо иной порядок жизненных отношений, как не порядок равенства, равноправности всех частей этого *общего* целого. Все это так. Но одно необходимо помнить, именно: какую силу представляет каждая часть этого общего целого, в чем заключается существенный смысл каждой части; какого свойства эта единица, которая служит основою, корнем всего целого; носит ли в себе эта часть, эта единица, смысл отдельной, обособленной личности, независимой личности человека, самого по себе; или она изображает совсем иное свойство, носит в себе совсем иной смысл, именно: смысл человека не самого по себе, а как представителя или выразителя чего-либо такого, в чем его личность почитается за ничто, не имеет ни малейшего смысла и значения. Община как равенство вообще может вмещать в себе такие составные части, такие единицы, которые хотя, по естественной необходимости, и будут лицами, но вовсе не будут представителями личности. В этом весь вопрос. Наша древняя община была в собственном смысле общиною *родов* или, еще ближе, общиною хозяйств, домов, дворов, а не общиною независимых личностей. Чтобы уяснить себе справедливость такого за-

ключения, мы должны по необходимости остановиться на спорном вопросе о характере и свойствах нашего древнейшего быта. В настоящем случае для нас это необходимо по той причине, что от уяснения этого вопроса вполне зависит уяснение вопроса: что такое было древнерусское общество и каково было положение в нем женской личности?

Люди самых противоположных взглядов на существенный характер нашей допетровской истории будут, вероятно, согласны в том, что в древней русской жизни, домашней и общественной, с особенною силою господствовало и управляло жизнью отдельных лиц патриархальное родительское начало, что оно в значительной степени господствует даже и теперь. Иначе, конечно, и быть не могло, если непреложна та истина, что русская земля расплодилась по преимуществу первобытною силою нарождения, если *род* был непосредственным деятелем в образовании народной массы, если на самом деле он был растительною органическою клеточкою, основою строения каждого племени и всего народа, если, наконец, сама *община* являлась только совокупностью этих родовых клеточек, совокупностью не отдельных лиц, а отдельных хозяйств или дворов, в которых замкнулись отдельные роды или семьи. Мы пользуемся таким уподоблением, предполагая яснее и нагляднее представить отношение так называемого родового быта к быту так называемому общинному.

Такой естественный, почти физический ход народной жизни существовал везде. В других странах он еще в незапамятные времена подвергся различным колебаниям и сторонним влияниям и потому очень рано утратил свой первобытный облик, не оставив по себе слишком заметных следов. У нас, в нашей истории, в нашей жизни, сравнительно очень молодой, наоборот, такие следы можно наблюдать даже в настоящую минуту.

Родовой быт как жизненное историческое начало для многих является предметом ошибочной, даже нелепой, и к

тому еще немецкой теории, а потому нередко предметом голословных отрицаний и даже остроумных шуток. Нам кажется, что отрицатели и порицатели родового быта ведут спор собственно о словах. Они упрекают противников в неопределенности будто бы понятий, заключающихся в словах *родовой, патриархальный*, и стараются определить эти слова, как говорится, научно, т. е. исключительно книжным путем, более в духе грамматическом, чем историческом, более грамматическим именно смыслом отрывочных текстов, а не смыслом самой жизни, разлитой в общем составе древних памятников. Оттого они усердно ищут в родовом быте *учреждения*, с одной стороны, – политического, каково, например, государственное устройство, с другой – юридического, в законах и правах, и, конечно, ничего *учрежденного* в этом смысле не находят, вовсе забывая, что родовой быт не есть факт, а есть начало, стихия жизни, которая, как стихия, входит во все факты, проницает их, дает им свою окраску, формирует их, но сама нигде в особое учреждение не воплощается. Самое прилагательное *родовой* обозначает только стихийное качество быта и вовсе не указывает какую-либо учрежденную, т. е. законченную его форму. Точно так же и существительное *род* вовсе не обозначает какого-либо учреждения, т. е. искусственной какой-либо формы, выработанной развитием общества. Это, напротив, непосредственная, естественная форма человеческой жизни, произведенная стихийною силою рождения. Если же эта форма становится нормою, стихиею не только для домашних, но и для общественных отношений народа, то, замечая повсюду ее присутствие, исследователь с полною основательностью может и весь народный быт обозначить именем этой стихии, именем начала, которое движет всем этим бытом.

Однако ж отрицатели этого начала утверждают, что «слово *род* значит собственно *семья* и что поэтому у славян родового быта не было, а была *семья и община*, что Рус-

ская земля есть изначала *наименее патриархальная, наиболее семейная и наиболее общественная* (именно общинная) земля»[1]. По смыслу некоторых летописных и других свидетельств, слово *род* действительно обозначает также и семью, и даже семью в тесном смысле, на чем особенно настаивают защитники *семейной* и общинной теории. Но иначе не могло и быть, потому что семья служит составною частью или же зерном рода; понятие о роде неизбежно заключает в себе и понятие о семье. Семья служит, с одной стороны, под видом старшей семьи его корнем, его основою, а с другой – выражает под видом младших семей его размножение, его разветвление; семья, одним словом, относится к роду как частное понятие к общему. Не мудрено, что в текстах эти понятия очень часто переходят одно в другое, мешаются и доставляют легкую возможность подыскать свидетельства, указывающие на тожество семьи и рода. Но что же из этого выходит? Что именно хотим мы определить, называя народный быт *семейным*? Не слишком ли широко, пространно, не слишком ли обще такое определение? Люди всегда жили, теперь живут и всегда будут жить семейно. Это неизменное условие человеческого быта, которое в отношении характеристики быта у известного народа на известной степени его развития ничего доказывать не может. Словом «семейный» обозначается именно тот тесный, или, вернее, частный смысл жизни, который навсегда останется в быту человечества, какие бы формы и порядки ни принимало его развитие; останется как естественный, физиологический закон жизни. Нам кажется, что, говоря фразу: «Русская земля была наиболее семейная», мы в историческом смысле ровно ничего не обозначаем. Другое дело, если мы, невзирая на обыкновенный жизненный смысл этого слова, создадим собственное понятие о семье, придадим ей свойства и качества, каких она никогда не имела, именно свойства и качества кроткой и мирной славянской домашней об-

[1] Соч. К. С. Аксакова. Ч. I. – С. 92, 93, 124 и др.

щины, и назовем эту общину славянскою семьею в отличие от обыкновенной семьи, от семьи вообще, тогда, конечно, мы откроем действительно характеристические черты в нашем древнем народном быте и по необходимости назовем его *семейным*. Оно отчасти так и случилось с защитниками семейно-общинного быта славян.

Рода у древних славян не было, говорят они, а была *семья*. Семья эта была семья в тесном смысле. В устройстве ее *нет и признака родоначальнического, патриархального характера*. Напротив, мы видим, что *все члены в ней имеют голос в вопросе собственности*. Это назвать родовым устройством невозможно. Если бы общество было построено на основе родового, патриархального быта, так, чтобы в его устройстве находилось отражение этого быта, мы могли бы признать родовой быт основным элементом, существующим в народе (например, в Китае). Но когда пред нами явление совершенно противоположное, когда не только общество, а даже семья построена под влиянием общинного начала, как можем мы тут найти родовой быт? Что же вообще была славянская семья? Она была семья; но как скоро вопрос становится общественным, как, например, вопрос о владении (на землю право имела вся община), то она стороною к этому вопросу становилась сама *общиною*. Как скоро встречается другой общественный вопрос народного совещания – веча, она опять становилась *общиною* и от нее шел представитель: или старший, или избираемый ею (как в «Суде Любуши»). Кто из детей отделялся от *семьи* и жил отдельно, тот уже отрешался от *семьи* и не наследовал ей, – семья сжималась в числе. С другой стороны, она могла расширяться по произволу, могла принимать в свой состав роднившихся с нею и даже посторонних, но в этом случае соединение делалось относительно *хозяйства*; собственность не принадлежала всем принятым (вспомним выморочное наследство), но общим было *пользование имуществом*, во время которого в распоряжениях по имуществу,

естественно, имели голос не только члены самой семьи, но и все те, кого она приняла в состав свой. Раздел же был всегда возможен, ибо постоянно действовала живая, свободная воля. Во всех тех случаях, где семья являлась как община, имели голос не только дети, не только семья собственно, но и другие лица, принятые в семью. Но здесь является вопрос: при таком общинном значении семьи в известных важных случаях, где даже дети имели голос, не подрывается ли ее значение семейное, кровное? Нисколько, продолжает семейная теория. «*Семейное чувство* и *семейный быт* крепки были, крепки теперь и крепки будут у славянских народов, пока они не утратят своей народности. На это доказательств так много – и прошедших, и современных, что мы не считаем нужным на них указывать... *Семейное начало*, конечно, было твердо и в те отдаленные времена, о которых говорим, – и было твердо оно как *начало чисто нравственное*; оно жило в нравственной свободе, в любви, в духе человека: оно было вполне чисто у славян, ибо с ним не связывалась выгода, ибо оно не нуждалось в житейских подпорках. Да и кто мешал *семейной общине* свободно и любовно исполнять волю отца? Из этого *объяснения* видим мы, как свято и нравственно понята была славянская семья, как всякий расчет был удален от святого семейного чувства (!) Чисто нравственная, чисто духовная сила *семейного начала* (каково оно у славян) всего более ручается за существование, глубину и вековечную прочность оного. А *чувство семейное* и *семейное начало*, повторяем, глубоко и неразрывно соединено с существом славянина»[1].

Вот основания тех представлений о древнем нашем быте, по которым этот быт именуется *семейно-общинным* и в которых сосредоточиваются все доказательства и доводы его защитников или отрицателей родового быта. Мы полагаем, что читатель заметит здесь несравненно более теплой любви к идеалу семейной общины у древнего славянина,

---

[1] *Аксаков К. С.* Сочинения.. Ч. I. – С. 92–93; ср. также с. 90 и 91.

чем основательного разъяснения существовавшей некогда живой действительности; несравненно более фантазии и, стало быть, поэзии, чем рассудительной, хотя бы и суровой, прозы, разъясняющей существо дела. А дело это в том, что все, что ни сказано здесь о семье-общине, именно об общинном ее значении и характере, должно относиться прямым и непосредственным образом к понятию не о семье собственно, а о *хозяйстве*, именно о *дворе*; так что если вместо слова *семья* мы поставим слово *двор*, хозяйство, по древнему – *господарство*, то получим совершенно правильное, вполне соответствующее действительности представление о том, что именно намеревалась выяснить общинная теория. Ей необходимо было доказать, что *семья* славянская была не семьею в обыкновенном смысле, а была в сущности необыкновенным явлением, она была *семья-община*. Такому значению семьи вполне соответствует *двор*. Но почему семья, живущая во дворе, приобретает это значение? Потому что существо двора, его корень есть имущество, хозяйство-господарство; а хозяйство-господарство по естественной необходимости ведется, строится, наживается общими, совокупными усилиями, работами и заботами всех, живущих на этом хозяйстве; все, стало быть, вносят свою долю труда в общий оборот хозяйства; все, стало быть, имеют полное право и на свою долю пользования общим хозяйским имуществом. Из того же источника вытекает и относительное равенство голосов в общих делах хозяйства-двора, непререкаемое право *думы*, непререкаемое право *представительства* в общих совещаниях. Однако ж все эти права, в сущности, есть простые, естественные права семьи, по которым обыкновенно выходит, что отец обязан вскормить свое рождение, своих детей, а взрослые дети обязаны помогать отцу-кормителю, чтобы точно так же и самим кормиться от семейного хозяйства; что отец необходимо всегда советуется с возрастными детьми и родичами, а возрастные дети и родичи всегда убеждены, что без их думы и согласия

он никогда ничего не предпримет по общему для всех делу. Все это были и есть непосредственные права рождения. Самая собственность, двор-хозяйство, носила в своем смысле ту же идею кровного союза в ее вещественном проявлении, т. е. общем хозяйстве семьи. Дети, приобретая своим рождением право быть детьми своего отца, вместе с тем приобретали право пользоваться отцовскою, а по крови, стало быть, и своею собственностью; они и делили ее, когда они, как кровь семьи, считали необходимым разойтись в разные стороны и зажить особною, самостоятельною жизнью. Разделялась кровь семьи – разделялась и собственность семьи как вещественное ее выражение.

Мы не думаем, чтобы к идеалу таких отношений могло удобно прилагаться понятие об общине, а тем менее самое слово «община». Собственность, именно двор-хозяйство, придавала семье лишь вид общины. Эта община была только количеством родных лиц, живших на одном хозяйстве. Внутри же в качестве союза этих лиц в духе этой общины жила создавшая ее идея кровного союза. По этой идее и была построена внутренняя домашняя жизнь этой общины. Она в полной силе господствовала внутри каждого двора и ни под каким видом не допускала равенства лиц, там живших, не допускала даже малейшей возможности такого равенства, самой мысли о нем, что с особенною силою и образностью выражалось всегда, например в отношениях женатых братьев, замужних сестер, в отношениях свекрови к невестке, в отношениях золовок к той же невестке и т. п. Во дворе жила семья, следовательно, там жило естественное разделение людей на отцов и детей, на старших и младших по крови. Какая же тут может существовать община, т. е. равенство лиц, прав? Родитель по естественным причинам становился главою и властителем своей семьи; в его руках сосредоточивалась патриархальная опека не только над детьми, над своим рождением, но даже и над матерью этого рождения, значение которой, как мы упоминали, всегда ко-

лебалось между значением главы семейства и значением его рождения, т. е. его детей. Пред его лицом все члены семьи были по самому существу дела малолетними. Не говорим о том, что сила его опеки и власти увеличивалась и развивалась пропорционально бессилию или даже совершенному отсутствию опеки гражданской, в собственном смысле общественной, которую напрасно мы будем воображать в обществе младенчествующем. В таком обществе, каким было и древнерусское, родительская опека заменяет все то, чем обеспечивается свобода и нравственное и имущественное положение личности в современном быту, все эти государственные, правительственные, общественные учреждения и многочисленные гражданские охраны. Очень естественно, что по той же самой причине в древнерусском обществе родительское начало опеки вырастало до размеров, теперь нам мало даже и понятных.

Мы совершенно согласны с утверждением семейно-общинной теории, что древнерусская «семья была семья в тесном смысле», но никак не можем согласиться с другим ее утверждением, что в устройстве этой семьи «нет и признака родоначальнического патриархального характера», что вообще у «древних славян не было рода». Мы, напротив, и там именно, где эта теория видит *семью-общину*, видим только один род, не видим даже и семьи в ее прямом и тесном смысле. Понятие о семейной общине возникло у этой теории из представления о собственности, о дворе-хозяйстве, на котором всегда и жила семья-община. Положим, что хозяйство заводилось и двор строился первоначально одною семьею, в тесном смысле семьею. Но такая семья никогда не оставалась замкнутою в этом тесном смысле; она тотчас разветвлялась и обыкновенно к основному хозяйству сами собою прирастали другие новые семьи: являлась община, пожалуй, но община родных семей, община-*родня*, а в простом смысле являлся *род*. Семья попросту разрасталась в род, т. е. в кровную совокупность старших и младших семей,

выраставших на одном корню. Отец становился уже дедом, прадедом, дети являлись уже внуками, правнуками. Этот новый тип быта, не злоупотребляя словами, мы не ложем называть семьею, а тем менее общиною. Нельзя называть так целую совокупность семей, совокупность *родичей*, детей рода, а не отца только, между которыми возникают счеты и отношения уже не семейные, а именно *родовые*. Самое имущество, двор как корень материального существования семьи приобретает смысл имущества уже не семейного, а родового. Конечно, оно становится *общим* имуществом, но для кого? Лишь для одного кровного родства. Центр тяготения уходит уже к роду, а не остается только в семье. Во дворе, на общем хозяйстве живет уже род, а не семья. В действительности так и было в Древней Руси. Двор именно был средою родового быта, выразителем родового устройства жизни, был экономическим, хозяйственным типом рода[1]. В северной, собственно в Великой Руси и теперь часто встречается, что во дворе живет целый род, а в древнее время этому способствовало множество причин, например самый побор дани с двора, с дыма, от плуга, от рала, следовательно, с хозяйства или тоже с двора, что практически должно было единить родство на одном месте, принуждало жить в одном дворе целым племенем: «Живяху кождо с своим родом». Нельзя же полагать, чтобы наши далекие предки не могли, как говорится, двух пересчитать, т. е. понять, как легче платить дань: с семьи только или с целого рода, когда основою дани была не душа, а хозяйство. Таким образом, выражение летописца «живяху кождо с своим родом» мы почитаем типическим как для целого племени, так и для каждой его первоначальной единицы, т. е. для двора, для единичного хозяйства. В отношении пользования общим, т. е. родовым имуществом, на чем, собственно, и построена семейно-общинная теория, мы скажем, что самым вы-

[1] Ср. превосходную статью г. Кавелина: Мысли и заметки о Русской истории // Вестник Европы. Т. II. – 1866.

разительным типом этого пользования был наш княжеский рюриковский род, для которого русская земля была таким же двором-хозяйством, каким был в собственном смысле двор-хозяйство для тогдашнего крестьянина. Период княжеских междоусобий был, собственно, борьбою за это пользование общим имуществом, в которой именно никак не могли помириться между собою стихии или, пожалуй, взгляды, родовые и семейные; в том состояла и самая борьба. Впоследствии семейные взгляды побороли, а на семейном начале выросла и личность, к чему конечно стремилась вся наша история. Как бы ни было, но назвать княжеский *род* общиною по случаю общего владения и пользования им Русскою землею мы никак не сможем. Переходя к частным типам такого владения и пользования, мы еще меньше имеем возможности обзывать их общинами, ибо в них еще теснее сжималась стихия рода, чему сильно способствовал типический вид собственности, двор-хозяйство. Это хозяйство было общим, родовым; но кто, собственно, властвовал над этим хозяйством, управлял им? В семье управлял и властвовал родитель, и тот же родитель властвовал и над родом. Община – родня как совокупность живых лиц, само собою разумеется, имела в общих делах хозяйства и голос, и права; но это был голос и права детей, членов кровного союза, а не свободных лиц, членов союза общинного. Полагаем, что здесь существует великая разница. Семья, как мы сказали, разрасталась в целый род; она становилась, пожалуй, общиною семей (хотя это общее представляло все один и тот же тип). Существенное же положение ее власти от этого нисколько не изменялось. Напротив, от размножения семьи лицо родителя приобретало еще большее освящение; он уже был не только отец, но и отец отцов, *родо*-начальник; затем все его *рождение* оставалось в тех же естественных отношениях детства, малолетства к *родо*начальнику и в отношениях старшинства и меньшинства между собою, смотря по восходящему или нисходящему

порядку рождения. Никакого равенства членов здесь быть не могло. Равенство или *общее* для всех было то, что все были родня между собою, все имели и голос, и права родни, известные права. О самостоятельной личности здесь нельзя и думать. Здесь лицо не само себя представляло, а являлось представителем известного старшинства или меньшинства по степеням рождения. Самый *родо*-начальник вовсе не был представителем собственного лица, собственной своей личности, а представлял он лишь старшинство рождения. В сущности это был олицетворенный род. Личное начало совсем исчезало в идее рода. Смутное представление об этом именно отношении личности к роду, о господстве чего-то *общего* вместо *личного* и понудило семейно-общинную теорию вообразить здесь вместо рода общину. Теперь очень трудно войти в жизненный смысл понятий рода, в эту родовую идею, трудно представить себе, насколько в самом деле были крепки, совсем неразрывны эти узы рода и родства, вязавшие и путавшие личность на каждом шагу, во всех ее даже малейших нравственных движениях. Требовалось действительное, эпическое богатырство, чтобы вырваться из этих нравственных узилищ. Если б эти узы были только семейные, как дóлжно называть их по уверению отрицателей родового быта, тогда не о чем было бы и толковать. В характеристике быта, как мы заметили, семейные узы ничего не определяют: они в такой же силе существуют и теперь, как существовали за несколько веков и даже тысячелетий. Для личной жизни семейные узы – необходимая нравственная сфера. Личность в них не пропадает, хотя и остается некоторое время пассивною в лице детей. Другое дело – именно узы рода и родства, т. е. распространение смысла и духа непосредственных семейных связей и отношений на множество лиц, составляющих уже не семью, а целый род и в иных случаях – совсем посторонних старшей семье, например в лице зятьев и невесток. Здесь личность совершенно теряется в сплетениях родового старшинства

и меньшинства и, подчиненная счетам этих сплетений, никогда не пользуется самостоятельным, независимым положением. Такую связь людских отношений мы не можем называть только семейною, а тем еще меньше – общинною. Это связь в прямом и точном смысле родовая.

Таким образом, нам кажется, что отрицатели и порицатели родового быта ведут спор только о словах. Они говорят, что рода не было, а была *семья*, что было *семейное чувство*, *семейное начало* (жизни) как начало чисто нравственное, что *семейная община* любовно исполняла волю отца и т. д. Со всеми такими утверждениями мы согласны вполне. Семейное чувство, семейное начало жизни мы почитаем нравственною стихиею древнерусского быта, основою всех его жизненных движений. Мы только, желая вернее и точнее обозначить свойства этого быта, именуем его не семейным, а родовым и в той семье, какую изобразила нам общинная теория, видим род, в семейном чувстве – именно родовое чувство; в семейной общине – родовую общину или общину-родню. Семьею мы именуем семью в тесном, т. е. в ее собственном, прямом смысле, не почитая уместным переносить этот смысл на новый своеобразный порядок жизни, для обозначения которого существует свое, ему именно принадлежащее слово. Род есть семья семей, что, конечно, не одно и то же с семьею в обыкновенном смысле. Оттого род есть в то же время и община с правами известного равенства и представительства, какие всегда неизменно принадлежали родне. Родовое чувство, родовое начало, управлявшее нашим старым бытом, есть в сущности родовая идея, которая была творцом нашего единства, нашей народной силы, творцом всех наших народных добродетелей и всех наших народных напастей – государственных и общественных.

Но была же, однако, община в Древней Руси? Действительно была – и двор, этот неизбежный сосуд родового быта своею внешнею стороною, тою стороною, что он есть соб-

ственность или часть общей земской собственности, является единицею общинного быта. Двор был жилищем для семьи-рода, он же был земским имуществом, частью земли, на которой сидело племя; в этом последнем своем значении он и является единицею новых отношений того же племени, он тянет к общим делам земли.

Сиденье племени на одной земле, владенье угодьями этой земли, общее *тягло* на защиту или в дань, какое неизбежно являлось от сиденья-владенья на той земле, – все это само собою становилось общим делом земли и создавало общинную жизнь.

В общих земских делах кто же должен был принимать участие в общем тягле, как не хозяин земской же единичной собственности, единичного хозяйства, частного, особного сиденья на земле, особного пользования ее угодьями? Двор был выразителем этой особности. А кто был выразителем двора? Конечно, его хозяин, большой. Большим же был отец или *родо*-начальник – и никто другой, т. е. в собственном смысле старший, большой по крови. Так было – и иначе быть не могло. Идея отца или родоначальника не умирала; в одних только ее руках соблюдалась власть во дворе-хозяйстве. Умирало лицо – т. е. отец, но идея была бессмертна: в отца место вступал старший, большой из остававшихся в живых. Этот старший всегда и был выразителем жившего во дворе *рождения*; естественно, что он же всегда был и выразителем двора как особного земского имущества. Но что же, собственно, выражал он в глазах земщины? Для нее выражал он только особное имущество, только двор, в котором жило его рождение своим особным хозяйством. Земская община, это общее сиденье на земле, корнем своих отношений ничего другого не могла признавать, как ту же землю, т. е. недвижимое имущество, иначе – пользование землею. Из этого корня вырастало известное равенство всех членов земщины. То есть каких же членов? Именно частных, особных владельцев земли, какими были

не лица собственно, а дворы-хозяйства. Лицо здесь исчезало в понятии земской собственности, т. к. внутри двора оно исчезало в сплетениях кровной связи. Для земской общины нужен был лишь хозяин – представитель своего особого имущества, но не представитель собственного лица. На особом хозяйстве могла жить одна семья, могли жить несколько семей, целый род со многими домочадцами; но для земской общины все лица, жившие при хозяине, т. е. жившие на особом земском хозяйстве, не имели значения и никакого смысла. Для нее смысл заключался в одном лишь хозяине этого хозяйства или в тесном и непосредственном смысле в самом хозяйстве с его представителем. Таким образом, земская община – было ли то в деревне, в городе, в целой области – являлась в существенном своем смысле общиною хозяйств, а не людей, именно общностью дворов, совокупностью хозяев-домовладык как представителей частных отдельных хозяйств. В ней лицо рассматривалось лишь с имущественной, земской точки зрения, с точки зрения владения землею, сидения на общей земле. Ясно, что здесь не было места для нравственных определений личности, для личности самой по себе, для свободной личности в нравственном ее значении и смысле, а следовательно, не было и нравственного равенства лиц. Здесь существовало одно только имущественное равенство лиц; здесь людей-хозяев равняло лишь имущество, а не нравственное достоинство человека. Здесь не виделось даже пути для выработки *личной* нравственной, а вместе с нею – юридической и политической свободы по той причине, что не личная свобода, а земское имущество составляло здесь почву для действий каждого члена. Здесь наиболее независимое положение, собственно не свободное, а своевольное, личность могла приобрести лишь посредством богатства, посредством большого имущества сравнительно с другими, т. е. в существенном смысле здесь получало наибольшую свободу действий и относительную независимость одно лишь богатое имуще-

ство. Земская община в своем дальнейшем развитии всегда и вырабатывала только аристократию богатства, всегда выделяла несколько богатых, а потому как бы аристократических родов (опять-таки не лиц), которые обыкновенно и заправляли всеми движениями общины, определяли и выражали ход ее истории. Не личность своею нравственною и политическою свободою, своими нравственными и политическими правами давала смысл такой общине, а богач своими имущественными средствами. Имущество было основою и главною целью нашей древней общины, имущество же должно было преобладать в ней и порабощать себе все другие интересы. Оно должно было представлять и всегда представляло *душу* общины. Пластическое доказательство такого именно значения нашей древней общины представляет знаменитая Новгородская община. Никто не станет сомневаться, что развитие Новгорода как общины началось с той же первородной клеточки, какая создавала общину по всей земле, именно с двора-хозяйства, с общины деревенской. Уже в незапамятные для истории времена эта община является политическою силою. Она же и начинает нашу историю призванием варягов. Мы видим, что варяги понадобились именно для того, чтобы побороть зло, которое по неизбежным общинным же причинам народилось в общине. История открывается тем, что жизнью общины владеют и управляют *роды*: «И вста род на род»; что варяги призываются против этого владенья и управленья. Какие же это *роды*? Да те же, которые владеют и управляют новгородской жизнью во всю последующую историю: *передние*, богатые и потому *знатные* роды. История через *шестьсот* лет оканчивается тем, что такие же роды и по таким же причинам призывают нового Рюрика – Московского государя. Что же выработано в 600 лет? Все то же, что и в остальной Русской земле. Выработано вотчинное право, которого различие заключалось лишь в форме его политического представительства. В южной Руси это представительство выра-

жалось в целом княжеском роде; в северо-восточной стало выражаться в одном лице, государе-вотчиннике; в Новгороде оно выражалось в общине-городе; вотчинником был город, который в этом именно смысле и стал потом называть себя также *государем*. В сущности же вотчинником были родовитые, знатные и богатые его дворы. Это повсюду было сверху, а внутри, в глубине жизненных отношений, все оставалось одинаковым. Смерд везде оставался смердом, и везде шла подземная борьба меньших людей с большими. Род как нравственная сила всюду господствовал и пригнетал личность. Свобода личности не была вовсе мыслима ни в вотчине государской, ни в общине народной, хотя бы и новгородской. Вершиною новгородской свободы было своеволие меньшинства (богатых родов) или своеволие большинства (бедных, меньших родов) – вообще своеволие силы. Между этими двумя видами общинной свободы и колебалась вся новгородская история до своего конца. *Уравнителем* таких свободных движений жизни и в народной общине, и у себя в отчине является все тот же Рюрик, государь-вотчинник, представитель *личного* начала, а следовательно, и будущий освободитель *личности*.

В самой Москве, когда она устроилась окончательно в государскую вотчину, мало-помалу стало обнаруживаться то же самовластие больших родов над всею землею, но здесь оно встретило кровавый отпор в лице Грозного, без всякой пощады истреблявшего этот ветхий дух родового своеволия.

Таким образом, наша древняя община ничего не выработала, да и не могла ничего выработать для нравственного и социального освобождения личности. Она ничего не выработала даже и для материального ее освобождения, ибо новгородская община как община имущественная вовсе не мыслила, однако ж, о равенстве, например о равном распределении земской собственности между всеми членами общины. У ней, как и в господарской вотчине, земская соб-

ственность была разделена слишком неравномерно; у ней, как и в господарской вотчине, существовало только равенство прав на землю, т. е. на пользование землею для каждого плательщика даней, а это составляло первозданную стихию русской народной жизни по всей Русской земле. Эта-то стихия и сохранила русский народ от всех исторических и всяких вражеских напастей; она же создала и государство именно как охрану и защиту от тех напастей.

Как бы ни было, но земская община, даже в своем роскошном цвете, в политической своей форме, какою были Новгород, Псков, Вятка, не в силах была высвободить личность и создать для нее равенство прав нравственных и социальных, в чем заключается все существо дела.

Быт народа мы называем *общинным*, желая совсем устранить другое его определение: *родовой* как противоречащее нашему представлению о существе общинной идеи. Но чего же мы ищем в этом определении и что именно хотим в нем обозначить? Народный быт выражает себя и реально, в известных формах, и нереально, одними идеями, которые незаметно им движут, действуют в нем, и которые всегда где-то скрываются от наших глаз; стало быть, и характер народного быта можно определять реальными обозначениями, вернее сказать – *деловыми*, и идеальными, иначе – нравственными. Быт земледельческий, военный, торговый, промышленный, казацкий, охотничий и т. д. – все это будут обозначения реальные, деловые, обозначения *дела*, каким занимается народ. Мы думаем, что и быт общинный есть не более как только общее, как бы материковое обозначение одних лишь реальных, деловых отношений народа. Община вообще – значит связь людей на общем деле; община земская означала связь людей по земле, собственно связь земли – связь народа как земли, т. е. как реальной сущности народных отношений; другого смысла община не могла иметь, ибо зачатком ее было всегда представление о человеке в его имущественном положении. Община выражала

лишь связь имущественных, следовательно, материальных отношений – не более.

Ошибочное представление об общине заключается, по нашему мнению, в том, что ее почитают связью отношений нравственных, о чем она сама, как мы говорили, никогда не думала, да и до сих пор не думает. Между тем при определении бытового начала важны лишь одни отношения нравственные, которые всегда и составляют основной узел народной жизни и управляют ходом ее развития. Народ выражает свой быт многими формами, и одна из таких форм есть община, как есть другая, существующая рядом с нею, – вотчина; как есть третья – семья и т. п.; все это только формы. Но где же идея, общая всему быту, где нравственная сила, управляющая всеми формами, где этот дух, проникающий всякую форму и весь быт вообще? Общий характер народных нравственных связей и отношений должен, по нашему мнению, раскрываться ближе всего в отношениях сожития или *обще*-жития в той сфере, которую мы теперь обозначаем словом *общество*, общественность, т. е. в сфере людских отношений, независимо ни от каких частных, случайных определений и форм быта, обозначающих то или другое положение личности и вовсе не обозначающих основной силы или стихии личных отношений.

Как и на чем построены были отношения общежития – вот существенный вопрос и вот где настоящее место нашим рассуждениям об общем характере народного быта. Потемнение и путаница наших понятий о характере нашего древнего быта происходит главным образом от того, что мы смешиваем идею общины с идеей общества, вообще смешиваем понятия о формах быта с понятиями о его началах.

Фундаментом общины, основным ее камнем было не лицо, не нравственная личность, а известная материальная доля того материального общего, которое как общая выгода связывала людей. Лицо в этом случае было только юридическим представителем своей материальной доли и в суще-

ственном смысле всегда рассматривалось с точки зрения чисто материальной, с точки зрения годности или негодности для выражения того материального целого, которого долю оно изображало. Во владении землею – хороший плательщик или пособник общим земским делам, например защите от врагов и т. п.; в торговле – капитал, в промышленности или в ремесле – уменье; словом сказать, в общине, не исключая никакую дружину, никакую артель, – личность ценилась лишь со стороны прямого пособничества тому делу, которое соединяло людей. Нравственная сфера, как и нравственный смысл лица здесь были в стороне, не были главною, руководящею силою. Лицо здесь имело земский, торговый, промышленный смысл, но не нравственный. Общество, наоборот, всю силу полагает в нравственном смысле человеческой личности. Здесь фундаментом, основным камнем лежит нравственное значение личности. И само собою разумеется, что нравственная постройка общества вполне зависит от того, как понимается это нравственное значение личности, т. е. в чем оно заключается. Известно, что нравы общества с течением времени изменяются, а вместе с ними изменяется и воззрение на нравственный смысл личности. Можно сказать, что каждый век что-либо делает в этом отношении, каждый век вырабатывает какую-либо долю общего сознания о существе нравственной личности человека, т. е. о существе человеческого достоинства. Как же понимал и как сознавал это достоинство наш русский древний век? Каково было наше древнее *общество*, какова была наша древняя общественность, эта действующая нравственная сила народного развития, эта нравственная система или нравственный склад житейских отношений? Какая нравственная сила служила основанием нашему древнему обществу; из какой органической клеточки образовалось русское общество?

Мы уже говорили, что органическою клеточкою нашего допетровского общественного быта был род, что ро-

дительское, патриархальное начало управляло всем ходом нашей допетровской жизни.

Но что же такое было это родительское, патриархальное или родовое начало жизни? Это было начало или *стихия родительской опеки*, стихия *старшей воли*, идеалом которой было родовое старшинство. Это старшинство одно почиталось выше всяких других достоинств человека, оно одно и было главным, начальным достоинством человеческой личности. Родительская опека с идеалом родового старшинства существовали и существуют везде, но не везде они становились стихиею жизни. У нас не только семья и род, что очень естественно и обыкновенно, держались крепко и твердо стихиею родительской опеки, но ею же держалось все общество, ею же строилось наше государство, ею выработалась и эта необычайная государственная плотность и стойкость народа.

Родительская опека была исключительною силою нашего развития. Она проникала всюду и все подчиняла своим воззрениям. Это был наш нравственный и политический бытовой воздух, которым мы жили, дышали в течение всей нашей истории. Это было начало начал нашего развития, такое крепкое начало, по которому русский народ даже и до сих пор понимается и ведется как малолеток, недоросль, требующий на всяком шагу, во всех его жизненных стремлениях и движениях неусыпных забот и попечений родительских.

Самою лучшею и наиболее верною характеристикою основных начал народного быта всегда служит *власть*. Мы не говорим о власти в ее тесном смысле, о власти только политической, государственной, верховной; мы говорим о власти как о стихии народного и именно общественного развития; о власти, которою живет и держится не государственное устройство, а устройство и связь самого общества, о власти, господствующей именно в народном быту.

Власть, как известно, вырабатывается с большим трудом и с великими жертвами. Сама история каждого народа

есть не что иное, как выработка более или менее правильной власти. Свойство и характер власти, действующей в быту народа, обрисовывает свойства и характер самого быта. Для уяснения характера и свойства не политической только, а вообще бытовой власти необходимо выразуметь: как сознает себя в обществе властный человек – не только тогда, когда он становится деятелем власти, но и в том случае, когда он является только членом общества; и потом, как понимает себя в том обществе человек безвластный, зависимый от власти.

Если общество сложилось путем завоевания, следовательно, вообще путем наиболее сильного обособления личности, то понятно, что и характер его власти будет совершенно иной, чем в обществе, которое сложилось путем нарождения. Властные, общественные и личные отношения первого будут стремиться определить себя юридически, разгородят себя, т. е. свои отношения, отчетливо и ясно необходимыми правами и обязанностями, отчего и характер власти выразится определеннее и резче, а потому, быть может, суровее и беспощаднее.

В таком обществе власть развивается и утверждает себя идеею права, идеею закона или, вернее, идеею строгой определенности и разграниченности жизненных отношений. В этом заключается все ее существо. Само собою разумеется, что такое начало власти прямым путем ведет к выработке более точных и более определительных понятий о независимой личности человека, выдвигает *личность* на первый план и в истории, и в повседневных частных делах жизни. По этому пути прошло развитие западных обществ с самой ранней эпохи поставивших личность выше всяких других определений в бытовом положении человека.

Наше древнее общество, как мы упомянули, сложилось путем непосредственного распространения рода, путем непосредственного нарождения, без участия каких-либо пришлых, чуждых ему элементов. Варяжское завое-

вание распустилось в нашем быту, как капля в море, почти не оставив следа. Своеобразная сила нашего быта была так велика, что самая реформа и, можно сказать, революция Петра оказалась во многом совершенно бессильною. Естественно, что характер, существо и свойство нашей русской власти вполне должны были выразить существо самого быта. Существом нашего быта, единственным и вполне непосредственным его источником, единственною и непосредственною его силою был *род*. Поэтому наша древняя власть была власть по преимуществу родовая. Где бы и в какой бы форме она ни возникала, она везде и всегда была властью отеческою со всеми своими свойствами, с одной стороны, с непомерною жестокостью безотчетного произвола, пред лицом которого не могло существовать даже и малейших понятий о каком-либо праве; а с другой – с тою любовною родственностью в отношениях, которая всегда ставила ее в непосредственные, родственные, братские отношения к подвластной среде. Такими свойствами нашей власти и самого быта определяется и особенное своеобразие нашей истории. В западном обществе в основу бытового развития, а следовательно, и в основу бытовой власти легли отношения завоевателей, дружинников или собственно право сильного, следовательно, право личное. Там властные отношения и властный человек всегда, везде и во всем руководились этою основною идеею своей жизни; властный человек всегда и везде понимал себя, чувствовал себя как победитель; подвластный понимал и чувствовал себя как побежденный. Оба чувствовали себя *чужими* друг другу и на этой идее устанавливали свои отношения. Бытовою связью людей руководило там по преимуществу право, закон. У нас, наоборот, всякое движение жизни, всякое бытовое отношение и всю бытовую связь людей одухотворял смысл рода. Все наше общество по духу своей внутренней жизни представляло одну громадную совокупность *родни*, где не было и не могло быть

членов, строго разграниченных своими правами. Поэтому у нас все общественные разряды людей или их отношений, например сословия, сливались, можно сказать, органически в какую-то общую, жизненно цельную массу, так что трудно указать, где, собственно, начинается и где оканчивается тот или другой разряд. Все по своему духу сливалось в один жизненно цельный организм рода. И т. к. род разграничивает людей только по *рождению*, т. е. по лествице физического старшинства, то очевидно, что в этом организме все частицы должны были распределять и различать свои отношения только в меру такого старшинства. Так наши старые предки и понимали себя и разверстывали по этому смыслу все свои бытовые отношения. Старшие, т. е. почему-либо властные, идеализировали себя или свое общественное положение характером отцов, свою власть – характером власти отеческой; младшие, т. е. подвластные в каком бы ни было смысле, идеализировали свое положение характером детей – вообще малолетних, несовершеннолетних. Смысл таких именно, а не других житейских отношений высказывался всюду, во всех крупных и мелких обстоятельствах, во всех частных и общих случаях, с эпическою первозданною наивностью, которая очень наглядно обнаруживала, как еще глубоко и широко лежали в общественной почве корни быта доисторического.

Если западный властный человек в средний век своей истории смотрел везде победителем, завоевателем, смотрел на подвластную среду как на свое завоевание, то наш властный человек даже и до сих пор смотрит отцом-опекуном, смотрит на подвластных или вообще на меньших, подчиненных, как на малолетних, несовершеннолетних, недорослей в общественном смысле и никогда не думает, как думал Петр Великий, что он прежде всего только первый, передовой слуга обществу, а, напротив, всегда убежден, подобно царю Алексею Михайловичу, что для управляемого общества он отец-опекун, что его обязанности к обществу,

равно как и права, суть обязанности и права отеческие, опекунские, а не гражданские. В этом-то заключается все глубокое, коренное различие нашего востока от европейского запада; отсюда и различие истории, культуры, всей жизни со всеми ее понятиями и движениями.

Строгое разграничение прав победителей и побежденных на западе, это отчетливое понимание, чувствование себя чужими друг другу, совершенное отсутствие в бытовых общественных отношениях понятий *родни* поставило тамошнее общество, как говорится, на ножи, но вместе с тем повело к выработке таких же строгих, точных и до мелочей отчетливых определений равноправности и полноправности человеческой личности вообще; повело к учению и практическому водворению идеи о правах человека как человека, независимо от его случайных, т. е. родовых, политических или общественных определений; одним словом, выдвинуло на первый план бытовых отношений достоинство человеческой личности, эту коренную и неизменную силу человеческого развития. К той же цели мы должны были идти иным путем. Родовой дух, управлявший нашим развитием, по свойству и характеру собственного своего начала препятствовал строго и точно распределить или разграничить возникавшие у нас права и бытовые отношения; он сливал все в одну нераздельную массу родства. Личность в строгой определенности своих прав была для него явлением, совершенно не понятным. Он понимал личность только как известное *рождение* – старшее или младшее, но не более как *рождение*. Для него личность служила только выразителем известного рода, отчества. Она определялась только правами родовыми, а не личными.

Державшееся родовым духом наше общество в своем социальном развитии ничего другого не могло и выработать, как одно плотное, жизненно связанное единство. Таким образом, к социальному единству мы шли через *род*,

в то время как западное общество шло к нему же через *личность*. Там община явилась совокупностью независимых друг от друга, равноправных личностей, у нас – совокупностью родни. Там в жизни господствовала идея личности, у нас – идея родни, иначе – идея детской зависимости.

Общество, если обозначим этим словом так называемый *свет*, или по-старому *мир*, т. е. существо и склад людского общежития, людской общительности и общественности, – вверху, как и внизу, во всех своих сферах и видах, основою своих отношений кладет всегда известное достоинство личности, известную *честь* лица, разумея в этом совокупность личных или других каких качеств, наиболее уважаемых и наиболее ценимых в человеке. Словом сказать, всякое общество всегда живет идеалом хорошего человека, понимая и рисуя этот идеал под условием своего развития, своего времени, своего гражданского положения, своих начал жизни. Западная средневековая личность искала такой идеал сама в себе, в своих собственных доблестях, в высоте собственного своего достоинства, ставила целью своих идеализаций самое себя, свою индивидуальность. Рыцарь не потому становился рыцарем, что его посвящали в это звание, а потому именно, что личными качествами и доблестями он вполне достоин был этого посвящения, воплощал собою идеал достойного человека.

У нас, наоборот, идеал хорошего, достойного человека личность искала не в самой себе, а в своем *отечестве*, в своем роде, именно в своем родовом старшинстве. По нашим старым понятиям человек почитался в обществе достойным не потому, что на самом деле высок был своими нравственными или умственными качествами или какими заслугами и доблестями, а прежде и первее всего потому, что высок был своим родовым старшинством, т. е. старшинством своего рода или старшинством в своем роде. По крайней мере так, а не иначе думало об этом общежитие, так понимала личное достоинство наша старая обществен-

ность. Место в обществе человеку указывали его род, его отечество, а не личные таланты или доблести.

Общественное значение личности лучше всего, конечно, характеризуется понятиями о личной чести. Рыцарская честь строго и щекотливо охраняла именно неприкосновенность личности, придавала личности высокий нравственный смысл и всегда была готова поддерживать этот смысл с решимостью Дон Кихота. Честь рыцаря лежала в идее собственного его достоинства. Напротив, честь русской личности лежала в идее достоинства ее рода или ее отечества. Русская боярская честь, т. е. самая развитая и высокая по общественному положению, с таким же донкихотством ставила личность под батоги (палки), кидала в тюрьму, кидала под стол за царским обедом, подвергала ее жестокой царской опале – и все это делала с единым стремлением охранить неприкосновенность своего рода или отечества[1]. Лицо здесь было только средством, орудием для охранения и возвышения представлений о чести рода.

Вообще в нашем обществе *отечество* личности, ее родовое, *кровное* значение почиталось высшим ее достоинством, существенным достоинством вообще человека. На понятиях о таком только достоинстве построилась вся наша старая общественность, которая в существенном смысле была лествицею родового, а по его идеалам – и всякого другого старшинства, так что каждый член ее, на какую бы ступень ни восходил, всегда и везде становился выше одних, младших, и ниже других, старших, по ступеням этой лествицы.

Самым определенным и законченным выражением нашей древней *общественности* служит известное *местничество*, которое напрасно рассматривают с одной только официальной точки зрения, как официальное какое-то

---

[1] Самое слово *честь* родственно со словом *отец* и, без сомнения, от него происходит. Слово *чтить* образовалось из слова *отчить*, относиться к человеку, как к отцу, воздавать человеку уважение отеческое.

учреждение или установление вроде табели о рангах. Официальный характер оно приобрело от официальной или, собственно, служебной среды, в которой стало действовать и которую оно стремилось пересилить, подчинить собственным своим искони вечным уставам и порядкам. Действительно, происхождение местничества скрывается в глубокой древности. В древний период нашей истории оно не обнаруживало своих споров, стычек и, стало быть, не обнаруживало как бы самого существования потому, что в то время оно было господствующею силою общественности, было святынею, неколебимым, неизменным и несомненным жизненным положением, которое оспаривать, с которым бороться не представлялось ни причин, ни случаев. Оно стало обнаруживать свое существование, т. е. свои движения или споры, лишь с той минуты, когда должно было вступить в борьбу с опасным своим противником – с идеею государственности. Оно нам и известно несравненно больше только стороною этой борьбы, т. е. своею отрицательною, а не положительною стороною. Положительную его сторону наука еще до сих пор не успела привести в должный порядок и выяснить.

Когда взамен родовых, кровных определений лица взамен родовых достоинств личности новорожденная государственность поставила служебные ее достоинства, достоинства личной службы государю и его государству; старая общественность никак не могла понять этого нового шага в народном развитии и встретила враждебно эту новину жизни, боролась с нею до последних сил и до последних дней, даже и после того, как местнический устав официально был упразднен.

Само великое самодержавие, истребляя на своем пути все чуждые ему элементы, разрушая победоносно устройство целых и больших общин, упраздняя целые княжества, изводя целые княжеские и боярские роды, не находило, однако ж, достаточно силы обуздывать местнические счеты,

не находило никакой возможности разом покончить с этими счетами и большею частью или подчинялось им, или уклонялось от них, обходя их какими-либо косвенными путями. И это понятно. Легко было победить какой-либо внешний, формальный строй жизни или упразднить значение и даже самое существование целого ее порядка, но совсем было невозможно одною лишь волею разорить бытовой, искони вечный и, можно сказать, стихийный строй народной общественности. Здесь приходилось считаться не с личностями только, не с вольными городами или княжествами и знатными родами, а с нравственным складом народной жизни, который мог уступить не личной воле самодержца, а только нравственному же складу, построенному на других началах.

Достоинство личной службы, внесенное самодержавием в среду общественных отношений, и было таким новым нравственным началом жизни, способным изменить ее ветхую старину. Оно было зародышем той новой организации общественных убеждений и представлений, которая постепенно и последовательно вела к раскрытию и выяснению понятий о человеческом достоинстве вообще, о достоинстве человека как человека, помимо всяких других определений его личности – и родовых, и даже служебных, которые явились на смену этим родовым.

Нам, быть может, скажут, что силы нашей древней общественности лучше всего отыскивать в вече – в этой самой осязательной форме русского древнего общества. Мы и не думаем отрицать такого именно значения нашего веча. Но мы думаем, что местничество как порядок мест – оно-то именно и есть выражение нашего древнего веча, вечевого собрания с внешней его стороны, оно-то и есть его реальная форма, т. е. форма собравшегося общества. Местничество как порядок мест служило выражением собравшейся Государевой Думы, а что такое была Государева Дума XVI и XVII столетий, как не та же дружина, по крайней мере

по форме, если не по духу, ибо дух ее в это время, как мы знаем, отлетел уже навсегда. В истории форма всегда долго переживает свою идею. Дружина, собиравшаяся с князем на Думу, собиралась собственно на вече. Дума и вече – синонимы в смысле совета, совещания. Местнический распорядок мест был формою собравшегося общества дружины, или формою вечевого собрания. Этот распорядок мест не зависел ни от чьей воли, даже и от воли великого самодержца, каков был, например, Иван Грозный, который ничего не мог поделать с такою старою и крепкою формою русского быта. Чтобы разрушить ее, Грозному надо было сделать то, что сделал Петр, т. е. совсем смешать шашки; но в то время Грозный и сам еще не был готов для этого. Распорядок мест в Думе, как мы сказали, не зависел ни от чьей воли; он вполне зависел от самого *устава* жизни, т. е. от устава общественных отношений личности. Местничество и было формою этих общественных отношений лица. Оно и указывало место для личности, когда она являлась в обществе, являлась членом общественного союза.

Мы не знаем ни порядка, ни уставов, как собиралось знаменитое новгородское вече – этот высший тип всенародной, а не дружинной только Думы. Исследователи новгородской старины не дают нам ничего ясного, определительного в этом отношении, отзываясь тем, что нет об этом подробных сведений. Однако ж необходимо знать: собиравшиеся на вече люди, как становились, или как садились, или кто сидел и кто стоял, словом сказать, в каком порядке размещались собравшиеся вечники. Что какой-либо порядок был – в этом нет сомнения, особенно на вечах ежедневных, обыкновенных, а не бунтовых; да и бунтовые веча все-таки были совещанием, Думою, следовательно, не могли же происходить без всякого порядка. Нам кажется, что вечевой порядок, размещение собравшихся вечников-думцев вполне высказывается уставом вечевых решений, а об этом мы имеем весьма положитель-

ное свидетельство еще от XII в. – от эпохи, когда вечевая сила господствовала по всей земле.

«Новгородцы бо изначала и Смолняне и Кыяне и Полочане и вся власти (волости), якоже на думу на веча сходятся, на что же *старейшии* сдумают, на том же пригороди станут... Како нам любо, такоже створим, говорили старые города Ростов и Суздаль о мезинном городе Володимире: он есть пригород наш» (Лавр. 160). Вот основная идея древних вечевых решений.

Если таково было существо вечевых решений, то можно понять, что по его же смыслу строилась и вся форма вечевого собрания, что в Думе на вече первая *честь* должна была принадлежать старейшим; место же служило только выражением, обозначением этой чести. Стало быть, первая честь и первое место по необходимости отдавалось старейшему. Ум века почитал это дело несомненным и неизменным, а потому не являлись и самые счеты о местах, т. е. местничество в его собственном смысле. Они, как сказано, стали являться тогда, когда родовое начало стало разлагаться, когда в него стало вторгаться личное начало слуги государева, из которого потом народился и слуга государству, каким и был первым Петр Первый. Убеждение века тотчас же само разрешало сомнительные в этом отношении случаи, что мы и видим в том же Новгороде: в 1211 г. посадник Твердислав уступает свое место по своей воле *старейшему себя* Дмитру Якуничу, пришедшему тогда из (Киевской) Руси[1]. Если все это было так, то вече и по духу своих совещаний и решений, и по форме людских отношений походило на собравшуюся *родню*, которая советуется о семейном деле. Это была община хозяев, разумевших себя больше родными, чем независимыми друга от друга и юридически определенными личностями.

Оттого такая неопределенность, неясность вечевых отношений, оттого не существует ни в летописях, ни в ак-

[1] Полное собрание русских летописей. Т. III. – С. 31.

тах никаких подробностей о вечевом порядке жизни. Оттого новгородская душа не любит закона, связывающего деятельность, как замечает г. Костомаров (т. 2, с. 147). Незачем было определять то, что искони было определено и существовало как стихия жизни, было для всех ясно, всем известно и понятно, как Божий день. Житейские отношения *родни* определяются сами собою и не требуют себе в помощь юридических каких-либо обозначений лица. Незачем было определять людские отношения, давать им закон и порядок, ибо они определялись сами собою, т. е. силою родовой идеи, в них господствовавшей.

Итак, наше старое общежитие в своих отношениях и даже в своих формах строилось и руководилось родовою идеею, идеею родства; наше старое общество в существе своем значило то, что значит слово «родня»: дух нашей старой общественности был дух родства, а не общества, ибо идея общества, идея общественная живет и развивается равенством лиц, равенством прав, равенством достоинств; напротив, родовая идея живет и развивается понятиями старшинства, следовательно, понятиями неравенства, местничества, вообще понятиями достоинств родовых, а не личных, видовых. В ней господствует одно лишь, так сказать, физическое равенство, равенство природы, т. е. равенство родни, которое и производит для наших теперешних глаз оптический обман, именно в рассуждении равенства общественного, социального. Древнее право представительства, право веча, право Думы суть одно естественное право родни, по которому она непреложно должна участвовать в общих делах своего рода. Самое вече по форме и по смыслу своих отправлений служило полным выражением этого права. На вече все делалось и совершалось как-то неопределенно, неправомерно, как-то по-родственному, по-братски, полюбовно, а в сущности все делалось и совершалось подчинением разуму к воле старейших: что старейшии сдумают, на том и пригороды, т. е. молодшие, станут.

Вот почему и Земские Соборы XVI и XVII вв. являются в полном смысле только совещаниями родни, не нося в своих формах ничего определительного, законного, правомерного, такими совещаниями, где с полною откровенностью родственника возможно было высказывать все что угодно: резко обличать существующую неправду; прямо, открыто указывать злоупотребления и вместе с тем заявлять свои исключительно эгоистические интересы, вовсе не помышляя об интересах общих; говорить обо всем и ничего не решать в уверенности, что решение само собою явится мыслию и волею старейшей власти. Таков был смысл и характер нашего народного представительства в течение всего древнего периода нашей истории и на вечах, и на Соборах, и на мирских сходках: «что старейшии сдумают, на том и меньшии станут». Для меньших решать дела согласно своему мнению существовало только одно право – право своей воли, которое разумеется всегда и утверждалось усобицею.

* * *

Мы рассматривали отношения родовой идеи к обществу и общественности и старались объяснять, что дух нашего древнего общества и общественности был дух родовой власти и опеки, что эта власть и опека была начальною, господствующею стихиею русской жизни вообще. Нам необходимо остановиться теперь на действиях этого духа в личной жизни наших предков: раскрыть по возможности, как его силами и влиянием воспитывалась и вырабатывалась для жизни русская личность.

Подобно тому, как древняя наша общественность нашла себе типическое выражение в местничестве, так и родовая власть, строившая эту общественность, вполне и типически выразила себя в известном Домострое. Это памятник неоценимого значения для нашей истории, это цвет

и плод, с одной стороны, писаного учения, которое как раз пришлось в рост и в меру нашему непосредственному бытовому развитию, нашим непосредственно созданным своенародным и своеобразным идеалам жизни; с другой стороны, это цвет и плод искони вечных нравственных и хозяйственных уставов нашего быта. Домострой и есть зерцало, в котором мы наглядно можем изучать и раскрывать все, так сказать, подземные силы нашей исторической жизни. Это зерцало нашего древнего домашнего быта, зерцало нашего допетровского развития, зерцало общества и общественности. Пред этим зерцалом, т. е. под его сильнейшим влиянием, совершилась постройка и нашего государства, которое в своем существе и до сих пор еще носит много тех же начал и тех же положений и определений жизни, какими исполнен этот многовековой источник нашего развития.

Известно, что Домострой написан или, вернее и точнее, записан, собран в порядок в половине XVI в. благовещенским попом Сильвестром – новгородцем по происхождению. Дело, конечно, не в том, кто его записал, т. е. кто собрал в одно место живые и писаные учения, существовавшие испокон века, «како строити дом» и весь свой быт: священник Сильвестр или другой кто – это все равно. Составитель был только редактором этого памятника, и если бы он что и прибавил свое, личное, то это свое так было обще для всех, что нет никакой возможности его указать. Здесь выражалась не личность, а все общество, почему и собирателем кодекса явился именно священник, как личность в полном смысле общественная. Поучение и наказание «како жити христианом», из которого возродился и развил свои положения Домострой, искони было прямым делом духовных отцов, иначе назвать – духовников народа. Священник-духовник, особенно в первое время, был единственным, исключительным источником учения и наказания; к нему обращались со всеми житейскими недоразумениями, со всеми вопросами, какие только внуша-

лись благочестивою мыслью, как устроить свое спасение и эту временную погибельную жизнь. Оттого духовный отец становится как бы членом семьи и притом самым почетным членом. Естественно, что весь нравственный строй дома опирался на его поучение, естественно, что и сочинение писаного нравственного устава домашней жизни являлось его прямою обязанностью, исполнение которой для мирского человека – и по учению Церкви, и по разумению века – было бы даже предосудительно, ибо поучать и наказывать духовно мог только посвященный. С первых самых времен по принятии христовой веры духовные отцы уже упражнялись в составлении небольших учительных *слов* с упомянутым заглавием, или с другим заглавием: *поучение избрано от всех книг*. Эти слова и поучения сказывались в церквах, распространялись в списках, наполняли особые сборники писаний: Златоструи, Златоусты, Измарагды и т. п., служившие всегда настольными книгами в каждом доме, желавшем учения и назидания. Почти все такие *слова* были заимствованы у отцов Церкви, переведены, или переделаны, или же составлены *выбором* (избрано от всех книг) целых фраз и речений, пригодных для назидательной дели. В этом отношении Домострой представляет для нас новый интерес: он является цветом нашей старой книжной образованности, именно ее поучительной стихии; он является, так сказать, цветом ее общих мест, общих фраз. В сущности, весь он есть общее место нравственной и хозяйской жизни.

Мы имели случай указать заимствования Домостроя по преимуществу из слов Иоанна Златоуста[1]. Но не дóлжно думать, что такие заимствования были простыми непосредственными выписками из книг. Напротив, тексты, внесенные в Домострой, иногда целиком, слово в слово, были заученными, ходячими речами, присловьями в устах ду-

[1] Извлечения из книги *Златоуст* // Архив Историко-юридических сведений, издаваемый Н. Калачовым. Кн. 2. – М., 1854.

ховных учителей. Они усваивались непрестанным чтением и употреблением на всякий пригодный случай; они по необходимости точно и верно заучивались, ибо в том заключалась и цель книжного ученья. Таким образом, если требовалось составить или сказать какое-либо поучение, то не только слова, но и целые речи из запаса памяти являлись сами собою, так что все дело списателя подобных поучений заключалось лишь в известном расположении этих памятных текстов соответственно его мысли и намерению. Можно вообще заметить, что все старые наши поучения, наказания, слова русского *сочинения* составлялись этим путем. Оттого в каждом из них легко встретить те или другие выражения из поучений отцов Церкви не как приводимый текст, а как бы собственную речь составителя, его заученные словеса, о которых он вовсе и не думает, что это словеса чужих текстов; оттого так редко встречаем мы в подобных литературных памятниках *свои слова*, ибо к тому же говорить своими словами значило низводить писание с его священной высоты и самое поучение и наставление людей обращать в простую пошлую беседу о вседневных нуждах. Особый склад и самый звук церковного слова должен был действовать, как и теперь действует, на души поучаемых с тою торжественностью чувства, которая всегда составляла существо религиозного учения и которая поэтому всегда требовала неизменности и неприкосновенности церковного слова. Таким образом, Домострой по естественным причинам явился, как мы упомянули, цветом и соком общих мест церковного учения, направленного к нравственному устройству дома. Это в литературном смысле. В практическом, жизненном смысле он явился точно так же цветом и соком, таким же общим местом русской нравственности, возделанной в течение веков на почве Писания и на почве искони вечных бытовых идеалов.

Состав Домостроя – все это поучение и наказание «отец духовных ко всем православным христианам» – вы-

разился главным образом в пяти отделах: «1) како веровати; 2) как царя чтити и вообще светскую власть; 3) как чтити святительский и вообще духовный чин или духовную власть; 4) како жити в миру или наказ о мирском строении и 5) хозяйственный, экономический наказ о домовном строении».

Кто же является центром всех этих поучений? К кому, собственно, обращается Домострой со своим наказательным словом, кого он почитает твердою опорою для своих назиданий, с кем он, собственно, ведет речь? Кто этот *ты*, кто этот *сам*, к которому Домострой относит свои речи во втором лице, в то время как назидание остальных он выражает преимущественно и почти везде в третьем лице, а если иногда и во втором, то собирательно – как к детям, к домочадцам? Кто этот *сосуд избран*, который должен не себя одного нести к Богу, но многих, сознавая этих многих как собственную влагу, сохраняя эту влагу наученьем и наказанием, любовью и грозою, чтоб донести ее до угодного Богу назначения, в целости наибольшего нравственного совершенства?

Домострой именует этот сосуд *государем* дома, также *настоящим*, *большим*, прилагая ему, как нераздельную с ним почву для его нравственной деятельности, жену, чад и домочадцев. Стало быть, в существенном смысле Домострой признает самостоятельною лишь одну личность родителя со значением главы дома, т. е. со значением государя или господаря – хозяина и нравственно, и имущественно большого или настоящего в доме или во дворе. Мы уже упоминали, что таково именно было понятие древнего века вообще о достоинстве личности. Все другие лица дома служили как бы необходимою обстановкой, необходимым придатком этой *настоящей* личности.

Младенчествующее общество очень высоко ставило личность родителя как основную силу родовой власти, которая служила прямым и ближайшим органом и для власти

общественной. Вот почему и писаное учение возвысило эту власть в лице родителя до последней крайности. В одном из кратких и древнейших наших домостроев (поучение избрано от всех книг) оно заповедует: «Родителя ж, аще кто имать, да чтить яко Бога[1], теми бо познахом свет сей; поклоняйтеся им за утра и вечер, на ложа идя. Аще бо человек чтит родителя своя, то весь закон свершил есть. И тогда сын *свободен* есть, егда спрячет кости родителя своея». Таким образом, самостоятельное значение сына возможно было только по смерти родителя.

Непомерно возвышая и освящая в лице родителя домашнюю власть, писаное учение вместе с тем возлагало на главу дома и великую нравственную обязанность строить и охранять нравы дома, великую нравственную ответственность во всем, что бы ни совершилось в доме не только со стороны собственных чад, но со стороны и всех чад дома, всех работающих дому. Глава дома нес великую ответственность пред Богом за это нравственное тело, называемое домом. Глава дома в действительности иначе и не сознавал своих отношений к домашней своей среде. Дом в своем нравственном составе был нераздельным целым, был на самом деле одним нравственным телом, все члены которого были исполнены сознания, что они лишь служебные члены и что всему начало в этом теле глава – домовладыка, государь этого господарства.

Тот же древний домострой поучает: «Рабы водите в наказании, с тихостью учаще добрым беспорочным, и чтя их, да негде мистять у притчи. Аще ли не послушают, то раны разумеючи, дати, яко и те Божия создание суть, но вам даны суть Богом на службу... а что суть у вас рабы и рабыня, Богом даны вам на службу, теми паки достойно печися вам и душами их, от зла возбраняти им и на покаяние приводити: а к Церкви принужати, *вы бо есте игумени домов своих*; аще

[1] Пословицы: «Шануй батька та Бога – буде тобі всюди дорога»; «Отец – як Бог». Украинські приказки, прислівья и таке инше. Спорудив М. Номис.

ли кто без покаяния умрет у вас или не крещен, то вам ответ дати за душу ту пред Богом»[1].

Другой, столько же, если не более древний Домострой поучает так: «Чада моя милая! Еще вы глаголю: челядь свою кормите, якоже до сыти им, одевайте, обувайте. Аще ли не кормите, ни обуваете, а холопа твоего убьют у татбы или робу, то за кровь его тобе отвещати. Тем же набдите *сироты* своя во всем, и учите и на крещение и на покаяние и на весь закон Божий. *Ты бо еси, яко и апостол дому своему*, кажи (казни) грозою и ласкою. Аще не учишь, то ответ въздаси за то пред Богом. И Авраам бо научи своих домочадец 300 и 18 всему добру закону и добру норову. Страх бо Божий приимше, не опечалят на старость тебе. Аще ли тебе не послушают ни мало, то лозы на ны не щади, якоже Премудрость Божия глаголет до 4 или 6 ран, или за 12 ран. Аще ли раб и рабыни не слушает и по твоей воли не ходит, то загода (пригодно) лозы нань не щадити до 6 ран и до 12. Аще ли велика вина, то и 20 ран. Аще ли велми велика вина, то 30 ран лозою, а более 30 ран не велим. Да аще тако кажете и (наказываете их) и добре одеваеши и кормиши, то благ дар приимеши от Бога»[2].

Эти поучения по всем признакам принадлежат к ранней эпохе нашего Христианства, быть может, к XI и, по крайней мере, к XII в., т. е. вообще к эпохе дотатарской. Само собою разумеется, что начинающаяся Церковь вместе с начинающимся обществом иначе не могла определить и устроить отношения домашней семейной общины, которая и в народном сознании, и в сознании самой Церкви вся сливалась в лице своего домовладыки. Но причины, почему домовладыка должен был становиться игумном, апостолом дому своему, существовали и в последующие века; поэтому Домострой XVI в. развивает это учение как несомненный и непререкаемый догмат нравственной жизни общества. Он

1 Книга глаголения Златоуст, неделя 34, поучение избрано от всех книг.

2 Москвитянин. – 1851. – № 6. – С. 128.

отделяет для этого учения особый «*Наказ* о мирском строении, как жити православным христианом в миру с женами и с детьми и с домочадцы и их наказывати и учити и страхом спасати и грозою претити и во всяких делах беречи, душевных и телесных, чистым быти, и *во всем самому стражу над ними быти* и о них пещися, аки о своих удех», утверждая жизненное, практическое значение и смысл этого наказа таким рассуждением: «Господу рекшу: будете оба в плоть едину. Апостолу рекшу: аще страждет един уд, то все уды с ним страждут. Також и *ты*, не о себе едином пецыся, но о жене и о детях своих и о прочих и о последних домачадцех – вси бо есмы связани единою верою к Богу: и с добрым сим прилежанием имей любовь ко всем в Бозе живущим и око сердечное взирающе к Богу и будеши *сосуд избран*, не себе единого несый к Богу, но многи, и услышиши добрый рабе и верный: буди в радости Господа Бога своего».

На этом-то наказе построена вся нравственная практическая философия нашего древнего века. Этот наказ составляет, так сказать, душу, основу и всех поучений Домостроя; он присутствует в нем повсюду, почти во всякой строке, где только дело касается поучения и назидания.

Написав *память* о том, «как избную порядню устроити хорошо и чисто», Домострой назидает государыню-хозяйку: «Всего того и всякой порядни жена (чтоб) смотрила и учила б слуг и детей добром и лихом: не имет слово, – ино ударить. И увидит муж, что не порядливо у жены и у слуг... инобы умел свою жену наказывати всяким рассужением, и учити. Аще внимает – любити и жаловати. Аще жена по тому научению и наказанию не живет... и слуг не учит, ино достоит мужу жена своя наказывати и ползовати страхом на едине; и понаказав и пожаловати и примолвити... И слуги и дети также, посмотря по вине и по делу, наказывати и раны возлагати; да, наказав, пожаловати.... А только жены или сына или дщери, слово или наказание не имет, не слушает и не внимает и не боитца, и не творит того, как муж

или отец или мати учит, – ино плетью постегать, по вине смотря. А побить не перед людьми, на едине: поучити да примолвити и пожаловати; а никакоже не гневатися – ни жене на мужа, ни мужу на жену. А про всяку вину по уху, ни по виденью не бити, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть; никаким железным или деревянным не бить: кто с сердца или с кручины так бьет, – многи притчи от того бывают: слепота и глухота, и руку и ногу вывихнут, и перст; и главоболие и зубная болезнь; а у беременных жен и детей повреждение бывает во утробе. А плетью с наказанием бережно бити: и разумно и больно и страшно и здорово. А только велика вина и кручиновато дело, и за великое и за страшное ослушание и небрежение, ино соймя рубашку плеткою вежливенько побить, за руки держа; по вине смотря, да, поучив, примолвити; а гнев бы не был; а люди бы того не ведали и не слыхали, жалоба бы о том не была... а не кается и не плачется о грехе своем и о вине, то уже наказание жестоко надобеть, что бы был виноватый в вине, а правый – в правде; а всякому греху покаяние... а поклонны головы и меч не сечет, а покорно слово кости не ломит»[1].

Домострой закрепляет свой наказ следующим обращением к мужу или главе дома: «Аще муж *сам* того не творит, что в сей памяти писано, и жены не учит, ни слуг своих, и дом свой не по Бозе строит, и о своей душе не радит, и людей своих по сему писанию ни учит, и он сам погублен в сем веце и в будущем и дом свой погубит и прочих с собою. Ащели добрый муж о своем спасение радит, и жену и чад своих наказует, тако же и домочадцев своих всякому страху Божию учит и законному христианскому жительству, якоже есть писано, – и он вкупе со всеми в благоденстве по Бозе жизнь свою препроводит и милость Божию получит».

В другом месте – в «Наказе мужу и жене и людем и детем как лепо быти им», – Домострой укрепляет свое

[1] Так правильнее читается эта пословица в нашем списке Домостроя (XVIII в.). В издании Голохвастова: «Покорно слово кость ломит». – С. 68.

поучение такою же грозою о великой ответственности владыки дома пред Владыкою мира и тем же милованием за доброе выполнение его устава: «Ащели небрежением и нерадением *сам*, или жена мужним ненаказанием согрешит или что зло сотворит, и вси домочадцы, мужи и жены и дети, господаревым (твоим) ненаказанием, каков грех или что зло сотворят, или брань, или татьбу, или блуд: все вкупе по делам своим приимут, зло сотворший – муку вечную, а добросотворшие (иже сущие с тобою вкупе – и которые с тобою вкупе) богоугодно поживше, жизнь вечную наследят в царствии небесном. А себе *больший венец* примеши, понеже не о себе едином попечение имея к Богу, но и сущих с собою введе в жизнь вечную».

Таково было великое и высокое значение господаря дома, такова была великая и страшная его нравственная ответственность пред Богом и именно за свой дом. Он один за всех должен был «ответ дати в день страшного суда», как говорит Домострой в другом месте. Эта священная обязанность и великая ответственность сами собою уже давали владыке дома самые полные, беспрекословные, самые широкие права поступать в доме единственно только по собственной воле, ставить началом всего домашнего нравственного и хозяйственного строя только свою волю. Практическая жизнь главным образом это только хорошо и понимала в учении Домостроя, по той особенно причине, что Домострой ничего определительного не говорит о том, какова должна быть сама эта господарская воля. Он учит ее только не гневаться, исполнять свои наказания сознательно, разумно, с самообладанием, без сердцов, и смягчать их тотчас любовною приветливостью, пожалованием: наказать да и пожаловати, поучить да примолвити. Но этим самым он вполне и обрисовывает существо и свойство господарской воли. Он иначе ее не понимает, как волю родителя, а родительская воля, по его же убеждению, сама себе образец и сама себе наука. В ее отношениях к подвластной среде

никаких определений быть не может. Определения воли должны распространяться только в этой подвластной родителю среде. Вот почему Домострой особенно и настаивает, чтобы господарь жены, чад и домочадцев как возможно заботливее определил их волю.

«Казни сына своего от юности его, и покоит тя на старость твою, и даст красоту души твоей. И не ослабляй бия младенца: аще бо жезлом (лозою) биеши его, не умрет, но здравее будет; ты бо, бия его по телу, а душу его избавляеши от смерти. Дщерь ли имаши, положи на них грозу свою, соблюдеши я от телесных, т. е. грехов.... Любя же сына своего, учащай ему раны, да *последи* о нем возвеселишися.... И не даж ему власти (воли) во юности, но сокруши ему ребра, донележе растет, а ожесточив, не повинет ти ся; и будет ти досаждение, и болезнь души, и тщета домови, погибель имению и укоризна от сусед, и посмех пред враги, пред властели платеж и досада зла».

Очень понятно, что от детей Домострой по заповеди Господней требует повиновения и послушания родителям во всем: «Со страхом раболепно служите им, – заключает он свое наказание, – да и сами от Бога мзду приимете и жизнь вечную наследите, яко совершители его заповеди». Но этот наказ детям, как и самый приведенный выше наказ отцу «како дети учити и страхом спасати», в духе своем, как и на самом деле, распространялся и ко всем живущим под властью домовладыки. Пред его лицом все были детьми, не исключая и их матери или его жены. Домочадцы же, т. е. слуги со всеми своими семьями, стояли ниже степенью и детей господаря, ибо почитались чадами дома, чадами всего господарского семейства. Таким образом, поучение «казни сына своего», как и поучение о повиновении детей, практически относилось ко всякому без исключения члену господарского дома. Оно служило единым основанием домашнего господарского быта. Такое же детское послушание Домострой налагает и на жену: «Жены мужей своих вопро-

шают о всяком благочинии: како душа спасти, *Богу и мужу угодити* и дом свой добре строити; *во всем ему покорятися*, и что муж накажет, то с любовию приимати (и со страхом внимати) и творити по его наказанию.... а повся бы дни у мужа жена спрашивалась и советовала о всяком обиходе, и вспоминала, что надобет. А в гости ходити и к себе звати: ссылаться с кем велит муж». Домострой определяет для жены даже и то, как и о чем с гостьями беседовати. «И то в себе внимати: у которой гостьи услышит добрую пословицу: как *добрые* жены живут и как порядню ведут, и как дом строит, и как дети и служак учат; и *как мужей своих слушают* и как с ними спрашиваются и *как повинуются им во всем*». Равновесия отношений между мужем и женою Домострой и не предчувствует. Доля жены в нравственном смысле есть доля детская. Она, с одной стороны, первый из домочадцев, как первый и ближайший слуга мужа, на обязанности которого лежит весь домашний обиход. С другой стороны, она – старший из детей, правая рука мужа.

Конечно, на самом деле, положение жены могло быть и в действительности бывало лучше, чем то, какое рисуется учением Домостроя. Но лучшим это положение бывало уже по требованиям самой жизни, но никак не по учению Домостроя, которое, напротив, своими освященными, авторитетными речами отдавало жену в полную опеку мужа, следовательно, ставило ее не только в детские, но и в рабские отношения к нему, и все это утверждалось искони вечным уставом доброго и богоугодного жития.

Муж, господарь дома, оставался, таким образом, единым лицом, самостоятельность которого была несомненна и ничем непререкаема. В этой одной только форме личность признавалась самостоятельною и обществом. На этом одном лице утверждался и союз общежития. Это одно лицо было, так сказать, целым, полным лицом. Все остальное имело значение неполноты, неоконченности, вообще значение детства.

Такими-то учениями созидался и укреплялся в народном сознании идеал родовой или родительской власти, что, в сущности, одно и то же. Значение этого идеала в древнерусской жизни, его влияние на народный ум, на все представления народа о житейских отношениях были так сильны и велики, что самая оценка даже исторических событий и подвигов рассматривалась по преимуществу с точки зрения того же идеала. Так, всякое проявление личной или общественной самостоятельности, всякое малейшее движение личной или общественной независимости тотчас же возбуждало нравственное осуждение как порок гордости, самонадеянности, высокоумия. Конечно, это осуждение всегда имело в виду христианский идеал смирения, во имя которого оно и распространяло свои поучения о гордости, но самый идеал смирения мог получить особенный смысл, самый раболепный, только под сильным влиянием библейского идеала родовой власти, которая, как мы видели, смирение, покорение возносила на высоту главнейших добродетелей жизни, и именно для младшей ее среды, для младшей и в домашнем, и в общественном значении.

«Господь бо гордым противится, смиренного Бог любит, а покоренному (покорному) Бог благодать дает...»; «Бог бо не любит высокия мысли нашия, возносящегося смиряет...»; «Всяк возносяйся смирится, а смиряяйся вознесется». Вот учение, которое проходит очень сильною чертою по всей нашей истории и особенно в нашем бытовом развитии. Литература – не только книжная, но и устная, непосредственная, чертит множество образов с целью утвердить эту истину, сделать ее вполне осязательною и очевидною. Летописцы пользуются каждым подходящим событием или подходящим случаем, чтобы напомнить людям крайнюю очевидность этой истины. Пришел князь Ярослав Святополчич на Андрея к городу Владимиру (южному): «Разгордевшю, надеяся на множество вой, и молвяше так Андрееви и горожаном: т. е. град мой; оже ся не отворите не выйдите

с поклоном, то узрите, завтра приступлю к граду и возьму город». Но на разъезде под городом его убивают изменнически свои же два ляха. Итак, «умре Ярослав, один в толикой силе войска, за великую гордость его, понеже не имеяше на Бога надежи, но надеяся на множество вой. Виждь, что преодоле гордость... прочее, дружино и братье, разумейте, по котором есть Бог – по гордом ли или по смиренном». Новгородцы, напр имер, с самого раннего времени прославляются гордыми за то, что крепко держат свою самостоятельность и независимость против княжеских притязаний. Случилось в 1169 г., что войска Андрея Суздальского опустошили Новгородскую область, хотя потом с великим уроном сами были отбиты от Новгорода. Летописец пользуется случаем и рассуждает: «Так сих людей новгородских наказал Бог и смирил их до зела... за гордость их навел на них...».

Вообще именем гордости обозначалось всякое независимое или самостоятельное деяние, где бы оно ни обнаружилось. В этом смысле и московский князь Симеон был прозван *Гордым*.

Приводить новые тексты, в которых с большею или меньшею силою развивается этот идеал смирения, значит, касаться одного из самых любимейших мотивов нашей древней литературы, который проходит как бы основною ее нитью через все века – и не только в книжных, заимствованных, но и в народных, самобытных произведениях. Из последних наилучшим и наиболее пластическим выразителем этого идеала служит известная «Повесть о Горе-Злосчастии», в которой живыми красками изображается *ослушание родительское*, вообще непослушание, непокорение и непоклонение родителям, а в сущности, безнравственное, по тогдашним понятиям, и самонадеянное стремление личности *жить, как себе любо*. Это-то стремление к самостоятельности и независимости приравнивается, и с полным основанием с точки зрения родового идеала, к детской глупости. Повесть описывает жизнь молодца, ото-

рвавшегося от родного корня, в сущности, жизнь личности *гулящей*, и в том смысле, что она сбилась с настоящей дороги, повела себя развратно; и в том смысле, что она хотела жить свободно, самостоятельно, независимо от родительской опеки, ибо, по понятиям века, жить без опеки значило то же, что жить гулящим путем, развратно.

Молодец, захотевший жить, как ему любо, был в то время «мал и глуп; не в полном разуме и не совершен разумом». Только глупый и мог решиться скинуть с себя родительскую опеку, хотя бы и сознавал в себе силу и возможность жить своим разумом. Глупо это было потому, что уму века не представлялось и самой мысли о том, что личность может существовать без опеки. Без опеки она непременно должна погибнуть. Эта идея и составляет главный мотив рассматриваемой «повести». В доказательство своей правды она, эта идея, вначале рисует самостоятельную жизнь доброго молодца завидными красками: он наживает деньги, друзей; честь его, как река течет. «Другове к молодцу прибивалися, род племя причиталися...». Все у него есть, но нет у него главного – нет воли, а из родительской воли – опеки он ушел, стало быть, потерял точку опоры и за это самое и должен быть наказан злою долею. В этом и заключается вся его вина – ослушание родительское. Повесть ничего другого и не думает изобразить, как одно назидание, что вышедший из родительской води молодец всегда падает. Его друг, названый брат, заводит его в избу кабацкую. Не хочется молодцу друга ослушаться; принимается он за питья за пьяные и просыпается обобранным до нитки. В лохмотьях стало срамно молодцу появитися к своему отцу и матери, и к своему роду и племени, и к своим прежним милым друзьям. Пошел он на чужую сторону; попадает на пир к добрым людям, рассказывает свое *ослушанье родительское*: «Ослушался я отца своего и матери, благословенье мне от них миновалося; Господь Бог на меня разгневался... *Отечество мое*

потерялося, храбрость молодецкая от меня миновалася!» Он таким образом теряет свое достоинство; в собственных глазах он становится ничтожным. Он просит добрых людей научить, как жить на чужой стороне, в чужих людях. Добрые люди, т. е. само общество, эта чужая сторона, поучают его так: «Не буди ты спесив на чужой стороне: покорися ты другу и недругу, поклонися ты стару и молоду, будь скромен, нельстив и не лукав, смирение ко всем имей, с кротостью держися истины с правдою... то тебе будет честь и хвала великая...». Таковы требования жизни в обществе, которое иначе не представлялось исполненному родовой идеи уму, как *чужою* стороною.

На чужой стороне стал жить молодец умеючи; от великого разума наживал он живота (богатства) больше старого. Словом сказать, самостоятельность его стала несомненною. Он задумал жениться, срядил честный пир *отечеством* и *вежеством* и на пиру похвастался, что стал совсем независим: «Наживал-де я живота больше старого». А всегда гнило слово похвальное, похвала живет человеку пагуба! За эту похвалу, а в сущности, за сознание своей независимости и свободы, которое, по естественным причинам, личность не могла не высказать, за это ей готовится пагуба, готовится кара в образе Горя-Злосчастия. Подслушало Горе-Злосчастие хвастанье молодецкое, само говорит таково слово: «Не хвались ты, молодец, своим счастием, не хвастай своим богатством; бывали люди у меня, Горя, и мудрее тебя и досужее, и я их, Горе, перемудрило: учинися им злосчастие великое; до смерти со мною боролися; во злом злосчастии позорилися».

Вот судьба, ожидавшая всякую личность, которая высвобождалась из родовой опеки, которая отрывалась от родового корня, которая теряла свое отечество. Это судьба ребенка-сироты, брошенного на произвол случайностей. Так личность и понималась нашим древним веком, когда она устремлялась жить, как себе любо. Индивидуальной

жизни, индивидуальных стремлений вовсе не существовало в его сознании. Жизнь *родом*, а не личностью, жизнь в круговой зависимости и в круговой опеке – это жизнь правильная и счастливая. Жизнь, отделившаяся от своего целого, – естественно, жизнь неправильная, необстоятельная; жизнь Горя-Злосчастия, которого «гнездо и вотчина в бражниках». В действительности так большею частью и бывало. Оторвавшаяся от родного союза личность, разумеется, очень редко могла выдержать борьбу со случайностями самостоятельного житья-бытья, ибо выходила она на эту борьбу в самом деле глупым, малым ребенком, т. е. с ребяческим воспитанием своей воли. Поэтому Горе-Злосчастие и становится олицетворением личной свободы человека, живущего на своих ногах, без всякой опеки. Образ Горя-Злосчастия есть образ свободной личности, начертанный нравственным учением века в назидание молодому поколению. От этой кары никуда нельзя было уйти. Горе-Злосчастие неизменно приводило молодца к бражничеству, соблазняло его безответственною жизнью нагих-босых и преследовало его всюду.

Проживший молодец идет в чужу дальну сторону, встречает на пути реку, а за перевоз заплатить нечего. С тоски и с голоду он хочет лучше в реке утопиться.

«Полощи мое тело, быстра река! Ино ежьте, рыбы, мое тело белое! Ино лутчи мне жития сего позорного! Уйду ли я у горя злосчастного!» Но воскликнуло Горе: «Стой ты, молодец, меня, Горя, не уйдешь никуды! А в горе жить – некручинну быть, а кручинну в горе погинути! Спамятуй, молодец, житие свое первое: и как тебе отец говорил, и как тебе мати наказывала; очем тогда ты их не послушал? Не захотел ты им покоритися, постыдился им поклонитися, а хотел ты жити, как тебе любо... а кто родителей своих (на добро) учения не слушает, того выучу я, Горе злосчастное». Покорился молодец Горю нечистому, поклонился Горю до сыры земли.

Покорность и здесь награждается тем, что молодца перевозят даром через реку. Добрые люди напоили, накормили его, сняли с него одежду кабацкую и дали ему платье крестьянское, да и присоветовали ему идти на свою сторону, к своим родителям, проститься (помириться) с ними, взять от них благословение родительское. «Пошел молодец в свою сторону; но горе наперед зашло, везде его встречает: "Ты стой, не ушел добрый молодец! Не на час я к тебе Горе злосчастное привязалося...". Полетел молодец соколом, полетел сизым голубем, побежал молодец в поле серым волком, стал в поле ковыль-трава, пошел в море рыбою – везде горе готовило ему напасть напрасной смерти. Наконец, оно научает молодца богато жить: убить и ограбить, т. е. сделаться разбойником. Но молодец вспоминает *спасенный* путь и уходит в монастырь постригатися. Горе остается у святых ворот, к молодцу вперед не привяжетца».

В этом подвиге молодца вполне и высказалась даже историческая правда, что единым исключительным прибежищем для индивидуальной жизни был монастырь, к которому по этой причине всегда и стремилась искавшая себе спасения наша допетровская личность.

Хотя мы и видим, что эта назидательная повесть олицетворяет свою кару Горя-Злосчастия как бы исключительно за ослушание родительское, однако необходимо помнить, что отношение родовой опеки к свободе личности никогда иначе и не могло выразить своих положений, как в этой частной форме, которая, в сущности, была общею формою всяческой опеки. Об этом свидетельствует даже и сама повесть: изобразив в начале происхождение и общую характеристику человеческого рода, она обозначает это свое введение к повести общею чертою: таково рождение человеческое «от отца и от матери», т. е. таково происхождение и свойство человеческой природы.

«Ино зло племя человеческо: вначале пошло непокорливо; ко отцову учению зазорчиво; к своей матери непокор-

ливо, и к советному другу обманчиво. А се роди пошли слабы, добрубожливи[1], а на безумие обратилися и учали жить в суете... *А прямое смирение отринули.* И за то на них Господь Бог разгневался; положил их в напасти великия... все *смиряючи* нас, наказуя и приводя нас на спасенный путь».

Таким образом, главным мотивом повести остается все тот же, общий во всей поучительной литературе мотив смирения, покорения, послушания, с отрицанием всякой непокорливости и гордости, именем которой, как мы заметили, обозначалось и все самостоятельное в действиях человеческой личности. В этом отношении повесть о Горе-Злосчастии есть только поэтическое воспроизведение основных учений Домостроя.

* * *

К каким же практическим результатам приводили все эти поучения и наказания, как эта теория являлась в практике, какую личность, с каким характером воспитывал и выпускал на общественную деятельность этот домашний, семейный строй жизни? Иначе сказать: какую личную *волю* приготовлял для общества наш древний Домострой?

Мы видим, что, с одной стороны, в лице старшего он воспитывал, утверждал и освящал самый безграничный произвол, стало быть, полную необузданность воли. С другой стороны, в лице каждого младшего он воспитывал, утверждал и освящал беспрекословное покорение и послушание, безграничное принижение личности, полное детство и раболепство воли. Между этими двумя крайностями мы не видим никакой средины.

Родительская опека, как единая нравственная сила державшая весь строй нашего древнего общества и помимо писанного учения, по естественной причине должна была водворить в умах непреложное убеждение, что *воля стар-*

[1] Добре-убожливы – убоги.

шего есть закон для младших. Это была сама сущность родительской власти, вытекавшая из естественных, непосредственных отношений отца к своим детям. Разумное начало, утверждавшее такие отношения, основывалось на том факте, что физически малолетний в действительности не способен еще руководиться своею незрелою и потому глупою, неразумною волею. Ребенок иначе и не мог обнаруживать свою волю, как только по-детски, неразумно; поэтому разум и воля старшего по необходимости являлись здесь руководителями и опекунами малолетной воли. На этом утверждалось *семейное начало* жизни. Но тот же закон распространялся дальше, шире, когда семья развивалась в целый *род*; а т. к. род представлял, в сущности, только размножившуюся семью, то и начало его жизни и действий оставалось то же. Как умножившаяся семья *род* распространяет семейное начало жизни, родительскую опеку на множество лиц, которые, с его точки зрения, в нисходящей степени все в действительности оказываются малолетними, а потому и неразумными пред восходящею степенью, непременно требующими руководства и опеки. В родовом распорядке лиц физическое старшинство, как мы сказали, приобретает уже смысл старшинства нравственного. Это-то нравственное старшинство при дальнейшем развитии родовых понятий становится господствующею силою племенной, а вслед за нею – и общественной жизни, в которой, по закону такого развития, трудно было народиться представлению о том, что личность носит в себе не родовой, подчиненный, а независимый, особный, единичный, индивидуальный смысл. По родовым понятиям, совершеннолетие личности наставало не вследствие ее физического и нравственного развития, а только вследствие ее родового, а, по его идеалу, и всякого другого старшинства; или, говоря вообще, вследствие старшего, властного положения в обществе, потому что бытовая власть, как мы говорили, была собственно властью отеческою, носила в себе лишь одно существо – существо

родительской опеки. Родич всегда оставался малолетным к восходящей линии своего рода. Он физически вырастал, но нравственно старики все еще почитали его малолетком и не выпускали из своей воли; и такое малолетство могло в известных родовых обстоятельствах продолжаться до его собственной глубокой старости. Это понятно; но менее понятно то, что тот же самый взгляд на существо человеческой личности неизменно господствовал и в общественном сознании, в порядке и складе общественных отношений, во внутреннем, нравственном складе всего нашего древнего житья-бытья. Практический, жизненный смысл отеческой воли заключался, как мы видели, в личном родительском произволе, в той еще до сих пор не умершей и чуть не врожденной нравственной аксиоме: «Мое детище: хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю», – как мыслит еще современный нам родитель и как мыслил XII век в лице старшего города, как мыслил потом дед Грозного – Великий князь Иван Васильевич, сказавший псковичам: «Чи не волен яз в своем внуке и в своих детех? Ино кому хочю, тому дам княженство...».

Очевидно, что такая воля и для малолетних, и особенно для малолетних в общественном смысле, не могла иметь никакого другого смысла, как смысл произвола, смысл простой грубой силы или насилия, смысл обыкновенной физической силы, в какой под видом *ученья* – битья, по преимуществу, и проявлялась эта воля старшего или родительская воля. Но этот произвол в глазах массы освящался не только авторитетом своего происхождения, т. е. происхождения из непререкаемой власти родительской, но и учением Церкви, которая утверждала и распространяла его как единственную силу общественного союза. В убеждениях массы этот произвол, эта воля старшего, построившая по своему идеалу и всю бытовую власть, являлась какою-то первозданною физическою стихиею вроде огня, воды, пред которою по необходимости должна была приникать всякая самостоятельность, а тем более самостоятельность индивидуальной личности.

Малолетний, т. е. ребенок, отрок физически, равно как и ребенок, *отрок* общественно, чувствовал на каждом шагу силу этой воли – стихии, и по необходимости ею одною воспитывался, воспитывал свои понятия и свои стремления. Других начал, других источников для развития и образования собственной воли он не имел. Его со всех сторон охватывала среда произвольных поступков, произвольных действий, которые представляли практическое только выполнение целого нравственного учения об авторитетной воле старших. В этом учении он выяснял себе понятие не о нравственной свободе человека вообще, на чем и должна бы созидаться воля; напротив, он выяснял *себе* твердое убеждение о подчинении такой свободы произволению старших как исключительных, от рода и от века поставленных блюстителей нравственного закона. Он выяснял себе твердое убеждение, что никто не должен иметь воли (свободы) в качестве человеческой личности, а всякий должен обладать ею только в качестве старшего, в качестве отца своим детям и в прямом, и в переносном смысле, т. е. в смысле всякого властного положения в обществе. Воспитанный в родительском произволе, в произволе старших вообще, крепко убежденный, что этот произвол, иначе – родительская и родовая опека – есть священная воля самой нравственности, неколебимая основа нравственной жизни; что этою только одною волею держится не только связь семьи, рода, но и связь всего общества, всей земли. Старый наш предок, вступая в жизнь уже возрастным, более или менее сознательным ее деятелем, ничего не мог принести в нее другого, как те же самые понятия и убеждения, как тот же основной смысл воли вообще и своей в особенности, тот же произвол, который представлял для него единственную и исключительную норму действий и деяний.

Действуя по такому умоначертанию, по такому развитию и складу своего нрава, он не мог в собственном сознании отделить законного от беззаконного в этом отно-

шении, потому что здесь для него ясен был один только закон – воля или произвол старшего, стало быть, *своя воля*, когда он *сам* делался старшим, властным, т. е. свободным и самостоятельным по его понятиям и представлениям. Истинных понятий о нравственной свободе лица не могло существовать в обществе, где родовой дух с такою силою пригнетал, давил личность, т. е. всякую человеческую индивидуальность. Поэтому идея свободы понималась также материально, как и идея воли, и свобода значила собственно освобождение от чужой воли, а следовательно, приобретение своей воли или, в сущности, приобретение нравственной или материальной силы распоряжаться в данных обстоятельствах полным хозяином. Идея самостоятельности, нравственной независимости была нераздельна с идеей самовластия, а еще ближе – с идей самоволия и своеволия. Вот почему мы, люди другого времени и других понятий о законах нравственности, не имеем права слишком строго судить об этом неизмеримом и безграничном *своеволии и самовластии*, которое так широко господствовало в нашем допетровском и петровском обществе, и особенно мало имеем права осуждать за это отдельные, а тем более исторические личности, которые всегда служат только более или менее сильными выразителями идей и положений жизни своего общества.

Своеволие и самовластие в ту эпоху было нравственною свободою человека; в этом крепко и глубоко был убежден весь мир-народ; оно являлось общим, основным складом жизни. Это была общая норма отношений между старшими и младшими, между властными и безвластными, между сильными и бессильными, между независимыми и зависимыми и в физическом, и в нравственном, и в служебном, и в общественном, и в политическом отношениях. Это был нравственный закон жизни, выращенный ею же, самою жизнью, из почвы родового, патриархального быта и отеческих поучений; закон, которому противоречия, от-

рицания являлись только в среде государственных, вообще гражданских, социальных стремлений, постоянно, хотя и не всегда успешно, с ним боровшихся. Нужно было очень много времени для того, чтоб этот закон в борьбе с государственными, т. е. социальными элементами износил свои жизненные начала, сделался дряхлым и ветхим, каким он представляется нашему сознанию только теперь, в начале второго тысячелетия нашей исторической жизни, все еще время от времени давая нам иногда сильно чувствовать, что не совсем угасло его престарелое существование.

* * *

Само собою разумеется, что историк в своих разысканиях и размышлениях о характере многих событий нашей истории и особенно о характере действовавших в этих событиях лиц не мог не заметить, не мог не почувствовать особенной, как бы основной черты, проходящей по всей нашей истории и неизменно появляющейся в каждом сколько-нибудь сильном и наиболее выразительном ее действии, особенно за последние два века перед реформою. Трудно было хорошо выяснить себе эту основную черту, найти ее истинный, жизненный смысл. Тому очень мешали наши взгляды, исполненные западных идей, западных представлений об исторических силах, развивавших тамошние народности. Западными идеями мы по преимуществу измеряли и собственное, историческое развитие; делали ему оценку с точки зрения западных представлений о свободе и рабстве, о праве и государстве, о социальной общине, об обществе и общественности, а главным образом, о свободной и независимой личности. Отсюда: развившееся в Москве самодержавие мы объясняли и до сих еще пор объясняем татарскою идеею, которая будто бы в нем воплотилась и, как самое Батыево иго, беспощадно громила все свободные, самостоятельные учреждения со-

вершенно свободной, будто бы «удельно-вечевой» нашей старины[1]. Западный человек, исполненный идей о правах независимой личности, иначе и не мог смотреть на наше дело, как именно такими глазами. По его взгляду, и мы так поняли основной закон нашей истории и вследствие того подняли нашу семейную и вечевую общину до идеала, какой возможен только в поэзии. Древняя семья-община предстала нам в образе угнетенной невинности; между тем она-то и была первою причиною этой татарской идеи, наилучшею почвою ее воспитания и развития. Самодержавие в своей самовластной форме XVI и XVII вв. явилось роскошным цветом, плодом именно родовой культуры, которая заботливо воспитывала нас с самых первых времен нашей истории. Не зная хорошо самих себя в истории и во всем своем, даже современном быту, мы по неизбежной причине должны были удаляться больше в поэзию, чем идти к здравому, чисто научному исследованию. Мы и теперь все еще идеализируем нашу прошлую жизнь по плану иноземных идей. Однако разработка нашей исторической науки все-таки подвигается вперед, и здравый реализм, который характеризует ее в последнее время, незаметно наводит нас на иные соображения о действующих силах нашей истории.

Сводя счеты всей деятельности и действительности старой Руси до эпохи преобразования, историк никак не мог не почувствовать той основной черты в наших исторических характерах, о которой мы ведем речь.

---

[1] В исторической литературе сильную проповедь в этом направлении держал Н. И. Костомаров. За ним как его отголоски следовали и ученые-изыскатели, и идеалисты-поэты, в том числе граф А. К. Толстой, который, между прочим, писал следующее: «Когда я думаю о красоте нашей Истории до проклятых монголов и *отвратительной Москвы*, которая более позорна, чем они, мне хочется броситься и кататься по земле от отчаяния: что мы сделали с дарами, которые дал нам Бог... Моя ненависть к *Московскому периоду* есть идиосинкразия, и я не подвинчиваю себя, чтобы говорить о нем то, что говорю. Это не тенденция – это я сам» (Письма в «Вестник Европы». – 1895. – Октябрь, ноябрь).

Он должен был заметить ее присутствие повсюду и, следя главным образом за формами жизни, по естественной причине остановился на самой выразительной, законченной, поэтической ее форме, которую создал сам народ. Историк очень верно охарактеризовал эту черту эпическим богатырством. Богатырь, в самом деле, в народных поэтических представлениях является образом самостоятельной, независимой, вполне свободной личности, как рисовал ее себе наш старый век.

Указывая общее направление или общую силу деяний русского человека в XVII столетии, историк говорит: «Быт русского народа до эпохи преобразования вполне выражается в его поэзии; одних ее памятников достаточно для верной общей оценки этого быта... Вслушавшись внимательно в эту длинную и однообразную песню русского народа, которую он заводит от Киева и Царягорода и ведет через Волынь, Галич, Чернигов, Новгород, Москву к Казани, Астрахани и Сибири, мы видим ясно, что это народ, проживший восемь веков в одинаковых исторических условиях. Любимый образ фантазии певцов – это *богатырь – казак*, названия однозначащие. Как в X, так и в XVII в. русский мир был на Украйне; как в X, так и в XVII в. человек, которому было тесно в избе отцовской, у которого *сила по жилочкам живчиком переливалась, которому было грузно от силушки, как от тяжелого бремени*, отправлялся в степь-поле, где ему легко найти, на ком попробовать свою силу молодецкую. Многое переменилось в государственном строе России с X до XVII в., от времен ласкового Киевского князя Владимира до времен великого царя Алексея Михайловича, всея Великия, и Малыя, и Белыя России самодержца, но удальцы по-прежнему шли в степь *поляковать* (от *поле*), на Дону образовалось большое военное братство удалых *поляниц* (опять от *поле*), где каждому богатырю можно было набрать себе дружину и идти на подвиг. Таким образом, для народа была возможность через целый ряд веков петь свою песню

на один лад, потому что содержание ее было живо перед его глазами; богатырь не умирал в казаке, и наши древние богатырские песни в том виде, в каком они дошли до нас, суть песни казацкие, о казаках».

Таким образом, выходит, что допетровское русское общество со стороны общего характера своих подвигов, деяний и былей переживало еще древний, эпический склад быта. Богатырство как известный закон личного характера было исходным началом личной деятельности, личного *деянья*. Понятно, что образом богатырства может быть обрисовано и казачество – весьма видное и в полном смысле эпическое явление нашей истории. Историк распространяет смысл богатырства и на все другие, с виду однородные, явления жизни. Он ставит его общею характеристическою чертою нравственной жизни общества, а следовательно, типическою чертою жизни отдельных лиц. С этою целью он дает нам эпическую характеристику богатыря, рисует вообще *сильного* человека нашей старины: «Молодой человек чувствует тяжкий груз силы», чувствует тоску по степи и говорит матери: «Ай же ты, государыня, моя матушка! Давай же прощеньице- благословленьице: поеду я во далече – далече чисто поле, хочу разгонять бурушка косматого, хочу поразмять своего плеча богатырского, спробовать силы-удали молодецкия. *Долго ли мне жить во глупом, во малом во ребячестве*, ходить мне дома по улице широкия, с ребятами тешиться?». Пока молодой человек не вырвется в чисто-поле, все он будет жить в глупом, малом ребячестве: *от глупого ребячества до возмужалости нет переходного времени образования*! Страшен бывал сильный человек, вырвавшийся прямо из глупого, малого ребячества на *полную волю* в чистое поле и начавший разминать свое плечо богатырское. Песни превосходно изображают нам эту расходившуюся силу, которая не сдерживается ничем; эти поэтические изображения объяснят нам не одно явление не только в древней, но и в новой нашей истории, которая не могла

разом отрешиться от старых условий. Илья Муромец, рассердившись, что его не позвали на пир, стреляет по Божиим церквам, по чудным крестам и отдает золоченые маковки кабацкой голи на пропив, хочет застрелить князя Владимира с княгиней. Когда Василий Буслаев расходился в бою с новгородцами, то не пощадил крестного отца. Мать, чтобы унять расходившегося богатыря, заходит сзади и падает на плеча могучие; богатырь говорит ей: «Ты старушка лукавая, толковая! Умела унять мою силу великую, зайти догадалась позади меня. А ежели б ты зашла впереди меня, то не спустил бы тебе, государыне матушке, убил бы заместо мужика новгородского».

Вот основные черты того характера, который служит типическим выражением нашей допетровской жизни, который управляет этою жизнью во всех ее крупных и мелких делах. Как ярко и живо в этом изображении выясняется нам лик и самого Петра – этого последнего богатыря нашей эпической древности и первого выразителя всех сознательных элементов русской личности! Какое кровное, самое ближайшее родство чувствуется в этих героях, стоящих по ту и по сю сторону нашей исторической жизни! Восемь веков сливаются в один момент и обнаруживают, что это люди не только одного и того же поколения, но даже одной семьи. Историк далее еще больше уясняет нам богатырские черты старинной нашей личности. По поводу автобиографии известного протопопа Аввакума он говорит: «Важность памятника (автобиографии) заключается в том, что он лучше других памятников переносит нас в Россию XVII века, от которой мы отошли так далеко и явления которой мы с таким трудом понимаем, придавая историческим лицам XVII века черты нашего времени, наши воззрения и стремления. Мы имели возможность узнать, что такое был сильный человек в древней России, как силы богатыря мало сдерживались, как они не были устроены и направлены *воспитанием и образованием*, ибо плеть и палка одни не могут содействовать

этому устроению и направлению, как богатырь вырывался из отцовского дома из-под отцовской плети и палки размять плечо богатырское, и что могло тут сдержать его? Сама мать должна была заходить сзади, чтоб унять расходившуюся силу. Подробности жизни Никона много уясняют нам явления этих богатырей среди общества, не выработавшего нравственных сдержек для хаотических богатырских сил. До тех пор, пока мы не перенесемся в XVII век и не взглянем на Никона как на богатыря в патриаршей митре и саккосе, до тех пор это явление останется для нас загадочным, а Никон не перестанет изумлять нас своею *силою* и *бессилием*. В соответствии богатырю-патриарху XVII век выставляет нам богатыря-протопопа, вследствие несдержанной *силы* ставшего заклятым врагом Никона и расколоучителем. Аввакум в драгоценном житии своем является не один, но окруженный целою дружиною подобных ему богатырей, которые расходились в защиту двуперстного сложения и двойной аллилуйи и *не могли найти себе удержу*; тут же близко познакомимся с особого рода богатырями – юродивыми, которым так же грузно от *силушки*, как от тяжелого бремени, и которые освобождаются от этого бремени тем, что ходят в лютые морозы босиком в одной рубашке: толпа, видя проявление такой *силы*, вполне верит и подвигам Ильи Муромца и Добрыни Никитича, как рассказываются они в сказке и поются в песне».

«В житии Аввакума встречаем мы и старых своих знакомых, воевод, таких охотников давать чувствовать свою силу, встречаем и Сибирских воевод, этих русских Кортесов и Пизарро, которые ходят на приискы новых землиц и которые совершенно разнуздались в далекой стране среди диких зверей и диких людей. Наконец, встречаемся и с дикою силой толпы, которая так легко выражается в насилии».

Итак, вот смысл того богатырства, которым по преимуществу характеризуются эпоха и люди. Это, стало быть, богатырство дикой, первозданной силы, неустроенной и

необразованной воспитанием, богатырство необузданной или разнузданной воли, от которой самому богатырю становится *грузно*, как от тяжелого бремени, – это богатырство первозданного своеволия и самовластия. Конечно, богатырство в этом распространении своего смысла и значения теряет уже свой истинный, поэтический тип, весьма определенно и законченно выразившийся в народном эпосе. В отношении исторической действительности оно является натяжкою, едва не карикатурою. В народном эпосе значение и даже происхождение этих богатырских сил очень понятно – там это не более как эпическое олицетворение сил народного духа, олицетворение сил и направлений всей жизни народа. Но перенося эпический смысл богатырства на мелкие и крупные дела людей XVII в., в среду ежедневной действительности, мы уже имеем дело не с поэтическою правдою, а с правдою историческою, с *нравственным* историческим началом жизни, и по необходимости должны вопросить: откуда это начало, где его корень? Историк не отвечает на этот вопрос; он даже и не ставит такого вопроса, полагая, вероятно, что для уяснения дела достаточно одной параллели эпического богатырства с действительным богатырством нравственных дел XVII в. А вопрос очень любопытен и очень важен. В нем ключ к разъяснению характера не только отдельных личностей, но и целых событий нашей истории. Одною параллелью с богатырством эпическим объяснить его невозможно. Очевидно, что корни исторического богатырства должны лежать в той почве, которая вообще именуется культурою народа, его нравственною и умственною выработкою или выправкою. В короткой характеристике старинного обучения историк мимоходом касается и этого вопроса, замечая, что, «с одной стороны, древний русский человек начинал очень рано общественную деятельность, недоноском относительно приготовления, образования, с неокрепшими, духовными силами; с другой стороны, он делался самостоятельным

очень поздно, потому что вместо широкой нравственной опеки общества он очень долго находился под узкою опекою рода, старых родителей (старших родственников); но легко понять, как должна была действовать эта долгая опека на человека возмужалого, который сам был отцом семейства. Таким образом, два обстоятельства вредно действовали на гражданское развитие древнего русского человека: *отсутствие образования*, выпускавшее его ребенком к общественной деятельности, и продолжительная родовая опека, державшая его в положении несовершеннолетнего, опека необходимая, впрочем, потому, во-первых, что он был действительно несовершеннолетен, а во-вторых, общество не могло дать ему нравственной опеки. Но легко понять, что продолжительная опека делала его прежде всего робким перед всякою силою, что, впрочем, нисколько не исключало детского своеволия и *самодурства*»[1].

В том-то и дело, что продолжительная опека прямо и непосредственно воспитывала это своеволие и самодурство, которое и составляет сущность указанного историком богатырства уже не эпического, а исторического, как мы заметили, которое правильнее будет назвать не богатырством, а господарством. В том-то и дело, что *не отсутствие образования*, а именно слишком тяжелое присутствие *известного* образования, выразителем которого был Домострой со своими родоначальниками и родичами, и не отсутствие со стороны общества нравственной опеки, а именно до крайности великое и осязательное ее присутствие, до крайности сильно выработавшиеся известные нравственные сдержки всякой личной самостоятельности, – вот что именно воспитывало и развивало каждый личный характер и делало его, с одной стороны, *робким*, ребенком, дитятею *пред всякою силою*, а с другой – самовольным, своевольным, т. е. самовластным пред всяким отсутствием силы, пред всяким ребенком по

[1] *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. Т. XIII. М., 1859. – С. 162, 172–174, 206 и др.

силе. Совершенно справедливо, что личный характер выступал к общественной деятельности совершенным ребенком. Дух этого «глупого малого ребячества» и был первою основою его нравов, а стало быть, и первою основою его поступков и подвигов. Но не потому он выступал в общество ребенком, что не было от глупого ребячества до возмужалости переходного времени образования: образование, имея слишком общий, неопределенный смысл, даже и до последнего времени плохо устраивает нашу волю, которая в общей сложности все-таки действует еще по-детски, – но главным образом потому старый наш предок вступал в общество и жил в обществе ребенком, что не имел и малейших представлений о возмужалости воли, т. е. о нравственной самостоятельности лица, на чем, конечно, должно бы сосредоточиваться всякое образование, но что всегда маскирует или и совсем отстраняет, как великую напасть, образование, поддерживаемое патриархальными или родовыми идеями. Мы знаем, что, например, в XVIII в. было у нас образование; однако оно даже в образованных личностях нисколько не устраняло того эпического богатырского своеволия и самовластия, которое крепко еще держалось за старые русские корни и широко царствовало во всем быту. Мы вообще хотим сказать, что образование ничего не сможет сделать, если вся общественная, и умственная, и нравственная культура питается противоположными ему началами. Тогда оно производит только печальные плоды и наиболее только жертвы умственных и нравственных несообразностей, какие всегда порождает борьба просвещения с закоренелым невежеством.

Точно то же мы должны сказать и о нравственной опеке общества. Если есть общество, то есть и опека, и именно нравственная. Весь вопрос в том, на чем общество стоит в своем воззрении на нравственное, что общество почитает нравственным? Ибо по этому вопросу каждый век имеет свои особые созерцания и убеждения. Наше общество было

сильно лишь родовыми идеями, отчего мы и называем его не обществом, а родством. Существо нравственной идеи, которая была руководителем всех помыслов и поступков старого русского человека, когда он стремился взойти на высоту нравственной жизни, заключалось в том, чтобы во имя родового идеала сдерживать до принижения нравственную свободу и нравственную самостоятельность личности. В умственной культуре для этого существовал целый нескончаемый ряд представлений о господстве над жизнью человека неведомых демонических сил, пред которыми самостоятельность и свобода личности поникала в полное сознание своего бессилия и ничтожества. В нравственной культуре существовала идея отеческой опеки, пред которою точно так же нравственная самостоятельность и свобода личности поникала в полное сознание своего детства, стало быть, такого же ничтожества. Полное всестороннее подчинение ума и воли этим началам было нравственностью века. Но в одном знаменателе что же выражала эта нравственность? Полное отрицание самостоятельности нравственных индивидуальных сил человека, полную его нравственную зависимость от посторонних сил, перед которыми он стоял беспомощным ребенком; словом сказать, полное и глубокое сознание своего беспомощного детства, глупого малого ребячества во всех случаях, где именно требовалась вера в достоинство и нравственную высоту человеческой природы, в ее полную независимость ни от добрых, ни от злых разных сил, т. е. независимость от первозданных языческих идей и идеалов жизни.

Общество или, точнее, пропитанный идеями всесторонней опеки над личностью общественный ум чутко и зорко сторожил всякое и малейшее отступление от осознанных им начал жизни и даже от самых их форм. Детство ума он охранял и укоренял тем, что обзывал всякое его движение страшным в то время словом – ересью, а всякую книгу, не входившую в круг его созерцания, – еретическою. Детство

чувства и воли он охранял и укоренял неустанным преследованием всякого выражения самостоятельности, почитая это гордостью, высокоумием, самонадеянностью и т. п. нравственными грехами, и с этой целью широко развивал идею смирения, а в сущности – идею повиновения, безграничного принижения личности во всевозможных видах.

Такова была нравственная опека общества над личностью, действовавшая во имя нравственного совершенства, которое все сводилось, как мы сказали, к всестороннему отрицанию природных человеческих требований и природных человеческих достоинств личности.

Эта-то опека и создавала тот тяжелый, душный мир, из которого вырваться было возможно только с силою богатыря. Она-то и производила богатырей необузданной воли; но не потому, что недоставало им переходного времени образования или нравственной опеки общества, а потому, что слишком эта воля была зануздана. Тут становился сильным естественный закон, что крайность вызывает другую крайность; отрицание самостоятельности человека в природе его нравственных дел являлось отрицанием в нем самом его человеческих свойств, и он, по неизбежной причине, делался зверем своей воли или, говоря поэтически, становился богатырем.

Для действий такой воли, конечно необходим был простор, необходимо было *поле*. Как только человек после 30-летнего сиденья сиднем в своем доме, т. е. в доме, исполненном родительской и общественной опеки, выезжал в поле, он богатырствовал, как Илья Муромец. Для одних, счастливых, таким полем была власть, властное авторитетное положение в обществе; для других, угнетенных и чем-либо утесненных, таким полем было действительное поле, степь, куда, как в нравственную и социальную отдушину, уходило все, что чувствовало себя не по себе в этом тесном и душном жилище всяческой опеки. Отсюда разбойная жизнь по большим дорогам и рекам, особенно

по Волге-матушке, отсюда украинское казачество, отсюда усиление бродяжничества, т. е., в сущности, искание независимости и самостоятельности для личности, которая не могла иначе, т. е. лучше, разумнее, законнее и возвышеннее понимать и чувствовать эти блага своей человеческой природы. Отсюда развитие нашего раскола и этот широкий нигилизм разных его согласий и толков. И все это условливается одним и тем же началом нашего развития и всей нашей культуры, тою же непомерною отеческою опекою, в какой постоянно находились и до сих пор находятся наш ум и наша воля; тою же родовою идеею, которая была главною и непосредственною воспитательницею и наших добродетелей, и наших пороков.

С первого взгляда может показаться очень странным: старинная родительская философия и житейская практика со стороны всяческой власти стояла на том, чтоб *не давать воли* малому, т. е. малому или меньшему во всех отношениях – и домашних, и общественных. Это было коренное, неколебимое убеждение века в его нравственной сфере, убеждение, созданное развитием и делами самой жизни. Это было коренное, несомненное начало, руководившее прежде всего воспитанием детей, следовательно, родительскою властью, а потом всяким начальством, всяким управлением в житейской среде, начиная с домовладычества и восходя до владычества в каком-либо воеводстве, или наместничестве, или даже в государстве. На этом начале крепко стоял смысл всякой власти, сколько бы ни была она мала или велика. Оно господствовало везде и не допускало никаких других понятий о подчиненных, подвластных, как только о детях, о малолетних или о домочадцах, которыми *управлять* – значило *не давать им воли*. Сюда были направлены все поучения, вся практическая философия того времени, вся *жесточь* практических выполнений этой философии.

Следовало ожидать, что воля должна совсем утратить свою жизненную упругость, свою жизненную энергию.

Внутри оно так и случилось. Восьмивековой период, живший одною идеею, успел окончательно подавить, заглушить волю; но зато взамен воли этот многовековой период успел вырастить самое безграничное своеволие, от которого старина никак не могла отличить волю в собственном смысле. Вот почему в нашей истории мы видим, что воля богатырствует везде, где только является *своею волею*. Мы видим, что волю брал всякий и везде, где только являлась возможность и где не встречалось другой, чужой воли – настолько сильной, чтоб не давать забирать свою волю. Таким образом, воля, как мы уже выше говорили, представлялась чем-то материальным, внешним, чем-то таким, что можно было давать и не давать, брать или не брать. Высокого нравственного смысла человеческой свободы она не имела; она носила один лишь смысл животный, выражалась в животных формах и требовала животных средств для направления и отправления своих действий.

В настоящем случае мы не имеем намерения останавливаться на перечислении всех видов богатырствования, к каким приводила вырвавшаяся из удушливой опеки *своя воля* личности. В истории нам знакомее всего богатырствование властного человека, которое всегда поддерживалось и поддерживается обыкновенно положительными законами и учреждениями. Оно всегда за них и прячется, как за каменную стену. История наших властных отношений даже до сих дней исполнена такого богатырствования. Здесь идея опеки находила себе положительное и весьма широкое выражение, ибо всякая власть сама по себе имела авторитет, смысл власти отеческой, веками освященный.

До́лжно вообще заметить, что если мы хорошенько всмотримся в это богатырство необузданного самовластия, которым исполнена наша история, хорошенько вникнем в непосредственные и посредственные причины этого всеобщего жизненного явления, то едва ли станем удивляться даже и такому типу нашего *самовластного* богатырства,

каким был Иван Грозный. Народ ему и не удивлялся. Он вынес его, как страшную физическую грозу, с чувством страха, с чувством ежеминутной гибели, с мыслью, что тут ничего не поделаешь, что это бушует и все громит непобедимая первозданная стихия. Народ потому и не удивлялся, что здесь на самом деле бушевала первозданная стихия его быта: оттого бушевала, что воплотилась в самые широкие размеры личной воли старшего. Народ, напротив, отнесся к Грозному не только без всякой ненависти, но и с большим сочувствием, как к эпическому богатырю – покорителю Татарских царств и выводителю *измены* из Русской земли. Очень понятно, что, на сентиментальный взгляд наших отцов и на гуманный взгляд наших современников, такой разгул нашей первозданной стихии не только возмутителен, но и ни с чем не сообразен и совсем непонятен; однако ж в свое время он был терпим, он был в порядке вещей, он был, в сущности, только наиболее сильным, выпуклым выражением той же нравственной богатырской, вполне эпической силы, которая руководила жизнью всей народной массы, которая проявляла себя повсюду.

Мы вообще напрасно думаем, что богатырство самовластия являлось характерною чертою только в органах государственной, правительственной власти. Оно было существенным характером всякой власти – как в домашнем, так и в общественном и политическом быту. Самое существо власти, как мы уже говорили, иначе не представлялось, иначе не понималось, как под видом *само*властия; самое существо человеческой свободы и представлялось и понималось только под видом того же *само*властия. Летописец, восхваляя Рюрика Ростиславича Киевского (ск. в 1215 г.), дает его личности такую общую характеристику: «Словеса честна, дела благолюбна, *держава самовластна*, изваянная славою паче звезд небесных, не токмо в русских концех ведома, но и сущим в море далече…». Ясно, что этим выражением летописец обозначает силу, крепость, самостоятель-

ность и, следовательно, политическую свободу Рюриковой княжеской власти. Самое это слово *само*властие в старых поучениях толкуется прямо именем человеческой свободы. «Иоанн Златоустый рече, говорит одно учительное слово: яко все во человецех есть и добро, и зло; да егда хощет, добро творит, то добродеет; а иже хощет деети зло, то деет зло. Бог же ни к добру нудить, ни ко злу влечеть, но *самовластна* сотвори Бог человека, да *по самовластию* сотворит или добро, или зло… Бог учить человека добру, а диявол злу учит, а человек в обоем *самовластен…*».

Недаром Грозный явился вместе с Домостроем. История выразила в этих двух формах многовековые плоды русской жизни. Домострой был вполне законченным *словом* ее нравственного и общественного идеала. Грозный был самым *делом* того же идеала, также вполне законченным, после которого русская жизнь должна была идти уже по другому направлению, искать другого идеала. Грозный окончил самый запутанный акт русской драмы – истории. Он указал дорогу к высвобождению личности и обрисовал собою будущую личность освободителя личности Петра. После Грозного старина опять было вздохнула в лице боярского царя Шуйского; но напрасно Шуйский провозглашал восстановление ветхого права Боярской Думы ограничивать волю самодержца – его голос не был никем услышан. Государево дело уже выпадало из боярских рук и становилось делом всей земли. Земля требовала новой жизни, новых сил развития, искала новых идеалов... Целые сто лет прошли в смутах и волнениях. Земля двигалась из конца в конец, двигалась в самой глубине своих убеждений и воззрений. Приближалось что-то неведомое, *новое*... Тем сильнее поднималось все *старое* и высказывалось в самых резких последних очертаниях. Званый идеал, наконец, явился в образе Петра – уже не первого отца и первого господаря обществу, а первого его слуги, первого его неутомимого работника. Это уже наш идеал, и нас от него отделяет только

старая прапрадедовская форма самовластия, завещанная еще Грозным, которую Петр по необходимости носил, потому что в ней и родился, и оттого так ей и сочувствовал.

Итак, самовластие было жизненным началом старого русского быта; оно было олицетворением родовой идеи, которая построила наш быт. Оно во имя этой идеи держало личность многие века в нескончаемом детстве и во всякой крепости. Естественно, что по этому пути оно должно было выработать для личности условия самого низменного, рабского принижения пред всякою властью.

Но как ни было широко рабское принижение личности под тяжестью родовой и самовластной идеи, все-таки это принижение не имело в себе того характера, которым обозначается действительное рабство, полное рабство азиатское, африканское или даже юридически выработанное рабство Западной Европы. Русское рабство, к которому привело народ, повторим еще, широкое, всестороннее развитие в жизни родовой идеи, никогда не было, да и быть не могло таким полным, законченным рабством. В сущности, это было *детство*, а не рабство. И если это детство выражалось действительно в унизительных рабских формах, то в этом сказывалась только наивная первозданная природа родовых отношений, возвышавшая непомерно родительскую власть, а по ее идеалу – и всякую другую власть. Людские отношения кристаллизовались по одному и тому же везде присутствовавшему идеалу отношений семьи-рода, где старшая власть даже и возрастных, и стариков, и всех равняла с малолетними, а потому равно от всех требовала к себе отношений детства, а не равенства. Эти-то отношения детства, в которых в нашем быту выражались людские отношения ко всякой предержащей власти, представляются по естественной причине формами рабства и даже самым рабством по той простой причине, что здесь большие, старики, вообще люди уже независимые и самостоятельные, являются по форме отношений к старшей

их власти совершенными детьми. Ярче всего принижение русской личности выразилось в пресловутом *челобитье*, в этом битье головою до земли, без которого невозможно было встретить какую-либо власть, и особенно очень старшую, т. е. господарскую, владеющую, стало быть, в полном смысле родительскую, например помещичью, воеводскую, а тем более царскую. При всем том наше челобитье по существу своему являлось лишь первородною формою чести, какую должны были воздавать дети родителям. Другого смысла оно в себе не носило. Это была форма родового приличия, форма сыновнего почтения к родителю, которая распространилась и на общественные отношения, потому что все общество организировалось силою родового духа, вводившего повсюду свои уставы и порядки, свой строй жизни. От родового корня пошла наша внутренняя нравственная жизнь, от этого корня произошли, народились и все ее формы, не исключая даже и государственной. Вот почему в нашем рабстве, в его существе, постоянно скрывалось какое-то родственное благодушие, смягчавшее даже и силу крепостных отношений, так что раб и холоп становились у нас детьми, чадами дома, рабские и холопские формы отношений всегда приобретали смысл отношений детских, вообще отношений малолетства к возрастным.

Особенно живую картину таких именно отношений представляет, например, царский отпуск полковых воевод в поход на польского короля, происходивший 23 апреля 1654 г. при царе Алексее. На отпуске, как и на приезде к государю бояре и все другие лица, которые допускались видеть его пресветлые очи, обыкновенно целовали его руку, что и называлось вообще: быть у государевой руки. Каждый, по порядку подходя к государю, сначала поклонялся до земли, целовал руку, а затем, отошедши, опять кланялся до земли. В настоящем случае торжественный отпуск совершался в Успенском соборе после молебна. Тут же всех полчан царь звал к себе *хлеба есть*. Стол был в передней избе. После

стола, после кубков и медов двадцатипятилетний царь прощался с полчанами, и особенно с главным воеводою – князем Алексеем Никитичем Трубецким. «И царь паки звал бояр и воевод к руке. И бояре шли един за единым. И царь князя А. И. Трубецкого своими царскими руками принял к персем своим, главу его, для его чести и старейшинства, зане многими сединами украшен и зело муж благоговеин и изящен и мудр в божественном писании и предивен в воинской одежде и в воинстве счастлив и недругом страшен. И князь А. И. Трубецкой, видя такую *отеческую* премногую и прещедрую милость к себе, *паки главою на землю ударяется*[1] *со слезами, до тридесят крат*».

На прощанье с меньшими полчанами, дворянами и жильцами государь угощал их из своих рук белым медом и говорил речь, на которую они отвечали также речью и поклонялись до *седми крат*.

Все это черты отношений, по преимуществу детских, отношений меньшей родни, а не рабов. Во всех этих отношениях господствовало наиболее чувство родства – отечества и детства, а вовсе не чувство рабства; господствовало чувство тесной, неразрывной родовой связности людей, а не чувство юридически выработанных отношений рабов к господину. В глубине этих-то чисто родовых отношений и скрывается весь смысл нашей истории, нашей нравственной и общественной культуры.

* * *

Если мы согласимся, что таковы были бытовые нравственные силы, действовавшие в нашем допетровском обществе, то вопрос: какое положение занимала в этом обществе женская личность, – уясняется сам собой. Если

[1] Очень примечательно, что в подлиннике эта фраза: «Главою на землю ударяется» изменена собственноручною припискою царя следующим образом: «поклоняется до земли». – Столбцы Тайного приказа в Государственном архиве.

идея личности совсем не была сознаваема, то могла ли существовать самая мысль о самостоятельном положении личности женской. По причинам, указанным выше, эта личность почиталась малолетной по преимуществу, почиталась ребенком, над которым была необходима самая полная опека. В начале главы мы заметили, что положение женской личности в каком-либо обществе всегда и вполне рисует положение самого общества, т. е. состояние его умственных и нравственных сил, состояние его образованности и гражданской свободы. Поэтому, какую правду сознающая и рассуждающая мысль говорит о женской личности в данную эпоху, тою же правдою вполне дóлжно характеризоваться и то общество. Строгая характеристика Котошихина, перенесенная с женской личности на целое древнерусское общество, очень верно определяет существенные черты его положения, его умственного и нравственного состояния. Можно дознаться, выражаясь словами Котошихина, отчего б такому обществу быть гораздо разумным и смелым, т. е. свободным, когда грамоте оно неученое (умственно неразвитое) и не обычай тому есть; когда от младенческих лет и до старости оно живет в тайных покоях, т. е. во всякой умственной и нравственной опеке и цензуре, и никого и ничего не видит, т. е. ничего не знает опричь самых ближних, родственных учений и наказаний Домостроя. Можно дознаться, отчего такое общество породным разумом простовато, на отговоры несмысленно и стыдливо, т. е. отчего оно неподвижно целые столетия, отчего в нем не действует живая сила человеческой свободы и нет в нем развязных свободных движений ума и воли. Это общество как берегло женскую личность от стороннего глаза, от мира – света, так оно берегло и само себя от всякого умственного света в несказанной боязни, что как проникнет к нему такой свет, то растленными явятся все основы его нравственности... Оно точно так же жило за замками в высоком терему, именно в тере-

му своих многовековых, душных и тесных воззрений на свободу личности вообще и на самую свободу в особенности. Оно все крепче и крепче притворяло этот терем, все плотнее обгораживало его высоким тыном церковных, государственных, общественных, домашних запрещений и разных анафем, так что личность вследствие напора самой истории, самой жизни, вырвавшаяся, наконец, из этого терема, ничем другим не могла явиться, как полнейшим нигилистом, всесторонним отрицателем всего прожитого, потому что в этом прожитом она видела и знала только одну полицейскую опеку родовой власти и никаких общечеловеческих сил развития. Оттого и последовал такой быстрый разрыв общества со своею стариною, которую оно очень скоро совсем забыло. С XVIII в. отрицание стало жизненною силою нашей общественной культуры. Мы отказались сами от себя, ибо ничего в себе не чувствовали и не находили положительного, основного, с чем бы возможно было показаться в люди. Этот новый двигатель нашей жизни, с особенною силою работавший в XVIII столетии, еще продолжает свое существование и до сих пор. Он лучше всего и со всех сторон выразился и пластически нас изобразил в нашей литературе. К нашему счастью, нынешние реформы вносят в нашу жизнь действительно положительные основы развития, которые и не замедлят совсем упразднить уже в высшей степени обветшавшее начало родовой самовластной опеки с ее неизменным сопутником – отрицанием и всяческим нигилизмом.

ГЛАВА II
ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ ЖЕНСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ДОПЕТРОВСКОЕ ВРЕМЯ

Языческое время: княгиня Ольга. — Влияние византийской культуры. — Постнический идеал. — Происхождение терема. — Боярыня Морозова. — Царевна Софья и значение царского девичьего терема в конце XVII столетия.

На пределах нашей допетровской исторической жизни, по ту и по сю сторону, стоят две очень замечательные женские личности, которые в действительности пользовались общественными правами, занимая высокое общественное положение. Одна почти начинает нашу историческую жизнь, по крайней мере, принадлежит к первым лицам, дающим этой жизни начальное движение и направление; другая заканчивает и, так сказать, замыкает древний период русской жизни. Одна вместе с тем как общественная личность носит в своей деятельности характер прямых, положительных условий жизни, является тем, чем должна быть русская женщина – язычница, является идеалом, которым народ выразил свои представления о достоинстве женской личности, в каких именно чертах это достоинство наиболее казалось ему высоким и желанным. Другая, напротив, является только отрицанием положительных условий жизни, является вовсе не тем, чем должна быть русская женщина-христианка, по крайней мере, по учению и по идеалам века. Она является плодом жизненной смуты, плодом растления положительных жизненных условий быта.

Мы говорим об Ольге – княгине и Софье – царевне.

Несмотря на мужественный тип Ольги-язычницы, который с такою самостоятельностью открывает историческую жизнь русской женщины и тем самым как бы дает сильный образ для последующего развития этой самостоятельности, мы, однако ж, не видим в последующей истории, чтобы русская женщина употребила себе в пользу это богатое наследство. Семьсот с лишком лет, которые отделяют друг от друга Ольгу и Софью, не представили ни одной личности, сколько-нибудь равной им по значению. Семьсот лет, таким образом, протекли без следа для развития женской личности в смысле самостоятельного члена общественной, а не семейной только жизни, так что и самостоятельность царевны Софьи, как упомянуто, явилась, собственно, отрицанием тех положений быта, какие были выработаны этим 700-летним периодом русской истории.

Летописный образ Ольги исполнен эпических, народных очертаний. Она предстает нам идеализированною и как матерая вдова, и как женщина вообще, и, наконец, как женщина-христианка.

По смерти Игоря Ольга осталась вдовою с сыном Святославом, стало быть, *матерою* вдовою. В тот век она имела естественное, положительное и ни в чем неоспоримое право *сидеть на вдовьем стольце*, как выражаются о таком праве даже позднейшие юридические памятники, т. е. сидеть на княженьи, управлять землею или, по простому понятию, управлять домом, владеньем, имуществом умершего князя, каким, в сущности, и была для князей в то время Русская земля. Это был, по всему вероятию, очень старый обычай, общий для славянской земли, гораздо древнейший, чем призвание варягов. Таким образом, вместе с обычным правом сидеть на вдовьем стольце Ольга по своему положению как вдова князя и, главное, – вдова матерая – получает общественное политическое значение. Она в действительности управляет землею как князь. Она самолично с маленьким сыном и дружиною идет мстить древлянам за смерть

мужа и покоряет их Киеву окончательно, с тою хитростью-мудростью (например, истребление нарочитых, лучших, людей земли), какая употреблялась несколько столетий спустя при собирании земель Москвою. Она сама ходит по Древлянской земле, уставляя *уставы* и *уроки*, т. е. законодательствуя, давая порядок в определении даней и оброков.

Вслед за тем она сама ходит по всей русской земле, точно так же, уставляя дани и оброки, устрояя землю, как самый деятельный и мудрый князь. Об этих земских ее походах и уставах память жила еще в XI–XII столетиях, т. е. спустя 100–200 лет. Еще тогда по всей земле оставались ее *знаменья*, места, погосты, ловища и перевесища. Это значит, что в XI–XII столетиях устройство земли во многом и, по всему вероятию, в самом главном, в оброках и данях, оставалось еще то же самое, какое дано было Ольгою; оставались те же места, погосты, становища, в которых со времен Ольги утвердились местные данничьи и судебные центры княжеского управления. Из летописного рассказа видно, что народ очень дорожил памятью об этой действительно замечательной личности, ибо еще после нее сохранялись в Пскове ее сани.

«Ловища и перевесища» указывают также, что Ольга в своих походах «деяла ловы», т. е. охотилась, как добрый князь. В этом нельзя и сомневаться. Если она сама ходила воевать с древлянами, сама в лесах и болотах Новгородской области устанавливала дани и погосты, то почему ж ей не ходить и на охоту – тем более что охота в то время, кроме обыкновенного потешенья, составляла очень важный промысл даже и для князей. Форма слов «ловища», «перевесища», «становища» показывает, что это были места, где происходила охота или бывали остановки в походе, места, наиболее выгодные для охоты или удобные для остановки. Припомним, что хождение за данью, как и на охоту, князья предпринимали всегда в сопровождении дружины и челяди – слуг, оттого и стан этого полка или *двора* по необхо-

димости оставлял по себе знаменья, т. е. память и следы своего устройства и пребывания. Вообще ни один князь не оставил по себе такой земской и доброй памяти, как мудрая Ольга. За ее земским ликом, быть может, сокрылись и все земские заслуги мудрого Олега, с народным идеалом которого так родственно сливается и ее народный идеал, даже самое имя. Наконец, Ольга идет в Греки, в Царьград – идет так, как обыкновенно хаживали русские в греческую столицу, т. е. с куплею, по торговым делам, ибо с ней вместе находятся более 40 купцов или гостей.

Уже один этот поход мог бы служить достаточною характеристикою ее необыкновенной предприимчивости и мужества. Всякое дело она хочет и знать, и делать самолично. Это черта Петровская. Мы достоверно не знаем, какие именно прямые цели влекли Ольгу в Царьград, но, видимо, главною целью было Христианство, видимо, что она в это время была уже христианка в своих мыслях и стремлениях: в походе с ней находился даже и христианский священник Григорий. Она пожелала самолично видеть христианский торжественный обряд в самом Царьграде и там просветить свое поганство новым учением; видеть лицом к лицу лучшую жизнь.

Таким образом, деятельность Ольги представляет нам типический образ всей княжеской деятельности первого века, олицетворяет идею жизни этого века. Ольга делает то, что делали все первые князья, воевавшие и торговавшие с Царьградом, покорявшие соседние племена, уставлявшие уставы, уроки и дани. Все это было обычным княжеским делом в то время. Необычайно только то, что Ольга, женщина, совершает эти мужские и мужественные дела. Но казалось ли это необычайным для ее современников? Мы полагаем, что общее убеждение века находило деяния Ольги очень обыкновенными и весьма естественными. В сущности, она ничего не делает такого, что могло бы противоречить ее положению. В ее деяниях ничего нет *зазорного* для

ее положения как женщины вообще и как матерой вдовы в особенности. Она исполняет то, что была обязана исполнить именно как матерая вдова, наследница мужнина владенья, т. е. отомстить смерть мужа, потому что этого требовал обычай, требовала народная вера; ей было естественно устроить дани, уроки и оброки, вообще устроить землю, потому что неустройство именно даней, беспорядок, произвол и насилие в их собирании привели к тому, что муж был убит. Быть может, добрая народная память о ней потому так долго и сохранялась, что она привела в порядок, в ясность и определенность эту важную статью княжеских отношений к земле. Она является только хорошею, умною, самостоятельною хозяйкою своего имущества, какою по понятиям старины должна быть каждая матерая вдова. В этом смысле она и послужила идеалом для последующего времени. Конечно, мы должны отнести многое и к ее личной энергии, к ее личному характеру. Не всякая женщина могла иметь столько мужественной силы. Но не следует забывать, что мужество составляло общую характерную черту людей того времени. Это был век силы и отваги, век мужественных дел по преимуществу. Храбрость освящалась в то время даже религиозными представлениями о загробной жизни. Умереть побежденным значило поступить в рабство к победителю на том свете[1]. Если же мужество, вообще храброе и отважное дело, составляло высший идеал жизни для мужчины, то это убеждение не могло оставаться без влияния и на положение женщины. Обыкновенно, чего требует основная мысль века, на то отвечает и жизнь людей, их поступки и дела: только то и господствует в жизни, что убеждение века почитает своим идеалом. Не могло быть, чтобы рядом с мужественным, сильным и отважным мужчиною, каким он был в первый век нашей истории, стояла женщина слабая или ослабленная нравственно, умственно и даже физически, как это было впоследствии, при господ-

[1] История Льва-диакона. – С. 94.

стве других идей и положений жизни. Не могло быть, чтобы женщина, находясь в сфере, где мужественное дело и отвага составляют стихию жизни, не воспитывалась под сильным влиянием этой стихии, чтобы свобода действий, которая сама собою уже разумеется в представлении о мужественном деле и отваге, не распространялась и на женщину, несмотря даже на физиологические условия ее пола. Вообще мужественный век, носивший в сердцах людей необычайную храбрость и отвагу, необычайную силу воли, которая была воспитана в среде смелых предприимчивых деяний и ничем неудержимого богатырства и вовсе не ведала еще никакого *учения*, кроме учения самой жизни, – такой мужественный век должен был рядом с мужественным мужчиною воспитывать и мужественную женщину. Богатырские свойства мужчины должны были поднимать богатырские свойства и в женщине. Иначе и быть не могло. Мы должны вообще помнить, что то время тем и отличается от нашего, что в нем господствует не какая-либо теория, известное нравственное учение, известное *слово* жизни, по которому должна располагаться жизнь, а господствует самый факт, самое дело жизни, которое все и оправдывает, в котором и заключается все *учение* века. Дело жизни дает личности неизмеримо большую свободу, чем какая-либо ее нравственная программа, ее *слово.*

Дело жизни прямо выдвигало женщину на богатырские подвиги. И вот народная былина рисует нам первобытную нашу женщину такою же удалою поляницею, таким же удалым богатырем, нисколько не смущаясь мыслию, что это для женщины зазорно, как потом стали учить премудрые *словеса* жизни. О мужестве русских женщин в языческую эпоху засвидетельствовали византийские летописцы, которые рассказывают, что во время войны Святослава с греками после одной весьма жестокой битвы, когда греки стали раздевать убитых скифов, то нашли между трупами убитых женщин, которые «в мужеском одеянии мужескою храбро-

стью с римлянами (греками) сражалися»[1]. Таким образом, народные идеалы рисовали в сущности народную действительность. Так понимал древний век общественное положение женщины, так идеализировал он и личность Ольги. Но в Ольге древний век идеализирует также и вообще женское существо, как оно ему тогда представлялось. Он идеализирует Ольгу мудрою – хитрою; она хитростью победила не только древлян, но перехитрила и самого царя греческого, который вздумал было взять ее себе в жены. Таково в глазах язычества свойство женской личности вообще. Хитрость в том веке являлась не только положительным свойством ума, но и вещею силою, приближавшею человека к богам. Оттого все женские типы из мифической эпохи обладают, прежде всего, именно этим свойством их существа. Такова, например, и Феврония Муромская, и типы народных былин. Вообще языческий идеал присвоивает женской личности существо мифическое. Она обладает даром гаданий, чарований, даром пророчества; она знает тайны естества и потому в ее руках по преимуществу хранится врачеванье от болезней, а следовательно, колдовство, ведовство, заговоры, заклинания. Она в близких связях с мифическими силами; в ее руках и добро, и зло этих сил. Мифический змей становится сопутником ее личности. На особенную высоту вещего значенья ставит языческий идеал вещую деву. Как ни скудны и как ни темны сохранившиеся свидетельства о таком значении девичьей личности, но они все-таки и до сих пор сохраняют ее вещие черты. Достаточно указать на святочные подблюдные песни, на некоторые заговоры и народные обряды. Мы не намерены входить по этому случаю в подробности, ибо для нас важно лишь то, как языческий век идеализировал женское существо[2]. Он видел в этом существе мифические, сверхъестественные чарующие силы...

1 Кедрин. Т 2. – С. 118.

2 См. *Афанасьев А. Н.* Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1, 2. – М., 1868.

Языческие идеализации коренились, конечно, на почве действительности, а действительность здесь заключалась уже в самой природе женского пола, в действиях этой природы на другой пол. Эту-то природу язычество и олицетворяло в поэтических образах и в мифах, которые, как ни были многообразны, но все выговаривали одно: что в женском существе кроются непостижимые демонические силы. Чары красоты и любви были очень достаточны для того, чтобы возвысить идеал женщины до мифического существа и вырастить на этой почве целый культ очарований во всяких других смыслах.

Все это должно было ставить женскую личность в самостоятельное отношение к языческому обществу, давать ей самостоятельное общественное значение. Но помимо вероятных соображений есть весьма положительные свидетельства о том, что идеальный характер русской женщины-язычницы, как он рисуется в эпической народной поэзии, в песнях, в обрядах, преданиях, вполне соответствовал тогдашней действительности, т. е. что женщина пользовалась самостоятельным положением в обществе, что ее общественная доля уравновешивалась с долею мужчины.

Укажем важнейшее, именно языческие браки, где свобода и самостоятельность женской личности является уже в том обстоятельстве, что мужчины «умыкаху жены себе, с нею же кто съвещашеся». Брак, следовательно, зависел не столько от воли родителей, сколько от согласия самой невесты, хотя вследствие родовых отношений общества необходимо было похищать невесту, ибо род даром ее не уступал. Общее свидетельство летописи утверждается еще более некоторыми частными случаями; например, полоцкая Рогнеда отказывается идти за муж за робичича Владимира, когда отец предложил ей, за кого она хочет: за Ярополка или Владимира.

Свобода совещания о браке, свобода выбора свидетельствует вообще, что в языческое время положение жен-

щины было вольнее, независимее, чем в последующие века. К этому вела, как мы заметили, самая непосредственность всего народного быта, самое *дело* жизни, хотя бы и крепко связанной родовыми, кровными началами ее развития. Мы выше указали, какое именно дело жизни должно было уравновешивать женскую личность с мужскою.

Если все так было, если личность женщины действительно наравне с личностью мужчины пользовалась не домашними, семейными только, но и общественными правами, т. е. правами делать дела мужские, если даже и в народном сознании вовсе не существовало понятий о раздельности общественных дел на женские и мужские и женщина могла даже по-богатырски выезжать в поле, богатырствовать с врагом; если такие и подобные женские дела вовсе не принадлежали к необычайным явлениям, а выражали только простой, естественный, самый обычный ход жизни; то и личность язычницы Ольги должна представляться нам не каким-либо исключительным явлением, а простым, естественным, самым обычным типом жизни. В чертах Ольги мы можем видеть тип русской женщины-язычницы, выразивший в себе ту весьма значительную долю свободных действий, какая принадлежала по обычаю языческого века вообще женскому полу в древнейшем Русском обществе[1].

Само собою разумеется, что принятие Христовой веры должно было изменить положение вещей в древней Руси, изменить характер ее жизненной деятельности, характер ее представителей и героев. С этого времени подобно тому, как со времени преобразования, в русское общество постепенно начинают проникать и водворяться в ней новые идеи жизни, дотоле неведомые, новые понятия и представления о ее целях и задачах. И умственный, и нравственный образ русского человека начинает мало-помалу изменяться. Святая вера смиряет и смягчает языческие нравы и обычаи.

[1] *Шульгин В. Я.* О состоянии женщин в России до Петра Великого. – Киев, 1850.

Но, естественно, что вместе с благовестием евангельского учения приносится к нам нашими учителями-греками и их литературная образованность, их умственная и нравственная культура в многочисленных произведениях их литературы, приносится и известный, собственно византийский склад понятий о многих предметах жизни, и именно тот склад понятий, какой в ту эпоху господствовал в умах византийского духовенства, находившегося в отношении своей проповеди в исключительном положении вследствие особенного воспитания и развития византийского общества. Существенною стихиею этого склада понятий по той же причине было всестороннее и беспощадное отрицание тленного или собственно растленного византийского мира со всеми его жизненными формами и обольщениями, во многом напоминавшими еще языческую жизнь античной цивилизации, а еще более – жизнь растленного востока. То, что было так необходимо всеми силами поднять против этого, действительно, в полном составе растленного мира, это самое было поднято и против нашей, хотя тоже языческой, но ничем не цивилизованной, совсем девственной, простодушной и непосредственной природы. Суровая, грубая, но чистая и прямая, эта природа вовсе не способна была даже и понять тех нравственных утонченностей византийского развития, какими по необходимости исполнены были литературные памятники Византии, послужившие для нас и литературными образцами, и источниками образования, источниками и умственной, и нравственной культуры. Действие такого отношения этой учительной литературы к нашему обществу не замедлило обнаружиться. Сильнее, чем на мужчину, литературные учительные идеи стали действовать на женщину, т. е. вообще на домашний, так сказать, сидячий быт народа, и тою, собственно, стороною, которая изображала этот мир – миром погибели – и прославляла удаление от него. Был ли в самом деле древний русский житейский мир, выросший в чистой непосредственности и

детской наивности, настолько погибелен – об этом учительное слово, конечно, не могло рассуждать, ибо оно отрицало вообще существо житейского мира, а следовательно, и всякую его форму, хотя бы и чисто детскую, виновную только в том, что она невинна. По его воззрению, все мирское, житейское было *поганым*, было ли то действительное язычество, т. е. проявления самого языческого верования, или это был простой нрав и обычай жизни, простые явления и действия вообще человеческой нравственной природы.

Такое отрицание, конечно, служило великим и единственным благом для растленной византийской цивилизации. Там отрицание само собою выросло как единый путь к спасению. Там оно было священным делом каждого нравственного ума, ибо в действительности велика была погибель тамошнего человечества, печально и окончившего свою историю. Но сила столь же дельного отрицания на нашей непосредственной почве, только что начинавшей жить, только что возродившейся для жизни и света, – на такой почве отрицание должно было произвести совсем иное действие.

Отрицание житейского мира выразило свои идеалы главным образом в аскетизме. В том обществе на самом деле иного пути для спасения и не было. В том обществе потребен был аскетизм беспощадный и всесторонний. Он необходим был для ума, исполненного всевозможных философских ветров, всевозможных оттенков ереси, ума, совсем заблудившегося в софистических извитиях мысли, погибавшего в темной области совопрошений и словопрений. Он еще необходимее был для нрава, исполненного самых разнообразных восточных пороков, копившихся целое тысячелетие, пороков непомерной роскоши, непомерного пресыщения, непомерной праздности, непомерного унижения человеческого достоинства во всех видах и образах. Ясно, что только аскетический идеал мог хотя сколько-нибудь обуздывать эти погибельные стихии об-

щественного разложения. Ясно, что только монашеский идеал и мог стать исключительным идеалом высоконравственной жизни. Но аскетизм, идя последовательно, приводил к отрицанию и таких сил жизни, без которых невозможно самое существование человеческого общества. Отрицая нескончаемые пороки ума, он отверг самую науку. И вот дух этого отвержения вносится и к нам, в молодое общество, ум которого не только не был заражен пороками праздного и сварливого умствования, но обретался еще в полном детстве и именно науки-то и требовал для своего здорового развития. То же до́лжно сказать и о нраве. Не испорченность нрава или старческий его разврат, а, напротив, его младенческое развитие ставило в этом отношении наше общество как бы в параллель с византийским и давало легкую и полную возможность отрицать его формы и порядки. Там старость, дожившая до детства и потерявшая знание и сознание истинных начал жизни; здесь настоящее детство, еще не выросшее до понимания этих начал. Видимая форма той и другой стороны, конечно, заключалась в крайнем рабстве и неподвижности ума, отчего безобразною являлась и самая жизнь общества.

Отвергая и отрицая наши младенческие формы жизни, аскетизм вместе с тем и здесь отверг целую область эстетических сил народа, народную поэзию в полном ее составе, не принеся взамен того никаких общечеловеческих начал для эстетического воспитания народных нравов, без которого всегда черствеют, грубеют и развращаются эти нравы, что осязательнее всего доказала, между прочим, и наша история.

В Византии особенное внимание нравственных умов обращало на себя поведение женщины; ее публичная роль, которую она легко себе присваивала в обществе, преданном сластолюбию и роскоши; ее, можно сказать, господство над этим обществом, чего, конечно, никак не могли выносить аскетические и особенно восточные умы. В самом деле, ви-

зантийская женщина прославляла себя даже на императорском престоле такими делами и деяниями, которые требовали самого беспощадного, сурового осуждения. Поэтому в литературе она становится предметом самых жестоких и сильных обличений, рисовавших ее пластически во всех чертах ее греховной жизни. Вырастает образ *злой*, вообще греховной, *жены*, тип всякого нравственного безобразия или, вернее, тип аскетического омерзения вообще к женскому существу как к существу великого, неисчерпаемого соблазна для аскетической мысли. Могло ли и явиться что-либо другое в эпоху, когда аскетическая идея, вызванная и выращенная полным растлением общества, господствовала не только во всех нравственных умах, но и в самом вероучении, выражалась в каждом литературном памятнике, была, как мы сказали, единым путем спасения ввиду общей погибели и единою исходною точкою сознания о нравственном совершенстве человека.

Основная идея, в которой главным образом таилось начало всяких обвинений, обличений, даже поношений женской личности в образе злой жены, а вместе с тем таился и аскетический страх вообще пред женским существом, а стало быть, и аскетическая неугасимая вражда против него, – основная идея всего этого заключалась в убеждении, что «от жены начало греху и тою все умираем». Словом сказать, и по библейскому, и по аскетическому воззрению женская личность сама по себе уже являла образ соблазнительного греха, от которого надо было бежать, не оглядываясь, как от Содома и Гоморры. Вот причина, почему в учении, обращенном к ее лицу, мы находим самое широкое отрицание всего того, в чем сколько-нибудь выражалась эта, по мнению века, обольстительная греховность.

Красота лица вместе с красотою наряда, не говоря уже о кокетстве, которое называется вообще *лукавством* и нисколько не различается от настоящего лукавства, являлись для аскетических умов самыми вопиющими предметами

соблазна и греха и преследовались с ожесточением, свойственным одному только аскетизму.

Такие-то идеи, которыми пропитана была литература Византии, переносятся вместе с грамотностью и на нашу литературную почву и воспитывают ум и нрав нашего младенчествующего общества. Поправляя и переделывая по этим идеям наши нравы, очищая их от мнимых грехов непосредственного язычества, византийская литература переносит к нам, в наши детские умы, и действительные, чисто византийские грехи, бесчисленные грехи всяческого суеверия и суесвятства, которые с течением веков разрастаются у нас в тучную ниву и производят неисчислимые плоды, выражаются во многих жизненных типах.

Принесенные к нам литературные, аскетические и вообще восточные, азиатские представления, совсем чуждые, нимало не свойственные нашей северной природе – и физической, и нравственной, в духе своем клонились и стремились к тому, чтобы поставить женскую личность в самое невидное место общественной организации, чтобы вовсе отдалить ее из общества как великую помеху для нравственных дел и деяний мужчины, как воплощенную человеческую слабость и шатость нрава. Если дух этих представлений не в силах был совсем покорить своим целям византийскую женщину, то ему по многим причинам очень легко было покорить себе умы и нравы нашей русской женщины. Его авторитет являлся в такой одежде, которую простые, непосредственные умы и нравы, жаждавшие веры, жаждавшие света и истины, должны были принять благоговейно. Восточная идея о великом неравенстве существа женского с существом мужским, о великом превосходстве мужского существа пред женским осязательнее всего чувствовалась, например, в физиологическом факте, что для женщины наставали в известное время дни очищения. Эти-то дни и послужили, быть может, началом для всех «восточных» представлений о существе женской личности. Эти

дни становятся для женщины днями изгнания... В эти дни она является существом нечистым, поганым и в представлениях книжных умников века возбуждает вопрос: «а что, если случится, плат женский в одежду вшити попу, может ли он в той одежде служити?»[1] Вопрос, конечно, разрешается уверением, что жена не погана; но, тем не менее, простая, неисхитренная различными учениями мысль не может отойти от убеждения, что все-таки в женском существе есть нечто поганое, ибо святость – иначе светлость, чистота все-таки воспрещает ей многие действия, которые открыты для мужского существа, воспрещает ей, когда она бывает *сквернена*, даже в церковь лезти. Простой, непосредственный ум, не завитый в книжные утонченности, не может иначе понять этого дела. Природная и потому всегда верная последовательность его соображений не может вместить в себя те вопиющие противоречия, какими всегда так богата книжная изворотливость. Непосредственный ум опирает свои соображения на самое дело, по которому и созидает свои убеждения и верования. Хитрое сплетение слов для него мудрость недоведомая. Дело говорит ясно, что женское существо бывает погано и потому отвергается от общения с тем, что пребывает чистым и светлым – святым[2]. Как же после того умнику-мужчине не возыметь понятия, высокого о себе и низменного о женщине?

Уже одних представлений о чистоте было достаточно, чтобы отдалить женскую личность от общения со светом, т. е. с обществом, отвергнуть в ней смысл лица самостоятельного, полноправного для жизни общественной. Дух восточных представлений отделяет ей в храме на общественном богослужении особое место, *ошуюю*. Там она ста-

[1] Вопросы Кирика. Вероятно, это касалось того обстоятельства, что женщины нередко отдавали свои богатые златотканые одежды в церковь на ризы и покровы.

[2] «В котором храме (комнате) мати дитя родит, недостоит влазити в него по три дня; потом помыют всюду и молитву сотворят, которую творят над осквернившимся сосудом, и так влазить. – Вопросы Кирика».

новится на левой стороне, иногда едва допускается только в притвор или на полати – хоры; скрывается от чистых глаз за занавесами. «Женский убо пол, стояху (в Царьграде, в церкви Св. Софии) на полатях за шидяными запонами и *лицо их* и *украшения прелестного и мертвенного* никому же от народа видети...»

Женщина приобщается Св. Таин не из царских а «из других дверей, что противу жертвенника» (Акты Исторические. Т. I. – № 18) с той левой стороны, где определено ей стоять. Невестою при венчании она получает перстень железны, в то время как жениху подают золотой. Женою она должна покрыть свои волосы и до гроба носить этот покров. Даже случайно открытые волосы являли грех и срам неизобразимый. Народная культура обозначила свое понимание такого срама до сих пор еще живущим выражением: *опростоволоситься* – сделать наивную глупость, осрамиться.

Вдовою она должна носить платье *смирных*, *вдовьих* цветов, т. е. темных, траурных, ибо «вдовья беда (доля) горчее всех людей». Она на всю жизнь печальная сирота. Самые материи, употребляемые на одежду, получали наименование вдовьих; так, например, в XVII столетии были в продаже *тафты вдовьи*.

«Пытайте ученья, которое говорит: жене не велю учити, ни владети мужем, но быти в молчании и в покорении мужу своему. Адам прежде создан бысть, потом Ева сотворена, и Господь рече: аз тя бех сотворил равно владычествовати с мужем, но ты не уме(ла) равно господствовати, буди обладаема мужем, работающи ему в послушании и в покорении вся дни живота твоего... Да будут жены *домодержецы*... да покоряются во всем своим мужем, и мужи да любят жены своя, и жены да послушают во всем мужей своих, яко раб господина. Раб бо разрешится от работы от господскии, а жене нет разрешенья от мужа, но егда муж ее умрет, тогда свободна есть законного посягнути... Глава есть мужеви Христос, жене глава – муж. Несть сотворен муж жены деля,

но жена мужа деля, того деля имати власть муж над женою, а не жена над мужем. Не мози, сыну, возвести главы женские выше мужни, али то Христу наругаешися. Того ради не подобает жены звати *госпожею*, но и лепо жене мужа звати господином; да имя не хулится в вас, но и паче славится. Кий властель под собою суща зовет госпожою, или кий господин зовет раба господином, или кия госпожа зовет раба господином, или кия госпожа зовет рабу госпожою? Не прельщайтеся во свете сем: имам бо великого светилника Христа Бога нашего, главу над всеми главами. Да не срамляницте же мужские главы, оли то Христа срамел есть. Рече: егда на земли ходих, плоть нося, тогда кто укорил мя или что хульно или крестное дерзновение, то тому прощу я; а иже ныне кто похулит, ли укорит, то и не прощен будет, ни в сий век, ни в будущий»[1].

В этом тексте заключается вся философия восточных воззрений на женскую личность вообще.

Само собою разумеется, что влияние византийской культуры должно было подействовать на самое устройство брака и мы видим, что, вместо туземного языческого брака, по обоюдному совещанию «с нею же кто съвещевашеся», возникает, как положительный вывод восточных воззрений на женщину, брак малолетних: являются *десятилетние* мужья (Святослав Игоревич в 1181 г.) и *восьмилетние* жены (Верхуслава – дочь суздальского Всеволода, отданная за четырнадцатилетнего Ростислава в 1187 г.). На востоке и в Византии совершеннолетие для брачущихся полагалось для мужчин 14 лет (подобает юношам в *наусе* быти возрастом, 14 лет), для девиц 12 лет; но обручение могло совершаться и раньше. Закон воспрещал, однако ж, обручение для отроков *менее семи* лет возрастом, стало быть, бывало и то, что обручались чуть не младенцы. У нас Верхуслава была повенчана восьми лет, и, без сомнения, это не

[1] Рукописная Кормчая: «Толк Козмы Халкидонского, яко не подобает жены госпожею звати».

был пример единственный[1]. Естественно, что такой брак становился исключительно делом родительской воли или вообще воли старших родичей. Родовой дух здесь должен был торжествовать. Он действительно в своем смысле и растолковал себе чуждое, не свойственное ни климату, ни понятиям страны законоположение о возрасте обручения, установив его днем самого брака. Из византийских законоположений о браке родовой дух хорошо понял только одно, именно то, что женская личность отдается ему по закону в полную опеку как личность малолетняя. С этою идеею свою опеку над женщиною он передавал всецело и ее мужу, который, становясь мужем, по понятиям века, становился уже и возрастным, по крайней мере в отношении жены, несмотря на то, что ему самому было только 10–14 лет. Родовой дух, воспользовавшись учением закона, обошел мимо различные ограничения родовой власти, существовавшие в том же законе, и в течение целых веков рассматривал брак как такое дело, которое никак не могло быть совершено без воли и опеки старших[2], распространяя понятие о детстве молодых и на всякого в действительности уже возрастного и потому *самовластного* распоряжаться собою, чего не отрицал и византийский закон. Непосредственность родовых понятий освятилась таким образом писаным и уже по этому одному только освященным правилом – законом и получила еще бо́льшую силу для своих действий и влияний. Отсюда, из этого нового жизненного положения, сама собою выросла целая группа новых отношений, совершенно изменивших судьбу женской личности. Она, как ребенок,

[1] Великий Князь Иван Васильевич, собиратель Руси в одно целое, был обручен на Тверской княжне Марье Борисовне, *семи лет*, в 1447 г.

[2] Владимир Васильевич Волынский, отдавая по смерти свою княгиню и воспитанницу Изяславу на руки брату Мстиславу, завещает: «Детище Изяславу, не отдать ее неволею ни за кого же, но где будет княгине моей любо, тутоть ю (ее) дати», устраняя таким образом от детища только произвол брата и оставляя устройство Изяславиной судьбы на полную волю своей княгини, где ей будет любо, там ее и отдаст замуж.

становится предметом самых неустанных забот, которые естественным образом и приводят ее в *терем* как в такое место, где береженье неразумного дитяти вернее и полнее достигает своих целей.

С какого именно времени вообще жены знатных и богатых людей стали скрываться в удаленных от людского глаза хоромах, с какого именно времени является в русской жизни этот *терем* и как особая постройка, и как особая жизненная идея – сказать определительно мы не можем. По всему вероятию, это началось с первого же века по водворении в нашей земле византийских понятий и византийских обычаев. Если бы терем и не был принесен к нам прямо византийскими руками как особая форма жизни вместе с какою-либо формою постройки, одежды, головного убора и т. п., то во всяком случае он сам собою народился бы в нашем обществе по той простой причине, что была принесена из Византии и водворена в нашей земле его идея. Всякая идея неизменно и неминуемо рождает свой плод, создает себе свою форму. Терем, по крайней мере в русской земле, был плодом постнической идеи, действие которой, и в довольно сильных чертах, обнаруживается в нашем древнем обществе очень рано. Монашеский идеал в княжеском роде является господствующим уже при внуках Св. Владимира, и первыми его подвижниками являются девицы – дочери Всеволода и сестры Мономаха – Янка (Анна) и Евпраксия. Янка, *девою сущи*, постригается, собирает черноризиц и пребывает с ними по монастырскому чину в монастыре, который, без сомнения, для нее же и устроен был ее отцом в 1086 г. Чрез три года, когда в Киеве умер митрополит, «иде Янка в греки и приведе митрополита Иоана скопьчину; его же видевше людье, вси рекоша: это мертвец пришел». Идеал княжны нашел себе живое олицетворение. Чрез год Иоанн помер. Летописец говорит, что был сей муж «не книжен, но умом прост и просторек»[1].

[1] ПСРЛ. Т. I. – С. 88, 89.

Янка таким образом подает благочестивый образец постничества и иночества для княжеских дочерей, указывает им путь подвижничества – самостоятельный и не зависимый от мирской жизни. За нею скоро следует ее сестра Евпраксия, которая постригается в Печерском монастыре.

В последующих поколениях идеалы девства и иночества распространяются в женском быту все больше и больше. Несмотря на то, что знаменитый брат этих первых инокинь-княжон Владимир Мономах пишет своим детям: не монашество спасет вас, а добрые дела, – его дочь Марица все-таки уходит в монастырь (1146 г.). К этому же почти времени, немного позднее, принадлежит и замечательное подвижничество Евфросинии Полоцкой, которая устроила также монастырь и постригла двух своих сестер, родную Гориславу и двоюродную Звениславу, и двух племянниц. Вообще с XI в. «иноческий образ» становится высшею целью жизни не только для женщин, княгинь и княжен, которые в нем одном находят себе настоящий путь жизни, но и для мужчин – князей, которым само духовенство толковало, что Бог им велел *так* быть, правду делать на этом свете, в правду суд судить, т. е. оставаться князьями, ибо и без того велика и священна их обязанность пред Богом; и которые, однако ж, всеми силами стремились избавиться от суетного, мимотекущего и мятежного жития сего[1] и постригались в монахи и даже принимали схиму, по крайней мере, на склоне дней или же пред самою смертью. Что же касается княгинь, то, например, в одном московском княжеском колене мы встречаем из них целый ряд инокинь, заслуживших даже соборной памяти: Ульяна – супруга Калиты; Александра-Марья – супруга Семена Ивановича; Евдокия – супруга Донского; Софья – супруга Василья Дмитриевича; Марья – супруга Темного[2]. То же находим

---

1 История Русской Церкви. – Е. Р. Ф. – I, 238.

2 Библиофил. VI, 443 и далее.

и в других великокняжеских родах – Суздальских, Тверских, Рязанских и т. д.

Как Анна Всеволодовна являлась образцом для южных княгинь, так Марья, супруга Суздальского Всеволода Юрьевича, стала идеалом постнической жизни для княгинь северной Руси. Она постриглась в 1256 г. по случаю восьмилетней, вероятно, неизлечимой болезни, еще при жизни мужа. Со многими слезами провожали ее в монастырь сам князь, сын и дочь, епископ, игумен – отец ее духовный и другие игуменьи, и все чернецы, и все бояре и боярыни, и черницы изо всех монастырей, и все горожане. Не можно было видеть общей скорби, замечает летописец, потому что до всех была добра «преизлиха». С детства в страхе Божием любила правду, воздавая честь епископам, игуменам, чернецам, пресвитерам; «любяше черноризец и подаваше требование им». Была нищелюбица, страннолюбица, печальных, скорбных и больных всех утешала и подавала им «требование»[1]. Своею добродетельною жизнью княгиня надолго оставила по себе святую память. Позднейший летописец, описывая благочестивые подвиги Евдокеи Донской, говорит, между прочим: «Постави на Москве церковь камену зело чудну (Вознесенский монастырь) и украси ю сосуды златыми и серебренными... и сотворила паче всех княгинь великих, разве точью Марья княгини Всеволода, иже в Володимире...».

Летописцы ни о каких других женских подвигах и не рассказывают, как о пострижении, о построении монастырей и церквей, потому что в их глазах эти-то подвиги одни только и заслуживали и памяти, и подражания.

С особенною приверженностью устремлялось к иноческому идеалу честное вдовство, так что из вдов-княгинь, и особенно бездетных, почти каждая оканчивала свою жизнь инокинею, а часто и схимницею. Это становилось как бы законом для устройства вдовьей жизни. «А княгини моя, – го-

1 ПСРЛ. Т. I. – С. 178.

ворит Володимер Василькович Галицкий, – по моем животе, оже восхочет в чернице пойти пойдет; аже не восхочет ити, а како ей любо, мне не воставши смотрить, что кто иметь чинити по моем животе»[1]. Здесь князь вначале указывает честному вдовству обыкновенный путь, но затем освобождает княгиню, отдает ей на свою волю идти и не идти в монастырь, замечая, что не смотреть же ему, как будут жить после его смерти. Если бы вдова-княгиня была, по мнению века, совершенно свободна в действиях, то князь не стал бы и говорить о том, как ей нужно жить во вдовах.

В летописях читаем следующее, вполне типическое сказание о таком обычном подвиге честного вдовства: в 1365 г. «преставися князь (Нижегородский) Андрей Константинович в *чернцех* и в *схиме*», которую принял в несомненной час кончины. «Княгиня же Василиса много плакавше по князи своем; пребысть вдовою 4 лета; пострижена бысть от Дионисья архимандрита печерского и наречено бысть имя ей Феодора. Бысть ей тогда от рождения лет 40, и раздавала все именье свое церквам и монастырям и нищим, а слуги своя и рабы и рабыни распустила на свободу, а сама нача жити в монастыре у св. Зачатья, иже сама создала при князи своем; живяще же в молчании, тружаяся рукодельем, постом, поклоны творя, молитвами и слезами, стоянием нощным и не спанием; многажды и всю нощь без сна пребываше; овогда чрез день, овогда чрез два, иногда же и пять дней не ядяше; в мовыю не хожаше, в срачице не хожаше, но власяницу на теле своем ношаше; пива и меду не пьяше, на пирех и на свадьбах не бываше, из монастыря не исхожаше, злобы ни на кого же не держаше, ко всем любовь имеяше. Таковое же доброе и чистое житье ее видевше, многи болярыни, жены и вдовицы и девицы постригашася у ней, яко бысть их числом и до девяносто, и вси общее житье живяху. Княгиня же Василиса, поживши в черницах восемь лет и поболевши неколико дний, преставися ко Господу».

1 ПСРЛ. Т. II. – С. 215.

Мы увидим ниже, что тот же идеал жизни буква в букву воплощался в благочестивом вдовстве и в конце XVII столетия.

Само собою разумеется, что он господствовал и в частном не княжеском быту, особенно в знатном и боярском, который всегда пользовался материальною возможностью осуществлять постническую жизнь в полной мере. Московский летописец записал между прочим, что в 1393 г. «преставися игуменья Алексиевская (Алексеевского монастыря) Ульяна, от града Ярославля, дщи некоего богата родителя и славна; сама же зело богобоязлива, чернечьствовавши лет боле 30 и игуменья бывши 90 черницам, и общему житью женскому начальница сущи, и многим девицам учительница бывши, и за премногую добродетель любима бысть от всех и почтена всюду...»[1].

Так высок и силен был идеал иночества и постничества в нравственной жизни нашего древнего общества. Весьма естественно, что он как идеал лучшей жизни вносил свои стремления, а с ними и свои порядки и в обыкновенную повседневную мирскую жизнь, устраивал эту жизнь по своим образцам и правилам.

Женская среда как среда исключительно домашняя еще сильнее должна была подчиняться уставам этого идеала. Женщина была *домодержец*; деятельность ее исключительно распространялась на устройство дома, даже ограничивалась только этим устройством. Воплощая наилучший идеал жизни в делах и отношениях дома, она с течением времени мало-помалу, незаметным образом, одною лишь нравственною стихиею этого идеала должна была из своего дома создать монастырь или нечто такое, что по своим нравственным уставам очень напоминало чин жизни монастырской. Если древнейший Домострой, обращаясь к мужчине – главе дома, указывал ему идеал игумена, говоря: «Вы есте игумени во своих домах»; то здесь, вместе с указанием домовного идеала, определялся только идеал повелевающей

[1] *Карамзин Н. М.* История Государства Российского. Т. V. – Прим. 254.

власти. Воплощение же этого идеала в самой действительности, во всех его нравственных и формальных подробностях все-таки главным образом лежало на женщине; ее мыслию, ее душою он приводился в дело, ее постоянною заботою он неизменно поддерживался. Мы, разумеется, говорим здесь о женщине не в единичном каком-либо смысле, а говорим вообще о женской нравственной многовековой деятельности. Мы хотим сказать, что монастырский устрой домашней жизни выработан многовековою нравственною деятельностью женской личности, конечно, при постоянном и непрестанном воздействии поучения, которое проповедовал исключительно только мужчина.

Что устройство домашней жизни, по крайней мере в достаточном, т. е. господарском быту, имело действительно своим высшим идеалом устройство монастырское, это в полной мере подтверждает Домострой XVI в, записавший лишь то, что искони существовало или искони должно было существовать как наилучший порядок и образец частной жизни.

По уставу Домостроя (глава XII), «по вся дни утре, встав, Богу молитися, и отпети заутреня и часы, а в неделю (воскресенье) и в праздник – молебен... и святым каждение. В вечере – отпети вечерня, навечерница, полунощница, с молчанием и со вниманием и с кроткостоянием, и с молитвою, и с поклоны. Пети внятно и единогласно. (Навечерница, и полунощница, и часы, в дому своем всегды, по вся дни пети: то всякому христианину Божий долг.) После *правила* (т. е. после этой вечерней службы) отнюдь, ни пити, ни ести, ни молвы творити, всегда – всему тому наук... А ложася спати всякому христианину по три поклона в землю пред Богом положити. А в полунощи, всегда, тайно встав, со слезами прилежно к Богу молитися, елико вместимо, о своем согрешении...». В другой главе, XIII, Домострой прибавляет: «А дома всегда навечерница и полунощница и часы пети: а кто прибавит *правила* своего ради спасения, ино то на его

воли: ино боле мзда от Бога... Всегда четки в руках держати и молитва Иисусова во устех непрестанно имети, и в церкви и дома, и в торг ходя, и стоя, и седя, и на всяком месте».

«В домовном обиходе и везде, всякому человеку, государю или государыни, сыну, дщери, или служке, мужеска полу и женска, стару и малу – всякое дело начати, или ести, или пити, или ества варити, или печя – всякое рукоделие и всякое мастерство, устроив себя, преже святым покланятися трижды в землю, или по нужде до пояса; кто умеет (молитву) "Достойно" проговорити да *благословясь у настоящего*, да молитву Иисусову проговоря, да перекрестяся, молвя: "Господи благослови, Отче!" тоже, так начати всякое дело, ино тому Божия милость поспешествует, ангелы невидимо помогают, а беси отбегнут... А делати с молитвою и с доброю беседою или с молчанием; а делаючи что -ибудь, начнется слово праздное или хулное, или с роптанием, или смехи, или кощуны, или скверные и блудные речи, или песни бесовские и игры – от такова дела и от таковые беседы Божия милость отступит, ангелы отидут скорбни и возрадуются нечествии демони... (гл. XIX). Егда трапезу предпоставляеши, вначале священницы Отца и Сына и Святого Духа прославляют, потом Богородицу; и Пречистой хлеб вынимают и, по отшествии трапезы, Пречистые хлеб воздвизают и отпев: "Достойно", вкушают и чашу Пречистые пиют...». Это особый монастырский обряд возношения хлеба в честь Богородицы, который действительно совершался за обедом и в царском, и в боярском быту. Мы не станем приводить новые выписки, ибо все наказы и поучения Домостроя сводятся к одной цели, чтобы сделать домашнюю жизнь непрестанным молением, непрестанным подвигом молчания и отвержения от всяких мирских удовольствий и веселостей, непрестанным, чисто аскетическим отрицанием всего того, чего сама жизнь отвергнуть не в силах.

Таким образом, если благочестивый дом древней Руси, т. е. самый лучший дом, во многом по своей жизни уподоб-

лялся монастырю, то появление в таком дому терема было простым, так сказать, естественным условием благочестивой жизни, по преимуществу для среды малолетних, неразумных, какими наравне с детьми почитались и взрослые девицы, да и вообще женщины. Словом сказать, появление терема было воплощением благочестивых воззрений на женскую личность как на соблазн мира, а потому он должен был явиться еще в то время, когда такие воззрения достаточно уже укрепились в обществе. Мы видели, что уже в XI в. стремление к терему обнаружилось в сестрах Мономаха. Они девами приняли иноческий чин и таким образом засвидетельствовали, что и перед тем их жизнь была отдана идеалам постничества и удаления от мира.

Итак, терем был произведением «древнего благочестия», прямым и непосредственным выводом всего нравственного поучения нашей древности. Само собою разумеется, что вначале, в первые века, он не мог быть распространен в такой силе, как это было в XVI и XVII столетиях, т. е. что в первые века женщине вообще было свободнее, чем в века последующие. Но как велика была эта свобода – мы не знаем. Можем догадываться, что она была незначительна, и в обществе женщина все-таки не имела своего места. В лице жены или в лице матерой вдовы она имела место на пиру и на свадьбе; на свадьбе имела свое место и девица. Но вот и все ее свободные шаги. Других свободных и в собственном смысле общественных ее движений, общественных ее отношений мы не примечаем, и летописи, как и другие памятники, не сказывают нам ничего такого, почему возможно было бы заключать, что женская личность пользовалась между людьми значением самостоятельного и независимого члена общественной деятельности. Ни одного события, ни одного женского подвига, в котором выразился бы такой именно смысл женского лица. Исключительными и единственными женскими подвигами являются подвиги любви к иночеству, подвиги

усердной и самой ревностной набожности во всех ее видах. «Ни на что же иное упражняшеся, но токмо о церковных потребах и о миловании укореных, маломощных и всех бедующих», – говорит летописец о княгине Анне – жене Рюрика Киевского[1]. Одними только этими подвигами и украшается женская личность в течение нескольких веков. А это показывает, что исключительной формою женской и особенно девичьей жизни во все эти века был непременно терем, созданный иноческим же идеалом.

Сидят она за тридевятью замками,
Да сидит она за тридевятью ключами,
Чтобы и ветер не завел, да и солнце не запекло,
Да и добры молодцы, чтоб не завидели...

Сидит Афросинья в высоком терему
За тридесять замками булатными;
А и буйные ветры не вихнут на ее,
А красное солнце не печет лице...

Дочь прекрасная Опракса королевична,
Сидит она во тереме в златом верху;
На ню красное солнышко не оппекет,
Буйные ветрушки не оввеют,
Многие люди не обгалятся...[2]

Еще по уставу Ярослава Великого, взятому с византийского номоканона, женская личность наравне со всеми *церковными людьми*, т. е. с людьми, по особому смыслу своей

[1] После, в 1206 г., когда муж княгини Анны и она сама были насильно пострижены Романом Галицким, и когда по смерти Романа Рюрик посметал с себя чернеческие порты – одежды и хотел было расстричь и жену, – она, услышав об этом, воспротивилась и постриглась в схиму. – ПСРЛ. Т. I. – С. 179; т. II. – С. 153.

[2] Былины: *Киреевский П. В.* – III, 64, 71; *Рыбников П. Н.* – Т. I. – С. 187; галиться – глазеть, смотреть; волочиться; также смеяться, издеваться. – Областной словарь.

житейской доли выделенными от мира-общества[1], отдается в покровительство церковного суда, который, таким образом, является исключительным, привилегированным ее защитником, охранителем и оберегателем ее чести, ее личного достоинства[2]. Церковный суд, как известно, отделил в свою область все дела домашней, семейной жизни, взял на свое попечение и в свой непосредственный надзор *дом* как особую нравственную среду со всеми ее движениями. Вот почему и женщина, как человек по преимуществу домовный, отделилась от суда общего, мирского. Не княжий, а святительский суд преследовал ее оскорбителя; стало быть, не общество, а Церковь подавала ей руку защиты. Как было прежде – мы не знаем; но с того времени, как начал действовать такой нормоканон, женская личность по самому смыслу закона уже отстранялась от мира-общества, являлась членом не светского, общественного, а домашнего только мира, который вдобавок усиленно и неутомимо строился по монастырскому идеалу. Таково положение, указанное женщине, без сомнения, еще в первый век самою Церковью. Идея этого положения и была тою нравственною и в полном смысле органическою силою, которая, как из зародыша, развила из себя все последствия, т. е. все идеальные и материальные формы женского быта со всею нравственною и даже умственною его выработкою.

Женщина постепенно удалилась от общества и являлась в нем уже только в силу некоторых жизненных обстоятельств, требовавших неминуемо ее присутствия или же дававших ей самостоятельное вотчинное значение. Так, мы

1 Каковы были: вообще духовный и иноческий *чин* и все, которые работали Церкви; затем *общественные сироты*, которые жили, существовали, призревались, кормились и питались Церковью, т. е. вообще люди, не имевшие в миру-обществе самостоятельного значения, не находившие там места или уходившие от мира: нищие, слепцы, хромцы, странники, вдовицы бездомные и всякие *изгои* или сироты в общественном смысле.

2 Подробности по этому предмету см. в первоначальных Уставах Св. Владимира и Ярослава. Суд Ярослава в Переяславском Летописце. – Временник Общества Истории и Древностей Российских и др. Кн. 9 . – С. 42.

упоминали уже, что только *матерая* вдова пользовалась правом стоять в известных случаях наравне с мужчиною и занимать соответственное своему значению место в общежитии. По крайней мере, общество не смущалось присутствием женщины, приобретавшей мужеские черты вследствие своего, хотя и вдовьего, но, тем не менее, отеческого, или, вернее сказать, вотчинического значения. Так, мы встречаем новгородку, боярыню Марфу Борецкую, пирующую в обществе мужчин – новгородских бояр[1].

В Новгороде, но не исключительно в нем одном, а повсюду в северной Руси, *матерые вдовы* и в боярском, и в посадском быту стоят в ряду вообще домовладык, а стало быть, в ряду мужчин. Вот почему Великий князь Иван Московский, покорив Новгород, при помощи новгородцев же, своих сторонников, очень заботится о том, чтобы его сторонникам, боярам, детям боярским и *боярыням*, которые служат Москве, за то не мстили никакою хитростию. Затем он требует крестного целования, политической присяги вместе со всеми горожанами и от *жен боярских, вдов* и даже от людей боярских[2]. Основанием такому значению новгородских *боярынь-вдов* послужило, конечно, вотчин-

[1] Описатель жития прп. Зосимы Соловецкого рассказывает, что однажды преподобный был позван на пир к боярыне Марфе Борецкой, которая пожелала благословиться у него, потому что прежде ссорилась с ним за беломорские свои земли. На пиру его встретили с радостью. Боярыня с дочерьми благословилась у него «и посади его посреди пиршества». Преподобный по своему обычаю кушал мало и сидел молча. Взглянув на сидевших бояр, он изумился своему видению: шесть мужей сидели пред ним без голов. Взглянул в другой и в третий раз – пред ним то же видение. Преподобный покачал головою, вздохнул, прослезился, оставил пищу и поник на землю. Сколько ни просили его продолжать трапезу, он оставался недвижим. По окончании стола и по воздвизании святого пречистого хлеба (Богородицы), поклонившись и получив многия дары в свой монастырь, преподобный удалился. Боярыня после спрашивала его ученика Данила, отчего преподобный не стал участвовать в пиршестве. Ученик рассказал ей о страшном видении. Оно потом подтвердилось и событием: великий князь Иван Васильевич, взяв Новгород, казнил Дмитрия Исакова (Борецкого), Губу Селезнева, Киприяна Арзубьева и иных трех – именно тех самых бояр, о которых было видение прп. Зосиме.

[2] ПСРЛ. Т. VI. – С. 218, 219.

ное имущество, которым они владели и распоряжались после мужей и на котором оставались полными хозяевами, вероятно, до своей смерти. Мы видим также, что *матерые* вдовы – великие княгини: в Москве – Евдокея, Софья; в Твери – Евдокия, Настасья; в Рязани – Анна; в Суздале – Елена, и т. д. – при малолетних или молодых сыновьях получают большое самостоятельное значение; они сидят на *вдовьем столе*, т. е. на отчинном владеньи своих мужей, следовательно, по необходимости являются деятелями общества, принимают участие в мужском общежитии, сидят в Думе – совете с боярами, принимают послов, имеют даже *своих* особых бояр[1] и вообще своею личностью заступают во многих случаях место княжеской мужниной личности. Это особенно обнаруживается в XIV и XV столетиях, когда вотчинное начало в княжеском быту совсем окрепло и всюду распространилось.

Нельзя, конечно, отвергать предположения, что самостоятельность матерой вдовы своими общественными отношениями могла бы со временем выработать для женской личности по крайней мере известную долю свободных действий и вообще открыть двери терема. Но мы знаем, что княжеская вотчинность повела к развитию самовластия, а потом самодержавия и единодержавия. В борьбе за самовластие сам мужчина принужден был держать себя с осторожкою. Что же оставалось для женщины?

Ее затворничество становится уже решительною необходимостью как наилучшая мера безопасности от всякого лиха. Она мало-помалу лишается даже и той малой доли свободных действий, какою обладала прежде.

В XV в. великая княгиня еще принимает к себе иноземных послов. В 1476 г. великая княгиня Софья Палеолог принимает у себя венецианского посланника Контарини и любезно с ним разговаривает (см. ранее, с. 8); в 1490 г.

[1] Например, мать тверских князей Евдокия. – Лет. Никон. – IV, 297; мать московских князей Марфа – вдова Василия Темного.

в своей средней повалуше она принимает цесарского посла Юрья Делатора. Эти случаи можно было бы объяснить тем, что Софья сама была иноземка и потому не изменяла своим обычаям. Но мы знаем, что такой обычай существовал и у наших княгинь.

В 1483 г. великий князь Иван Васильевич женил своего сына Ивана на Елене Волошанке и по этому случаю послал к Тверскому великому князю Михаилу Борисовичу посла Петра Заболотского с *радостью*, т. е. со свадебными дарами: Михаилу – мех вина, его матери, матерой вдове Настасье Александровне – мех вина; его (Михаила. – *Ред.*) жене Софье – мех вина и по два убрусца жемчугом сажены. Хотя в летописи и не говорится, что посол подносил дары великим княгиням лично, но это разумелось само собою. Вслед за тем тот же летописец рассказывает, что, когда у новобрачных супругов родился сын Дмитрий, великий князь опять послал в Тверь с *поклоном* Владимира Елизарьева, но Тверской князь не принял поклона и выслал его вон из избы, и «*к матери* ему идти не велел, к великой княгине Настасье», следовательно, посол должен был к ней идти, как велось в обычае. В 1502 г. великий князь посылал к Аграфене – княгине Рязанской поклон и слова, которые посол по необходимости должен был передавать лично[1].

Такие посольства к великим княгиням, особенно к матерым вдовам, были обыкновенным и даже неизбежным делом в княжеских отношениях до XVI в. Вотчинная независимость ставила в независимое, самостоятельное положение и женскую личность. Ибо одна только вотчина, вообще собственность, и всякому лицу давала смысл самостоятельного члена в общественном союзе. Но как скоро это положение, все-таки случайное для женщины, сделалось уже невозможным при утверждении единодержавия и соединении всех отдельных княжеских вотчин в одно государство, то в княжеском быту женщина осталась снова в своем терему.

[1] Тверская Летопись. – С. 499. *Карамзин Н. М.* Указ. соч. Т. V. – Прим. 563.

Развитие ее общественных прав прекратилось, а домашняя жизнь стала еще теснее по причинам, которые указаны нами выше. Терем сделался не только монастырем, но и крепостью, которая защищала уже не от одних грехов, но и от всяких лиходеев и врагов. В начале XVI в. затворничество женщин было делом окончательно уже решенным и не подлежащим никакому сомнению и колебанию. Так, например, мы видим, что известный Домострой хотя и не дает прямых наставлений держать жен и дочерей взаперти, но его молчание показывает, что этот обычай был так силен в господарском кругу, что не требовал уже особых наставлений. Домострой и не предполагает, чтобы жены, не говоря уже о дочерях, могли ходить в мужские беседы. Он застает жизнь терема уже в полном цвету. Он дает только советы жене, как вести себя в гостях, у других жен, как вести себя с гостьями дома, причем строго наказывает: «Коли *гостьи* случатся, то питие и еству и всякий обиход приносит (в комнату) один человек *сверстной*, кому приказано; а *мужеск пол* туто, и рано и поздно, отнюдь, *никакоже, ни какими делы, не был бы*, кроме того, кому приказано, *сверстному человеку*, что принести или о чем спроситься, или о чем ему приказать, и всего на нем пытать: и безчиния и невежества; а иному никому туто дела нет».

«Состояние женщин, –говорит Герберштейн (еще в начале XVI в.), – самое плачевное: женщина считается честною тогда только, когда живет дома взаперти и никуда не выходит; напротив, если она позволяет видеть себя чужим и посторонним людям, то ее поведение становится зазорным... Весьма редко позволяется им ходить в храм, а еще реже – в дружеские беседы, разве уже в престарелых летах, когда они не могут навлекать на себя подозрения».

Такою свободою, как мы видели, пользовались одни только *матерые вдовы*. В отношении дружеских бесед Домострой, между прочим, замечает: «А в гости ходити, и к себе звати: ссылатца с кем *велит муж*...». По свидетельству

Бухау, в половине XVI в. знатные люди не показывали своих жен и дочерей не только посторонним людям, но даже братьям и другим близким родственникам и в церковь позволяли им выходить только во время говенья, чтобы приобщиться Св. Таин или иногда в самые большие праздники. Только самые дружелюбные отношения хозяина дома к своим гостям растворяли иногда женский терем и вызывали оттуда на показ мужскому обществу его сокровище – хозяйку дома. Существовал обычай, по которому личность женщины и именно жены хозяина, а также жены его сына или замужней дочери чествовалась с каким-то особым, точно языческим поклонением.

Этот обычай, по свидетельству Котошихина, заключался в том, что, когда на празднике или в другое время собирались гости и начинался обед или честной пир, хозяин дома приказывал жене выйти поздороваться с гостями. Она приходила в столовую комнату и становилась в большом месте, т. е. в переднем углу, а гости стояли у дверей. Хозяйка кланялась гостям *малым обычаем*, т. е. до пояса, а гости ей кланялись *большим обычаем*, т. е. в землю. Затем господин дома кланялся гостям большим же обычаем, в землю, с просьбою, чтобы гости изволили его жену целовать. Гости просили хозяина, чтоб наперед он целовал свою жену. Тот уступал просьбе и целовал первый свою хозяйку; за ним все гости, один за одним, кланялись хозяйке в землю, подходили и целовали ее, а отошед, опять кланялись ей в землю. Хозяйка отвечала каждому поясным поклоном, т. е. кланялась малым обычаем. После того хозяйка подносила гостям по чарке вина двойного или тройного с зельи, а хозяин кланялся каждому (сколько тех гостей ни будет, всякому по поклону) до земли, прося вино выкушать. Но гости просили, чтоб пили хозяева. Тогда хозяин приказывал пить наперед жене, потом пил сам и затем обносил с хозяйкой гостей, из которых каждый кланялся хозяйке до земли, пил вино и, отдав чарку, снова кланялся

до земли. После угощения, поклонившись гостям, хозяйка уходила на свою половину, в свою женскую беседу, к своим гостям, к женам гостей. В самый обед, когда подавали круглые пироги, к гостям выходили уже жены сыновей хозяина или замужние его дочери или жены родственников. И в этом случае обряд угощения вином происходил точно так же. По просьбе и при поклонах мужей гости выходили из-за стола к дверям, кланялись женам, целовали их, пили вино, опять поклонялись и садились по местам, а жены удалялись на женскую половину.

Дочери-девицы никогда на подобные церемонии не выходили и никогда мужчинам не показывались. Иностранные свидетельства присовокупляют к этому, что жены являлись угощать вином гостей только в таком случае, когда хозяин желал гостям оказать особенный почет и когда дорогие гости настоятельно просили о том хозяина; что целовались не в уста, а в обе щеки; что жены к этому выходу богато наряжались и часто переменяли верхнее платье во время самой церемонии, что они выходили уже по окончании стола и притом в сопровождении двух или трех сенных девиц, т. е., вероятно, также замужних женщин или вдов из служащих в доме боярских боярынь; что, подавая гостю водку или вино, они наперед сами всегда пригубливали чарку.

Этот обряд, подтверждая самым делом все рассказы о затворничестве русских женщин, о раздельности древнерусского общества на особые половины – мужскую и женскую, вместе с тем показывает, что личность замужней женщины – хозяйки дома – приобретала для дружеского домашнего общества высокий смысл домодержицы и олицетворяла своим появлением и угощением самую высокую степень гостеприимства. В этом обряде выразилась также чисто русская форма уважения к женской личности вообще, ибо земные поклоны, как мы уже заметили, были первозданною формою наиболее высокого чествования личности.

Итак, затворничество женской личности, ее удаление от мужского общества явилось жизненным выводом тех нравственных начал жизни, какие были положены в наш быт восточными, византийскими, но не татарскими идеями. Не у татар мы заимствовали наш терем, а он сложился мало-помалу сам собою, ходом самой жизни, как реальная форма тех представлений и учений о женской личности, с которыми мы познакомились еще в самом начале нашей истории и которые в течение веков управляли воспитанием, образованием, всем развитием русской женщины.

С одной стороны, представление о нескончаемом ее детстве, хотя и выросшее из своеземных родовых определений, но вкорененное главным образом учением пришлой восточной культуры; с другой стороны, укорененное тою же культурою представление о низменном достоинстве женского существа вообще, представление древнезмииного соблазна, который является как бы прирожденным качеством в женской личности, – все это вместе невидимыми путями, самым духом этих представлений помогло создать для женской личности положение, так выразительно описанное Котошихиным.

Когда старая наша жизнь должна была свести свои счеты, обнаружить, что именно ею сделано в течение веков, к каким итогам пришли все начала, положенные в ее бытовую почву, в это время, т. е. в конце XVII столетия, и женская личность должна была выразить себя во всей полноте, высказать все, что она могла сказать. В это время она действительно и высказывает все, чем было исполнено ее развитие. Но разновидные типические черты, в каких обозначилась женская личность допетровской Руси, сплетаются в один идеальный образ, который господствует над всеми остальными и служит если не всегда основою, то всегда неизбежным покрывалом каждого женского характера. Это образ *постницы*, образ иноческого благочестия в миру, иноческой чистоты и строгости нрава, иноческого

освящения всех помышлений и всех поступков, всякого движения душевного и телесного. В этом только образе познавалась нравственная красота женской личности.

Но, само собою разумеется, как всегда бывает в общественной культуре, идеал становился очень часто только драпировкою личности и вовсе не обозначал того, что он должен был обозначать в действительности. В сущности, это была лишь внешняя форма достойной жизни, форма тогдашней образованности, тип изящных нравов по понятиям и представлениям века; это был нравственный костюм, без которого невозможно было показываться в обществе, пред людьми. Поэтому очень часто в таком костюме являлись личности, вовсе и не помышлявшие о нравственных обязательствах, какие на них налагал этот костюм, и жившие в нем, как себе любо. Но зато являлись нередко и такие личности, которые с неумолимою последовательностью доводили задачу этого идеала до его желанного конца. К таким именно личностям принадлежит, например, известная постница боярыня Морозова, урожденная Соковнина, биография которой послужит для нас самым наглядным и полным изображением теремной жизни вообще, а в особенности вдовьей жизни в боярском быту; изображением тех стремлений, в которых женская личность допетровской Руси полагала высшее достоинство и высшую красоту нравственной жизни.

Боярыня Федосья Прокопьевна Морозова была супругою Глеба Ивановича Морозова – одного из первых бояр при царе Алексее Михайловиче. Он был родной брат знаменитого царского *дядьки*, царского пестуна и кормильца Бориса Ивановича, которого молодой государь почитал вместо отца родного, который одно время, в первые годы Алексеева царствования, управлял государством с полною

властью. В молодых летах оба брата были сверстниками царя Михаила – государева отца, были его спальниками, следовательно, домашними, комнатными, самыми приближенными людьми. В этом чине они значатся уже с 1614 г., т. е. почти с первого года его царствования[1].

Борис был пожалован в бояре в 1634 г. (генваря 6) вместе с назначением в дядьки к царевичу Алексею. Глеб получил боярство в 1637 г. декаря 25 тоже с назначением в дядьки другому царевичу – Ивану Михайловичу. Однако царевич скоро помер, 9 генваря 1639 г., и Морозов при комнате государя в своем боярском приближении остался без особого дела. Надо было по необходимости взять какое-либо не комнатное уже, а общее. В 1641 г. послышали приход Крымского царя; Глеб Морозов был послан первым воеводою в Переславль Рязанский; но близкой войны не предвиделось, и воевода потом мирно возвратился в Москву. В 1642 г. он был назначен воеводою в Новгород, где и оставался до вступления на царство царя Алексея (в 1645 г.), который, вероятно, по просьбе Глебова брата Бориса – царского воспитателя – поспешил возвратить его в Москву, ибо далекое воеводство все-таки удаляло бояр от приближения к государю. Впрочем, в 1649–1651 гг. он снова воеводствует в Казани, где для Бориса был очень нужен свой человек, потому что на Низу у него было много вотчин, самых богатых, продукты которых, например вино и хлеб, Борис ставил подрядом в казну именно в Казани. Последняя известная нам служба Глеба Морозова состояла в том, что он сопровождал государя в двух польских походах 1654 и 1655 гг., находясь, впрочем, неотлучно при его особе.

Вообще возвышение старшего брата поднимало, конечно, на приличное место и младшего – человека, повидимому, ничем особенно не замечательного. На Федосье Прокопьевне Глеб женился уже вторым браком. Первая супруга его была Авдотья Алексеевна (из чьего рода – не-

[1] Архив Оружейной палаты. – № 717, № 915,№ 948.

известно), на которой он женился еще в 1619 г. генваря 18[1]. С нею он жил более 30 лет.

В генваре 1648 г. на свадьбе царя Алексея с Милославскою Авдотья Алексеевна была посаженою матерью у государя, а сам Морозов в то время вместе с царским тестем Ильею Даниловичем Милославским оберегал сенник или спальню новобрачных. Такие свадебные *чины* ясно указывают, каким доверием и почетом пользовалась чета Морозовых. Вместе с тем они же свидетельствуют, что Морозов, как и его жена, были тогда уже люди не совсем молодые. Неизвестно, скоро ли после того Морозов овдовел. В 1654 г. февраля 12 женою его была уже Федосья Прокопьевна. В этот день она находилась в числе *приезжих* боярынь, приглашенных царицею к родинному столу царевича

[1] Тогда, по старому обычаю, на другой день свадьбы, 19 генваря, новобрачные приезжали во дворец к царю Михаилу челом ударить и получили от государя и его матери, иноки Марфы Ивановны, «благословение» и подарки.

Царь «пожаловал стольника Глеба Ивановича Морозова, как приезжал на завтрея своей свадбы государю челом ударить, благословил его: образ Живоначальные Троицы, оклад серебрен золочен басмянной, венцы сканные; да кубок серебрен золочен с кровлею на высоком стоянце, по кубку и по стоянцу ложечки короткия, под пузом у кубка на древе стоит мужик литой в правой руке топор поднял вверх; на кровле у кубка под пузом и по стоянцу травки спускные белы; на кровле травка с нацветы. Весу гривенка 40 золотн. (взят с поставца у погребново ключника у Федора Красново). Да 10 арш. бархату червчатого, цена по рублю по 20 алт. аршин; 10 арш. атласу жолтого, цена по рублю по 10 ден. аршин; 10 арш. камки куфтерю лазоревого, цена по рублю аршин. Сорок соболей, цена 25 руб.

От государыни и великой старицы иноки Марфы Ивановны стольнику Глебу Ивановичу Морозову благословение: образ Бориса и Глеба, обложен серебром, венцы сканные; 10 арш. атласу червчетого по рублю аршин; да сорок соболей цена 20 руб.

От государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея. Руси стольника Глеба Ивановича Морозова жене Овдотье Алексеевне благословение: образ Спасов обложен серебром; 10 арш. камки куфтерю червчатого, цена по рублю по 3 алт. по 2 ден. аршин; 10 арш. камки адамашки лазоревой, цена по 25 алт. аршин. Сорок соболей, цена 20 руб.

От государыни великия старицы иноки Марфы Ивановны Глебовой жене Морозова Овдотье Олексеевне благословение: образ Пречистые Богородицы обложен серебром; 10 арш. камки адамашки желтой по 26 алт. по 4 ден. аршин; да сорок куниц, цена 12 руб.» – Архив Оружейной палаты. – 7127. – № 909.

Алексея Алексеевича и занимала в порядке званных пятое место – следовательно, одно из передовых, разумеется соответственно месту своего мужа. Таким образом, замужество Морозовой относится ко времени между 1648 и 1654 гг.

Но боярыня Федосья Прокопьевна не по мужу только была близка к царскому Двору. По всему вероятию, она и замуж выдана из Дворца, от царицы, или, по крайней мере, при особенном ее покровительстве. Она была дочь окольничого Прокопья Федоровича Соковнина – человека очень близкого и, без сомнения, родственника царицы Марьи Ильичны. Московский дворянин П. Ф. Соковнин является при дворце в свадьбу царя Алексея с Марьею Ильичною[1]. В это время он вводится в состав свадебных чинов и занимает едва видное, предпоследнее место в числе *сверстных*, т. е. близких или родственных дворян, назначенных идти для береженья за санями царской невесты. Тогда же и сын его Федор, стольник, находится также предпоследним в числе стольников – поезжан. Другой сын –Алексей, вероятно, еще малолетний, определяется вскоре после свадьбы в стольники к самой царице и занимает после Милославского, Голохвастовых, Федора Михайловича Ртищева и Еропкина тоже предпоследнее место[2].

Через месяц после царской свадьбы мы находим отца Прокопия Соковнина уже во дворецких у царицы[3]. Это значило, что он сидел за поставцом царицына стола, т. е. отпускал для ее особы яствы, – должность весьма важная и влиятельная в домашнем обиходе царей. Через три с поло-

[1] Он в 1625 г. был воеводою на Мезени; в 1631 г. послан в Крым посланником; в 1635 г. живет снова воеводою в Енисейске и в 1648 г., в царскую свадьбу, является провожатым у саней новобрачной царицы.

[2] Дворцовые разряды. Т. III, – С. 81, 83; Архив Оружейной палаты. – № 991, расходная записка 1648 г. марта 26. Что касается Алексея Прокофьевича Соковнина, то известно, что, быв уже окольничим, в 1697 г. он вместе с Цыклером поднимал заговор на убийство Петра и за то был казнен на Красной площади.

[3] Архив Оружейной палаты. – № 990.

виною месяца, 1650 г. марта 17, в именины царя, он жалуется в окольничие. В чине окольничего он призывается даже к посольским делам и в 1652 г. находится третьим в ответе у литовских послов с титулом наместника Калужского. Затем во время государева похода на польского короля оставляется в Москве оберегать царицу и ее Двор.

Сын его Федор идет в своих повышениях за ним следом. Точно так же, вероятно, по старости или по болезни отца, он садится в 1668 г. за царицын поставец и в 1670 г. получает думное дворянство; но в том же году он теряет это звание, вероятно, по случаю царской опалы на сестру.

Кроме двух братьев Федосья Прокопьевна имела еще сестру младшую Евдокию, которая была за князем Петром Семеновичем Урусовым – тоже весьма приближенным к царю человеком. Он был крайчим (с 1659 г.), т. е. подавал государю за столом питья и ествы[1].

Из всего этого видно, что семейство Соковниных принадлежало к обществу домашних людей царского дворца. Оно сумело воспользоваться своим положением, распространив свои родственные связи и со знатным боярством, каковы были, например, Морозовы.

Федосья Прокопьевна вышла замуж 17 лет. Мы видели, что Глеб Морозов был уже человеком пожилым, так что при вступлении во второй брак на Соковниной он имел, по крайней мере, лет 50. Неравенство лет не могло, конечно, остаться без влияния на жизнь молодой боярыни. Мы не знаем обстоятельств ее замужней жизни, но, имея в виду общий склад тогдашнего домашнего быта бояр, можем предположить, что дом такого степенного, богобоязненного и тихого боярина, каким действительно был Глеб Иванович, скорее чем другие должен был служить наиболее полным выражением идеалов Домостроя. Недаром Глеб Иванович был спальником царя Михаила, недаром он назначен был

[1] Крайчий – без сомнения, от слова *кроить*, резать. Этому чину соответствует теперешнее немецкое название должности «оберфоршнейдер».

оберегать и спальню новобрачного царя Алексея. Вместе с тем близость обоих супругов ко дворцу также способствовала, и очень много, к устройству этого дома в порядке и в духе чтимой старины, ибо в дворце упомянутые идеалы, особенно на женской половине, являлись уже неизменными установлениями благообразной и, так сказать, образцовой жизни. Все поучения: «како веровати и како жити богоугодно» – во всех своих мелких подробностях соблюдались здесь с неизменною строгостью.

Но важнее всего было то, что духовником Федосьи Прокопьевны, как и ее сестры Евдокии, был знаменитый протопоп Аввакум. В свое время он очень близок был к царскому духовнику Стефану Вонифатьевичу. «Тогда (в 1650-х гг.) и я при духовнике в тех же полатех шатался, яко в бездне мнозе», – свидетельствует он в одном из своих сочинений[1]. Не мудрено, что многие из приближенных к этим палатам, и в том числе Соковнины, имели его духовным отцом. Ясно также, какому духовному настройству подчинялись в то время умы дворцового общества.

Духовная дочь Аввакума, Федосья Прокопьевна, видимо, была душа крепкая и верующая и рано обнаружила свою привязанность к добродетельной постнической жизни по тому идеалу, какой тогда господствовал в умах, искавших спасенья. Для нее не были чужды вопросы такой жизни, и, быть может, за то самое ее очень любил знаменитый брат ее мужа, Борис Иванович Морозов. Сказание о ее жизни[2] говорит, что Борис многие часы проводил с ней, беседуя духовно, что, когда она приходила к нему, сам встречал ее любезно и говаривал: «Приими, друг мой духовный, пойди, радость моя душевная»; а провожая после беседы, прибавлял:

[1] Слово плачевно и ответ на крестоборную ересь.

[2] Мы пользовались списком этого сказания еще из библиотеки покойного И. И. Царского, принадлежащей теперь графуУварову (по каталогу г. Строева № 474, прежний № 392). Н. С. Тихонравов ознакомил уже читателей с этим сказанием в «Русском Вестнике» 1865 г. № 9 по списку, ему принадлежащему.

«Насладился я паче меда и сота словес твоих душеполезных». Стало быть, боярыня еще в молодую свою пору была уже достаточно знакома с постническим уставом жизни, так что могла вести разумные беседы с одним из разумнейших людей царского синклита. Вообще все показывает, что она была настолько развита, хотя и односторонне, что вопросы жизни для нее не были вопросами только хозяйства или домашней порядни, а были вопросами духовных стремлений найти самую правду жизни, что она вовсе не была способна сделаться «под фарисейским только видом постницею», каких было довольно в то время.

Необходимо заметить, что в это самое время в русском обществе в его мыслящей или сколько-нибудь знающей, начитанной среде совершался великий и нравственный, и социальный поворот от старого Домостроя к новине Петровской, от востока к западу. Имя этому повороту было *Никон*, потому что Никон – патриарх смелою рукою формально коснулся наиболее заветного начала жизни, именно ее невежественного застоя. И прежде него думали и говорили то же, как он потом стал делать; не он первый и не он один желал сдвинуться с места. Первым был в этом случае сам государь. Но на Никона все должно было обрушиться по той причине, что его почин касался области, в которой застой невежества был очевиднее и осязательнее, и притом всегда освящался авторитетом святыни, а потому давал широкие средства отстаивать его против малейшего движения умной новины, давал, кому это было нужно, широкие средства авторитетом веры спутать и замешать понятия общества. И вот имя Никона явилось знамением времени, стало ежеминутно повторяться в домашних беседах, во всяких сборищах, в тишине домашней клети и на шумных стогнах града. В народе поднялось великое и многое *размышление* и соблазн, а в иных местах и расколы. Судили и рядили о том, где правда. Говорили: «Вот поют вместо благословен грядый, обретохом веру истинную. И то их нововводное пение

на великое поношение и укоризну Российскому государствию и православной нашей вере. Будто они, никонианцы, обрели нам истинную веру, а до сей поры мы и отцы наши и те святые русские чудотворцы, от Владимирова крещения лет 700 будучи, будто истинные веры до них не знали на земле?.. Да они же имя Сыну Божию переменили, печатают по новому с приложением излишней буквы Иисус; и тем учинили великий раскол и смуту, и от иных государств вечный понос и укоризну. Будто мы и отцы наши от Владимирова крещения, толико лет будучи, имени Сыну Божию не знали... Ведь если и в царском имени кто сделает перемену (описку), так того казнят, как же дерзнуть нарушить имя Сына Божия»[1].

«К сему же и звоны церковные переменили, звонят к церковному пению дрянью, аки на пожар гонят или всполох бьют; и тем велие поругание и православным соблазн и возмущение; и в уставах того, чтоб дрянным обычаем по пожарному звонити, нигде не указано».

«Иноки ходят в церковь Божию и по торгам без мантий, безобразно и безчинно, как иноземцы или кабацкие пропойцы; и тем своим безчинием иночеству конечное творят поругание, какого и в мирских отнюдь не бывает; потому что, если и мирянин кто от благоговейных и честных так будет творить, что без верхнего одеяния, в ферезях и в полукафтанье, в церковь Божию или посреди торжища дерзнет войти, – не все ли зрящии посмеются ему и пьяницу суща или ума исступивша почтут быти. Если срам есть и бесчестие мирским так творить, кольми паче иноком... а они и прочее одеяние иноческое все переменили и возлюбши иных земель платья и обычаи их и нравы. Вместо рясок носят иноземные широкие кафтаны, а вместо скуфей иноческих носят черные колпаки... Тако же и вместо клобуков

[1] Известно, что знаменитый Григорий Котошихин в 1660 г. был бит батогами за то, что в донесении наших послов государю о переговорах со шведами вместо слов «великого государя» написал только *великого*, а *государя* по ошибке пропустил. – *Соловьев С. М.* Указ. соч. Т. XI. – Прим. 22.

возлагают на главы своя странно некое их инообразное подобие, соблазна ради и душевные пагубы: нельзя очи иметь нимало непокровенными, паче же юным и безбрачным, до конца соблазнительно и стыдно. А прежде в русской земле этого не бывало и странных этих иноземских обычаев вводить не смели...»

«Попущением Божиим умножися в нашей Русской земле иконного письма неподобного... Пишут Спасов образ Еммануила – лицо одутловато, уста червонныя, власы кудрявые, руки и мышцы толстыя, персты надутые, тако же и у ног бедры толстые и весь – яко немчин, брюхат и толст учинен; лишь сабли-то при бедре не писано... А все то Никон враг умыслил: *будто живые писать*. А устрояет все до фряжскому, сиричь по немецкому... Ох! Ох! Бедная Русь! Чего то тебе захотелось немецких поступок и обычаев? А Миколе чудотворцу имя немецкое – Николай! В немцах немчин был Николай, а во святых нет нигде Николая...»

Далее: перстосложение, аллилуия и очень многое тому подобное – все это и подверглось великому народному размышлению и рассуждению, особенно между духовными отцами и их детьми. Несмотря, однако ж, на разнообразие предметов размышления все дело сводилось к одному концу: стоять ли за старое или идти за новым. В обществе произошло разделение, главною причиною которого было крайнее невежество этого самого общества, воспитанного в самой тесной опеке, в среде бесчисленных запрещений, отречений и анафем; у которого отнята была наука, закрепощена мысль, которое поэтому не имело способов само поверять действия своих руководителей и учителей и по необходимости шло за ними как бы на привязи. Очень понятно, что в таком обществе всякое наглое, самоуверенное слово, а тем более всякий фанатизм, даже фанатизм юродивого, должен был почитаться за возглашение самой истины.

Фанатизм всегда и является неизбежным плодом умственной тесноты и умственной ограниченности. И в самом

деле, очень трудно было в это время русскому человеку узнать, на какой стороне правда.

В самом дворце умы колебались и многие втайне стояли, разумеется, за старое, за уставы Домостроя и помогали всеми дворцовыми путями и средствами своим единомышленникам. Там старое могло приобрести еще большую силу от того, что многие, особенно близкие к царице, находили в старых порядках точку опоры для борьбы с новыми людьми, которые нередко переступали старым дорогу.

Само собою разумеется, что старый устав жизни, ее буква, обряд нигде не должен был иметь такой силы, как именно на женской половине дворца, которая долго и после реформы сохраняла привязанность к старым порядкам быта.

В таком положении находились дела, когда обычным путем шли лета замужества молодой и знатной боярыни. Бог дал супругам сына Ивана по их молитве и явлению чудотворца Сергия, как говорит сказание о жизни Морозовой, что достаточно свидетельствует о благочестивой ее набожности. Но в 1662 г. Глеб Иванович умирает, и она остается вдовою. Случай решительный в жизни Морозовой[1]. С этих пор ее постническое набожное настроение мыслей получает широкий простор для своих действий, для стремлений к заветным идеалам. Дóлжно полагать, что в это время ей было не более 30 лет, ибо всего замужества едва ли было лет 12; тогда и сын остался после отца лет десяти.

Первые годы вдовства шли, однако ж, обыкновенным порядком. Она жила, как следует большой и богатой боярыне, выезжала во дворец и к родным и знакомым с подобающею боярскою обстановкою и держала свой дом в подобающем устройстве.

Об этом времени ее вдовства пусть расскажет нам сам Аввакум, ее духовный отец и учитель. «Знаю, друг мой милый, Феодосья Прокопьевна, – пишет он к ней в одном из своих писем, – жена ты была боярская, Глеба Ивановича

[1] В тот же год помер и ее отец – Прокопий Федорович Соковнин.

Морозова, вдова честная, в Верху чина царева близь царицы: в дому твоем тебе служило человек с триста, крестьян у тебя было 8000, имения в твоем дому было на 200 или на 250 тысяч; друзей и сродников в Москве множество-много; ездила ты к ним в карете дорогой, украшенной мусиею и серебром, на аргамаках многих, по 6 и 12 запрягали, с гремячими цепями; за тобою слуг, рабов и рабынь, шло человек по 100 и по 200, а иногда и 300, оберегая честь твою и здоровье. Пред ними красота твоего лица сияла, как древле во Израили вдовы Июдифы, победившей Навходносорова князя Олоферна. И знаменита была ты в Москве, как древняя Девора в Израили, Есфирь, жена Артаксеркса».

Но вдова по понятиям и убеждениям века уже носила в своем положении смысл монахини. Честное вдовство само собою уже приравнивалось к обету иноческому. Поэтому вся жизнь вдовы со всею ее обстановкою естественным и незаметным путем преобразовывалась в жизнь монастырскую. Так же точно, естественным и незаметным путем, устраивалась и жизнь честного девства, например жизнь царевен. Не первая и не последняя была Федосья Прокопьевна, устроившая свой дом по-монастырски. Таков был господствующий идеал для женской личности, свободной от супружества.

Боярыня строго исполняла правило церковное и келейное, не оставляла его и тогда, когда бывала в Верху, у царицы или сестер государя, ибо и там все правила, т. е. известные церковные службы, молитвы и моления, тоже исполнялись строго. Утром после *правила* и книжного чтения, обыкновенно святого жития на тот день или поучительного слова, боярыня занималась домашними делами, рассуждая домочадцев и деревенские крестьянские нужды, заботясь об исправлении крестьянском», иных жезлом наказуя, а иных любовию и милостью привлекая на дело Господне». Это продолжалось до 9-го часу дня и больше, т. е. до полудня и больше, по нашему счету. Остальное время посвящалось

добрым, богоугодным делам, в числе которых первое и самое важное место принадлежало делам милосердия. В тот век добродетельному и благочестивому сердцу были, как воздух, необходимы нищие, странные, убогие, калеки, юродивые, старцы и старицы. Добродетельное и благочестивое сердце не имело в то время другого, более чтимого, выхода на путь добрых дел. Вот почему в то время каждый зажиточный, а тем более богатый дом собирал у себя эту братию не только в известные, определенные церковными обычаями дни, но и давал ей в своем доме местожительство.

Составитель Домостроя поучает: «Церковников и нищих, и маломожных и бедных и скорбных и *странных* пришельцев, призывай в дом свой и по силе накорми и напой и согрей; и милостыню давай, и в дому и в торгу и на пути; тою бо очищаются греси, те бо ходатаи Богу о гресех наших. Чадо! Люби мнишеский чин, *и странные пришельцы всегда бы в дому твоем питалися*, и в монастыри с милостынею и с кормлею приходи; и в темницах и убогих и больных посещай и милостыню по силе давай».

Федосья Прокопьевна в дому своем держала пятерицу инокинь *изгнанных* и радовалась – «зря в нощи на правиле себя с ними стоящую и на трапезе их с собою ядущих...». А иных в дому своем гнойных держала – Феодота Стефановича и прочих: им своими руками служила, язвы гнойные измывала и в уста их пищу подавала... Дом ее был отворен юродивым, и нищим, и сиротам, которые «невозбранно в ее ложницах обитали и с нею ели с одного блюда»[1].

---

[1] По свидетельству Курбского, знаменитый Адашев десять имел прокаженных в дому своем, тайно питающе и обмывающе их руками своими (*Карамзин Н. М.* Указ. соч. Т. IX. – Прим. 20). Он же упоминает о знатной вдове Марии, которая «во святом вдовстве превоссияюща, яко на преподобном теле ее носити ей вериги тяжкие» (Там же. – Прим. 31). Подобные подвиги и обеты исполнила и боярыня Морозова. Татищев свидетельствует, что «двор царицы Праскевы Федоровны от набожности был *госпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов*: между многими такими был знатен Тимофей Архипович, сумасбродный подьячий, которого за святого и пророка суеверцы почитали... Он меня не любил, – прибавляет Татищев, – за то,

В числе юродивых, которые невозбранно приходили в дом к Морозовой, были два ревнителя древнего благочестия – Феодор и Киприан. Федор ходил в одной рубашке, мерз на морозе босой, в день юродствовал, а ночь всю стоял на молитве со слезами. Аввакум рассказывает о нем: «Много добрых людей знаю, а не видал такого подвижника; зело у него во Христа вера горяча была... не на баснях проходил подвиг... Пожил у меня с полгода на Москве, а мне еще не моглося; в задней комнате двое нас с ним. И много час-другой полежит, да и встанет, тысячу поклонов отбросает, да сядет на полу, а иное – стоя, часа с три плачет. А я так и лежу, иное сплю, а иное не можется. Когда уж наплачется гораздо, тогда ко мне приступит: “Долго ли тебе, протопоп, лежать того? Образумься, ведь ты поп: как сорома нет?..” И мне не можется, так меня подымает, говоря: “Встань, миленькой батюшко!” Ну таки вытащит как-нибудь меня... сидя, мне молитвы велит говорить, а он за меня поклоны кладет: то-то друг мой сердечной был!» За староверство он отдан был под начало рязанскому архиепископу Илариону, терпел там муки и, наконец, бежал в Москву. Об этом побеге, облекая его, разумеется, в форму чуда, он рассказывал Аввакуму: «Был я на Рязани под началом у архиепископа на дворе, и зело он, Иларион, мучил меня: редкой день, коль плетьми не бьет, и скована в железах держал, принуждая к новому антихристову таинству. И я уже изнемог. В нощи моляся, плачу, говорю: Господи! Аще не избавишь мя, осквернят меня и погибну; что тогда мне сотворишь!.. И вдруг, батюшко, железа все грянули с меня и дверь, и отперлась, и отворилась сама. Я, Богу

что я не был суеверен и руки его не целовал». (История Российская. Кн. I. – С. 46). Стало быть, целование руки принадлежало к обыкновенным знакам чествования таких юродивых. Из надгробной надписи Тимофея Архипова (в Чудовом монастыре, в стене церкви Михаила Архангела) узнаем, что он, «оставя иконописное художество, юродствовал миру, а не себе, а жил при дворе царицы Параскевы Федоровны двадцать осемь лет» и скончался 29 мая 1731 г., а погребен 30 (*Тромонин К. Я.* Достопамятности Москвы. – М., 1844. – С. 73).

поклонясь, да и пошел. К воротам пришел, и ворота отворены. Я по большой дороге к Москве напрямик... К тебе спроситься прибрел: туда ли мне опять мучиться пойти или, платье вздев, жить на Москве». Протопоп велел ему вздеть платье и ухоронил его на время у себя. После его сослали на Мезень и там будто бы повесили.

Об отношениях этого юродивого к Морозовой узнаем нечто из письма к ней Аввакума: «Поминаешь ли Феодора? – пишет он к ней. – Не сердишься ли на него? Поминай Бога для, не сердитуй! Он не больно пред вами виноват был. Обо всем мне пред смертию покойник писал: стала-де ты скупа быть, не стала милостыни творить, и им на дорогу ничего не дала. И с Москвы от твоей изгони съеха, и кое-что сказывал. Да уже Бог вас простит; нечево старова поминать. Меня не слушала, как говорил, а после пеняешь мне. Да что на тебя дивить? *У бабы волосы долги, а ум короток*! Прости же меня, а тебя Бог простит во всем».

Другой юродивый, Киприян, известен был даже самому государю, следовательно, мог бывать даже и в царском дворце, и тем более что во дворце в числе «верховых богомольцев» находились также и юродивые. Киприян не раз и государя молил о восстановлении древнего благочестия; ходил по улицам и по торжищу, свободным языком обличая новины Никоновы. Под конец он был сослан в Пустозерской острог и там казнен за свое упорство.

Идея юродства не была, конечно, самобытным созданием русской жизни. Она явилась как неизбежное последствие тех культурных начал, какие были принесены к нам из Византии и которые создали и постоянно создавали, произраждали множество соответствующих этому явлений жизни. Византиец Кедрин, объясняя себе юродство, говорит между прочим: «Тако повелел Бог и Исаии ходить нагу и необувенну: и Иеремии обложить чресленник о чреслех, и иногда возложить на выю клади и узы, и сим образом проповедывать; и Осии повелел пояти жену блу-

жения и паки возлюбити жену любящую зло и любодейцу; и Иезекиилю возлежать на десном боку четыредесять и на левом сто пятдесят дней, и паки прокопать стену и убежать и пленение себе приписать и иногда меч изострить и им главу обрить и власы разделить на четыре части. Но да не вся глаголю, смотритель и правитель словес повелел каждому из сих быть того ради да не повинующийся слову, возбудятся зрелищем странным и чудным. Новость бо зрелища бывает довлетельным учения залогом»[1]. Юродивый, таким образом, в идее своей всегда носил смысл пророка, обличителя греховной жизни, обличителя всякой ее неправды. Самою выразительною силою его обличений и был его подвиг, всегда исполненный или крайнего цинизма жизни, или безграничного отвержения ее мирских требований, вообще подвиг уродства жизни, что как необычайное и чудесное одно только и могло возбуждать застоявшиеся, неподвижные умы века.

Собирая около себя такое убогое общество, поучаясь его подвигами и словесами, Морозова и свой досуг употребляла на рукодельные труды также в пользу нищих и убогих. Иногда руки ее «пряслице касались», садилась она за прялку, готовила нити и теми нитями шила рубахи и ввечеру с одною из стариц, домочадицею Анною Амосовною, одевшись сама в рубище, ходила по улицам и «по стогнам града, по темницам и по богадельням и оделяла рубахами нищих; раздавала им деньги, овому рубль, а иному 10, а инде 50 рублев и мешок сотной».

Монах Симонова монастыря, Трифилий, крепкий старовер, происходивший также от благородного корени, указал ей благоговейную инокиню Меланию. Она призвала ее и, слышав ее словеса, очень возлюбила; избрала ее себе матерью, с иноческим смирением отдалась ей под начало, сделалась ее послушницею и до самой смерти ни в чем не ослушалась ее повелений. С тою Меланиею они также по

1 *Кедрин Г.* Деяния церковные и гражданские. Ч. I. – С. 97.

темницам тайно ходили пешими ногами, носили милостыню; обтекали чудотворные места, соборы, монастыри и церкви, нося жертвы, как достойно.

Все это было в то время делом обыкновенным, делом необходимым для благочестивого и богобоязненного жития, все это вполне согласовалось с общими обычаями, с общими потребностями нравственной, добродетельной жизни и особенно с идеалами и стремлениями честного вдовства. Так именно добрая вдова жила в течение всего старого века нашей истории. Но мы заметили, что время, в какое жила Морозова, было особенное время: умы были в размышлении, наставал конец старому веку, наставало светопреставление; почва колебалась, нужно было искать спасения, искать, где правда жизни. Оставаясь в среде Домостроя, дыша его духом, Федосья Прокопьевна, конечно, не могла очень сочувствовать разным новинам или, в сущности, разным обличениям и исправлением застаревших и укоренившихся ошибок. Авторитет предания был так велик в ее глазах, был так велик в глазах всех, кто хотел строгого и точного исполнения преданных уставов, что и одно прикосновение к его букве, даже к одной черте этой буквы, казалось своевольным высокоумием, опасным вольнодумством, против которого, как против антихристовой напасти, следовало бороться всеми силами. Так были и воспитаны и настроены тогдашние убежденные, размышляющие и рассуждающие умы. Но Морозова вдобавок имела руководителем известного юродивого – фанатика Аввакума и постоянную поддержку в обществе своих стариц, нищих и юродивых, особенно матери Мелании или Маланьи, без сомнения – такого же Аввакума, только в женском образе, следовательно, с чертами более мягкими; да видимо, она не отвергалась в своих мыслях и на женской половине дворца.

Таким образом, ей очень трудно было увидать истинный путь к правде. Она по необходимости явилась защит-

ницей старой лжи и как натура крепкая и прямая провела свою защиту до конца, без колебаний. Для женской личности потребовалось мужественное дело. Ни на какое другое дело эта личность не была приготовлена. Она была воспитана аскетическим идеалом; она и не задумалась отдаться ему вся. Здесь во всей полноте обозначился только положительный вывод учений Домостроя, выразилась неумолимая их последовательность.

Ревнуя за истину, которую в понятном ослеплении видеть вовсе не могла, Морозова очень горячо принимала тогдашние вопросы дня – эти размышления общества о перестановке на новые старых обычаев и привычных порядков; и везде – и у себя дома при гостях, и на беседах, где сама бывала, крепко отстаивала старину. «На беседах Никониан мужеска полу и женска безпрестанно обличая – везде им являшеся, яко лев лисицам», – говорит Аввакум. Прежде всего, конечно, обсуждение этих вопросов открывалось между родственниками. Федосья Прокопьевна легко убедила в своих мыслях родную сестру Евдокию, княгиню Урусову – жену царского кравчего князя Петра Семеновича, которая тоже сделалась духовною дочерью Аввакума. Обе сестры жили как бы «во двою телесех едина душа», и Евдокия точно так же отдалась в повиновение и послушание матери Меланьи, умоля ее, чтобы попеклась о спасении ее души. Соковнины были в родстве с Ртищевыми; те и другие происходили из Лихвинских городовых дворян, а в это время стали близкими собеседниками дворца. Царский постельничий, а потом окольничий Михаил Алексеевич Ртищев – отец знаменитого Федора Михайловича Ртищева, приходился молодой вдове дядею. Его дочь, Анна Михайловна, по мужу Вельяминова, была у царицы Марии Ильичны кравчею, правою рукою во всех домашних хозяйских делах. Ртищевы стояли за Никона, покровительствовали киевским ученым, т. е. вообще науке. Они ближе были к царю, который был исполнен стремле-

ний исправить и украсить жизнь по новым образцам. Соковнины стояли за Аввакума, за старое благочестие, потому что были ближе к царице, в быту которой знали только одни старые уставы и потому крепко за них держались.

Михаил Алексеевич Ртищев вместе с дочерью Анною – двоюродною сестрою Морозовой, желая ее поколебать и на свой разум привести, много раз начинали выхвалять Никона и его реформы. Отверзала уста Прокопьевна и говаривала: «Поистине, дядюшка, вы прельщены врагом, а потому и похваляете *римские* ереси и их начальника». Тогда продолжал седовласый старец: «О чадо Феодосия! Что ты это делаешь, за чем отлучилась от нас? Посмотри, вот наши дети: об них нам надо заботиться и, смотря на них, радоваться и ликовать, жить общею любовью. Оставь распрю, не прекословь ты великому государю и всем властям духовным. Знаю, прельстил и погубил тебя злейший враг, протопоп (Аввакум). Не могу без ненависти и вспомнить о нем. Сама ты его знаешь!». С улыбкою сожаления и тихим голосом отвечала Морозова: «Нет, дядюшка, не так; неправду вы говорите, горьким сладкое называете; отец Аввакум – истинный ученик Христов, *потому что страждет он* за закон Владыки своего; а потому, кто хочет Богу угодить, должен послушать его учения». Слова, имеющие глубокий исторический смысл. Вот, стало быть, где дóлжно искать главной причины ослепления Морозовой, главнейшей причины ослепления и помрачения многих, начиная от царского дворца и до убогих крестьянских клетей. И как это совпадает со всеми идеалами, какими был исполнен ум того века, какими было напитано воображение людей, сколько-нибудь коснувшихся тогдашнего книжного учения. Потому что он страдает, потому что его гонят – вот мысль, которая и во всякую другую эпоху всегда возбуждает доброе сердце к сочувствию, а в нашей старине эта мысль по многим историческим, культурным, умственным и нравственным причинам всегда и неизмен-

но привлекала к себе общее сочувствие, которое не входило в тонкое разбирательство, за какое дело кто страдает; но, видя страдание, шло за ним, относилось с милосердием ко всякому страждующему. Оттого гонимые, особенно если еще замешивалась тут какая-либо государственная или церковная тайна, всегда приобретали у нас необъяснимый успех. Идеалы же Морозовой, доведенные ее фанатизмом до своих последних выводов, должны были даже требовать именно этого последнего акта ее аскетической жизни. Все было готово в идее: оставалось только воплотить эту идею, это *слово* жизни, в самое *дело*.

Однажды Анна Михайловна Ртищева стала ей говорить: «Ох сестрица, голубушка, съели тебя старицы-белевки[1], проглотили твою душу! Как птенца, отлучили тебя от нас. Не только нас ты презираешь, но и о сыне своем не радишь; одно у тебя чадо, а ты и на того не глядишь. Да еще какое чадо-то! Кто не подивится красоте его... Подобало бы тебе и на сонного-то на него любоваться; да поставить бы над красотою его свечи от чистейшего воска, и не вем каковую лампаду возжечь, да и зреть доброты лица его и веселиться, что такое чадо драгое даровал тебе Бог. Ведь сколько раз и сам государь, и с царицею удивлялись красоте его, а ты его ни во что полагаешь и великому государю не повинуешься. Уж когда-нибудь за твое прекословие придет на тебя и на дом твой огнепальная ярость царева и повелит дом твой разграбити. Тогда и сама многие скорби подымешь, и сына своего сделаешь нищим. А все будет твоим немилосердием».

Морозова ответила: «Неправду ты говоришь. Не прельщена я, как ты говоришь, от белевских стариц. Но по благодати Спасителя моего чту Бога Отца целым умом; а Ивана я люблю и молю о нем Бога беспрестанно и радею о полезных ему, душевных и телесных. Если же вы думаете,

[1] Старицы из города Белева, а может быть, старицы-белицы, ходившие в белецком, мирском платье.

чтобы мне из любви к Ивану душу свою повредить, или, своего жалеючи, отступить благочестия и этой руки знаменной (перстосложения), – то сохрани меня Сын Божий от этого неподобного милования. Не хочу, не хочу, любя своего сына, себя губить, хотя он и один у меня: но Христа люблю более сына. Знайте, если вы умышляете сыном меня отвлекать от Христова пути, то никак этого не сделаете. Вот что прямо вам скажу! Если хотите, выведите моего сына Ивана на Пожар (площадь в Китай-городе, где казнили) и отдайте его на растерзание псам, устрашая меня, чтобы отступила от веры... но не помыслю отступить благочестия, хотя бы и видела красоту, псами растерзанную. Я знаю одно: если до конца во Христовой вере пребуду и сподоблюсь вкусить за это смерти, то никто не может отнять у меня моего сына».

Слышавши это, Ртищева ужаснулась, как грома, этих страшных слов и много дивилась такому *крепкому мужеству* и *непреложному разуму*, замечает повествователь жития Морозовой. Без всякого сомнения, еще больше укрепилось ее мужество и совсем помрачился разум, когда (в 1662 г.) в Москве снова явился из ссылки Аввакум. По его рассказу, он был принят радушно. «Видят они, что я не соединяюсь с ними, вот и приказал государь уговаривать меня Родиону Стрешневу, чтобы я молчал. И я потешил его: царь, то есть, от Бога учинен и добренек до меня. Чаял либо помаленьку исправится. А се посулили мне Симеонова дни сесть на Печатном дворе, книги править; и я рад сильно: мне то надобно лучше и духовничества. Пожаловал (царь), ко мне прислал 10 рублев денег, царица 10 рублев денег; Лука, духовник (царский) 10 рублев же, Родион Стрешнев 10 рублев же, а *дружище* наше Феодор Ртищев (двоюродный брат Морозовой), тот и 60 рублев казначею своему велел в шапку мне сунуть; а про иных нечего и сказывать! Всяк тащит да несет всячиною. У света моей Федосьи Прокофьевны Морозовы, *не выходя, жил во дворе*, понеже дочь мне духовная;

и сестра ее, княгиня Евдокия Прокофьевна, дочь же моя. Светы мои мученицы Христовы! А у Анны Петровны Милославския[1] покойницы всегда же в дому был, и к Феодору Ртищеву браниться с отступниками (киевскими учеными) ходил, да так-то с полгода жил».

Если в самом деле таковы были отношения многих знатных москвичей к Аввакуму, хотя, видимо, он много и прибавляет, то каким же образом Морозова могла отстать от своего духовного отца? Равнодушной она не была к вопросам веры, а прямое и непосредственное влияние на нее имел лишь один Аввакум со своими единомышленниками.

Естественно, что она все больше и больше укреплялась в истине своих размышлений и мнений и, горячо их защищая по беседам, без сомнения, научением и словами самого Аввакума или матери Меланьи обратила, наконец, на свои подвиги внимание царя. Была к ней присылка по повелению цареву, приходили испытывать ее Иоаким, чудовской архимандрит, и Петр, соборный ключарь. Узнав ее крепкое мужество, и непреложный разум, и готовность даже умереть за правду, государь повелел отписать у ней на свое имя половину вотчин. Но опала продолжалась, вероятно, недолго. Во дворце у ней была сильная рука. 1 октября 1666 г. государь возвратил ей отписанные вотчины «для прошения государыни царицы Марьи Ильичны и для всемирные радости рождения царевича Ивана Алексеевича»[2]. Получив после такого искушения малую ослабу, Морозова еще деятельнее предалась своим подвигам, «раздавала многую милостыню, многое имение расточила неимущим, многих с правежу (за долги и другие взыскания) выкупала, монастырям довольная подавая, пустынников многих потребными удовлетворяя, прокаженных в дому своем упо-

[1] Вероятно, это Анна Ильична Милославская – родная сестра царицы Марьи Ильичны и вдова боярина Бориса Ивановича Морозова. Она умерла 26 сентября 1667 г.

[2] Тайного приказа записка о всяких делах 175 г. в Государственном архиве.

коевая...». Чем больше теснили эту душу, тем глубже она уходила в свои заветные стремления.

Федосья Прокопьевна начала мыслию «на большее простираться», т. е. более и более приближаться к цели своего идеала, желая ангельского образа... Она надела власяницу... «под одеянием ношаше на срачице, устроена от скота власов белых, кратко рукава» – и очень печалилась о том, когда этот ее подвиг случайно был замечен ее снохою – женою Бориса Морозова, Анною Ильичною Милославскою, родною сестрою царицы. Аввакум рассудил тогда ее печаль, что «не хотением сотворилось, Бог простит».

Во дворце, конечно, все знали, что делается у Морозовой; хорошо знали образ ее мыслей и все ее речи и подвиги; но в первое время, когда еще тянулось дело Никона, она могла оставаться в покое, ибо, как видно, и для самого царя не совсем еще было ясно, в чем именно заключался настоящий смысл всей этой смуты умов. Морозова, наконец, приступила к матери Мелании, лобызая ее руки, и поклоняясь на землю, и умоляя, чтобы облекла ее в иноческий чин. Разумная мать отказывала по многим причинам. Невозможно этого в дому утаить, и если узнают у царя, многим людям многие будут скорби по случаю розысков и допросов, кто постриг. Если и в дому можно утаиться, то приспеет время сына браком сочетать, тогда необходимо будет много заботиться, хлопотать, уряжать свадебные чины, а инокам это делать не в лепоту. Наконец, дóлжно будет уже стать до конца *мужески* и, откинув и малое это лицемерие и приличие, совсем уже не ходить в церковь. Морозова не оставляла своего намерения – «зело желаше несытною любовию иноческого образа и жития». Когда аввакумовцы увидели, как твердо и неизменно стоит в своем желании их верная послушница, то решились исполнить ее просьбу. Она была пострижена старовером – бывшим Тихвинским игуменом Досифеем, наречена Феодорою и отдана в послушание той же матери Мелании. Стало быть,

совершился только торжественный обряд того, что уже существовало на самом деле... Формальное пострижение только дальше подвинуло это дело. Прокопьевна, зря на себе иноческий чин, начала вдаватися большим подвигам, посту и молитве и молчанию, а от домовных дел ото всех начала уклоняться, сказывая себя больною, и все судные дела в доме приказала ведать своим верным людям. По всему вероятию, это событие случилось в то время, как умерла царица Марья Ильична (1669 г., март), а с ее смертию потеряла свой вес и значение и партия Милославских с их родичами, вообще сочувствовавшая староверству. 1 сентября 1668 г. Морозова еще являлась во дворец на праздничный званый обед. Царица очень любила Морозову и очень была к ней милостива да, вероятно, не совсем чуждалась и ее мыслей, – тем чувствительнее была эта потеря для Морозовой. Весьма понятно, что после того дворец ей опостылел, ибо не осталось уже там корней для поддержки старого «благочестия», а, напротив, с каждым днем входило туда новое «благочестие». В генваре 1671 года царь вступил во второй брак с Натальею Кирилловною Нарышкиных.

Морозовой по старшинству ее дворского положения следовало в свадебном чину стоять во главе других боярынь и титлу царскую говорить. Она отказалась от этой чести, отговариваясь, что «ногами зело прискорбна, не могу ни ходити, ни стояти». Царь понял причину ее отказа и прогневался, отозвавшись: «Знаю, она загордилася!». Морозова тоже очень хорошо знала, что царь это дело просто не покинет. Но она шла все дальше и дальше к своим задушевным идеалам и так далеко отошла от прежнего своего мира, что он стал ей казаться нечистым. Она не хотела идти во дворец за тем, что в царском титле приходилось ей наименовать государя благоверным и руку его целовать, да нельзя было избыть и благословений архиерейских... Она решилась лучше страдать, чем с ними сообщаться. Царь до времени

оставил ее в покое и только осенью в том же году послал к ней поговорить боярина Троекурова, которого один иноземец характеризует так: «При дворе он играет пустую ролю и назначен более для увеселения царя, чем для совещаний в государственных делах». Вероятно, это был человек недалекий, но набожный. В бояре он пожалован в 1673 г. Таким образом, значение посла соответствовало самому предмету посольства. Спустя месяц к ней явился другой посол, более ей близкий, князь Петр Урусов, царский крайчий и муж ее сестры Евдокии. Этот принес ей выговор, чтоб покорилась и приняла все новоизданные их законы; если же не послушает, то быть бедам великим. «Я не знаю, какое я сделала зло царю, – отвечала Морозова. – Удивляюсь, почто царский гнев на мое убожество. Если хочет отставить меня от правой веры – в том бы государь на меня не покручинился, да будет ему известно: до сей поры Сын Божий покрывал меня своею десницею; у меня и в мысли не было, чтоб, оставя человеческую веру, принять Никоновы уставы. В вере христианской, в которой родилась и крестилась, в том хочу и умереть. Подобало бы царю оставить меня в покое, потому что от православной веры мне отречься невозможно». Когда донесли об этом государю, он «множае гневом роспаляшеся, мысля сокрушить ее»: «Тяжело ей бороться со мною, –сказал он предстоящим, – один кто из нас непременно одолеет». «И бысть в Верху не едино *сидение* об ней, думающе, как ее сокрушат».

Особенно будто бы споспешествовали этой думе архиереи, и старцы жидовские, и еромонахи римские, т. е. все те достойные ученые, призванные из Киева и Полоцка, которые в то время и были предметом ненависти для людей старого благочестия. Эти ученые ненавидели будто бы Морозову особенно за то, что «ревнительница везде, и в дому своем, при гостях, и сама где бывала, на беседах, опровергала и обличала их прелесть, а им в уши вся сия приходиша».

Гроза царского гнева приближалась. Пятерица инокинь, изгнанных с какою-то Еленою во главе, составлявших домашнюю обитель Морозовой, стала просить ее, чтоб отпустила их, чтоб их тут не захватили. Трудно было расстаться с ними, трудно было разорить этот маленький монастырь-мирок, где все сложились и шло так правильно, одно за другим, наполняя дни, недели и целые годы мыслью, что неустанно и богоугодно исполняется устав жизни. Морозова остановила своих друзей и держала их недель пять после первого царева выговора: «Нет, голубицы мои, не бойтесь! Теперь еще не будет ко мне присылки», – утешала она их, скорбящих о своем положении.

Морозова говорила так, потому что знала о ходе своего дела во дворце. Ее сестра княгиня Евдокия Урусова не оставляла ее в это тяжелое время и только на малый час отлучалась в свой дом за тем, без сомнения, чтобы проведать у мужа, что там говорят о них в Верху. Через мужа она и получала надобные сведения. Когда было узнано, что время приближается, Федосья Прокопьевна рассталась со своими старицами: «Матушки мои, время мое пришло, – сказала она им. – Идите все вы, может быть, Господь вас где сохранит, а мне благословите на Божие дело и помолитесь обо мне, чтоб укрепил меня Господь *страдати* без сомнения о имени Господни». Тот же князь Урусов, который приходил к Морозовой с царским выговором, предупредил жену, что на бедную ее сестру скорби великие идут, государь неукротимым гневом содержим и решает на том, чтоб скоро ее из дому изгнать. Не высказывая, вероятно, из боязни, своего мнения о царской воле, он, однако ж, прибавил: «Послушай, что я скажу тебе и внимай моим словам. Христос в Евангелии глаголет: предадут бо вас на сонмы и на соборищах их бьют вас; пред владыки же и цари ведены будете меня ради во свидетельство им. Глаголю же вам, другом своим: не убойтеся от убивающих тело и потом не могущих больше что сотворити. Слышишь, княгиня, сам Христос глаголет!

А ты внимай и памятуй». Княгиня радовалась таким словам мужа[1] и наутро, когда он поехал во дворец, отпросилась у него опять к сестре. «Иди, да не оставайся там долго, – ответил муж. – Я думаю, что сегодня же присылка к ней будет». Княгиня, однако ж, осталась у сестры до ночи. Они вместе ожидали «гостей».

Во второй час ночи (т. е. по закате солнца) отворились большие ворота на дворе Морозовой. Ужаснулась Федосья Прокопьевна, поняв, что идут ее мучители. От страху ослабели ее ноги, и она приклонилась на лавку. Княгиня подкрепила ее: «Матушка, сестрица, дерзай. С нами Христос! Не бойся, встань, положим начало». Совершили они семь поклонов приходных, одна у другой благословились свидетельствовать «истину». Морозова в постельной своей комнате легла на свой пуховик, близ иконы Богородицы Федоровской. Княгиня ушла в чулан – род алькова, устроенный в той же спальне для наставницы Мелании, и там легла на постель. Сестры, видимо, хотели показать, что они собрались уже опочивать. В постельную с великою будто бы гордостью, дерзко, вошел чудовский архимандрит Иоаким в сопровождении думного дьяка Лариона Иванова и,

[1] С какою целью говорил так князь Урусов, т. е. возбуждал фанатизм жены – неизвестно. Но все можно думать. Можно думать, что он сам тайно придерживался древнего благочестия и не обнаруживал своих мыслей с целью сохранить за собою весьма влиятельное при дворе место крайчего, которое он и сохранил до самой смерти царя Алексея, а при Федоре был пожалован даже в бояре. Но в таком случае за что же он подводил свою бедную жену под явную опалу? Собеседник царской Думы, он всегда мог спасти жену, выгородить даже в опасных обстоятельствах, не говоря уже о том, что она и не вышла бы из его воли, из его благоразумных советов. Они имели уже детей. Мы увидим, что он нисколько и не заботился выручить жену из беды. Все это заставляет полагать, что или слова Урусова сочинены описателем жития, или Урусов действовал так с тайным намерением избавиться приличным образом от нелюбимой жены, что в боярском быту иногда бывало. Аввакум в своей автобиографии говорит, между прочим: «А боярыню ту Федосью Морозову и совсем разорили, и сына у нее уморили, и ее мучат; и сестру ее Евдокию, бивше батогами, и от детей отлучили, и с мужем развели; и его, князя Петра Урусова, на другой женили, да что ведь делать? Пускай их, миленьких, мучат, небесного жениха достигнут...».

увидев возлежащую Морозову, объявил ей, что послан от царя вопросить ее, чтоб встала и, стоя или и сидя, если не может, дала бы ответ противу царских повеленных слов. Морозова не встала. «Како крестишися и как молитву творишь?» – спросил ее архимандрит. Морозова, сложа по своему персты, перекрестилась и произнесла молитву! «Тако я крещусь, так же и молюсь». Второе: «Старица Мелания, а ты ей в дому своем имя нарекла: Александра, где она теперь, сказывай скорее?» Морозова отвечала: «По милости Божией и молитвами родителей наших, по силе нашей, в убогом нашем дому ворота были отворены для странных рабов Христовых. Когда было время, были и Сидоры, и Карпы, и Мелании, и Александры. Теперь же никого нет из них». Думный дьяк ступил в чулан, но в чулане не было света; разглядев там человека, лежащего на постели, он вопросил: «Кто ты?» «Я князь Петра жена, Урусова», – отвечала сестра Морозовой. Дьяк, вовсе не ожидая найди здесь такую знатную особу, испугался своей дерзости и тотчас выскочил из чулана. Удивленный архимандрит воскликнул: «Княгиня Евдокия Прокопьевна, князь Петра Урусова! Спроси ее, како крестится?». Дьяк отказывался, объясняя, что они посланы только к боярыне Федосье Прокопьевне. «Слушай меня, – возразил архимандрит, – я тебе повелеваю, вопроси ее». Дьяк повиновался и дал вопрос. Лежа на постели, облокотившись на левую руку, княгиня сложила персты: великий палец со двумя малыми, указательный же с велико-средним, протянув их и показывая дьяку, произнесла молитву. «Так я верую», – сказала. Неожиданная встреча княгини Урусовой и ее заявление своего староверства заставили архимандрита тотчас же донести об этом царю. Оставив у сестер дьяка, он поспешил во дворец. Царь сидел посреди бояр в Грановитой Палате. Приблизился к государю архимандрит и пошептал ему на ухо, что не токмо боярыня стоит мужески, но и сестра ее княгиня Евдокия, обретенная у нее в дому, также ревнует своей сестре и твое-

му повелению сопротивляются крепко. Государь заметил, что княгиня «смирен обычай имеет и не гнушается нашей службы, а вот люта эта сумасбродка!». Архимандрит ответил, что и княгиня не только уподобляется во всем сестре своей старейшей, но и злее ее ругается над нами. «Если так, то возьми и ту», – сказал государь. Князь Петр тут же стоял и, слышав царские слова, будто бы опечалился, но помочь делу не мог. Архимандрит возвратился в дом Морозовой и приступил к испытанию ее рабынь.

Сопровождавший архимандрита черный дьякон Иоасаф указал особенно на двух – Ксению Иванову и Анну Соболеву. Когда обе *укрепились* (в перстосложении), их поставили на (правую) сторону особо; прочие все убоялись и не пошли на сторону укрепившихся, остались ошуюю. Тогда архимандрит обратился к боярыне со следующею речью: «Понеже не умела ты жить в покорении, но в прекословии своем утвердилась, а потому царское повеление постигает тебя, и из дому твоего ты изгоняешься. Полно тебе жить на высоте, сниди долу, встань и иди отсюда». Морозова не трогалась, видимо, она выдерживала роль, что больна ногами – ни стоять, ни ходить не может. Ее посадили в кресла и понесли из комнат. Сын Иван Глебович провожал свою мать до среднего крыльца и поклонился ей вслед. Она не видала его. Наложили на обеих сестер железа конские и посадили их в людские хоромы, в подклете, приказав людям беречь их под стражею.

Через два дня снова явился к ним думный дьяк Ларион Иванов, снял с ног железа и велел идти, куда поведут. Морозова не захотела идти (пешком); дьяк велел нести ее. Слуги принесли сукнá (носилы), посадили и понесли в Чудов монастырь. Княгиня Евдокия была ведена за нею пешком. Войдя в одну из палат вселенских (соборных) и по обычаю образу Божию поклонившись, Морозова сидевшим там властям «сотворила мало и худо поклонение». В палате председал Павел, митрополит Крутицкий, знакомый уже нам Иоаким,

архимандрит Чудовский, думный дьяк и иные. Она не захотела говорить пред ними сто́я; села на место и не вставала, несмотря на их неоднократное требование. Митрополит начал ее увещевать тихо и кротко, воспоминая честь ее и породу. «Все это натворили тебе, – сказал он, – *старцы* и *старицы*, тебя прельстившие, с которыми ты водилась и слушала их учения, и довели тебя до этого поношения, что приведена твоя честность на судище». И красоту сына ее вспоминал, чтоб пожалела его и своим прекословием не причиняла бы разорение его дому. Против всех слов она давала ответы: что истинному пути и благочестью навыкла не от старцев и стариц, а от истинных рабов Божиих. «О сыне же перестаньте мне много говорить. Обещалась Христу, моему свету, и не хочу обещания изменить да последнего вздоха; ибо Христу живу, а не сыну». Видя непреклонное ее *мужество* и бесполезность кротких увещаний, власти решились ее постращать: «Коротко тебя спрашиваем, – сказали они ей, – по тем служебникам, по которым государь царь причащается, и благоверная царица, и царевичи, и царевны, ты причащаешилися?» – «Нет, не причащусь, потому что знаю, что царь по развращенным Никонова издания служебникам причащается». – «Как же ты об нас обо всех думаешь, стало быть, мы все еретики?» – «Ясно, что вы все подобны Никону, врагу Божию, который своими ересьми, как блевотиною, наблевал, а вы теперь то сквернение его подлизываете».

В ответ ей сказали, что после того она не Прокопьева дочь, а бесова дочь. Морозова защищалась, говоря, что проклинает беса, что по благодати Господа она, если и не достойна, все-таки дочь Христа. Прение продолжалось от 2 часа ночи до десятого (считая от солнечного заката). Княгиня Урусова точно так же «во всем мужество показала». Их тем же порядком возвратили домой под стражу в тот же людской подклет. Морозову опять несли на носилах. «Если нас разлучат и заточат, – сказала она княгине, предугадывая ход дела, – молю тебя, поминай меня, убогую, в своих молитвах».

Утром на другой день пришел думный дьяк, принес цепи со стулами и, сняв с ног железа, стал возлагать на шеи им эти цепи. Морозова перекрестилась, поцеловала *огорлие* цепи и сказала: «Слава тебе, Господи, яко сподобил мя еси Павловы узы возложити на себя». Дьяк повелел посадить ее на дровни и везти конюху. Ее повезли через Кремль.

Когда ее везли Кремлем, мимо Чудова монастыря, под царские переходы, она, полагая, что на переходах смотрит царь на ее поезд, часто крестилась двуперстным знамением, высоко поднимая руку и звеня цепью, показывая царю, что не только не стыдится своего поругания, но и услаждается любовию Христовою и радуется своим узам.

Ее посадили на подворье Печерского монастыря под крепкий караул стрельцов.

Княгиню Евдокию, подобным же образом обложив железными «юзами», отвели в Алексеевский монастырь и отдали под крепкое начало с повелением водить ее в церковь. Но она, противясь этому повелению, такое *мужество* показала, что дивился весь царствующий град ее храбрости и тому, как доблестно сопротивлялась она воле мучительской. Доблестные подвиги ее заключались в том, что она всеми силами сопротивлялась, когда нужно было идти в церковь. Приказано было волочить ее на рогожных носилках. Она и тут притворялась расслабленною, не могущею ни рукою, ни ногою двинуть, и сама на носилки не ложилась. Старицы Алексеевского монастыря, выводимые из терпения ее притворством, даже дерзостно заушали ее, говоря: «Горе нам! Что нам делать с тобою? Сами мы видим, что ты здорова и весело беседуешь со своими, а как мы придем звать тебя на молитву, ты внезапно, как мертвая, станешь; и должны мы трудиться, переворачивать тебя, как мертвое тело». – «О старицы бедные, – давала им ответ княгиня, – зачем напрасно трудитесь; разве я вас заставляю? Вы сами безумствуете, всуе шатаетесь. Я и сама плачу о вас, погибающих. Как я пойду в ваш со-

бор, когда там у вас поют, не хваля Бога, но хуля и законы его попирая...».

Скрывшиеся старицы Морозовой, конечно, очень горевали обо всем, что случилось, и плакали о ней, как младенцы, разлученные с матерью. Но скоро, с небольшим через неделю, они нашли случай повидаться с нею на заднем крыльце подворья в утаенном месте, «еже ходити ту человеком на облегчение чреву».

Сюда-то пришла одна из стариц – Елена. «Возлюбленная! – сказала ей Морозова. – Ничто меня не опечалило так в эти дни, как разлука с вами. Ни отгнание из дому, ни царский гнев, ни властелинское истязание, ни юзы, ни стража – все это мне любезно о Христе. Но очень мне прискорбно, что уже больше недели не знаю-не ведаю, где вы. Ради Бога, не покиньте меня, не уезжайте из Москвы, останьтесь здесь. Не бойтесь. Уповаю на Христа, покроет вас. О родных так не болезную, как о вас. Все я могу перетерпеть, только одной разлуки с вами не могу перенести».

Морозова чувствовала, что ей для укрепления необходима была почва; а крепкою почвою для ее подвига были те же старицы, к которым она так привыкла, и которые, оставаясь в Москве, могли во многом ей помочь. Нашли же они средство побеседовать с ней.

Одна из них – Марья, дворянского роду Даниловых[1], еще во время первых действий царского гнева умыслила было бежать, но была поймана в *Подонской стране* (на Дону), привезена обратно в Москву, подверглась тому же испытанию и так же крепко поревновала, похваляя пред всеми древнее благочестие и отвергаясь принять новины. Ее посадили, оковав, пред Стрелецким приказом[2].

[1] Марья Герасимовна – жена Акинфея Ивановича Данилова – стрелецкого полковника.

[2] «Мария же тамо седящи и *буду* приимаше более обоюю сестер; бесстуднии воини пакости твориху ей невежеством; прихождаху же к ней и попы никонианские, которые много ее смущали, укоряли раскольницею, принуждали креститься 3 персты, даже будто бы ломали ее персты, складывающе щепоть...».

Быть может, этот самый случай заставлял Морозову советовать своим духовным сестрам оставаться лучше в Москве, где гораздо легче было им скрываться от властей.

Между тем к заключенной часто ездил для увещания Иларион, митрополит Рязанский. Но бесполезны были всякие увещания. Видя себя «железы тяжкими обложену и неудобством стула томиму», она радовалась и об одном только скорбела, о чем и писала к наставнице своей матери Мелании. «Увы мне, мати моя! – говорила она в письме. – Не исполняю я дела иноческого! Как я могу теперь поклоны земные класть! Ох люто мне, грешнице! День смертный приближается, а я, унылая, в леноси пребываю! И ты, радость моя, вместо поклонов земных благослови мне Павловы узы Христа ради поносити; да еще, если изволишь, благослови мне масла коровья, и молока, и сыра, и яиц воздержаться, да не праздно мое иночество будет и день смертный, да не похитит меня не готову. Одно только постное масло повели мне ести». Мать Мелания в ответ подавала ей благословение на *страдание* и говорила: «Стани доблестно, Господь да благословит тебя юзы, Его ради, носити; и пойди, как свеча, от нас к Богу на жертву. О брашнах же, – все кушай, что прилучится». Понятно, почему не могли действовать на страдалицу никакие увещания. Она была отделена от своих, была в заточении, но на самом деле она не разлучалась со своею средою, она могла даже переписываться с Меланиею. Ниже увидим, что не одни старицы поддерживали и разжигали своею помощию ее фанатизм. Хорошо понимали это и власти и все-таки вовремя не могли найти прямую виновницу ее несчастия, эту Меланию. Так еще была сильна в обществе приверженность к древнему благочестью, которая одна только и могла так заботливо оберегать наиболее заметных его представителей и проповедников.

Само собою разумеется, что много помогали Морозовой и ее братья. К ним-то и обратился царь, желая хорошо разузнать все подробности дела и отыскать мать Меланию.

Федор Прокопьевич, лишившись со смертию царицы Марии Ильичны важной должности ее дворецкого, оставался еще думным дворянином и был в поезжанах на свадьбе царя с Нарышкиною в 1671 г. «Ты все тайны своей сестры знаешь, скажи мне, где Мелания?» – вопросил его государь. Но пособник своей сестре не дал надобного ответа. Оба брата были удалены из Москвы: Федор – в степь, в Чугуев; Алексей – на Рыбное, якобы на воеводство, а в самом деле – в заточение, повествует сказатель Федосьина жития. Федор на своей волости столько обогатился, что и своих рублей тысячу прожил.

Сына Морозовой, отрока Ивана Глебовича, государь берег, ибо в это время он оставался единственным представителем знатного и очень любимого царем рода Морозовых. Но отрок, разлученный с матерью, от многой печали заболел. Царь прислал к нему лекарей; а они «так его улечиша, – сказывает составитель жития, – что в малых днях и гробу предаша». Сказать о смерти сына был послан к несчастной матери священник –«поп никонианский», который, желая подействовать на заключенную страхом, отнес это событие к Божию наказанию за ее отвращение от истинного пути и сказал ей текст 108 псалма: «Еже положитеся дому ее пусту и живущего не имети». Премудрая разумница не внимала *их* буести. Услыхав о смерти сына, пала на землю пред образом, плача и рыдая, умиленным гласом вещала: «Увы мне, чадо мое! Погубили тебя отступники!». И долго голосила надгробные песни, так что слышавшие сами рыдали от жалости. «Помнишь ли, как бывало! – писал к ней впоследствии Аввакум. – Уже некого чотками стегать и не на кого поглядеть, как на лошадке поедет, и по головке некого погладить! Миленькой мой государь! В последнее увиделся с ним, егда причастил его!»

Со смертию молодого Морозова, действительно, дом их запустел до конца. Имение, вотчины, стада коней были розданы боярам; а вещи, золотые, серебряные, жемчуж-

ные и от дорогих камней, были распроданы. Так говорит сказатель жития. Он же повествует, что при этом в одной палате множество золота нашли, «заздано в стене», – клад, спрятанный, вероятно, еще предками Морозовых, что было в обычае в старое тревожное и опасное время. Крестьянин зарывал свои сокровища в землю, боярин замуровывал их в каменных стенах своего дома.

Однако ж не все из имения подверглось опальному расточению. Один верный раб Морозовой – Иван – по ее повелению, припрятал некие дорогие вещи у верного человека, но был предан своею женою, был пытан и мучен, огнем жжен шесть раз, но все перетерпел и, наконец, был сожжен в Боровске с другими ревнителями древнего благочестия.

После того царь как бы сжалился над заключенною и повелел отдать ей двух рабынь, чтобы послужили ей в заключении, Анну Амосову, а другую Стефаниду, прозываемую Гнева, которые с великою радостью пошли служить боярыне, потому что были ее единомышленницы. Княгиня, сестра Морозовой, не получила подобного облегчения в своей участи, но зато Бог послал ей честнейшую от рабынь – боярскую дочь Акулину, которая сама наложила на себя этот подвиг, пожелав служить ей, приходя и отходя, а впоследствии постриглась и наречена Анисия. Она тоже находилась под началом матери Мелании и твердо укреплялась в своих мыслях писаниями Аввакума, который умел ценить в ней боярское происхождение как важную авторитетную общественную опору для большего утверждения и распространения своих учений.

Несчастные ревнительницы древнего благочестия из такой знатной и высокой среды, конечно, обращали на себя общее внимание. Особенно важно и дорого было их ревнование для их единомышленников, которые находили в их подвиге сильную точку опоры, сильный и яркий пример при распространении своих заблуждений в народе, и потому, естественно, должны были всеми средствами помогать

их подвигу, бодрствовать над ними со всех сторон. Видимо, что посредством стариц и служанок несчастные жертвы находились в постоянных сношениях с этим темным миром и получали оттуда непрестанные «укрепления» стоять и страдать за правду, *за старое предание отеческое* до конца. Этими-то путями Морозова успела в своем заточении причаститься от странствующего попа – инока Иова Льговского.

Этот Иов происхождением был из Литвы, от родителей шляхетских рожден. В 1611 г., когда Филарет Никитич, отец царя Михаила, тогда митрополит Ростовский, находился в польском плену, Иов, еще юноша, был им приобретен, жил ботом при его келье, облечен в иноческий образ и посвящен во иерея во время уже патриаршества Филарета. Потом он был отпущен на собственное жительство: где похочет, да соберет себе духовные чада и научит иноческой философии. С тех пор Иов сделался скитальцем, основывая по временам монастыри, и в том числе Льгов (1669 г.). Преходя, крыяся по местам во время гонений на староверство, он под конец удалился к Дону и при реке Чире основал новый монастырь, поставление которого запечатлел своею смертию, прожив больше 100 лет[1]. Этот-то скиталец, находясь тогда в Москве, и был проведен к Морозовой.

Очень милостив был к ней карауливший ее стрелецкий голова. Она умолила его пустить к ней старца, сказав так: «Был в дому моеви, в одном из наших сел, некий священник; была милость наша к нему. Теперь, я слышала, он здесь; жаль мне его, старика, позволь повидаться с ним, если будет твоя милость к нашему убожеству». И вот пришел старец белецким образом, т. е. переодевшись, подать ей бесценный бисер. Иов так был умилен ее страданием, что после не мог без слез вспоминать об этом.

Теми же путями Морозовой представился случай повидаться и с сестрою. Однажды, когда, разумеется, предва-

1 Описание некоторых сочинений в пользу раскола. – Т. I. – С. 269.

рительно все было улажено, Урусова сказала своей начальнице, у которой жила в келье: «Госпожа! Ты знаешь, как болит сердце матери о детях; знаешь и то, что я оставила их Христа ради. Пусти меня в дом мой; поцелую я их и утешу и сама утешусь, и еще до вечера возвращусь сюда; никто не будет знать об этом, только ты да я... Теперь полдень, а игуменья в гостях и старицы разошлись, и людей на монастыре мало; а я, фатою покрывшись, пройду, и никто не узнает меня». Сверх чаяния начальница отпустила ее. Велела ей только оставить образ Богородицы, как бы в залог того, что она воротится: «Знаю, как ты любишь образ Владычицы нашея, оставь мне его здесь и иди с миром: Она, Помощница, возвратит тебя сюда». Княгиня вышла. На дороге – нава́ди бес неких злых человек – ее сочли за беглую и хотели было взять. Она смело защитилась. Потом встретилась (без сомнения, по уговору) с Еленою, которая, вероятно, все это и устроила, и вместе пошли на Печерское подворье. Дворница дала знать Морозовой об их приходе; та выслала рабу свою Анну, вместо которой в обмен возвратилась к ней уже сестра – Урусова. На крыльце мимо ног караульщика прошла, который подумал, что та же Анна идет. «И беседоваша любезно мученица со исповедницею». Но позавидовал дьявол; у караульных стрельцов сделалась тревога. Они догадывались, что дело неладно. Голова, упрошенный Морозовою, успокоил их и велел только гостье ночевать: «Я ночью выпущу ее тихонько», – объяснил заступник. Таким образом, тревога послужила к еще большей радости сестер. Всю ночь они ликовали, беседуючи. К свету Урусова ушла, а Елена опять проводила ее до монастыря.

Но гораздо важнее было то, что страдалиц не оставлял своими поучениями и ободрениями их духовный отец – Аввакум. Время от времени из своего далекого заточения он присылал им послания и всегда возвышал их подвиг в превыспренних изречениях. Так, проведав о рассказанных уже нами событиях, он шлет к ним письмо, в котором спра-

шивает Феодосию, жива ли она: «Еще ли ты дышешь, или сожгли, или удавили тебя?» – и затем восторгается их подвигом, называет их супругами нерасторженными, ластовицами сладкоглаголивыми, маслинами, светильниками пред Богом на земли стояще, подобными Еноху и Илии: «*женскую немощь отложивше и мужескую мудрость восприявше*, диявола победиша, мучителей посрамиша»; именует их светилами великими, солнцем и луною Русской земли, двумя зарями, освещающими весь мир на поднебесней, красотою церкви, похвалою мучеников, радостью праведных, веселием святителей, вертоградом эдемским и тому подобными вычурными и выспренними именами. «Не ведаю, как назвать! – восклицает он в заключение. – Ум мой не обымет подвига вашего и страдания. Подумаю, да лише руками возмахну. Как так, государыни, изволили с такие высокия степени сступить и в бесчестие вринутися? Воистину подобно сыну Божию: от небес сступил в нищету нашу облечеся и волею пострадал». Затем он уничижает себя, дабы еще сильнее выставить высоту подвига боярынь; вспоминает о великой чести Морозовых, печалится о смерти ее сына Ивана, утешает ее, что так Богу надобно, а потом, напоминая о Федоре юродивом, делает ей приведенное нами выше замечание о бабьем уме. «Мучьтеся за Христа хорошенько, не оглядывайся назад; спаси Бог... не стужите о безделицах века сего. И тово полно: побоярила, надобе попасть в небесное боярство...»

В этом же самом письме делает особую приписку Федосье Прокопьевне другой ревнитель старого благочестия – пустынник обители Соловецкой Епифаний, который, по всему вероятию, также был ее наставником во время пребывания своего в Москве.

«О светы мои, новые исповедницы Христовы! – восклицает он к ним. – Потерпим мало, да великая восприимем... Свет моя государыня! Люблю я правило нощное и старое пение. А буде обленишься на нощное правило, тот

день окаянной плоти и есть не давай: не игрушка душа, что плотским покоем ее подавлять. Да переставай ты и медок попивать; нам иногда случается и воды в честь, да живем же. Али ты нас тем лучше, что боярыня? Да единако нам Бог распростре небо, еще же луна и солнце всем сияют, такожде и вся прозябающая по повелению владычню служат, тебе не больши и мне не меньши; а честь предстает. Един честен тот, кто ночью восстает на молитву, да медок перестанет, в квас примешивая, пить... Мне мнится, обленилася ты на ночную молитву, того ради тебе так говорю с веселием (т. е. шутя) о медке... Дние наши не радости, но плача суть... и ты, государыня, плачи суетного жития своего и грехов своих, понеже призвал тя Бог в домовое строение и рассуждение; но и возвеселися, егда в нощи, восстав, совершиши 300 поклонов и 700 молитв, веселием и радости духовные и меня грешного помяни тут... Еще же глаголю: аще и вси добродетели сотворишь, рцы душе своей: "Ни что же благо сотворих, ниже начах добро творити". Нощию восставай: не людем приказуий будить, но сама воспряни от сна без лености и припади и поклонися сотворшему тя. А ввечеру меру помни сидеть; поклоны, егда метание на колену твориши, тогда главу в прямь держи; егда же великий (поклон) прилучится, тогда главою до земли; а нощию триста метаний на колену твори. Егда совершиши 100 молитв, стоя, тогда: "Слава и ныне, аллилуия" и тут три поклоны великие бывают...» Дальше следуют наставления также о поклонах[1].

Такими-то поучениями и Аввакумовскими льстивыми восхвалениями постоянно ободрялись и укреплялись эти бедные женщины. С авторитетом духовного отца и его сподвижников, конечно, ничто не могло соперничать в их убеждении.

Общество тогдашней Москвы также не могло оставить этой любопытной истории без внимания. Многие соболез-

[1] Письма напечатаны в приложениях к ст. «Боярыня Морозова» г. Тихонравова // Русский Вестник. – 1865. – № 9.

новали несчастной судьбе сестер. Тот же Михаил Алексеевич Ртищев[1], уговаривавший прежде Морозову, приехал однажды к княгине Урусовой и, стоя у ее окна, с умилением сказал: «Удивляет меня ваше страдание; лишь одно смущает меня: не ведаю, что за истину ли терпите». Этими словами вполне обрисовывается колебание тогдашних умов, которым на самом деле трудно было выяснить себе настоящий смысл дела. Особенно же город был взволнован именно деяниями княгини Урусовой, о которых говорено выше. На наш теперешний взгляд, все эти сцены, конечно, по меньшей мере, достойны сожаления. Но в век всеобщего суеверия и всяческого суесвятства дело это казалось весьма серьезным. Это была одна из форм юродства, пред которым тогдашние умы останавливались с уважением и даже с благоговейным почтением, невзирая на вопиющие несообразности подобных подвигов вообще с нравственным достоинством человека. У того века было всемогущее слово: Христа ради, которое, хотя и понятое самым материальным смыслом, всегда освящало и покрывало эти младенчествующие представления о святости нравственных подвигов человека. Терпеть, страдать, быть гониму, уничижать себя Христа ради, в каких бы формах такие деяния ни обнаруживались, но если они почему-либо освящались великою святынею этого слова, – они всегда привлекали к себе и ум, и сердце народа, воспитанного в духовной своей сфере аскетическими идеалами, вообще идеалами мученичества.

Множество вельможных жен и простых людей стекалось в Алексеевский монастырь смотреть, «како влачаху княгиню на носиле». Особенно вельможные удивлялись ей и соболезновали о ней, как о своей сроднице. Видя все это, склоняясь жалостью о страдании такой вельможной женщины, а вместе с тем смущаясь, что «сие влачение»

---

[1] В статье г. Тихонравова сказано, что это был сын царя – Михаил Алексеевич (с. 30, 35); но у царя Алексея не было сына Михаила. Биограф Морозовой именует здесь Ртищева, не обозначая фамилии.

служит еще более к прославлению ее терпения, умная игуменья монастыря обратилась к патриарху Питириму и рассказала, что у них в монастыре делается, и какова княгиня, и за какую вину сидит. С именем княгини неразлучно припомнилось и имя Морозовой. «Я вспомяну об этом царю», – ответил патриарх. «Великий государь! – говорил он потом царю. – Советую тебе боярыню ту, Морозову, вдовицу – кабы ты изволил опять дом ее отдать и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал, а княгиню тоже бы князю отдал; так бы дело-то приличнее было; потому что *женское их дело: много они смыслят*». «Я бы давно это сделал, – ответил государь. – Но не знаешь ты лютости этой жены. Нельзя тебе и рассказать, сколько она мне наругалась и теперь ругается. Кто мне столько зла и великого неудобства показал? Если не веришь моим словам, сам испытай; призови и вопроси, тогда узнаешь ее крепость. Как начнешь ее испытывать, тогда вкусишь ее *прясности*. А потом я исполню все, что повелит твое владычество: не ослушаюсь твоего слова».

Видимо, патриарх, а вместе и царь желали покончить это дело, смущавшее всю Москву. Опять в 2 ч. ночи взяли Морозову и с юзами и, посадив на дровни, повезли в Чудов монастырь под охраной стрелецкого сотника. В соборной палате был патриарх, митрополит Павел и иные власти и «от градских начальник не мало». Предстала Морозова, нося на выи оковы железны. «Дивлюсь я, как ты возлюбила эту цепь и не хочешь с нею разлучиться», – сказал ей патриарх. Обрадованным лицом и веселящимся сердцем ответила она: «Воистину возлюбила, и не только просто люблю, но еще и не довольно насладилась вожделенного зрения сих оков. Как могу не возлюбить их! Такая я грешница и для Божией благодати сподобилась видеть на себе, а вместе и носить Павловы узы, да еще за любовь Единородного Сына Божия». Патриарх стал увещевать ее, говоря, чтобы оставила свое безумие и нелепое начинание,

пожалела бы себя, не возмущала бы своим противлением царскую душу и присоединилась бы к Церкви, исповедавшись и причастясь Св. Таин. «Некому исповедаться и не от кого причаститься», – отвечала Морозова. «Попов много на Москве», – сказал патриарх. «Много попов, но истинного нет», – возразила Морозова. «Я сам, на старости, потружусь о тебе, сам тебя исповедаю и причащу», – продолжал патриарх. Морозова отреклась и от этой высокой чести, сказав: «Ты мне говоришь: сам, но я не понимаю, что ты говоришь. Чем ты от них отличен, если творишь то же, что и они. Когда ты был Крутицким митрополитом, жил заодно с отцами предания нашей Русской земли и носил клобучек старый, тогда ты был нам отчасти любезен; а теперь ты восхотел волю земного царя творить, а Небесного Царя и Создателя своего презрел и возложил на себя рогатый клобук римского папы; и потому мы отвращаемся от тебя. И не утешай меня тем словом: я сам! Я не требую твоей службы».

Во все время этой беседы Морозова не хотела стоять пред властями; ее поддерживали сотник стрелецкий и стрельцы; она висла у них на руках и в таком положении говорила с патриархом.

Все обнаруживало болезненное расстройство ее ума, – так, по крайней мере, это понял патриарх и решился в исцеление помазать ее священным маслом, «да прийдет в разум, се бо, якоже видим, ум погубила». Патриарх облачился и готовился совершить помазание. Но Морозова, увидав его намерение, встала на ноги и приготовилась, «яко борец». Митрополит хотел приподнять треух на ее голове, дабы удобнее было намазать, но она отринула его руку и воскликнула: «Отойди, зачем дерзаешь неискусно, хочешь коснуться нашему лицу? Наш чин можно тебе разуметь». Отринув помазание, она вопила к патриарху: «Не губи меня, грешницу, отступным своим маслом! – и, позвяцав цепями, продолжала: – Для чего эти оковы? Я, грешница, целый год их ношу, именно потому,

что не повинуюсь, не хочу присоединиться ни к чему к вашему. А ты весь мой недостойный труд одним часом хочешь погубить. Отступи, удались; не требую вашей святыни никогда».

Биограф рассказывает и, конечно, баснословит, что после того ее назвали исчадием ехидниным, вражьею дочерью, страдницею, что не для чего ей больше жить, наутро страдницу в сруб... Будто бы затем повергли ее на землю, так что, казалось, «голова ее раскочится; что поволокли ее по полате, чаять, что железным ошейником шею ей надвое перервут и главу ей с плеч сорвут; что по лествице все ступеньки она главою своею сочла». На тех же дровнях ее привезли обратно на подворье в 9 часу ночи.

В ту же ночь и тем же порядком происходило увещание княгини Урусовой и Марьи Даниловой, причем, по рассказу биографа, «*трихраборница* княгиня, отрицаясь помазания маслом, еще дивнейши сотвори». Увидя Патриарха, идущего к ней с масляною спицею, она мгновенно сняла со своей головы покрывало, опростоволосилась и воскликнула: «О бесстуднии и безумнии! Что вы делаете? Не видите разве, какова я есть?», т. е. в каком срамном виде, и тем устыдила властей и миновала помазания.

На другой день, в 2 ч. ночи, они все три, вероятно, порознь, были перевезены на Ямской двор. На том дворе было собрано множество людей. Посадили их в избе темной и тесной, так что сначала, сидя по углам в темноте между множеством народа, они и не знали, что находятся вместе в одной избе. Они догадывались, что привезли их на пытку, но думали также, что, может быть, хотят послать их куда-нибудь в заточенье. Под конец Морозова поняла, что их ожидает непременно пытка и, проведав, что и родная ее двоица находится тут же, а между тем невозможно беседовать с ними и укрепять их на терпение, подала им знак, позвяцав оковами и сказав мысленно: «Любезные мои страдальницы! Вот и я тут с вами. Терпите, светы мои,

мужески и обо мне молитесь». Княгине она смогла даже и руку протянуть сквозь утеснение людское и сжала ее руку весьма крепко, говоря: «Терпи, мать моя, терпи».

Их начали пытать. У пытки присутствовали князь Иван Воротынский, князь Яков Одоевский, Василий Волынский. В первых была приведена к огню Марья Данилова: обнажили ее до пояса, руки назад завязали и подняли на стряску и, снем с дыбы, бросили на земле. Потом повели княгиню. Увидав, что треух ее покрыт цветною тканью, крикнули ей: «Зачем так делаешь? Ты в опале царской, а носишь цветное!». «Я пред царем не согрешила», – отвечала княгиня. Покров с треуха содрали и бросили ей один испод (подкладку). Точно так же и ее обнажили до пояса, подняли на стряску с завязанными назад руками и, сняв с древа, вергоша на землю тут же, подле Даниловой. Напоследок привели к огню и Морозову. Начал говорить ей князь Ворытынский многая словеса: «Что это ты делаешь: от славы в бесславие пришла? Подумай, кто ты и от какого рода! Все это приключилась тебе от того, что принимала в дом Киприана и Федора юродивых и прочих таковых; их учения держалась, потому и царя прогневала».

Отвечала Морозова: «Невелико наше благородие телесное и слава человеческая суетна на земле; и все, о чем ты говорил, все это тленно и мимоходяще. Послушай, что я скажу тебе: помысли о Христе, кто Он и чей Сын и что сотвори; если не знаешь, я расскажу тебе: Он Господь наш, Сын Божий, оставивший небеса для нашего спасения, и живший во плоти на земле всегда в убожестве; после распят был от жидов; так и мы все от вас мучимы. Тому ты не удивляешься; а наше мученье есть уже ничто».

Тогда власти повелели ее связать: «рукавами срачицы ее увиша поконец сосец и руки на опако завязав», повесили на стряску. Она не умолкла и укоряла «лукавое их отступление». За то держали ее на стряске долго и висла с полчаса и ремнем руки до жил протерли. После сняли ее

и положили рядом с сестрами. На снегу нагими спинами с выломанными назад руками лежали они часа три. И иные казни им творили: «плаху мерзлую на перси клали и, устрашая, к огню приносили, хотя жечь». Данилову, кроме того, положили при ногах Морозовой и Урусовой, били в пять плетей немилостиво, в две перемены, первое – по хребту, второе – по чреву. Думный дьяк примолвил при этом боярыням: «Если и вы не покаетесь, и вам то же будет». Морозова, видя бесчеловечие, и многие раны на Марии, и кровь текущую, прослезилась и сказала дьяку: «Это ли Христианство, чтобы так человека мучить!»[1]. Наконец, в 10-м часу ночи развели их по своим местам.

Наутро «сотвори царь сидение думати о них», а на Болоте сруб поставили, потому что в Думе предлагали Морозову предать сожжению, да бояре не потянули; а Долгорукий малыми словами да многое у них пресек. Между тем боярыня готовилась уже к смерти: три дня не ела хлеба и воды не пила. А мати Мелания на Болоте у сруба была и, пришед в тот же день к боярыне, целовала язвы рук ее и говорила: «Уже и дом тебе готов, вельми добре и чинно устроен и соломою целыми снопами уставлен; уже отходишь ты к желаемому Христу, а нас сиротами оставляешь!». Морозова благословилась у ней. Мать с рыданиями ушла от нее и направилась к Урусовой. Там, у окна стоя, смотря на княгиню и обливаясь слезами, она причитала: «Гостьи вы у нас любезные! Нынче или завтра вы пойдете ко Владычице; но обаче идите сим путем, не сомневаясь. Когда предстанете престолу Вседержителя, не забудьте и о нас в скорбях наших». Но мы видели, что сожжение, если оно и в действительности предполагалось, не должно было совершиться, потому что бояре не потянули.

[1] Сказатель жития, между прочим, присовокупляет: «Мария же по преставатии биения, полотенцо, водя по спине своей, все смочила кровию и посла Иоакинфу своему (мужу). В третий же день со спины струпие велие спадоша, яко чешуя и просиша у нее мученицы и не хоте дати за смирение; последиж, принуждена, даде им и прочим...».

Через три дня после пытки царь присылал будто бы к Морозовой стрелецкого голову с такими словами: «Мати праведная Федосья Прокопьевна, вторая ты, Екатерина мученица! Прошу тебя я сам, послушай совета моего, хочу я тебя в прежнюю твою честь возвести; дай мне такое приличие, ради людей; чтоб видели, что недаром тебя взял: не крестися тремя персты, но только, руку показав, поднеси на три те перста. Мати праведная Федосья Прокопьевна, вторая ты, Екатерина мученица! Послушай, я пришлю за тобою каптану свою царскую (возок) и с аргамаками своими, и придут многие бояре и понесут тебя на головах своих. Послушай, мати праведная! Я, сам царь, кланяюся главою моею, сделай это».

Конечно, такое посольство есть чистая выдумка, но оно-то и показывает, что со стороны государя и властей употреблены были на самом деле все мягкие и кроткие меры, чтобы убедить Морозову и вывести ее из заблуждения. Однако ж ничто не действовало и она постоянно отвергала все предложения покинуть свое безумие. Насчет каптаны и аргамаков она ответила: «Поистине эта честь мне не невелика. Было все это и мимо прошло, езживала в каптанах и в каретах, на аргамаках и бахматах... Вот, что для меня велико и поистине дивно – если сподоблюсь огнем сожжения в приготовленном вами срубе на Болоте. Это мне преславно, ибо этой чести никогда еще не испытала...».

Ее перевезли в Новодевич монастырь, подальше от города, чтобы отлучить ее от своих, и велели держать под крепким началом и влачить к церковным службам. В этом случае, подобно Урусовой, и боярыня велие мужество показала и привлекала многих к зрелищу своего терпения.

В Новодевичьем монастыре повторились те же сцены, что и в Алексеевском. И сюда приезжали любопытствовать под видом мольбы такое множество вельможных жен, что монастырь бывал заставлен рыдванами и каретами. А кто был надобен и любезен Морозовой из своих, и здесь нашел

к ней прямую свободную дорогу: «прихождаху к ней и утешаху страдальческое ее сердце».

Вскоре, однако ж, чтобы и здесь прекратить вельможные приезды, царь повелел перевезти ее снова в Москву, в слободу Хамовники, к старосте на двор; а тот ей обрадовался радостью великою, потому что, вероятно, был такой же ревнитель древнего благочестия. И наставница Мелания, и служительница Елена сюда ходили еще свободнее и ликовали сообща, со многими слезами.

Нет никакого сомнения, что единомышленники Морозовой не переставали действовать за нее и во дворце. Для них очень важно было, если она, такая сановитая и известная особа, запечатлеет мученическою публичной смертию, каково, например, сожжение в срубе, свою преданность «старому православию», древнему благочестью; не менее важно было и то, если она останется хотя бы и опальною, но все-таки знатною боярынею, которая так твердо стоит за это благочестие. Тогда в ее лице и ее связями они всегда находили бы себе необходимую поддержку. Возвратить Морозовой ее старое положение, при дворце и в обществе, с сохранением всего смысла ее новой роли, было, как можно полагать, немалою заботою всех ревнителей упомянутого благочестия. Их ходатайства проникли, наконец, в терем царевен. Старшая сестра царя Алексея, царевна Ирина Михайловна, начала по праву старшей сестры *дятьчить* царю о Морозовой: «Зачем, братец, не в лепоту творишь, – говорила она, – и вдову эту бедную помыкаешь с места на место. Нехорошо, братец. Достойно было попомнить службу Борисову и брата его Глеба (бояр Морозовых)». Он же, зарыча гневом великим, ответил: «Добро, сестрица, добро. Коли ты дятьчишь об ней, тотчас, тотчас готово у меня ей место». Хорошо понимая, вероятно, в чем дело, он повелел перевести страдалицу в Боровск в жестокое заточенье. Ее посадили там в острог, в земляную тюрьму. Но и здесь она встретила одну из своих, инокиню Иустину, за то же

страдавшую. Вскоре потом в эту же тюрьму перевели и княгиню Урусову и Марью Данилову – и бысть им всем совершенная радость, которая могла поддерживаться еще и тем, что и в этом жестоком заключении они все-таки постоянно сообщались со своими. Муж Даниловой, Акинф, помогал им тем, что стрелецких сотников, которые отправлялись из Москвы их караулить, он зазывал прежде в свой дом и ухлебливал (и угощением, и дарами), чтобы не свирепы были; кроме того, он посылывал в Боровск своего племянника Родиона, который в темнице бывал множицею. И другие многие там бывали, как, например, Елена. И наставница Мелания не однажды посетила заключенных. Сюда явилось к ним и новое послание Аввакума, написанное даже по образцу посланий апостольских. Изобразив преждебывшее красное, но тленное житие боярыни, он останавливается с новыми восхвалениями на настоящем ее подвиге, превозносит их терпение на пытке: «Что воздам вам, земнии ангели, небеснии человецы?», снова называет их выспренними именами, святыми, блаженными, мученицами, исповедницами, столпами непоколебимыми, камениями драгими: акинфом, измарагдом, асписом; трисиятельным солнцем, немерцающими звездами и т. п. и заключает: «Ну, госпожи мои, светы! Запечатлеем мы кровию своею нашу православную христианскую веру со Христом Богом нашим, Ему же слава во веки. Аминь».

Вскоре лукавый позавидовал; начальники узнали обо всем и прислали указ разыскать: кто к ним ходит и как доходят. Памфила некоего, боровитина, пытали, спрашивали, где Родион, а Памфил ничего не открыл. Однажды, лежа в крови его текущей, он говорил своей жене: «Агрипина! Теперь хорошо стало, свободно, отнеси светам тем поскорее луку печеного решето». Вот какие были его вины. Памфила с женою после сослали в Смоленск.

Между тем Родион со стрелецкими сотниками не переставал помогать узницам, доставляя случаи видеться

со своими. Часто они тосковали по наставнице. Морозова, чувствуя скорый конец своему подвигу, писала к ней: «Умилосердися, посети в останошное (время)!». Просила ее взять с собою и большего брата, который составил и сказание о ее жизни.

Это было 11 генваря. Они пришли в 3 часа ночи. С несказанною радостью встретила их Морозова, называла по этому случаю тюрьму свою «пресветлою темницею», а наставницу именовала равноапостольною и апостолом. Говорила: «Зачем, свет моя, нас, птенцов своих, надолго не посещаешь; невозможно нам без твоего наказания жизнь свою добре правити!» – и лобызала ее руку. Беседовали они с нею всю ту ночь. На рассвете брат большой и Родион ушли, а Мелания с Еленою остались на весь день. На другой вечер мужчин опять должен был провести к ним сотник, но сотник не пришел; это их обеспокоило, однако в полночь они нашли возможным явиться в тюрьму, где на прощанье учительница сказывала поучение. На этот раз она делала за что-то им упреки, просила исправиться; какие-то узы брани бесовской их связали. Быть может, они слабели уже в своей настойчивости и помышляли о возвращении к своему прежнему положению. «Если не освободитесь от этих уз, – окончила наставница, – то не помогут вам и ваши железные узы». Когда говорила им наставница, Морозова держала ее левую руку, а Урусова – правую, и, плача, они непрестанно лобызали эти руки.

Видя все это, сам сказатель жития дивился их разуму, особенно любви и терпению боярыни Морозовой, как она смирялась, слушая поучение; а *не повинна ни в чем же*, прибавляет он в заключение.

Так прошла зима. Но в Москве узнали это послабление стрелецкого караула: воскури дьявол бурю велию. На Фоминой неделе был внезапно прислан подьячий Павел. С великою свирепостью придя в темницу, он обобрал все у заключенных, всякие потребы: и брашно-снедно, самое

скудное, лишние одежды, малые книжицы, самые иконы, писаны на малых досках, – все отнял. Был большой розыск между стрельцами о том, кто носил в тюрьму потребное, кто допускал приходящих. Иные повинились, что и сами носили и приходящих пускали. И были сотникам беды великие. О Петрове дни был прислан разыскивать дьяк Кузмищев, который Иустину сжег в срубе, а для боярынь устроил новую темницу, выкопав ее в земле еще глубже первой; Марью же Данилову перевел в тюрьму, где злодеи сидят.

С этого времени прерваны были их сношения с единомышленниками и заключение их в действительности стало лютым и жестоким.

Они сидели в глубокой темнице, во тьме несветимой; страдали от задухи земные; от спершегося земного пару делалась им тошнота; сорочек ни переменять, ни мыть было нельзя; в верхней худой одежде, которую нельзя было скидать от холода, развелось множество насекомых, не дававших им ни днем покою, ни ночью сна. Не оставлено было им даже и четок или лествиц, взамен которых они навязали 50 узлов из тряпиц и по тем узлам, обе на переменах, совершали свои изустные молитвы. Давали им только пищу, «премудрости учительницу, сиречь зело малу и скудну»: когда сухариков пять-шесть дадут, тогда воды не дают пить; а когда пить дадут, тогда есть не спрашивай... Иногда яблоко одно или два подадут, иногда огурчиков малую часть; но это делали уже из жалости стрельцы, да и то тихонько друг от друга.

Среди таких лишений княгиня через два с половиною месяца скончалась. От великого голода она совсем ослабела, не могла ни цепи носить, ни стула цепного двинуть; стоя не в силах была молиться и молилась, лежа или сидя. Пред смертью она просила сестру отпустить ее по закону христианскому: «Отпой мне отходную: что ты знаешь, ты говори, а что я припомню, то я сама проговорю». И обе

они служили отходную одна над другой, мученица над мученицею в темной темнице отпевала канон; узница над узницею изроняла слезы, одна в цепи, возлежа и стоняше, другая в цепи предстоя и рыдаше.

В Москве думали, что со смертию сестры Морозова, быть может, оставит свое безумие и возвратится на путь истины. С этою мыслью послали к ней инока старца увещевать ее. «Доблестный же адамант», услышав намерение инока, покачала головою и, глубоко вздохнув, сказала ему: «О глубокое неразумие, о великое помрачение! Как вы не поймете этого: когда я и в дому своем была, живши во всяком покое, и тогда не хотела пристать к вашей лжи и нечестью, держалась крепко Православия; не пожалела не только имения, но не устрашилась пойти и на страдание о имени Господни. Потом и в начале моего подвига, когда меня заковали и многое уничижение мне показывали, я не отступала. Ныне ли, когда я вкусила столько сладких подвигов, хотите меня отлучить от доброго и прекрасного моего Владыки. Уже четыре года ношу эти железа, и радуюсь, и не перестаю лобызать эту цепь, поминая Павловы узы. Вслед за моей возлюбленной сестрой я и сама готовлюсь скоро отойти туда. Отложите всю надежду отлучить меня от Христа. И не говорите мне об этом. Я готова умереть о имени Господни».

Старец будто бы умилился и прослезился, назвал их дело блаженным и просил, чтобы она «потщилась началу конец повершить». На место умершей сестры к ней перевели Марью Данилову. После того стала изнемогать и Федосья Прокопьевна. Пред концом призвала она одного из стрельцов и начала ему говорить: «Есть ли у тебя отец и мать? Живы они или умерли? Если живы, помолимся об них; если умерли, помянем их. Умилосердись, раб Христов! Очень изнемогла я от голода и хочу есть. Помилуй меня, дай мне калачика». «Боюсь, госпожа», – ответил воин. «Ну, хлебца». – «Не смею». «Ну мало сухариков». –

«Не смею». – «Ну принеси мне яблоко или огурчиков». – «Не смею», – был ответ.

И сказала она: «Добро, чадо! Благословен Бог наш, изволивый тако! Если невозможно тебе это, то, прошу тебя, сотвори последнюю любовь: убогое это тело мое покройте рогожкою и положите меня подле сестры неразлучно».

Напоследок, чувствуя уже приближение своей смерти, она упросила воина вымыть ей грязную сорочку, сказав: «Вот хочет Господь взять меня от этой жизни! Не подобает мне, чтобы это тело в нечистой одежде легло в недрах своей матери земли». Скрыв под полою, воин снес сорочку на реку и там, моя водою это малое платно, лице же свое слезами омывал, помышляя о прежнем величестве боярыни и о теперешней ее нужде, как Христа ради терпит, а к нечестью приступить не хочет и для того умирает. А всем было известно, что если бы хотя мало с ними сообщилась, то больше прежнего была бы прославлена!

С первого на второе число ноября Морозова тихо скончалась в своей темнице. В ту самую ночь мать Мелания, находившаяся где-то в пустыне, видела Федосью Прокопьевну во сне, облеченную в схиму и в куколь, зело чуден, и сама она была светла и радостна и в веселости красовалась в куколе, обзирая всюду и руками водя по одеждам, удивляясь красоте своих риз. Непрестанно она лобызала образ Спасов, стоявший близ ее, и целовала кресты на схиме.

Покойницу по ее завещанию схоронили подле сестры, обвив тело в рогожу. Чрез месяц скончалась и Марья Данилова. До сих еще пор памятно народу их дело.

П. М. Строев, посетивший Боровск в 1820 г., видел на городище у острога камень, к которому боровские жители имеют особенное почтение, даже кланяются ему до земли[1], рассказывая, что под ними погребены две княжны, сожженные татарами. Строев прочел над ним следующую надпись, почти изгладившуюся: «Лета 7… погребены на сем месте

[1] А мы слыхали, что служивали над ним иногда и панихиды.

сентября в 11 день боярина князя Петра Семеновича Урусова жена его княгиня Евдокия Прокопьевна, да ноября во 2 день боярина.... жена..... Морозова боярыня Федосья Прокопьевна, а в иноках инока-схимница Феодора; а дщери окольничого Прокофья Федоровича Соковнина. А сию цку положили на сестрах своих родных боярин Федор Прокофьевичь, да окольничей Алексей Прокофьевичь Соковнины»[1].

Таков был подвиг боярыни, таков был желанный путь жизни не для одной Морозовой и не для одного этого века. Мы видели подле самой Морозовой целую группу женщин, идущих по тому же пути. Правда, что вследствие разных смутных обстоятельств, вызванных смутными же задачами самого века, все они сбились с прямой дороги, пошли криво, совершенно заблудились, но зато их личные идеалы, которым они несли себя на жертву, были удовлетворены вполне, их мужество доведено было до конца. В этом они нисколько не отстали от своих прабабок первого, еще языческого века, богатырские идеалы которых устремляли женскую личность в битву с врагами, где точно так же она мужественно погибала, вызывая удивление самых врагов. Таким обра-

[1] *Устрялов Н. Г.* История Царствования Петра Великого. Т. I. – М., 1858–1864. – С. 283. Федор Прокофьевич Соковнин пожалован в бояре, а брат его – в окольничие в 1682 г., следующий камень положен не раньше этого года.

Нам встретился более ранний список этой надписи, снятый, по-видимому, в полной точности, причем обозначена и мера каменной плиты, имевшей в длину 2 арш. 11 верш., в ширину в головах – 1 арш. полтора вершка, в ногах – 15 верш., в толщину –10 верш. Текст надписи размещен в разбивку и на лицевой стороне, и с боков плиты. С лица в головах в первой строке читаем: «Лета 7184 (1675) года погребены на сем месте Сентября (продолжение на боковой стороне плиты справа) въ 11 дн боярина князя Петра Семеновича Уроусова жена ево Княгиня Евдокия Прокофьевна да ноября во 2-де боярина (продолжение с боку же в ногах) Глебова жена Ивановича Морозова (продолжение с левого бока плиты) бояроня Федосья Прокофьевна, а во иноцех инока схимница Феодора. А дочери обе Окольничего Прокофья Федоровича (тут же во второй строке) Соковнина (продолжение с лицевой стороны вторая строка). А сию цку положили на сестрах своих (продолжение на правой боковой стороне) родных боярин Федор Прокофьевич да околничей Алексей Прокофьевичъ Соковнины». Слова на боковых сторонах плиты высечены выпукло. – Бумаги Исторического музея. – № 20736.

зом, в течение веков мужество, богатырское самоотвержение не угасало в русской женщине; только византийская культура понятий направила эту нравственную силу на иной путь. Вообще до́лжно заметить, что подвиг и судьба боярыни Морозовой не были созданием этой самой личности, они были, как самый раскол, созданием всего хода внутренней сокровенной истории народа, плодом умственной и нравственной его культуры, выражением крайнего стеснения и помрачения ума авторитетом пустой святости. Это был весьма последовательный и положительный, в высшей степени образный, исход тех начал жизни, которые веками утверждались и укреплялись учениями Домостроев.

Совсем иным характером отличается подвиг Софьи царевны. Но не до́лжно думать, что ее подвиг пролагал какой-либо новый путь жизни, открывал новую силу развития. Напротив, он воплощал в себе те же византийские начала жизни, служил тем же византийским идеалам, только в другой сфере.

Время Софьи на самом деле было византийским временем в нашей истории. К концу XVII столетия Московский Двор на самом деле представил зрелище Двора Византийского, а Москва уподобилась Константинополю в века его общественных и политических смут. Тогда и в Москве в богатых хоромах и в бедных избах на улицах и площадях по всем стогнам града раздавались горячие толки и споры, суждения и рассуждения о том, как веровать, как спасти себя; толковали и спорили о правой вере, о старом благочестии и о новом нечестии; о том, как складывать персты, сколько раз говорить «аллилуия», сколько просфор употреблять в служении, сколько концов должно иметь изображение креста, как писать имя Иисус, каковы должны быть архиерейские клобуки и жезлы, как до́лжно звонить

на колокольнях и т. д. Доходили и до превыспренних вопросов: начали даже святую Троицу четверить, отделяя особый престол, четвертый, для Спасителя. И точно так же, как в Византии, повсюду слышались ярые анафемы друг другу. «Что се Господи будет! – восклицали иные в недоумении. – Там на Москве клятвы все власти налагают на меня за старую веру... И здесь у нас между собою стали клятвы, и свои други меня проклинают за несогласие с ними в вере же...»[1]

Современник этой эпохи Симеон Полоцкий говорит между прочим: «Не тако ли у нас ныне деется: ныне разглагольствуют о богословии мужие, разглагольствуют и отроки, беседуют в лесах дивии человецы, препираются на торжищах скотопродатели, да не скажу в корчемницах пьяные. Напоследок и буия женищца (женщины) словопрение деют безумное, мужем своим и церкви пререкающе...»[2].

В царском дворце копошились подземные, тайные козни, интриги, поднимались мгновенно и мгновенно падали и погибали люди; неистовствовали стрельцы в самых внутренних комнатах Дворца, совершая убийства у самого его крыльца; неистовствовали ревнители старого благочестия в самой Грановитой палате, ведя с патриархом торжественный публичный спор о вере в присутствии царицы и царевен... Словом сказать, в это время византийская идея торжествовала в Москве со всех сторон и во всех видах.

К довершению изумительного подобия с Византией и в Москве в образе царя является постница девица, и тут же с нею является целый ряд дел и событий с полнейшим отпечатком своих византийских первообразов.

Византийская культура понятий и здесь вырастила свой плод – царевну Софью, которая по идеалу византийских женщин смелою рукою взялась делать царское дело.

У царя Алексея Михайловича осталось большое семейство: три сестры, потом два сына и шесть дочерей от

1 Дьякон Федор в письме против Аввакума.

2 Вечеря душевная. Прибл. Д. 5–7.

первой супруги, сын и две дочери от второй, которая осталась вдовою. В сущности, вся эта семья распадалась на два рода по происхождению цариц. Старшее племя принадлежало роду Милославских, младшее – роду Нарышкиных. Старшее племя было сильнее и по своему составу, и по возрасту лиц, и по числу, и по характеру приближенных людей, обыкновенно все царских родственников, а также родственников этим родственникам и т. д. Младшее племя было слабее, потому что по молодости положения не успело еще пустить во дворце и государстве таких широких и глубоких корней, связей, на каких давно уже держался род Милославских. На стороне Милославских, кроме того, было право старшинства; наследниками престола являлись двое сыновей Милославской, старших по возрасту – Федор и Иван. Но и тот и другой были слабы здоровьем, а Иван был слаб и умом. Таким образом, право родового старшинства должно было уступить праву государственных интересов, и наследие престола по необходимости клонилось на сторону Нарышкиных, на сторону здорового и умного ребенка – царевича Петра, у которого к тому же была жива и мать – царица Наталья, по смыслу своего положения все-таки старшая во всей царской оставшейся семье, старшая своим царственным вдовством не только в своем, но и в другом, чужом роде.

К несчастью, это именно обстоятельство и послужило семенем нескончаемой вражды и ненависти между двумя родами. Для Милославских царица Наталья Кирилловна была уже тем ненавистна, что она была им мачеха, а мачеха в родовом быту по естественной причине всегда становилась как бы поперек дороги для детей и родичей первой жены, всегда вносила остуду в любовь отца к старой семье по той причине, что являлась представителем и естественным покровителем своей новой семьи. Здесь к источнику одной нераздельной семейной любви сходились два друг другу чуждых рода, которые вечно и боролись за свое право стоять

ближе к этому источнику. Около царского престола, таким образом, собралось в это время достаточно обоюдной вражды и ненависти. Встал род на род и начались усобицы. По законному порядку царское наследство получил старший из сыновей Федор Милославских. Подземные, никем невидимые силы дворских интриг тотчас и обнаружили свое действие. Нарышкины подверглись гонению, от них отнят был самый сильный человек из родственников – боярин Матвеев. Царицу и с малолетним царевичем намеревались даже совсем выселить из Кремля, т. е. из государева дворца.

Само собою разумеется, что Федор упразднил бы значение и влияние и того и другого рода, если бы царствовал долго, ибо в таком случае род его царицы, новый род, постепенно вытеснил бы прежних старых дворских родичей. Но он, как мы сказали, был слаб здоровьем и умер преждевременно, оставив 15-летнюю вдову – царицу Марфу Апраксиных.

Наследство по порядку старшинства должно было перейти к царевичу Ивану Милославских, слабому и здоровьем, и умом. Тогда уже не род Нарышкиных, в это время бессильный, а здравый разум боярства и дворянства определил быть на царстве царевичу Петру, а не Ивану, тем более что и сам болезненный Иван с охотою отказался царствовать.

Все это было обдумано, конечно, не в тот один час, когда скончался царь Федор. Об этом думали и гадали еще при его жизни, видя безнадежное его положение. Но так думала одна сторона, держа в уме вместе с личными и общие выгоды царства; другая сторона, род Милославских, думал иначе и также, предугадывая события, готовился заранее защищать свои выгоды и права.

Старшее племя гораздо сильнее чувствовало оскорбление, когда перевес падал на сторону младшего племени. На то оно и было старшим, чтобы владычествовать во дворе отца; а между тем владычество силою обстоятельств

готово было ускользнуть из его рук. Требовалось употребить последние усилия, чтобы спасти царствующее положение своего рода.

Но какая же рука могла взяться за это дело? Мужской руки не было – царевич Иван был неспособен; а женской и, главное, девичьей руке, ибо налицо оставались только девичьи руки, было совсем неприлично, да и не только неприлично, но и ни с чем не сообразно браться за такое мужественное, великое государственное дело. Это было бы нарушением всех старых, от века строго чтимых домостроев и уставов жизни, это было бы несказанным стыдом и посрамлением и жизни, и самого этого дела. Словом сказать, такой подвиг противоречил всему умоначертанию древнего русского быта. И, однако же, именно такой подвиг совершился. Девичья рука без девичьей застенчивости и без малейшего девичьего стыда взялась за дело и крепко его держала несколько лет.

При неспособном и постоянно больном брате умные сестры по необходимости должны были заступать его место, поддерживать его значение и влияние на дела. Если брат по природной неспособности вовсе не мог держать себя царем, то ведь он был не один: за ним стоял целый легион царедворцев, ласковцев, милостивцев его рода, которые теряли и приобретали с ним вместе, неразлучно и неразрывно. Для этих ласковцев нужна была опора. Они должны были непременно найти, создать для себя эту опору из тех, конечно, материалов, какие оказывались налицо. А налицо были родные, единоутробные сестры неспособного царя, цветущие возрастом и здоровьем. Около них и должно было сосредоточиться все то, что нуждалось в опоре; в их-то тереме и должна была утвердиться эта опора. В самом деле: к кому было обращаться за покровительством, за помощью? За кого можно было спрятаться в опасном случае? Чьим именем можно было защищать себя или прокладывать себе выгодную дорогу? Кто действительно способен был защитить

гнездо Милославских от всяких дворских невзгод? Таким образом, терем сестер царевен сам собою постепенно стал приобретать значение силы, стал приобретать политическое значение в государстве, чего никогда не бывало и никогда не могло быть в обыкновенное время, о чем невозможно было и подумать, о чем никогда не могли думать и сами царевны. Но такова сила исторических обстоятельств. Они делают иной раз чудеса. Государственная смута выдвигает вперед, на первое место именно то, что так заботливо и попечительно, с такими авторитетными поучениями целые века пряталось назади, подальше от людских глаз. Государственная смута выдвигает вперед, на первое место, запрятанный в глубине двора девичий терем, дает ему небывалый политический смысл, успевает водворить этот смысл в девичьем уме – в том именно уме, который никогда и ни в каком случае и не признавался за ум, которому внимать было стыдом и посрамлением для всякого мужчины, т. е. для ума настоящего. «Да что на тебя дивить? У бабы волосы долги, да ум короток!» – писал Аввакум к своей возлюбленной ученице боярыне Морозовой. И вдруг этот короткий ум становится умом целого события, нескольких событий, умом всего государства. Как же не подивиться этому! Государственная смута создает девичьему терему положение, о каком никогда не могли мечтать все Аввакумы нашей старины. И терем сам чувствует, что такое положение ему по плечу, что достает у него силы удержать за собою это положение. Словом сказать, девичий терем как бы в отмщение за свое удаление от живой жизни перемудряет мудрость целых веков, выступает на сцену истории и мутит царством; производит в государеве дворе революцию, становится заводчиком неслыханного кроворазлития и в 1682 г. – во время стрелецкой казни бояр, и в 1698 г. – во время царской и боярской казни стрельцов.

В тереме дочерей царя Алексея было шесть девиц, уже возрастных, стало быть, способных придавать своему те-

рему разумное и почтительное значение. В год смерти их брата – царя Федора, когда терем явно выступил вперед, старшей царевне Евдокии было уже 32 года, младшей Феодосии – 19 лет. Средний возраст принадлежал по порядку старшинства третьей царевне Софье – ей было около 25 лет. Второй по старшинству Марфе было 29 лет, четвертой – Екатерине – 23 года, пятой – Марье – 22 года. Все такие лета, которые полны юношеской жизни, юношеской жажды. Естественно было встретить в эти лета и юношескую отвагу, готовность вырваться из клетки на свободу, если не полную готовность, то неудержимую мечту о том, что жизнь на воле была бы лучше монастырской жизни в тереме. Ведь жили же люди свободно, такие же православные, такие же девы, например, в древнем Цареграде; такие же девы управляли там государством. Сестры царевны это знали. Они не могли этого не знать, потому что весь круг их познаний, их начитанности заключался именно только в знакомстве с византийскою историею и литературою. Устав каждодневной жизни требовал чтения как душеполезного подвига. Кроме поучений на каждый день, они читали *жития*; и, конечно, жития святых жен были для них несравненно и назидательнее, и любопытнее других житий. Здесь они знакомились не только с иноческими идеалами, но и вообще с условиями, мотивами, формами, порядками и событиями византийской жизни. В это время они должны были особенно хорошо знать византийскую историю, ибо в миру двигался раскол, шли непрестанные толки и споры о вере, которые очень часто утверждали свои положения на этой истории. На каждом шагу приходилось если не читать, то слышать о том или другом событии этой истории, о той или другой исторической личности. Припомним, что в 1682 г. царевны сами ходили рассуждать с раскольниками о делах веры в Грановитую палату. Знакомые терему люди, в числе которых находился, например, такой знаток тогдашней книжности, как Сильвестр Медведев, не говоря уже о его

учителе, Симеоне Полоцком, который, как увидим ниже, едва ли не был главным просветителем терема, – всегда с раболепием готовы были и указать, и рассказать все то, что было нужно, или что возбуждало особое любопытство. С большою вероятностью возможно полагать, что терем часто рассуждал о том, как живали и что делывали когда-то в Цареграде тамошние цари и царицы. Подражание Цареграду обнаруживалось во многом. Отец царевен Алексей Михайлович даже в украшениях своего дворца прямо брал за образец дворец Цареградский: и у него так же, как у тамошних царей, по сторонам трона лежали рыкающие львы[1]. Брат царевен Федор Алексеевич замышлял установить по-цареградски служебное старшинство боярских чинов по 34 степеням, причем указывались и греческие наименования таких чинов: Доместик, Севастократор, Дикеофилакс, Стратопедархис и т. п.[2] Все это было, конечно, вычитано в *царственных* исторических книгах. Немудрено, что, подражая формам быта, подражали и византийским поступкам, тем более что вся культура знания или образованности шла оттуда же, вся выработка мысли и даже воображения была построена по византийским началам. К этому приводила вся наша старая книжность, чтение и учение.

Византийская литература и история воспитывала умы, оправдывая или обличая поступки и подвиги своими примерами, направляя самую жизнь к своим идеалам. В затруднительных обстоятельствах справлялись с нею, как с мудрою советницею. Таким образом, умы терема были по необходимости исполнены понятий и идеалов византийских. При жизни отца в тереме, конечно, господствовали одни только постнические идеалы. Те же идеалы остались бы господствующими и при жизни брата, т. е. до конца, если бы этот брат, царь Федор, обладал прочным здоровьем, был бы прочен на царстве. Но именно болез-

---

1 Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Ч. I. Гл. II.

2 Архив историко-юридических сведений, изд. Н. Калачовым. Кн. I, отд. II, 19.

ненное и безнадежное состояние его здоровья и было причиною, что идеалы терема устремились к другим целям. Болезнь царя подавала немалый повод и не одним царевнам размышлять о том, что будет с царством или, иначе, что будет с людьми, приближенными к царскому родству Милославских. Болезнью Федора почва Милославских колебалась. Единым прибежищем оставался цветущий здоровьем и возрастом терем. Можно с большою основательностью думать, что ввиду таких обстоятельств еще при жизни Федора по терему стала ходить византийская мысль о возможности при слабом и неспособном брате править государством способной сестре. Мысль очень смелая для русской жизни, но она твердо опиралась на авторитет той же истории, которая укрепила в этой русской жизни и самый идеал терема. Притом знакомая история указывала превосходный образ для подражания, как нельзя лучше подходивший ко всем обстоятельствам дела, сохранявший в своих чертах все то, чего требовали и ум, и нрав, и все благочестие века. Таков именно был образ византийской царевны Пульхерии.

Пульхерия была дочь императора Аркадия и Евдокии – гонительницы Иоанна Златоуста. По смерти отца она осталась с малолетним братом Феодосием и тремя сестрами. В первое время государством управлял пестун царя-отрока – персиянин Антиох, который, однако ж, по неизвестным причинам вскоре был удален, и правительницею явилась Пульхерия – девятнадцатилетняя девица, принявшая вместе с тем и титул Августы. Она управляла империею изящно, как свидетельствуют летописцы, и воспитывала брата в благочестии и во всяких добродетелях. Великая набожность и благочестие были наилучшими украшениями ее царственного сана.

Подражая идеалам иночества, она дала обет сохранить до конца дней свою девственность, чему последовали и ее сестры.

Царский дворец, таким образом, стал уподобляться монастырю. Царевна строила церкви, богадельни, больницы, монастыри, определяя им из царской казны пристойное и довольное содержание. Брат Феодосий, достигший уже возраста, был малоспособен к царским делам и постоянно нуждался в опеке, а потому правление государством оставалось в руках Пульхерии почти во все время его долгого царствования. Она его женила на одной афинянке Евдокии. Наилучшая характеристика его царских дел заключается в следующем анекдоте. Он имел обычай подписывать свои указы, не читав, отчего, конечно, людям много бед бывало. Сестра много раз вразумляла его, но напрасно. Чтобы нагляднее показать ему, к чему ведет эта царская лень и небрежность, она однажды подала ему для подписи указ, в котором царь отдавал сестре в рабство свою жену-царицу. Указ по обыкновению был подписан. Пульхерия взяла к себе Евдокию как рабу, «сребром купленную». Царь оскорбился и зело вознегодовал на такое насилие сестры. Но ему был подан им подписанный указ. С тех пор Феодосий оставил свое безумие, говорит летописец.

Впоследствии интриги евнухов, а вместе с ними и самой царицы Евдокии успели поссорить брата с правительницею, и она была изгнана из царских чертогов; но это продолжалось недолго. Она снова возвратилась во дворец и управляла царством до самой кончины брата. После Феодосия царство уже по праву долгого правительства принадлежало ей. Но в то время и в Византии еще не было обычая, чтобы женщина, а тем более девица, прямо заступала место и лицо императора. Опасаясь нарушением этого обычая возбудить толки и неудовольствие в народе и желая, однако ж, сохранить за собою царственное положение, Пульхерия избрала в императоры, т. е. избрала себе в мужья одного из бояр – начальника императорской гвардии Маркиана – человека простого, но весьма достойного и благочестивого. Она предложила ему императорский сан и свою руку под

клятвою «соблюсти девственную чистоту неосквернену». В то время ей было уже 54 года. Таким образом, до конца дней она осталась девою непорочною.

Обстоятельства этой византийской истории во многом сходствовали, как упомянуто, с обстоятельствами, в которых находилась в описываемое время история московская, и идеал царевны Пульхерии должен был особенно привлекать умы московских царевен, точно так же посвящавших дни свои благочестивым подвигам и иноческому безбрачию. Было очень много родственного в положениях лиц, отдаленных друг от друга с лишком на 12 веков. Здесь на самом деле, в живых подвигах и поступках, высказывалась та великая истина, что семена известной умственной и нравственной культуры, в какое бы время они ни были положены в почву народного развития, рано ли, поздно ли всегда должны вырастить свои плоды. Древнерусский и собственно московский терем был именно таким плодом. Его семена, конечно, жили еще в то время, когда и русского имени не слышалось на земле. Перенесенные ветром цивилизации в эту простую, непосредственную почву, которая именовалась Русскою землею, они медленно, но неизменно росли, развивались и воспроизвели жизненные формы, во всем подобные своим первообразам.

Пример благочестивой Пульхерии был силен именно по особенной нравственной чистоте, по особенному благочестью, как представлялся ее образ летописцами. Этим самым наиболее и оправдывалось подражание ему.

Когда стало всем известно, что молодой царь долго не проживет, мысль воплотить на деле историю Пульхерии должна была получить решительное направление. Терем должен был показать всем, что он не только существует, но и имеет право присутствовать в великую минуту государственного события, что он не только член фамилии, но и ревнитель государственного дела. Первый шаг, однако ж, был очень труден. Требовалась сильная и смелая девичья

рука, которая могла бы отпереть эти замкнутые веками теремные замки, отворить эти заржавевшие теремные двери. Терем был силен своею ненавистью к мачехе и ко всему ее роду; он воспитался в дворской подземной борьбе, стало быть, его герои, за исключением разве одной только старшей сестры Евдокии, обладали достаточною энергиею и вовсе не походили на смиренных и кротких монастырок, что они и доказали впоследствии. Но смелые для потаенных подвигов, они робели всенародных очей, им страшно было выйти на площадь, страшно было откинуть свою постническую фату и смелыми глазами взглянуть прямо в лицо миру, мирским делам. Между тем, в этом заключался весь смысл первого подвига.

Страшно было потому, что убеждение старого века почитало такой подвиг великим позором, великим соблазном и поношением не только для царского дома, но и для всей Палаты и для всего народа. Требовалось большого и очень хитрого ума, чтобы не уронить самое дело и провести его до конца, нисколько не оскорбляя общественной совести. Терем выставил именно такой ум. Герой явился в лице средней царевны Софьи.

Терем начал обнаруживать свои стремления самым незаметным образом. Он выразил непомерное горе о болезни брата-царя и беспрестанно посылал спрашивать о состоянии его здоровья, присовокупляя к этому свои скорби о том, что не может видеть больного, помогать ему, служить у его постели; что в такое время разлука с любимым братом очень огорчает и печалит сестер и особенно Софью, сильнее других заявлявшую о своей привязанности к брату. В такое именно время и не было ни малейших оснований отказывать желанию сестры. Это было бы бесчеловечно. Таким образом, двери терема растворяются, и Софья является у постели больного, ходит за ним, не отлучается от него ни на шаг, сама подает ему все лекарства. Такой шаг из терема, по крайней мере с виду, не только никого не мог смущать,

но и возвышал добродетели царевны. Необыкновенного и необычного в этом случае было только то, что царевна по необходимости являлась пред ближними боярами и всеми ближними людьми, которые окружали больного.

Предсмертная болезнь Федора продолжалась недолго. 16 апреля 1682 г., в день светлого Воскресения, он еще совершал торжественный выход к заутрени в Успенский Собор, а 27 числа к вечеру его уже не стало. Погребение по обычаю того времени совершилось на другой же день. По такому же обычаю, принятому в царском дворце, царский гроб всегда провожали только вдовствующая царица и государь-наследник. Остальные члены царского семейства прощались с покойником во дворце и в собор на погребение никогда публично не выходили. На похоронах царя Алексея присутствовали только его сын Федор – наследник царства (которого при этом, вероятно за болезнью, несли в креслах комнатные стольники) и вдова умершего царя царица Наталья Кирилловна, которую несли в санях дворяне[1].

Точно так же на погребении царицы бывал один государь и из сыновей «объявленный» наследник престола. Так, в 1669 г. марта 3 за гробом царицы Марьи Ильичны шел только царь и царевич Алексей Алексеевич, за год перед тем всенародно объявленный наследником престола. Другие царевичи – Федор и Иван и все царевны – сестры и дочери царя не следовали за гробом матери и оставались в это время в своих хоромах.

По крайней мере, так об этом свидетельствуют современные разрядные записки вопреки словам Котошихина, ко-

---

1 Однако Рейтенфельс говорит, что за царицею, у которой лицо было закрыто и голова склонена на грудь какой-то благородной дамы, – «сзади шли в трауре пять царских дочерей от первого брака». В разрядной записке сказано: «А потому в<еликую> г<осударыню> ц<арицу> и в<еликую> к<нягиню> Наталию Кирилловну несли в санях дворяне; а сани были обиты сукном черным и на государыне царице *покров* был суконный черный же. А за нею, в<еликою> г<осударынею> царицею, шли: боярыни и кравчеи и казначеи верховые и иных чинов женского пола в черном же платье». О царевнах не упомянуто. – Дворцовые разряды. Т. III. – С. 1643.

торый вообще говорит, что на провожании бывали все члены царского семейства. Но т. к. это провожание было церемониальным всенародным выходом, а на подобных выходах, по свидетельству тех же официальных записок, дети и все семейные государя никогда не являлись, и только крайний случай царской смерти давал место в такой церемонии одной вдовствующей царице, о чем те записки всегда и упоминают, то слова Котошихина можно объяснить лишь тем, что он не разумел здесь выхода публичного, что царевны в это время шли, как бы сказать, инкогнито, скрытно, без официального о том объявления и без обычной *чиновной* обстановки, как Котошихин и замечает, что «шли все вместе, *без чину* – царица, царевны, боярыни, много множество народа, мужска пола и женска, рыдающе и плачуще»; а дальше прямо говорит, что на погребении царевичей и царевен, братьев и сестер царевны не бывают.

Верно одно, что в таких церемониях *чиновно*, официально присутствовали только царь и царевич-наследник. Старый *чин* двора, чин всей публичной его жизни никого из домашнего мира не допускал присутствовать на этих выходах публично, открыто всему народу.

На погребении царя Федора должен был присутствовать избранный в самый час его кончины 10-летний царь – Петр Алексеевич. По необходимой причине, по случаю его малолетства, его сопровождала вдовствующая царица-мать – Наталья Кирилловна. 15-летнюю вдову умершего царя, царицу Марфу Матвеевну Апраксиных, несли в санях стольники до Красного крыльца, а потом дворяне. Но рядом с избранным царем, также церемониально, по-царски, вышел на провожание и терем в лице царевны Софьи. Подвиг был очень смелый и дерзкий, даже наглый, ниспровергавший старые обычаи и позоривший благочестивый *чин* жизни царского дворца. Но для терема он был неизбежным, настоятельно необходимым последствием всего того, что постоянно и давно там готовилось. Царица Наталья Кириллов-

на, конечно, не смогла вынести такой новины прямо, в виду всего боярства и всего народа, издевавшейся над достоинством ее особы, как и над достоинством малолетнего царя. Лицо дочери-царевны в этом случае заслоняло своим царским выходом лицо матери-вдовы. Кроме того, этот подвиг Софьи обнаруживал в полной мере, как твердо и неуклонно она решалась вести борьбу с мачехою, идти к своей властолюбивой цели. Когда гроб поставили на уготованном месте среди храма, говорит современная записка, царь с матерью, поцеловав мощи, изволил идти к себе и у обедни и на отпеваньи не были. До конца службы и церемонии оставались только царица Марфа и царевна Софья. Терем пришел в смятение от такого поступка царицы Натальи и в лице старшего поколения от теток Анны и Татьяны выслал ей поучение, что брату так делать не годится и неприлично. Нарушая сам дедовские обычаи и старое приличие, терем зорко сторожил за их исполнением на противной стороне. Рассказывают, и это очень верно, что Софья, провожая брата, изъявляла свое горе страшным воплем и, идя с похорон, также вопила и причитала пред народом: «Извели покойного брата злые люди, остались мы теперь круглыми сиротами, нет у нас ни батюшки, ни матушки и никакого заступника; брата нашего Ивана на царство не выбрали. Умилосердитесь над нами, сиротами! Если в чем провинились мы пред вами, отпустите нас живых в чужие земли, к королям христианским...»[1]. Все это было в порядке тогдашних обычаев, и вопить на похоронах с причитаньями было прямым долгом всех горевавших о покойнике. Это было надгробное слово покойнику, где обыкновенно выставлялись ярко все его добродетели и все горе оставшихся по нем родных. После похорон двери терема затворились, и он замолк. Но он умел иным образом разговаривать с народом, и особенно со стрельцами, сила которых была так ему надобна. По городу пошли слухи – одни возмутительнее других. Между прочим, тайком рассказывали, что будто бы

[1] *Соловьев С. М.* Указ. соч. Т. XIV. Дополнение. – С. XXVII; т. XIII. – С. 339.

брат царицы Натальи, Иван Кириллович Нарышкин, только что возвращенный во дворец из опалы, надевал на себя царскую порфиру, диадиму и корону, садился на трон, говорил, что ни к кому царский венец так не пристанет, как к нему, что в этом положении застала его царица Марфа и царевна Софья, начали его упрекать за неслыханную дерзость при царевиче Иване; что он, соскочив с трона, кинулся на царевича, схватил его за горло и чуть не задушил[1].

Подобными сплетнями терем очень долго мутил царство и вызвал, наконец, страшную, бесчеловечную грозу Петра, порешившего с ними в 1698 г. Мысль терема быстро росла, распространялась, наполняла умы стрелецких сходок, охватила почти все слободское население Москвы. С небольшим через две недели слово стало делом. 15 мая стрельцы во всем своем ополчении с копьями, бердышами, ружьями, пушками стали у царского дворца пред Красным крыльцом и потребовали на расправу ненавистных им, а главное, ненавистных и опасных терему бояр и других сановников, особенно родство Нарышкиных. Вышел на крыльцо малолетний царь Петр с матерью-царицею, вышел царевич Иван, из-за которого и дело начиналось, будто он задушен Нарышкиными, вышел святейший патриарх. Но не здесь находилась точка тяготения стрельцов; не эти лица могли понятно говорить с ними; не к ним стрельцы и пришли хвалиться своею службою. Там, внутри царских хором, находилась другая, невидимая власть, призвавшая их на собственную защиту и действовавшая на них как бы электрическим током. Перед тою властью они пришли заявить свою службу и заявили ее чудовищным кроворазлитием. Имя той власти было – *царевна*. Как еще недавно велико было слово *царь*, так теперь в той же мере стало великим слово *царевна*. Оно теперь повелевало царством, спасало и губило людей. Одним этим именем был спасен, например, как чужой совсем человек датский резидент в то самое вре-

[1] *Устрялов Н. Г.* Указ. соч. Т. I. – С. 31.

мя, в которое гибли на копьях сторонники Нарышкиных. «Не трогайте. Это посланник. Он говорил с *царевною*», – кричали беспрестанно провожавшие его стрельцы своим товарищам и тем вывели его из беды.

Понятно, что в две или три недели поднять таким образом стрельцов было невозможно, и нет сомнения, что терем при помощи хороших пособников, каким, например, был Иван Михайлович Милославский, сочинил эту плачевную трагедию в течение всего царствования старшего брата. Воплотив мысль терема в дело, стрельцы на другой день пришли тоже с оружием уже не к Красному крыльцу, а к Постельному, находившемуся на внутреннем царском дворе, т. е. пришли поближе к терему являть ему свою службу. «И выходили к ним говорить государыни царевны, чтобы они, помня крестное целованье, так к ним в дом их государев не приходили с невежеством». Хорошо было невежество! Иван Нарышкин, которого требовали теперь стрельцы, не был сыскан в это время, и царевны упросили оставить дело до утра. На третий день, 17 мая, стрельцы по уговору явились снова на Постельное крыльцо беседовать с теремом: и к ним выходили говорить государыни-царевны. Выдуманный царь Нарышкин был выдан, пытан, изрублен на части, и череп его взоткнут на копье.

На четвертый день, 18 мая, стрельцы явились без ружья, потому что оружием все уже было сделано, и били челом великому государю, т. е. десятилетнему Петру, для формальности и (на самом деле) государыням-царевнам, чтоб Кириллу Нарышкина, царского деда, постричь. 19 мая стрельцы выпросили заслуженные деньги 240 тыс. и награду по 10 руб. на человека да пожитки побитых бояр. 20-го били челом, чтоб сослать в ссылки Лихачевых, Языковых и др., а главное – род всех Нарышкиных.

Так постепенно, шаг за шагом, терем очищал себе место и пролагал дорогу к царственной власти, истребляя или удаляя враждебных и потому опасных для него

людей. Стрельцы служили действительно очень усердно и стоили награды.

23 мая они пришли на Красное крыльцо и через боярина князя Хованского объявили царевнам, чтоб в Московском государстве были два царя: «царевич Иван, как брат старший, да будет первый; царь Петр, брат меньший, да будет меньший, второй. А кто не захочет так учинить, то будет опять мятеж немалый». Царевны указали собрать Думу и сойтись в Грановитой палате помыслить об этом великом деле. Собралась немедленно Дума, говорили много, призвали патриарха с чиновным духовенством и выборных от дворян и слобод, и опять «о том бысть многое глаголание». Одни говорили, что двум царям в одном государстве быть трудно; другие, ораторы от терема, доказывали, что дело будет полезное во многих отношениях, приводили примеры из истории, что по два царя бывали: во Египте – фараон и Иосиф, в Греческом царстве – Василий и Константин, также два брата Онорий и Аркадий – дети Феодосия Великого. Византийские мысли подпирались, конечно, и византийскими примерами, хотя и не совсем складными. Ввиду стрелецкой угрозы: *кто не захочет*, конечно, никто и не противоречил ораторам терема. Все согласились и возвестили избрание звоном в большой колокол и благодарственным молебном, во время которого оба царя стояли в соборе на царском месте и слушали многолетие.

24 мая царевна Софья выборных стрельцов призвала и службу их похвалила, а вперед-де за их службу милость будет. Однако ж новонареченный царь Иван вовсе не думал царствовать первым, главным. Вероятно, он высказывал это, вероятно, с ним соглашались и другие члены царской семьи, особенно старшее племя терема, старшие царевны-тетки. Требовалось укрепить его мысли, убедить его в необходимости царствовать совместно с братом, что лучше всего было совершить посредством тех же стрельцов с указанием на волю самого Провидения.

25 мая стрельцы опять пришли во дворец и возвестили Хованскому наедине, что постельница царевны Марфы Алексеевны говорила, будто бы царь Иван Алекеевич болезнует о своем государстве, что его выбрали; да и царевны о том сетуют, и потому они, стрельцы, хотят видеть их государские очи. Выбрав по человеку из полку, их допустили в царские хоромы, где в присутствии царевен царь Иван пожаловал их к руке. Царевны службу их похваляли и спрашивали: зачем пришли? Стрельцы объявили о словах постельницы, вопрошая, по чьему научению она то говорила. Царевны ответили, что они ее ни с какими словами не посылали никуда. Стрельцы и царевнам известили, чтобы в их государских палатах никакого смятения не было и чтобы государь царь Иван на отеческом престоле государствовал первенством, а брат его чтоб был вторым царем. Царевны те слова слышали радостно и изволили говорить: «Дай Боже смирение, а тому-де быти можно», – и стрельцов за те речи милостиво похвалили. Царь Иван тут же сказал: «Желанием, чтоб быть первым царем, он не желает; но в том буди воля Божия; что Бог восхощет, то и сотворит». Царевны на эти слова прибавили: «В том-де воля Божия есть и впредь будет: а они-де выборные не собою то говорят, но Богом они в том наставляемы».

Как скоро утвердилось первенство старшего брата, то вместе с тем утвердилось и первенство царевен, единоутробных сестер его, над их мачехою Натальею Кирилловною.

26 мая первенство Ивана утвердилось официальным путем, соборне. После того очень естественно было за малолетством братьев правление вручить царевне Софье как наиболее способной представительнице первенства старшего царя. Так решено было общим голосом двора и по челобитью всего народного множества.

Царевна по русскому обычаю и приличию много отказывалась, а потом согласилась и «ради государственного правления» указала боярам, окольничим и думным людям

видеть всегда свои государские пресветлые очи и о всяких государственных делах докладывать себе, и за теми делами изволила она, государыня, сидеть с боярами в палате. И (29 мая) для совершенного в правлении утверждения и во всяких делах постоянной крепости в указах с именами братьев-царей повелела писать и свое имя[1]. Когда все устроилось и утвердилось, двор принес поздравление царевне, конечно, вместе и с царем Иваном.

Терем восторжествовал. Царем стала девица. Девица вместо монастыря попала на трон, вместо схимы облеклась в порфиру. Царь-девица становится государственным, официальным лицом; как царь является на публичных церемониальных выходах. А т. к. публичные церемониальные выходы царя совершались большею частью по случаю церковных празднеств и разных годовых церковных торжеств, то девица и на этих празднествах, и в самом храме во время торжественной службы или крестного хода становится из мирских первым человеком. Ей воздают подобающие почести. Такие небывалые подвиги в публичной жизни московского двора начались было почти с первых же дней по воцарении в государстве терема. 11 июня 1682 г. царям следовало торжественно проводить образ Знамения Богородицы, посылаемый в полки в Казань. Цари вышли, и рядом с ними вышла и царевна Софья. Без всякого сомнения, малолетних царей понудили выйти именно для того, чтобы возможно было выйти и царевне, показать себя царским чином всенародному торжеству. 16 июня, вероятно, по случаю наступавшей коронации, оба царя, *царевны*, царица Наталья Кирилловна ходили все пешком на богомолье в Новодевичий монастырь, что также было не совсем обыкновенно. Никогда не бывало, чтобы царевны, т. е. терем, шествовал *торжественно*

[1] *Туманский Ф. О.* Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого. Т. V. – С. 203.

пешком по московским улицам. А в этом случае терем-то и был главным лицом выхода, ибо цари как малолетние служили здесь, как и во многих других случаях, только как бы царственною хоругвию в торжественном выходе. Царица же сопровождала сына, от которого в подобных обстоятельствах она никогда не отлучалась.

Но еще необычайнее поступил терем, когда он вышел в Грановитую палату спорить с раскольниками о вере. Это было вскоре после упомянутого пешего богомолья, именно 5 июля. Событие в полной мере византийское, как мы упомянули.

В Грановитой палате терем сел председателем собора, он сел на трон. Для двух царей тогда было устроено два царских места. На этих двух царских местах воссели: на первом – старшее племя терема, царевна-тетка Татьяна Михайловна; на втором младшее – царевна Софья Алексеевна. Между ними промеж царских мест сидела самая старшая царевна Анна Михайловна, как свидетельствует очевидец – старовер Савва Романов. Под ними на креслах с правой стороны от царевны Татьяны сели царица Наталья Кирилловна, а потом царевна Марья Алексеевна, дальше стояли бояре; с левой стороны от царевны Софьи в переднем углу палаты сидел на креслах же святейший патриарх и власти. Царевна Софья, стало быть, заняла самое видное место в палате; оттого Савва, указывая это сиденье, начинает порядок мест с нее[1]. Казалось бы, на первом месте подобало сидеть матерой вдове покойного царя Алексея – старшего брата царевны Татьяны и отца царевны Софьи, притом эта вдова, носившая пред царевнами старшинство мужа, была вместе с тем и мать царствующего царя. Но в государстве царствовал тогда терем, царствовали не цари, а царевны, оттого этот именно смысл тогдашней истории и обнаруживался повсюду, во всяком событии. О царице Наталье Кирилловне старовер Савва говорит, что она будто бы три раза присыла-

[1] *Устрялов Н. Г.* Указ. соч. Т. I. – С. 288.

ла к ним с приказом, чтоб ни в соборную церковь, ни в Грановитую на собор они не ходили, чтобы был собор или на Лобном месте, или в Кремле на площади промеж соборов. Они действительно и не хотели идти в Грановитую палату; но патриарх объяснял им, что «здесь-де, в Грановитой, будет царица и царевны, а там (на площади) им быть *зазорно* пред всем народом», на что староверы отвечали: «Царевнам-государыням до того дела нет, достоит тут царям быть, а не царевнам». Но с тем же предложением вышел к ним и князь Хованский, уверяя, что ничего особого для них, староверов, не случится, что царевны-государыни «хотят тут же быти, а здесь (на площади) им быть зело *зазорно*».

Можно, однако ж, догадываться, что необычайные поступки терема производили не совсем хорошее впечатление в народе. На том же самом соборе, когда оскорбленная царевна Софья, сказав в угрозу: «Пойдем из царства все вон», – встала с царского престола и с иконою в руках отошла с сажень прочь, а Палата выразила готовность умереть, головы свои положить за царствующий дом, то иные стрельцы тут же возгласили: «Пора, государыня, давно вам в монастырь! Полно царством-те мутить! Нам бы здорово были цари государи, а без вас пусто не будет». «И бысть ей зазорно вельми и с великими стыдением седе на царское место», – говорит Савва. После таких отзывов зазорное поведение терема, конечно, должно было вскоре присмиреть. На это указывает, по крайней мере, то обстоятельство, что по «умирении мира», по окончании стрелецких смут почти целые три года терем уже не выходил на улицу, нигде не являлся пред глазами всенародного множества. Его руководитель, царевна Софья, снова начала свои публичные выходы, кажется, не раньше 1685 г. В этом году генваря 15–21 она ездила с царем Иваном к освящению главной церкви в Воскресенском монастыре (Новый Иерусалим) на Истре, а 5 июля явилась с царями в Успенский собор к молебну праздновать годовщину победы над раскольниками. Затем

ее выходы год от году учащаются и в последний 1689 г. становятся обыкновенными[1].

С 1685 г. она постепенно, все больше и больше входит в обрядную роль царя, т. е. принимает публичные знаки подобающих царю почестей, даже явно требует таких почестей; старается при всяком торжественном случае занять первенствующее царское место; всегда выходит на церковные праздничные службы или вместе с братом, царем Иваном, или же с обоими царями, если выходит и другой брат, Петр; иногда шествует в одной карете с царем Иваном. Но нередко она и одна, как царь, совершает церемониальный открытый выход в собор к церковной службе, соблюдая в точности все обрядные действия: принимает от патриарха благословение, знаменуется (молится) у местных икон и становится, хотя и на царицыном месте, но с открытыми запонами или занавесами, что и придает этому женскому месту значение уже места царского. Даже и в то время, когда в собор идут царь Иван с царицею и царевны, она, чтобы выделиться от семьи, идет особо и входит в церковь особыми, и притом главными, дверьми – западными, тогда как те входят обыкновенно южными, а царевны – даже северными[2]. На службе, например у панихиды, когда не требовалось стоять на царских местах, Софья все-таки становилась подле царей, именно с левой стороны, в то время как царица становилась обыкновенно вдали, за царицыном местом. На панихидах патриарх творит и ей поклон наравне с царем. На праздничных служениях патриарх и архиереи кадят ее. Однажды она даже и гневалась за то, что ее обошли с кадилом. Вот что записано, между прочим, в уставе Успенского собора: в 1685 г. в предпразднество Успению Богородицы на всенощном «царь был Иоанн Алексеевич и царевна; вы-

[1] В этом году царевна посылала уже ко Вселенским Патриархам просить, чтобы могла она носить царскую корону, т. е. короноваться, возложить на себя царский сан. *Туманский Ф. О.* Указ. соч. Т. VI. – С. 255.

[2] Древняя Российская вивлиофика. Ч. X. – С. 287, 371; ч. XI. – С.164, 200, 256, 370, 424.

ход был со звоном... В начале протопоп кадил царя, а после патриарха, потом царевну по 3; и после державу (царскую), потом посох (скиптр) и начинает. И по начале кадит архиереев и всю церковь; и паки кадит образы и государя и патриарха: *царевны не кадил, за то было гнев.* На "Господи воззвах" протодиакону указал кадить в начале государя и себя, потом царевну и державу и посох и архиереев и, окадя всю церковь, паки образы царя и царевну и потом патриарха...». Очень естественно, что соборный устав мог ошибаться в своих порядках по новости и небывалости дела.

Во «многолетном поздравлении», в *титле* (титуле) архидиакон *кличет* царей и Софию в одной статье вместе, а потом цариц и царевен особо. В пятницу на первой неделе Великого поста в соборе патриарх по обычаю освящал коливо или *кутью*, которая в это время освящалась уже на четырех блюдах, три государских да четвертое патриаршее; из государских два блюда назначались для двух царей и третье, особое, для Софьи.

Царевна являлась торжественно, по-царски и в крестных ходах, особенно в монастыри Новодевичий и в Донской; присутствовала по-царски на освящении новых церквей; совершала торжественные отпуски войска в походы и встречи из походов, сопровождая при этом полковые иконы. В дни царских именин она вместе с царем Иваном жаловала боярство и служилое дворянство, дьяков и гостей водкою в Передней палате[1].

Само собою разумеется, что во дворце терем царевен пользовался еще большею свободою. Здесь в это время он был полновластным хозяином всего дома, свободно отворял все двери, даже свободно отпирал сундуки с царскою казною и брал казны, сколько было надобно. Известно, что, например, в 1685–1686 гг. из новгородского приказа царевны Софья, Екатерина, Феодосия брали деньги не один раз;

[1] Древняя Российская вивлиофика. Ч. X. – С. 424; ч. XI. – С. 24. Дворцовые разряды. Т. IV. – С. 397.

для Софьи отпущено однажды 2000 руб.[1] В прежнее время царевны получали деньги на свои необходимые надобности или из рук царицы, или из рук государя; были, так сказать, в детской зависимости от отца и матери или же от царя-брата и вообще от хозяина дома. Большие деньги, вроде тысячи, они получали, и то только старшие царевны, в каких-либо чрезвычайных случаях, в виде дара. Так, например, по случаю смерти царицы Марьи Ильичны Милославских царь Алексей «велел поднести по приказу покойной царицы» царевнам, своим сестрам, а ее золовкам, Ирине, Анне, Татьяне по тысяче руб.[2]. Но при Софье терем уже не затруднялся брать казну собственными руками. Была своя воля. Он не затруднялся выбирать себе надобные вещи и из царских кладовых. В расходных записках Оружейного приказа читаем следующее: «1684 г. июля 2 великая государыня благоверная царевна Екатерина Алексеевна изволила быть в Оружейной Большой казне; а за нею, государынею, были *стольники*: Александр Иванов Милославской, Михайло Васильев Собакин, Антипа Ларионов Пятово; девицы: Марья Ивановна Шеина, карлица Прасковья Иванова. И указала им к себе, государыне, в хоромы взнесть оружейной брони: карабинец нарядной, саблю-полоса булатная, саблю такую ж; 2 лука турецких, нож булатный, 2 ножа стальные»[3]. Подобное оружие вносилось в комнаты к царевнам не один раз. Нельзя не думать, что они брали оружейную царскую казну для подарков и в награду своим приверженцам. Из приведенной записки мы видим также, каким образом царевны совершали свои дворцовые комнатные выходы; за ними следовали стольники (пажи) и девицы, а также и неизменная сопутница-карлица.

[1] *Соловьев С. М.* Указ. соч. Т. XIV. – Прим. 190.

[2] Расходные книги приказа Тайных дел. 7178 г. Марта 10.

[3] Расход оружейной брони с 13 июня 1682 г., отпускаемой в хоромы к царям и царевнам, и выдаваемой по указу разным лицам, при сиденьи боярина и Оружейничего Петра Васильевича Шереметева. Столбцы Архива Оружейной палаты.

В 1685 г. царевны выстроили себе трехэтажные каменные палаты и великолепно их украсили живописью, о чем мы говорили в первом томе этого сочинения[1]. В нижнем этаже этих палат устроена тогда особая палата, «где сидеть с бояры, слушать всяких дел», т. е. устроена и в девичьем терему думная боярская комната. В этих палатах в числе разных живописных изображений находились также и *персоны* благоверных царевен, которые сначала изобразили было себя в *порфирах*, но потом, вероятно, одумались вследствие каких-либо дворских толков и велели написать вместо порфир *шубки* с кружевы обнизными и с каменьи[2].

Очень понятно, что, когда терем стал владыкой царского дома, около него должна была собраться толпа искателей его милости и устроителей своего благополучия. Царевен, как подобало, окружила лесть тогдашней учености и книжности в лице придворного *учителя* Симеона Полоцкого и достойного его ученика Сильвестра Медведева с их друзьями. Царевнам, как и в прежнее время их отцу, а потом брату, эти придворные стихотворцы писали *на виршах* поздравления и приветствия, нечто вроде од, в которых непомерно восхваляли их высокие достоинства, дарования и добродетели. Такие вирши писались каллиграфически на особых расцвеченных красками листах, и царевны помещали их в своих комнатах на стенах в рамках вместе с фряжскими листами (эстампами). Мы видели уже, что подобные «поздравления» царевны Софии и царевны Феодосии висели в комнате у Софьи[3].

До́лжно заметить, что терем еще при жизни брата царя Федора вошел уже в непосредственные сношения с учеными и книжными людьми и именно с Симеоном Полоцким, который и без того был очень близок царскому семейству.

[1] Для царицы Натальи Кирилловны с сыном Петром тогда были выстроены хоромы деревянные. – Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Ч. I. – С. ….

[2] Архив Оруженой палаты. № 263.

[3] См.: Домашний быт русских царей в XVII и XVIII столетиях. – С. 261.

Вот что он пишет в своем «вручении» или посвящении царевне Софье сочиненной им книги, катехизиса, под заглавием «Венец веры», которая, однако, после заподозрена была в неправославии.

О благороднейшая царевна София,
Ищеши премудрости выну небесные.
По имени твоему (Софья – мудрость) жизнь
твою ведеши:
Мудрая глаголеши, мудрая дееши...
Ты церковные книги обыкла читати
И в отеческих свитцех мудрости искати...

Затем Полоцкий объясняет, что царевна, узнав о том, что сочиняется эта новая книга, «возжелала сама ее созерцати и еще в черни бывшу (черновую) прилежно читати»; потом, убедившись, что книга и в духовности полезна, велела устроить ее чисто, т. е. переписать набело, устроить ее в книжный вид, в котором автор и подносит ее царевне. Само собою разумеется, что тут же автор вручает и себя милостям царевны и по этому случаю восхваляет милосердие, говорит, что оно елей и что елей мудрым девам необходим бывает.

Мудрейшая ты в девах! Убо подобает
Да светильник сердца ти светлее сияет:
Обилуя елеем милости к убогим,
Сию спряжа доброту к иным твоим многим.
Но и сопрягла еси, ибо сребро, злато, –
Все обратила еси милостивне на то,
Да нищим расточиши, инокам даеши,
Молитв о отце твоем теплых требуеши.
И аз грешный многажды сподобихся взяти,
Юже ты милостыню веле щедро дати...[1]

[1] *Тихонравов Н. С.* Летописи русской литературы и древности. Т. VI. – М., 1859–1863. – С. 86.

Это поднесение книги происходило еще при жизни царя Федора, не позже 1678 г., ибо стихотворение внесено Полоцким в особый сборник – рифмологион – стихослов, составленный в этом году. Тогда Софье было около 20 лет; так рано она уже является начитанною и знакомою с книжными людьми.

Ученик Полоцкого Медведев также не один раз восхвалял царевну подобными же виршами, которые иногда брал целиком у своего учителя. Между прочим, в 1685 г. он написал *вручение* премудрой царевне привилегии на академию, длинное послание о высоком значении науки, о необходимости водворить ее на Руси; о том, что сама мудрость – Софья-царевна только и была способна совершить это великое дело.

Мудрости бо ти имя подадеся,
Греком София мудрость наречется:
Тебе бо слично науки начати,
Яко премудрой оны совершати...

Далее автор говорит, что, как Ольга свет веры явила, так и царевна хочет явить России свет науки; что она первая здесь мудра явилась; что предивно Господь ее избрал править царством, которое от всех бедствий она хранит, как зеницу ока; что многие прежде жити в России князи и цари, но ни одному Бог не дал дара «мудрость Россам показати» и т. д.

Наконец, ее возвеличили сокровищем семи даров Духа Святого. Эти дары были описаны с величайшею лестью в особой книжке «Дары Духа Святого» с приложением гравированного изображения царей и царевны, и на другом листе князя Голицына и иных персон. Затем явился особый гравированный портрет царевны с аллегорическими изображениями таких же даров, сиречь добродетелей. В книжке описаны следующие дары: мудрость,

разум, совет, крепость, благочестие, видение в законе Господнем и страх Господень. На портрете изображены: вверху – разум, по сторонам – благочестие и целомудрие, щедрота и правда, великодушие и *надежда божественная* (т. е., вероятно, надежда устроит себя на царстве окончательно). В описании дара мудрости книжка говорит, между прочим, что когда в 1682 г. был мятеж (стрелецкий), то никто не мог его усмирить, а царевна могла бы еще в начале его остановить, но не хотела противиться изволению Божьему, прозревая «якою кончиною овая мятеж имела утолитися; в молитвах неусыпающих в то время трудилася, просила у Бога милости в его отмщении за грехи мирские...». В предисловии говорится, что «иный весь век свой трудится, дабы малую якую часть мудрости постигнул; но тебе – с именем дана есть мудрость Духом Святым, ибо имя твое ничто иное не знаменует, точию мудрость»; что еще в царствование своего отца Алексея царевна прославилась во всем государстве, иные говорили о ней, что будет мудра паче всех мудрых, иные – что своею мудростью на весь свет расширит Российское государство, иные говорили, что она возвысит славу христианскую, покорит «гордость поганскую». И правду все говорили, прибавляет сочинитель, обращаясь к царевне: ты не только их мысли исполнила, но и еще больше прославилась; и если б кто древнего века начал чуда славить, первое бы явилось ему чудо – твоя мудрость, и т. д.

Книжка издана в Чернигове в 1688 г.; особый портрет печатан в Москве. Все это были затеи второго друга царевны, Шакловитого, конечно, при ее одобрении. Медведев в надписи к портрету равняет ее Семирамиде, Елисавете Британской, Пульхерии.

В 1687 г. Шакловитый передал Виниусу назнаменованный (нарисованный) *лист*, на котором царевна была изображена во всем царском чине: с царским венцом на голове, со скипетром и державою в руках, в порфире. Портрет помещен

в овальной раме, вокруг которой размещены символические изображения «Даров Духа Святого». Полный царский титул для царя-царевны и подписи к Дарам были написаны на латинском языке. Из строк титула и составилась самая рамка, где титул начинался словами: Sophia Alexiovna dei Gratia Avgustissima… Внизу под рамкой портрета на латинском же языке написаны похвальные вирши. Шакловитый приказал Виниусу по повелению от царевны отослать лист за границу, дабы он был награвирован для того, «чтоб ей, великой государыне, слава и за морем была, в иных государствах». Винус отослал лист для напечатания в Голанскую землю, в Амстердам, к бурмистру Николаю Витцыну, который поручил печатание граверу Блотелингу. Изготовленная гравюра в количестве близко ста оттисков была доставлена в Москву, и Виниус, не раскрывая заморской печати, отдал посылку Шакловитому, который раздавал лист всяких чинов людям не втай. Такой же лист с изображением портрета вместо рамки в Орле с писанием на русском языке Шакловитый печатал в Москве на своем загородном дворе под Девичим монастырем для славы царя-царевны в Московском государстве[1]. Эти листы печатались и на атласе, на тафте, а подносные и на объяри.

До́лжно думать, что и другие сестры-царевны принимали живое участие в сношениях и беседах с тогдашними учеными пиитами.

Мы уже заметили, что церковная начитанность была насущною потребностью того времени и особенно для терема, ставшего во главе тогдашних общественных движений, получившего в свои руки царскую власть и тем самым сосредоточившего около себя все то, что по своему образованию стояло тогда впереди. Общество книжных людей, сблизившееся с теремом, должно было по необходимости внести в него свое влияние, поднять уровень его начитан-

[1] Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. – СПб., 1884–1894. Т. I, VIII. – С. 596, 655.

ности и образованности. Нельзя притом отрицать, что в настоящем случае через тех же ученых невидимым ни для кого путем действовало отчасти католическое иезуитское направление, которое в этом тереме, вероятно, и надеялось свить себе прочное и покойное гнездо. Для него особенно и было необходимо, чтобы терем в действительности шел впереди общества по своему образованию, получавшему под влиянием католичества особый склад, каким на самом деле и отличалось образование царевен, одобрявших такие книги, каков, например, был катихизис Полоцкого «Венец Веры», заподозренный, как мы упомянули, в неправославии. Католическое направление мнений принималось царевнами, конечно, вполне бессознательно, но охотно по той причине, что давало больший и все-таки благочестивый простор для их действий; по крайней мере, оно освобождало их от излишне суровых и строгих запрещений старого Домостроя.

Однако ж домашняя свобода терема не простиралась дальше тех шагов, которые указывал тот же Домострой и которые вполне одобряли особенно католические идеи. Друзьями терема являются попы (у царевны Екатерины костромской поп Григорий Елисеев), дьяконы (у царевны Марфы дьякон Иван Гаврилович), певчие, также разные старцы и старицы, богомолицы, нищие и т. п. Это было самое приличное и обыкновенное общество всякого терема в допетровском быту. В царском тереме оно приобрело даже и политическое значение, ибо посредством этого общества терем владел народными умами, направлял эти умы к своим целям, очень долго мутил всем царством. Терем в известные дни на память родителей давал по обычаю особые пиры этому обществу, известные в официальных записках того времени под именем *кормки нищих*. Посредством этой кормки и разных других обрядных действий комнатной жизни заводились надобные терему связи с *миром*, со светом, со светскими, мирскими

людьми. Здесь-то и гнездились все интриги государственные и домашние, в которых терем показал себя великим искусником. Через нищих и стариц он вел переписку со стрельцами, распускал по городу сплетни, мутил государство, что вполне было доказано стрелецким розыском 1698 г. Вообще терем умел дело делать и концы хоронить. Как воспитана была в этом отношении его мысль, лучше всего видно из его наставлений своим агентам, которые давал он во время стрелецких розысков 1698 г.

Царевна Екатерина Алексеевна по случаю этих розысков очень хлопотала о том, чтобы близкие к ней ее дворовые люди, которые были замешаны или могли быть замешаны в этом деле, не выболтали чего о ее сношениях с упомянутым костромским попом или с *ним*, как она часто обозначает эту личность, о ее переписке с *ним* и вообще обо всем том, что открыть она очень страшилась. С этою целью она написала бывшей своей постельнице Марье Протопоповой самые подробные наставления, как и что говорить взятым к розыску людям. Эти наставления очень любопытны: они обнаруживают значительную опытность царевен в ведении своих потаенных дел и вводят нас в круг мелочных домашних интересов терема. Следствием, однако ж, было доказано, что царевна не раз посылала за попом на Кострому своих постельниц, тайно принимала его в своих хоромах, дарила ему деньги, дворцовую серебряную посуду, находила случай переписываться с ним, когда у комнат ее стоял караул, и утешалась в своем заточении его предсказаниями: «Ничего не бойся, – сказывал он ей чрез посланного, – ничего тебе не сделают; я знаю по планетам, что будет, худо или добро»[1]. Но участия царевны в заговоре не открыто.

В своих наставлениях она писала следующее: «Пожалуй, для Бога, матка моя, съезди ты сего дня или утре с матерью своею к Сорокину в дом, только мочно будет с

[1] *Устрялов Н. Г.* Указ. соч. Т. III. – С. 238.

нею видеться, да и молвь ты тихонько с Вахромеевною[1], чтоб мать твоя не ведала: так ей молвь: для-де Бога не торопись, молись Богу. Будет-де тебя спросят: почему-де ты *попа* знаешь? – Так бы молвила: какова попа? Буде скажут какова, так бы молвила: кто сказывает, что я его знаю? – Буде старица (попавшаяся на следствие) станет про меня что говорить, что будто ко мне хаживала: одно б крепко в том стояла, что "не знаю, не ведаю и не важивала к ней". – А буде уже невозможно того не сказать ей, что *его* не знает, так бы только сказала (за нужду, буде старица в чем уличит), что она где ее с ним видала, так бы к тому слову сказала: только из знакомства, что он прихаживал к Марфе Ивановне[2] и бивал челом о скуфье, так иное сама не выйдет на лестницу, да меня высылала сказать ему, что скажет: добро, пошлю к патриарху побить челом. А больше того не знаю ничего, хотя уже умереть. Много бы слов тех не плодила. – Буде и про то станут спрашивать, что почто ты прежде сего ездила на Кострому? – Так бы сказала: ездила я в монастырь в Нерехту с милостынею; в тот год недород был хлебу: так-де старица, была ль у царевны и где бывала постельница, так-де она била челом, что с голоду они пропадают; так-де царевна София послала денег на хлеб... Чтоб не торопилась; буде спросят, так бы и сие сказывала; а буде не спросят, так бы не говорила... А про нынешнее буде спросят: почто ты ездишь на Кострому, – так бы сказала, что к свекру и свекрови ездила видеться. И про то буде спросят: ведает ли царевна, что ты поехала, – так бы сказала, что не ведала... Буде спросят о том, прихаживала ль к нам коли, – одно бы говорила, что не хаживала... и про письма ни про какие поминать ей не вели, ни про *него*. Хоть и спрашивать станут про письма, что не нашивала ль каких

1 Домна Вахромеева содержалась под караулом у Сорокина в том, что она от царевны к распопу с Верху письма нашивала и по того распопу на Кострому езживала.

2 Верховая боярыня Марфа Ивановна Белкина.

писем, – одно: что не нашивала, хоть умереть готова... Буде и про то спросят: не теривала ль ты каких писем, – никак, хоть умереть готова, что ничего не знаю, не ведаю. Лучше, однова стерпеть, помилуй Бог! Авось о этом и не спросят у нее. Ты ей растолкуй хорошенько, только мочно; поговори ты с нею: буде про сие не станут спрашивать, так бы и не заводила про сие говорить сама».

«И муж бы ее, Вахромеевой, не сказывал того, что она к нам хаживала, и что мы ведаем, что они поехали к Костроме; чтоб в одно слово говорили, что жена, тоб и муж сказал. А как в словах разобьются, так худо будет. И про тоб не сказывал, что муж от Вахромеевны в ту пору, как мы сидели заперты в Верху летась, так он от *попа* прихаживал со словами к Вахромеевой, и письмо одинова принес к ней; чтоб этого не сказал. Ведь нет этому свидетеля: только они два. Только мочно, мужу Вахромеевнину это молвь ты, чтоб про сие не поминал, не про деньги, что с ними к попу послали денег 10 рублев; (будто) он давно просил, будто у него-то заимовал. Уж ты вычитай хорошенько письма. Да только мочно, этак про все Вахромеевной молвь ты, как писано: буде о чем спросят, так бы этакой ответ давала; а буде не спросят о чем, так бы и не поминала. А хотя и про иное про што и спросят, так бы нет доводчика, так можно в том слове умереть».

«Пуще всего, писем чтоб не поминала... Для Бога, ты этих слов никому не сказывай, о чем писано, что с ними говорить; не верь ни в чем, никому, ни родному. И Дарье б кто молвил, чтоб не торопилась, чтоб писем не поминала, что ко мне писывали. Также бы, любо спросят про то: не видала ли попа в Верху, – так бы сказала, что одно, что хочу умереть, ни знаю, ни ведаю... Буде и про то спросят; не хаживал ли кто к нам сюды баб и мужиков, крепко б говорили, что никак... никто не хаживал... Пожалуй, для Бога, прикажи всем им, которые сидят, как здесь писано, чтоб ни себя, ни меня, ни людей не погубили. Молились

бы Богу да Пресвятой Богородице, да Николаю чудотворцу; обещались бы, что сделать. Авось ли Господь Бог всех нас избавит от беды сей... Пошли ты по Толочанова, да распроси ты хорошенько про старицу и про то, что она доводит в чем на *попа*, и на царицу, и на меня. Доведайся о всем да отпиши. А как Василей на перемену придет в четверг, так с ним в ту пору писем не посылай, осматривают их. Помилуй Бог, как найдут... Призови ты к себе завтре Агафью Измайловскую... Ты ей молвь: что-де ты хоронишься? От чего? До тебя-де и дела нет. А коли быде и дело было, где-де ухорониться от воли Божией!.. Ты молвь ей: помилуй-де Бог от того! А как бы-де взяли, так бы-де вы, чаю, все выболтали: как хаживали, и как что, и как царевен видали. Не умори-де для Бога! Хоть бы-де взяли и вам бы-де до́лжно за них, государынь, и умереть. Не поминай-де ты и про то, что письмы от Татьяны и от Дарьи нашивали. Ведь-де нет свидетеля на то... Ономедни с нею посылала денег два рубли на подворье, зашито в мешке *к нему*. И про это б не сказывала: нету на это свидетелей; отнюдь бы не сказывала, что к нам хаживала... Опять повидайся ты с Яшкою... Я велела к тебе им заехать. Разговорись с ним, как его имали, в чем? Да и про то молвь: помилуй-де Бог! Как бы стали расспрашивать, так бы-де вы много наболтали. Вам бы-де и умереть надобно за них; ведь-де нет свидетелей прямых. Будет-де и присылали про то: что какие горшки нашивали? Так-де (бы) сказали, что в Верху варили *ходатая*; а про иное б и не поминали. Хотя б-де и спросили: что не нашивали ль-де писем, так бы-де сказали: хоть умереть в том, что не знаем ничего, не ведаем. А буде не спросят, так нечего ж говорить ни про что, о чем не спрашивают. Поговори им гораздо от меня про сие: хоть бы умереть, а слов бы не было: нет свидетеля. А для того про это пишу: ради всякого времени. Иногды и не в том попадутся в деле, а про иное наболтают. И Дарье про то молвь, чтоб не сказывали тех врак, что про старца Ага-

фья ей сказывала и куды-де она Ваську посылала. О чем не спрашивают, не вели того врать; о чем и спрашивают, так в чем нет свидетелей, так нечего и говорить. Чтоб моего имени не поминали. И так нам горько и без этого!»[1]

Да, в это время, в это последнее время теремной жизни вообще терему действительно было горько. Искореняя старых друзей терема, стрельцов, Петр вместе с тем разрушал мало-помалу и самое здание терема.

Известно, что после стрелецкого розыска царевна Софья и Марфа были пострижены в монахини, одна – в московском Новодевичьем монастыре, где и прежде содержалась, другая – в Успенском девичьем, в Александровской Слободе. Пред кельями Софьи по повелению царя были повешены 195 человек стрельцов. У самых окон висели трое с челобитными в руках. Князю Ромодановскому царь дал собственноручное наставление: кого пропущать к Софье: «Сестрам, кроме Светлой недели и праздника Богородицына, который в июле живет (храмовой праздник монастыря), не ездить в монастырь в иные дни, кроме болезни (Софьиной). Со здоровьем (спрашивать о здоровье) посылать Степана Нарбекова, или сына его, или Матюшкиных; а иных, и баб и девок, не посылать; а о приезде брать письмо у князя Федора Юрьевича (Ромодановского). А в праздники быв, не оставаться; а если останется, до другого праздника не выезжать и не пускать. А *певчих в монастырь не пускать*: поют и старицы хорошо, лишь бы вера была, а не так, что в церкви поют: *спаси от бед*, а в паперти деньги на убийство дают».

В феврале 1700 г., приводя в новый порядок расходы дворца, Петр коснулся и кормки нищих. По расчетам оказалось, что царица Марфа на поминовение покойного мужа, царя Федора, кормила в 5 дней 300 нищих; столько же кормила царица Прасковья по муже, царе Иване; царевна Татьяна Михайловна кормила в 9 дней 200 чел., царевна Евдокия Алексеевна с сестрами в 7 дней 350 чел.;

[1] *Устрялов Н. Г.* Указ. соч. Т. III. – С. 408.

даже царевна Наталья Алексеевна кормила в 4 дня 200 чел. Всего кормилось в известные дни поминовения у 5 комнат 1371 чел., питья и запасов выходило в год на 143 руб. 26 алт. 3 ден. На подлинной ведомости об этой статье дворцового расхода Петр собственноручно написал: «Сии денги раздать нищим по улицам, а в Верх их (нищих) не брать, для того, что *вытерки то комят*»[1].

Что именно сказано в этой тайнописи, за неимением ключа, мы объяснить не можем. Но этим указом окончательно и навсегда нищие отдалялись от дворцовых комнат; старому Домострою таким образом наносился самый чувствительный удар, ибо старый Домострой всю добродетель свою полагал именно в таких формах благочестия.

Терем царствовал, конечно, по той только причине, что налицо не было царя: один был неспособный, другой мал возрастом. Как только вырос и укрепился малолетний царь, тогда и окончилась воля царь-девицы. Первая решительная встреча двух соперников, как и следовало ожидать, произошла на церковном торжестве, ибо на этих торжествах царский сан и государева особа обозначались для всенародных очей несравненно виднее; а следовательно, и несравненно виднее обнаруживалось зазорное совместничество двух царственных особ. Софья очень хорошо понимала значение этих царских выходов и не пропускала случая показаться народу в царственном величии. Выходы ее становились год от году чаще. Обыкновенно она выходила вместе с братом Иваном и, по всему вероятию, даже и вынуждала его, постоянно больного, сопутствовать ей в этих торжественных шествиях. В иное время, особенно в последний год, она и

[1] У Туманского: Российский магазин, I, 421, напечатано: *«Витебки там скомят»*. Мы пользовались списком этой разметной книги, относящимся к половине XVIII столетия.

одна являлась на этих выходах. Царь Петр появлялся на церковные торжества изредка, в самых важных случаях. Он не тем был занят, да, вероятно, по возможности избегал и зазорного для себя совместничества с ненавистницею сестрою... Но скрытая, подземная борьба обнаруживалась даже и в этих богомольных действах двух соперников: царевна время от времени приказывала петь в соборе канон: «Многими содержим напастьми», словами которого желала выразить свое положение и отношение к петровской партии. Петр в последние годы, 1688 и 1689, один являлся в собор к «умовению ног», тоже, по всему вероятию, давая чувствовать своим присутствием при этом церковном действе, как он понимает свои к ней отношения.

В 1689 г. июля 5 царевна праздновала годовщину о победе на раскольщиков. Накануне она одна слушала всенощную на Троицком подворье в церкви чудотворца Сергия, а в самый день с царем Иваном выходила к обедне в Успенский собор и слушала благодарный молебен об этой победе с прибавлением упомянутого канона «за прошение царевны». 7 июля вместе с братом Иваном она праздновала в соборе память Филиппа митрополита.

8 июля в понедельник следовало праздновать явлению Казанской иконы Пресвятой Богородицы с крестным ходом в Казанский собор в память избавления Москвы от ляхов в 1612 г. В этот праздник цари поднимали в крестный ход иконы и из своих Верховых, дворцовых церквей от Спаса за Золотою решеткою, за которыми шествовали торжественно сначала в Благовещенский, а потом в Успенский собор, а отсюда сопровождали крестный ход до Казанской церкви и слушали там обедню. Царь Петр приехал к празднику из с. Коломенского. Надо заметить, что в этом ходу царевна еще ни разу не участвовала в прежнее время. Когда оба царя пошли с Верху, из дворца, за образами, то и царевна в то же время церемониально пошла из терема с *откровенною* главою (в чем и заключался для нее

зазор), неся образ «*О Тебе радуется*», который, вероятно, по особому обещанию был поновлен к этому дню и украшен новым окладом[1]. Нельзя было не выразить царевне своего обрадования, потому что в это время с торжеством победителя приближался к Москве из Крымского похода князь В. В. Голицын.

С именем Голицына для царевны соединялось на этот раз много радостей. Он разгромил Перекопского царя; по крайней мере, так он сам писал о себе, и прославлял, и возвеличивал свой выдуманный подвиг даже на всю Европу. Конечно, его успех возвеличивал личность правительницы, высоко ставил ее управление государством; придавал ее лицу мужественные самостоятельные черты деятельного и счастливого государя. Надо было употребить все средства, чтобы поднять в общественном мнении этот крымский подвиг на самые высокие ходули. Князь Голицын и обнаружил в этом деле великое уменье. Затем его присутствие в Москве очень было необходимо по обстоятельствам царевниной борьбы с братом Петром. Этим крымским подвигом она и хотела усмирить невыгодную о себе молву со стороны братниной партии; в нем она приобретала самое победоносное и вполне достойное оружие против своих врагов.

Но кроме политических причин ее радости, существовала особая и главнейшая, сердечная, причина, которая должна была действовать еще живее. Голицын был другом царевны и ее наперсником. Разлука с ним уже давно ее томила. Она об этом не раз писала к нему в письмах, скрываемых от людей посредством потаенной цифирной азбуки. Два таких письма, сохранившиеся счастливым случаем и открытые г. Устряловым, относятся именно к тому времени, о котором мы говорим. Царевна поздравляет в них своего друга с победою, которую, разумеется, приписывает милосердию Божию и присовокупляет: «Чево

[1] Древняя Российская вивлиофика. Ч. X. – С. 362.

от века не слыхано, ни отцы наши поведаша нам такова милосердия Божия; не хуже Израильских людей, – продолжает она, – извел вас Бог из земли Египетской, тогда чрез Моисея, ноне чрез тебя, душа моя... Свет мой, братец Васенька, здравствуй, батюшка мой, на многие лета и паки здравствуй Божиею (милостью) и Пресвятые Богородицы и твоим разумом и счастьем, победив агаряны, подай тебе Господи и впредь враги побеждати. А мне, свет мой, веры не имеется, что ты к нам возвратишься; тогда веры пойму, как увижу во объятиях своих тебя, света моего... Свет мой батюшка, надежда моя, здравствуй на многие лета!.. Батюшка мой, радость моя, свет очей моих, мне веры не иметца, сердце мое, что тебя, свет мой, видеть. Велик бы мне день той был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила пред собою». И сам Голицын, видимо, очень желал своего возвращения в Москву и потому просил друга царевну, чтоб она помолилась. На первый раз царевна, кажется, не совсем так поняла его просьбу. «А что, свет мой, пишешь, чтобы я помолилась, – отвечает царевна и присовокупляет в сомнении: будто я, верно, грешная пред Богом и недостойна; однако же дерзаю, надеяся на его благоутробие, если и грешная. Ей! Всегда того прошу, чтобы света моего в радости видеть». В другой раз она писала: «Что ты, батюшка мой, пишешь о посылке в монастыри, все то исполнила, по всем монастырям бродила сама пеша... что пишешь, батюшка мой, чтоб я помолилася: Бог, свет мой, ведает, как желаю тебя, душа моя, видеть; и надеюся на милосердие Божие, велит мне тебя видеть, надежда моя... А я, батюшка мой, здорова, твоими молитвами, и все мы здоровы. Аще даст Бог увижу тебя, свет мой, о всем своем житье скажу; а вы, свет мой, не стойте, подите помалу, и так вы утрудилися. Чем вам платить за такую нужную службу, наипаче всех твои, света моего, труды. Если б ты так не трудился, никто б так не сделал».

Теперь весьма понятно, с каким особенным желанием царевна хотела присутствовать в торжественном крестном ходе к Казанской. Она праздновала победу над врагами и разными напастями во всех смыслах.

Дворцовый выход совершился в полном составе. В Успенском соборе цари и царевна приложились к иконам и святым мощам при пении многолетия, после чего дóлжно было идти за святыми иконами и крестами в церковь к Казанской. Тогда, говорят, царь Петр сказал сестре, чтоб она в ход не ходила, что то дело не обычное и не приличное идти ей особным лицом вместе с царями[1]. Как она ему ответила, мы не знаем. Но дело кончилось тем, что в ход не пошел только сам Петр.

Царевна с братом Иваном торжественно вышла за крестами из собора и сопровождала их до места; а Петр проводил кресты только до Архангельского собора, вошел в эту царскую усыпальницу, помолился у святых икон и у мощей благоверного царевича Димитрия и «изволил с Москвы иттить в тоже вышеупомянутое село Коломенское». К сожалению, в дворцовой разрядной записке об этом событии в оригинальном столбце после этих самых слов следует утрата нескольких листков[2], так что мы не знаем, в чем заключались дальнейшие подробности ее повествования именно относительно царевны Софьи.

Но царевна продолжала свои выходы еще с большею настойчивостью. 14 июля она одна ходила ко всенощной в церковь Св. Владимира, что в Садех; 15 июля в самый праздник св. Владимира она одна изволила быть в той же

[1] Подробная Летопись. – СПб., 1799. – IV, 135.

[2] Дворцовые разряды. Т. IV. – С. 458. Замечательно, что в подобных актах, касающихся этой смутной эпохи, мы постоянно и в самых важных местах встречаем такие же утраты. Так, например, значительная часть предсмертного показания Шакловитого (*Устрялов Н. Г.* Указ. соч.Т. II. – С. 77) тоже утратилась. Как будто по всем этим документам ходила какая-то одна рука, истреблявшая все, что должно было выяснять и обнаруживать в настоящем виде отношения Софьи к Петру и к своим друзьям.

церкви на освящении и у обедни. 18 июля вечером ходила в с. Покровское и вскоре возвратилась оттуда, вероятно, по той причине, что в это время к Москве подошел с полками князь Голицын. На другой день 19 июля происходила торжественная встреча победоносному войску, причем царевна уже без малейшего зазора справила эту встречу во всем подобно самому царю. Воеводам велено было вперед себя отпустить к Москве святой крест и полковые святые иконы, которые были с войсками в походе. В 8-м часу утра царевна изволила идти в церковь Тихона (у Арбатских ворот); отслужила там молебен и продолжала шествие к Серпуховским воротам, у которых за городом и встретила святые иконы. Помолившись и приложившись к иконам, она «жаловала к руке» бояр и воевод, князя Голицына с товарищи и изволила спросить их о здоровье. От Серпуховских ворот за иконами она шла в Кремль в сопровождении тех же походных бояр и воевод, а также и бояр, окольничих, думных людей, стольников, стряпчих, дворян, дьяков, гостей и приказных людей, которые сопутствовали ей на выходе. Впереди икон шли ратные люди: ротмистры, полковники, стольники, стряпчие, поручики, хорунжие, дворяне, жильцы и иных чинов по 5 и по 6 человек в ряд, в саадаках и в саблях и с иным оружием. У дворца шествие встретил царь Иван, после чего царевна прошла дальше, через свой государской двор в соборную церковь, где патриарх совершил благодарственный молебен, после которого царевна проводила полковую святыню к себе во дворец и там ее оставила в одной из верховых церквей. Затем в Передней палате вместе с братом она торжественно жаловала к руке всех походных воевод и дьяков и всех начальных ратных людей, причем боярам сказана была похвальная речь.

23 июля в 6-м часу утра царевна ходила к обедне в Новодевичий монастырь и служила там торжественный молебен «Смоленской Божией Матери о их государском много-

летном здравии и о всяком благополучении и воздавали хвалу о победе врагов, проклятых агарян». У молебна были князь Голицын и все воеводы и ратные начальные люди. После молебного пения царевна угощала воевод фряжскими винами, а ратных людей водкою.

25 июля по случаю именин царевны Анны она опять угощала в Передней водкою все боярство, и дворянство, и полковых людей.

Между тем развязка потаенной борьбы с братом близилась к концу. Софья вела уже решительные переговоры со стрельцами. 27 июля на праздник иконы Смоленской Богородицы Одигитрии (путеводительницы, крепкой помощницы) она ходила, по обычаю, в Новодевичий монастырь ко всенощной, окруженная пятисотными и пятидесятниками от всех стрелецких полков; по окончании службы в 4-м часу ночи, подозвав стрельцов, царевна жаловалась им на царицу Наталию Кирилловну: «И так беда была, – говорила Софья, – да Бог сохранил; а ныне опять беду зачинает. Годны ли мы вам? Буде годны, вы за нас стойте; а буде не годны, мы оставим государство». Стрельцы отвечали: «Воля ваша! Мы повеление твое исполнять готовы; что велишь делать, то и станем». – «Ждите повестки», – сказала царевна. 4 августа ночью она переговаривалась со стрельцами в верхних хоромах, у самого терема, и говорила им: «Долго ль нам терпеть? Уж житья нашего не стало от Бориса Голицына (кравчего у Петра) да от Льва Нарышкина. Царя Петра они с ума споили; брата Ивана ставят ни во что; комнату его дровами закидали; меня называют девкою, как будто я не дочь царя Алексея Михаиловича; князю Васильью Васильевичу (Голицыну) хотят голову отрубить, а он добра много сделал: польский мир учинил... Радела я о всячине, и они все из рук тащат. Можно ль на вас надеяться? Надобны ль мы вам? А буде не надобны, мы пойдем себе с братом, где кельи искать». Такой же разговор со стрельцами по ночам у своего терема она вела во все это тревож-

ное время[1] .Между тем Петр еще 25 июля передвинулся из Коломенского в Преображенское; 4 августа отпраздновал в Измайлове именины своей жены, царицы Евдокии Лопухиных, а в полночь на 8 августа принужден был, спасаясь от убийства, внезапно ускакать в Троицкий монастырь; «изволил идти для моления в Троицкий монастырь», как отмечает дворцовая разрядная записка.

В то самое время как Петр без оглядки торопился добраться скорее до монастыря, чтобы найти себе за его стенами безопасное место, благочестивая царевна, окруженная стрельцами, слушала акафист[2] в церкви Казанской Богоматери, а вернее, упомянутый выше канон «Многими содержим напастьми». На самом же деле под этим благочестивым обликом она вела решительный заговор против брата и его семьи. Во дворце и между стрельцами в это время распространялся уже слух, что в эту ночь придут из Преображенского потешные конюхи и побьют царя Ивана и всех его сестер, следовательно, распространялся слух о нашествии Петра на терем. 9 августа царевна с братом Иваном служила панихиду в Архангельском соборе по своих государских родителях, а потом одна ходила и в Вознесенский монастырь и там также служила панихиду у гробов цариц. Приближались обстоятельства очень трудные и опасные; они-то и заставляли царевну обращаться к памяти родителей в это необыкновенное для подобных молений время. 11 августа вечером она торжественно в сопровождении боярства и дворянства проводила из дворца в Донской монастырь чудотворную икону Донской Богоматери, которая сопутствовала полки в Крымском походе и оставалась еще пока во дворце. Там она слушала всенощную, а на другой день, 12 августа, ходила туда к ранней обедне. 14 и 15 августа по случаю празднования Успению совершены были обычные праздничные торжественные

[1] *Устрялов Н. Г.* Указ. соч. Т. II. – С. 51.

[2] Там же. – II, 59.

выходы в Успенский собор ко всенощной и к обедне в сопутствии бояр, думных и ближних людей. 17 августа царевна ходила молиться в Новодевичий монастырь. 18 и 19 числа совершила с братом празднование Донской Богородице с обычным крестным ходом в Донской монастырь.

26 августа вечером она опять ходила молиться в Новодевичий монастырь, оставалась там всю ночь и воротилась в Москву за час до света. Все эти благочестивые ночные бдения совершались, однако ж, с тою целью, чтобы свободнее вести переговоры со стрельцами, ибо стрельцы всегда непременно сопровождали царскую особу, особенно в ночных выходах.

Наконец, 29 августа царевна сама уже решилась отправиться в Троицкий монастырь к разгневанному брату Петру. За 2 часа до вечера она отслушала в Успенском соборе напутственный молебен, оттуда ходила молиться у родительских гробов в Архангельский собор и в Вознесенский монастырь, молилась в Чудове монастыре, на Троицком подворье и в приходской церкви Вознесения на Никитской. И из той церкви «изволила она, великая государыня, взять чудотворный образ Пресвятые Богородицы Казанские и быть в соборной церкви Казанские Богородицы, что в Китае (городе), а от той церкви, с тою святою иконою, иттить в Троецкой Сергиев монастырь». Ее сопровождали бояре, окольничие, думные дворяне, стольники и стряпчие. Известно, что Петр воротил ее из этого похода, грозя, что если пойдет, то «поступлено будет с нею нечестно». Она воротилась в Москву 31 августа в 7-м часу ночи, по нашему счету во втором пополуночи, на 1 сентября с решимостью поднять на Петра все государство. Но через неделю, 7 сентября, была сама отрешена от владенья царством[1].

Открыв налицо все ее замыслы, Петр написал письмо к старшему брату Ивану: «Сестра наша, царевна Софья

[1] Дворцовые разряды. Т. IV. – С. 482 и др.

Алексеевна, государством нашим начала владеть своею волею, и в том владении, что явилось особам нашим противное и народу тягость и *наше терпение*, о том тебе, государь, известно. А ныне злодеи наши Федька Шакловитый с товарищи... умышляли о убивстве над нашим и матери нашей здоровьем... А теперь, государь-братец, настоит время нашим обоим особам Богом врученное нам царствие править самим, понеже пришли есми в меру возраста своего, а третьему *зазорному лицу*, сестре нашей, с нашими двемя мужескими особами в титлах и в расправе дел быти не изволяем; на то б и твоя б, государя, моего брата, воля склонилася, потому что учала она в дела вступать и в титлах писаться собою без нашего изволения: к тому же еще и царским венцом, для конечной нашей обиды, хотела венчаться. *Срамно*, государь, при нашем совершенном возрасте *тому зазорному лицу* государством владеть мимо нас!».

Этими словами Петра о зазорном лице древний русский век высказывал свой приговор женской личности вообще и подвигу царевны в особенности. Помимо всех преступных замыслов этот подвиг был сам по себе зазорен и несовместим ни с каким положительным идеалом века. Срамно было мужским особам в общественном деле стоять рядом с личностью девицы, а еще более находиться в ее обладании, в ее воле. Не преступным только являлось ее лицо, но и зазорным, на что особенно и указывает оскорбленный Петр. «Пора, государыня, давно вам в монастырь!» – мыслил древний век в лице ее же пособников-стрельцов, определяя тем истинное назначение для девичьей личности, если она лишалась почему-либо возможности пристроить свою судьбу к личности мужской, как было именно в царском быту.

Девица-царевна, как и всякая честная вдова, следовательно, вообще женская личность, сама по себе, по смыслу

своего положения в обществе была монастырка, постница, пустынница. В этом заключалось ее истинное призвание, т. е. в этом состояла идея ее общественного положения. Вот почему и дом вдовы, и терем девицы мало-помалу всегда неизменно превращался в монастырь. Другой образ жизни также неизменно ставил ее личность в положение зазорное для общественных глаз. Другой образ жизни, хотя бы самый скромный, но только самостоятельный, был уже отрицанием постнического идеала и являлся непростительным нигилизмом. В существенном смысле зазорным нигилизмом являлось не худое поведение, а всякий признак независимого, самостоятельного отношения к обществу, что осуждалось еще больше и сильнее, чем худое поведение. Худое поведение судил Бог, всегда милосердо отпущающий грехи. Самостоятельное поведение судило общество, никогда не прощающее явного отступничества от его идеалов. Поэтому житейские грехи можно было всегда прикрыть постническою мантиею, лишь бы не видало их общество. Но грех личной независимости и самостоятельности прикрыть было невозможно; никакой мантии для этого не существовало. В этом случае была неизбежна и совершенно необходима прямая, открытая и притом богатырская, т. е. петровская борьба с тем же обществом; борьба, не допускавшая никаких сделок, никаких колебаний, уступок, никаких мирных переговоров. Быть может, у Софьи-царевны достало бы и ума, и смелости выйти и на этот путь, но у нее недоставало главного: живой веры, что этот путь столько же свят; живой веры в ту истину, что общество спасается не постническим идеалом, а идеалом полной, всесторонней свободы. Она же не искала настоящей свободы, а искала лишь приличной формы, приличной, по мнению века, одежды для своего девического своеволия; потому она вовсе не была способна с решимостью отступить от заветного постнического идеала и стремилась устроять не общественную, но лишь свою

личную свободу по его же византийским образцам. Она способна была явить русскому миру только фарисейский вид того же постничества. А это были старые мехи, которые уже не годились для нового вина, т. е. для новых начал развития, каких неуклонно требовало русское общество, вся русская жизнь, во всем своем составе и которые способен был насадить и водворить только Петр, стремившийся на прямой путь свободы гражданской и человеческой.

Весьма понятно, чем должны были казаться Петру все эти богомольные постнические подвиги царевны и ее сестер, весь этот старый домострой жизни, прикрывавший своими досточтимыми формами самые растленные нравственные начала... Очень понятно, почему постнический идеал стал для него с этого времени особенно ненавистен, почему он относился к нему с самым полнейшим отрицанием и почему в последующее время употреблял всякие средства, чтобы окончательно его уронить и осмеять в общественном мнении, устраивая с этою целью потешные действа известного князь-папы или Пресбургского патриарха и жестоко стесняя и преследуя ревностных поборников сказанного идеала, всяких его выразителей и изобразителей, начиная от старцев-пустосвятов, юродивых, нищих и т. д. и оканчивая крутыми староверами, которые в истинном смысле были произведением Домостроя и потому так крепко и стояли за старое благочестие.

Недобрую славу оставил по себе терем Софьи и в народе. Правду или неправду староверы втихомолку говаривали: «Царевна Софья была блудница и жила блудно с боярами, да и другая царевна, сестра ее... и бояре ходили к ним и робят те царевны носили, и душили, и иных на дому кормили...»[1].

---

[1] *Соловьев С. М.* Указ. соч. – Т. XVII. – С. 227.

ГЛАВА III
ЖЕНСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В ПОЛОЖЕНИИ ЦАРИЦЫ

Особенные условия этого положения — Причины, которыми вызваны такие условия. — Государевы браки. — История государевых невест. — Призвание царицыной личности.

Мы видели, что русский допетровский век не признавал женскую личность самостоятельным членом общества. В обществе у ней не было своего самостоятельного места. Самостоятельное место она имела только в семье. Но и здесь смысл ее самостоятельности колебался между отцом семьи, ее мужем и ее же детьми, так что пред лицом отца семьи, своего мужа, она была столько же зависимою, малолетнею в своих правах, как и все его дети. Затем, вне семьи, женская личность совсем уже теряла свои самостоятельные права и приравнивалась к общественным сиротам, т. е. к людям, которые никакими самостоятельными правами в обществе не пользовались. Руку помощи ей подавала уже Церковь, принимавшая под свою защиту всех сирых и убогих. Церковь же, по необходимости, указывала женской личности лишь один путь нравственно-самостоятельной жизни – монастырь. Это был в действительности единственный путь не только для спасения, но и для самостоятельного, сколько-нибудь независимого положения в общественной жизни. Оттого иноческий идеал становится для женской личности исключительным и самым высшим идеалом существования, ибо в нем одном только она и находит удовлетворение своим нравственным самостоятельным стремлениям. Между семьею и монастырем нет ей в обществе места; помимо семьи и помимо монастыря нет ей

в обществе дела, нет подвига, которые могли бы придавать ее жизни, хотя бы в такой же мере, самостоятельный, независимый смысл[1]. Как скоро она останавливалась между этими двумя сферами предназначенной ей деятельности, стремясь найти для себя какую-либо иную точку опоры в общественной жизни, – она тотчас приобретала смысл лица зазорного. Общество в таких случаях всегда приходило в великое смущение; всякое общественно-самостоятельное положение женской личности оно почитало невыразимым срамом не столько даже для личности женщины, сколько именно для самого себя. Однажды (в 1418 г.) случилось в Новгороде, о котором составлено понятие, что там женщина пользовалась большею свободою, чем где-либо в старой Руси; народ поднялся на боярина Данила Ивановича Божина и казнил его ранами близь смерти, т. е. стал бить его чуть не досмерти. «Было же и это дивно, – прибавляет тамошний летописец, – или на укорение богатым, обидящим убогия, или казнь диавола: жена некая, отвергши женскую немощь, вземши мужскую крепость, выскочив посреди сонмища, даст ему (боярину) раны, укоряющи его, как неистова глаголющи: яко обидима есми им»[2]. Событие, в самом деле, до чрезвычайности дивное по старым русским понятиям, которое в действительности имело смысл дьявольской казни, потому что исполнителем этой казни являлась женская личность, принимавшая на себя подвиг, совсем ей не свойственный, не потому, однако ж, не свойственный, что в нем унижалось достоинство женственных нравов, а потому, собственно, что здесь женщина являлась мужчиною, становилась поносителем мужской личности. Когда боярина били мужчины – это было обычное дело; ничего тут не было чрезвычайного, дивного; но как скоро

[1] Г. К. Котошихин: «А которые девицы бывают увечны и стары, и замуж их взяти за себя никто не хочет: и таких девиц отцы и матери постригают в монастырех, без замужества».

[2] ПСРЛ. Т. III. – С. 136.

на него же поднялась рука женщины – это становилось уже чудом и объяснить такой случай возможно было только казнью дьявола, чрезвычайным укорением и поношением именно тех людей, которые слишком высоко себя ставили пред людьми простыми, бедными. Женщина была обижена бояриным и, конечно, имела такое же право мстить ему свою обиду, как и все мужчины, и притом в такой же новгородской форме, потому что эта форма, побои, была, как бы сказать, самою натуральною формою народной расправы с виновником. Мы приводим этот мелкий случай как черту общего склада понятий о женской личности, по которому всякий ее общественно-свободный шаг почитался делом в высшей степени зазорным. Какое поношение для мужчины могло равняться с побоями от женщины! Это была на самом деле казнь дьявола, выставленная летописцем как событие поразительное.

Таков был общий смысл положения женской личности в нашем старом допетровском обществе. Приступая к разъяснению ее частного положения и притом положения высокопоставленного, именно положения женской личности со значением царицы, мы находим, что в силу особенных, исключительных условий жизни это положение становилось для нее еще стеснительнее. Если в общем быту народа личность женщины является жертвою семейного начала, то женщина-царица является жертвою уже не одного семейного начала, но, сверх того, и жертвою государственных идей, которые хотя и возносят ее лицо на высоту недосягаемую, но в то же время ограничивают смысл ее доли исключительно значением родительницы, значением почвы, в которой не должен иссякнуть корень государского рода. Государственные идеи вследствие такого значения царицыной личности ограждают ее такими заботами о сохранении почвы рода, что в них эта личность совсем уже исчезает для общества, как равно и для собственной своей самостоятельности. Чтобы указать причины, которые способствовали поставить в

такое положение весь быт царицы, необходимо припомнить историю московского самодержавия, внутреннюю, домашнюю историю московского государя и его двора.

Мы уже говорили, что в древнерусском обществе понятие о самостоятельности лица, о человеческой свободе и независимости было неразделимо с понятием о самовластии; что идеал достойной личности был в то же время идеалом личности самовластной; что самостоятельность личности иначе не представлялась тогдашнему уму, как в форме поступков и подвигов самовластных. Естественно также, что в понятии о самовластии лежало неразделимо и понятие о единовластии, ибо самовластие, по существу своей идеи, не могло терпеть подле себя соперника или совместника своей жизни; оно совсем исключало, совсем отвергало всякую сколько-нибудь равную себе силу. В этом именно смысле именуется самовластцем земли и Ярослав Великий, когда он остался под конец ее единовластителем; в том же смысле говорится и об Андрее Боголюбском, что он хотел быть самовластцем, т. е. полным, ни от кого и ни от чего не зависимым господином своего княжества.

Весьма естественно, что когда князья по идеалу Ярослава и Андрея сделались самостоятельными в своих княжеских вотчинах, они иначе и не могли понять свою самостоятельность, как только в форме самовластия, которое вдобавок еще сильнее укреплялось сознанием, что лицо князя есть лицо господина земли вообще, что князь не напрасно носит меч, а на казнь злым и в защиту добрым. Известно, что на этот путь княжеского самовластия наша история явно стала выходить еще со второй половины XII в. Известно также, что шаги ее в этом направлении были ускорены татарским разгромом. С этого времени совсем угасает идея родовой власти, т. е. идея о живом единстве, о живой связи княжеского рода, а стало быть, о взаимной круговой зависимости князей друг от друга. Незаметно они все более и более становятся чужими друг другу; с тем

вместе гаснет и сознание о живом единстве Русской земли. Русская земля «разносится розно», дробится на части, и каждая часть начинает жить особо, опрично, отделяя себя от общих интересов и заботливо преследуя одни только свои особные, опричные интересы. Главною руководящею силою жизни в княжеском быту становится господарство, т. е. отдельная вотчинная собственность. Она служит основою независимости, а стало быть, и основою самовластия. Русская земля делится между множеством самовластцев. В этом заключается форма политического ее быта и существо ее исторической жизни и деятельности.

Существом этой жизни была, конечно, борьба, кровавая борьба земского разрозненного самовластья, борьба опричных княжеств, опричных господарств за свою самостоятельность, т. е. на самом деле за самостоятельность своего самовластья, ибо иного понятия о самостоятельности, как мы сказали, в то время не было. Для самостоятельности с этим смыслом не было никаких границ, не лежало в ней ничего человечного, ничего нравственного, ничего даже политического, общего. Это было простое буйство одних лишь своекорыстных княжеских целей. Поэтому и для достижения таких целей употреблялись всяческие средства без малейшего разбора и без малейшей нравственной их оценки.

Русская земля была отдана на растерзание княжескому произволу, который, как зверь, ждал всюду добычи, подстерегал ее, хватал ее при первой возможности, надеясь лишь на одну силу, хитрость и всякое коварство, свойственное его хищной природе. «Рекоста бо брат брату: *се* мое, а *то* мое же; и начаша про малое, се великое молвити, а сами на себя крамолу ковати... Тогда сеялись и вырастали усобицы, погибала жизнь, в княжих крамолах веки человекам сокращались. Тогда по русской земле редко пахари покрикивали, но часто граяли враны, деляче себе трупы...» Само собою разумеется, что из такого положения дел ничего другого не

могло выйти, как именно то, что в действительности и вышло. Кто-нибудь один, сильнейший и хитрейший, должен был одолеть всех. На таком пути поставлена была вся жизнь Земли. Другого выхода, другого разрешения задачи не виделось нигде и ни в чем. К тому же Земля слишком сильно чувствовала свое племенное и нравственное единство и вовсе не думала создавать из себя федерацию княжеских, а в сущности помещичьих вотчин. Рознь жизни была не по ее уму. В этом уме жило святое слово *Русь*, которое всегда и взывало к единству. Этот ум Земли должен был, наконец, подняться и воссоздать в новой форме то, что было начато давно уже, еще в первые века ее истории.

Собирателем разнесенной розно Земли или иначе сильнейшим и хитрейшим из самовластцев явился князь Московский. Являлись и другие: путь был открыт не для него одного. Но Московский осилил всех и осилил особенно по той причине, что личное вотчинное свое дело тотчас же осветил светлым лучом общей земской политической цели. Он высоко поднял знамя единства *всея Руси* и крепко держал его до конца своего подвига. Принимая на свои руки это дорогое наследство первых веков русской истории, Московский князь, конечно, должен был ответить за все, должен был расплатиться за все кровавые долги, нажитые в течение столетий темными кровавыми делами княжеского рода. Он один должен был принять на себя все грехи своего рода. Он должен был явиться типом того жизненного начала, той жизненной идеи, которая до того времени управляла всеми действиями и деяниями князей, т. е. полным, законченным типом княжеской самостоятельности, а иначе – полным, законченным типом княжеского самовластия. Другого плода не могла принести почва княжеского господства над землею. Рано ли – поздно ли, не тот – так другой, но один кто-нибудь неизменно явился бы именно таким плодом княжеских смут, котор и крамол, терзавших Землю целые века. Напрасно думают, что в Москве не про-

должалась та же самая история, которая в X, в XI, в XII вв. крутилась по временам около Киева. Московская история относится к той киевской истории, как плод к корню. Историю киевскую, как и московскую, вырабатывало одно и то же славное и бесславное древо княжеского рода. В Москву стянулись только все соки этого древа. Какие они были, такими, и еще в большей силе, они явились и в своем плоде.

Московское собирание земли, выразившее в себе задачу всей прошлой истории, основную ее идею, было проведено соответственно характеру времени путем захвата, насилия, коварства, предательства, путем всех пороков, какие обыкновенно порождает борьба необузданного своеволия и самовластия. Борьба эта, как мы заметили, началась очень давно, гораздо раньше московского господарства. В эту эпоху, когда зачиналась каменная Москва, зачинался в ней *Грозный Царь*, она подвигалась к последним дням и потому велась с большим ожесточением. Она воспитала в особой нравственной сфере не одно поколение. Очень естественно, что с собранием земли она собрала в Москве вместе с людьми и все те нравственные стихии, которыми жили эти люди. А эти люди искони жили крамолою ради окаянных вотчин: *се* мое, а *то* мое же; искони ковали крамолу, были хотя и мелкими, но такими же необузданными самовластцами, наиполнейшим типом которых явился московский собиратель земли. В московском дворце, таким образом, собралось столько элементов нравственного растления, что этот дворец надолго сделался поприщем для самых темных и нередко бесчеловечных дел и событий. То, что ходило прежде по всей земле, собралось теперь в одно место. Мелкие и крупные самовластцы земли собрались в один двор московского господаря. Междоусобие, ходившее по всей земле, сосредоточилось теперь в одном городе и по необходимости приняло другой вид, взялось за другое оружие.

Собирание земли к концу XV в. привлекло в Москву много князей и княжеских бояр – дружинников, которые

из независимых, самовластных вотчинников сделались волею или неволею слугами московского вотчинника, его холопами. Все они, однако ж, понимали московского князя как насильника, как одного из таких же вотчинников, который как сильнейший ради своего несытства угнетением и притеснением отнимал и вотчины, а с ними и свободу у других, слабейших, в том только и виновных, что не в силах они были с ним бороться и некуда им было уйти от его могущественной и жестокой руки. Все они московское *государственное* дело понимали личным делом московского князя и почитали этого князя личным себе врагом, простым грабителем. Не мог, конечно, и московский князь, особенно вначале, сознавать в полной мере и во всей чистоте государственную, общеземскую высоту своего призвания; и он точно так же понимал свою задачу не столько государственным смыслом, сколько смыслом вотчинника, смыслом личного владенья землею. Но по ходу истории в его вотчинническом деле воплощалось дело всей земли. Это самое, даже против его сознания, увлекало всю его деятельность на свой путь, на котором смысл вотчинника с жизненною постепенностью должен был претвориться в смысл государя – уже не вотчинника, а главного и первого слуги для всей земли. Но пока совершился такой выход истории, княжеская старина должна была по праву самой жизни прожить и отжить свой век, так сказать, в своем собственном теле. Как известно, в этом теле все члены были равны своею круговою связностью. По крайней мере, в нем была еще жива крепкая память о таком равенстве. Московский князь стал проводить новину, начал всеми силами выбиваться из этого равенства, а потому его борьба со своими сверстниками по происхождению и по старому дружинному праву по необходимости являлась только личною, в полном смысле такою же междоусобною борьбою, какая прежде терзала всю землю, а теперь должна была терзать государев двор. Московский князь выбивался из равенства отношений, а

остальные князья и дружинники, собранные в его дворе, добивались этого равенства, т. е. добивались сохранить уже одряхлевшую старину в полной силе. Само собою разумеется, что борцы не разбирали средств, не останавливались ни пред какими средствами, чтобы сломить противника. Они жили в такой век, когда об этом много и не думали. Все они воспитаны были в тех понятиях, а главное, в самых тех делах, которые свидетельствовали, что существует одно право для людских отношений – это самовластное право сильного и что это право принадлежит всякому, кто сумеет им воспользоваться. И они употребляли всяческие средства, чтобы действительно им пользоваться. В Москве, таким образом, вгнездилось столько олигархических начал, столько олигархических стремлений, что борьба с ними должна была продолжиться на целое столетие. Она же должна была вырастить свой страшный плод, этого неслыханного по кроворазлитию бойца в лице Ивана Грозного, который сам же в немногих словах, но вполне верно и точно определил истинный смысл своей личности и своей истории. Он писал Курбскому: «Похищеньем, или ратью, или кровью сел я на государство? Я народился на царстве Божьим изволеньем; я взрос на государстве... за себя я стал! Вы почали против меня больше стояти, да изменяти; и я потому жесточайше почал против вас стояти; я хотел вас покорить в свою волю...»[1]. Курбские и братия, конечно, не могли понять этих речей. Они готовили для русской жизни польскую форму государственной власти[2]. А русский земский смысл никак не мог понять польской формы, т. е. боярского владычества над землею и, стало быть, владычества боярской челяди (шляхты). «Здесь не Польша, есть и больше», – говаривал русский земский смысл, давая тем знать, что у него есть точка опоры, есть третье лицо, способное рано ли – поздно ли защитить его, стать на его сторону,

[1] *Соловьев С. М.* История отношений между Русскими князьями. – С. 684.

[2] *Кавелин К. Д.* Указ. соч. Т. II. – 1866. – С. 375.

т. е., в сущности, стать на сторону законного суда и справедливости. Вот из-за чего и шла долгая, большею частью подземная борьба в московском дворце, которая была московским только продолжением старой истории киевской, суздальской, рязанской, тверской и т. д.

Бой на открытом поле был проигран. Бороться силою сильного, равною силою было уже невозможно, немыслимо. В Москве по необходимости представилось другое поле, на котором возможно было искать победы силою слабого. На этом поле нередко совершались удивительные дела. Сила слабого нередко становилась не в пример страшнее открытой силы. Какая ж была эта сила? Это была сила вообще угнетенных, порабощенных людей, потерявших возможность вести открытую борьбу; сила тайных заговоров и козней, сила предательства, доноса, клеветы, сила всякого коварства, всякого потаенного *лиха*, и особенно сила лихого зелья, т. е. порчи и отравы, которая, по суеверным представлениям века, являлась обыкновенно в образе волшебства и чародейства. Эта последняя сила сделалась страшилищем, пред которым трепетало все общество Москвы до последнего человека, сколько-нибудь значимого для подыскателей чужой погибели. От этой силы было мудрено укрыться даже в собственных хоромах, даже в самых сокровенных клетях этих хором. Она была ежеминутно направляема против всякого, забиравшего в свои руки какую-либо власть, а тем больше власть государскую, дворовую. И, само собою разумеется, с особенною энергиею вначале она была направляема против главного и непосредственного представителя самовластной идеи, против главного выразителя самовластных начал жизни и главного виновника самовластных дел, уничтожавшего всякую возможность прямого, открытого боя, всякое малейшее с ним совместничество. Тайная, скрытая, подземная вражда и ненависть к победившему самовластью, которое к тому же не переставало оскорблять, унижать и

всячески изводить противную себе среду; эта-то вражда и поднимала всевозможные ковы на государя. Она зорко следила за каждым шагом самовластителя, за каждым мелочным происшествием его домашней жизни, за каждым событием в его семействе. Собирался ли государь жениться – она портила его невесту и отнимала у него любимую женщину; она портила его супругу, его детей. Разводился ли государь с женою по случаю неплодия и женился на другой – она распространяла слух, что оставленная неплодная царица разрешалась от бремени наследником. Умирал ли у государя сын – она распространяла слух, что он жив и удален от царства лишь кознями близких к государю людей. В еству и питье, в платье и во всякую обиходную вещь она клала или всегда была готова положить лихое зелье и коренье – и на смерть, и на потворство или прилюбленье, что равно было опасно. Конечно, по большой части такие обстоятельства являлись одними только сплетнями, которыми обыкновенно боролись между собою мелкие самовластцы из боярства, низвергая ими друг друга с высоты государских милостей, но бывали и настоящие дела. Нельзя было верить никому. Необходимо было беречься от людей всякими мерами. Известно, что при великом князе Иване Васильевиче во время его домашней смуты с сыном Василием о наследии престола даже его супруга, гречанка Софья, прибегала к ворожбе; и к ней приходили «бабы с зелием», отчего и с нею, со своею женою, государь должен был жить в бережении[1].

Что действительно жизнь и здоровье московского государя часто находились в опасности от козней потаенных врагов, на это указывает весь склад дворовых его порядков, получивших свое начало большею частью именно в то время, как сделался он самодержцем всея Руси. Эти-то дворовые порядки лучше всего и объясняют нам, что московский государь, несмотря на свою великую власть и

[1] ПСРЛ. Т. VI. – С. 279.

грозное свое могущество, грозное могущество даже одного своего слова, несмотря на эту непомерную силу сильного, чувствовал, что он не имеет силы, чувствовал, что он находится в постоянной, самой крепкой, тесной и тяжелой осаде от силы слабого. Окончив с полным торжеством войны большими походами, войны открытые, явные для всей земли, он принужден теперь внутри своего двора вести иные войны, без всяких шумных и громких походов, войны тихие, медленные, никому не слышные и не зримые, но еще более ожесточенные.

Чтобы понять всю силу этого нравственного растления, которое охватило все собравшиеся в Москве общество самовластцев и олигархов, необходимо войти в нравственный склад тогдашних убеждений; надо понять закон, который вообще в древнее время руководил всякою борьбою врагов. По тогдашним понятиям, защищать себя от врага значило самому первому нападать на него; так, как и побеждать врага, значило совсем истреблять его. К тому же жизнь человеческая ценилась в то время очень дешево, несравненно дешевле всяких, даже эгоистических целей и стремлений, несравненно дешевле всякой, даже эгоистической необходимости. Как скоро цели и необходимости возвышались сколько-нибудь до общих интересов, то понятие о враге низводилось до понятия о простой ненадобной и вредной вещи, которую истреблять почиталось делом естественным и обычным. Мы знаем, что такие понятия существовали в нашем обществе, и особенно в среде государственных и олигархических стремлений, очень долго. Когда при царе Алексее Михайловиче сын Ордина-Нащокина бежал тайно за границу, то самый гуманный из древних наших царей посылал к несчастному отцу подьячего с таким наказом: «Афонасью говорить, чтоб он об отъезде сына своего не печалился и в той печали его утешать всячески и великого государя милостью обнадеживать... о сыне своем промышлял бы всячески, чтоб его, поймав,

привести к нему; за это сулить и давать 5, 6 и 10 тыс. руб.: а если его таким образом промышлять нельзя, и если Афонасью надобно, то сына его *извести* бы *там*, потому что он от великого государя к отцу отпущен был со многими указами о делах и с ведомостями. О небытии его на свете говорить не прежде как выслушавши отцовские речи, и говорить, примерившись к ним. Сказать Афонасью: вспомни, что больше этой беды вперед уже не будет; больше этой беды на свете не бывает»[1]. Весьма понятно, что в эпоху утверждения самовластных идей, в эпоху беспощадной кровавой борьбы этих идей подобные убеждения принимались живее и воплощались в дело без всяких оговорок и гуманных соображений. И т. к. открытой борьбы вести было уже нельзя, то враги и с той и с другой стороны очень часто вели ее скрытными подземными путями. Самая страшная и наиболее опасная сила невидимых врагов, от которой государю действительно пришлось сесть в осаду, затвориться в своих хоромах, как в крепости, была, как мы упомянули, порча лихим зельем, отрава, а с нею нераздельно всякое волшебство и чародейство.

В тот суеверный век в самом деле трудно было отличить отраву от невинного ведовства и колдовства, зелье-коренье вредное – от безвредного, ибо и то и другое являлось под одним покровом таинственных суеверных действий в обстановке разных волшебных наговоров и заговоров, направленных на человека с различными целями, даже с целью привлечь к себе его любовь и милость; трудно было разобрать, где являлось пустое только суеверие и где оно несло в действительности страшные средства отравы. Между тем явные всем дела, явная гибель некоторых лиц – именно от лихого зелья и порчи – указывали на одну только эту страшную силу чародейства. Вот почему пустая волшба и настоящая отрава становились одинаково опасными, возбуждали одинаковый страх вез-

[1] *Соловьев С. М.* история России с древнейших времен. Т. XI. – С. 96.

де, где обнаруживались и малейшие признаки лишь одного пустого суеверия[1].

Чтобы оградить и защитить себя от этого *лиха*, государю было необходимо жить каждый час с великими предосторожностями, необходимо было из своего дворца устроить в действительности самую недоступную и неприступную крепость. С этою целью и появились те дворцовые порядки, обычаи и обряды, которые способствовали такому отдалению государевой особы от его подданных. В руках суеверов-друзей и суеверов-врагов питье, еда, платье, всякая последняя мелочь домашнего обихода становились орудием их потаенных козней. Необходимо было уберечь себя от этих козней и не только отдать весь домашний обиход в руки самых испытанных, верных и преданных людей, но необходимо также было ежечасно испытывать эту верность и преданность. Необходимо было, чтобы, например, питье, как и ества, прежде чем дойдут в руки государя, постоянно испытывались всеми подающими в глазах принимающего. Ключник должен был испытывать, ставя еству на стол пред дворецким; дворецкий должен был испытывать, отдавая ее стольнику, несть перед государя; кравчий, принимая блюдо от стольника, должен был покушать в глазах государя, прежде чем ставить к нему на стол. «А чашник, как поднесет пить государю, сам отольет в ковш и выпьет, потом поднесет к государю». То же самое происходило и со всеми лекарствами в случае государевой болезни. Опальный боя-

[1] Один из первых случаев *лихого* дела иредставился еще в первые годы государствования великого князя Ивана Васильевича. В 1467 г. апреля 25 скончалась его супруга Мария-тверянка. *От смертнаго зелия,* утверждает летописец и говорит, что это узнали из того, что «когда покров на ней положили и его много свисло, а потом тело разошлося и тот покров много не достал на тело». Нет сомнения, что в связи с этим событием стоит обстоятельство, вслед за тем же отмеченное летописцем: «Тогда же восполелся князь великий на Наталью, жену своего дьяка Алексея Полуектова, которая послала *пояс к бабе* с женою казенного подьячаго, – чей пояс, неизвестно. Великий князь восполелся и на ее мужа, так что шесть лет не допускал его на очи и едва его простил». – ПСРЛ. Т. VI. – С. 186.

рин Матвеев писал к царю Федору Алексеевичу, выставляя свои дворцовые заслуги: «Какого лекарства после ваших государских приемов оставалось и те лекарства при вас, великом государе, выпивал я, холоп твой... приняв у тебя, великого государя, рюмку, и что в ней останется, на ладонь вылью и выпью... Ваш государский чин обдержит, когда вы составы докторские изволите принимать, и при вас, великих государях, только чин исправляют, накушивают малейшую долю; а что я, холоп твой, выпивал, и то угождая тебе, великому государю, и чаял, паче, что усугублю милость твою государскую к себе»[1].

Такая же самая мелочная и усердная предосторожность являлась всюду, во всяком мелком и пустом деле, примеры чему мы увидим ниже и отчасти уже видели в 1 томе этого сочинения, глава II, при описании постельной комнаты.

Словом сказать, береженье государского здоровья, как и здоровья всех членов его семьи, от напастей волшбы и порчи было введено во всем дворце до того осмотрительно и наблюдалось с таким необычайным вниманием ко всякой сомнительной, а следовательно, и подозрительной мелочи, что в этом отношении государевы хоромы становились совершенно неприступными. Это была крепость, защищенная самым надежным и самым тяжелым нравственным оружием – подозрительностью, которая, как мы сказали, мало доверяла даже самым верным и испытанным людям. Само собою разумеется, что для укрепления этой крепости от напастей всякого нравственного зла прежде всего требовалось укрепить всех защищавших ее людей нравственною ответственностью. Сколько бы ни были они верны, надобно было эту верность запечатлеть святою присягою, крестным целованьем. Является надобность в крестоцеловальных записях, которые сначала принимались на каждый частный, отдельный случай, а впо-

[1] История о невинном заточении боярина А. С. Матвеева. – М. 1785. – С. 8–9.

следствии вошли в одну общую государственную запись клятвы вообще на службу государю.

Если в первое время борьбы самовластных стремлений потребовались клятвенные крестоцеловальные записи в том, чтобы не отъехать, не убежать от государя, не изменить ему, то еще необходимее было требовать таких же клятвенных записей от лиц, служивших *во дворе* государя, служивших прямо и непосредственно его лицу. Вот почему мы думаем, что такие записи должны были появиться в то самое время, как только московский государь стал постепенно усаживаться в своем дворце, как в крепости, от злых потаенных козней. К тому же и требования подобных записей не могли ограничиться общими словами, как было в общих записях, где в общих выражениях «*лиха* никакого никак не хотети, не мыслити, не думати, ни делати никакими делы, ни которою хитростью» – скрылись все частные подробности, все роды и виды лихих дел. Здесь, напротив, эти роды и виды лихих дел необходимо было поименовать ясно и отчетливо, прямо указать на них, прямо обозначить то, в чем именно обнаруживалось лихое дело. Мы должны также иметь в виду, что в запись клятвы вносились указания на совершившиеся уже факты лихих дел, которые и приводились в ней как примеры того, что в действительности бывало. Великий князь Василий, отец Грозного, даже в общую запись внес клятву: «О *зелье о лихом*, кто станет говорити, чтобы дати государю или его великой княгине, или их детем, какое *зелье лихое*...»[1]. Таким образом, мы имеем полное основание заключать, что в частных, так сказать, видовых клятвенных записях, какими были все записи дворовых людей, содержалось еще больше подробностей.

К сожалению, любопытный текст этих записей не дошел до нас. Впервые мы встречаем подробные обозначения лихих дел только в известной *подкрестной* записи Годунова. В ней лихие дела обозначены следующим образом: «Так

[1] Собрание государственных грамот и договоров. – № 162.

же мне над государем своим, царем и великим князем Борисом Федоровичем всея Руси, и над царицею и великою княгинею Марьею, и над их детми, над царевичем Федором и над царевною Оксиньею, в *еcтве* и в *питье*, ни в платье, ни в ином ни в чем лиха никакого не учинити и не *испортити*, и *зелья* лихого и *коренья* не давати, и не велети мне никому зелья лихого и коренья давати; а кто мне учнет... давати, или мне учнет кто говорити, чтоб мне над государем... и над царицею, и над их детьми, какое лихо кто похочет учиняти или кто похочет *портити*, и мне того человека никако не слушати и зелья лихого и коренья у того человека не имати; да и людей своих с *ведовством*, да и со всяким лихим зельем и с кореньем не посылати, и *ведунов* и *ведуней* не добывати... на государьское… на всякое лихо; также государя... и его царицу… и их детей, на *следу* всяким ведовским мечтанием не испортити, ни ведовством по *ветру* никакого лиха не насылати и следу не вымати, ни которыми делы, ни которою хитростью; а как государь... и его царица... и их дети, куды доедут или куды пойдут, и мне следу волшеством не умышляти и всяким злым умышленьем и волшеством не умышляти и не делати ни которыми делы... а кто такое ведовское дело похочет мыслити или делати, и яз то сведаю, и мне про того человека сказати государю... а у кого уведаю или со стороны услышу... кто про такое злое *дело* учнет думати и умышляти... или кто похочет государя... царицу... и их детей кореньем и лихим зельем и волшеством испортити, и мне того поймати и привести к государю.... а не возмогу того поймати, и мне про того сказати государю... или его бояром, или ближним людем, которому то *слово* донести до государя...».

Г-н Соловьев перечисление в этой записи особенных видов зла приписывает мелкодушию и подозрительности Годунова, присовокупляя: «Если б Годунов по своему нравственному характеру был в уровень тому положению, которого добивался, то он не обнаружил бы такой мелочной по-

дозрительности, какую видим в присяжной записи и в этом стремлении связать своих недоброжелателей нравственными принудительными мерами...». И далее: «Годунов... явился на престоле боярином и боярином времен Грозного, неуверенным в самом себе, подозрительным, пугливым, неспособным к действиям прямым, открытым, привыкшим к мелкой игре в крамолы и доносы, не умевшим владеть собою...»[1]. Таким образом, годуновская запись в своих подробностях доставляет историку одну из тех красок, которыми он изображает этот характер, обвиняя его в мелочной подозрительности. Нам кажется, что обвинение Годунова со стороны его записи в мелкодушии, в мелочной подозрительности не имеет надлежащего основания. В этом с такою же справедливостью мы должны обвинить поголовно всех царствовавших самодержцев до Петра, который первый стал выше всякого мелкодушия и всякой мелочной подозрительности, господствовавшей в московском дворце, приводившей в ужас все сердца и все умы в течение двух столетий, в течение именно того времени, в которое самовластная идея жила еще, так сказать, в личном образе государя, не переходя еще во всенародный образ государства, как выразил эту идею Петр. Как скоро личное перешло в общее, то сделались совершенно ненужными, излишними и все действительно мелочные заботы о сохранении лица. Но до этого времени самовластная идея в самовластной же олигархической среде иначе и не могла существовать, как охраняя себя самою зоркою и мелочною подозрительностью. Ее друзья были еще очень слабы и потому очень изменчивы, а враги были очень сильны, сильны были всеобщим нравственным растлением, криводушием, коварством, изменою, предательством и т. д. Годунов в этом отношении поступал так, как поступали его предшественники и его преемники. Он ничего не сделал особенного, в чем можно было бы обвинить одну только его личность. Вся

[1] *Соловьев С. М. История России с древнейших времен.* Т. VIII. – С. 12, 47, 19.

особенность его записи заключается в поименовании только нескольких видов того *лиха*, от которого так берегли себя самодержцы. Но эта особенность объясняется тем, что в текст общей, так сказать, государственной записи он внес, по всему вероятию, тексты записей частных, по которым клялись *дворовые* люди, служившие у государева лица. Здесь вся его вина и все его мелкодушие и особая подозрительность. Мы вообще полагаем, что текст годуновской записи не есть его сочинение, а есть свод записей прежде существовавших, составленных, по крайней мере, еще при Грозном, хотя их начало можно отнести и к более раннему времени. Необходимо, однако ж, припомнить, что сам Годунов находился в особенном, исключительном положении, которое без всякого сомнения привело его к этой особенности и в составлении общей подкрестной записи. Он имел неисчислимо больше врагов, чем каждый из его предшественников и преемников. Он имел сильных соперников в боярстве, в родственниках царя Федора, следовательно, врагов личных. Было необходимо обуздать вражду «нравственными принудительными мерами», т. е. крестным целованьем. Из записи Годунова мы видим, что зло порчи и отравы было сильно в то время, а потому были необходимы и сильные нравственные меры против этого всенародного зла; единственною же нравственною мерою в этом случае была только присяга. Если б запись Годунова служила, в самом деле, выражением одной только личной мелочной подозрительности и личного мелкодушия, она не сохранила бы и следа в домашних порядках царского двора. Мы, однако ж, видим, что высказанные в ней требования и даже самые виды лихих дел сохраняют свой жизненный смысл и у преемников Годунова, из которых даже и самого царя Алексея Михайловича можно обвинить в тех же годуновских винах, т. е. в мелочной подозрительности и, стало быть, в мелкодушии.

Но прежде чем объяснять душевные побуждения тех или других исторических личностей, мы должны

раскрыть нравственную сферу, в которой они жили и действовали и которая как сила необходимости ставила каждую личность в полную зависимость от своих положений и определений. Мы упоминали, что волшебство, чародеяние не было, да и не могло быть отделено в своем значении от действительного лиходейства. Предки наши, люди вообще умные и практические, очень хорошо понимали, что значительная доля ведовских действий безвредна. Они это знали по опыту; но они знали также по опыту, что волшбою портили людей, делали положительный вред их здоровью; в это они глубоко и искренно веровали не по одному только суеверию, а по опыту целых веков. Различить вредное лихое от безвредного, вздорного они не имели никакой возможности и по необходимости принуждены были с самою мелочною подозрительностью преследовать всякий малейший признак лихого действия. Вообще ведовство, волшба в то время вовсе не были мечтою, как обыкновенно мы теперь их понимаем. В их образе, во всех наиболее важных случаях являлась всегда действительная гибель, т. е. порча или самая отрава. Это были язвы, заражавшие весь народный организм и действовавшие с особою силою там, где больше скоплялось нравственного зла. Суеверная, мифическая сторона волхвования и чародейства была только оболочкою, под которою скрывалось большею частью настоящее *лихо*. От этого волхвование и возбуждало такой панический страх везде, где только оно вскрывалось. И мелкая, и великая душа равно приходили в ужас, равно трепетали от его потаенных действий и становились до крайности подозрительными, ибо дело касалось здоровья, самой жизни и вовсе не представлялось мечтою, когда люди зазнамо изводились, умирали от зелья и коренья.

Вот почему лихое зелье и коренье и всякие лихие дела волшбы получают место даже в клятвенных целовальных записях на верность государю, а волхвы и бабы-ворожеи

почитаются общественным злом наравне со скоморохами, татями и разбойниками.

Текст Годуновской подкрестной целовальной записи в сокращении относительно видов порчи переходит в записи Лжедимитрия и Шуйского; в сокращении и по той еще причине, что для этих царей не подробности требовались, а скорое составление записи, да и враги у них были совсем иные, явные и открытые. В том же сокращении этот текст существует в записях царей Михаила, Алексея и Федора. При Алексее в общей записи говорится только, чтоб *их государское здоровье во всем оберегати и никакого лиха им не мыслити*. Но зато в частных записях сохранен этот сокращенный текст с некоторыми прибавками. Если в этом сокращенном тексте мы не находим указанных Годуновым нескольких видов порчи, то это нисколько не изменяет сущности дела, т. е. не изменяет значения мелочной подозрительности, в которой был вообще грешен весь московский двор, а не один какой-либо человек в особенности, ибо в целовальных записях для дворовых людей, даже при царях Михаиле и Алексее, находятся подробности, которых не касалась и запись Годунова, разумеется, потому только, что имела более общий государственный характер. Мы не говорим уже о том, что сила годуновской записи во всей своей жизненности являлась при каждом малейшем случае ведовства и колдовства, которое открывалось во дворце. На это указывают подлинные сыскные дела о ворожеях и колдуньях и о всяких подозрительных действиях дворовых людей в течение всего XVII столетия, когда государева особа была уже совершенно безопасна от толпы *личных* завистников и соперников, от которых принужден был уберегать себя Годунов. С большею основательностью и справедливостью мы могли бы упрекнуть в излишней мелочной подозрительности именно государей, царствовавших по праву всенародного, чисто земского и самого искреннего избрания.

Известна крестоцеловальная запись времени царя Алексея Михаиловича (1653 г.), в которой в общем изложении присяги сказано только: «Государское здоровье во всем оберегати, и никакого лиха не мыслити»; но зато в особых *приписях*, по которым отдельно присягал каждый чин, указаны и особые подробности, какими обозначалась должность этого чина.

Кравчий присягал: «Ничем государя в естве и в питье не испортити, и зелья и коренья лихова ни в чем государю не дати, и со стороны никому дати не велети, и лиха никакого над государем никоторыми делы и никоторою хитростью не делать; а будет я услышу от кого или сведаю, какое дурно или какое злое умышленье или *порчу* на государя и мне про то сказати государю...». *Стольник*: «Его государя ничем в естве и в питие не испортити и зелья и коренья лихово ни в чем не дати…». *Казначей*: «Над государем, царицею и их детьми никакова лиха не учинити, и зелья и коренья лихова в платье и в иных ни в каких в их государских чинех не положити...». *Постельничий*: «В их государском платье, и в постелях, и в изголовьях, и в подушках, и в одеялах, и в иных во всяких государских чинех никакова дурна не учинити, и зелья и коренья лихова ни в чем не положити...». *Ясельничий, стремянный конюх, конюшенный дьяк*: «Зелья и коренья лихова в их государские седла, в узды, в войлоки, в рукавки, в плети, в морхи, в наузы, в кутазы, в возки, в сани, ни под место, ни в полсть в санную, в ковер, в попонку и во всякой их государской в конюшенной и в конской наряд, и в гриву, и в хвост у аргамака, и у коня, и у мерина, и у иноходца коренья не вязать и не положити – самому не положити и никому конюшенного чину и с стороны никому ж положити не велети, и никоторого зла и волшебства над государем... не учинити... и всякого конского наряду от всяких чинов людей конюшенного приказу и от сторонних людей во всем беречи накрепко и к конюшенной казне и к нарядом сторонних людей не при-

пущати...». *Стряпчие*: «В платье и в полотенце и во всякой стряпне коренья лихова не положити...». *Жильцы*: «Ни в чем государя не испортити и зелья и коренья лихова в его хоромах и в палатах и инде нигде не положити...». *Дьяки казенные* (Казенного двора): «В государское платье, в бархатах, камках, в золоте, серебре, в шелку и во всякой рухляди, ни в чем – зелья и коренья лихова не положити... и государя, царицу и их детей ни чем не испортити...». *Шатерничие*: «Под государские места (троны и кресла) и в зголовья, и в полавочники, и в шатрах, и во всяких государских чинех зелья и коренья лихова ни в чем не положити...»[1].

Дворовые люди царицына чина, истопничий, дети боярские и пр. при царях Михаиле и Алексее давали следующую присягу: «Лиха ни которого не хотети и не мыслити, и в естве, в питье, в овощах, в пряных зельях и в платье, в полотенцах, в постелях, в сорочках, в портах, лиха никакова не наговаривати и не испортити отнюдь ни в чем, никоторыми делы...».

Верховые боярыни: «Лиха не учинити и не испортити, зелья лихова и коренья в естве и в питье не подати и ни в какие обиходы не класти и лихих волшебных слов не наговаривати... над платьем и над сорочками, над портами, над полотенцами, над постелями и надо всяким государским обиходом лиха никоторого не чинити».

В таких же почти выражениях давали присягу кормилицы царских детей, а вероятно, и все другие придворные женщины, причем всегда вставлялись и особые речи, соответствующие той или другой должности.

Эти записи и приписи отличаются от Годуновской только некоторым обобщением лихих волшебных дел и тем самым могут указывать, что Годуновская запись составлена, так сказать, по горячим, еще живым следам разновидных приемов волшебства и порчи, а потому она и поимено-

[1] Древняя Российская вивлиофика. Т. VIII. – С. 60; *Миллер Г. Ф.* Известие о Дворянах Российских. – СПб., 1790. – С. 238–264.

вывает самые эти виды лихих дел. Как бы ни было, но все эти клятвы служат для нас только слабым отражением того несказанного зла, которое гнездилось в московском дворце. Их короткие слова не в состоянии ввести нас в этот мир ежеминутного страха и трепета, в этот мир до крайности чутких и до крайности мелких подозрений, которые лежали тяжелым гнетом над всем населением дворца, вынуждали его обитателей зорко подсматривать друг за другом; развивали ябедничество, наушничество, донос; растлевали общество всеми пороками мелкого коварства и предательства. Пустое дело, пустое слово тотчас являлось государственным преступлением, возбуждало страшные розыски, немилосердые пытки и всегда оканчивалось если не полною гибелью, то полным разорением виновных, ссылкою и подобными житейскими несчастиями. Государева особа охранялась не народною любовью, а ужасом доноса, розыска, пытки, ужасом знаменитого *слова* и *дела*, которого настоящий смысл народился именно в дворцовых покоях и оттуда уже распространился на всю землю. Все это были неизбежные последствия той ожесточенной борьбы самовластных и олигархических стремлений, которая вращалась в московском дворце со времени соединения всей земли в одно самодержавие.

Когда вопрос о неограниченном самовластии или, что одно и то же, о неограниченной самостоятельности московского государя был решен окончательно; когда его личность совсем и уже навсегда выделилась из среды родовых и дружинных определений и облеклась небывалою до того времени самовластною и самодержавною волею, равно для всех *грозною*, не выключая и его родных братьев, дядей и других ближних родственников и свойственников; когда, таким образом, даже и самые права родства были упразднены во имя прав личности, т. е. на первое время, во имя только са-

мовластной или самостоятельной идеи государства, представителем которой явилась одна только личность государя в государях, большого, великого государя, сознававшего теперь всю русскую землю не совокупностью различных господарств, а единым, своим собственным господарством, своею неотъемлемою вотчиною; когда все это совершилось, то все, независимые прежде самовластцы, князья-родичи и думцы-дружинники по необходимости должны были выразуметь, что положение их в государевой вотчине есть положение домочадцев, слуг, а попросту – положение холопов. Они перед государем и называют себя уже холопами. Даже пожилой дядя государев, Андрей Иванович Старицкий, перед малолетним своим племянником – государем Иваном (Грозным) – именует себя холопом. Так переставились старые обычаи. В этом-то слове *холоп* заключился теперь весь смысл отношений боярских к особе государя и друг к другу. Старое начало более или менее независимых дружинных или родовых отношений стало постепенно перерабатываться в новое начало отношений холопских, во всей полноте известного нравственного склада и характера таких отношений. Самовластные, олигархические стремления боярства нашли себе по необходимости другой путь. Отъезжать, поднимать междоусобную войну с государем, мутить землю, разносить землю розно теперь было уже невозможно. Теперь по необходимости они должны были сосредоточиться около одной цели – около той цели, чтобы войти в особую близость к государю, в особую его милость и его же милостью забрать его власть в свои руки. Особая милость господина всегда давала холопу и особое самостоятельное, т. е. самовластное значение. В стремлениях к такой цели необыкновенно важным делом для холопов-олигархов становилась государева женитьба, посредством которой можно было вступить с государем в родство и в свойство, следовательно, приобресть его милость самым легким способом, без всяких особенных заслуг или талантов. Милость

же государя в таких обстоятельствах ставила человека на первое место и в управлении государством.

Необходимо помнить, что наше государство произошло не из слияния каких-либо самостоятельных, независимых друг от друга земских сил, а произошло прямо и непосредственно из «вотчины»; почему и самое управление государством было построено на личном, чисто вотчинническом, прямо помещичьем начале. Оно не было делом общим, от всей земли, оно было делом собственника, было делом *дворовым*, делом его дворовых людей, из которых всегда и составлялось так называемое правительство. Государством управляли не государственные, т. е. народные земские силы, а управляли им силы государева двора, которые скрытно всегда первенствовали и в Боярской Думе. Разумеется, при вотчинном значении управления другого положения вещей и быть не могло. И государством, как и самим государем, в таком случае всегда управлял какой-либо один род, одна партия, особенно близкие к государю, его домашних людей. А такими людьми по весьма понятным причинам очень часто являлись его родственники по жене-царице. Вот почему государева женитьба приобретала для всего двора, для всего правящего общества Москвы великий, самый жизненный смысл.

Государева невеста, восходя на степень великой государыни-царицы, тотчас же вводила за собою в близость к государю своих родичей и родственников, которые очень скоро становились если не в Боярской Думе, то на самом деле людьми сильными, влиятельными, становились временщиками, ибо в иной форме, по духу вотчинного управления, не могла и выразиться приближенная к государю власть. Новые временщики, само собою разумеется, должны были вытеснить из дворца, удалить от государских милостей старых друзей государя, прежних временщиков. Таким образом, было о чем подумать людям, стоявшим подле государевой особы. Конечно, такие думы с большею силою

поднимались в то время, когда был введен обычай выбирать государю невесту из всех девиц служилого, в собственном смысле господарского сословия, которое впоследствии должно было оставить за собою одно только, соответственное этому самому смыслу, имя дворян.

В эпоху дружинных отношений великие князья женились на княжнах своего же рода, на дочерях удельных князей, иногда на иноземках также княжеского рода, а также и на дочерях знатных дружинников бояр и даже на дочерях новгородских посадников. Тогда браки руководились именно дружинными отношениями родов, отношениями равенства.

Но когда московский великий князь стал самовластительным, самодержавным Государем всея Руси и все удельные князья вместе с дружинниками боярами сделались его холопами, то представилось великое затруднение относительно его женитьбы и даже браков его сыновей и дочерей. Старое юридическое понятие, что «по рабе холоп», не дозволяло уже брака с подданными, со своими слугами, холопами. Сверх того, это противоречило всем помыслам московского государя, стремившегося выделить свою особу именно из среды, которая все еще полна была притязаниями своей равноправности с ними, т. е. из княжеской и боярской среды.

В первое время господарские стремления великого князя были удовлетворены вполне: он женился вторым браком уже на греческой царевне (Софье). Этот брак придал особенно высокий, прямо царственный смысл особе государя и своим примером требовал и на будущее время соответственных ему по значению брачных связей, по крайней мере для государевых сыновей – наследников престола. Иван Васильевич успел женить (в 1482 г.) своего старшего сына на дочери молдавского воеводы и господаря, православного по вере, а дочь Елену в 1495 г. выдал за Литовского короля и великого князя Александра. Затем московский

государь много хлопотал о том, чтобы поженить и других своих сыновей на иноземках из владетельных родов. С этой целью он вел переговоры с дочерью Еленою, которая, живя в Литве, имела способы узнать, где за границею есть невесты для ее братьев. «Сын мой Василий, а твой брат, – говорил он дочери, – и мои дети, Юрий и Дмитрей, а твоя братья, дал Бог, того доросли, что их пригоже женити, где будет пригоже; и ты бы, дочка, отведала: у которых государей греческого закона, или римского закону, будут дочери, где бы пригоже мне сына своего Василия женити; или у которых и не у великих государей будут дочери или у государских детей, которые будут на государстве... где взведаешь и ты нам пришли сказать с нашимя бояры». Великий князь указывал, нет ли невест в Венгрии у деспотов сербских, ибо то были православные; искал невест в Германии у Маркрабья Бранборского, присватывался за датскую королевичну, но все старания и хлопоты были напрасны. Было много причин, по которым такие браки становились делом до чрезвычайности затруднительным, и уладить его было почти совсем невозможно. Великою помехою служило, во-первых, различие веры, а главное то, что Европа еще очень мало была знакома с Московским Государством, которое представлялось ей дикою пустынею, населенною чуть не кочевыми варварами – вроде гуннов или татар.

Оставалось покориться необходимости и выбирать себе невесту из подданных. Но как же следовало поступить в этом важном деле, чтобы устранить силу семейных преданий, старых отношений, указывавших все-таки на невест из знатных княжеских и боярских родов, которые хотя и сравнялись именем холопов со всеми подданными, но все еще сохраняли свое высшее значение в государстве и родниться с ними по этой причине было гораздо соответственнее, прямее, согласнее с обычаем и со всем складом тогдашних понятий о родовой чести, не допускавшей вообще большого неравенства в браках.

Не желая посредством брака с каким-либо из знатных родов возвышать его значение, искусственно создавать в нем совместника себе, совместника своему самодержавному роду, государь принужден был вывести этот вопрос из сферы прежних дружинных княжеских, т. е. частных отношений, в сферу отношений общих, чисто государственных; он принужден был опереться на массу и установить выбор невесты общий, так сказать, всенародный, без всякого лицеприятия в пользу каких-либо преданий или личных отношений и связей, а руководясь только непосредственными прямыми достоинствами невесты как женщины доброй, «ростом, красотою и разумом исполненной», к какому бы малому роду она ни принадлежала.

Великий князь Иван Васильевич выбрал невесту для своего наследника, сына Василья, из 1500 девиц, вызванных на смотрины от помещиков или служилых людей всей земли.

Этим действием была порвана одна из последних нитей, еще связывавших государя с княжескою и боярскою средою. Оно выводило его отношения к этой среде на полную свободу. Домашнее, личное государево дело становилось в этом случае делом общим, всенародным, общественным, в полном смысле государственным, что, конечно, в понятиях народа еще более возвышало личность государя, обобщало ее, ставило эту личность выше всех в русской земле. Государь женился и выбирал себе невесту не из привилегированной среды княжеских родов, как бывало в то время, когда он находился в равенстве с этою средою, сам принадлежал к этой же среде, т. е. к тому же княжескому роду, был одним из многих, – теперь представляя собою уже особый царский самодержавный род и не находя невесты в совместном себе таком же царском или княжеском владетельном роде, он брал ее всенародно из семьи всего служебного сословия. Теперь уже только этот общий земский род мог соответствовать роду велико-

го государя, соответствовать новому царственному значению московского государя как Государя всея Руси.

Но если такой смысл могла иметь женитьба самого государя или его наследника и вообще государевых сыновей, то в отношении замужества дочерей дело получало совершенно обратный смысл. Государь, вступая в брак с невестою, избранною всенародно, из всей служилой среды, не мог тем унизить своего царственного достоинства; напротив, он возвышал свою личность, придавая ей общенародное значение, ибо кто же, кроме государя, имел право всенародно избирать себе невесту? Но, выдавая дочь за кого-либо из подданных, хотя бы и самых вельможных и знатных, он возвышал тем личность этого подданного до несоответственного ей государского достоинства и вместе с тем унижал собственный царственный род до значения своего слуги. Все это сильно противоречило здравому государственному смыслу, которым всегда отличались московские великие князья и вот почему для государевых дочерей брачное состояние потом совсем закрылось: они были принесены в жертву государственной необходимости. В XVII столетии Котошихин следующим образом объяснял этот печальный исход государственной предосторожности: сестры царские или и дочери, царевны, имея свои особые покои розные, живут, как пустынницы, «мало зряху людей и их люди; но всегда в молитве и в посте пребываху и лица свои слезами омываху, понеже удовольство имеяй царственное, не имеяй бо себе удовольства такого, как от Всемогущего Бога вдано человеком совокуплятися и плод творити. А государства своего за князей и за бояр замуж выдавати их не повелось, потому что князи и бояре их есть холопи и в челобитье своем пишутся холопьми. И то поставлено в вечный позор, ежели за раба выдать госпожу. А иных государств за королевичей и за князей давати не повелось, для того, что не одной веры и веры своей оставить

не хотят, то ставят своей вере в поругание. Да и для того, что иных государств языка и политики не знают, и от того б им было в стыд».

Мы упомянули, что великому князю Василью Ивановичу невеста была избрана из 1500 девиц. Так свидетельствует современник Василия Герберштейн. «С общего совета, – говорит он, – были собраны в одно место дочери *бояр* числом 1500 для того, чтобы князь выбрал из них супругу по желанию». Он объясняет также, что такой, общенародный, выбор невесты сделан был по совету великокняжеского казначея, грека Юрья Малого (Траханиота), который был самым приближенным лицом у великого князя и надеялся будто бы, что Василий возьмет себе в супруги его дочь. Но хитрые замыслы не удались, и великий князь избрал в невесты Соломониду Сабурову – дочь незначительного дворянина Юрья Константиновича Сабурова. Все это могло быть так, как рассказывает Герберштейн о происках придворного грека. Но не до́лжно думать, что установление всенародного избрания государевой невесты произошло именно из этого частного, случайного обстоятельства, каким представляется замысел государева казначея. Оно, как мы говорили, явилось делом государственной необходимости и должно было на общем совете утвердиться какими-либо, тоже государственными, примерами. Только подобные примеры и могли действовать наиболее убедительно на Государеву Думу, как и на самого государя. Грек Юрий, без сомнения очень хорошо помнивший византийскую старину, выставил, по всему вероятию, готовый и вполне достойный образец для подражания Московскому государю. Это древний обычай Византийской империи, где для молодых императоров точно так же невесты избирались со всей земли. Точно так, например, императрица Ирина выбрала невесту для своего сына Константина, с которым она царствовала вместе. Подробный рассказ об этом событии находим в старинном житии св. Филарета

Милостивого[1], которое вообще очень любопытно и в археологическом отношении по изображению византийского быта в конце VIII столетия. Многие черты этого быта носят в себе вполне родственное сходство с нашим бытом XVI и XVII столетий и тем показывают, что они некогда служили образцами для нашей культуры.

Вот что повествует это житие об избрании царской невесты: «Посланы были смотреть для царя невесту нарочитые мужи по всей земле греческой, от востока до запада, от юга до севера. Пытание всюду творяху, они пришли между прочим в страну Понтийскую, в среду земли Вофлагонские, в весь, глаголемую Амния. Здесь царевы послы остановились на отдых в доме св. Филарета, у которого, кроме детей, были еще и три внучки-девицы. После пира, чудом устроенного, ибо в это время святой старец, прожив уже все свое великое богатство на милостыню, находился в бедности, послы спросили: есть ли у него подружие – супруга-хозяйка. Получив утвердительный ответ, они сказали старцу: "Да внидет теперь сюда подружие твое, яко да лобзает нас". Она ж, призвана, вниде. Увидавши ее, красну и добротою сияющу, хотя уже в старости сущу, послы вопросили: есть ли у них дщери и внучки-невесты? Старики отвечали, что есть: три дочери замужем, а три внучки уже невесты. Послы объявили, что желают видеть отроковиц, ибо изыскивают царю невесту, "тако заповедано бысть, да не утаится от нас в греческой земле ни едина девица, ее же мы не увидим". Старец, упокоивая гостей, попросил отложить смотрины до утра. Когда утром послы стали требовать: "Да приведут юные госпожи на среду, да видим их", – старец ответил им, что, по обычаю, у них мало выходят к гостям даже и жены, а девицы николиже исходят от худых храмин своих. "Если хочете их видеть, – прибавил он, – не обидьтесь, пойдите во *внутреннюю храмину*, сами посмотрите их". Послы со-

[1] По списку XVI в. из нашего собрания рукописей.

гласились и пошли смотреть девиц в их терем. Там три невесты в сопровождении своей матери встретили их с подобающею почестью. Послы обрадовались, увидя доброту девиц и преизлишнюю красоту их лиц.

Они с собою имели цареву *меру*, по которой везде испытывали назначенный возраст невесты; взяли эту меру и вымерили девиц и нашли ровну на первой внучке блаженного старца; была она возрастом выше двоих своих сестер, имя ей было Марья. Тотчас ее и нарекли себе царицею и госпожою. Исполнившись много веселья, послы взяли с собою всех трех отроковиц с отцом и с матерью, с блаженным дедом и бабою и со всем родом и племенем их, числом всех 30 чел. Между тем, в иных местах они избрали и других юных девиц числом 10, и между ними дочь некоего Геронтия; и та тоже была добра видением... Всих их повели к царю в палату. Мария в это время обратилась к своим подругам со следующими словами: “Госпожи мои и сестры! Послушайте моего худого разума совета: из всех нас царь выберет одну. Согласимся так: кого из нас изберет царь в царицы, да не покинет она на своей царской высоте и прочих своих сверстниц по выбору. И да будет нам всем общая радость”. Между тем, Геронтиева дочь возносилась своими достоинствами: умом, красотою, богатством, благородием и уверяла, что непременно будет обручена царю. Она и была первою введена на испытание к цареву наперснику Ставрокию. Но гордая не была избрана. Подав ей даяния (дары), ее отпустили восвояси. Исполнися Соломоново слово: “Господь гордым противляется, смиренным же дает благодать”.

Потом ввели на смотрины Марию с дедом и с бабою, с отцом и с матерью, с сестрами и со всем родом и племенем. Царь Константин и царица Ирина и наперсник Ставрокий удивились образу их и украшению и устроению, и в той час чистолепную Марию обручил себе царь и велечудною свадьбою взял за себя... Вторую сестру царь отдал за одного

из своих вельмож, патрикия саном; третью же послал, умирения ради, к Лоуговарду (Лонгобарду) Аргусию именем со многими дарами, и та убо царицею бысть за ним. Прочих девиц, одарив, роздал замуж за великих вельмож, по молению царицы Марьи, как сказала: которой даст Бог, да помянет (не оставит) прочих. Затем весь род и племя Марии от старого и до младенца царь одарил всяким именьем и стяжаньем, богатым одеянием, златом, камением честным, драгим бисером, домами великими и славными...»[1].

Так иногда совершались выборы невест у царей византийских, так по необходимости они стали совершаться и у московских государей, следовавших во многом своим первообразам по устройству государственных и царских домашних порядков. О том же первом браке великого князя Василия, совершенном по всенародному избранию невесты, свидетельствуют кроме Герберштейна и другие иностранцы, тоже современники Василия. Павел Иовий обозначает это избрание уже как бы общим установлением, давним обычаем: «Московские государи, – говорит он, – желая вступить в брак, повелевают избрать из всего царства девиц, отличающихся красотою и добродетелию и представить их ко двору. Здесь поручают их освидетельствовать надежными сановникам и верным боярыням, так что самые сокровенные части тела не остаются без подробного рассмотрения. Наконец, после долгого и мучительного ожидания родителей та, которая понравится царю, объявляется достойною брачного с ним соединения. Прочие же соперницы ее по красоте, стыдливости и скромности нередко в тот же самый день, по милости царя, обручаются с боярами и военными сановниками. Таким образом, московские государи, презирая знаменитые царские роды,

[1] Кедрин свидетельствует, что этот брак царя Константина был совершен против его воли – по желанию матери его, царицы Ирины. Впоследствии Константин, по наваждению же матери, удалил свою супругу в монастырь и женился на Феодоте – служительнице Ирины. Кедрин называет также первую его супругу Мариною, а не Мариею.

подобно оттоманским султанам, возводят на брачное ложе девиц большею частью низкого и незнатного происхождения, но отличающихся телесною красотою».

Франциск-да-Колло рассказывает следующее: «Великий князь Василий, вздумав жениться (это было еще при его отце), обнародовал во всем государстве, чтобы для него выбрали самых прекраснейших девиц, знатных и незнатных, без всякого различия. Привезли их в Москву более 500: из них выбрали 300, из 300 – 200, после 100, наконец только 10, осмотренных повивальными бабками; из сих 10 Василий избрал себе невесту и женился на ней (на Соломонии). Однако ж не имел удовольствия быть отцом и потому не весьма уважал супругу, так что я, находясь в Москве, должен был ходатайствовать о свободе брата ее, сидевшего в темнице за легкую вину»[1]. Противоречие сказаний Герберштейна и Франциска-да-Колло о 1500 и 500 девицах весьма согласимо с истиной, ибо цифра 1500 могла обозначать все число девиц-невест, которые были написаны в выбор соответственно тем качествам, какие требовались для государевой невесты.

С порядком предварительного выбора по разным местностям нас знакомят отчасти самые грамоты, которые в это время рассылались ко всем помещикам или служилым людям. Из них мы узнаем, что в областные и другие города посылали доверенных людей из окольничих или из дворян с дьяками, которые заодно с местною властью, с наместником или воеводою и должны были пересмотреть всех девиц назначенного округа. Между тем по всему округу, во все поместья пересылалась государева грамота с наказом везти дочерей в город для смотра. Помещики собирались с невестами и затем избранных везли уже в Москву. Для многих, вероятно, по бедности этот местный съезд был делом не совсем легким и потому иные не слишком торопились исполнять царский наказ.

---

1 *Карамзин Н. М.* Указ. соч. Т. VII. – Прим. 402.

По случаю первой женитьбы царя Ивана Васильевича зимою 1546–1547 г. были разосланы следующие грамоты, текст которых для удобства в чтении мы несколько поновляем: «От великого князя Ивана Васильевича всея Руси в нашу отчину в Великий Новгород, в Бежицкую Пятину, от Новгорода верст за сто и за полтораста и за двести, князем и детям боярским. Послал я в свою отчину в Великий Новгород окольничого своего Ивана Дмитриевича Шеина, а велел боярам своим и наместникам князю Ю. М. Булгакову да Василью Дмитриевичу да окольничему своему Ивану смотрити у вас дочерей девок – нам невесты. И как к вам эта наша грамота придет, и у которых у вас будут дочери девки, и вы б с ними часа того ехали в Великий Новгород; а дочерей бы у себя девок однолично не таили, повезли бы часа того не мешкая. А который из вас дочь девку у себя утаит и к боярам нашим... не повезет, и тому от меня быть в великой опале и в казни. А грамоту посылайте меж себя сами, не издержав ни часа». Другая: «В Вязму и в Дорогобуж князем и детем боярским дворовым и городовым. Писал к нам князь Ив. Сем. Мезецкой да дворцовой дьяк Гаврило Щенок, что к вам послали наши грамоты, да и свои грамоты к вам посылали, чтоб по нашему слову вы к ним ехали с дочерьми своими, а велел я им смотрити у вас дочерей, себе невесты. И вы-де и к ним не едете и дочерей своих не везете, а наших грамот не слушаете. И вы то чините не гораздо, что наших грамот не слушаете. И вы б однолично часа того поехали с дочерьми своими ко князю Ив. Сем. Мезецкому да к дьяку. А которой из вас к ним с дочерьми своими часа того не поедет, и тому от меня быти в великой опале и в казни. А грамоту посылайте меж себя сами, не издержав ни часу[1]».

Через месяц после написания этой последней грамоты от 4 генваря 1547 г. царь уже повенчался с Анаста-

[1] Собрание государственных грамот и договоров. Т. II. – № 34, 35.

сиею Романовой, избранной, стало быть, также из множества девиц[1].

До́лжно полагать, что лицам, которые пересматривали невест на месте, давался какой-либо наказ словесный, а всего вернее – писаный с подробным обозначением тех добрых качеств, какие требовались для невесты государевой вообще и по желанию жениха в особенности. Без сомнения, немаловажное место занимала здесь и *мера* возраста или роста, с которою ездили осматривать невест в Византии. Затем, после смотра, все избранные первые красавицы области вносились в особую роспись с назначением приехать в известный срок в Москву, где им готовился новый смотр – еще более разборчивый, уже во дворце при помощи самых близких людей государя. Наконец, избранные из избранных являлись на смотрины к самому жениху, который и указывал себе невесту также после многого «испытания». Впрочем, надо думать, что жених участвовал в разборе всех невест, которые были привозимы в Москву, ибо сюда, как мы заметили, съезжались уже избранные, первые красавицы областей. О царе Иване Васильевиче повествуют, что для избрания третьей супруги к нему «из всех городов свезли невест в Александрову Слободу, и знатных, и незнатных, числом более 2000. Каждую представляли ему особенно.

[1] В житии Геннадия Костромского и Любимоградского чудотворца рассказывается первое его чудо, как он пророчески благословил девицу Анастасию, что будет она царицею «всему миру». Некогда случилось ему прийти в царствующий град Москву с двумя своими учениками. Пришли они, несомненно, в знакомый уже дом к боярыне Ульяне Федоровне – жене Романа Юрьевича Захарьина (умершего в 1543 г.). Боярыня со своими сыновьями Данилою и Никитою встретила путников с большим почетом, честь воздав преподобному старцу Геннадию. Преподобный благословил сыновей, и потом провели его в другие хоромы, где была дочь боярыни Анастасия. Преподобный, сотворив молитву и благословя девицу, касаясь рукою своею на главе ее, сказал: «Благого корени благая отрасль, благия отрасли ветвь плодовитая и розга прекрасная чадо сие!». Потом сказал девице во услышание всем: «Будеши нам государыня царица благоверная всему миру». Удивилась боярыня с чадами своими и со всеми людьми недоуменным словесам Преподобного. И все сбылось по пророчеству его.

(Испытанию о девицах многу бывшу надолзе, говорит сам государь). Сперва он выбрал 24, а после 12, коих надлежало осмотреть доктору и бабкам; долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме; наконец, предпочел всем Марфу Васильевну Собакину – дочь купца новогородского, в то же время избрав невесту и для старшего царевича – Евдокию Богдановну Сабурову». Касательно избрания невест царем Иваном Васильевичем его современник – нostранец Гейденштейн рассказывает, «что изо всей России собираемые царские невесты живут обыкновенно в одном большом доме; что в каждой комнате стоит 12 кроватей и трон; что царь, провождаемый только одним старцем, входя в комнату, садится на трон; что невесты одна за другою становятся перед ним на колени и бросив к его ногам платок златотканный с жемчугом (ширинку), удаляются...»[1].

По другому известию немчин Гейденсталус сам слышал из уст одной боярской дочери, которая была и сама в числе девиц на смотре царском во время избрания Собакиной, что это избрание происходило таким образом: царь повелел всем своим князьям и боярам дочерей своих, которые к замужеству достойны, привезти всех в Москву. На пребывание им был устроен дом преизрядный, украшенный, со многими покоями; во всякой палате было 12 постелей, для каждой девицы особо. Все девицы в том доме и пребывали, ожидая царского смотра. В назначенное время царь приходил в тот дом в особливую ему изготовленную палату с одним зело престарелым боярином и садился на украшенном стуле. Те боярские и княжеские дочери, убравшись в лучшие свои девические уборы и дорогие платья, приходили пред царя по порядку, одна после другой и покланялись до ног его. Царь всякой девице жаловал платок, расшитый золотом и серебром, унизанный жемчугом, бросая девице на груди ей, и которая ему понравилась, ту и взял себе в жены, а всех остальных отпустил и пожаловал вотчинами и день-

1 *Карамзин Н. М.* Указ. соч. Т. IX. – С. 110 и прим.

гами. Об этой церемонии, не ведая ее подлинно, прибавляет автор, древние истории писатели «многия плетаху лжи» на великих царей российских, якобы они те заповеданные товары сами высматривали, и «другия прочия басни лживыя слагаху» по ненависти к Российскому народу[1].

Коллинс, современник царя Алексея, говорит, что когда дело решалось, то сам царь подавал избранной платок и кольцо; эти-то брачные знаки, в действительности, быть может, и означали акт избрания. Свадебные разряды свидетельствуют, что подобные же общие выборы невест при царе Иване Васильевиче происходили и при женитьбе его братьев.

В 1547 г. сентября 18 «приговорил государь брата своего князя Юрья Васильевича женити; и ходил государь с ним к Макарию-митрополиту, чтобы князя Юрья женитися благословил; и велел боярам и князем дочери девки привезти на свой царской двор; и как девки свезли и царь и князь Юрья девок смотрели; и полюбил князь Юрья княжну Дмитриеву дочь Федоровича Палицкого, княжну Ульяну. В 1549 г. сентября 1 приговорил государь женить брата своего князя Володимера Андреевича, удельного; и приговорил *прописать* у бояр и князей дочерей-девок и по времени их пересмотреть; и тогда свадьбу государь отложил для своего походу к Казани; а приговорил смотреть после Казанского дела. И мая 24 смотрел царь и князь Володимер девок и полюбил девку Авдотью – Александрову дочь Михайловича Нагова[2].

После избрания царскую невесту торжественно вводили в царские особые хоромы, где ей жить, и оставляли до времени свадьбы на попечении дворовых боярынь и постельниц – жен верных и богобоязливых, в числе которых первое место тотчас же занимали ближайшие родные из-

---

1 Московская или Российская история. Рукопись нашего собрания // Пер. 1741 г.

2 Древняя Российская вивлиофика. Ч. XIII. – С. 36, 46.

бранной невесты, обыкновенно ее родная мать или тетки и другие родственницы. Введение невесты в царские терема сопровождалось обрядом ее царственного освящения. Здесь с молитвою наречения на нее возлагали царский девичий венец, нарекали ее *царевною*, нарекали ей и новое царское имя. Вслед затем дворовые люди «царицына чина» целовали крест новой государыне. По исполнении обряда наречения новой царицы рассылались по церковному ведомству в Москве и во все епископства грамоты с наказом, чтобы о здравии новонареченной царицы Бога молили, т. е. поминали ее имя на ектениях вместе с именем государя.

С этой минуты личность государевой невесты приобретала полное царственное значение и совсем выделялась из среды подданных и из среды своего родства, так что даже и отец ее не смел уже называть ее своею дочерью, а родственники не смели именовать ее себе родною. Но, само собою разумеется, что такие отношения царицына родства существовали как бы только в идее, в отвлечении, в идеальных представлениях о недосягаемой высоте царского сана, о недосягаемом его освящении, к которому так близко становилась избранная девица. На самом же деле родство царицы хотя и теряло право для государственного приличия именовать ее своею родною, хотя и не осмеливалось иначе называть ее, как великою государынею-царицею, но все-таки по своему влиянию оставалось ее родством и всегда быстро восходило на степень самых близких людей к государю, быстро возвышалось до значения всемогущих временщиков. По большой части ее-то родство и управляло государством во всех внутренних, так сказать, домашних государственных делах. «А жалует царь по царице своей, – говорит Котошихин, – отца ее, а своего тестя, и *род* их с низкие степени возведет на высокую, и кто чем не достанет, сподобляет своею царскою казною, а иных рассылает для покормления по воеводствам в городы, и на Москве в приказы, и дает поместья и вотчи-

ны; и они теми поместьями, и вотчинами, и воеводствами, и приказным сиденьем побогатеют».

Таково было беззастенчивое вотчинное управление государством, по которому в силу общих и неколебимых, освященных веками убеждений родство и в царском, как и в частном правительственном быту всегда приобретало первое право пользоваться властью своего родича, а стало быть, и всеми выгодами его высокого общественного положения. Это было на самом деле непререкаемое право всех родичей, ибо по идеям родового быта они всегда и приобретали, и теряли, возвышались и падали заодно со своим родом. Отдельная от рода личность не была мыслима в то время; она сливалась с родом в органическое целое, а потому не могла даже и понять какой-либо раздельности интересов и выгод в кругу родовой связи. Возвышавшийся где бы ни было родич всегда оставался в кровном убеждении, что за собою до́лжно возвышать прежде всего свое родство, что это – дело естественное; а родство всегда тоже почитало своим естественным родовым правом не только ожидать, а и требовать себе всех выгод, приобретаемых в обществе его родичем. Такой именно порядок идей господствовал в среде всех житейских общественных связей и всяких властных, господарских отношений.

Государевы невесты очень нередко избирались из бедных и простых дворянских родов, а потому и возвышение их родства выпадало на долю самым незначительным людям. Коллинс рассказывает, что отец царицы Марьи Ильичны Милославских, Илья Данилович, происходил из незнатного и бедного дворянского рода и прежде служил кравчим у посольского дьяка Ивана Грамотина. Дочь его, будущая царица, хаживала в лес по грибы и продавала их на рынке. О царице Евдокии Лукьяновне Стрешневых, супруге Михаила, ее же постельницы говаривали: «Не дорога-де она, государыня; знали они ее, коли она хаживала в жолтиках (простых чеботах); ныне-де ее, государыню, Бог возвели-

чил!». О царице Наталье Кирилловне Шакловитый, предлагавший ее *принять*, т. е. погубить, говорил царевне Софье: «Известно тебе, государыня, каков ее род и какова в Смоленске была: в лаптях ходила!».

Весьма понятно после того, с какою завистью и ненавистью встречали во дворце родство новой царицы, с каким опасением смотрели на новых людей – ее родичей – все лица, находившияся в близости и в милости у государя, сидевшие прочно в своих пригретых гнездах по разным частям дворцового и вообще приказного управления. Выбор государевой невесты поднимал в дворовой среде столько страстей, столько тайных козней и всяческих интриг, что это государево дело редко проходило без каких-либо более или менее важных и тревожных событий в его домашней жизни.

Избранная невеста, вступая во дворец царевною, среди радостей и полного счастия, неизобразимого для простой девицы и особенно для ее родных, вовсе не предчувствовала, что именно с этой минуты участь ее держится на одном волоске, что именно с этой минуты ее личность становится игралищем самых коварных, низких и своекорыстных замыслов. Те же самые люди, которые с дворским раболепием служили ей, с дворским раболепием заискивали ее особого расположения, земно кланялись ей как новонареченной царице; те же самые люди, которые так были близки ее царственному жениху, так были любимы им и, казалось, так добродушно и искренно радели о его счастии и, стало быть, о счастии избранной им супруги, – эти-то самые люди и являлись в тайных своих замыслах первыми и, можно сказать, единственными ее врагами.

Недоступный, замкнутый царский терем с его просторною и прохладною жизнью в смысле всякого изобилия и великолепия, всяческого раболепства и ласкательства являлся на деле самым открытым местом для действий потаенных врагов и самым тесным и опасным местом для жиз-

ни. Простое легкое нездоровье было достаточно для того, чтобы враги воспользовались этим обстоятельством и облекли его в дело величайшей важности и величайшей опасности даже для здоровья самого государя, всегда обвиняя при этом и родство невесты, будто оно нарочно скрывает какую-либо неизлечимую ее болезнь, разумеется, для того, чтобы не лишиться ожидаемого высокого благополучия вступить в близость к государю. Враги употребляли большие старания чем-либо в действительности испортить здоровье царевны-невесты и таким образом лишить ее царской любви, выселить из дворца, и тогда новый выбор государевой супруги направить согласно своим потаенным целям.

С подробностями таких печальных событий в государевой жизни лучше всего познакомит нас история царских невест.

Скорбь разлуки с избранною невестою именно вследствие дворских интриг должен был испытать из царей первый Иван Васильевич Грозный. Со многим и долгим испытанием (в 1572 г.) он избрал в супруги девицу Марфу Васильевну Собакину. Она была испорчена еще в невестах и скончалась с небольшим через две недели после свадьбы, совершенной царем вопреки обычному предубеждению и страху за собственное здоровье. Об этом засвидетельствовал сам царь, когда просил соборного разрешения вступить потом в четвертый брак на Анне Алексеевне Колтовских: «Ненавидяй добра враг, воздвиже *ближних* многих людей враждовати на царицу Марфу, еще в девицах сущу, точию имя царское возложено на нее, и тако ей *отраву злую учиниша*. Благоверный же царь великий князь, положа на Божие всещедрое существо упование, либо исцелеет, поя за себя девицу Марфу, и только была за ним две недели и преставися. И понеже девства не разрешил третьего брака, царь и великий князь о таковых много оскорбися и хоте облещися во иноческое»[1]. Подо-

[1] Древняя Российская вивлиофика. Ч. XIII. – С. 105.

зрение в порче пало на родство прежних цариц – Анастасии Романовых и Марьи Черкасских. Был розыск и были казни, по Карамзину, *пятая* эпоха душегубства, в которую погиб в числе других князь Михайлович Темрюкович Черкасский – брат царицы Марьи. К сожалению, дело об этом розыске со множеством разных других дел, весьма важных для истории Ивана Грозного, до нас не дошло, и потому мы не имеем никаких оснований делать решительные заключения ни о той, ни о другой стороне.

Более подробностей о подобных событиях царской жизни сохранил нам XVII в. Так, следственное дело о болезни первой невесты царя Михаила Феодоровича, Марьи Хлоповой, довольно близко знакомит нас с характером дворских отношений в этих обстоятельствах и вообще с подробностями домашней жизни избранных государевых невест. По вступлении на царство 16-летний Михаил Феодорович – юноша кроткий и тихий, благоуветливый и покорный, как отзывается о нем летописец до возвращения из плена своего отца, Филарета Никитича, находился в полной опеке матери – великой старицы-инокини Марфы Ивановны. В первое время близкими к нему людьми явились, конечно, его родственники, как всегда и бывало. Да и кому же, кроме родства, вернее и безопаснее было поручить береженье молодого государя, особенно вскоре после общих, всенародных смут ввиду бывших постоянных измен и даже убийств, от которых не могли спастись государи-предшественники. Без сомнения, по совету родственников и по назначению Марфы Ивановны ближайшие и самые важные дворовые должности при Михаиле отданы были в 1613 г. двум его двоюродным братьям – Борису и Михаилу Салтыковым. Первый назначен дворецким, второй – крайчим. Близость к молодому, неопытному и покорному государю очень скоро возвысила их до значения самовластных и самоуправных временщиков. Хозяйничая своевольно и безответственно во дворце, они давали чувствовать свою власть и в общих

делах государства, так что многие с нетерпением ожидали приезда из плена царского отца Филарета Никитича, который один только своею отцовскою властью мог остановить это боярское своеволие, всегда поднимавшееся во время малолетства или неспособности государей.

Вот что рассказывает правдивый современник об этих первых годах Михаилова царствования: «Бе же царь млад... и не бе ему еще толика разума, еже управляти землею, но боголюбивая его мати, инока великая старица Марфа, правя под ним и поддержая царство *со своим родом*... Но и сему... царю... не без мятежа сотвори державу враг диавол древний, *возвыся паки владущих на мздоимание*, которые царя ни во что же вмениша и небоящеся его, понеже детеск сый... всю землю Русскую разделивше по своей воли, яко и его царская села себе поимаша...». Почти то же самое рассказывают и иностранцы-современники[1].

После венчания царским венцом 11 июля 1613 г. следовало подумать и о венчании брачным венцом, как водилось исстари. Неизвестно, однако ж, тогда ли начались об этом государевы заботы. Только в 1616 г., когда царю был уже 20-й год, мать благословила его на это доброе дело, которое было желательно и для всей земли, испытавшей столько бед и потому вполне желавшей, чтобы новый царский род неколебимо утвердился на престоле.

Для *обиранья* невесты к его государской радости, по установившемуся обычаю, были, вероятно, собраны во дворец все тогдашние красавицы, дочери дворян и вообще служилого помещичьего сословия. Царь выбрал в невесты Марью Ивановну Хлопову – дочь московского дворянина. Как только дело было решено, государь велел позвать к себе ее родных: отца, мать и всех, кто был налицо, все родство. Это-то родство и было всегда ненавистно старым временщикам. Здесь являлись соперники – незнатные, не-

[1] Записки о России XVII в. по донесениям голландских резидентов // Вестник Европы. – 1868. – Кн. I.

богатые, но сильные впоследствии, влиятельные по свойству с царицей, с которыми впоследствии трудно было ладить, от которых нельзя было ждать добра, ибо и они тоже всегда почитали себя прямыми и самыми ближайшими кандидатами в такие же временщики. По этим причинам старые любимцы государя должны были употреблять все усилия, чтобы направить выбор царской невесты соответственно своим личным целям. Для них, например, очень важно было, чтобы близкие родные и все родство будущей царицы не было слишком значительно по своим личным достоинствам или заслугам.

Родных Хлоповой позвали в Верх, к Рождеству на Сени, т. е. на царицыну половину дворца. Здесь вышли к ним Борис да Михайло Салтыковы – первые люди во дворце и велели им тут подождать до государева указу. Затем позвали их к государю в хоромы, в Переднюю. Там сказал им государь сам, что он «произволил взять себе для сочетанья законного брака Иванову дочь Марью, а их родственницу, и они б ему служили и были при нем близко». Родные будущей царицы ударили челом государю, благодаря за неизреченное жалованье. С этой минуты они были при государе *близко*; они становились своими людьми государю, могли свободно ходить во дворец к нареченной невесте.

Государеву невесту поместили у государя в верхних хоромах, в теремах; нарекли ее *царицею*, а имя ей дали *Настасья*, очень вероятно – в память царской бабки Анастасьи Романовны – первой супруги Грозного. «И молитва наречению ей была, и чины у ней уставили по государскому чину, т. е. честь и береженье к ней держали, как к самой царице; и дворовые люди крест ей целовали, и на Москве, и во всех епископьях Бога за нее молили, т. е. поминали на ектеньях».

В Верху, в хоромах при нареченной царице жила Марья Милюкова – одна из придворных сенных боярынь, также мать царицы и ее бабка – Федора Желябужская.

Родственники сначала приходили челом ударити временем, потом ходили к ней по вся дни и ездили с государем на богомолье к Троице, когда он отправился туда вместе с матерью и невестою молить Бога о благополучном сочетаньи браком. Это было 16 мая 1616 г. Все происходило по заведенному искони обычному порядку; все шло благополучно, без всякой помехи; невеста чувствовала себя во всем здоровою, кушала царские сладкие яства, без сомнения, веселилась новою жизнью и ожидаемым счастьем, которое должно было возвысить и весь ее род. Так прошло около месяца. 9 июня «государыня царевна и великая княгиня Настасея Ивановна всея Руси государыне и великой старице иноке Марфе Ивановне на новоселье челом ударила: два сорока соболей, один 30 руб., другой 25 руб.». Вероятно, свекровь в это время построила себе в Вознесенском монастыре новые хоромы.

Из родных царевны заметно выдвинулся ее дядя Гаврила Васильевич Хлопов – по-видимому, человек очень неглупый, бывалый, стойкий и прямой. Очень понятно, что он-то особенно и не мог понравиться Салтыковым. Однажды ходил государь в Оружейную палату и смотрел оружейную казну. Оружейною палатою, где выделывалась всякое царское оружие, заведывал тогда Михайло Салтыков, исполнявший кроме должности кравчего и должность оружничего, которая также всегда поручалась близкому и доверенному человеку. Поднесли к государю турецкую саблю и почали хвалить. Салтыков как полный хозяин царского оружейного заведения, а следовательно, и знаток дела, выхваляя своих мастеров, стал говорить, что и на Москве, т. е. в Оружейной Палате, государевы мастеры такую саблю сделают. Государь передал смотреть саблю в руки Гавриле Хлопову, спрашивая его: как он думает, сделают ли такую саблю в Оружейной палате? Осмотрев саблю, Хлопов ответил: «Пожалуй, сделают, только, думаю, не такову, как эта». Мог ли Салтыков, оружничий, перенести хладно-

кровно такое противоречие своему отзыву, а может быть, и хвастовству. Рассерженный, он вырвал у Хлопова саблю, примолвив, что говорит он, не знаючи[1]. Знал ли Хлопов действительно толк в этом деле или выразил только простое сомнение умного и бывалого человека, но не уступил оружничему, побранился с ним и «поговорил с Салтыковыми гораздо в разговор». Все это делалось при самом царе и все это напоминает поведение олигархов во время молодости дедушки Михаила царя Ивана Васильевича Грозного. С тех пор Салтыковы невзлюбили Хлоповых, а это почти решало участь царской невесты. Бороться с такими сильными и влиятельными людьми было невозможно людям, еще только приближавшимся к доверию государя. Недели две спустя после того как дядя невесты «поговорил гораздо в разговор» с оружничим, Михаилом Салтыковым, нареченная царица начала понемогати, появилася болезнь, «рвало и ломало нутр и опухль была... а была ей блевота не вдруг, сперва было дни с три и с четыре, да перестало, а после того спустя с неделю опять почала блевать». Родные думали, что это случилось от сладких ядей, потому что «едала сласти, и они ей говорили, чтоб сластей кушала не много, и оттого та болезнь блевота почала быть в ней меньше». Само собою разумеется, что как только Хлопова заболела, отец и бабка ее тотчас доложили о том государю и государыне-старице Марфе Ивановне. Государь сейчас же велел дохтурам болезни ее смотрити. Но леченье по необходимости должно

[1] Когда это было – неизвестно. В расходных дворцовых записках значится, что 10 мая в Оружейный Приказ из домовой государевой казны была отпущена «сабля булатная тевриская (теврисский выков) ножны хоз черной, оковы булатные, цена 5 р.» Быть может, это та самая сабля, которую похвалил государь. В Оружейной Палате сохраняется булатная сабля прорезная с богатой золотой насечкой и с русскою подписью латинскими, т. е. польскими буквами: «Сей тесак сделан повелением государя царя и в. к. Михаила Феодоровича всея Русии в пятое лето (1617 г.) государства его месяца... по приказу крайчево и оружничево Михаила Михаиловича Салтыкова, делал мастер Nial Proswit». Нет никакого сомнения, что эта сабля сделана по приказанию Салтыкова в подтвержденье своих слов, что и в Москве сумеют сделать саблю не хуже турецкой.

было идти чрез посредство крайчего Михаила Салтыкова, которому как крайчему и лицу самому доверенному государь, естественно, доверял и леченье своей невесты.

В первое время Салтыков призвал доктора Валентина Бильса. Доктор болезнь нареченной царицы своим дохторством смотрел; по его отзыву она в то время была больна тем: «Желудок у нее в те поры был бессилен и не варил, и селезенка опухла. Та болезнь, – заметил он, – бывает от желудка, как желудок бывает ветрен; а как желудок будет здоров и то все минуется, да от той болезни и в почках бывает болезнь и блевота; он такие болезни лечивал и многим пособлял, а *плоду и чадородию* от того порухи не бывает...». Бильс прописал лекарство, которое по порядку тогда же было записано в книгах, в аптекарской палате, и передано в руки отцу невесты – Ивану Хлопову. В другой раз лекарство было прописано спустя неделю. Лекарство по тогдашним понятиям вообще было делом весьма подозрительным и опасным, а при настоящих обстоятельствах оно могло казаться на самом деле отравою. Отец невесты зорко наблюдал за Салтыковыми. Подозрительность его не оставляла без внимания и малейшего случая, сколько-нибудь сомнительного в поведении бояр. «Меж себя они *шептали*... и пришед Михайло Салтыков, велел ему взяти из аптеки скляницу с водкою и отнести к дочери его Марье, а сказали, что она от того будет больше кушать». Он взял у Бильса скляницу и отдал в хоромы Марье Милюковой – невестиной боярыне. Но в хоромах, вероятно, по общему совету, держали себя крепко от подобных водок и не употребляли их. Вместо сомнительной водки там больной давали «*пити воду святую с мощей*, а имали крест (с мощами)» у Волынских, который, вероятно, славился исцелениями. Давали также камень *безуй*. «И оттого ей дал Бог исцеленье, исцелела и полегчало вскоре; и после того болезнь не поминывалася».

Это было врачеванье настоящее, которое предписывалось старым благочестием и оправдывалось общим

убеждением народа в его непререкаемой помощи. Докторское врачеванье по тому же убеждению все еще имело вид врачеванья бесовского, имело вид волхвования, зелейничества, которое было грехом. Домострой писал: «Аще Бог пошлет на кого болезнь или какую скорбь, ино врачеватися Божиею милостью, да слезами, да молитвою, да постом, да милостынею к нищим, да истинным покаянием. Да благодарение и прощение и милосердие и нелицемерная любовь ко всякому, аще кого чем приобидел, отдати сугубо и на пред не обидети. Да отцов духовных и всяк чин священнический и мнишеский подвизати на моление Богу; и молебны пети и *вода святити с честных крестов и со святых мощей и с чудотворных образов, и маслом свящатися*; да по чудотворным по святым местом обещеватися и приходяще молитися, со всякою чистою совестью; тем цельба всяким различным недугом от Бога получити...». Домострой толковал, что всякие тяжкие различные недуги суть наказание гнева Божия; поэтому кто «оставя Бога, и милости и прощения грехов от Него не требуя, призывает к себе чародеев, кудесников, волхвов и всяких мечетников и зелейников, и с кореньем, от которых ожидает душетленной и временной помощи, тот уготовляет себя диаволу, во дно адово, во веки мучитися».

Конечно, если всякая болезнь носила в себе смысл Божьего гнева, Божьего наказания за премногие грехи, то и ее врачевание должно было призывать одну лишь Божию помощь, должно было обращаться к одной лишь святыне и к делам покаяния. Человеческая помощь здесь ничего не значила, а тем менее – помощь докторская, которую и вообще весьма трудно было отделить от обыкновенного знахарства, отреченного и проклятого всеми Соборами. Вот почему во всех важных случаях – не только в домашнем ежедневном быту, но и в быту всенародном – всегда с молитвою прибегали к чудотворной силе святой воды, освященной с животворящего креста с мощами. Так, в

1647 г. февраля 26, царю Алексею Михайловичу били челом жители города Карпова: «По твоему государеву указу твой новый город Карпов поставлен, а мы, холопи твои, в Карпов из разных городов сведены на вечное житье с женишками и с детишками и дворишки себе построили; и за грех наш в Карпове напала на нас болезнь и скорби полевые (степные), и вода в Карпове нездоровая: многие от тех болезней и скорбей помирают, и целебного животворящего креста Господня с мощами святых в Карпове нет; вод священие бывает крестом Христовым без мощей. Вели, государь, прислать в Карпов для наших скорбей и болезней животворящий крест Господень с мощами святыми на освящение воде и на утверждение и на исцеление нам, чтоб нам от тех полевых болезней и скорбей напрасною смертью не помереть». Государь велел им принести животворящий крест из Хотмышска, куда эта святыня, вероятно, по такому же челобитью была отправлена в 1646 г. с наказом: «Тот животворящий крест для освящения воды и исцеления всяких болезней и скорбей воеводам из Хотмышска отпускати в городы без задержания». По таким же причинам в 1649 г. государь послал из Москвы животворящий крест с мощами в Курск, где многие люди нападными болезнями и страхованиями болезновали и помирали. Государь наказывал встретить святыню с крестным ходом, служить молебен, святить воду; «и тою святою водою город и по городу наряд (пушечный) и всякие крепости, и всяких чинов людей, и лошадей, и всякую животину кропить не по один день; и в другие украйные города отпускать на просвещение и исцеление больным с великою с подобающею честью»[1] . Мы увидим, что в царском быту животворящим крестом всегда благословлялись новобрачные, а равно и новорожденные младенцы с тою, без сомнения, верою, чтобы эта святыня служила им на исцеление и сохранение от всяких недугов.

[1] Описание Государственного архива И. Иванова, 300. ПСЗ. Т. I. – № 2.

Весьма понятно, что в настоящем случае для государевой невесты святая вода с животворящего креста была наиболее желанным врачеванием. Докторское искусство являлось здесь по местным, дворцовым обстоятельствам в самом подозрительном виде. Чтобы предохранить больную от отравы, ей давали еще камень *безуй*[1], который, по тогдашним понятиям, служил самым верным средством не

[1] Безуй или безоар – камень, находимый во внутренности некоторых животных, а также камень ископаемый. В Средние века ему приписывали, как мы заметили, целебную силу от всевозможных ядов и болезней. Такое понятие о нем сложилось, конечно, на востоке, почему восточные безуи и ценились всегда выше других – по ценам неимоверным, ибо вообще эти камни очень редки. В старинных наших лечебниках, разумеется переводных, о камне безуе сказывается следующее: «Безаар камень привозят из Индии, а кой привозят из восточной Индии, и тот есть сильнее, а цветом сер, а иной черн и мелок; а сказывают, что находят его при берегу морском, а родится, сказывают, в сердце у оленя, а иные сказывают – у змеи в желчи». Далее лечебник говорит, что все мудрецы описуют, что безаар начальное место имеет между всеми лекарствами, которые помогают от окормов и от упойства, сиречь от порчи лихих людей... нет его сильнее. Серапион мудрец пишет, что принимать его надо тертый, весом против 12 зерен ячменных, подогрев с ренским или с белым французским вином, «а как его кто выпьет и лег бы на постелю окутався платьем, чтобы вспотеть. В моровое поветрие тот камень тоже внутрь принимать и при себе его носить. – Аще кто тот камень вставит в перстень и почует в себе порчу и вложа во уста, сосал бы его, тогда от порчи избавляет».

Около времени избрания Хлоповой в невесты государю, 1616 г. марта 21, взяты были в государеву казну на казенной двор, у ярославца Назарья Чистово «три камени безую, в одном весу 9 золотн. 2 денги, в другом – 8 золотн. с полузолотником, в третьем – 6 золотн. с четью, и всего в трех каменех весу 24 золотн. без денги, а денег за них довелось было дати 215 руб. (выданы из Денежного приказу)». – Архив Оружейной палаты. № 1063. В 1625 г. кизылбашский Аббас Шах прислал государю в поминках камень безуй, оправлен в золоте с яхонтики и изумрудцы, весу совсем 7 $^{1}/_{4}$ золотника, цена 14 руб. 17 алт. 4 ден. В 1626 г. куплен у казанца Ивана Истомина камень безуй большой весу 17 $^{1}/_{2}$ золотн. за 15 руб. В 1676 г. марта 7 велено было сделать государю в Серебряной палате чашку с кровлею гладкую на поддонце с подписью государева имени, а в чашке и в кровле вставить по *безую восточному* и позолотить сплошь. Весу в ней вышло 1 ф. 59 золотн. Апреля 4 она подана в хоромы. Чашка сделана постоянно болевшему царю Федору Алексеевичу. Припомним, что еще в 1587 г. Максимилиан Арцыкнязь Австрийский прислал царю Федору Ивановичу как особо драгоценный дар камень, «зовут его *безвар,* а имеет силу и лечбу великую от порчи». (Памятники дипломатических сношений. Т. I. – С. 972, 980).

только от всякой отравы, но и от всяких болезней. Известно, что патриарх Никон в своей ссылке жаловался, что его было отравили: «Крутицкий митрополит да чудовской архимандрит прислали дьякона Феодосия со многим чаровством меня отравить, и он было отравил, едва Господь помиловал, безуем камнем и индроговым песком отпился». Весьма вероятно также, что для охранения от возможной отравы и порчи было отпущено из аптеки в октябре 1673 г. в поход в село Преображенское для царицы Наталии Кирилловны пять снарядов (приемов) «безуе с инороговою костью», которые тогда взял Федор Полуектович, дядя царицы[1].

Между тем Салтыков, оставив доктора Бильса, может быть, по той причине, что не надеялся найти в нем пособника своим замыслам, обратился к лекарю Балсырю, т. е. степенью ниже в медицинских познаниях, который ответил ему, что он «мимо дохтура лечить не умеет, тое болезнь знают дохтуры». Однако ж он осмотрел больную и свидетельствовал, что «было у ней в те поры в очах желтовато, а словет желтая болезнь, и что лечить ее можно и порухи от тое болезни чадородию не бывает, да и жолтина в очах (у ней) была невеликая. И преж того он такие болезни лечивал и пособлял». Да не того хотел кравчий Салтыков, он хотел, чтобы невеста была больна неизлечимо, чтобы она была к государской радости не прочна. Одним словом, он искал причины удалить ее из дворца со всеми родными. С этой мыслью он спросил Балсыря: «Будет ли она им государыня?». Тот отвечал – почему ему то ведать, то не его дело. Лекаря Балсыря после того, как и доктора Бильса, к больной не зывали и лекарства у них не спрашивали. Мы видели, каким лекарством пользовали больную и от каких лекарств она исцелела. Но в то время как в верхних хоромах больную исцеляли святою водою с чудотворного креста, Салтыков рассказывал государю, что «дохтуры болезни ее смотрили и говорили, что в ней болезнь великая, излечить ее не можно

1 *Рихтер В. М.* История медицины в России. Ч. 2. – М., 1814. – С. 205.

и живота (жизни) ей долгого не чаять; что такою болезнью была больна на Угличе женка и жила всего с год и умерла; и дохтур сказывает, что Марьи излечить нельзя».

Трудно было молодому царю узнать правду в этом деле. Трудно было не поверить двоюродным своим братьям, которые были такими близкими и преданными ему людьми. Тем еще более трудно было узнать истину, что Салтыковы успели восстановить против Хлоповых, а стало быть, и против государевой невесты, его мать – великую старицу Марфу Ивановну, на которую они действовали, вероятно, наговорами и сплетнями чрез свою мать – старицу Евникию, жившую тоже в Вознесенском монастыре. Видно, что монастырь со своими инокинями служил им самою твердою и прочною опорою в их самовластных действиях. «Враг же диавол научи некоторым сродичам, цареве матери племянником *остудити* цареве матери царицу, некоторым чародейством ненависть возложиша и разлучиша ю от царя и послаша в заток»[1].

Действуя и в монастыре и пред лицом государя с самою коварною скрытностью, они, без сомнения, первые же предложили решить это дело соборне, т. е. в Думе, по рассуждению всех бояр, ибо вопрос был действительно очень важен, по крайней мере, лично для царя. После освящения царским именем, после крестного целованья, после всенародных молений о здравии было не совсем легко нареченную невесту-царевну *сослать с Верху*, т. е. из дворца. Необходимо было подумать и рассудить дело с осторожностью. Назначен был Собор, думное сиденье, на котором дядя невесты Гаврило Хлопов бил челом и заявил, «чтоб еще не поспешили сводить (ее) с Верху, потому что в ней болезнь объявилась невеликая, от сладких ядей, да и та уж минуется». Но его речи были напрасны, ибо причина заключалась не в болезни, а в *остудении* к невесте и ее родству великой старицы Марфы. Собор решил, что невеста к государевой

1 ПСРЛ. Т. V. – С. 65.

радости непрочна. Нареченную царевну *сослали с Верху.* Спустя два дня после того ее болезнь было вспомянулась, но скоро прошла, и затем она оставалась совсем здоровою, живя на подворье у своей бабки – Федоры Желябужской. Через 10 дней после ссылки с Верху ее отправили из Москвы в ссылку в Тобольск с бабкою и теткою и с двумя дядьями – все Желябужскими, так что невеста разлучена была даже со своими ближайшими родными – отцом и матерью. Отцу тогда же дано было воеводство на Вологде, где он находился до 1619 г., когда ему велено было ехать в деревню[1]. Молодой государь повержен был этим событием в печаль и скорбь великую.

«Сице же учиниша благочестивому царю, нанесоша ему печаль и скорбь велию; он же беззлобивый благодарне терпяше сия и невосхоте иные поняти, дондеже Литовский король отпусти отца его, митрополита Филарета на Русь».

Шесть недель, проведенные женихом в смотринах на свою обрученную невесту, в беседах с нею, вообще в близости к ней, не могли пройти бесследно для очень еще молодого и благоуветливого царя. Из многих обстоятельств этого события заметно, что государь очень полюбил свою невесту. Официальные акты, которые остаются почти единственными источниками наших сведений о деле, не должны были, конечно, раскрывать юношеских чувств государя, но они, особенно ударяя на то, что Хлопова жила в Верху немалое время, что нарекли ее царицею и молитва наречению ей была, и чины у ней были по государскому чину, и крест ей целовали и Бога за нее молили всем государством, объясняют тем самым, что дело и в официальной среде доведено было до тех границ, от которых нелегко возвратиться. Но что же оставалось делать пред суровою истиною, открытою кравчим Салтыковым, засвидетельствованную семейным собором, что нареченная царица к государевой радости непрочна по своей неизлечимой болезни? Царь по-

[1] Дворцовые разряды. Т. I. – С. 238, 418.

корился. «Он же беззлобивый благодарне терпяше сия и *не восхоте иныя поняти*, дондеже Литовский король отпусти отца его митрополита Филарета на Русь». В этом только и мог выразиться смиренный протест покорного своей матери сына, который едва ли хорошо верил и своим родным, и всему семейному собору, что невеста в действительности была ему непрочна. Невесту *сослали с Верху*, как можно полагать, судя по некоторым отметкам дворцовых расходов, или в конце июня, или в начале июля. Во второй половине июня, видимо, все еще готовились к свадьбе. 17–28 июня готовили выездные брачные сани для невесты, обивали их алтабасом по серебреной земле шолк зелен, червчат, багров с золотом и кизылбаским червчатым бархатом, на хлопчатой бумаге; шили в них подушки из бархату по серебреной земле шолк ал, устраивали и обивали скамейку, делали под ноги *миндерь* или тюфяк из червчатого сафьяна и т. д. В Мастерской палате еще 26 июня шили государю брачную обычную одежду, русскую шубу на соболях и терлик, причем было употреблено два меха соболей ценою в 250 руб. В это же самое время готовился к своей собственной свадьбе и Михайло Салтыков. Разлучив царя с любимою невестою, он сам спокойно обвенчался 14 июля на своей избранной невесте и на третий день свадьбы, июля 16, приезжал к государю как новобрачный челом ударить. Государь благословил его образом и одарил кубком, бархатом, атласом, соболями. 17 июля государь точно так же благословил образом и одарил и молодую Салтыкову Парасковью Ивановну. Мать государева, инока Марфа Ивановна, тоже благословила молодых образами и одарила камкою и соболями. Борис Салтыков женился еще в 1615 г. 5 ноября.

Прошло около трех лет самых тяжелых даже и для политического положения государя. В 1618 г. к Москве подступал польский королевич Владислав, отыскивая царства, т. к. ему еще прежде Михаила Москва дала присягу. «Бысть тогда на всех страх и трепет и ужас, нашествия

ради поганых, и шатость бе велия в людех, друг друга боящеся и чаяху измены... и царю с матерью велия скорбь бе и туга...». Судьба избранного всенародно царя подвергалась большой опасности именно от предполагаемой шатости и измены в людях. Но эта шатость отжила уже свой век. Москвичи стали крепко за своего молодого царя и отбили королевича от стен столицы. Заключен был хотя и худой, но необходимый мир, который возвращал нам оставшихся в Литве пленников, а в числе их – государева отца Филарета Никитича. 14 июня 1619 г. прибыл, наконец, в Москву Филарет Никитич. Через 10 дней, 24 июня, он торжественно был поставлен в патриархи. С этого времени управление земскими, государственными и домашними государевыми делами переходит в руки отца. Скоро становится заметным, что влияние матери или, вернее сказать, влияние стариц Вознесенского монастыря, где жила Марфа Ивановна, ослабевает. Как только была почувствована мужская, строгая и более справедливая рука в управлении, как только восстановлены были сила и значение царской власти, дела приняли другой ход. Временщики Салтыковы со всем своим родством постепенно теряют свое самовластное значение. Все, что было ими теснимо, становится на ноги. В самом государе просыпается старое чувство к его сосланной невесте.

Через два месяца после поставления отца в патриархи, отпраздновав с ним Успеньев день, праздник церковный и собственно патриарший, молодой государь в первое же воскресенье, августа 22, отправился вместе с матерью на Унжу молиться к Макарию Желтоводскому чудотворцу. Поход на богомолье в этот далекий край был предпринят, вероятно, по обещанью в благодарность за избавление от плена Филарета Никитича, а вместе и за избавление Москвы от нашествия королевича Владислава, ибо святой Макарий прославлялся чудесами избавления от плена городов и людей. По дороге на Унжу государь был «у чудотворцев Пере-

славских, и у Ростовских, и у Ярославских, и у пречистой Богородицы Федоровской на Костроме», в день праздника которой последовало его избрание на царство. При таком настроении богомольных мыслей невозможно было не вспомнить и о другом плене, тяжесть которого, быть может, не менее была чувствуема молодым государем. В том же августе, быть может, в те же самые дни, когда отправился государь на богомолье, послан был в Сибирь гонец с грамотами к воеводам в Тобольск и на Верхотурье, в которых наказывалось, чтобы «Ивана Желябовского с матерью (бабкою невесты), и с женою, и с братом, и с *племянницею*, под именем которой глухо разумелась невеста, из Тобольского города перевести на Верхотурье, а в Верхотурье дать им для житья двор и кормовые деньги, бабке – по 2 алт. на день, а всем другим, в том числе и племяннице, по 10 ден., и без указу никуда их с Верхотурья не отпускать»[1]. Содержание грамоты показывает, что она писана еще под влиянием Салтыковых и Марфы Ивановны: главное лицо – невеста – не называется даже по имени, освобождается из Тобольска лишь Иван Желябовской с родными. К тому же времени дóлжно отнести и отпуск из Вологды с воеводства в деревню отца невесты – Ивана Хлопова.

Государь возвратился с богомолья 2 ноября; вероятно, не раньше этого времени переехала из Тобольска в Верхотурье и его заточенная невеста, ибо грамота об этом получена была в Верхотурьи только 29 сентября, а в Тобольске, стало быть, еще позже. Мы не знаем, что следовало за этим передвижением ссыльных, какие сношения они имели с Москвою. Приведем только несколько свидетельств, характеризующих образ жизни царя в течение следовавшего затем 1620 г. В генваре государь ходил *тешиться на лоси* в Черкизово, по какому случаю отложен был до другого дня даже прием шведского посланника. 5 мая государь ходил по обещанию молиться к Николе на Угрешу *пешком* с мате-

[1] Акты Исторические.Т. III. – № 80.

рью и в сопровождении всего двора. Это был новый подвиг благодарной молитвы за избавление из плена отца. Вскоре такой же поход пешим и с тою же мыслью был совершен к Троице в Сергиев монастырь и также вместе с матерью и со всем боярством, с дворовыми и приказными людьми. 12 июля в свои именины царь давал праздничный стол в Золотой палате, а после стола послал по бояр и по окольничих по всех и по думных дворян и задал им пир, пировали у государя в Передней избе. В сентябре опять обычный поход к Троице также с матерью, по обещанию[1].

Замечательно, что в близости у государя с этого времени является вместо Бориса Салтыкова боярин князь Иван Борисович Черкасский, который едет от государя к его отцу «о здоровье спросити», что прежде поручалось обыкновенно Салтыкову. Эта перемена в отношениях к Салтыкову подтверждается еще и тем обстоятельством, что князь Черкасский вскоре сменяет его в исполнении одного домашнего дела, которое всегда поручалось самым близким и испытанным людям, кому вполне можно было верить. Борис Салтыков обыкновенно *снимал* или, как тогда еще выражались, *лечил* государю *волоски*, т. е. попросту стриг ему волосы, большею частью перед праздниками Рождества Христова и Светлого Воскресения. Это продолжалось до 1620 г.; с 1621 г. этим делом занимается уже боярин князь Иван Борисович Черкасский, которого потом в 1640 г. сменяет Борис Александрович Репнин[2]. В том же 1620 г. на святках опять поднимается дело о заточенной невесте. 30 декабря

[1] Дворцовые разряды. Т. I. – С. 435, 452, 454.

[2] Архив Оружейной палаты. – № 726, 916, 968. Царю Алексею Михаиловичу «волоски лечил, спущал волосы» в первое время стрелец, пятидесятник Головленкова приказа Семен Ерофеев, а впоследствии – сокольник Михаил Ерофеев, быть может, сын первого, который получал за это леченье государевых власов» по 15, а иной раз и по 20 руб. При царе Михаиле бояре за то же самое получали по портищу (10 арш.) камки, атласу или другой подобной материи. Царю Федору Алексеевичу «лечил волоски» тот же Михаил Ерофеев, пожалованный уже в дьяки. – Архив Оружейной палаты. – № 988, 819, 400, 245.

пишут на Верхотурье к воеводам грамоту, в которой наказывают: «Пожаловали есмя, *для отца нашего* в<еликого> г<осударя> свят<ейшего> патриарха Филарета Никитича Моск<овского> и всея Русии *Настасью Хлопову*, велели ее с бабкою и с дядьями, с Иваном да с Олександром Желябужскими, отпустить из Сибири с Верхотурья в Нижней Новгород». Велено отпустить на подводах, корму дать по прежнему указу, что давано в Верхотурье, сметя, во сколько недель можно доехать до Нижнего; «да и пристава бы с ними для береженья послать, сына боярского доброго, чтоб проводил он их до места, а дорогою едучи, держал бы к ним береженье, а как в Нижний приедет, отдал бы их боярину воеводе... и быть им в Нижнем до государева указу... а которого числа Настасью Хлопову с бабкою и с дядьями с Верхотурья отпустят и кого пристава с ними пошлют, о том бы отписали к Москве...». Эту грамоту привез на Верхотурье 4 февраля 1621 г. человек Ивана Хлопова (отца невесты) Микитка Васильев[1].

Грамота при обыкновенном своем деловом тоне указывает, однако ж, на значительную перемену домашних государевых отношений. В ней наказывается отпустить из Сибири уже не Ивана Желябужского с родными и *племянницею*, как в первой грамоте, а именуется непосредственно первый предмет государевой заботливости, первое лицо всей этой драмы, для которого, собственно, и терпели ссылку и опалу все остальные. И мало того, что личность невесты поставлена во главе, ей возвращено и принадлежавшее ей царское имя *Настасья*. Это-то имя лучше всего и свидетельствует, что государь вопреки желаниям матери не покидал мысли о браке со своею нареченною царицею.

По-видимому, смиренный и покорный сын хотя и не смел выйти из воли матери, но, поддерживаемый отцом, вел тихую, смиренную и, однако ж, настойчивую борьбу с теми подземными интригами, которые успели остудить сердце матери к его возлюбленной невесте, успели возбудить даже

1 Акты Исторические. Т. III. – № 91.

ненависть будущей свекрови и к невестке, и ко всему ее родству. Он тянул дело, ожидая перемены в мыслях матери. Между тем время шло и настояла даже государственная надобность в его женитьбе. Пронеслась мысль, которую приписывают государеву отцу, о женитьбе на литовской королевичне в видах государственной выгоды от этого брака, что будет прочный мир с Литвою, что возвратятся уступленные туда города и земли. Но Михаил отказался от этого брака, да, вероятно, и сам отец хорошо понимал, что тогдашние натянутые отношения к Польше не могли произвести ничего хорошего и прочного. Однако ж мысль о женитьбе на иноземной княжне или королевичне утвердилась на некоторое время в царском семействе. В 1621 г. в сентябре без малого через год по освобождении Хлоповой из Сибири был послан посол в датские немцы к королю Христиану сватать его племянницу Доротею Августу – дочь Голштейн-Готторнского герцога Иоанна Адольфа[1]. Но король не принял лично послов, сказался больным, а посол не захотел пословать и объясняться с одними ближними королевскими людьми. Сватовство, таким образом, даже и не было начато. Летопись рассказывает, что король отказал будто бы по следующей причине: прежде брат мой ездил к вам в Русь, при царе Борисе, который хотел отдать за него свою дочь Ксению, и, приехав в Москву, часу не жил там, *отравою* уморили его; также и теперь дочь мою уморите.

Прошел еще год. В генваре 1623 г. послали к шведскому королю Густаву Адольфу сватать княжну Екатерину – сестру курфюрста бранденбургского Георга, шурина королю. Здесь сватовство окончилось такою же неудачею по той причине, что княжна не захотела креститься в православную веру, не захотела променять свою веру на сан царицы.

После этих неудачных попыток высватать царю кого-либо из иноземных княжон оставалось, сохраняя давний

[1] Дворцовые разряды. Т. I. – С. 488; *Берх В. Н.* Царствование царя Михаила Феодоровича и взгляд на междуцарствие. Ч. 1–2. – СПб. 1832. – С. 133.

обычай, найти невесту из прирожденных русских, из подданных. Когда отец и мать стали говорить об этом сыну, он отказался от этого предложения; он сказал: «Сочетался я браком по закону Божию и по преданию св<ятой> апостол и св<ятой> отец; обручена мне царица; кроме ее, не хочу взять иную». Нельзя было слишком противоречить такому желанию государя, ибо это желание покрывалось законным освящением его нареченной невесты, а против святости исполненного закона трудно было стоять даже и родительской, ничем не одолимой воле. Вот почему, быть может, и отец как патриарх становится на сторону сына или, собственно, на сторону освященной уже законности его желания. Отцу объяснили, однако ж, что нареченная царица испорчена, неплодна и больна; между тем «в слуху носилось» от многих людей, что она во всем здорова и не была больна с тех пор как выехала из дворца. Сделалось необходимым исследовать дело, раскрыть истину. 15 сентября 1623 г., с лишком через 7 лет со времени царского обручения с невестой, патриарх, поговоря с сыном, решился разъяснить это дело окончательно. Позваны были в государеву *комнату* (кабинет) ближние бояре: князь Иван Никитич Романов, князь Иван Борисович Черкасский, Федор Иванович Шереметев. В их присутствии государь сам лично допросил дохтура Валентина Бильса, видал ли он Хлопову, сматривал ли ее болезнь, какая была болезнь, можно ль было вылечить, а только б болезнь излечилась, то от той болезни не произошло ли бы какой помешки *чадородию*? Затем допросил лекаря Балсыря. Они оба утвердили, что болезнь была невеликая, излечить было можно, что плоду и чадородию от того порухи не бывает. После того государь спрашивал окольничего Михаила Салтыкова, почему он тогда сказывал, что по дохтурскому осмотру болезнь в Марье была великая и долгой жизни от ней ожидать было нельзя? Салтыков не дал прямого ответа на этот вопрос, а рассказал только, как шло леченье и что сам он,

Михайло, к Марье с лекарством не ходил. Когда открылись разноречия, Салтыков был поставлен с доктором и лекарем «с очей на очи». Лекарь уличал Салтыкова, что он, между прочим, спрашивал его, лекаря: «*Будет ли им Марья Хлопова государыня или нет*?». Салтыков отпирался, объясняя, что спрашивал у них по государеву и по государынину великая старицы иноки Марфы Ивановны приказу, нет ли в Марье какие порчи?

Сентября 19 патриарх и государь вместе расспрашивали отца Марьи, Ивана Хлопова, а на другой день – ее дядю, Гаврилу Хлопова, который с большею, чем отец, откровенностью и подробностью объяснил, что как было, присовокупив в заключение, что если он сказывает ложно, и он в том у государя милости не просит. Из его рассказа мы и привели изложенные выше подробности этого дела. В тот же день, 20 сентября, патриарх расспросил духовника царевны, Никитского монастыря священника Сергея Петрова, который объяснил, что знает Хлопову, что она «бывала у него в исповеданье не одинова за шесть лет до ее взятья на государев двор, что болезни в ней никакой не видал, а как была больна в Верху и он у ней был и ее исповедывал; а как сослана с Верху и жила на дворе у бабки и он перед ее отъездом (из Москвы) у ней был же и ее исповедывал и она была здорова, а после того про болезнь ее не слыхал, да и ныне слышал, что будто она в Нижнем здорова».

21 сентября государи велели ехать в Нижний для распросу и сыску Марьина здоровья и болезни боярину Федору Ивановичу Шереметеву, Чудовскому архимандриту Иосифу, ясельничему Богдану Матвеевичу Глебову и дьяку Ивану Михайлову. Вместе с ними по указу государей отправился и отец царевны Иван Хлопов. «А для рассмотренья Марьины болезни посланы с ними дохтуры Артемий Дий, Валентин Бильс и лекарь Балсырь. Государи велели боярину с товарищи расспросить саму Марью Хлопову, что вот она была взята в Верх, что сказывал государю кравчий Михайло Сал-

тыков, что она, Марья, была больна великою болезнию, и излечить было ее не мочно и живота ей долгого не чаять, и для того она от государя с Верху сведена, и она б сказала вправду, какою болезнью она была больна, когда та болезнь у ней объявилась, прежде или тут, будучи на государеве дворе; и нет ли в ней ныне какой болезни, и говорить ей велели накрепко, чтоб она болезни своей не таила никоими мерами... а будет Марья Хлопова болезнь в себе какую-нибудь утаит, а после про то сыщется, а она, хоти и будет за государем, а болезнь ее объявится, и ей то мочно самой знать, что государь любити ее не учнет, и от в<еликого> г<осударя> свят<ейшего> патриарха Филарета Никитича быти ей за то в великом духовном запрещении; и она б болезни своей не таила и тем на весь род свой не навела государские опалы и казни».

О том же главном деле, именно о болезни, есть ли в Марье какая болезнь, велено расспросить и ее родных, бабку, отца и дядей, с великим подкрепленьем: бабке – что она, если утаит, наведет на себя и на весь род свой государскую опалу; отцу и дядьям – что если правды не скажут, быти им за то от государя казненным смертью. Вообще боярину с товарищи велено «смотрити и примечать во всяких мерах, а дохтурам смотрити их дохтурскими науками» действительно ли Марья во всем здорова? Если же по расспросу, по сыску и по докторскому осмотру Марья во всем здорова, то велено с отпискою о том приехать к Москве чудовскому архимандриту, а боярину с товарищи «побыти в Нижнем до государева указу и к Марье велено держати честь и береженье во всем, и деньги и запасы всякие на ее обиход давати, чтоб ей скудости и недостатка ни в чем не было. А будет Марья Хлопова больна какою болезнью, а скажут дохтуры, что ее излечить мочно, и о том велено отписать к государю, а самим побыти в Нижнем до указу. А будет Марья больна, а излечить ее не мочно, и боярину с товарищи велено ехати к Москве. А будет Марья сама про себя и ее родные скажут, что она здорова, а дохтуры скажут, что она больна и не прочна и за лекарство

иматися не учнут, и боярину с товарищи ехать к Москве, а у Марьи остатися отцу ее и дядьям. А корм ей перед прежним велено давать вдвое». Сверх того велено прислать в Москву Марьина отца духовного, который был духовником у ней в Нижнем.

Духовник приехал в Москву 11 октября и рассказал патриарху, что духовную свою дочь Марью Хлопову «исповедывал и причащал многажда, что болезни в ней не видал ни которыя; да и кроме исповеданья бывал он у Марьи многажда, и ходил к ней по вся недели (по воскресеньям), а болезни в ней не видал, и про то не слыхал, и думает, что она здорова во всем».

Октября 16 боярин с товарищи прислали государям список тому всему, как у них дело делалось, т. е. как было и к чему привело их исследование; а после того приехал к государям чудовской архимандрит с несомненным свидетельством, что *Марья Хлопова во всем здорова*. В расспросе сама Хлопова говорила: «Как она была у отца и у матери и у бабки, и у ней болезни ни какие не бывало; да и на государеве дворе будучи, была здорова шесть недель; а после того появилася болезнь, рвало, и ломало нутр, и опухль была, а чает того, что *то ей учинилося от супостат ее*: и была та болезнь у ней дважды по две недели, и после того давали ей пити воду святую с мощей, и от того исцелела и полегчело вскоре; и после того спустя два дня, как сведена с государева двора, та болезнь у ней поминывалась, и от тех мест не поминывалась и по ся места, и ныне во всем здорова». Отец Марьи объяснил, «что дочь заболела на государеве дворе, а какими обычаи болезнь учинилась, того он не ведает; а *все то от Михайла да от Бориса Салтыковых, меж себя они шептали...*». «Дохтуры, смотревши Марьина здоровья и болезни своими дохтурскими науками, заявили, что во всем здорова и чадородию помешки в ней не чаят. Лекарь заявил, что перед прежним она здорова, очи чисты и болезни в ней не чает».

Таким образом, вопрос был решен окончательно и к радости государя. Исполняя царское повеление, боярин Федор Иванович Шереметев послал Марье Хлоповой денег 300 руб. и запасы хлебные и медвяные, чтоб ей ни в чем скудости не было, а сам остался в Нижнем ждать государева указа.

В Москве во дворце это исследование произвело сильное впечатление. Обман Салтыковых был раскрыт во всей очевидности. Оскорбленный государь не помешкал своею опалою. Не прошло недели со дня получения боярского донесения и приезда чудовского архимандрита, как назначен был 24 октября 1623 г. в Посольской палате собор Царской Думы, на котором после обсуждения дела думный дьяк Иван Грамотин прочел Салтыковым следующий государев указ: «Борис да Михайло Салтыковы! Государь царь и великий князь Михайло Феодорович всея Руси и отец его государев в<еликий> г<осударь> святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея Руси велели вам сказати неправды и измену вашу: ведомо всем людям Московского государства, какая к вам была государская милость и жалованье и учинены есте по государской милости в чести и в приближеньи не по вашему достоинству, паче всех братьи своей, и поместьи и вотчинами пожалованы многими, чего ни за кем нет; и в прошлом во 124 г. взята была ко государю на двор для сочетания государского законного брака Марья Иванова дочь Хлопова и жила в Верху не малое время и нарекли ее царицею, и молитва наречению ей была, и чины у ней были по государскому чину, и дворовые люди крест ей целовали, и на Москве и во всех епископьях Бога за нее молили, а отец ее и родство, Хлоповы и Желябужские, были при государе близко. И вы, побраняся с Гаврилом Хлоповым с товарищи, для своей недружбы любити их всех не почали для того, чтоб вам быти одним при государе; и вашею смутою почала быти Марья Хлопова больна; и ты, Михайло, сказал государю, что сказывал тебе лекарь Балсырь,

что будто Марья больна великою болезнию и излечити ее не мочно... и ты то солгал для своей недружбы, того тебе лекарь не говаривал, и лечити Марью Хлопову дохтуры хотели... И ты, Михайло, государю сказывал не то, что тебе дохтуры говорили, и лечити Марью не велел, и с Верху она сослана не по правде, по вашему Борисову и Михайлову наносу, без праведного сыску, и письма тому, как то делалось, нет ничего; и государской радости и женитве учиняли помешку. И то все делали изменою, забыв государево крестное целованье и государскую великую милость. А государская милость была к вам и к матери вашей не по вашей мере, и пожалованы были честью и приближеньем паче всех братьи своей; и вы то все поставили ни во что, и ходили не за государевым здоровьем; только и делали, что лише себя богатили, и домы свои и племя свое полнили и земли крали и во всяких делех делали неправду и промышляли тем, чтоб вам при государской милости, кроме себя, никого не видети, а доброхотства и службы ко государю не показали. А как ныне сыскивали и распрашивали и смотрили Марьина здоровья и болезни, и по сыску и по дохтурскому рассмотру, Марья Иванова дочь Хлопова здорова во всем и болезни в ней нет ни которые, и наперед сего в ней болезны большой не бывало, и за то ваше воровство годни были есте казни. И государь... и отец его государев... патриарх Филарет Никитич большого наказанья учинити над вами не велели, а велели вас послать по деревням с приставы и с женами вашими, а мать вашу велели послать в Суздаль в Покровский монастырь, а при государе вам быти и государевых очей видеть не пригоже, а поместья ваши и вотчины велел государь отписать и взять на себя, государя».

На другой день, 25 октября, опальные были высланы из Москвы в свои дальние вотчины: Борис – на Вологду в братнину вотчину; Михайло – в его Галицкую вотчину. «А людей с ними указал государь отпустити по 4 человека мужиков, да женок и девок по 3 человека, а с матерью их

со старицею Евникиею келейницу черницу, да 2 человека, да малой, да женка, да две девки...»[1]. Однако ж чинов с них не сняли и только удалили от очей государя. Борис был боярином, а Михайло в этом же году еще 7 генваря пожалован из кравчих в окольничие.

Так окончилось *время* Салтыковых – одно из событий, которыми так полна московская дворская история и которое может служить самою верною и лучшею характеристикою тогдашних внутренних правительственных отношений. После, конечно, опальные были возвращены. Это случилось в год смерти Филарета Никитича, который вывел наружу их лукавые козни, и в одно время с возвышением в бояре и в дядьки к царевичу Алексею Бориса Морозова, который, напротив, по всему вероятию, держал руку Салтыковых. По-прежнему они стали очень близкими людьми к государю и весьма часто бывали у его стола. В 1641 г. Михайло Салтыков получил даже и боярство[2]. Летописец рассказывает, что Салтыковы повинились: «Яко сего ради тако сотворихом, понеже нам удаленным быти царева лица и сана своего лишитися». Вот та основная, действующая мысль, которою исключительно жило все дворское общество в царский период нашей истории. Мысль эта господствовала во всех дворских умах, потому более что всегда находила поддержку, подкрепление и, так сказать, оживление своим стремлениям в самом царе, в его царской воле, во всем порядке и во всем устройстве царского управления землею, управления собственно вотчинного, господарского или помещичьего, которому мог нанести решительный удар только Великий Петр, мужественно стряхнувший с себя эту старую форму государственного быта и воздвигнувший государственное здание на других, более справедливых и широких основаниях. В старину временщик представлял существенный

[1] Собрание государственных грамот и договоров. Т. III. – № 63, 64.

[2] Дворцовые разряды. Т. II. – С. 354, 650.

тип управления не только в царском дворце и, стало быть, во главе управления всем государством, но и во дворе областного воеводы, т. е. в управлении областью, и всюду, где ни появлялась управляющая власть, ибо в самом существе этой власти в ту эпоху лежала единая идея, господарская идея – самовластие, самоволие, которое всегда и делало *время* всякому ловкому служителю этой идеи.

Таким образом, опала, наконец, поразила государевых врагов, которые принесли ему столько горя, заставив его целые восемь лет ожидать брачной жизни со своею возлюбленною нареченною царевною. Теперь наставала пора государской радости и веселья... Дело о женитьбе на Хлоповой было давно решено между отцом и сыном, иначе они не подняли бы и следствия о здоровье царевны и именно о ее здоровье в настоящую минуту, когда настояла даже государственная необходимость в государевом браке. Розыск об этом здоровье произведен был не для того, чтобы сломить Салтыковых, а именно для того, чтобы достоверно узнать: прочна ли царевна к государской радости.

Но если сломлены были враги этой радости, если они в тот же час были удалены от государевых очей, то последствия их происков и интриг оставались еще в полной силе. В Вознесенском монастыре они успели водворить такую ненависть к будущей царице, что мать государева, великая старица Марфа Ивановна, клятвами себя закляла, что не быть ей в царстве пред сыном, если Хлопова будет у царя царицею. Что тут было делать, как поступить? Выбор был, однако ж, ясный. Променять родную мать, и притом великую старицу, на невесту было невозможно. Это противоречило бы всем нравственным положениям тогдашнего быта; благословение родителей утверждало домы чад, а родительская клятва искореняла их. Родительская клятва в народных представлениях была облечена в такой страшный мифический образ, пред которым ни в каком случае не было возможности стоять твердыми ногами.

Царь смирился, презрел себя Бога ради, не захотел разлучиться с матерью, склонился пред ее любовью, не захотел оскорбить и раздражить человеческое существо матери и сам, все терпя, отказался от нареченной невесты. Это было сделано, по свидетельству летописца, даже вопреки желанию и многим укоризнам со стороны отца, благословлявшего этот брак и хотевшего венчать государя на Хлоповой. Но очень понятно, что и отец не мог сильно настаивать; без сомнения, он ограничил свое желание сделать счастливым сына лишь одними советами. В том только есть очевидная правда, что он стоял за сына.

Спустя неделю после ссылки Салтыковых, 1 ноября, в Нижний послана к Шереметеву с товарищи грамота, в которой государь вызывал боярина тотчас в Москву, «а Ивану Хлопову сказали б, что мы дочь его Марью взять за себя не изволили». Ивану приказано ехать в свою вотчину на Коломну, а Марье Хлоповой с бабкою и дядьями жить по-прежнему в Нижнем, а корм давать ей перед прежним вдвое.

Развенчанная царевна жила в Нижнем до своей кончины. Ей по государеву указу отдан был на житье двор Кузьмы Минина, взятый в казну как выморочный после его смерти.

Царевна Настасья Ивановна скончалась в марте 1633 г., через 10 почти лет после решительного отказа ей в супружестве с царем, в то время, когда государь был уже женат на второй супруге – Евдокии Стрешневой.

Двор Кузьмы Минина после ее смерти снова стал выморочным и был отдан государем боярину князю Ивану Борисовичу Черкасскому с братом, которые выпросили его на приезд из вотчин людям их и крестьянам[1].

Великая старица Марфа Ивановна, не соглашаясь на женитьбу сына с Хлоповой, без сомнения, в тайне готовила ему невесту по своему выбору. Однако ж прошел еще почти целый год, когда государь склонился на увещания матери и по ее назначению избрал себе в невесты княжну Марью Вла-

[1] Акты, собранные Археографическою экспедициею. Т. III. – № 218.

димировну Долгорукову – дочь боярина князя Владимира Тимофеевича Долгорукова – одного из старых родовитых бояр. Летописец упоминает, что государь не желал этого брака и согласился на него только из послушания матери: «Аще и не хотя, но матере не преслушав, поят вторую царицу Марью».

И смотрите же, что Бог делает «сотворшим понасилию» – присовокупляет летописатель. В первый день *веселия*, говорит он, т. е. в день свадьбы, 19 сентября 1624 г., была великая радость, а на второй день царица «*обретеся испорчена*. Грех ради наших от начала *враг наш диявол*, не хотя добра роду христианскому, научи, враг, человека своим дьявольским наущением и ухищрением, испортиша царицу Марью Владимировну; и бысть государыня больна и бысть скорбь (болезнь) ее велия зело, к тогож года в самое Крещение, 6 января 1625 г., предаде свою праведную душу... и погребена со многим плачем в Вознесенском монастыре с прочими царицами».

Кто был виновником этого нового несчастия для государя, кто был строителем этой новой жертвы дворских боярских интриг и козней – нам не известно[1]. «А все то зло сотворилось от злых чаровников и зверообразных человек, – восклицает современник этого события, – которые не хотят видеть христианского покою и тишины, гнушаются своего государя, гордятся, в послушании и в покорении ему быть не хотят и отнюдь его не боятся, потому что очень милостив он, любит и милует *их*, все дает им, что ни просят, а *они*

[1] В свадебной разрядной записке мы встречаем следующее: у постели новобрачных в чине постельничих к подклету были назначены боярин Феодор Иванович Шереметьев с женою Марфою Петровною и отец новобрачной Владимир Тимофеевич Долгорукой с женою, а ее матерью, Марфою Васильевною. Постельничие бояре стлали также по пути к подклету атласы. Долгоругий при этом бил челом государю на боярина Феодора Ивановича Шереметьева *недружбою*, а с ним был, как отмечает записка, указывая тем, что челобитье было не по поводу мест, а только по недружбе. Таким образом, недружба гнездилась уже подле самой брачной постели и, без сомнения, была немаловажна, если вызвала даже и заявление со стороны Долгорукова. – Дворцовые разряды. Т. I. – С. 634, 1221.

только своевольничают». Кто же эти они? Это все бояре, по сказанию современника, который, описывая первые годы Михаилова царствования, имел полное право воскликнуть: «Таково-то попечение боярско о земле Русской!».

Действительно, чем ближе мы будем знакомиться в истории с этим попечением, тем яснее и понятнее будет раскрываться нам и личность Грозного, а также и эта необычайная народная вера в царя как в истинного и единственного, хотя и слишком далекого своего защитника – слишком далекого по той причине, что между им и народом всегда высилась та же недоступная боярская гора, обросшая непроходимым лесом боярских же клевретов в образе всякой приказной и приказчичьей строки.

Мы тогда хорошо поймем и отзыв свободного голландца о первых годах царствования Михаила, который в 1614 г. писал своей республике: «Царь этот будет иметь счастливое и блистательное царствование, если только Всемогущий откроет ему глаза и поможет ему выполоть дурную траву во дворе и неправду своих приближенных... все приближенные царя – несведущие юноши; ловкие же и деловые приказные – алчные волки; все без различия грабят и разоряют народ. Никто не доводит правды до царя... Но я надеюсь, что Бог откроет глаза юному царю, как то было с прежним царем (Грозным), ибо такой царь нужен России или она пропадет; народ этот благоденствует только под дланью своего владыки, и только в рабстве он богат и счастлив. Вот почему все пойдет хорошо тогда лишь, когда царь по локти будет сидеть в крови». Приговор жесток, как справедливо замечает издатель этой голландской переписки[1], не менее справедливо объясняющий, что здесь дóлжно разуметь не народ собственно, а только народ приказный, а мы скажем: только народ властителей, к которому, конечно, принадлежали прежде всего бояре, а за ними уже и приказные, как их же орудия в управлении и попечении о земле. Если к та-

[1] Вестник Европы. – 1868. – Январь. – 236, 238.

кому жестокому убеждению приходил свободный и практический голландец, пользовавшийся неизмеримо лучшим политическим устройством, то весьма понятно, что того же убеждения крепко держался в своей жизни и истории и наш русский народ, народ в собственном смысле, т. е. вся закрепощенная безвластная среда. Мы даже думаем, что в суждении голландца выразилась не собственная его мысль, а мысль тогдашних умных и опытных русских людей, именно из народа, с которыми торговый голландец по необходимости был в тесном знакомстве, выразилось, одним словом, тогдашнее общественное мнение о дворских событиях.

С лишком через два года, 29 генваря 1626 г., царь избрал себе вторую супругу – Евдокию Лукьяновну Стрешневу, дочь незнатного дворянина, с которою и обвенчался 5 февраля. Только за три дня перед тем ее ввели в царские хоромы и нарекли царевною. Эта женитьба совершилась благополучно; без сомнения, были приняты все меры к тому, чтобы устранить всякие напасти от зверообразных человек. Но мы сейчас увидим, что от этих зверообразных человек не было возможности избавиться: они являлись там, где, по-видимому, труднее всего было их встретить.

Царь Алексей Михайлович вступил на престол также очень молодым человеком, по семнадцатому году. Естественно, что управление должно было сосредоточиться в руках его *дядьки* – ближнего боярина Бориса Ивановича Морозова, бывшего в молодых летах, как мы уже говорили, спальником у государева отца, следовательно, близким и любимым человеком. Царь Алексей питал к нему сыновние чувства, ибо Морозов на самом деле заменял ему отца. Эти отношения должны были произвести обыкновенное в дворской жизни явление, которое повторялось всегда, при каждом государе, как только, по какой бы то ни было причине, ослабевала его власть, его непосредственное личное участие в делах управления. Борис явился таким же временщиком, какими были Салтыковы при Михаиле, Годунов

при Феодоре и т. д. Однако ж, бывши дядькою, руководя по-отечески шестнадцатилетним царем, он мог спокойно самовластвовать лишь до тех пор, пока не было людей, которые стали бы к царю в такую же близость. При его всемогуществе, конечно, и не могли явиться во дворце такие люди, ибо все углы дворца заселялись в это время самыми зоркими глазами и самыми чуткими ушами приверженцев временщика, его созданий, его пособников и милостивцев. Но существовало одно обстоятельство, которое всегда способно было прервать эту незримую, но, тем не менее, очень связную и потому очень твердую сеть влияния на государеву особу. Это обстоятельство, как мы указывали, заключалось в женитьбе государя, вводившей в государеву близость вместе с его супругою много лиц, которые тотчас же являлись сильными соперниками всякому постороннему самовластью. Это было обстоятельство, самое опасное для каждого временщика, и потому с его стороны в этом случае употреблялись всевозможные меры, чтобы расстроить свадьбу, если она действительно была опасна в этом смысле, и направить выбор невесты согласно своим личным интересам, т. е. сохранению своего положения при государе.

Таким образом, для Морозова настала весьма опасная минута, когда государь задумал жениться. По обычаю собраны были девицы-невесты. Из 200 девиц, съехавшихся в Москву, в выбор самому государю были представлены только шесть. Государь страстно полюбил одну из них – Евфимию Федоровну Всеволожскую, дочь Касимовского помещика Рафа-Федора Всеволожского, которой по обычаю и вручил ширинку и кольцо как знаки обручения с нею. Но Морозов имел в виду другую невесту для государя, которая, по всему вероятию, была также в числе избранных. Это была одна из двух сестер Милославских. Одну из них он прочил за государя, на другой думал сам жениться, быть может, с целью укрепить свои отношения к государю этою новою связью родства, которая вместе с тем закрепляла и

его прежнюю близость к особе государя, ибо он, становясь родственником и Милославских, им же самим возводимых на высокую степень близких к государю людей, и самому государю, по естественным причинам удерживал за собою свое прежнее господствующее положение в отношении всего родства Милославских, все-таки опасных для него кандидатов во временщики. Совсем устранить силу влияния на государя этих новых людей он не имел никакой возможности: слишком велика была их близость к государю. Поэтому, чтобы сохранить старое свое положение временщика – дядьки – от наплыва новых временщиков, он избирает самое верное средство: вступает с ними в родство, становится для них своим человеком, а главное, делается создателем их необыкновенного благополучия и возвышения, что, конечно, еще более увеличивает его значение и в их глазах.

Морозов действовал очень тонко и искусно. На его стороне был даже и духовник молодого царя – лицо очень влиятельное в известных случаях. По обычному порядку Всеволожскую ввели в царские хоромы. Следовало облечь ее в царскую одежду, возложить на нее венец и наречь царевною. Все это было совершено, но при этом было что-то такое устроено с ее головным убором или с убором ее волос, что, когда она явилась пред своим женихом-государем в царском наряде, ей сделалось дурно, она упала в обморок. Того только и желали зверообразные человеки. Они объяснили, что у ней падучая болезнь, что, следовательно, к государевой радости она непрочна. Современники этой новой несчастной жертвы дворских интриг рассказывают разно об обстоятельствах дела. В письме одного шведского агента от 1 марта 1647 г., жившего тогда в Москве, объяснено, что «14 февраля[1] его царскому величеству представлены были во дворце в большой зале 6 девиц, выбранных из 200 других, назначенных для того вельможами, и царь избрал себе

[1] Число обозначено, без сомнения, по новому стилю; по старому выходит 4 февраля, что, как увидим, будет вероятнее.

в супруги дочь незнатного боярина Федора Всеволожского. Когда девица услышала об этом, то от великого страха и радости упала в обморок. Великий князь и вельможи заключили из того, что она подвержена падучей болезни; ее отослали на 3 версты от Москвы к одному боярину, чтобы узнать, что с нею будет; между тем родители ее, которые поклялись, что она прежде была совершенно здорова, взяты под стражу. Если эта девица опять получит ту же болезнь, то родители и друзья их должны отвечать за то и будут сосланы в ссылку. Некоторые думают, что великий князь после пасхи женится на другой»[1].

В этих последних словах есть намек на то, что участь Всеволожских предугадывалась заранее, что многие знали о тайных кознях, существовавших во дворце. Эти-то козни раскрывает другой современник события – Самуил Коллинс. Он упоминает об этом происшествии в двух местах своего сочинения и, видимо, описывает его по слухам и по рассказам знакомых ему людей. Он говорит в одном месте, что «духовник царский[2] хотел, чтобы царь женился на другой девице, у которой была еще меньшая сестра», что когда на Всеволожскую возложили царский венец, то заговор был исполнен: «Женщины так крепко завязали *волосы* на ее голове, что она упала в обморок, а ее враги разгласили, что у ней падучая болезнь». В другом месте Коллинс говорит, что когда Всеволожская, получив от государя платок и кольцо, «явилась пред ним в царской одежде, Борис (Морозов) приказал так крепко завязать ей венец на ее голове, что она упала в обморок. Тотчас объявили, что у ней падучая болезнь... Ее старого отца обвинили в измене, – рассказывает далее Коллинс, – за то, что он представил свою дочь на избрание больную; после мучительной пытки он был сослан в Сибирь, где и умер; а семья осталась в немилости».

1 Северный архив. 1822. № 2. – С. 152.

2 Известный Стефан Вонифатьевич, благовещенский протопоп. Архив Оружейной палаты. – № 991.

Все это могло быть, а ссылка действительно состоялась, как увидим ниже. Неверно только другое свидетельство Коллинса, что отец с горя умер на дороге. Он умер на воеводстве в сибирском городе Тюмени.

Русский современник события Котошихин складывает всю вину вообще на боярство, на ближних людей, которые прочили за государя своих дочерей, и рассказывает, что царь, «сведав у некоторого своего ближнего человека дочь, девицу добру, ростом и красотою и разумом исполнену, велел взяти к себе на двор и отдати в бережение к сестрам своим царевнам; и честь над нею велел держати, яко и над сестрами своими царевнами, доколе будет веселие и радость». Затем следует обычное в таких печальных случаях слово: «И искони в Российской земле лукавый дьявол всеял плевелы свои, если человек, хотя мало прийдет в славу и честь и в богатство, не могут не возненавидети. У некоторых бояр и ближних людей дочери были, а царю об них к женитьбе ни об одной мысль не пришла: и тех девиц матери и сестры, которые жили у царевен (при дворе), завидуя о том, умыслили учинить над тою обранною царевною, чтоб извести, для того, надеялись, что по ней возмет царь дочь за себя которого иного великого боярина или ближнего человека; и скоро то и сотворили, *упоиша ее отравами*».

Изо всех этих разноречивых свидетельств ясно одно, что злополучная невеста, нареченная уже царевною, была, подобно Хлоповой, сослана из дворца. Царь был очень опечален этим событием; от горя многие дни он *лишен был яди*, ничего не ел, и «после того не мыслил ни о каких высокородных девицах, понеже познал о том, что то учинилося по ненависти и зависти». Так, без малейшего сомнения, должен был объяснять ему это событие возлюбленный его дядька Борис Морозов.

Царевна сослана была из дворца в начале февраля. 12 февраля государь пожаловал ей весь изготовленный к свадьбе постельный убор: пуховик в камчатной червчатой

наволоке, изголовье или подушку, ковер под постелю, сафьянную колодку или постельную скамейку, и богатое одеяло, сшитое еще 16 декабря 1646 г. из кизылбашской золотной камки на соболях с горностайною опушкою. В отметке, по случаю отдачи этих предметов, сказано: «По государеву указу отдано *ссыльной* больной девице Еуфимье Рафовой дочери Всеволоцкого»[1].

Февраля 15 «ходил государь на медведя», без сомнения, побуждаемый Морозовым развлечь свое горе. Охота, которой Алексей Михайлович в первое время отдавался со страстью, была в руках Морозова одним из верных средств отвлекать молодого царя вообще от всяких дельных занятий. В эту, как и в предыдущую, зиму государь довольно часто хаживал на медведей, волков, лисиц; а в эти дни, 21 февраля, опять где-то *осочили* медведя, т. е. делали *осек* или облаву, а 22-го числа, в понедельник на Маслянице, государь тешился дикими медведями в городе на своей псарне[2].

В записках, относящихся к Сибирской истории[3], отмечено между прочим, что «в 1647 г. прислан *за опалу* в Сибирь на Тюмень Руф Родионов сын Всеволодской с сыном его Андреем и с дочерью Евфимией Федоровною, и с женою Настасьею».

Между тем, производилось, вероятно, расследование этого дела, по которому открыт и настоящий явный виновник *порчи* – крестьянин боярина Никиты Ивановича Романова Мишка Иванов. 10 апреля 1647 г. «за *чародейство* и за *косной розвод* и за *наговор*, что объявился в Рафове деле Всеволожского», крестьянина послали в Кириллов монастырь под крепкое начало, велели отдать его там старцу добру и крепкожительну... велели его держать под крепким началом с великим береженьем... Под начал, под строгий монастырский присмотр такого рода преступников

1 Архив Оружейной палаты. – № 134.

2 Дворцовые разряды. Т. III. – С. 56; Архив Оружейной палаты. – № 1067.

3 Древняя Российская вивлиофика. Т. III. – С. 174, 178, 182.

посылали обыкновенно с тою целью, чтоб они не могли чего-нибудь распространить смутного в народе. Рука Морозова и здесь должна быть заметна. Дело было нечистое, и преступник вместо простой ссылки в отдаленный город, как обыкновенно наказывались колдуны, посылается в великое береженье в приятельский Морозову монастырь, где и сам временщик потом оберегался от народной ярости после московской смуты 1649 г.

Месяца через два после этого ссылается на Вологду один из близких людей к государю – его дядя по матери, кравчий Семен Лукич Стрешнев по извету в волшебстве. Мы не знаем, относится ли этот случай также к делу Всеволожского, хотя по времени он совпадает с ним, но можем догадываться, что и здесь видится рука всемогущего временщика Морозова, который, по свидетельству Олеария, очищал себе место, удаляя ближайших к государю людей, особенно его родственников, дабы не могли они пользоваться противодействующим для него влиянием на государя. Артамон Сергеевич Матвеев прямо говорит, что извет на Стрешнева о волшбе «был составной и наученой, устроенный завистью и ненавистью, на отлучение его от государя»[1]. Быть может, Стрешнев был только очистительною жертвою всего этого несчастного и горестного для государя события: надо же было отыскать непосредственного виновника и тем отвлечь от себя даже и малейшее подозрение, и притом надо было отыскать такого виновника, который, что бельмо на глазу, служил большою помехою в самовластных действиях Морозова, каким в действительности мог быть кравчий Стрешнев – представитель еще сильного государева родства, родства государевой матери.

Через два года участь несчастного Всеволожского и его семьи была облегчена. В 1649 г. с Тюмени из опалы он пожалован на воеводство в Верхотурье, отсюда в 1650 г., ему

[1] История о невинном заточении боярина А. С. Матвеева. – С. 162; Дворцовые разряды. Т. III. – С. 63, 64.

опять велено быть в Тюмень до государева указу. По приезде в Тюмень он помер, в 1652 г.; а после того пришел государев указ, чтобы быть ему в Тюмени воеводою. По другому известию, в 1652 г. он жил еще в Верхотурье, откуда ему назначено было воеводство в Яранск, стало быть, почти на полдороги ближе к Москве; но, по-видимому, испугались этой близости ссыльных к Москве; в мае послана грамота: воротить его в Тобольск тотчас, если он не выезжал еще с Верхотурья, а в противном случае велено было его догнать и воротить в Тобольск, если б даже он приехал с Верхотурья в самый Яранск. Видно, что и в Сибири он был игралищем борьбы между добрыми стремлениями государя и враждебным влиянием Морозова[1]. Сибирские записки упоминают, что Всеволожский умер на Тюмени и с дочерью; между тем, сохранилась грамота от 17 июля 1653 г. к касимовскому воеводе Ивану Литвинову, в которой раскрывается, что Рафову жену Всеволожского и детей ее, сына Андрея и дочь (невесту царя) и с людьми велено было отпустить с Тюмени в Касимов и быти ей и с детьми, и с людьми в Касимовском уезде в дальней их деревне; а из деревни их к Москве и никуда отпущати не велено без государева указа[2]. Коллинс, писавший свои записки около 1660 г., говорит, что царская развенчанная невеста еще была жива в это время, что со времени высылки ее из дворца никто за ней не знал никаких припадков, что у ней было много женихов из высшего сословия, но она всем отказывала и берегла платок и кольцо – памятники ее обручения с царем, что царь давал ей ежегодное содержание, чтобы загладить оскорбление ее отца и семейства. Она, говорят, и теперь еще сохранила необыкновенную красоту, замечает Коллинс[3]. Но дело было сделано, и воротить счастья было невозможно.

---

1 Древняя Российская вивлиофика. Т. III. – С. 174, 178, 182; Акты Исторические. Т. IV. – № 59.

2 Собрание государственных грамот и договоров Т. III. – № 155.

3 Чтения в Обществе Истории и Древностей Российских. – 1846. – № 1.

Опечаленный государь отложил свою женитьбу на целый год, который со стороны Морозова был употреблен на то, чтобы внушить государю и укрепить в нем мысль о браке с одною из Милославских. «Этот хитрый вельможа, – говорит Олеарий, – знал очень хорошо, что великому князю пора уже жениться, и потому задумал предложить ему в жены дочь одного боярина, на сестре которой он сам намеревался жениться. Тогда между камер-юнкерами великого князя был некто по имени Илья Данилович Милославский (московский дворянин), имевший двух прекрасных дочерей, но ни одного сына. Милославский часто посещал Морозова (игравшего тогда при дворе главную роль, *factotum*, как обыкновенно о нем говорили) и охотно во всем помогал ему, вследствие чего пользовался у него большою милостью; он имел всегда свободный к нему доступ уже и потому, что исполнял во всем его волю, не говоря о том, что у него были прекрасные дочери. Однажды, воспользовавшись удобным случаем, Морозов начал выхвалять государю красоту дочерей Милославского и возбудил в нем охоту видеть их. Обе сестры как бы для посещения приглашены были к сестрам великого князя (царевнам). Тут видел их государь и влюбился в старшую из них. Котоишихин рассказывает, что «случилось царю быть в Успенском соборе на молитве и узре некоторого московского дворянина Ильи Милославского две дочери в церкви стоят на молитве. Царь послал за дворовыми боярынями и велел им из тех девиц едину, мнейшую взяти к себе в Верх; а как пение совершилось и в то время царь пришел в свои хоромы, тое девицы смотрил и возлюбил и нарек царевною и в соблюдение отдал сестрам своим...». Свадьба на этот раз была сыграна без помехи, потому что приняты были все меры, чтобы избежать колдовства и порчи, которые приносили столько беспокойства государю и столько страха и смуты во дворец. Олеарий и Коллинс говорят, что венчание и празднество совершились чуть не втайне, без всякой пышности и великолепия именно из боязни, чтоб не околдовали жениха

с невестою. Напротив, празднество по обычаю было пышно и торжественно; сделаны только некоторые отмены против прежнего, которые, быть может, и дали повод говорить, что свадьба совершилась скромно. «На прежних государских радостях бывало, в то время, как государь пойдет в мыленку, во весь день до вечера и в ночи, на дворце играли в сурны и в трубы и били по накром: а ныне государь на своей радости накром и трубам быти не изволил. А велел государь во свои государские столы вместо труб и органов и всяких свадебных потех пети своим государевым певчим дьякам, всем станицам, переменяясь, строчные и демественные большие стихи, из праздников и из триодей драгия вещи, со всяким благочинием. И по его государеву мудрому и благочестному рассмотрению бысть тишина и радость и благочиние велие, яко и всем ту сущим дивитися...».

В отцово место у государя был боярин Борис Иванович Морозов, с таким успехом устроивший этот царев брак. Через 10 дней он стал, сверх того, свояком государю, женившись уже вторым браком на другой сестре Милославской – Анне Ильичне. 27 генваря он являлся к государю челом ударить на *завтрея* своей свадьбы, причем, по старому обычаю, был благословлен от государя образом и пожалован дарами. Первый его брак совершен еще 5 июля 1617 г.[1]

Второй брак Алексея Михайловича на Наталье Кирилловне Нарышкиной также не обошелся без смуты, хотя

[1] Коллинс рассказывает, что Морозов, женившись на Анне Милославской, «думал, что таким образом прочно основал свое счастие. Однако ж Анна была им не совсем довольна, потому что он был старый вдовец (как и его брат Глеб, женившись на Соковниной), а она здоровая молодая смуглянка; и вместо детей у них родилась ревность, которая произвела кожаную плеть в палец толщины. Это в России случается часто между вельможными супругами, когда их любовь безрассудна или водка слишком шумит в голове. Один англичанин, Вильям Барнсли, сослан в Сибирь по внушению Бориса, который подозревал его в слишком коротком знакомстве со своим домом». – Чтения Общества Истории и Древностей Российских. – 1846. – № 1.

и не имевшей никаких особенных последствий. С небольшим через восемь месяцев после смерти Марьи Ильичны Милославской осенью 1669 г. государь снова приступил к выбору себе невесты. Для этого собраны были в Москву тогдашние красавицы – девицы, дочери, сестры и племянницы боярского и дворянского сословия. Смотр продолжался с ноября 1669 г. по май 1670 г. Невесты жили, вероятно, где-либо в кремлевских дворцовых хоромах; но некоторые оставались на житье и у частных лиц, должно быть, у своих родственников. В известные дни их привозили к государю во дворец в выбор и после смотра отправляли по своим местам; иных, как видится, отправляли прямо по домам, других, наиболее нравившихся государю, оставляли для вторичного смотра. Сохранился список девиц, которые призывались на эти смотрины[1].

«178 (1669) г. ноября в 28 день по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малые и Белые России самодержца указу девицы, которые были в приезде в выборе и в котором месяце и числе, и им роспись.

Того ж числа Ивлева дочь Голохвастова Оксинья. Смирнова дочь Демского Марфа. Васильева дочь Векентьева Каптелина, живет у головы московских стрельцов, у Ивана Жидовинова. Анна Кобылина, живет у головы московских стрельцов Ивана Мещеринова. Марфа Апрелева, живет у головы московских стрельцов, у Юрья Лутохина, Лвова дочь Ляпунова Овдотья.

Ноября в 30 день. Князь Григорьева дочь Долгорукого княжна Анна. Иванова дочь Полева Аграфена. Печатника Алмаза Ивановича внуки Анна да Настасья. Григорьева дочь Вердеревского Анна. Тимофеева дочь Дубровского Анна.

[1] Напечатан г. Пекарским в V т. Известий Археологического С.-Петербургского общества.

Декабря в 4 день. Княж Михайловы дочери Гагарина княжна Анна, княжна Марфа. Аверкиева дочь Болтина Аграфена. Тихонова дочь Зыкова Овдотья.

Декабря в 12 день. Князь Юрьева дочь Сонцова княжна Марья. Павлова дочь Леонтьева Парасковья. Викулина дочь Изволского Татьяна. Михайлова дочь Карамышева Василиса. Матвеева дочь Мусина-Пушкина Парасковья.

Декабря в 17 день. Андреева дочь Дашкова. Соломонида Редрикова. Захарьева дочь Красникова.

Декабря в 20 день. Алексеева дочь Еропкина Настасья. Елизарьевы дочери Уварова Домна да Овдотья. Истопничева Иванова дочь Протопопова Федора. Романовы дочери Бунина Ольга да Овдотья.

Декабря в 29 день. Тимофеева дочь Клокочева Овдотья.

1670 г. Января в 3 день. Лаврентьева дочь Капустина Анисья. Андреева дочь Коренева Анна, живет у вотчима своего, у Якима Жолобова.

Февраля в 1 день. Думного дворянина Замятни Федоровича Леонтьева дочь Овдотья. Ивана Федорова сына Нащокина дочь Марья. *Кириллова дочь Нарышкина Наталья*. Андреева дочь Незнанова Дарья.

Февраля в 11 день. Федорова дочь Еропкина Анна. Иванова дочь Мотовилова Марфа.

Февраля в 27 день. Васильева дочь Колычова Марфа. Ильина дочь Поливанова Марья. Иванова дочь Ростопчина Офимья. Ильина дочь Морева Ирина. Васильевы дочери Толстого Настасья да Агафья.

Марта в 11 день. Фролова дочь Синявина Федосья. Федорова дочь Смердова Варвара.

Марта в 12 день. Борисовы дочери Толстого Матрена да Марья. Елизарьева дочь Чевкина Анна.

Марта в 17 день. Богданова дочь Жедринскова Анна. Васильева дочь Загрясково Марфа.

Апреля в 5 день. Из Великого Новогорода: Никитина дочь Овцына Анна, живет у головы московских стрельцов,

у Юрья Лутохина. Петрова дочь Одинцова Пелагея, живет у Григорья Аладьина. Тимофеева дочь Сатина Федосья, живет у Григорья Баяшева. Из Суздаля: Петрова дочь Полтева Дарья. С Костромы: Богданова дочь Поздеева Офимья, живет у дяди своего Матвея Поздеева. Васильева дочь Апраксина Марья. С Резани: Борисова дочь Колемина Овдотья. Назарьева дочь Колемина Оксинья.

Апреля в 1 день. Елисеева дочь Житова Овдотья. Из Володимера: Нестерова дочь Языкова Хомякова Марья, живет у путного клюшника у Михайла Лихачева. Из Новгорода: Петра дочь Скобелцына Офимья. С Костромы: Пантелеева дочь Симонова Марья, живет у Володимера Асланова.

Апреля в 13 день. Артемьева дочь Рчинова Дарья. Княж Степановы дочери Хотетовского княжна Настасья, княжна Ульяна, княжна Анисья.

Апреля в 17 день. Из Вознесенского девича монастыря Иванова дочь *Беляева Овдотья*. Привез дядя ее родной Иван Шехирев, да бабка ее Ивановская посестрия Егакова старица Ираида. Артемьева дочь Линева Овдотья».

После этих смотрин начались вторичные смотры. Видимо, что государь еще не решался, кого избрать себе в царицы. Такой вторичный смотр происходил 18 числа апреля, после чего в ночи девицы, взятые тогда в Верх в другой раз, были отпущены по домам. А после их – тогда ли, ночью же, или на другой день – неизвестно – была взята в Верх для вторичного смотра племянница некоего Ивана Шихирева, дочь Ивана Беляева. В то время как она находилась у государя, вероятно, вместе с другими девицами, в числе которых была и Наталья Кирилловна, 22 апреля во дворце объявились два подметных письма за сургучом; одно было найдено постельным истопником перед Грановитою палатою в сенях, другое – тем же истопником усмотрено прилепленным у сенных дверей Шатерной палаты, что ходят на Постельное крыльцо. В тот же день, 22 апреля, письма

были представлены шатерничими боярину и дворецкому Б. М. Хитрово, а он тотчас же поднес их государю.

Что было в этих письмах – неизвестно, но «такова *воровства* и при прежних государях не бывало, чтобы такие воровские письма подметывать в их государских хоромах, а писаны непристойные...» (конца недостает). Подозрение, однако ж, пало на Ивана Шихирева – вероятно, по той причине, что в письмах что-нибудь высказывалось если не в пользу его племянницы, то, быть может, во вред ее сопернице или, правильнее, совместнице – Нарышкиной. Бедный Шихирев мог попасть в беду уже по одному только сплетению этих обстоятельств. Видимо, что интрига была ведена с другой стороны, главным образом, против Матвеева – родственника Нарышкиной, который государевым браком на ней должен был приобрести еще большее влияние во дворце. Несчастный Шихирев являлся только отводом царской грозы от настоящих виновников дела.

Его взяли, обыскали и к тому еще нашли у него на дворе какие-то травы. Государь поручил расспросить его боярам. Он объяснил, что «воровских подметных писем не писывал и писать никому не веливал и в сенях перед Грановитою и перед Шатерною не подметывал». Но тут же открылось, что он очень хлопотал о своей племяннице, дабы устроить ее невестою государю и даже хвастал о том, что будто бы она взята в Верх, а она еще не была взята. На расспросе 23 апреля Шихирев рассказывал: «На святой неделе в субботу или на фоминой в понедельник – того он не упомнит, приходил к нему в гости отставленный за старостью рейтар Вологжанин Александр Александров и сидел у него с четверть часа; и позвал его, Ивана, к себе в гости; и он поехал к нему на лошади, а Александр пошел наперед пеш. И у него он, Иван, ел и говорил с ним в разговоре, что великий государь пожаловал племянницу его, указал взять в Верх, а в то-де время она в Верх была не взята. А как ее в Верх взяли, и он, Иван, после того виделся с ним, Александром, в Чудовом

монастыре и ему про то сказывал». Спросили и рейтара, который объяснил: «На светлой неделе звал его Иван к себе после обеда вина пить; и он ходил, а вина и иного никакого питья у него не пил, потому что хмельново не пьет. А посидел с четверть часа. Да в то же время приходили к Ивану в избу выходец из полону Смольянин Елизарий Воронцов с племянником и сидели тут же. И Иван Шихирев сказывал им, что указал великий государь взять в Верх для смотру племянницу его, дочь Ивана Беляева, и он-де о том молит Бога. И он, Александр, позвал их к себе в гости; и у него ели и пили; а речей никаких про племянницу свою и ни про что не говаривал; а после увиделся он с ним в Чудове монастыре на паперти, и Иван ему говорил, что племянница его в Верх взята и чтоб-де он помолился Господу Богу, чтоб над нею учинилось доброе дело».

Между тем боярин Хитрово извещал государю, что «приходил к нему на двор дохтур Стефан (фон Гаден?) и сказывал: тому-де дни с три съехался с ним на Тверской улице у мучного ряду Иван Шихирев и говорил ему, что взята-де в Верх племянница его для выбору и возили-де ее на двор к боярину Б. М. Хитрово и боярин-де смотрел у ней рук и сказал, что руки худы». «А смотришь-де ты их, дохтур Стефан; а племянница-де его человек беззаступной, и как-де станешь смотрить рук и ты-де вспомоги. И он, Стефан, ему отказывал, что его к такому делу не призывают, да и племянницы его он не знает». Шихирев объяснил: «Как станешь смотреть рук и она-де перстом за руку придавит, потому ее и узнаешь. И сего-де числа у благовещенского протопопа Андрея Савиновича о том говорил же, что *племянница его в Верх взята, а Нарышкина свезена...*».

Против этого Шихирев рассказал: «Бил он челом архимандриту чудовскому, чтоб архимандрит его племянницу объявил, т. е. представил к выбору. И возили ее на двор к боярину Богдану Матвеевичу. И сказал архимандрит, что боярин ее смотрел и говорил ему, что у ней руки худы.

А смотрил-де дохтур Данило, жид. И съехався (он, Шихирев), ему, Данилу, говорил, что человек (она) беззаступной, и если станет смотреть, и она перстом за руку придавит. И севодня ему Данилу (он, Шихирев) говорил, что племянница взята в Верх, а Нарышкина свезена; а говорил ему те слова спроста, что он, Данило, знаком».

Весьма понятны усердные хлопоты Шихирева, чтоб царицею была его племянница. Ясно также, что выбор останавливался между его племянницею и Нарышкиною, которая для многих царедворцев была особенно неудобна по своему родству с Матвеевым. Чтобы расстроить этот брак, ненавистники Матвеева, как он сам потом свидетельствовал, составили эти подметные письма, в которых, быть может, высказывали что-либо невыгодное и для избираемой невесты. Но злодеи были невидимы, а налицо представлялось только обстоятельство Шихирева, для которого выбор Нарышкиной, разумеется, также был вовсе не желаем. Кого ж другого возможно было явно заподозрить в составлении подметных писем? Несчастного привели даже и к пытке.

«В застенке он распрашиван накрепко: и подниман, и к огню приношен, а в расспросе у пытки и у огня говорил прежние речи... подметных писем не писывал и никому писать не веливал и не подметывал». Пытка, кажется, была повторена. «А было ему 13 ударов и огнем жжен, а с пытки и с огня говорил прежние речи... а которые *травы* выняты у него на дворе, толченая и не толченая, и те-де травы дали ему на Вологде, ныне в Великой пост, а сказывали ему, что те травы (оказался зверобой) *уразные*, а велели ему те травы пить в вине и в пиве от убою, потому что он ранен...»

24 апреля стали разыскивать почерк руки этих писем. Государь велел показать дьякам и подьячим всех тогдашних приказов из одного письма две строки, а из другого письма – подпись; и взять у них сказки на письме о том, кто письма писал, т. е. чей почерк можно в них узнать. Выбран-

ные две строки заключали в себе следующие: 1) «достойно поднести царю или ближнему человеку, не смотря»; 2) «рад бы я сам объявил и у нево писма вынел и к иным великим делам». Подпись была: «Артемошка», вероятно, намекавшая на Артамона Сергеевича Матвеева – родственника Нарышкиной. Таким способом собраны были почерки всех приказных, служивших тогда в Москве. Сходство почерка падало на иных подьячих, например на Бориска Мыконкина, о котором товарищ говорил: «И я его письмо видал, как он писывал набело, не борзясь, с береженьем, и наскоро, мелко и разметисто». Но полного сходства не оказывалось ни у кого. О некоторых почерках замечали: «Из всего письма иные *ести*, *оны* почерком понаходят, а все, чтобы впрямь было одно письмо, не сходится».

Наконец, 26 апреля воровские письма были показаны на Постельном крыльце всему служилому сословию, причем публично сказан был следующий государев указ: «И вам бы, памятуя Господа Бога и святую соборную и апостольскую церковь и его государево крестное целованье, осмотря тех воровских писем признак всякими мерами, кто где такие воровские письма видал или кто подметывал, сыскивали бы про то всякими мерами. И кто из вас про такое воровское письмо проведает и ему, великому государю, известит и того вора обличит или где, сведав его, поймав, приведет, и великий государь пожалует его своим государевым жалованьем. А буде про того вора не проведаете и государю не известите, и от него, великого государя, за то вам быть в великой опале и в конечном в самом раззоренье безо всякого милосердия и пощады». Очень трудно было открыть и обозначить этого вора, потому что, без всякого сомнения, он скрывался в самых царских палатах, в какой-либо из личностей, заседавших в самой Царской Думе. Мелкое дворянство отозвалось на все эти беспокойные и тягостные для неповинных людей розыски следующим образом. Некто Петр Кокорев говорил: «Лучше б они девиц своих в

воду пересажали, нежели их в Верх к смотру привозили!». Государь по этому случаю велел в прибавку к своему указу объявить на Постельном крыльце: «А непристойных слов таких, как Петр Кокорев говорил, не говорить, что девиц своих девок к смотру привозили напрасно, лучше б их в воду пересажали, а не в Верх привозили».

Как и чем окончилось это дело – нам неизвестно[1], но, по всему вероятию, об этом же деле говорит и Артамон Сергеевич Матвеев в своей третьей челобитной к царю Федору Алексеевичу, в которой, между прочим, пишет: «А и я, холоп твой, от ненавидящих и завидящих при отце твоем государе немного не пострадал: такожде воры, составя письмо воровское подметное, кинули в грановитых сенях и в проходных, и хотели учинить Божией воле и отца твоего государева намерению к супружеству второму браку препону, а написали в письме *коренья*... в то время завидящии мне всячески умышляли, чем бы отлучить от вашея государские милости...».

Эта препона ко второму браку царя Алексея на Нарышкиной ограничилась, однако ж, тем только, что свадьба должна была совершиться месяцев девять спустя после избрания невесты, именно 22 генваря 1671 г. Очень вероятно, что все это время Нарышкина жила не во дворце, как следовало по обычаю, а жила как рядовая и уже смотренная невеста в доме Матвеева, где квартировала на его попечении и охранении. О выборе Нарышкиной Рейтенфельс рассказывает следующее: «Царь приказал всех благородных девиц, отличавшихся красотою, собрать в доме первого министра Артамона Сергеевича (его обыкновенно зовут Артамон) и, поместившись в комнате, где его никто не мог

[1] Неполные отрывки этого дела, которыми мы пользовались, хранятся в Государственном архиве Министерства иностранных дел в числе столбцов Тайного приказа. В описи дел Тайного приказа 1713 г. значится «столп, а в нем дело сыскное про воровские подметные писма и распросные речи Ивана Шихирева и иных и сказки за руками московских разных чинов людей 178 г.» См.: Записки отделения русской и славянской археологии. Т. II. – С. 21.

видеть, сам узнал, чем каждая из них одолжена прикрасам – и чем собственно дарам природы. В Московии исстари повелось, что князь, осмотрев подобным образом девиц, избирает из них трех; доверенные женщины узнают все телесные и душевные их достоинства, и выбор падает на лучшую. Но Алексей с первого раза избрал Наталью Кирилловну. Прочие девицы обыкновенно одаряются щедро и пользуются великою честию, что имели женихом царя, а вельможи наперерыв предлагают им свою руку. Наталья жила у Артамона (Матвеева) и совершенно не знала, какое ожидает ее счастие. Спустя несколько недель после осмотра невест царь очень рано утром прислал к Артамону в придворных каретах несколько бояр в сопровождении небольшого отряда солдат и трубачей. Наталья ни о чем не знала и спала спокойно. Дружки объявили Артамону милостивое приказание царя немедленно явиться с невестою во дворец. Артамон разбудил Наталью и объявил ей волю царя. Тогда принесли привезенные уборы, одели ее великолепно и повезли во дворец с немногими женщинами. На одежде столько было драгоценных камней, что после Наталья жаловалась на ее тяжесть. Привезли во дворец царскую невесту, повели ее *прямо в церковь*, и брак совершен придворным священником в присутствии немногих приближенных к царю. Почтеннейшие сановники были угощаемы несколько дней роскошным пиром во дворце, который был в это время извне заперт». Такие, вероятно, слухи об этой свадьбе носились в городе, по которым Рейтенфельд и записал свой рассказ. Видно, что к свадьбе готовились втайне, и она в действительности могла быть назначена для всего дворца внезапно во избежание всяких дворских интриг и препон.

До́лжно полагать, что описанная выше препона была уже последняя в избрании царских невест, ибо с этого времени мы не встречаем никаких сведений о каких-либо помешках царскому браку.

О первом браке царя Федора Алексеевича современники свидетельствуют, что для избрания невесты он по обыкновению приказал собрать всех прелестнейших девиц своего царства, что ему предлагали многих княжон знатного происхождения, но он выбрал незнатную девицу Агафию Семеновну Грушецкую, что бракосочетание происходило без всякого великолепия и царской двор оставался несколько дней недоступным[1]. В расходных дворцовых записках этого времени находим имена избранных невест, которым после государь выдал подарки:

«14 августа 1680 г. великого государя жалованья дано девицам, которые были в выборе в прошлом в 188 г. в июле месяце.

По зарбаву серебреному, да по отласу, да по камке, мерою по 10 арш.: Боярина князь Федора Федоровича Куракина двум дочерям, княжне Анне Федоровне, да княжне Марфе Федоровне. Боярина Ивана Богдановича Хитрово дочери Василисе Ивановне. Окольничего князя Данила Степановича Великого-Гагина. Отвозил думный дворянин Никита Иванович Акинфов.

По объяри мерою по 5 арш., по камке мерою по 10 арш: Стольников князь Никиты княж Иванова сына Ростовского. (Взял Василий Фокин Грушецкой). Князь Семена княж Юрьева сына Звенигородского дочери. Федора Иванова сына Головленкова дочери. Петра Андреева сына Измайлова дочери. Ивана Поликарпова сына Полтева дочери. Михаила Тимофеева сына Измайлова (дочери). Онофрея Денисьева дочери. Отвозил к ним дьяк Корнила Петров.

Объяри по 5 арш., камки по 10 арш.: князь Алексея княж Юрьева сына Звенигородского дочери его княжне (пробел). Викулы Федорова сына Извольского дочери ево. Исая (пробел) Квашнина дочери ево. Петра Иванова сына Вердеревского дочери ево. Князь Семена княж Иванова сына Лвова дочери ево княжне. Князь Володимира княж (пробел) сына

[1] *Берх В. Н.* Царствование царя Федора Алексеевича. – СПб., 1835. – С. 84.

Волконского дочери ево княжне. Алексея (пробел) Киреевского дочери ево. Отвозил дьяк Федор Казанцев.

И всего им государева жалованья дано четыре зарбава цена им 101 руб.; отласов 40 арш.; объярей 70 арш.; камок 180 арш.[1]».

Второй брак царя Федора с Марфой Матвеевной Апраксиных совершился точно так же тихо, без особого торжества; свадебного *чину* никакого не было. 1682 г. февраля 12 патриарх вышел из царской комнаты (кабинета) в переднюю и объявил боярству и всей Палате, что нарекли «царевну и великую княжну Марфу Матвеевну», благословлял и нарекал сам святейший патриарх. 15 февраля была радость, государь венчался в Верховой церкви Живоносного Воскресения, венчал царский духовник. Кремль в это время был заперт.

Таким образом, старые порядки царского да и всенародного быта к концу XVII столетия стали падать, так сказать, от собственной тяжести. В их путах оставаться было уже тяжело и невыносимо. Боярство и дворянство скидает с себя старую обузу местничества; царский двор удаляется от такой же старой обузы *чинов*… Ясно, что чувствуется потребность свободных движений, потребность всесторонней реформы.

Из истории царских невест уже достаточно обнаруживается, что страх порчи должен был преследовать личность царицы каждую минуту и на всяком месте. Он отравлял ее счастливые дни излишними и в большинстве случаев пустыми, но, тем не менее, очень тягостными подозрениями. В ее домашнем быту порча являлась всемогущим страшилищем, из власти которого невозможно было освободиться, несмотря ни на какие предосторожности и строгости,

[1] Архив Оружейной палаты. – № 536.

которыми с такою заботливостью старались оградить себя от этого лиха. Но кроме порчи для царицы существовало еще страшилище, отравлявшее ее жизнь в известных обстоятельствах, быть может, еще в большей степени. Имя этому новому страшилищу было «неплодие». Для женщины неплодие – и в частном, особенно в достаточном или богатом быту – почиталось за грехи Божиим наказанием. Жены плакали и усердно молились чудотворцам, прославляемым поданием молитвенной помощи, да минует их это бедствие. В житии Геннадия чудотворца Костромского рассказывается такой случай. Пребывая в Москве, приходит он однажды к литургии в одну из церквей, где во множестве находились царские слуги и боярские и княжеские жены. Тут же пришла и некая нищая убогая жена, имея чад своих плачущих в пазухе, а иных за руку водяще. Скорбно смотрели на нее благородные оны жены, воздыхающе ко Господу Богу и Пречистой Богородице и со слезами говорили: «Сим нищим Господь дал чада рождати, а питати их нечем; нам же, грешным, возможно царским жалованьем препитати чад своих и удобрити, а за наши согрешения не даде Господь нам чад рождати». Услыхав эти речи, преподобный сказал им: «Не скорбите, госпожи, но живите правоверно в своем пребывании, отселе бо начнете чада рождати Божиим повелением». Так и сбылось по его пророчеству. И многим женам неплодным и по другим городам сбывалось пророчество преподобного о чадорождении. Но вместе с тем жены молились не столько о чадорождении вообще, сколько об особом чадородии, именно о рождении дитяти мужского пола.

Существо женской личности, возводимой из ничтожества на высокую степень царского сана, заключалось, по понятиям времени, в одном неизменном ее призвании – в *чадородии* упомянутого особого вида. Царица должна была выполнить это существенное свое призвание, для целей которого она и выбиралась с великою осмотрительностью из

целой толпы красавиц. Она должна была дать наследника царю и царству. В этом заключался главный, основной смысл ее царственного положения. Никакого другого смысла в ее личности не признавали и не сознавали государственные стремления, государственные положения жизни, для которых поэтому личность царицы являлась полною жертвою. Но до́лжно заметить, что не одни государственные стремления определяли таким образом идею женской личности. На том стояли и стремления родовые. Здесь государственные цели вполне совпадали с целями родовыми по той причине, что государство, созданное родовою идеею, держалось тою же формою жизни, какою держался и род. В русском древнем обществе, как мы уже говорили, женская личность возвышалась, когда своим плодом чрева доставляла, так сказать, растительное движение роду, когда делалась основою его дальнейшего развития именно в лице наследника роду, придавая тем самым в образе *матерой* вдовы даже общественный смысл и общественное значение своей слабой личности. Наоборот, она принижалась до сироты, до лица бесправного, она теряла настоящий смысл своего существования, если не наделял ее Бог плодом чрева, в котором и воплощался бы корень рода. Бесчадие вообще было несчастием и даже в общественном мнении почиталось немалым зазором и грехом для женской личности; но и чады женского пола не приносили родителям, и особенно отцу, полного счастия. Чады женского пола все-таки упраздняли существование рода; не ими продолжался род; выходя замуж, они терялись в чужих родах; с ними погибало даже имя рода. Только мужской пол был коренем рода, поддержкою, опорою родителей, представителем их общественного значения, их имущественного и нравственного достояния. Вот почему в старое время мужья очень нелюбовно смотрели на своих жен, когда не было у них чадородия мужеска пола. Тогда несчастные жены обращались к единому утешению – к усердной мо-

литве. С великим плачем и рыданием до исступления ума, как говорят различные сказания о таких обстоятельствах, они молились дома и в церквах, да подаст им Господь «прижити чадо мужеска полу». Очень часто и мужья разделяют с ними эту сердечную скорбь, непрестанно молясь вместе с ними, предпринимая обетные путешествия по монастырям к святым угодникам и чудотворцам. Являются многие примеры чудесных действий усердной и умиленной молитвы... Мать Александра Каргопольского Фотиния, оскорбляемая дряхлым мужем за бесчадие, который говаривал ей, что, стало быть, есть в ней «зазор некий, рекше грех»[1], усердно и много раз молится о рождении сына в Кирилло-Белозерском монастыре, сподобляется святого видения, по которому и исполняется ее благочестивое моление. Таким же образом исполняется моление о даровании сына и матери прп. Александра Свирского Василисе, молившейся о том в Введенском Островском монастыре. Молитвою Александра Свирского дарует Бог чадо мужеского пола некоему боярину Тимофею Апрелеву, который приходил к нему с великим молением и, рассказывая свою скорбь, помянул, «что ради безчадия жена моя поносиша была и оскорбляема мною, многажды же и биема от меня бываше». В другой раз «человек некий от града Корельского именем Иаков притекает со слезами ко гробу святого Александра, прося, да подаст Бог его молитвами плод чрева мужеска полу и от единого прикосновения к раке преподобного познает в себе силу упования и надежды, что его молитва будет услышана». Через год у него рождается отроча мужеского пола.

Эти сказания могут служить достаточным свидетельством, в какой степени было всегда сильно желание родителей иметь наследника мужского пола.

[1] Еще Владимир Василькович Волынский, приближаясь к смерти (ск. в 1288 г.), так отозвался о своем бесчадии: *Бог не дал мне своих родить за мои грехи...* (Он усыновил в дочери себе Изяславу, которую взял от матери в пеленках и вскормил, и миловал ее, как дочь свою родимую, как от своей княгини роженую). – Ипатьевская летопись. – Стб. 214.

Благочестивые люди прибегали к молитве, уповали на милость Божию. Но много раз случалось, что муж бесплодную жену уговаривал обыкновенно идти в монастырь и даже насильно постригал ее в монахини, а сам женился на другой. Само собою разумеется, что все это делалось в высших, в знатных или же в богатых слоях общества, где поддержка и продолжение рода были во многих отношениях задачею жизни.

Если так было в частном быту, то на царском престоле этот вопрос становился в действительности одним из важнейших, особенно в московскую эпоху нашей истории, когда из многих княжеств возникло единое царство с единым самодержавным государем во главе всей земли, с единым идеалом освященной самодержавной власти; когда, сверх того, эта власть признается наследственною в одном лишь царственном колене. Понятно, какое значение получали в царской семье заботы о наследнике мужского пола; понятно, почему и личность царицы приносилась всецело в жертву этой государственной идее. Наследник мужского пола является здесь не только корнем рода, но и корнем государства. Домашняя история московских государей представляет много подробностей о тех скорбях и заботах о мужском наследстве, в каких нередко проходили целые годы их брачной жизни.

Еще в XIV столетии, при первом начале московского единодержавия, такие заботы обнаруживались уже в полной силе. Великая княгиня Евдокия Донская, не имея сыновей, *обреклась* молиться Пресвятой Троице и Пречистой Богородице в монастыре у святого старца Сергия, чтобы он умолил о ней о чадородии сыновей, т. к. дочери рождались, но сыновей Бог не давал. Святыми молитвами старца подаровал ей Бог чадородие – родился сын Василий Дмитриевич, принявший после отца и стол великого княжения, и потом – другой сын, Юрий Дмитриевич, поднявший великую смуту по кончине великого князя – брата.

Исполненная молитвенной радости и благодарности, великая княгиня тогда же пожаловала в дом Пресвятой Троицы преподобному старцу Сергию на молитву и братии на упокой свое с. Федоровское с приселками и деревнями в Нерехте в Костромском уезде[1].

Вторая супруга великого князя Ивана Васильевича III – Софья Фоминишна Палеолог – вступила с ним в брак в ноябре 1473 г. Само собою разумеется, она очень желала укрепить на Московском престоле свое племя. Хотя у великого князя и был уже наследник государству, сын первой его жены, Марьи Тверской – Иван, называемый в отличие от отца Молодым, но для Софьи очень важно было иметь и своего наследника – если не государству, так собственному хозяйству, наследника собственной независимости и самостоятельности, чего через дочерей достигнуть было невозможно.

Между тем, в первые годы Бог давал этому браку одних только дочерей, которых в 1476 г. было уже три: Елена, Феодосия и опять Елена; затем целый год прошел бездетно.

Великий князь с супругою стали много скорбеть об этом, молились Богу, «дабы даровал им сынове родити в наследие царствию своему». Великая княгиня по благому совету мужа не помедлила совершить обетное путешествие к чудотворцу Сергию, в Троицкий монастырь, пешком, усердно моля «о чадородии сынов». Под монастырским с. Клементьевым, когда великая княгиня продолжала оттуда путь к самой обители и шла в удолие, т. е. в долину, лежащую под самым монастырем, она внезапно узрела святолепного инока, шедшего ей навстречу и «имуща в руце отроча младо, мужеск пол, которого внезапно и вверже в недра великой княгини, и затем невидим бысть». Княгиня вострепетала от такого чудного видения, стала изнемогать и к земле преклоняться. Сопровождавшие ее боярыни бросились к ней на помощь в ужасе, не

[1] ПСРЛ. Т. IX. – С. XXII.

понимая, что могло с ней случиться. Она села, ощупывала руками в своей пазухе «вверженного отрочати» и не нашла его. «Уразуме быти посещению великого чудотворца Сергия», – встала и с великою надеждою продолжала свой путь в монастырь. Там она провела все дни в умиленной и многой молитве, братию любочестными брашны учредила и с радостью возвратилась в Москву. «И от того чудесного времени зачатся во чреве ее богодарованный наследник русскому царствию». 25 марта 1479 г. родился ей благонадежный сын, великий князь Василий – Гавриил, который и крещен был в Троицком же монастыре у чудотворных мощей прп. Сергия. Эту повесть объявил впоследствии митрополит Иоасаф, который слышал ее из уст самого чудом рожденного великого князя Василия. После того Софья имела еще нескольких сыновей[1].

Первый брак того же самого Василия на Соломониде Юрьевне Сабуровой, избранной, как выше сказано, из множества девиц, был очень несчастлив именно по бездетству великой княгини. Он совершился в начале сентября 1505 г., когда великому князю было уже 26 лет. По тогдашним обычаям это был самый поздний брак. И вот прошли 20 лет, Бог не благословлял детьми этого супружества. Ни молитвы, ни обеты, ни богомольные путешествия по монастырям не были благословлены рождением чада. Не помогло и волхвование, к которому не раз тайно обращалась великая княгиня, чувствуя свое безвыходное горе, спасая себя, свое положение, восстановляя любовь мужа, которая год от году все больше охладевала. Была великая причина этой нелюбви мужа к своей неплодной супруге – не было прямого наследника царству, которое по смерти Василья должно было перейти в руки его братьев, не умевших, по его словам, и своих уделов управить. Было, следовательно, о чем подумать и поскорбеть. Естественным путем должна была придти мысль о разводе с неплодною женою и о бра-

[1] Книга Степенная II. – С. 136.

ке с другою – более счастливою супругою. Однажды в великой кручине о своей неплодной супруге ехал великий князь на богомолье ли или для потехи[1] на охоту и, увидев на дереве птичье гнездо, горько заплакал: «Сотвори плач и рыдание велико: о горе мне бездетному! Кому я себя уподоблю! К кому могу приравнять себя! Вот птицы небесные – и они плодовиты! И звери земные – и те плодовиты! И вода плодовита: она играет волнами, в ней плещутся и веселятся рыбы! Господи! И к этой земле я не могу приравнять себя – она приносит плоды на всякое время!».

Этот плач близок уже был к решению дела. Возвратившись осенью из путешествия, государь начал думать со своими боярами о великой княгине, что неплодна, и с плачем говорил им: «Кому по мне царствовать в Русской земле? Братьям ли оставлю, но братья и своих уделов не умеют устраивать?». Бояре отвечали: «Князь великий, государь! Неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда!..». Но не все бояре так думали. На эту мысль и самого князя наводили и укрепляли ее в нем лишь одни его верные слуги, его приверженцы, его созданья, для которых вопрос о прямом наследнике Василия соединялся с вопросом собственного счастия. Напротив того, для других бездетство Василия, по многим отношениям, становилось торжеством, и они втайне радовались, что этот самовластительный государский род может, наконец, сам собою угаснуть. Эти-то другие сумели придать разводу Василия с неплодною женою великое церковное значение, возвели его в неразрешимый грех, вовсе не упоминая о том, что бывали давно уже примеры княжеских разводов, и именно в московском же колене. Еще сын Ивана Калиты, Симеон Гордый, развелся с первою своею женою за то только, что показалась она ему испорченною. Вот что рассказывает об этом событии родословная книга: «Князь великий Симе-

[1] В летописи сказано: «поеха в *объезд*», а объездом назывались по преимуществу богомольные походы в Троицкий и другие отдаленные монастыри.

он Иванович Гордый женился у князя Федора Святославича Смоленского: была у него одна дочь Еупраксия. И великую княгиню Еупраксию на свадбе испортили: ляжет с великим князем на постелю, и она ему покажется мертвец. И князь великий великую княгиню отослал к отцу ее, а велел ее дати замуж. И князь Федор Святославич дал дочь свою замуж за князя Федора за Красного за Большого Фоминского. А у князя Федора с тою княгинею было 4 сына». Такого примера было бы достаточно для оправдания теперешних намерений государя. Но про старину не хотели в это время поминать. Несмотря на противодействие, великий князь настоял на своем, развелся с женою и принудил ее постричься в монахини в ноябре 1525 г. В сказаниях об этом событии отразился также различный взгляд на дело. Одни с целию оправдать государя рассказывают, что Соломония, видя свое неплодство, долго умоляла государя облечь ее в иноческий образ, что Василий противился ее просьбе, указывая, что не может разорить брак, что великая княгиня обратилась тогда с молением к митрополиту Даниилу, который со всем духовным чином и убедил государя исполнить ее непреклонное желание. «Постриже великую княгиню, *по совету ее*, тягости ради и болезни и бездетства». Но другой рассказ несравненно ближе к истине. «Она, – по рассказу Герберштейна, – плакала и кричала, когда митрополит в монастыре совершал ее пострижение; никак не хотела надевать кукуль; вырвала его из рук митрополита, бросила на землю и топтала ногами. Иван Шигона – один из самых приближенных людей государя – в негодовании на такую дерзость стал ее жестоко бранить и ударил даже плетью, сказав: “Как ты смеешь сопротивляться воле государя и медлить исполнением его приказания?” – “А тебе кто дал право бить меня?” – восклицала Соломония. “Я исполняю государево повеление”, – ответил Шигона. Тогда в несказанной скорби несчастная объявила пред всеми, что ее постригают на-

сильно, что нет ее желания идти в монастырь и молила Бога отомстить за ее обиду».

Ее постригли с именем Софьи в Москве в Рождественском девичьем монастыре; постригал не митрополит, а игумен Никольского Старого монастыря Давид. После ее отправили в Суздальский Покровский монастырь, где она и оставалась до кончины. Великий князь наделил ее после своей женитьбы особою вотчиною, с. Вышеславским с деревнями и со всеми угодьями[1].

Причиною развода, как указано летописцем, не было исключительно одно только неплодие. Его облекли в немощь, в болезнь, о которой был даже розыск, следственное дело. В числе разных бумаг царского архива при Иване Грозном сохранялись «*списки*: сказка Юрья Малово и Степаниды Резанки и Ивана Юрьева сына Сабурова и Машки Кореленки (вероятно, колдуньи) и иных, про немочь великия княгини Соломониды»[2]. Из этого дела до нас дошел отрывок, именно сказка Ивана Сабурова – брата Соломонии, весьма живо характеризующая и личность, и безвыходное положение несчастной царицы. Сабуров 23 ноября 1525 г. рассказал следующее: «Говорила мне великая княгиня: “Есть жонка, Стефанидою зовут, Рязанка; а ныне на Москве; и ты ее добудь, да ко мне пришли”. Я отыскал Стефаниду, зазвал сначала к себе на двор и потом послал ее к великой княгине со своею жонкою Настею; и та Стефанида была у великой княгини; и Настя сказывала мне, что Стефанида *воду поговаривала* и *смачивала ею* великую княгиню; да и смотрела ее на брюхе и сказывала, что у великой княгини детям не быть. А после того пришел я к великой княгине, и она мне сказывала: присылал ты ко мне Стефаниду, и она у меня смотрела, сказала, что у меня детям не быть; наговаривала мне воду и смачиваться велела для того, чтоб князь великий меня любил; наговаривала воду

1 *Карамзин Н. М.* Указ. соч. Т. VII. – С. 280.

2 Акты, собранные Археографическою экспедициею. Т. I. – С. 339.

в рукомойнике и велела мне смачиваться тою водою; а когда понесут к великому князю сорочку, и порты, и чехол, и она мне велела из рукомойника тою водою, смочив руку, да охватывать сорочку, порты и чехол и всякое другое белье. Мы хаживали к великой княгине, – прибавил Сабуров, – за всяким государевым бельем, и великая княгиня, развернув сорочку или другое белье великого князя, да из того рукомойника и смачивала то платье». Сабуров еще рассказал случай: «Говорила мне великая княгиня: сказали мне про одну черницу, что она дети знает (а сама без носа); и ты мне добудь ту черницу. Розыскал я и эту черницу; пришла она ко мне во двор и наговаривала, не помню, масло, не помню, мед пресной, да и посылала к великой княгине с Настею и велела ей тем тереться для того ж, чтоб ее князь великий любил, да и для детей. После того я и сам был у великой княгини; она мне сказывала: “Приносила мне от черницы Настя, и я тем терлась”. Да что мне и говорить, – примолвил Сабуров, – мне того не изпамятовать, сколько ко мне о тех делах жонок и мужиков прихаживало»[1].

Это была другая, тайная сторона действий, желаний и исканий цариц, дабы излечить немощь своего неплодия. По суеверию века, заботы помочь себе знахарством, волшбою шли рядом с усердными молитвами, обетными богомольями, вкладами по монастырям и церквам, переплетались, так сказать, с благочестивыми подвигами, вызываемыми одною и тою же целью получить силу чадородия и тем привлечь любовь государя.

До́лжно заметить, что в тот век знахарство и волшба или ведовство как область реальных практических, хотя бы и младенческих знаний о разных силах естества и тайнах природы, несмотря на то, что были отречены и прокляты, всегда и повсеместно были принимаемы как обычное врачевство материальное, вещественное, которое невозможно было миновать людям, искавшим вещественн-

[1] Акты Исторические. Т. I. – № 192.

ной же помощи в своих недугах, телесных и сердечных. Ведуны и ведьмы прежде всего были лекаря и лекарки – врачи. Они сами так понимали свою специальность, так понимал ее и народ. Но это было врачевство мирское, знание отреченное, противное врачевству духовному по той причине, что оно утверждало свои действия тайнами сего мира, уклонялось от действий, благословенных и указанных Церковью, ставило самочинно в противность тайнам благословенным свои греховные, бесовские тайны. Вместо слов молитвы оно ставило слова заговора или наговора и усердно веровало в силу этих слов; вместо благословенных и освященных действий (см. выше, с. 275, 276), оно ставило действия нечестивые и усердно ожидало от них помощи. Но как бы ни было, под этою мифическою оболочкою оно хранило действительные познания естества, которые, действительно, в иных случаях врачевали, исцеляли недуги и тем всегда оживляли и поддерживали народное верование в особенные силы ведовства. Оттого в народных понятиях естественное врачевство не было отделяемо от волшебства и врачи не только по профессии, но даже и именем не различались от волхвов. Так, одно поучительное слово касательно волшбы запрещает «к *врачам* ходити», т. е. к волхвам, которых русский писец XVI в. отождествил с врачами, и наоборот[1]. Самое слово *ведовство*, знахарство, должно показывать, что в основе волхвования лежала идея реальных знаний о природе, прикрытых лишь мифическою оболочкою, суеверием, которыми прикрывалось в те века всякое знание и вообще наука. Вот почему, несмотря на гонения со стороны врачевства освященного, несмотря на сожжения волхвов и вещих женок, мирское отреченное волшебство оставалось все-таки великою силою в жизни народа и к нему в трудных и безвыходных обстоятельствах по необходимости прибегал всякий, искавший себе помощи, не исключая даже и гонителей.

1 Летопись занятий Археографической комиссии. – 1864. – С. 84.

После развода с Соломониею Василий избрал себе в невесты княжну Елену Глинских – дочь умершего нововыезжего князя Василия Львовича Темного-Глинского, из рода знатного, но иноземного, литовского, который, изменив литовскому королю, вскоре изменил было и Москве в лице своего головы, родного дяди избранной невесты, князя Михаила Львовича. Неизвестно, как происходило избрание государевой невесты; но, вероятно, обычным же порядком, т. е. повсеместным собранием всех тогдашних красавиц, из которых больше всех полюбилась княжна Елена, жившая у матери – вдовы Анны. Надо заметить, что несчастный дядя невесты, Михаил Глинский, был воспитан в Германии, долго там жил, находясь в службе у герцога Саксонского Албрехта и у императора Максимилиана в Италии, прославился военными заслугами и был предан немецким обычаям, которых, без сомнения, держались и его братья – Иван и Василий, отец невесты. Таким образом, и Елена была воспитана в среде более или менее иноземной, в обычаях, которые, быть может, многим и к лучшему отличали невесту от ее сверстниц и соперниц, что и должно было остановить на ней выбор государя[1].

О *свадебницах* (так назывался в народе рождественский мясоед), 28 генваря 1526 г., Василий обвенчался с новою супругою – «оженися, яко лепо бе царем женитися», т. е. с подобающим царскому сану торжеством и веселием. Во время свадьбы известный впоследствии наперсник Елены молодой князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский находился вместе со своим отцом князем Федором Васильевичем в числе самых доверенных и приближенных к государю свадебных чинов. Отец его по свадебному разряду занял тогда очень важную должность конюшего: ему «велено быти у государева коня и ездити весь стол и вся ночь круг подклета (спальни новобрачных) с саблею голою или с мечом». Сын находился в числе детей

1 *Карамзин Н. М.* Указ. соч. Т. – VII. – С. 11, 84.

боярских четвертым у брачной постели вместе с дворовыми боярынями, вдовами ближних бояр Челядниных – Еленою и Аграфеною. Последняя была ему сестра и потом была избрана в мамы к новорожденному малютке Грозному. Сверх того, ему тогда же было назначено: «колпак держати у великого князя и спати у постели и в мыльне мытися с великим князем», что обыкновенно поручалось самым приближенным, так сказать, домашним, комнатным людям. Таким образом, сердечная связь Елены с Овчиною, как его обыкновенно называли, объясняется давнишним приближением его семейства к государевой комнате, и особенно через Аграфену Челяднину – его сестру, которая была замужем за Васильем Андреевичем Челядниным – государевым дворецким (ск. в 1518 г.), братом государева конюшего Ивана Челяднина и сыном тоже государева конюшего, Андрея Челяднина, который был в этом чину еще при отце великого князя Василия. Знатный чин конюшего давался только самым близким, любимым и заслуженным людям. Незадолго перед кончиною великого князя и Овчина получил звание конюшего.

Враги великого князя, не одобрявшие его второй брак, тотчас же распустили молву, что бывшая супруга, теперь монахиня, Соломония беременна и скоро разрешится. Герберштейн рассказывает, что «этот слух подтверждали две боярыни, жены близких к государю людей, именно вдова казначея Юрья Малово Траханиота (Варвара) и жена постельничего Якова Мансурова»[1]. Они говорили, что слышали от самой Соломонии о ее беременности и близких родах. Великий князь очень смутился этою молвою, удалил из дворца обеих боярынь, а вдову Траханиота приказал даже

[1] Юрий Траханиот умер в 1513 г., а Мансуров пожалован в постельничие в 1514 г., умер в 1520 г. Так отмечено в списке бояр. – Древняя Российская вивлиофика. Т. XX. – С. 17, 20. Между тем имя Якова Мансурова является в свадебном разряде при бракосочетании великого князя с Еленою в 1526 г., где ему назначено «за саньми великой княгини идти и ходити в хоромех и у платья великой княгини». – Там же. Т. XIII. –С. 16.

высечь за то, что она раньше не донесла ему об этом. Он послал в монастырь к Соломонии разузнать дело на месте своих дьяков Третьяка Ракова и Меньшого Путятина. Чем окончилось исследование – нам неизвестно.

«Московская история» рассказывает, что, когда при дворе слух промчался, якобы бывшая царица Соломония «в монастыре непраздна и вскоре имеет родити», царь Василий послал вскоре бояр и двух знатных дам, чтобы прямо освидетельствовали Соломонию. Соломония же, когда услышала в Суздале о приезде их, «зело убоялася и вышла в церковь в самый алтарь и, взявся за престол рукою, стояла, ожидая к себе посланных; и егда к ней придоша бояре и дамы, просили ее, чтоб она из алтаря к ним вышла. И она к ним выдти не хотела. И егда вопрошена, что имеет ли она быть непраздна, она им на то отвечала, что я со всякою моею надлежащею должностию и честию была царица и пред несчастием своим за несколько вромени стала быть непраздна от супруга моего царя Василья Ивановича и уже родила сына Георгия, который ныне от меня отдан хранится в тайном месте до возрасту его; а где он ныне – о том я вам никак сказать не могу, хотя в том себе и смерть приму. Бояре же уразумели ея неправду, и дамы, осмотря ее, что она никогда не бывала непраздна, возвратились в Москву и о всем поведали царю Василью, яко то все неправда и обман, и за то она еще далее сослана въ ссылку». Герберштейн, продолжая свой рассказ, говорит, что в его бытность в Москве выдавали за истину, что Соломония родила сына, именем Юрья, и никому его не показывала. Когда к ней явились посланные узнать истину, она будто бы сказала им: «Вы недостойны того, чтобы глаза ваши видели ребенка; а вот когда он облечется в свое величие (станет царем), то отомстит за оскорбление матери». Но некоторые решительно не верили, что Соломония действительно родила. И, таким образом, этот слух остался сомнительным, замечает Герберштейн. Во всяком случае, сказка очень любопытна. Она характеризует стремление

боярской и вообще дворской среды и на самом деле есть крамольная попытка внести смуту и в государеву семью, и в государство, первая попытка поставить самозванца, которая как порождение деспотизма и самовластия олигархов-правителей впоследствии развилась органически в самых широких размерах – и возрождалась мгновенно при всяком смутном государственном обстоятельстве.

Вступив во вторичный брак единственно только с политическою целью дать государству наследника, великий князь освятил этот брак в самом начале молитвою о чадородии. Через месяц после свадьбы, 4 марта, назначая в Новгород архиепископом своего любимца, архимандрита Можайского монастыря Макария, Василий поручил ему, как приедет на паству, «в октеньях молити Бога и Пречистую Богоматерь и чудотворцев о себе и о своей княгине Елене, чтобы Господь Бог дал им плод чрева их», о чем действительно и молились по всей епархии в церквах и монастырях.

В конце года великий князь совершил богомольный поход в Тихвин, к Тихвинской Богоматери, куда приехал вместе с владыкою Макарием 24 декабря в навечерие праздника Рождества Христова, пробыл там три дня и три ночи, молился «о здравии и о спасении и чтобы ему Господь Бог даровал плод чрева... великую веру и умильное моление показал ко всемилостивому Спасу и Пречистой Богородице и к Их Угодникам; показал многую милость к печальным людям, которые в его государевой опале были, многие монастыри милостынями удоволил...»[1].

Но прошло и еще почти два года, а Господь не благословлял детьми и этого брака. Осенью 1528 г. великий князь, прожив до Филипповских заговен в Новой Александровой слободе, предпринял оттуда новый богомольный поход по монастырям к чудотворцам вместе с великою княгинею; был в монастырях Переяславских, Ростовских, Ярослав-

1 ПСРЛ. Т. IV. – С. 296; Акты Исторические. Т. I. – С. 532.

ских, на Белом озере в Кириллове монастыре, на Кубенском озере, в Спасо-Каменном монастыре, везде милостыню великую давал и потешение по монастырям и в город попам, а велел молитися о чадородии, чтоб, дал Бог, *отрод* у него был. В Переяславле основывал тогда свой монастырь прп. Даниил – ученик Пафнутия Боровского. Посетив святого старца «паче мимошедших лет простирал к нему свою любовь: близь себе седети повелеваше; для него освобождал повинных от смерти; завещал поставить в монастыре каменную церковь во имя святой Троицы, для чего и запас к церковному зданию послал... И, бывши у преподобного в монастыре, братского хлеба изволил вкусити, такожде и от кваса монастырского пия, бе бо квас вельми препрост[1]... но радостного умиления исполнялся самодержец, и как некоею надеждою огражден возвращался в свой царский дом. Иногда же посылал в монастырь к прп. Даниилу и повелевал к себе принести хлеба и квасу братского, также и к царице своей, и вкушал с верою. И сладостно и полезно вменяшеся им...». Великий князь, по словам любимца его Макария, «не умалял подвига в молитве, не сомневался от долгого времени своего безчадства, не унывал с прилежанием просить, не переставал расточать богатство нищим, путешествуя по монастырям, воздвигая церкви, украшая святые иконы, монахов любезно упокоивая, всех на молитву подвизая, совершая богомольные походы по далечайшим пустыням, даже

[1] По-видимому, монастырский *квас* пользовался в народе значением особой святости, укреплявшей молитвенное чувство полною надеждою в исполнении молебных прошений и обетов. В 1637 г. суздалец, посадский человек Василий Степанович Жинкин в челобитной государю писал следующее: «Лежал, государь, я с год без ног в великой скорби и обещался я Спасу и чудотворцу Еуфимью в монастыре работать, труды полагать, какову службу изволит Спас и чудотворец Еуфимей и архимандрит с братьею, то и работать; и вкладу дал, и молебен служил, и *квас чудотворцев пил*; и мне Спас и чудотворец с тех мест дал легость. И как, государь, подумаю пожить еще на воле и Спас на меня ту же скорбь нашлет». Почему он и просил дать ему грамоту в Суздаль воеводе и земскому старосте, чтобы ему быть на обете у Спаса и чудотворца Еуфимья, упоминая, что во дворе у него остается брат его.

пешком, вместе с великою княгинею и с боярами; всегда на Бога упование возлагая, верою утверждаясь, надеждою веселясь... желаше бо по премногу от плода чрева его посадити на своем престоле в наследие роду своему...»[1].

Таким образом, четыре с половиною года протекли в непрестанных молениях, в непрестанных подвигах благочестия и милосердия. Особенно часто государь ходил в Успенский Собор ко гробу Петра чудотворца и в Чудов монастырь ко гробу Алексея чудотворца, молясь и со слезами лобызая их святые мощи, и особенно в своих хоромах наедине по вся дни и нощи с теплою верою на помощь призывая их, да помогут ему ходатайством к Богу и ко Пречистой его Матери о прижитии чад и обеты свои пред ними в сердце своем полагает, коль скоро благоприятна будет молитва его (Львовская летопись. IV, 34). В последнее время с особенною верою супруги прибегали в своих молитвах к прп. Пафнутию Боровскому. Молитва была услышана: Господь внял стенаниям и слезам супругов и «разверзе союз неплодства их». 25 августа 1530 г. была великая неизреченная радость великому князю и великой княгине и всему Московскому государству: в этот день Бог даровал государю сына Ивана – *молитвенный плод*, столько времени и с такою горячностью ожидаемый не только родителями, но и всеми друзьями государя и государства. В 1584 г. рязанский епископ Леонид свидетельствовал пред царем Федором Ивановичем, как о деле всем известном, что «по прошению и по молению прп. Пафнутия чудотворца дал Бог наследника царству и многожеланного сына отцу» (Акты Исторические. Т. I. – № 216). Это утверждается еще и тем, что восприемниками от купели новорожденного царевича были избраны ученики прп. Пафнутия – Даниил Переяславский и Кассиян, по добродетели прозванный Босым, собеседник прп. Иосифу Волоколамскому. Крещение происходило в Троице-Сергиевом монастыре, у мощей

1 Степенная книга. – II. № 205.

прп. Сергия – общего учителя и наставника, где Даниил своими руками носил младенца во время литургии и к причастию Св. Таин. Благочестивое и богомольное настроение мыслей указало, что рождение царственного младенца не было просто, как иным случается. Оно приметило, что «когда отроча во чреве матерни растяше, то печаль от сердца человекам отступаше; когда отроча во чреве матерни двигалось, то стремление иноплеменной рати на царство низлагалось». (Здесь разумеется, вероятно, удачный поход на Казань весною того же года.) Рассказывали также, что великая княгиня во время своей беременности, «яко бысть близ рожения», вопросила одного юродивого Дементия, кого она родит. Он, юродствуя, отвечал: родится Тит – широкий ум. Она еще больше стала молиться, чтоб исполнилась ее надежда. За девять дней до рождения, в Успеньев день, служили иереи обедню, вовсе не ведая, что великая княгиня уже непраздна. Когда на ектении среди обычных молений о царе и о его царице следовало произнести, «*еже подати им плод чрева*», – один клирик внезапно, яко сном объят, возгласил: «*и о благородном чаде их*» и в изумлении оглядывал других служащих, желая знать о имени царского отрока; затем, опомнившись, произнес уже обычные слова ектении[1]. Богодарованному отроку наречено имя Иван, «еже есть усекновение Честные Главы», сказано в летописи, обозначавшей день памяти Крестителя.

Ни одному царскому рождению не придавали такого великого значения и особенного смысла, как этому рождению будущего грозного царя. Летописцы записали, что будто бы в час его рождения по всей Русской земле внезапно был страшный гром, блистала молния, как бы основание земли поколебалось; после узнали, что в тот час родился государь Иван Васильевич.

Исполняя свои обеты, счастливый отец между прочим повелел сделать «Петру чудотворцу раку златую, вычека-

[1] Степенная книга. Кн. II. – 1560–1563. – С. 209, 237.

нить и образ святого злат и каменьями дорогими украсить, а стороны раки серебряны; Алексею чудотворцу – раку серебряную всю и на раке образ его позлатить и столбцы у раки позлатить же». В генваре 1531 г. начали делать эти раки. Через четыре года в феврале 1535 г. рака Алексею чудотворцу была доделана уже после кончины Василия Ивановича, и тогда же февраля 11 святые мощи чудотворца с торжеством были переложены из старой в новую раку в присутствии малолетнего государя Ивана Васильевича. О золотой раке Петра чудотворца сведений не имеем.

Через два года с небольшим, 30 октября 1532 г., родился у Елены другой сын Юрий, восприемником которого тоже был Даниил Переяславский. Затем 3 декабря 1533 г. великий князь скончался, оставив по себе двух малолетних наследников.

Царь Иван Васильевич женился первым браком на Анастасии Романовой, на 17-м году, 3 февраля 1547 г. Бог не благословил их детьми в первые два года супружества. По благочестивому примеру отцов молодые супруги стали усердно молиться о своем неплодии.

21 июня 1548 г. (когда прошло уже 16 мес., а наследника у царицы не было), в последнюю неделю Петрова поста, государь со многим желанием и с великою верою совершает обетное богомолье к Троице пешком с царицею и с братом. С тою же, по всему вероятию, мыслью о чадородии и царица особо предпринимает 14 сентября новое богомолье к Троице – также пешком, по обещанию. Через неделю за нею выехал в монастырь и сам государь. Спустя год после этого обетного богомолья 10 августа 1549 г. у супругов родилась дочь Анна. Государь так был обрадован рождением дитяти, что тогда же в Новодевичьем монастыре заложил обетный храм во имя Иоакима и Анны, слушал там всенощную и

заутреню и на утро другого дня, 18 августа, освятив этот обыденный храм, крестил в нем новорожденную дочь. Через год, однако ж, младенец скончался. Другая дочь Марья, родившаяся 17 марта 1551 г., также скончалась младенцем. На следующий год (1552) 11 октября родился сын Димитрий в то самое время, как царь окончил так счастливо завоевание Казанского Царства. Радость его о рождении наследника была неизреченна. Связывая значенье *казанского взятья* с победою над Мамаем, он дал сыну имя в память прародителя Дмитрия Ивановича Донского – первого победителя татар. По приезде из похода в Москву государь вместе с царицею возил новорожденного в Троицкий монастырь ко крещенью. Потом, весной следующего года, царь повез с собой младенца даже в Кириллов монастырь, на Белоозеро, когда отправился туда молиться вместе с царицею по случаю своего выздоровления от болезни. Но к великой горести родителей, младенец скончался на возвратном их пути в Москву в июне 1553 г. Царь и царица «зельною печалию объяты быша и сугубо скорбяше, понеже неимуще ни единого чада». Снова предпринимают они богомольный поход по чудотворцам, молятся в Ростове у великого святителя Леонтия, прося у Бога чадородия в наследие своему царству; молятся в Переяславле у гроба прп. Никиты и у честных его вериг; молят со слезами святого Никиту как благонадежного ходатая к Богу. Молитвами угодника Бог отнял скорбь от их сердца. «Того ж дни приидоша в град Переяславль и в царском дому своем обрадованно почиша. И ту царица зача во чреве своем. И оттуду приидоша в царствующий град Москву, веселящеся, благодаряще Бога. Егда же приспе время, родися им благодарованный сын (1554 г. марта 28) и наречен бысть отчим именем царевич Иван». Признательная царица после того своими руками и боголепными своими трудами вышила на плащанице из дорогой Венедицкой камки образ чудотворца Никиты, и златом каймы обложила, и слова серебром вокруг плащаницы вышила, а

подпись – имя чудотворцево – дорогими жемчугом и дорогими каменьями и бисером многоценным украсила и на раку чудотворца положила[1]. «Потом родися царю царевна Евдокия, 1550 г. февраля 26, и царевич Феодор, 1557 мая 11». Царевна на третьем году скончалась (в июне 1558 г.); сыновья же, как известно, достигли совершенного возраста. Но, видимо, их здоровье сохранено надолго молитвами и заступлением того же Угодника Божия прп. Никиты. Однажды, когда царевич Иван был уже по второму году, царица по обыкновению отдыхала, а царевич у кормилицы сидел на коленях. Внезапно кормилица слышит позади себя на лавке воду, клокочущую в оловянном сосуде. Кормилица в испуге вскочила с царевичем, подумав, что сосуд *проутлился* т. е. протек; а в сосуде сохранялась вода, взятая из кладезя св. Никиты. Тут была приставница-мама царевича Фотинья. Она тотчас приняла к себе царевича на руки, взяла потом сосуд, и «паки возгреме вода в сосуде» в руке Фотиньи, так что даже сама собою открылась крышка и кипящая вода потекла из сосуда, исходя *двумя источниками* (быть может, намек на двух сыновей царя). Благоразумная Фотинья, разумея, что это благодать Божия, принимала рукою кипящую воду и возливала ее на главу, и на лицо, и на все тело царевича, приговаривая: «Буди сие Божие милосердие на многолетное здравие и радость благородным твоим родителям и тебе, государю, и всему вашему царству». Проснулась и сама царица. Рассказали ей все, как было. Взяла она сосуд в свои руки и «паки воскипе вода и возливашеся на руце ее». Царица благодатную ту воду возлила на свое лице и на перси. Умывались тою водою и все живущие там (во дворце): «видеша благодать Божию, дивляхуся, славяще Бога и великого в чудесех Никиту». Возвещено же бысть чудо сие и великому государю[2]. Подтверждением этому сказанию мо-

[1] Описание сборников Императорской публичной библиотеки А. Ф. Бычкова. – Т I. – С. 212.

[2] История о Казанском царстве. – СПб., 1791. – С. 262.

жет служить то обстоятельство, что спустя 2 года по рождении царевича Ивана, 1 сентября 1556 г., царь с царицею и с сыном, предприняв обычный поход к Троице, проехал оттуда в Переяславль к Никите чудотворцу и повелел игумену «общину соделати и велий монастырь сградиша...». Известно, что в XVII столетии в числе домовых, сенных храмов и престолов на царицыной половине дворца существовал и придел Никиты Переяславского, устроенный, по всему вероятию, еще при Грозном, в особенное уважение к покровительству святого угодника Никиты. Он находился в храме Святого Лазаря, в нижнем этаже сенной царицыной церкви Рождества Богородицы.

Перед тем временем как царь Иван Васильевич вступал в седьмой и последний свой брак, он женил и младшего своего сына Федора на сестре Бориса Годунова – Ирине Федоровне – весною 1580 г. Федору в это время было уже 23 года. Рассказывают, что отец решился женить его по той причине, что у старшего его брата Ивана не было детей, что, следовательно, царский род мог остаться без наследника. Простой умом и болезненный телом Федор, однако ж, не был способен укрепить на престоле царский корень. Ирина же Федоровна, по официальным сведениям, подобно Соломонии, испытала несчастие бездетства, которое не повлекло за собою развода единственно только потому, что в наследники царства шел уже твердою стопою ее брат Борис.

Надо припомнить любопытное обстоятельство, о котором рассказывает избирательная на царство грамота Годунова, по всему вероятию, с его же слов, что его сестра Ирина Федоровна еще при жизни Грозного в младенческом возрасте, семи лет, была взята во дворец и воспитывалась вместе с царевичем Федором как обреченная ему невеста.

В грамоте читаем следующее: «По Божиему изволению и по своему милосердию вел государь царь и великий князь Иван Васильевич сочтал за сына своего великого государя царя и великого князя Федора Ивановича великую государыню нашу царицу и великую княгиню Ирину Федоровну благозаконным браком, а взял ее, государыню, в свои царские палаты не в совершенном возрасте *седми лет* и была питома в его царьских палатах до сочетания брака; а государь наш Борис Федорович при его царьских пресветлых очех был всегда безотступно по тому же не в совершенном возрасте, и от премудраго его царьского разума царственым чинам и достоянию навык»[1].

При этом является затруднительный вопрос, почему женитьба царевича Федора не была совершена в должное по старому обычаю время, когда царевичу наступал готовый к женитьбе возраст, а женился он с опозданием, спустя этот возраст, на 23-м году. Возможно предполагать, что возраст невесты до этого года не был еще готов для брака. В первые годы этого брака и сам Годунов очень заботился о чадородии сестры, ибо тем только он и мог твердо держаться у царского престола. В 1585 г. он поручает англичанину Горсею разведать у ученых английских докторов о средствах «к зачатию и нарождению детей» и привести в Москву «докторицу, искусную во врачевании женских болезней и безчадия». Горсей выспрашивал мнений и наставлений ученых врачей оксфордских, кембриджских и лондонских и, наконец, просил королеву (Елизавету) отправить с ним в Россию опытную повивальную бабку. Повивальная бабка была привезена в 1586 г.[2] Но она не только не была допущена к царице, но даже и не привезена в Мо-

1 Акты, собранные Археографическою экспедициею. – Т. II. – № 7. – С. 25.

2 В то же время вместе с Горсеем выехал вторично в Москву и английский доктор Роберт Якоб, которого рекомендовала царице Ирине сама королева как весьма искусного врача и особенно знающего женские всякие болезни и *родильные болезни всякие* лучше иных баб. См.: *Рихтер В. М.* Указ. соч. Ч. 1. – С. 298, 405.

скву. Ее задержали в Вологде; там она как сосланная жила целый год и потом уже отпущена в Англию. Возвратившись на родину, бабка подала в московское торговое английское общество просьбу на Горсея, в которой требовала с общества проторей 100 фунтов стерлингов, объяснив притом, что Горсей обманул королеву, сказав, будто бы царица Ирина при выезде его из России была в пятом месяце своей беременности, между тем как ее в течение целого года и не потребовали к царице. Она подозревала, что не была допущена к царице происками Горсея.

Обманывал ли в самом деле Горсей королеву по поручению именно Годунова, которого очень беспокоило теперь уже то обстотельство, что царица Ирина «со времени своего супружества часто бывала беременна», – дело темное, как и многое множество дел тогдашнего века. Известно, что Горсей был самым преданным услужником Годунова, который за то и оказывал ему необычайные ласки и милости[1].

Оставленная им по этому делу в описании своего путешествия заметка весьма подозрительна. Он говорит: «Я потратил много времени, спрашивая у ученых врачей оксфордских, кембриджских и лондонских их мнений и наставлений для императрицы Ирины в ее трудных обстоятельствах фор консертион анд прокератион оф чилдрен» (при зачатии и рождении детей). Горсей употребил в этих словах русские буквы, чтобы скрыть это содержание записок от любопытных. «Она вышла замуж семь лет назад (1580 г.) и часто *консеявед* (бывала беременна?!). Спрашивал вместе и о некоторых других брачных обстоятельствах, на что был уполномочен секретно». Королева Елизавета, посылая Ирине бабку и еще доктора Якоба, писала ей письмо, в котором и упоминала именно о посылке бабки. В переводе на русский место о повивальной бабке было пропущено, так что ни царь и ни царица не могли и знать,

[1] Сказания англичанина Горсея о России в исходе XVI столетия // Отечественные записки. – 1859. – Сентябрь.

что бабка прислана. По свидетельству одного современника, Ирина в действительности ничего не знала о приезде бабки. Таким образом, из обстоятельств дела видно, что Годунов, хлопоча для прилики о бабке, чтобы помочь бездадию, хлопотал совсем о другом, именно: чтобы чад не было. Трудно верить, но могло и это быть[1].

Горсея после обвинили и даже хотели повесить, за то, между прочим, что, привезя в Россию повивальную бабку для царицы, он тем оскорбил честь царицы. Но, по-видимому, все оскорбление состояло лишь в том, что этому делу королева по недоразумению дала излишнюю гласность.

Заботы Годунова о чадородии царицы-сестры в первое время ее брака являлись, как мы заметили, насущною необходимостью для сохранения и укрепления его положения при царском лице. Они тем более были необходимы, что, по некоторым, весьма вероятным сказаниям, царь Иван Васильевич оставил завещание, что если Ирина через два года (после его смерти) не будет матерью, то Федору развестись с нею и жениться на другой. Сверх того, не желал и народ бездетного царского супружества. Действительно, года через два или три по вступлении на царство Федора составился заговор против самовластного временщика. Митрополит Дионисий, бояре Шуйские и их сторонники, а также гости и все люди купеческие сошлись на совет и рукописанием утвердили бить челом государю, чтоб он «чадородия ради второй брак принял, а первую свою царицу Ирину Федоровну отпустил бы в иноческий чин»[2]. Общим советом была избрана бездетному государю и невеста – сестра боярина князя Федора Ивановича Мстиславского, княжна Ирина Ивановна. Годунов скоро успел рассеять вместе с людьми и самую память об этом предприятии.

[1] *Гамель И.* Англичане в России в XVI и XVII столетиях. – СПб., 1865. – С. 114 и след.

[2] *Карамзин Н. М.* Указ. соч. Т. X. – С. 46. Прим. 147.

Невесту тайно увезли из дому и постригли в монахини[1]. Между тем царица продолжала молиться о чадородии. В 1589 г. после торжества поставления первого в Москве патриарха Иова Константинопольский патриарх Иеремия вместе с прочим духовенством был приглашен и в палату к царице благословить ее. Когда совершилась эта церемония, то на средину палаты вышел почтенных лет боярин и возгласил патриарху, чтобы он помолился о здравии и благополучии царя и царицы и просил бы Господа Бога о даровании им наследника. С тою же просьбою обратился старец и ко всем спутникам патриарха, которые все громким голосом стали молить Бога об исполнении желания царицы. Вслед за тем и сама царица «с большим чувством и со слезами просила духовенство молиться усерднее Господу о даровании ей наследника. Все плакали, ибо очень были тронуты этою мольбою царицы и воссылали еще раз самые усердные моления, заключив их словами: Пошли ей, Всемогущий Господи, то, что для нее самое важное, а именно – наследника ее царству»[2]. Наконец, в июне 1592 г. царица разрешилась дочерью Феодосиею, которая вскоре и скончалась. В 1589 г. царь Федор помер без наследника. С ним прекратился и род царя Ивана Васильевича – московский царский род, обессилевший и совсем угасший в борьбе с боярскими родами, которым с этой минуты открылся желанный путь к царскому престолу.

В XVII столетии в роде Романовых царицы, к их счастию, не испытали особенных печалей неплодия. Но заботы о чадах мужеска пола не покидали и их.

[1] Старица княжна Ирина Ивановна Мстиславская при царе Михаиле жила вместе с его матерью Марфою Ивановною в Вознесенском монастыре и пользовалась большим уважением при дворе, являясь на торжественные пиры к столам царицы Евдокии Лукьяновны.

[2] Чтения Общества Истории и Древностей Российских. Кн. II. – 1863. – С. 252.

У второй супруги царя Михаила Федоровича, царицы Евдокии Лукьяновны (Стрешневых) первым плодом чрева была дочь – царевна Ирина Михайловна, родившаяся в 1627 г.; вторым плодом в 1628 г. была тоже дочь – Пелагея, прожившая всего 9 месяцев. Это обстоятельство, что рождаются только дочери, очень опечалило и озаботило царственных супругов. Была печаль и беда немалая и царю, и еще более – благоверной царице о «безродии сыновнем», о безродии наследника царству, беда, обыкновенно развивавшая холодность царя к несчастливой царице. Супруги стали усердно молиться... Однажды в беседе с известным во дворце соловецким иноком Александром Булатниковым, который впоследствии былъ келарем Троицкого монастыря, царь Михаил обратился к нему со словами: «Ты не знаешь ли, кто у вас старец преподобный, который помолился бы о нашей печали?». Александр ответил: «Есть, государь, такой муж, и я уверен, что может испросить вам у Бога плод сыновства: это прп. Елеазар, подвижник Анзерский». Александр рассказал подробно о святом его житии, и царь немедля послал Александра с люблением, дабы преподобный как можно скоро прибыл в Москву. Прибыл святой старец в царские палаты и в беседе с горевавшими супругами утешил их благонадежными словесами: «Не печалуйте, – говорил. – Силен бо есть Бог дати вам плод по вере вашей, и это сбудется, яко день сей. Уповаю на Господа, что зачнется вам сын и родится и царствию по вас будет наследник». Слыша это, супруги исполнились неизреченной радости и упросили преподобного, чтобы остался до времени в Чудовом монастыре. «Богу содействующу глаголам святого, не по многом времени зачатся и родися царю сын Алексей Михайлович», который, впоследствии воцарившись, почитал святого старца как другого отца – богодарованного, осыпал его щедрыми дарами и повелел в его скиту соорудить церковь каменную[1].

1 Житие Елеазара Анзерского. Ск. в 1656 г.

Царица Евдокия Лукьяновна имела семь дочерей и три сына, из которых двое – Иван и Василий – скончались малолетными. Бог сохранил только Алексея, на счастие государству, как отца Великому Петру. Царица после не совсем благополучных родов царевичем Василием, который вскоре помер, в течение шести лет (1639–1645), до самой смерти царя, оставалась бесчадною. Она, по свидетельству современников, с того времени «была перед прежним скорбна и меж супругами в их государском здоровье и в любви стало не по-прежнему…» (см. ниже статью «Колдовство на царицын след»). Супруги молились и великую веру показали к прп. Александру чудотворцу Свирскому, коего святые мощи были обретены в течение тех же лет, в 1641 г. Царь в 1643 г. устроил для мощей чудотворца богатую серебряную раку, а царица «устроила швейным художеством своими руками со благородными своими чады (дочерьми), цветных синет на плащанице образ святой Живоначальные Троицы и преподобного отца Александра, и украсила златом и сребром и бисером (жемчугом) со драгим камением, и повелела положити на многочудесные мощи преподобного…». Но Бог не благословил этого благочестивого ходатайства. Царь Михаил через 2 года скончался, за ним вскоре скончалась и царица.

Англичанин Коллинс сообщает слух, что если бы супруга Алексея, царица Марья Ильична Милославских, не разрешилась после четырех дочерей вторым царевичем Феодором, то она была бы пострижена в монастыре. Так, вероятно, соображало общественное мнение в то время, хорошо помнившее прежние события в царской семье.

ГЛАВА IV
ОБРЯД ЦАРИЦЫНОЙ ЖИЗНИ, КОМНАТНОЙ И ВЫХОДНОЙ

Замкнутость царицына быта. — Повседневное молитвенное правило. — Молитва и милостыня как общая стихия царицыной жизни. — Богомольные выходы и выезды, повседневные и годовые. — Приемы праздничные. — Приезжие боярыни. — Столы праздничные. — Столы семейные. — Особые торжественные приемы иноземных цариц и высших духовных властей. — Приемы повседневные. — Очерк комнатной повседневной царицыной жизни. — Выезды для гулянья.

«Ни одна государыня в Европе, – говорит Рейтенфельс, современник царя Алексея, – не пользуется таким уважением подданных, как русская. Русские не смеют не только говорить свободно о своей царице, но даже и смотреть ей прямо в лицо. Когда она едет по городу или за город, то экипаж всегда бывает закрыт, чтобы никто не видал ее. Оттого она ездит обыкновенно очень рано поутру или ввечеру. Царица ходит в церковь домовую, а в другие очень редко; общественных собраний совсем не посещает. Русские так привыкли к скромному образу жизни своих государынь, что когда нынешняя царица (Наталья Кирилловна Нарышкиных), проезжая первый раз посреди народа, несколько открыла окно кареты, они не могли надивиться такому смелому поступку. Впрочем, когда ей объяснили это дело, она с примерным благоразумием охотно уступила мнению народа, освященному древностию».

«Русские царицы проводят жизнь в своих покоях, в кругу благородных девиц и дам, так уединенно, что ни один мужчина, кроме слуг, не может ни видеть их, ни говорить с ними; даже и почетнейшия дамы (боярыни) не

всегда имеют к ним доступ. С царем садятся за стол редко. (Царь обедает обыкновенно один, а ужинает, по большей части, вместе с царицею.) Все занятия и развлечения их состоят в вышивании и уборах. Нынешняя царица Наталья хотя отечественные обычаи сохраняет ненарушимо, однако ж, будучи одарена сильным умом и характером возвышенным, не стесняет себя мелочами и ведет жизнь несколько свободнее и веселее. Мы два раза видели ее в Москве, когда она была еще девицею. Это женщина в самых цветущих летах, росту величавого, с черными глазами навыкате, лицо имеет приятное, рот круглый, чело высокое, во всех членах тела изящную соразмерность, голос звонкий и приятный и манеры самые грациозные».

Мейерберг, бывший в Москве лет десять прежде, при царице Марье Ильичне Милославских, рассказывает, что «за столом государя никогда не являлись ни его супруга, ни сын (Алексей Алексеевич), которому тогда было уже 20 лет, ни сестры, ни дочери его. Уважение к сим особам столь велико, что они никому не показываются. Из тысячи придворных едва ли найдется один, который может похвалиться, что он видел царицу или кого-либо из сестер и дочерей государя. Даже и врач никогда не мог их видеть. Когда однажды по случаю болезни царицы необходимо было призвать врача, то, прежде чем ввели его в комнату к больной, завесили плотно все окна, чтоб ничего не было видно, а когда нужно было пощупать у ней пульс, то руку ее окутали тонким покровом, дабы медик не мог коснуться тела. Царица и царевны выезжают в каретах или в санях (смотря по временам года), всегда плотно и со всех сторон закрытых; в церковь они выходят по особой галерее, со всех сторон совершенно закрытой». «Русские так благоговеют пред своею царицею, – прибавляет Лизек, – что не смеют на нее смотреть, и когда ее царское величество садится в карету или выходит из нее, то они падают ниц на землю».

Особое благоговение и уважение народа к царице, которым иностранцы объясняли эту чрезмерную недоступность к их особе, объясняется очень просто тем обстоятельством, что всякий, кто позволил бы себе какой-либо поступок, хотя мало и вовсе неумышленно нарушавший требования такой недоступности, тотчас подвергался всем строгостям дворской подозрительности, а следовательно, и всем возможностям попасть в самую страшную беду. Ни для кого не проходила даром даже нечаянная встреча с царицею: тотчас начинались розыски и допросы, не было ли какого злого умысла. Так, однажды, 26 апреля 1674 г., во внутренних переходах дворца случилась какая-то встреча стольников с экипажем царицы, ехавшей на богомолье в Вознесенский монастырь. Началось дело, розыск и допросы. К сожалению, до нас дошли только отрывки этого дела, именно несколько допросов, из которых, однако ж, не видно, в чем, собственно, были виновны стольники.

«182 года апреля в 26 день стольник Иван Васильев сын Дашков допрашиван, а в допросе сказал: как великая государыня царица шла с дворца в Вознесенский монастырь и в те поры Василий Федоров, сын Полтев шел перед колымагою государыни царицы низом, а как он шел, в ворота ль или через Красное крыльцо, того он не видал. Иван Иванов, сын Бутурлин сказал: как великая государыня царица шла с дворца в Вознесенский монастырь, и как она великая государыня будет, идучи с дворца, в воротех, и в те поры он, Иван, его, Василья (Полтева), великия государыни царицы за колымагою видел, а в ворота ль он, Василей, за колымагою шел или через Красное крыльцо – того он не видал. Стольник Михайло Иванов, сын Прончищев сказал: шел он за великою государынею царицею Наталиею Кирилловною от мовные лестницы дворцом и для-де поспешения обежал он на Постельное крыльцо лестницею, где стрельцы стоят, для того, что его обмарали и обрызгали грязью. И, обежав, встретил великую государыню царицу под переходами, что

под садом. И в той моей вине воля его, великого государя, виноват пред Богом и перед великим государем; а передо мною и за мною бежали многие стольники: князь Федор Вяземский, Михайло Бунаков, Михайло Собакин, а иным стольникам имян не упомнит, потому бежали скоро».

Вероятно, за свою вину стольники из *чину* были отставлены, но вскоре, через три дня после допросов, прощены: «Апреля в 29 день государь пожаловал, велел им быть по-прежнему. Указ великого государя сказал Иван Кириллович Нарышкин Авраму Лопухину».

Котошихин сказывает, что если царице случится куда ехать, то кареты или каптаны (зимние возки) бывают закрыты камкою персидскою, как едут Москвою или селами и деревнями. Во время пеших выходов около них на все стороны носили суконные полы, чтоб люди их зреть не могли. В церкви они стояли в особых *местах*, завешанные легкою тафтою; да и в церкви в это время кроме церковников бояр и ближних людей иные люди не бывали. Только одни церковники в необходимых случаях видали государыню. Самые необходимые, по уставам Церкви, выходы и выезды, например в кремлевские церкви и монастыри, совершались большею частью или ранним утром, или по ночам, что наблюдалось также и при въездах в монастыри во время отдаленных богомольных походов.

В 1572 г. мая 31 царь Иван Васильевич, приехав с царевичами и царицею Анною (Колтовских) в Новгород, остановился на ночлег в монастыре у Спаса на Хутыне. Он въехал в монастырь часа за три пред заходом солнца и после обычных церковных встреч обедал там в игуменской келье в *вышке* со всем своим двором, с Новгородским владыкою и со всею монастырскою братьею. Царица приехала в монастырь в первом часу ночи (после солнечного заката). Для ее двора было занято восемь особых келий: «стоят княгиням и боярыням»; кельи были на этот случай загорожены с монастыря досками. При отъезде из Новгорода царица Анна ходила молить-

ся в собор Софии Премудрости Божии и прикладывалась к мощам Ивана да Никиты Новгородских чудотворцев. Выход этот совершен был, однако ж, *ночью*, в субботу 16 августа[1].

Это свидетельство об одной из первых цариц мы можем пополнить подобным же свидетельством о богомольных выездах последней царицы Евдокии Лопухиных, которая, находясь в заточении в Покровском Суздальском монастыре, иногда выезжала оттуда тайно на богомолье в монастырь Козьмы Яхромского чудотворца (Владимирская губерния). Вот что рассказывал на допросе об этих приездах игумен Яхронского монастыря Симон: «Наперед приезжали слуги Покровского монастыря и очищали кельи, где царице стоять; отбирали у пономарей церковные ключи и сказывали монахам, чтоб из келий на время царицына приезда не выходили. Царица въезжала в монастырь в карете за стеклами после полуден; ехала прямо к соборной церкви и входила в церковь, *ограждена красными сукнами, скрытно*. Игумен и монахи никогда ее не видали. Она слушала вечерню, а после подъезжала к кельям, в которых стаивала, в карете ж закрыта, и в кельи вступала ограждена сукнами. В ночное время входила в церковь и отправляла всенощное пение (*заутреню*) и литургию, а бывало ли молебное пение – того ни игумен, ни монахи не знали, потому что в церкви в то время не были, никого близко к церкви не подпускали. Службы отправляли приезжие с царицею попы, а на крылосе пели приезжие ж с нею монахини. После обедни игумена и братью в трапезной церкви царица кормила своим привозным столом, пища была – рыба, питье – мед. Потчевали служители царицы. После стола, когда монахи шли из трапезы домой по кельям, те служители указывали им, чтоб они кланялись за стол царице к ее кельям, и они кланялись по трижды в землю и, поклонясь, расходились по кельям. В той же трапезе делили и деньгами, игумену давали по гривне, братьям – по 6 ден. Игумен на приезде царицы в навечерии подходил

[1] ПСРЛ. Т. III. – С. 174.

к ней с хлебом и стоял у крыльца; и по докладу дневальных, тут всегда стоявших, пускали его в сени, а в сенях по приказу царицы принимали у него хлеб монахини. А в другой приезд пущен был пред нее царицу, и она его спрашивала: какою казною построен в том монастыре иконостас? И он донес, что строен мирским подаянием и келейными своими деньгами. Царица его поблагодарила и отпустила немедленно, а у руки ее он, игумен, не был. При выезде царицы из монастыря игумен с монахами выходили за ее каретою, за монастырь и вслед ее кланялись ей, царице, по трижды в землю и, поклонясь, возвращались в монастырь»[1].

Хотя это свидетельство относится уже к началу XVIII в. (оно взято из дела 1721 г.), тем не менее, оно служит точною характеристикою всех тех подробностей и обстоятельств, при которых обыкновенно в течение XVI и XVII столетий совершались монастырские богомолья цариц. Царица Евдокия оставалась до конца дней представительницею, а сначала и поборницею старинных привычек, старинных обрядов и порядков быта. Очень естественно, что она сохраняла эти порядки даже и в то время, когда они были в царском быту отвергнуты и совсем забыты.

Но, само собою разумеется, что, скрываясь от глаз народа, от всяких общественных, публичных собраний, вообще от людских глаз, царица, как и все другие знатные женщины, не лишала себя любопытства и удовольствия смотреть на публичные действа и собрания, каковы были торжественные церковные действа и крестные ходы, торжественные встречи иноземных послов, торжественные обеды за царским столом и т. п. На церковные торжественные действа, совершаемые обыкновенно в Кремле, она смотрела потаенно из окон Грановитой палаты вместе со всем семейством. Туда патриарх обращал к ней крестное осенение и благословение. Так, 28 марта 1675 г., совершив обряд ше-

1 Временник Императорского Московского общества Истории и Древностей Росийских. Кн. 24.

ствия на осляти и возвратившись к собору, патриарх, сседши с осляти, благословил крестом государя и потом осенил крестом ко Грановитой палате царицу, царевичей и царевен и напоследок, кроме того, осенил руками[1]. Есть также свидетельство, что царица сматривала из окна своего терема и торжество государева венчания на царство. Когда короновался царь Федор Иванович, его супруга Ирина (Годуновых), по свидетельству Горсея, сидела в своем тереме у окна на престоле в великолепной одежде с венцом на главе; кругом ее стояли боярыни; народ, увидав ее, здравствовал ей[2]. Этот терем в то время, по всему вероятию, стоял над сводами царицыной Золотой палаты, где теперь собор Спаса, и таким образом наличною стороною выходил на площадь к большим соборам, так что из окон всегда можно было видеть совершаемые там церемонии. Тот же Горсей рассказывает еще, что когда были привезены им из Англии разные подарки царю, и в том числе заморские животные, которых привели и поставили для смотра перед дворцом, именно: особой породы белый с черными пятнами бык, легавые и борзые собаки и два льва в клетках, то из окон дворца на эти диковины смотрела вместе с царем и царица Ирина.

Приемы послов и других лиц, а равно и торжественные столованья в Грановитой палате царица сматривала из особой палатки, нарочно для того и устроенной над входными дверьми этой палаты (т. I, гл. III). Посольские въезды она сматривала из палат над Воскресенскими воротами, в которые обыкновенно направлялись такие шествия во второй половине XVII столетия. Для этого палаты всегда убирались сукном. Царица проходила сюда по кремлевской и китайгородской (уже сломанной) стене. Да и вообще дóлжно полагать, что все подобные публичные действа так устраивались и так располагались, что царица из какого-либо удобного места всегда могла потаенно их видеть.

[1] Там же. – С. 77.

[2] Сказания англичанина Горсея о России в исходе XVI столетия // Отечественные Записки. – 1859. – Сентябрь. – С. 124.

Лизек рассказывает, что именно с такою целью государь назначил прием их посольства в 1675 г. в Коломенском дворце: «Царице очень хотелось видеть эту церемонию, – говорит Лизек, – но как ее любопытство не могло быть удовлетворено, если б мы представлялись царю в Палате, для аудиенций назначенной, потому что там не было места, с которого она могла бы смотреть, не быв сама видимою, то царь положил дать аудиенцию в Коломенском замке, отстоящем от Москвы на одну немецкую милю, уверив наперед (а это было необходимо по посольскому этикету), что от этого не произойдет для послов никакого неприличия». Посольство по назначению отправилось церемониальным шествием. «Царица завидела нас издали, – продолжает Лизек, – и, чтобы доставить ей удовольствие смотреть на нас как можно долее, прислан ездовой, за которым мы своротили с дороги и поехали дальним путем по открытому полю». Посольство остановилось на отдых перед дворцом, потом торжественно вступило в царские хоромы. Из окон приемной комнаты смотрел и сам государь со старшим сыном. Посольство было справлено с обычными церемониями. «Царица, находясь в смежной комнате, – заключает Лизек, – видела всю аудиенцию с постели (быть может, с особо устроенного рундука или помоста), чрез отверстие притворенной двери, не быв сама видимою; но ее открыл маленький князь, младший сын (царевич Петр), отворив дверь, прежде нежели мы вышли из аудиенц-залы».

Когда, года за три перед этим временем, открыты были в первый раз в Москве «комедийные действа», или театральные представления, то царица точно так же смотрела их потаенно сквозь решетки своей ложи. «Во время представления, – говорит Рейтенфельс, – царь сидел перед сценою на скамейке; а для царицы с детьми было устроено место, род ложи, из которой они смотрели из-за решетки или, правильнее сказать, сквозь щели досок».

Таким образом, для царицы, равно как и для всего царского семейства, всякое зрелище бывало доступно. Ни она и ни ее семья со всем дворовым женским чином не лишались удовольствия поглядеть на то, что творится между мужским чином, как этот чин справляет свои торжества и увеселения публично, на глазах всего народа. Словом сказать, публичная жизнь не была закрыта от их очей. Заботливо скрывались только они сами от очей публики и от всякого общественного «действа». Но время и обстоятельства, вообще движение той же общественной жизни брали свое, и в силу этого движения царь Алексей, видимо, хотя, быть может, несознательно, стремился раскрыть вековые «запаны и завесы», скрывавшие его царицу, видимо, желал переделать вековые решетки, сквозь которые смотрела его царица на человеческий мир; он, как и во всем, передовой человек своего великого сына, передовой человек великой реформы мало-помалу стремился вместо решеток устроить открытое окно.

Так, царица Марья Ильична Милославских – первая его супруга – уже присутствует на торжественных действах по случаю отпуска войск на польского короля в 1654 г. Когда апреля 23 совершалось отпускное молебствие на рать идущим, она слушала литургию в Успенском соборе среди всего синклита и всех чинов: «А стояла на своем месте, а по левую сторону царицына места стояли боярские и прочия честные жены…». После литургии, когда происходила церемония отпуска воевод, она стояла также на своем месте за *запаною*... Во время литургии, быть может, запана была открыта... По окончании службы патриарх подходил к ней и благословил просвирою. Затем во время пребывания в Москве вселенских патриархов Паисия и Макария царица не один раз выходила вместе с государем и детьми в соборы и другие церкви слушать их торжественное служение.

Вот что рассказывает о таком выходе Павел Алепский: «В воскресенье праотцев, рано поутру, патриарх Никон пригласил нашего учителя (патриарха Антиохийского),

и они вместе служили в соборе в присутствии царя и царицы, которая не являлась в собор со времени отъезда царя в прошлом году в Троицын день (о чем упомянуто выше). Именно этот патриарх убедил царицу сходить в собор и устроил для нее особый трон (вероятно, поновленный к этому времени, ибо *царицыно место* исстари существовало в соборе). В прежнее же время, – продолжает Павел, – царицы не имели обыкновения приходить в собор днем, а только ночью. Когда царица сошла из своего дворца, стрельцы разогнали народ с двух сторон. Впереди нее шли все жены бояр попарно в удивительном порядке наподобие шатырбашей и скороходов пред царем; каждые две были одеты одинаково, большею частью в черный или фиолетовый бархат; на голове у них поверх *колпака* небольшое покрывало и на нем висит род лопастей из соболя или дорогой чернобурой лисицы, прикрепленных к голове и спускающихся назад. За боярынями вошла царица, которую вела за правую руку ее мать, а за левую – сестра, состоящая в замужестве за великим визирем (Б. И. Морозовым). Прочие служанки и девушки шли позади нее; у замужних женщин головы были обернуты большим белым покрывалом, а девицы имели на голове род тюрбана из соболя. Певчие пропели царице многолетие. Помолившись, она стала на своем троне, и с правой стороны от нее опустили *занавес*, чтобы народ не мог ее видеть. Отец и дядя царицы стали поблизости, а все жены бояр и служанки стали слева, подле северных дверей церкви, и опустили за собою шелковую *занавеску* от колонны до стены, чтобы никто их не видел, так что они были как бы в закрытом со всех сторон помещении. Тогда патриарх подошел к царице, благословил ее крестом, окропил святой водой и возвратился. После царицы пришел царь и, приложившись к иконам и мощам, по своему обыкновению, подошел к патриархам; они благословили его крестом и окропили святой водой его и шапку его, и он стал на своем царском месте. Начали часы, потом обедню. По прочтении Евангелия архидиакон поднес

его приложиться сначала патриархам, потом царю и царице, которые сошли со своих мест и приложились. После великого выхода патриарх Никон вышел и благословил царя и царицу крестом, а после обедни взошел на амвон и прочел поучение на этот день. Затем он раздал антидор царю, царице, большинству вельмож, священникам и монахам... После того как патриархи проводили царя и он ушел, удалили из церкви всех мирян и затворили двери, и патриарх предшествовал царице, пока она прикладывалась ко всем иконам, мощам святых и к ковчегу с ризой Господней. Патриархи проводили ее, и она удалилась»[1].

Совершался уже открытый торжественный выход в собор при всем народе, но запана еще не открывалась. Царица даже в своей домовой церкви Рождества Богородицы слушивала литургию патриаршей службы хотя и вместе с государем, но все еще в притворе[2], уединенно даже от избранного святительского и домашнего общества. Павел Алеппский рассказывает, что когда патриархи служили литургию в той же домовой царской церкви в присутствии царя, некоторых из его приближенных, а также царицы и сестер царя, то, когда царица и сестры вошли в храм, дверь заперли за ним, чтобы никто не входил, и они смотрели на нас из-за решеток и маленьких окон[3]. Такую строгость в исполнении стародавних обычаев мы должны приписать в этом случае самой царице, ее благочестивой и богомольной застенчивости, поддерживаемой, без сомнения, ее родством, в среде которого было немало приверженцев и поклонников старого Домостроя. Сам государь, как мы упомянули, был очень склонен открыть запану, устроенную этим Домостроем, – и вот почему его вторая царица – Наталья Кирилловна Нарышкиных – является совсем другим

[1] *Муркос Г.* Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. Вып. IV. – С. 135.

[2] Дополнения к Актам Историческим. Т. V. – № 135.

[3] *Муркос Г.* Указ. соч. Вып. III. – С. 45.

человеком. Воспитанная под влиянием Артамона Матвеева в среде родства, чуждого застарелых предрассудков, она не обнаруживает в своей жизни староверческой привязанности к уставам Домостроя и ведет себя с большею свободою, конечно, не без согласия и не без сочувствия своего супруга. На первом же каком-то торжественном выезде посреди народа она «несколько открывает окно кареты», как повествует Рейтенфельс (1671–1672 гг.). Смелый поступок произвел смущение в людях: не могли надивиться такому подвигу. Когда ей объяснили, в чем дело, т. е. чего требовал старый Домострой, она с примерным благоразумием уступила, но ненадолго. Вскоре она выезжает уже в карете «открытой» по причине присутствия послов в знак особенной милости, как отмечает Лизек, описывая торжественный же выезд к Троице в 1675 г. В то же время она не один раз выезжает в подмосковные дворцы в одной карете с царем, стало быть, уже непременно в открытой карете и, стало быть, руководителем таких подвигов является сам же государь. Затем, справляя свои именины, она принимает лично все боярство, чего не бывало, и раздает им из собственных рук именинные пироги, чего также прежде не водилось.

Шаг за шагом, еще несколько лет – и народ мало-помалу привык бы к открытой жизни своих цариц. Но в начале следующего 1676 г. царь Алексей скончался. Направляемый им ко многим новинам порядок царской жизни должен был на некоторое время замешаться. Сын царя Феодор, по любви к новинам вполне достойный своего отца, царствует недолго; при нем новины царской жизни не успевают, так сказать, войти в колею; а потом настают дворские и семейные смуты, среди которых невозможно было и думать о чем-либо правильном и прочном. Царица Наталья, оставшаяся без всякой поддержки, сиротою-вдовою, удаляется со сцены в свои вдовьи хоромы. С нею удаляются, а вскоре и вовсе погибают люди нового порядка – Артамон Матвеев и родство царицы, совсем отличное по своему характеру от родства

Милославских, которые крепко держались за корни всего старого. Конечно, царевна Софья раскрывает женскую и даже девичью фату, но, к сожалению, она играет не свою роль; она играет роль царя и под видом только царя решается вести свои публичные выходы открыто. Ее подвиг все-таки становится и в общественном мнении зазорным по той особенно причине, что в нем господствуют не европейские, а византийские, неискренние, лицемерные идеи, с которыми можно было идти назад, но идти дальше было уже невозможно. Между тем и история, и жизнь настоятельно требовали ответа на вопрос, созревший с органическою последовательностью: быть или не быть византийским началам, – и прямо склонялись к тому, что быть началам европейским. Народные передовые инстинкты прозревали истинный и прямой путь и к нравственной и гражданской свободе и разом круто поворотили на новую дорогу с этого застарелого и засоренного византийского пути, которому остались верными одни только задние люди – всякие староверы во всяких смыслах.

Мы уже сказали выше, что нравственным идеалом домашнего устройства в допетровском быту было устройство, во многом подражавшее монастырю, что лучший древнерусский дом в этом отношении был дом, наиболее приближавшийся к такому идеалу. Замкнутость царицына быта, и особенно быта царевен, конечно, еще больше способствовали водворению в их хоромах монастырской жизни. *Молитва* и *милостыня* – вот исключительная, единственная и достойная стихия этой жизни, руководившая не только помышлениями, но и всеми поступками и подвигами ее деятелей. Келейное, т. е. домовное, и церковное *правило* и подвиги милосердия – вот в чем заключалось главное, коренное и неизменное *дело* этой жизни. Само собою разумеется, что мо-

литва и милостыня как основные начала богоугодной и спасительной жизни, являясь делом, по необходимости должны были облекаться в одежду своего века, т. е. принимать формы той культуры или выработки понятий и представлений, какая господствовала в допетровском быту. Неясны будут черты описываемого быта, если мы остановимся на одних лишь словах и не постараемся определить их смысл чертами самого дела. Начала жизни пребывают одни и те же, оттого и называются они началами; но дела, совершаемые во имя начал, бывают различны, потому что всегда вполне зависят от различных бытовых условий века. Так точно и дела молитвы, как и дела милосердия, в каждый век имеют свой особый облик. Благочестие каждого века имеет свои особые черты, тому веку только свойственные, которыми оно и различается больше или меньше от благой чести других веков.

Чтобы обозначить верною и точною чертою благочестивое *правило* жизни XVI и XVII вв., которому и царицы в своем быту следовали неизменно, приведем поучение составителя Домостроя XVI в. В этом поучении заключается не один только идеал нравственной чистоты и нравственной высоты, к какому должен был на всякий день стремиться каждый истинно верующий человек; в нем вместе с тем типически обозначается и вся действительность такой жизни, рисуются типические черты повседневного домашнего быта в его наилучшем нравственном устройстве – те черты, с которыми мы постоянно встречаемся в этом описании домашнего быта цариц и которые раскрываются здесь самыми делами и подвигами, и притом по достоверным указаниям деловых же дьячьих записок.

«И ты, чадо, твори *добрые дела*: имей, чадо, великую веру к Богу: все упование возлагай на Господа: ни ктоже, надеяся на Христа, не погибнет. Прибегай всегда с верою ко святым Божиим церквам; *заутрени* не просыпай; *обедни* не прогуливай; *вечерни* не погреши и не пропивай; павечерница и *полунощница и часы* в дому своем всегды, по вся дни,

пети: то всякому христианину *Божий долг*. Аще возможно, по времени, прибавить *правила*: на твоем произволении – большую милость от Бога обрящеши. А в церкви Божии и дому на *правиле* и на всяком молении стояти со страхом, Богови молитися и со вниманием слушати, отнюдь в те поры ни о чем не беседовати, не обзиратися, разве ли кия нужда. А говорити *правило келейное* и *церковное* единогласно, чисто, а не вдвое... Священнический чин и иноческий почитай: те бо суть Божии слуги, теми очищаемся от грехов, те имеют дерзновение молитися Господу о гресех наших, и Бога милостива сотворят. Повинуйся, чадо, отцу духовному и всякому священническому чину во всяком духовном наказании. В дом свой их призывай молитися о здравии (всех)… и воду бы святили с животворящего креста и со святых мощей и с чудотворных образов; аще болезни ради, за здравие, и маслом священют. И в церквах Божиих такоже твори; приходи с милостынею и с приношением, за здравие, и *по родителех* преставльшихся *память твори* со всякою чистотою: и сам воспомяновен будеши от Бога. *Церковников* и *нищих*, и маломожных, и бедных, и скорбных и *странных* пришельцев *призывай* в дом свой, и по силе накорми, и напой, и согрей; и милостыню давай, от своих праведных трудов, и в дому, и в торгу, и на пути: тою бо очищаются греси, те бо ходатаи Богу о гресех наших... Чадо! Люби мнишеский чин, и страннии пришелцы всегда бы в дому твоем питалися; и в монастыри с милостынею и с кормлею приходи; и в темницах и убогих и больных посети и милостыню по силе давай».

Все здесь сказанное есть как бы перечень или оглавление тех самых дел и действий, а следовательно, и помышлений, какими была исполнена домашняя жизнь царицы со всем ее повседневным обрядом. Все это до точности было выполняемо каждый день и круглый год, смотря по тому, чего и когда требовал устав жития и устав церковный. Каждый день неизменно совершалось домовное *правило*, молитвы и поклоны, чтение и пение у *крестов* в крестовой или

моленной комнате, куда в свое время приходили для службы читать, конархать и петь крестовый священник и крестовые дьяки, четыре или пять человек. Царица слушала правило обыкновенно в особо устроенном месте, сокрытая тафтяным или камчатным запаном или завесом, который протягивался вдоль или поперек комнаты и отделял крестовый причт от ее помещения. Крестовая молитва или келейное правило заключалось, как упомянуто, в чтении и пении определенных уставом на каждый день молитв, псалмов, канонов, песней с определенным же числом поклонов при каждом молении. Каждый день, таким образом, утром и вечером совершалось чтение и пение часослова и псалтыря с присовокуплением определенных или особо назначаемых канонов и акафистов и особых молитв.

В праздничные и в иные чтимые дни, когда не было выходу в церковь, царица у крестов же всегда служила молебен и окроплялась святою водою, привозимою из монастырей и церквей, от праздников.

На каждый день читалось также особое поучительное *слово* из сборника, именуемого Златоустом[1]. Особенно богомольно и благочестиво проводились дни постов и кануны праздников. Тогда и правило прибавлялось, т. е. прибавлялись особые моления и молитвы, поклоны, каноны и акафисты. В эти дни читались и жития святых, коих праздничная память тогда творилась. Впрочем, чтение житий и всегда составляло достойное богомысленное упражнение на всякий день. Оттого знание священной и церковной истории в тогдашнем грамотном обществе было распространено несравненно больше, чем всякое другое знание. В совокупности со знанием церковного догмата или устава это была исключительная, единственная наука того времени или то самое,

[1] В Архиве Оружейной палаты хранится такая книга, «*глаголемая Златоуст*», вторая половина этого сборника, начинающаяся со 131 главы, или «с четверга после Всех Святых, первые недели» с отметкою внизу первых трех листов: *государыни царицы хоромная*. См. наши заметки об этой книге в Архиве Историко-юридических сведений г. Калачева. Кн. 2, отд. VI, 45.

что мы разумеем теперь под словом «образованность». В ней сосредоточивались, ею управлялись и направлялись не только нравственные, как подобало, но и все умственные интересы века, а тем более в быту женщин, замкнутых в своих теремах, лишенных участия даже мыслию и словом в делах общественных. В их-то среде и преобладал по преимуществу интерес монастырский во всех его подробностях. Здесь не государственной важности дело или событие призывало умы к вниманию и размышлению; здесь по своим впечатлениям и действиям выше всякого мирского дела и события возносилось дело веры, событие веры, проявляемое ли в новых явлениях чудотворных икон, или в новых чудотворениях, подаваемых святыми угодниками, к которым прибегали в чаянии спасительных исцелений грешной души и тела. Здесь интерес мысли сосредоточивался более всего на богоугодном подвижничестве праведника или далекого пустынника, сокровенного затворника, о прославленных святых делах которого не истощались рассказы и поучения, достигавшие сюда из самых отдаленных, глухих и незнаемых пустыней и монастырей. Здесь любопытствующий ум устремлялся лишь к святым чудотворным местам и к святым угодникам, дабы еще более укрепить свою веру в их несомненную помощь в скорбях и печалях жизни.

Так, однажды царица Евдокия Лукьяновна пожелала видеть старицу Софью, которой явилась некогда чудотворная икона Богородицы Казанской в Казани.

Монастырская власть почему-то не отпускала в Москву старицу. Царица по этому случаю послала в Казань следующие грамоты: «От царицы и великой княгини Евдокии Лукьяновны в нашу отчину, в Казань, в монастырь Пречистыя Богородицы новоявленнаго образа Казанския игуменье Анфисе. Ведомо нам учинилось, что хотела ехать к нам к Москве для нашего дела старица Софья, которой явился образ Пречистыя Богородицы Казанския и ты.... возбраняешь и из монастыря к нам к Москве.... не пустишь.

И ты то делаешь негораздо. И как к тебе ся наша грамота придет, а старица Софья, которой явился образ Пречистыя Богородицы Казанския у тебя для нашего дела к нам к Москве попроситца и ты б ее отпустила к нам к Москве (без) задержанья. А к старице (Софье) от нас писано ж». Старице Софье царица писала после той же обычной формы грамот: от царицы и великой княгини и т. д. следующее: «Ведомо нам учинилось, что хотела ты для нашего дела ехать к нам к Москве, и тебя не пустила того монастыря игуменья Анфиса. И как к тебе ся наша грамота придет, а для будет какова нашего дела побывати тебе на Москве надобе, и ты б ехала к нам к Москве тотчас, не мешкая. А об отпуске твоем в монастырь Пречистые Богородицы Казанские к игуменье Анфисе от нас писано, а велено тебя отпустить безо всякаго задержанья. Писан на Москве....».

В 1634 г. 26 февраля царица посылает в Новгород к бывшему своему духовнику протопопу Максиму грамоту со следующим наказом: «Как к тебе ся наша грамота придет, и ты б, досмотря подлинно, отписал к нам, сколько в Новгороде и в новогородских местах чудотворных мест, и в коем месте и который чудотворец какими чудесы от Бога просвещен; то б тебе все имянно велети написати, а написав, отписати, и тому всему письмо прислати к нам к Москве вскоре».

Протопоп описывает ей кратко чудотворные места Новгородской области, «в которых прославил Бог угодников своих многоразличными чудесы и в коем месте которой чудотворец лежит», и присовокупляет: «А которой, государыня, чудотворец какимя чудесы от Бога просвещен и те чудеса их подлинно объявлены в писании жития их; и будет, государыня, повелишь списати тех чудотворцов жития с чудесами их подлинно и яз, государыня, тотчас велю списати с житьями и чудеса тех новгородских чудотворцов, которым житья и чудес у вас, государей, не сыщутца». Между прочими святыми местами протопоп тогда указал, что от Новгорода 300 верст водяным путем, по Волхову и

«Ладожскому озеру, вверх по реке Свири, существует обитель Живоначальные Троицы, Александрова пустыня. А чудотворца Александра Свирского мощи лежат вне монастыря, в деревянном храме, в роще, идеже и прочая братии погребаютца. Просвещен от Бога в чудесех при животе и по смерти и доныне подает многие исцеления с верою приходящим». Спустя с небольшим семь лет после этой переписки святые мощи прп. Александра были обретены нетленными, и мы видели, что царица и со всею семьею показала особую веру и усердие к новоявленному угоднику Божию. Чудесное рождение преподобного и благословенный дар сподоблять чадородие мужеским полом устремляли к святому угоднику молитвы царицы с великою и несомненною надеждою. Царица в это время испытывала точно такое же положение, как и блаженная матерь Александра, Василисса.

Житие рассказывает о родителях его следующее: «Родишася има сыны и дщери, их же и божественным крещением просветивше и благим нравам научивше, о Господе веселистася. И многу же времени мимошедшу и не бысть има чадородия. И сего ради блаженная Василиса поносима бе и оскорбляема биваше мужем своим. В скорби же и жалости велице обема сущема о сих; и в вожделении мнозе бяше душа их о прижитии чада. Верная же и благонравная супруга отвергши от себе печаль свою и вшедши в ложницу свою и обнощь ставша на молитве, руце свои воздевши, ко Всемогущему Богу со слезами глаголюще: “Владыко Господи Боже Вседержителю! Послушавый древле рабу своею Авраама и Сарры и прочих праведник; тем же и чадородия подати изволил еси твоим человеколюбием, верно просящим и молящимтися. Даждь нам по твоей благости прижитие чада мужеска полу, иже будет утешение души нашей и наследник нашего достояния и спожительства и жезл старости нашей, на него же руце возложше, почиеве!”». После блаженная долго молилась в ближней церкви того места во Введенском монастыре, удостоилась некоего Божиего явле-

ния, возвестившего о рождении преподобного сына. Царица Евдокия Лукьяновна, как мы упомянули, хотя и имела уже детей, но по смерти царевича Василия оставалась бесчадною и во время явления святых мощей преподобного чудотворца Свирского усердно молилась о даровании чада.

Таким образом, дела и события в жизни цариц, т. е. в домашней государевой жизни, всегда неразрывно связывались с важнейшими событиями в истории монастырской. Оттого монастырь в общем его смысле является как бы членом семейного царского союза, принимает самое деятельное участие во всех радостях, а равно во всех скорбях и печалях государева дома. Без монастырского благословения в государевом доме не начинается никакого дела, никакого предприятия; без его назидания и нравственного охранения не совершается ни одного шага в жизни этого дома. Словом сказать, государев дом живет с монастырем одною жизнью, думает одною мыслию, говорит одним языком, т. е. руководится одними и теми же понятиями, представлениями и стремлениями. В государевом доме конец жизни нередко оснащается иноческим пострижением... Иван Грозный свой частный быт в Александровой Слободе устраивает положительно по-монастырски и также оканчивает иноческим пострижением... Все это свидетельствует, что монастырь являлся тогда сильным деятелем и сильным руководителем жизни – и не только в частном быту, который совсем был подчинен его идеалам, но и в быту государственном, ибо и само государство в своем внутреннем развитии большею частью следовало указаниям того же монастырского идеала, внося в общую, государственную жизнь аскетические начала, благословлямые лишь для жизни личной, каково было, например, отрицание самых основ науки и искусства в ограничениях и всяческих стеснениях ума и поэтического народного творчества. Но само собою разумеется, что частная, личная жизнь по многим историческим причинам находила в монастырском идеале единый путь жизни доброй,

правильной, единый путь спасения; оттого монастырское *правило* стало *правилом* вообще всякой доброй домашней жизни; богомольный монастырский подвиг стал исключительно добрым и богоугодным подвигом частного быта.

Совершив богомольное утреннее *правило* у «крестов», в своей комнате, государыня выходила к обедне в одну из домовых «верховых» «сенных» церквей, обыкновенно, в XVI в., к Рождеству Богородицы, или в XVII в., в церковь Екатерины великомученицы, к лику которой царицы особенно усердствовали в уповании освобождения от трудного разрешения от бремени. Надо, однако ж, заметить, что и эти, так сказать, домашние выходы в церковь не были слишком часты, как можно было бы предполагать, судя по общей набожности в царском дворце. Женское дело встречало множество причин, которые не всегда позволяли слушать церковную службу. Самый Домострой освобождает женщину, как и домочадцев, от повседневных выходов к церковному пению, заповедуя исполнять это только мужчинам хозяевам. «А женам ходити к церкви Божии, как вместимо, на произволение, по совету с мужем... А женам и домочадцам (ходить к вечерни, к заутрени и к обедни) как вместимо, по рассуждению: в неделю (воскресенье) и в праздники, и во святые дни».

Таким образом, царица делала свои выходы в церковь к божественной службе только по вместимым дням, когда позволяло ей здоровье и разные другие обстоятельства ее домашней жизни. По таким же вместимым дням она совершала и праздничные выходы, которые поэтому не всегда делались в тот самый день, в какой случалось празднование, но иногда раньше, накануне, иногда позже, даже несколькими днями. Вообще в ее выходах не существовало той правильности, с какою в течение всего года совершал

свои моления государь, всегда очень строго наблюдавший уставный круг церковных служений и празднеств.

Молебные выходы государя, представителя государства, являли собою по преимуществу образ всенародной молитвы, носили в себе смысл общественный, выражали молитву о целях и делах всего народа, всего царства. Царская молитва спасала царство. Благоденствие царства или бедствие царства – вот молитвенные мысли, которыми всегда руководились государевы молебные выходы. Благочестие царя служило всегда выразителем благочестия всенародного; оттого с такою непреложностью цари соблюдали весь круг церковных всенародных молений; оттого эти моления и совершались царем торжественно с царственною обстановкою, в какой подобало являться молящемуся царству. Словом сказать, молитва царя была олицетворением молитвы самого царства, руководилась богомольною и благочестивою мыслию всенародного множества, отвечала благочестивым и набожным целям всего народа. Напротив того, молитвенная мысль царицы сосредоточивалась главным образом в целях и делах собственной царской семьи, была выразителем внутренней, сокровенной жизни царского дома, отвечала благочестивым и набожным целям семейного государева быта. Поэтому богомольными выходами царицы, как и особенным усердием ее в домашней, крестовой, молитве и всеми подвигами набожности, выходившими из обычного круга, управляли по преимуществу события или различные чрезвычайные обстоятельства ее домашней семейной жизни, каковы были, например, родины, собственные болезни и немощи, болезни государя – мужа или кого-либо из детей и т. д. Мы уже видели, какие усердные молитвы воссылались царскою семьею о разрешении неплодия и о даровании наследства в чадах мужеского пола. Точно так же и носимый плод всегда освящался особыми молебными подвигами. Приближалось время родин – царица служила дома, в сенных церквах, заздравные обетные молебны, посылала слу-

жить молебны своего дворецкого в храмы, почему-либо особо чтимые в таких обстоятельствах; ходила сама молиться в эти храмы, раздавала нищим и бедным щедрую заздравную милостыню; совершала иной раз сверх обычного осеннего или весеннего похода к Троице в Сергиев монастырь еще особый обетный поход к угоднику – чудотворцу Сергию, великому отцу и заступнику и крепкому молитвеннику и скорому помощнику и кормителю всех царей российских.

Болезнь детей, особенно новорожденных и особенно царевичей – это великое горе царской семьи – по естественной причине всегда направляла молитвенную мысль царицы к самым усердным подвигам набожности. Заздравные молебны, заздравная милостыня были самым обыкновенным делом в этих случаях. Но в трудных обстоятельствах царицы нередко обращались с молитвами к чудотворцам и угодникам, прославленным святою помощию и даром исцелений в известных младенческих скорбях и болезнях. Так, они прибегали и в трудных и опасных случаях рождения и в опасных безнадежных случаях детской болезни к заступничеству святого Онуфрия Великого, прославленного спасением от скоропостижной смерти. Молебная мысль царской семьи устроила даже особый придельный престол святому Онуфрию в домовой царицыной церкви великомученицы Екатерины[1], которая, как мы упоминали, также была устроена для особых молитв святой великомученице, посылавшей облегчение в трудных родах. В другой домовой церкви, на Сенях у царицы, в соборе Рождества Богородицы, находился придельный престол во имя святого Никиты Столпника Переяславского, молитвою которого был рожден у царя Ивана Васильевича царевич Иван и свя-

[1] В 1482 г. придел святого Онуфрия находился при церкви Рождества Богородицы, на Сенях у великой княгини, вновь построенный, как можно предполагать, в этом году. В Екатерининской церкви придел был перенесен, вероятно, еще в 1586 г., когда эта церковь впервые была построена деревянная и потом, в 1627 г., каменная (ПСРЛ. Т. VI. – С. 233; Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Ч. I. – С. 86).

тынею его чудотворцевой воды сохранен в младенческом здравии. Помня такие чудотворения святого, царицы очень часто прибегали к его молитвенной помощи. Нередко царицы прибегали с молитвою и к святому Никите Мученику, подававшему исцеления от младенческой болезни «родимца» (детских припадков). Особенно они усердствовали его храму, что за Яузою (на Вшивой горке), куда и посылали обыкновенно служить молебны.

Немало молений царица совершала и в храме Зачатия святой Анны, «егда зачат святую Богородицу», который находился в углу Китай-города у городовой стены и стоял рядом с церковью святого Николая чудотворца, к молитвам которого именно в этом храме царицы прибегали очень часто. Этот Никольский храм и построен был по царскому обещанию, вероятно, по случаю рождения в 1627 г. царевны Ирины, в честь тезоименитого ангела которой здесь же был устроен придел во имя святой Ирины.

В болезнях и скорбях домашних царицы нередко поднимали в свои комнаты чудотворные иконы из соборов, монастырей и церквей, служили молебны с водоосвящением в уповании исцеления и освобождения от напастей. С особенною верою была всегда чтима вообще святая вода с чудотворных крестов и со святых мощей, также из святых источников, прославленных чудотворениями. Царицы посылали в отдаленные монастыри за этою благодатною святынею, а по обычаю и духовенство всегда привозило к ним праздничную священную воду, которая сохранялась в особых вощанках, восковых сосудах и употреблялась на исцеление душевных и телесных недугов. В сказании о Христофоровой Корежемской пустыни (27 верст от Сольвычегодска) сохранено следующее свидетельство о первой царице Анастасии Романовых, которое может служить общею чертою богомольной жизни цариц.

Однажды после Казанского взятья и богомольного путешествия с царем в Кириллов монастырь царица Анаста-

сия «впаде в скорбь великую[1] ово чадородия ради своего, ово болезни ради своих благородных чад, а ино лишения ради по преставлении к Богу отшедших прежних своих чад, якоже бо изперва реченно Господем к прабабе нашей Еве: ты бо в болезни своей родиши чада своя и оттоле всяка жена, раждающи чада своя, бываше в велицей скорби и болезни...». Царица и с благоверным своим царем усердно и беспрестанно молилась «имуще веру несумненну и любовь нелицемерну, и по многим обителям и по пустыням к Божиим церквам велию милостыню творяше непрестанно. И елико они к Богу молящеся, толико и Бог своею милостью на них призирает и чудесы своими благоверного царя и с благоверною царицею удивляет и прославляет, ово от икон чудотворных своего божественного подобия, ово же от Пречистые своея Богоматери образа, а ино от мощей и от гробов своих угодников и чудотворцов, и иное от священных *вод* своих благодатных телесем здравие и душам спасение подавающе милостью и щедротами и человеколюбием своим, божественным источником источающе неоскудно...». В это время в далекой Сольвычегодской стране основывалась прп. Христофором пустынь во имя чудотворной иконы Божией Матери Одигитрии... «И Бог восхоте то пустынное место прославити: яви два источника, источающии неоскудно на здравие телесем, наипаче на спасение душам человеческим благодатную воду...».

«Благоверной же царице Анастасии в царском своем дому во едину от нощей почивающу в тонце сне от скорби великия; и виде во сне жену преславну сущу и преукрашенну в велицей славе, глаголюще ей тако: “Царице Анастасие! Аще мя призываеши на помощь к Богу Господу Иисусу Христу сыну моему и хощеши от сея скорби спасение получити и здрава быти, повели вскоре послати в пустыню Пречистые Богородицы, идеже стоит чудотворный образ

[1] По свидетельству Карамзина, царица занемогла в первый раз осенью 1559 г., Христофорова пустынь основана около 1555 г.

честного и славного ее одигитрия, словет же, начала ради, та пустыня Христофорова. Место бо то еще пусто и не бе славно и людем мало сведущим. Но токмо ты не ослушайся, повели итти тамо, да принесут оттуду Богом дарованные благодатные моея воды, еже преславно от камени истекает. Да аще получиши сию воду у себе, велие спасение приимеши и здрава будеши". Царица же от сна возбудився и повела благоверному царю Иоанну Васильевичу таково страшно видение и чудных глагол изречение о таковой благодати. Царь, слыша от царицы таково страшно и преславно поведание, умильно слезы от очию своею испущаше и нимало сумнящеся; но паки всю свою печаль возложи на Бога и на Пречистую Богородицу... ни како не рассуждая о судьбах Божиих, но паче уповая на милость Господню и на заступление и помощь Пречистые Богородицы. Вскоре избирает царских чиновников, служащих ему, и в пустыню ко Пречистой Богородице посылает, да тамо дальнего ради пути молебная пения к Пречистой Богородице сотворят и благодатные воды освятят и в его царский дом да привезут». Но в то самое время прп. Христофор «или некиим Божиим откровением, или своим умышлением» уже готовился идти к царствующему граду Москве, к царю и к царице, с животворящим Крестом Господним и со святою водою благодатною, «ее ж воды благоверная царица желает...». Он уже приближался к Москве, когда посланные только сбирались ехать в пустыню. Царица между тем «второе преславное видение виде во сне и слышаще глаголемая силе: "Царице Анастасие! Что спасению своему медлиши, посли скоро во сретение честного и животворящего креста Господня и той благодатной св. воды, ею же здрава будеши"».

Посланные встретили преподобного на пути «и с радостью его взяша с собою и ведоша в дом царский и о сем поведаша царю и царице... И взяша царь старца Христофора с Честным и Животворящим Крестом Господним и со святою водою во свои царские палаты и начаша пети молебен Спа-

су Господу нашему Иисусу Христу и Пречистей Его Богоматери Владычице нашей Богородице, честного и славного Ее одигитрия. И молящеся царь и царица о державе своего царства, и мире и тишине, и о устроении плодов земных, и о своем душевном спасении и о телесном здравии. И по отпусте молебного пения царь знаменался Честным Крестом и святою водою (ее же Христофор старец от Пречистые Богородицы из пустыни принесе), сам царь окропился и царицу повелел такоже крестом благословити и святою водою окропити... и по сем тоя святые благодатные воды царица пила во освящение души и на здравие телеси. И в той час от одержащая ей скорби и болезни царица бысть здрава и никакоже очути в себе никоея же болезни. И сбыстся Господем реченное во святем Евангелии: всяк, иже с верою чесо просяй у Мене, приемлет и спасение улучит...».

Дабы ознакомиться не с сокровенною историею богомольных подвигов в царицыном быту, что за неимением потребных материалов для нас и невозможно, а, по крайней мере, с внешними действиями ее благочестия, мы представляем здесь обозрение богомольных выходов и других молитвенных подвигов царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневых – второй супруги царя Михаила, составленное по официальным расходным запискам, которые до сих пор служат для нас единственными, почти исключительными, но зато вполне достоверными руководителями к раскрытию вообще домашних деяний наших предков. К сожалению, и в этом случае наши сведения не всегда и даже очень редко бывают полны. Так, за первые два года богомольные выходы царицы Евдокии нам неизвестны. Оставшиеся записки относятся уже к 1628 г.

В 1628 г. февраля 21, в четверг на маслянице, царица Евдокия (беременная царевною Пелагеею) идет молиться вместе с свекровью, великою старицею инокою Марфою Ивановною, в с. Рубцово-Покровское; служит там во всех храмах заздравные молебны и жалует причту на молебен в

собор Покрова рубль, в приделы к Сергию чудотворцу, да к Дмитрию царевичу, а также в теплый храм Николы чудотворца по полтине. Едучи из Покровского назад, подает на Покровке в больницу нищим на милостыню тоже полтину. В свой ангел, 1 марта, царица слушает в домовой Евдокеинской церкви заутреню, обедню и молебен и жалует на молебен евдокеинским попам на весь собор 2 руб., крестовым своим дьякам – полтину.

9 марта в Екатерининской церкви приобщается маленькая царевна Ирина и жалует от себя царицыну духовнику, протопопу Максиму, который совершал службу, рубль; попам екатерининским – 5 алт., крестовым дьякам – 5 алт. 18 марта царица поднимает к себе в хоромы из приходской церкви чудотворный образ Антипия Великого – целителя зубной боли, быть может, по случаю трудного вырезыванья зубов у маленькой царевны Ирины, слушает молебен и жалует антипьевским попам 2 руб. Между тем приближается время родин. 25 марта царица слушает обедню и молебен у Рождества Богородицы на Сенях и жалует Рождественскому протопопу с братьею на молебен полтину, крестовым – 2 гривны. 27 марта она идет молиться к Спасу на Новое, на родовое кладбище Романовых, поминать родителей панихидою и, идучи в монастырь, подает милостыню на Покровке в богадельню рубль, на дороге нищим в четырех местах – 18 алт., а потом на возвратном пути нищим же черноризицам и черноризцам и мирским всяким людям 86 чел. – по 6 ден. человеку, т. е. по 3 коп. Такой выход к памяти родителей царицы совершали всегда пред наступлением родин. 30 марта в хоромах царицы пели молебен и воду святили, как она, государыня, села на место. При этом на 6 чел. крестовых дьяков царица пожаловала полтину. Нам неизвестно, что значит это выражение: «села на место»; можно догадываться, что то были какие-либо приготовления к родинам же. Однако ж недели через две, именно 13 апреля в Светлое Воскресенье, цари-

ца выходит к обедне и слушает молебен в Вознесенском монастыре у прп. Михаила Малеина – тезоименитого ангела царю, ее мужу. Через четыре дня, 17 апреля, царица разрешилась от бремени царевною Пелагеею.

По прошествии установленных для матернего очищения 40 дней, мая 26, царица слушает обедню и молебен, *берет молитву*, в домовом соборе у Рождества Богородицы в преддверии, как требовал устав и обычай, т. е. в особой комнате, устроенной отдельно от церкви с западной стороны. Обедню в это время служил с рождественским протопопом ее духовник – благовещенский протопоп Максим, которому царица пожаловала на молебен 2 руб., рождественскому – рубль, крестовым – 20 алт. (60 коп.). В тот же день царица ходила в Вознесенский монастырь, служила там молебен у прп. Михаила Малеина и пожаловала попам 2 руб.

Через день, 28 мая, царица слушает обедню и молебен у своего ангела, в Евдокеинской церкви, на Сенях, где в то же время и приобщает Св. Таин новорожденного младенца царевну Пелагею. Здесь службу совершает духовник свекрови Марфы Ивановны – черный священник; он же приобщает и царевну. Царица жалует ему полтину, крестовым на 6 чел. – полполтины. Новорожденная царевна, как известно, не прожила и года, скончалась на десятом месяце. Вероятно, по случаю болезни младенца царица чаще, чем в прежнее время, выходит молиться у Рождества Богородицы (где был и престол Никиты Переяславского), слушает обедню, служит заздравные молебны, причем церковную службу совершает нередко царицын духовник или духовник ее свекрови.

4 июля накануне чудотворца Сергия памяти царица идет молиться в с. Рубцово и служит там молебны Покрову, (дано 2 руб.) Сергию чудотворцу, Дмитрию царевичу, Николе чудотворцу (дано по рублю). На возвратном пути подает в богадельню на Покрове нищим полтину. 10 июля досылает на молебен к Николе чудотворцу Явленному, на Арбате,

2 руб.[1], причем деньги отвозит и, следовательно, слушает обетный молебен родной отец царицы – Лукьян Степанович Стрешнев. 12 июля в государевы именины царица раздает заздравную милостыню разных городов детям боярским и бедным всяким людям 4 руб. 10 ден. Августа 15 в Успеньев день царица с двумя маленькими царевнами Ириною и Пелагеею слушает обедню у Рождества Богородицы. 29 августа слушает обедню в Евдокеинской церкви и приобщает новорожденную царевну Пелагею. Детей причащал постоянно духовник протопоп Максим. 1 сентября слушает обедню в Екатерининской церкви и приобщает старшую царевну Ирину. И там и здесь службу совершает духовник иноки Марфы Ивановны. 2 сентября царица идет молиться в Рубцово и служит там молебен у четырех престолов. Сентября 14 слушает обедню в Евдокеинской церкви на Сенях и приобщает царевну Пелагею; 1 октября слушает обедню у Рождества Богородицы и опять приобщает царевну Пелагею. 5 октября там же слушает обедню и приобщает царевну Ирину. 19 октября снова за обеднею у Рождества Богородицы приобщает царевну Пелагею. 22 октября, в праздник Казанской Богородицы, царевна Пелагея опять причащается за обеднею у Онуфрия Великого, причем жалует духовнику Марфы Ивановны, который ее причащал, на молебен 10 алт. Столь частое и особенно последнее причащение у Онуфрия свидетельствует, что здоровье новорожденной царевны было ненадежно.

В Дмитровскую родительскую субботу, 25 октября, царица, исполняя обычай, посылает «по родителях на панахиды» в монастырь к Спасу на Новое 1 $^{1}/_{2}$ руб., и на Сени

[1] Явленная икона Николая чудотворца на Арбате прославлялась в это время чудотворениями. Вся Москва стекалась туда на молебны, и икона, подававшая верующим многие исцеления, вскоре получила в народе именование *новой прощи*, т. е. новой исцелительницы, в отличие от *старой прощи*, тоже явленной иконы святого Николая, в церкви близ Каменного москворецкого моста, именуемой в XVII столетии у Всесвятских ворот и «что в Башмакове», по фамилии строителя Башмакова. Теперь эта церковь известна более под именем Похвалы Богородицы или Николы Башмачок.

к Рождеству Богородицы 2 гривны; в Екатерининскую и в Евдокеинскую церкви по гривне к престолу. 3 ноября, на память святого Георгия царица с царевною Ириною идет молиться к празднику в церковь святого Георгия, что у Фроловских (Спасских) ворот и жалует на молебен от себя рубль, да от царевны полтину. В Николин день, 6 декабря, царица поднимает в свою домовую Екатерининскую церковь чудотворную икону Николы Явленского из-за Арбатских ворот, слушает обедню и молебен и жалует на молебен в приход 3 руб., своему духовнику – рубль, екатерининским попам – полполтины, крестовым – 6 алт., 4 ден., или 20 коп. 19 декабря слушает обедню в Екатерининской церкви и приобщает царевну Пелагею. 6 января 1629 г. царевна снова приобщается в Екатерининской же церкви, где престол Ануфрия великого. На другой день, 7 января, царица посылает своего дворецкого Федора Степановича Стрешнева служить молебен к Никите Мученику за Яузу, жалуя на молебен полтину да на свечи гривну; а дома в тот же день у Рождества Богородицы слушает обедню и молебен и снова причащает младенца Пелагею. 25 генваря девятимесячная царевна скончалась.

В это время сама царица была уже на сносех царевичем Алексеем. 2 февраля она еще могла отпраздновать Сретению в Екатерининской церкви; затем мы уже не видим ее на богомольных выходах. 14 февраля идет молиться в с. Рубцово к Покрову маленькая царевна Ирина с бабушкою – великою старицею инокою Марфою Ивановною, вероятно, по обещанию о благополучных родинах матери. На молебен было отпущено 2 руб. 12 марта последовало благополучное рождение царевича Алексея Михайловича. По случаю сороkадневного очищения царица в светлый праздник, 5 апреля, не выходила к церковной службе, а слушала только молебен у себя в хоромах и пожаловала рождественскому протопопу с дьяконом и крестовым на всех рубль. По истечении шести недель царица ходила молиться в Рубцово к Покрову и пожаловала «*проезжие милостыни*» в богадельную избу

нищим полтину. 23 мая по случаю троицкой родительской субботы ходила поминать родителей к Спасу на Новое, причем на заздравный молебен пожаловала архимандриту с братьею рубль. Мая 29 царица поднимала к себе в хоромы образ чудотворца Антипия, слушала молебен, который пели екатерининские попы. Быть может, в это время она была не совсем здорова, ибо после того мы не видим ее на богомолье почти целый месяц. С 16 июня и по 4 июля она путешествует на богомолье к Сергию чудотворцу в Троицкий монастырь вместе с царем по обещанию *пешком* в благодарность о даровании наследника. 5 июля приобщает новорожденного царевича в Екатерининской церкви. 1 августа идет с царевичем в Рубцово, слушает обедню и заздравный молебен у Покрова, жалуя покровским попам 2 руб.; раздает поручно заздравную милостыню разных городов беспоместным детям боярским, 54 чел., по гривне. На возвратном пути подает полтину в Покровскую богадельню и заходит в Вознесенский монастырь, где в церкви Георгия Страстотерпца слушает молебен, жалуя егорьевским попам 2 руб. 18 октября в Екатерининской церкви причащает царевича, а 20 или, быть может, в тот же самый день[1] посылает со своим дворецким рубль на заздравный молебен к Ивану Предтече в монастырь. 23 числа опять посылает туда же на молебен полтину.

В 1630 г. летом опять приближалось время родин (царевны Анны). 8 июня царица празднует в Екатерининской церкви Кириллу Белозерскому, слушает обедню и молебен, быть может, молится о плоде чрева мужеска полу. 17 июля последовало рождение царевны Анны. Как видно, родины сопровождались болезнью и самой матери, и новорожденного ребенка. Через две недели царица посылает на молебны к Ивану Предтече в монастырь на Кулишках, к Никите ученику за Яузу, к Николе Явленскому на Арбат по рублю в цер-

[1] Расходные денежные записки царицыной мастерской палаты, откуда заимствуем все эти сведения, нередко обозначают выдачу денег и на другой день по совершении молебного подвига царицы.

ковь, да в богадельню на Кулишках же милостыни нищим 6 алт. 4 ден. К молебнам ездил дворецкий царицы, ее дядя Федор Степанович Стрешнев. 16 сентября тот же дворецкий Стрешнев едет опять служить молебен к Никите мученику за Яузу по случаю его храмового праздника 15 сентября и дает причту полтину. 20–30 сентября царица совершает обыкновенный осенний Троицкий поход к чудотворцу Сергию. Октября 24 слушает обедню и молебен в Екатерининской церкви, где духовник причащает царевича Алексея. В тот же день царица посылает к Антипию чудотворцу на молебен 2 руб. 26 числа в иконном ряду у торгового человека к царице в хоромы выменивают образ св. великомученицы Парасковеи, нареченной Пятницы, за 13 алт. 2 ден.

Дóлжно думать, что всю эту осень, а отчасти и зиму царица была нездорова. В ноябре она почти совсем не выходила к церковной службе. В Николин день, 6 декабря, царица поднимала к *себе* в хоромы чудотворную икону Николы Явленного с Арбата и слушала молебен, причем никольским попам пожаловала 3 руб. Декабря 13 царица снова поднимает в хоромы тот же чудотворный образ и жалует попам 2 руб. В тот же день она поднимает из Вознесенского монастыря чудотворный Спасов Нерукотворенный образ и жалует за молебен черным попам 2 руб. Между тем маленькая царевна Ирина с бабушкою идет молиться в с. Рубцово и раздает милостыню 18 чел., детям боярским по полугривне.

Что царица в эти дни действительно была нездорова, на это указывает выдача 2 руб. *рожешнице* (13 декабря), которая пускала ей кровь рожками[1]. На другой день, 14 декабря,

[1] Кровопускание было, кажется, необходимым леченьем у царицы Евдокии Лукьяновны. В обыкновенных случаях это исполняла рожешница, пускавшая рожковую руду посредством рожков; она же называлась и *рудометницею*. В 1634 г. рудометницею царицы была некая Зиновка (Зиновия), получившая в этом году жалованья 10 руб., хлеба по 20 четей ржи и овса и 10 полоть мяса. Но в важных случаях царица *лехчилась*, *жильную отворяла* при помощи немецких докторов. В 1632 г. февраля 22 это исполнили «дохтур Артемий, лекарь Кляус. В 1637 г. апреля 20 отворяли царице *модьянную* жильную кровь дохтур Венделинус Сибилист, аптекарь Андрей,

царица поднимала в свои хоромы образа из сенной своей церкви Рождества Богородицы, иконы Богоматери Владимирской да Тихона чудотворца, и у ней, государыни, в хоромах пели молебны. 16 декабря она посылает к Ивану Предтече в монастырь на молебен полтину и в богаделенную избу милостыню. К молебну ездил дворецкий Ф. С. Стрешнев. В тот же день она слушает молебны в Екатерининской и в Евдокеинской домовых церквах. 19 числа дворецкий снова едет к молебну к Никите мученику за Яузу. 20 декабря царица посылает в тюрьму 2 коробьи (сундуки) с отставными простынями для раздачи заключенным тюремным сидельцам.

Видимо, что дети, царевич Алексей и новорожденная царевна Анна, недомогали, на что указывает молитва к Никите Мученику – целителю от младенческой болезни родимца, как упомянуто; а сверх того, на это указывает и довольно частое приобщение их. Царевич приобщается в праздник Рождества Христова, 25 декабря, в церкви Рождества Богородицы. 6 генваря 1631 г. он снова приобщается в той же церкви, а царевна Анна – в Екатерининской, где слушает обедню и сама царица. 20 генваря в той же Екатерининской церкви царица снова слушает обедню и причащает обоих детей. На Светлое Воскресенье, 10 апреля, в Екатерининской же церкви царица вместе с царем и со всеми троими детьми слушает раннюю обедню и служит молебен. 26 числа она опять поднимает к себе в хоромы чудотворную икону Николы Явленного с Арбата и служит молебен. В тот же день царевна Анна причащается в Екатерининской церкви. На Вознесенье, 19 мая, царевич и царевна Анна причащаются в той же Екатерининской церкви. В Троицын день, мая 29,

лекарь Кляус с переводчиком Захарием Захарьевым. В 1641 г. июня 10 то же исполняли тот же Венделинус, лекарь Вилим Крамор с переводчиком Захарием, а в 1643 г. июня 26 – дохтуры Артман Граман, Яганус Белово, лекарь Вилим Крамор с переводчиком Васильем Александровым». За свои труды немцы получали довольно значительную награду: доктор – серебряный кубок, бархат, камку и сорок соболей, всего рублей на 80; лекарь – серебряный ковш, камку и сорок соболей, всего рублей на 40. – Архив Оружейной палаты. – № 945, 961, 971, 979.

царевич причащается в Рождественской церкви. Июня 3 царевна Анна приобщается в Евдокеинской церкви. Июня 4 царица идет вместе с царем молиться к Зачатию святой Богородицы да к Николе чудотворцу, что в Китай-городе у Стены. На дороге для их многолетного здравия они раздают милостыню беспоместным детям боярским и вдовам и всяким бедным людям (роздано 2 руб. 12 алт.). На другой день, июня 5, царица одна идет в Ивановский монастырь, что на Кулишках, и на дороге раздает нищим 16 алт. 4 ден. Июня 12, на праздник Онуфрия Великого, а потом в воскресенье, 19 июня, обоих детей снова причащают. 29 июня в Петров день причащается одна царевна Анна; в тот же день царица посылает на молебен в с. Рубцово, в церковь царевича Димитрия 2 руб. Июля 5, на память Сергия, причащает царевича, а 12 июля на праздник Михаила Малеина, в именины царя, причащает царевну Анну. Июля 24 идет молиться к Спасу на Новое, поминаючи родителей (Романовых) и раздает там милостыни с лишком 8 руб. Наконец, накануне самых родин, 18 августа, она снова идет к Зачатию и для своего многолетного здоровья раздает ручной милостыни вдовам и бедным людям 3 руб. 19 числа родилась царевна Марфа. 21 августа по случаю благополучного разрешения от бремени царица служит молебны в трех своих домовых церквах. После сорокадневного очищения совершает поход к Троице 6–23 октября. В ноябре 7-го причащает царевну Анну в Екатерининской церкви, а 27-го у Рождества Богородицы – царевну Марфу.

Декабря 4, *в ночи*, царица идет молиться к Николе Явленному на Арбат. Нищие, конечно, об этом знают и собираются во множестве на *монастыре* этого приходского храма. Дьяк Сурьянин Тороканов раздает им царицину милостыню, всего 2 руб. 16 алт. 2 ден. Декабря 14 царица снова идет молиться к Зачатию да к Николе чудотворцу в Китай-городе под горою в углу; причем жалует Вознесенского монастыря отставной старице Ираиде-немке на милостыню

2 руб.[1] да нищим раздает поручно 26 алт. 4 ден. Декабря 18 молится в Чудовом монастыре и также раздает у монастыря милостыню, рубль 15 алт. 2 ден.

Новорожденная царевна Марфа также прожила недолго, с небольшим год. В 1632 г. мая 27 царица приобщала ребенка в Евдокеинской церкви, потом приобщала его там же 13 сентября, на праздник Никиты Мученика, исцелявшего детей от припадков родимца. Но 21 сентября царевна скончалась. Потеря детей, конечно, была великим горем для царицы. Немалым горем было и то, что рождались все царевны. Тем сильнее и внимательнее были заботы матери о маленьком царевиче Алексее – едином наследнике царства. Видимо, что он обладал хорошим здоровьем, но это самое и заставляло родителей освящать его здоровье молитвою и милостынею, дабы сохранить в нем наследника царству. С такими молитвенными мыслями царица, обыкновенно на именины царевича, раздавала бедным и нищим щедрую заздравную милостыню. Так, в этом году 28 марта записано, что «для многолетнего здравия царевича Алексея было роздано у дворца разных городов бедным беспоместным детям боярским и вдовам и черноризицам на платье 20 руб. 20 алт. 4 ден.; да Василий Иванович Стрешнев роздал бедным всяким людям поручно 29 руб. 12 алт. 4 ден.». Мы уже видели обычный размер милостынного подаяния царицы и можем судить, что розданная в это время сумма, 50 руб., довольно значительна.

Из обычных выходов царицы в течение этого года заметим, что на праздник Светлого Воскресенья 1-го апреля вся царская семья: царь с царицею, царевич и три царевны слушали в Екатерининской церкви раннюю обедню и молебен и на молебен пожаловали попам 3 руб. Осенью по случаю кончины новорожденной царевны Марфы сентября 21 цари-

[1] Старица «Ираидища» в своей челобитной объясняла царице: «Ссылают меня в Сибирь, что я перед игуменьею в слове спростовала, а прокормиться мне до Сибири нечем».

ца не могла совершить обыкновенный поход к Троице. Она предпринимает это богомольное путешествие 14–19 февраля 1633 г., уже беременная царевичем Иваном. Затем 3 марта в сыропустное Воскресенье посылает на Кулишки в богадельни нищим 100 чел. по алтыну милостыни; на именины царевича Алексея для его многолетного здравия роздает милостыню безместным детям боярским и *вдовам-боярыням* 89 чел. по две гривны; да их вдовьим детям, 71 чел. по 6 ден.; черноризицам безместным 23 чел. по гривне; торговым бедным людям 3 чел. по гривне. В праздник Светлого Воскресенья, 21 апреля, опять вся царская семья слушает в Екатерининской же церкви раннюю обедню с молебном и выдает попам 3 руб. Во вторник на святой, 23 апреля, царица слушает обедню в Екатерининской церкви и посылает милостыню расслабленному старцу Маркелу, который лежит на Ильинском мосту, 16 алт. 4 ден. Тут же на мосту посланный сын боярский раздает другим нищим, 10 чел., по 2 ден. 1 июня Бог дал царевича Ивана. Ребенок, как видно, родился болезненный. С небольшим через неделю, 10 июня, царица посылает служить молебен мч. Увару, в придел церкви Иоанна Предтечи у Аргамачьих Конюшен. К святому мученику прибегали с молитвою об исцелении детских недугов. Июля 4 она посылает в Казань к Новоявленному образу Казанской Богородицы на молебен 5 руб. Июля 28 приобщает новорожденного у Рождества Богородицы. Сентября 15, на праздник Никиты Мученика, еще причащает младенца в той же церкви. Там же младенец причащается и еще ноября 4 и 21, на Введениев день. В Николин день, 6 декабря, царица идет молиться к Николе чудотворцу и роздает на дороге нищим, которые лежат по мостам, рубль 15 алт. 4 ден.

В 1634 г. апреля 24 в Светлый праздник оба царевича слушают обедню в Екатерининской церкви. В тот же день раздается милостыня поручно 3 руб. Мая 17 царица посылает служить молебен в монастырь к Ивану Предтече на Кулишки. 24 числа празднует у Рождества Богородицы

в приделе Никите Столпнику чудотворцу Переяславскому. Между тем приближалось время родин, и потому богомольные выходы царицы становились заметнее. Июля 14 она ходила молиться в Новодевичий монастырь и раздала по дороге нищим рубль. 16 июля вместе с царем пошла в Никольский объезд молиться к Николе чудотворцу на Угрешу, оттуда заходила в Рубцово. 4 августа ходила в Успенский собор да к Рождеству и к Воскресению Христову под колоколы (на Ивановской колокольне). 12-го числа ходила в Вознесенский монастырь, в собор к Покрову Богородицы да к Василью Блаженному, на Кирилловское подворье, к Николе Гостунскому, причем роздано милостыни 5 руб. с полтиною. Сентября 15 родилась царевна Софья. После шести недель в начале ноября царица ходила молиться в Рубцово. Так как осенний поход к Троице совершить было невозможно, то царица вместе с царем ходила туда молиться уже зимою следующего года, 18–28 генваря 1635 г. Новорожденная царевна тоже, кажется, была слаба здоровьем. Царица причащает ее на маслянице, 3 февраля, и на первой неделе Великого поста, 12 февраля. Марта 15 посылает служить молебен в монастырь Ивана Предтечи и в тот же день идет молиться в Алексеевский монастырь, справляя канун именин царевича Алексея. 6 и 12 апреля снова причащает новорожденную, что совершается и 8 мая. Между тем 5 мая на именины царевны Ирины царица раздает для их государского многолетного здоровья заздравную милостыню 59 чел. детям боярским и женам их и детям и всяким служилым людям, а также игуменьям, рядовым черницам и всяким бедным людям по их челобитным, 24 руб. 28 алт. 2 ден.; да на дворце без челобитных таким же бедным поручно 10 руб. 5 алт. Мая 20 царица идет молиться в Чудов монастырь, а потом 29 числа – в с. Рубцово к Покрову. 2 июля слушает обедню с молебном у Онуфрия Великого в приделе Екатерининской церкви, причем службу совершает наемный поп, которому на молебен дано 5 алт. Замечательно, что у Онуфрия Ве-

ликого почти всегда служил священник наемный, между тем как было достаточно и своих придворных. По всему вероятию, здесь действовала какая-либо особая набожная мысль относительно здоровья детей, из которых царевич Иван и царевна Софья часто недомогали. Августа 3 царица со своими царскими чадами идет молиться в Ивановский монастырь да к Василью Блаженному, раздавая милостыню 4 руб. 11 алт. 4. ден. 19 августа царица идет на богомолье в Новодевичий монастырь и раздает там и по дороге заздравную милостыню 10 руб. 7 алт. 4. ден.

Между тем царица уже беременна (царевною Татьяною). В сентябре 21–26 она совершает вместе с царем обычный поход к Сергию чудотворцу; в ноябре 13–22 также вместе с царем выезжает в с. Рубцово, где 18 числа в церкви Покрова слушает обедню с молебном и раздает 43 чел. нищим по гривне. Декабря 4 идет молиться со своими государскими чады в Ивановский и в Знаменский монастыри. Декабря 15 идет молиться к Спасу на Новое, поминаючи родителей. 20 декабря идет молиться к Николе Явленному на Арбат.

5 генваря 1636 г. последовало рождение царевны Татьяны. После шести недель царица совершает обычные выходы на Маслянице в Успенский собор 24 февраля, в монастыри Вознесенский и к Спасу на Новое прощаться с родителями. 16 марта, накануне именин царевича Алексея молится в Алексеевском монастыре и раздает заздравной милостыни рубль 22 алт. 4 ден. В самый праздник раздает 2 руб. 20 алт., на другой день, 18 марта, 7 руб. 12 алт. 4 ден. Мая 5 идет молиться к Николе да к Зачатию в Китай-городе в углу и раздает заздравной милостыни 2 руб. 15 алт. 2 ден. В Николин день, 9 мая, снова молится в том же храме и раздает милостыни 2 руб. 4 алт. 2 ден. Мая 24 празднует Никите Переславскому. 20 июня скончалась маленькая царевна Софья. Во все сорочины каждый день царица раздавала по ней милостыню на поминовение. Осенью, сентября 21–29, царица вместе с царем путешествует по обыкновению к Троице. За-

тем, будучи уже беременною, в ноябре 2–19, едет вместе с царем к Николе на Угрешу. На возвратном пути молится у родителей в Новоспасском монастыре и в Рубцове у Покрова. Проездом подает в Андроньевский монастырь проезжие милостыни на молебен 3 руб. Вероятно, по случаю трудного плодоношения, почти накануне родин, 5 февраля 1637 г. в Екатерининской церкви у Онуфрия Великого, сохранителя от скоропостижной смерти, служат обедню. 9 февраля Бог дает царевну Евдокию, которая на другой день, 10 числа, скончалась. Марта 3 царица посылает в Калугу в монастырь св. Лаврентия на церковное строение 50 руб., да к Николе Гостунскому в Белевской уезд колокол в 89 руб. После шести недель, марта 26, выходит молиться в Успенский собор. Накануне именин царевны Ирины, мая 4, молится в Новодевичьем монастыре, мая 9 – в Чудове монастыре, 11 – опять в Новодевичьем и в Алексеевском монастырях. В последнем также находился храм Зачатия. 23–30 мая путешествует в Рубцово, где 28 числа слушает обедню с молебном у царевича Димитрия. Осенью, сентября 21, царица идет к Троице вместе с царем, а 30 числа вместе же – в село Покровское, вероятно, праздновать Покрову, 1 октября, где и остается по 8 число того же месяца. Через месяц, ноября 4–13, опять вместе с царем царица снова путешествует к Троице, что прямо уже показывает, что это был поход по обещанию. Надо заметить, что в это время ждали на Москву нашествия Крымского хана и укрепляли город. Но и в семье было не совсем благополучно. Болел младший царевич Иван. Царица еще 3 ноября служила молебен Иоанну Белоградскому, тезоименитому его ангелу, в честь которого устроен был и особый престол у Спаса, против царевичевых хором. 17 генваря 1638 г. совершается служба у Онуфрия Великого наемным священником, что свидетельствует, что царевич был очень нездоров. 13 марта царица посылает в Суздаль к Вавиле-затворнику паникадило в 10 руб., а мая 24 туда же три колокола ценою в 109 руб. 20 алт. В том же марте, 20 числа,

посылает служить молебны к Ивану Предтече в монастырь (2 руб.), к Пятнице на Рву (полтину). Мая 12 посылает во Псков к Богородице в Печерский монастырь за святыней, т. е. за святою водою и просфорою, 20 мая посылает снять список с чудотворной иконы Казанской Богоматери в Вязниковскую слободку, Владимирского уезда Ярополческой волости. Августа 9 и потом 11 опять совершается служба у Онуфрия Великого. 28 числа идет молиться в Рубцово к Покрову, 29 молится там у Николы, 31 раздает заздравную милостыню. 10 сентября снова совершается служба у Онуфрия Великого. Есть известие, что с этого времени царица «стала недомогать и быти печальна». Она была уже беременна. Молебны Онуфрию Великому, указывая на опасную болезнь детей, могут также указывать и на печальное состояние мыслей царицы. Быть может, по случаю ее болезни не состоялся в свое время и обычный сентябрьский поход к Троице. Она пошла туда на богомолье октября 4 вместе с царем и, без сомнения, по обещанию. От Троицы они ездили молиться в Переяславль Залесский в Никитский монастырь к чудотворцу Никите Столпнику, а оттуда заезжали в Александрову слободу. В этом богомольном походе прошел весь месяц. Царица возвратилась в Москву 30 числа.

О выходах царицы в эту зиму сведения наши скудны. Знаем только, что ее постигло вскоре великое горе: 10 генваря 1639 г. царевич Иван скончался. Между тем, еще в половине ноября во дворце между мастерицами открылось *ведовское дело*, по которому обнаружилось, что над царицею колдовали, сыпали на ее след ведовской рубашечный пепел, о чем подробности мы помещаем ниже. Дело это в то время, и особенно для беременной царицы, имело самое прискорбное значение. Мы уже говорили, что колдовство, порча были невыразимым страшилищем для царской семьи. Очень естественно, что розыски о ведовстве мастериц не прошли без влияния на состояние здоровья царицы. 14 марта она родила царевича Василия больного, который 25 марта скончался.

Потеря двух сыновей была действительно несказанным горем и для матери, и для отца, лишившегося двух наследников своего царствующего дома. С этой поры, по свидетельству упомянутого розыскного дела о ведовстве, царица была «перед прежним скорбна и меж их государей в их государском здоровье и в любви стало не по-прежнему».

Еще накануне смерти царевича, марта 23, царица посылала служить молебны за многолетное здоровье всей своей семьи к Покрову, что на Рву, 2 руб. да в его приделы: к Василью Блаженному и Ивану Милостивому, а также к вмц. Параскове Пятнице по рублю. Такие молебны за государское многолетное здоровье время от времени возобновлялись в течение всего этого года. Августа 16 царица посылала на молебны в Знаменской монастырь, что на государеве старом дворе, 3 руб., в Ивановский монастырь – 2 руб., к Никите Мученику за Яузу – рубль, к Пятнице Марковской – полтину. Декабря 23 она посылает снова на молебны в Знаменский и Ивановский монастыри и к Василью Блаженному по рублю, к Пятнице Марковской – полтину. Между тем в сентябре царица совершает обычный поход в Сергиев монастырь вместе с супругом-царем.

С этого года и до своей кончины царица оставалась бесчадною и, как видно, постоянно недомогала.

В 1640 г. 8 марта она вместе с государем ходила молиться к Троице по особому обещанию, ибо поход был предпринят не в обычное время. Затем в остальное время, кроме обычных повседневных и праздничных выходов, царица нередко служит молебны за свое здоровье или посылает деньги служить заздравные же молебны и по временам раздает заздравную милостыню. 19 августа посылает в Ивановский монастырь попам на молебен за государское многолетное здоровье полтину; сентября 14 в Воздвиженский монастырь за свое многолетное здоровье на молебен – 2 руб.; сентября 20–26 в Коломенском по случаю новоселья в новых хоромах раздает милостыни больше 10 руб.; сентября 25

спасскому протопопу на Сенях дает на молебен за свое здоровье 2 руб. Октября 5 царевны Анна и Татьяна слушают также обедню и молебен за свое здоровье в Екатерининской церкви, а царевна Ирина посылает служить молебен за многолетное здоровье к Покрову на Покровку, да подает в богадельни на Покровку и на Тверскую и в тюрьмы всего 2 руб. Октября 10 царица посылает на молебен к Богородице Одигитрии в Вознесенский монастырь 2 руб. В 1641 г. августа 7 приказывает купить шубу баранью (40 алт.) нищему старцу Юшке Артемьеву, который лежит под переходами на Никольском (кремлевском) мосту. 13 ноября тому же *леженке* царевна Ирина жалует на шапку 6 алт. 4 ден. Декабря 28 царица посылает на молебен в Тихвин монастырь к Пречистой Богородице. Октября 6 царица жалует полтину к Лаврентию чудотворцу в Калугу и рубль в Мещовск в Егорьевский монастырь на панихиды[1].

В 1642 г. февраля 8 жалует за свое здоровье рубль затворнику Никону в Троице-Сергиевом монастыре; 12 февраля слушает молебны на Сенях у Спаса и Рождества Богородицы и к Спасу дает на свечи гривну; 22 числа раздает милостыни 6 руб.; мая 10 слушает обедню и молебен у Никиты Столпника в приделе у Рождества Богородицы на Сенях и за свое здоровье на молебен жалует 3 алт. 2 ден. В летние месяцы служит в верховых церквах нередко молебны также за свое здоровье. Августа 20 посылает на молебен за свое здоровье к Николе Зарайскому. Сентября 18 идет молиться к Спасу на Новое и раздает милостыню за

[1] Георгиев Мещовский монастырь царица Евдокия Стрешневых устраивала «по родителям ее, кои в том монастыре погребены, дед ее родной Степан Андреевич, да прадед Андрей Васильевич и прочие ее родители Стрешневы». В том монастыре были построены две церкви каменные, соборная во имя Рождества Богородицы, да теплая во имя Страстотерпца Георгия, в двух этажах. В июле 1691 г. игумен Серафим с братьею, припоминая царям о строительнице монастыря, их бабушке, просили на этом основании пожаловать им из царской казны, за их скудостью, лампады, паникадила, покровы, воздухи и др. утварь в верхнюю теплую церковь св. Георгия. – Архив Оружейной палаты.

свое здоровье. Сентября 26 подает юродивой старице Ивановского монастыря Анне 16 алт. 4 ден. Октября 1 на праздник Покрова в своих хоромах «поить и кормить» нищих и всяких бедных людей и раздает им милостыни по рукам 3 руб.; раздавал стольник Василий Голохвастов. Тогда же служит молебны в Успенском соборе, в Вознесенском и Чудовом монастырях и у Спаса на Сенях. Октября 14 идет молиться к Николе на Угрешу.

В 1643 г. марта 17 для ангела царевича Алексея раздает милостыни 10 руб.; мая 5 на ангел царевны Ирины раздает милостыни тоже 10 руб. и жалует старцам Чудова монастыря «больнишному, хлебенному на чернецкое платье» по рублю; июля 25 для ангела царевны Анны раздает милостыни 10 руб. Сентября 5 из Калуги Лаврентьева монастыря *вережнику* старцу Макарию жалует на шубу 1 $^1/_2$ руб., да ему же на милостыню полтину; сентября 10 идет в Покровское; 11 сентября идет молиться в Ивановской и в Даниловской монастыри и раздает там милостыню для многолетного здоровья. Сентября 21 и по 14 октября идет вместе с царем молиться к Троице, также в Александрову слободу, в с. Клины, в Юрьев Повольский; ноября 24 на праздник вмц. Екатерины раздает милостыни 7 руб.

В 1644 г. марта 1 на свой ангел раздает милостыни 13 руб. 32 алт. 4 ден.; марта 17 на ангел царевича Алексея раздает милостыни 5 руб. 30 алт. 4 ден.; мая 5 – на ангел царевны Ирины, июля 25 – на ангел царевны Анны по 10 руб.; мая 20 жалует полтину крестовому попу думного дьяка Михаила Данилова для того, что он, поп, приносил в Верх образ Богородицы для молебства; июля 29 идет молиться к Троице и подает к Николе Великорецкому на молебен 8 алт.; августа 29 посылает в Коломенское к Усекновению главы Иоанна Предтечи на молебен полтину; сентября 27 в Старом Никольском монастыре, что за Иконным рядом, служит молебен за государево здоровье и жалует игумену 3 алт. 2 ден. и т. д.

В 1645 г. июля 13 царь Михаил скончался. Недолго пережила его и царица Евдокия; она скончалась с небольшим через месяц, 18 августа[1].

Повседневные богомольные выходы царицы в верховые церкви были совершаемы запросто, без особой официальной обстановки, с какою почти всегда выходил сам государь, сопровождаемый обыкновенно приезжавшими для присутствия в Думе боярами и другими чинами, которые обязаны бывали являться во дворец каждый день. Царицу в таких выходах сопровождали только ее комнатные люди, ближайшие дворовые боярыни, крайчая, казначея, две-три верховые боярыни и столько же постельниц, носивших подножие (род ковра) и другие необходимые при выходе вещи. Праздничные выходы совершались, разумеется, торжественнее, с большим числом дворовых людей, а также и в сопровождении приезжих боярынь, а быть может, и всего комнатного чина. Без сомнения, при этом соблюдался и какой-либо церемониальный порядок шествия: младшие чины, девицы боярышни, постельницы шли впереди попарно, старшие позади. По всему вероятию, и здесь чин выхода придерживался подобных же порядков, какие были в обычае на половине государя. Любопытные изображения таких пеших царицыных выходов сохранены в рисунках к путешествию Мейерберга.

По словам Мейерберга, царица по сокрытой галерее из дворца ежедневно шествует в женский монастырь Вознесения Господня для слушания там молитвы (панихиды) в память умершего. Пред нею несут в серебряном

[1] Из числа оставшихся после царицы ее чину дворовых боярынь княгиня Марья Хованская сослана с Москвы, а портомоя (прачка) Пелагея Давыдова сослана в Сибирь, быть может, по случаю каких-либо непорядков, происшедших при кончине царицы.

позолоченном сосуде смесь, называемую «кутья», состоящую из меду, пшеницы, смоквы и сахару, которую ставят на могилу для искупления грехов. Потом сие кушанье предоставляется священникам и церковнослужителям. Впереди идет боярыня с кутьею, за нею крайчая, потом четыре девицы-боярышни с ослопными[1] восковыми свечами для освещения пути, за ними – сама царица с посохом в руке в сопровождении двух боярышен, из которых одна несет над царицею круглый солнечник (зонт). Шествие заключает дворовая боярыня. Свечи были носимы только зимою, когда выход совершался ранним утром или вечером. В иных случаях зажигали и носили по шести и более свеч, вероятно, в соответствие более значительного для молитвы дня. Солнечник выносился в обыкновенные воскресные и праздничные дни; но употреблялся ли он собственно для защиты от солнца или выносился только для большого парада – неизвестно. До́лжно думать, что он служил и вообще для украшения обстановки выхода.

В большие праздники царица выходила в царском наряде, т. е. в короне, а царевны – в венцах, под большим солнечником вроде балдахина, который поддерживали по углам за сохи или рукояти четыре боярышни. Шествие открывается девицами боярышнями, идущими попарно, младшие впереди. Затем под балдахином, который поддерживают тоже боярышни, самые младшие возрастом, впереди шествуют царевны; за ними мама несет на руках десятилетнего царевича, потом идет сама царица; ее сопровождают крайчая и две боярыни. Мейерберг замечает, что царских детей, даже довольно возрастных, всегда носили на руках их мамы. В настоящем случае мама несет, как упомянуто, десятилетнего царевича Алексея Алексеевича. Надо полагать, что Мейер-

[1] Так назывались большие восковые свечи по сходству их с *ослопом*, именем которого обозначалось деревянное орудие вроде кола или дубины, какое иногда употреблялось и в военных делах, и во всяких побоищах в качестве дреколья.

берг снял свои рисунки уже с готового современного изображения царицыных выходов. На это указывает самый характер постановки и начертания фигур, напоминающий рисунки иконописцев. Видеть самолично выход царицы, а тем более рисовать его с натуры он не мог ни в каком случае.

Не менее любопытные подробности о подобных же пеших выходах вообще знатной женщины в старое время мы находим и в народных песнях – былинах, из которых в этом отношении особенно замечательны песни о Дюке Степановиче, княженецком боярском сыне. В одной из них Дюк Степанович, объясняя княженецкое обхождение, говорит князю Владимиру:

Как у моей государыни матушки,
Честной вдовы Мамелфы Тимофеевны:
Пойдет она от церкви от соборния,
Впереди идут лопатники (чистят дорогу лопатами),
За лопатниками идут метельщики (метут),
За метельщиками идут суконщики,
Расстилают сукна одинцовыя.
Мою матушку, честну вдову Мамелфу Тимофеевну,
Ведут под руки тридцать девиц со девицею;
Вся она обвешана бархатом,
Чтобы не запекло ее солнце красное,
Не напала роса утренняя...

Или:

Под руку ведут тридцать девиц
И по другую тридцать девиц;
Над ней несут подсолнечник,
Чтобы от красного солнца не запеклось ее лицо белое;
Впереди стелют сукна одинцовыя,
Сзади сукна убирают.
У ней надето платье цветное,

На платье подведена луна поднебесная,
Пекет красное солнышко
И светит светел месяц,
Рассыпаются частые мелкия звездочки[1].

В этой последней песне Дюковой матушке предшествуют четыре староматерые старухи, ее служебные женщины: халуйница, рукомойница, постельница, колашница, из которых первую ведут под руку 5 девиц, под другую – 5 девиц; вторую – по 10 девиц; третью – по 15, четвертую – по 20. Добрыня Никитич, желая встретить Дюкову матушку, каждой из этих прислужниц здравствовал, думая, что это и есть Дюкова матушка, и получал ответ, что Дюкова матушка позади идет[2]. Все это черты, очень верно и точно рисующие старую русскую действительность княжеского или вообще знатного быта, а следовательно, еще в большей мере действительность быта царского.

Само собою разумеется, что выезды цариц по своей обстановке были еще церемониальнее, потому что тогда экипаж царицы сопровождали кроме женского чина и мужчины, как увидим ниже. Притом и состав женского чина значительно увеличивался, особенно если поход или выезд был дальний, замосковный, куда требовалось поднимать и большее число служащих дворовых людей, и всякие запасные возки. Очевидцы таких выездов описывают их следующим образом. В 1599–1600 гг. проезжало через Москву персидское посольство. Один из его чиновников рассказывает, что ему посчастливилось видеть царя и царицу, когда они пышно и торжественно выезжали из города, везя большую икону и огромный колокол в дар одному монастырю, находящемуся милях в 30 от столицы.

---

[1] Так описывается золотная ткань, из которой сшито платье. Мы увидим, что ткани с изображением звезд, месяцев и солнца не были редкостью в XVII столетии.

[2] *Рыбников*. Т. II. – С. 143, 175.

Это был весенний Троицкий поход царя, доставлявшего в Троицкий монастырь не икону, а богатый золотой с каменьями оклад на образ святой Троицы, находящийся и доныне по правую руку царских врат. Сверх того, царь отвозил туда и колокол.

По словам очевидца, это происходило следующим образом: впереди следовал конный отряд числом в 500 чел., одетых в красные кафтаны. Они ехали по трое в ряд, имея луки и стрелы, сабли у пояса и секиры при бедре. Следом за этим отрядом вели царских коней, назначенных для похода, 30 – для царя и наследника и 20 белых для царицыных карет. Потом следовал крестный ход в сопровождении патриарха и высшего духовенства, вероятно, по случаю отправляемой в монастырь святыни. Затем следовал сам царь, который левою рукой вел своего 12-летнего сына, а в правой держал свою шапку. Позади него шла царица, поддерживаемая с обеих сторон двумя пожилыми дамами. Ее лицо было густо вымазано притираньями, равно как и лица других дам, согласно обычаю страны; телом она очень тучная, глаза у нее глубоковпалые. Ее сопровождали до 60 очень красивых женщин, – «если только притиранья, которые у них считаются делом религиозным, не обманывали моих глаз», – замечает очевидец. Вся их одежда была обильно унизана жемчугом, искусно обделанным (т. е. размещенным по низанью). На голове они имели белые шляпы с большими лентами кругом, унизанными жемчугом. «Мы никогда не видывали, чтобы женщины в этой стране носили шляпы, кроме только этих дам». Вслед за ними везли три огромные кареты: первая (царицына) была запряжена десятью прекрасными белыми лошадьми, по две в ряд; вторая – восемью, а третья – шестью в том же порядке. Эти кареты все были очень роскошны и великолепны как внутри, так и снаружи. За ними ехали в каретах все вельможи[1]. В 1602 г. в Москву приехал принц

1 Чтения Общества Истории и Древностей Российских. Кн. IV. – 1899. – С. 8 и след.

Датский Иоанн – жених царевны Ксении Борисовны Годуновых. Описатель его путешествия говорит, что когда они представлялись в первый раз царю Борису, то в Кремле никто (из них) не видал ни цариц, ни царевен, ни даже комнатных женщин; тоже не видал их и приехавший жених – принц. Это могло произойти оттого, объясняет описатель, что они стояли в потаенном месте и смотрели скрытно на приезд и отъезд принца. 6 октября царская семья выезжала на богомолье в монастырь, должно быть, в Новодевичий. Шествие было в следующем порядке: «Сначала ехали впереди до 600 всадников по трое в ряд... Некоторые из передовых были одеты в золотую парчу в виде брони. Потом вели 25 хорошо убранных коней, на коих попоны были леопардовые шкуры и золотые и серебряные парчи. Дальше ехала крытая красным сукном вызолоченная пустая коляска (царевича Федора), возле которой в несколько рядов следовали всадники – все молодые люди. Затем ехал сам царь в крытой бархатом коляске, запряженной в шесть белых коней. По сторонам шли бояре. Тут бежала большая толпа людей, челобитчиков, державших просьбы и кричавших вслед государю. Просьбы принимались и складывались в красный ящик, который несли за царем. За этим поездом ехал царевич верхом; его сопровождали и коня вели также бояре. С полчаса после отъезда царя следовал выезд царицы. Наперед вели хорошо одетые конюхи 40 прекрасных коней. За ними ехала царица в пышной коляске, запряженной в 10 красивых белых лошадей и такой просторной, что в ней трое могли сидеть рядом. Потом ехала царевна в подобной же коляске в 8 лошадей – совсем закрытой, так что ничего не было в ней видно. Все горничные женщины ехали верхом, как мужчины. На головах у них были белоснежные шляпы, подбитые телесного цвета тафтой, с желтыми шелковыми лентами, с золотыми пуговками и кистьми, ниспадавшими на плеча. Лица их были покрыты белыми покрывалами до самого рта; они были в длинных платьях и в желтых сапогах. Каждая

ехала на белой лошади, одна возле другой (попарно). Всех их было 24. Около царицына поезда шли 300 чел. хорошо одетых стрельцов с белыми посохами (батогами) в руках. За поездом ехали старики по три в ряд, большею частью с седыми бородами (это дети боярские царицына чина). Шествие заключали бояре и за ними толпа народа. Таким образом, в поезде царя и царицы было до 500 лошадей. При возвратном шествии впереди царя ехали до 900 чел. верхом, а потом сам царь и возле него царевич, тоже верхами, и притом так, что лошадь царевича шла на шаг впереди царской. Было уже темно, когда приехала царица с царевною, и потому возле них несли до 40 свеч (восковых, ослопных). Их сопровождала большая толпа бояр и очень много стрельцов»[1].

О женском конном поезде, сопровождавшем на выездах царицу, свидетельствует другой очевидец такого выезда – Олеарий. Он говорит, что когда царь с семейством возвращался с богомолья, то за царицею и царевнами «ехали тогда 36 девиц и прислужниц в алых юбках и белых шляпах, с коих висели длинные алые снурки, ниспадавшие по спине: они имели на шее белые покрывала; все были весьма заметно нарумянены и ехали верхом, сидя на лошадях, как мужчины». Но мы уже упоминали, что подобные, более пышные и церемониальные, выезды совершались только во время далеких походов, например к Троице и в другие отдаленные места. В городовых московских выездах экипаж царицы был сопровождаем только мужским чином из близких ее людей, из дворян и из детей боярских ее чина[2].

1 Чтения Общества Истории и Древностей Российских. Кн. IV. – 1867.

2 Церемониальный конный отряд женщин, своего рода амазонок, наводит на предположение: не заимствован ли такой обычай царицына выезда у давних цариц Золотой Орды, о порядках жизни которых в первой половине XVI столетия рассказывает арабский путешественник Ибнбатута (ск. в 1377 г.). То было при знаменитом хане Узбеке, в самое цветущее время Золотой Орды. Ибнбатута пишет между прочим: «И в пребывание его (Узбека) на месте, и в путешествии его, и в делах его порядок удивительный, чудесный. Одна из привычек его та, что в пятницу, после молитвы, он садится в шатер, называемый золотым шатром, разукрашенный и диковинный. Он

Годовые богомольные выходы и выезды цариц вызывались главным образом совершением памяти усопших родителей, т. е. вообще родства. Поэтому важнейшее место в ряду дней, освящаемых молитвою и милостынею, были дни поминовений, и особенно *родительские* субботы – Мясопустная, Троицкая и Дмитровская. То же значение имела и *радуница* (вторник Фоминой недели) или вообще христосованье с родителями на Святой.

В эти дни царица хаживала на богомолье в кремлевский Вознесенский монастырь, который был усыпальницею царских родителей женского колена, и в Новоспасский монастырь, в котором находились гробы родителей Дома Романовых. Это были главные места, где царица, помина-

состоит из деревянных прутьев, обтянутых золотыми листками. Посредине его деревянный престол, обложенный серебряными позолоченными листками; ножки его из чистого серебра, а верх его усыпан драгоценными камнями. Султан садится на этот престол; с правой его стороны (садится) хатунь (жена, *хоть* «Слова о полку Игоревом») *Тайтуглы* (известная Тайдула наших летописей) и рядом с ней хатунь *Кабак*, а с левой стороны – хатунь *Баялунь* (ск. в 1324 г.) и возле нее – хатунь *Урдуджи*. У подножия трона стоит справа старший сын Султана Тинанбек, а слева – второй сын его Джанибек. Перед ним (Узбеком) сидит дочь его Итку-джу-джюк. Когда приходит одна из хатуней, то Султан встает перед нею и держит ее за руку, пока она всходит на престол. Что касается Тайтуглы, то она – царица и самая любимая из них жена у него. Он идет к ней навстречу до двери шатра, приветствует ее и берет ее за руку, а когда она взойдет на престол и усядется, тогда только садится сам Султан. Все это происходит на глазах людей, без прикрытия. Затем приходят старшие эмиры, для которых поставлены скамьи справа и слева. Другие чины и родственники его стояли перед Султаном справа и слева. Все это устраивалось для представления Султану служащей Орды. Люди входили на поклон по разрядам, каждый разряд в три человека, кланялись и отходили. По окончании полуденной молитвы царица (Тайдула) между хатунями уходит; затем уходят и прочие из них и провожают ее до ее ставки, а при входе ее в ставку каждая (хатунь) на арбе своей уезжает в свою ставку. Перед каждой (из хатуней) *около 50 девушек верхами на конях*. Перед арбой *до 20 старых женщин верхами на конях*, между отроками и арбою, а позади всех – около 100 невольников из молодежи. Перед отроками – около 100 старших невольников верховых и столько же пеших с палками в руках и с мечами, прикрепленными к их поясам; они идут между конными и отроками. Таков порядок следования каждой хатуни при уходе ее и приходе ее». – *Тизенгаузен В.* Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. I. – СПб., 1884. – С. 290–291.

ючи родителей, служила непременно панихиды, а иногда слушала и обедню. Иной раз царица обходила в эти дни и другие святыни Кремля, именно Успенский собор – усыпальницу московских святителей, Архангельский собор – усыпальницу царских родителей мужского колена, Чудов монастырь, Троицкое и Кирилловское подворья. Точно так же и загородные выходы направлялись иной раз кроме Новоспасского и в девичьи монастыри – Ивановский, Зачатейский, Алексеевский и Новодевичий.

Монастыри и подворья посещались в это время с целью раздать монашествующей братии, и особенно сестрам, заупокойную милостыню на помин души усопших родителей. На Маслянице царица ходила в эти храмы и монастыри прощаться, а на Святой – христосоваться.

В обыкновенных выходах, очень редко пешком, а большею частью в экипаже, царицу всегда сопровождали дворовые боярыни, дворовые девицы-боярышни и служащие женщины младшего чина, казначеи, постельницы. Если она выходила с детьми, то в таком случае первое место в числе боярынь занимали мамы. Для обереганья такой выход сопровождали царицыны дети боярские. Когда выходу почему-либо давали большую торжественность, то с царицею выезжали и боярыни *приезжие*. Так, в 1626 г. февраля 17 в пятницу на Маслянице выезжала в Вознесенский монастырь новобрачная царица Евдокия Лукьяновна Стрешневых. Она ехала в санях, против нее сидели боярыни: вдова князя Федора Ивановича Мстиславского княгиня Орина Ивановна[1] и жена боярина Ивана Никитича Романова Ульяна Федоровна. За царицею в санях ехали: вдова Ивана Ивановича Годунова боярыня Орина Никитична, жена князя Ивана Борисовича Черкасского княгиня Авдотья Васильевна, жена Федора Ивановича Шереметева

[1] Михайловна, как значится в записке о пожаловании князя Ф. И. Мстиславского по случаю его свадебного приезда к царю в 1616 г. генваря 21. – Архив Оружейной палаты. – № 903; Дворцовые разряды. Т. I. – С. 788–789.

боярыня Марья Петровна, жена князя Юрья Еншеевича Сулешева княгиня Марфа Михайловна, жена князя Бориса Михайловича Лыкова княгиня Настастья Никитична, вдова Ивана Филипповича Стрешнева; жена Лукьяна Степановича Стрешнева Анна Константиновна, родная мать царицы, жена Василия Ивановича Стрешнева Орина Прокофьевна, вдова князя Василия Романовича Пронского княгиня Марья и дворовая боярыня Федора Заболоцкая. Против боярынь сидели по две постельницы: у саней у боярынь шли по два сына боярских царицыных да люди их (боярынь).

В 1675 г. февраля 13 в субботу Масляницы на первом часу дни, т. е. на рассвете, ходила царица Наталья Кирилловна по монастырям, в Вознесенский, в Чудов, в собор к Архангелу Михаилу. А за нею, государынею, были: ее отец боярин Кирилла Полуектович Нарышкин да думные дворяне: ловчий Афанасий Иванович Матюшкин, Авраам Никитич Лопухин; ближние люди и стольники, родные ее братья, Иван и Афанасий Нарышкины; Василий Федорович да Иван Фомич Нарышкины. Да за нею же, государынею, были мамы и приезжие боярыни: мать царицы Анна Левонтьевна; тетка, жена Федора Полуектовича Нарышкина Авдотья Петровна; невестка, жена Ивана Кирилловича Нарышкина Прасковья Алексеевна, да верховые боярыни и казначеи. Царица выезжала в это время со всею семьею, с двумя младшими царевичами Иваном и Петром, при которых находился дядька князь Петр Иванович Прозоровской и царевичевы стольники, пажи; с царевнами *большими* и *меньшими*, при которых находились окольничий Иван Федорович Стрешнев, стольник Иван Иванович Матюшкин, Борис Гаврилович Юшков да дьяки и стольники. А покамест ходила царица по монастырям, Кремль был заперт и никого не пускали; по всем воротам стоял стрелецкий караул. Кремль отперли уже в третьем часу дня, когда царица возвратилась в свои хоромы.

В том же году апреля 11 в воскресенье на Святой неделе в день Мироносиц царица ходила христосоваться по

монастырям, в Чудов, Вознесенский и в Архангельский собор; а за нею были бояре: отец ее Нарышкин и Матвеев Артамон Сергеевич; думный дворянин Лопухин и родные ее братья Нарышкины; да царицыны стольники и дьяки. Из боярынь ее сопровождали родная мать Анна Левонтьевна да невестка Прасковья Алексеевна Нарышкины и все верховые боярыни. А как была царица в монастырях и жаловала к руке игуменей с сестрами, да протопопа Архангельского, да ключарей, да священников к руке и ее, государыню, держали под руки: под правую – мать Анна Левонтьевна, под левую – невестка Прасковья Алексеевна. В Вознесенском монастыре на этот случай собрались и боярыни приезжие разных чинов, которых царица также жаловала к руке. Потом повелела спросить вознесенскую игуменью с сестрами *о спасении*, а приезжих боярынь – *о здоровье*. Этот церемонный спрос передавала мать царицы – Анна Левонтьевна.

В тот же день царица ходила и в загородные монастыри – в Новодевичий, в Зачатейский и в Страстной с маленьким царевичем Петром и с царевнами. Колымага была большая, запряженная в 12 санников (лошадей) цветных. В колымаге с нею сидели мамы, родная мать, невестка, да боярыня Матрена Васильевна Блохина и кормилицы. А сидела царица с царевичами Иваном и Петром да с меньшими царевнами. Из мужчин царицу сопровождали Нарышкин-отец, Матвеев и Лопухин с царицыными стольниками и несколькими дворянами московскими по списку. Впереди царицы шел и старший царевич Федор Алексеевич в своей карете, запряженной в шесть лошадей; с царевичем сидели дядьки, а за каретою ехали ближние люди. В особых колымагах ехали царевны большие и царевны меньшие, сопровождаемые также ближними людьми и дворянами московскими. Наперед всего поезда шел стремянный стрелецкий полк под предводительством головы. И в этих монастырях царица жаловала игуменей с сестрами и собравшихся для

такого случая разных чинов боярынь к руке: причем под руки ее держали те же ближние боярыни. Точно так же и здесь был церемонный спрос монахинь о спасении, а боярынь о здоровье, объявленный матерью царицы, Анною Левонтьевною. По обыкновению во время таких выездов от государя всегда приезжали к царице, к царевичам и царевнам ближние люди со *здоровьем*, т. е. спросить, благополучно ли совершают они свое богомолье. Точно так же и царица от себя посылывала к государю, когда он выезжал на подобные богомолья и вообще за город, т. е. за кремлевские стены. Иной раз царица совершала такое богомолье вместе с государем. Так, в том же 1675 г., в Троицын день мая 23 ходил государь с царицею в собор Архангельский, в монастыри Вознесенский и Чудов и на Троицкое подворье. Их сопровождали те же лица, которые обыкновенно находились на выходах царицы Нарышкин-отец, Матвеев и Нарышкины, братья царицы. Кремль был заперт и никого не пускали до окончания царского богомолья; самый выход, без сомнения, был совершен ранним утром.

Такие же выезды по монастырям совершались и осенью по случаю субботы Дмитровской. В 1674 г. октября 24 царица Наталья Кирилловна ходила с царевичами меньшими и с царевнами в Успенский и Архангельский соборы, в Вознесенский и в Чудов монастыри, на Троицкое и на Кирилловское подворья и к Николе Гостунскому. С нею были мамы: княгиня Голицына Ульяна Васильевна, Шереметева Ульяна Петровна, княгиня Лобанова-Ростовская Анна Никифоровна, Шереметева Настасья Федоровна, княгиня Ромодановская Прасковья Ивановна, мать царицы, невестка да верховые боярыни и казначеи. Из мужчин царицу и детей сопровождали те же ближние люди: Нарышкин-отец, Матвеев, Стрешнев, Матюшкины, Лопухин, дядька царевича Ивана князь Прозоровский и двое братьев царицы. Кремль на время выхода точно так же был заперт[1].

[1] Дворцовые разряды. Т. III. – С. 1088, 1235.

Впрочем, главным и неизменным сопутником таких богомольных выходов царицы во всякое время была милостыня, о которой и сообщают нам свидетельства расходные денежные записки. Так, в 1632 г. февраля 6 (понедельник Масляницы) царица Евдокия Лукьяновна ходила молиться к Спасу на Новое, да к Знамению Богородицы (что у старого двора Романовых), да в Вознесенский монастырь; и в Спасском монастыре роздано нищим поручно милостыни 2 руб. 3 алт. 2 ден. да из Сибири Тобольского города приезжей старице Каптелине полполтины; да по челобитным бедным детям боярским и вдовам и черноризицам рубль. В субботу Масляницы февраля 11 царица ходила в Новодевичий монастырь и на дороге роздано нищим поручно 27 алт. 4 ден.; старице Евникие на келью 5 руб. В 1634 г. февраля 16 на масляное заговенье царица Евдокия ходила молиться в монастырь к Спасу на Новое и, идучи, пожаловала в богаделенную избу, что на Кулишках, нищим проезжие милостыни полтину; да на Ильинском крестце старцу Маркелу рубль; да дорогою идучи поручно роздано нищим рубль 15 алт. В 1635 г. февраля 2 (понедельник Масляницы) царица ходила в монастыри к Спасу на Новое и в Вознесенский, и на Кирилловское подворье, причем нищим роздано рубль 1 алт. 2 ден. Февраля 4 в среду ходила в Новодевичий монастырь и пожаловала в монастыре крылошанке старице Елинархе Темирязеве 2 руб., да безместной старице Ираиде на платье рубль; да по ее приказу на милостыню роздано по дороге нищим и всяким бедным людям 1 руб. 19 алт. 4 ден.

Когда не было вместимого дня и совершить выход самой царице было невозможно, в таком случае она посылала деньги на установленную панихиду. Так была справлена Дмитровская суббота в 1628 г. октября 25, см. с. 377. В 1631 г. мая 27 царица Евдокия велела послать в Новоспасский монастырь «для вселенной Троицкой субботы по родителех на панихиду 2 руб., в Вознесенской монастырь по царевне Пелагее на панихиду рубль. В 1632 г. мая 13 тоже

по случаю Троицкой субботы послала к Спасу на Новое по государских родителех на панихиду рубль».

Кроме того, царицы неизменно, если бывали вместимые дни, хаживали *править панихиды* по усопшим в дни их кончины. Так, царица Евдокия в 1634 г. генваря 27 ходила к Спасу на Новое править панихиду по своей свекрови иноке Марфе Ивановне, причем дорогою и в монастыре роздано ею нищим 2 руб. 18 алт. Большею частью эти выходы делались в Вознесенский монастырь, ибо там покоилось усопшее царское женское колено.

Церковное поминовение усопших сопровождалось всегда покормом духовного чина, который творил память и совершал службу. Мы видели, что во дворце для таких покормов существовала даже особая палата – панихидная или сборная[1]. В монастырях, где покоились родители, также всегда происходил такой покорм на всю братию или в девичьих на всех сестер, причем раздавалась братии и сестрам денежная ручная милостыня. Независимо от этих собственно церковных покормов в самом дворце происходили покормы на нищих, которые собирались в царские хоромы на каждую *память*, т. е. в каждое число, в которое справлялось поминовение по усопшем, именно в день кончины, в день именин и в другие подобные дни (см. выше с. 214).

Чтобы дать вообще понятие о том, с каким богомольным усердием и с какою милостинною щедростью совершались в царском быту поминки по усопшим, как вообще *строили* душу покойника и творили память о нем, укажем на поминовение, справленное царем Алексеем по умершей своей супруге царице Марье Ильичне. Она скончалась в 1669 г. марта в 3 день, в среду второй недели Великого поста, в отдачу (на исходе) часов дневных, т. е. в 6 ч. вечера. На другой же день, 4 марта, совершено было и погребение. Не будем говорить о том, какие суммы розданы из приказу Большого Дворца высшим духовным властям, которые

[1] См.: Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. – С. 96, 338.

были на погребении: двум патриархам, двум митрополитам, епископу, архимандритам, игуменам и т. д. Мы укажем здесь только расходы, так сказать, кабинетные, из Приказа Тайных дел, откуда в тот же день роздано нищим, которые в числе 103 чел. шли за гробом, по рублю.

На *третины*, т. е. на третий день по кончине (6 марта), в деревянных царицыных хоромах, где она жила и скончалась, кормлено нищих 30 чел. и роздано им милостыни по рублю. В тот же день ввечеру на Аптекарском дворе[1] кормлено нищих 81 чел., в том числе кормлены и те, которые шли за гробом, причем роздано 10 чел. по полтине, 20 чел. – по 25 коп., а 51 чел. – по 2 гривны. 9 марта государь был в столовой и из своих рук изволил жаловать для поминовения по царице на сорокоусты в соборы большие и дворцовые и во все кремлевские и некоторые другие церкви, всего раздал 651 руб. 16 алт. В тот же день на Аптекарском дворе кормлены раненые и вышедшие из полону стрельцы 72 чел.; роздано им по рублю. Марта 10 государь указал взять из приказа Тайных дел 3000 руб. и поднести по приказу покойной царицы в хоромы царевен Ирины, Анны и Татьяны по 1000 руб.

---

[1] Аптекарский Двор, Новый, построен был царем Алексеем и находился на Воздвиженке подле Воздвиженского монастыря, где теперь здание Казенной палаты. Это был, собственно, дворцовый запасный двор, на котором сохранялись всякие хлебные и столовые запасы и питье и производилось *водочное сиденье* и *винная двойка*, пивоваренье, также делали морсы, *ставили* пастилы и виноград и арбузные полосы и т. п. Он состоял в ведении приказа Тайных дел, а с 1676 г. поступил в приказ Большого Дворца. Здесь же при царе Алексее под надзором сокольника Зота Полозова происходила всегда поминная, а также праздничная кормка певчих и других чинов, а главное – нищих, для чего на дворе построена была особая палата длиною, по Шуйскому переулку, с лишком 10 саж., поперек – 7 саж., с 14 большими окнами с двумя поставцами, один – в 3 саж., другой – в 1 $^{1}/_{2}$ саж. и в 1 арш. шириною, у них по 2 ступени шириною по 1 арш. Вокруг поставцов стояло 30 столов разной величины – от 3 до 5 арш., а при них 60 скамей. В палате была печь большая с кожухом и с каменницею для большего тепла. Сокольник Зот Полозов здесь раздавал всегда и денежную милостыню по назначению государя. Так, например, в течение 1665–1666 гг. ему выдано из Тайного приказа на кормлю и на милостыню в разных месяцах 665 р. Нищих бывало человек по 300 и более.

На *девятины*, в девятый день, 13 марта, после заутрени царь жаловал на красном крыльце нищих милостынею, а роздано 16 руб. 13 алт. 2 ден. Девятины правлены в Чудове, т. е. там служили панихиду, причем царь раздал архимандриту с братьею 446 руб. Марта 20 царь ходил в девичьи монастыри, в Алексеевский, Зачатейский и Никитский, и в богадельни и раздавал там на поминовение милостыню; а во дворце в тех же деревянных царицыных хоромах кормил нищих, которым роздано 36 руб.

24 марта, ко дню Благовещенья, государь разослал во все монастыри московские, городские и загородные и важнейшие из подмосковных: 360 осетров (длиною от 2 до 1 $^1/_2$ арш., ценою по рублю), 50 белуг (длиною от 3 до 2 $^1/_2$ арш., ценою по 2 руб.), 30 теш соленых белужных. В тот же день для поминовения послано в Троицкий монастырь 504 руб., в Саввин – 280 руб. 17 алт. 2 ден. 25 марта государь из своих рук раздал крестовым и певчим дьякам, которые на месте (в хоромах) и на гробу царицы псалтырь говорили; а также и всем комнатным крестовым у царицы, царевичей и царевен за псалтырь, который, вероятно, они говорили по комнатам, всего 39 чел., за псалтырь 336 руб.[1], да за вынос и за погребенье 43 чел. 133 руб. 13 алт. 2 ден. В тот же день из своих государских же рук роздал верховым богомольцам и неимущим 13 чел. по 5 руб. 27 марта в субботу пятой недели поста государь кормил в деревянных хоромах царицы нищих, роздано 32 руб. 28 марта в воскресенье опять там же кормлено 32 чел. нищих, причем милостыню им раздавал царевич Алексей – по рублю человеку. Апреля 1, в день именин покойной царицы Марьи, государь приказал выдать 5 руб. дьячку от царицыной Евдокеинской церкви на Сенях Ивану Архипову за псалтырь, что он в той церкви говорил за великого государя в Великий пост. Тогда же в ночи госу-

[1] В 1637 г. генваря 28 царица Евдокия выдала 40 руб. к Спасу на Новое псалтырникам, которые говорили псалтырь четыре четыредесятницы по иноке Марфе Ивановне.

дарь ходил в богадельни и в тюрьмы и раздал в Кулижской и Покровской богадельнях 200 чел. по рублю; на Тюремном дворе 811 чел. по рублю; на Земском (в тюрьмах же) 875 чел. по рублю и т. д. Всего роздано в этот выход и по дороге нищим 2418 руб. 31 алт. 2 ден. Вместе с тем для поминовения царицы государь повелел колодников и тюремных сидельцев освободить, а истцовы иски и пошлины за них заплатить всего на 807 руб. 21 алт. 1 ден. Апреля против 3 числа в ночи государь ходил в девичьи монастыри Георгиевский, Страстной и Моисеевский да к священнику Никите и к расслабленному Зиновию, что у него на дворе, и раздал из своих рук для поминовения по царице игуменьям по 2 руб., старицам 386 чел. по рублю, священнику 50 руб., расслабленному, и кажненым, и нищим, которые были собраны к нему, священнику, на двор, и дорогою нищим и вдовам бессчетно 109 руб.; всего роздано в этом выходе 600 руб. 13 алт. 2 ден. Апреля 3 в субботу Лазарева Воскресенья в деревянных царицыных хоромах кормлено 75 чел.; роздано по рублю. Апреля 4 на Аптекарском дворе роздано нищим 100 чел. по гривне, да им же куплено калачей и прочего корма на 5 руб. Во 2-м часу ночи в хоромах царицы кормлен 61 чел. нищих, роздано по рублю. Апреля 7 к празднику Светлого Христова Воскресенья и для поминовения царицы в соборы и в приделы церковному причту разосланы говяжьи стяги. Апреля 8 розданы по монастырям купленная рыба и масло коровье для поминовения, а на Аптекарской двор на кормку нищим куплено кур индейских, гусей, уток на 126 руб.

Апреля 11 в Светлый день в хоромах царицы кормлено 73 чел. нищих, дано по рублю. После вечерни государь ходил в Вознесенский монастырь ко гробу царицы, а оттуда в каменной застенок, что у Спасских ворот, и жаловал там бессчетно из своих рук раненых рейтар и солдат и нищих; роздано 200 руб. 20 алт. В понедельник 12 октября в хоромах царицы кормлено 76 чел. нищих, дано по полтине. И каждый день во всю неделю в тех же хоромах кормлены ни-

щие в таком же почти количестве с раздачею им милостыни по полтине человеку.

По истечении первой четыредесятницы государь апреля 20 указал править другую четыредесятницу, т. е. другие сорочины, и на раздачу милостыни повелел выдать голове стрелецкому Авраму Лопухину 1000 р. В хоромах царицы кормлены 72 чел. нищих и роздано одному рубль, прочим по полтине. В стрелецких слободах вдовам и сиротам роздано 176 руб. 18 алт. 4 ден. Тогда же государь указал раздавать на Аптекарском дворе во время кормки нищим на другую четыредесятницу, в которые дни было погребение, третины, девятины, полусорочины и сорочины, на день 130 чел., по полуполтине. В придельные дворцовые церкви наняты тогда священники служить литургию и панихиды, петь по царице в год по вся дни; а в другую четыредесятницу с того числа (20 апреля) по вся дни ввечеру петь панихиды, а как четыредесятница отойдет, и им петь в неделе по три панихиды против вторника, четверга, субботы.

На другой день, 21 апреля, во все московские церкви розданы деньги на сорокоусты. В царицыных хоромах за обедом кормлены 52 чел. нищих, роздано им по полтине; потом ввечеру кормлены 80 чел., дано по стольку же. Апреля 27 в другую четыредесятницу, на девятины, там же кормлено нищих за обедом 60 чел., за ужином – 12 чел.; дано по полтине. На Аптекарском дворе велено кормить в эту четыредесятницу на девятины, на полусорочины и на сорочины нищих по 130 чел. в день, на что дано 21 руб. 10 алт. Мая 1 государь велел окупить колодников, которые сидят по приказам и стоят на правежах в долгах и исках; на выкуп издержано 416 р. 11 алт. 2 ден. Мая 2 в воскресенье за два часа до вечера в хоромах царицы кормлены 72 чел. нищих, дано по полуполтине. На полусорочины другой четыредесятницы, 8 мая, государь после всенощного ходил к панихиде в Вознесенский монастырь и раздал дорогою нищим бессчетно 17 руб. 13 алт. В хоромах царицы в тот же день кормлено ни-

щих 72 чел. Мая 10 государь был в с. Острове и в саду из своих рук раздал нищим, 68 чел., по полуполтине. Из с. Острова он ходил к панихиде в Николаевский монастырь на Угреше и пожаловал на сорокоуст 10 руб., на панихиду 4 руб., да ручной милостыни игумену и братии и на монастыре нищим роздано 4 руб. 8 алт. 2 ден. Мая 16 и 24 в хоромах царицы кормлено нищих 72 чел., дано каждому по полуполтине. 28 мая после вечернего пения кормлено перед столовою в сенях нищих тоже 72 чел., причем милостынею их жаловал из своих рук царевич Алексей. Июня 5 государь послал для поминовения в Киев в Печерский монастырь 20 пуд. масла деревянного (по 3 руб. 5 алт. за пуд), 10 пуд. ладану белого самого доброго (по 12 руб. 50 коп.) да 50 пуд. воску.

1 сентября государь опять кормил нищих 30 чел. для поминовения по царице в Передней и раздал им из своих рук по полтине. 8 числа кормлены нищие 84 чел. в Золотой царицыной палате; им раздал государь из своих рук одному 2 $^{1}/_{2}$ руб., а прочим по полтине. Это было в день Рождества Богородицы, в годовой праздник на Сенях царицы, по главному престолу Рождественской церкви. По этому случаю и кормка нищих происходила с большим торжеством в Золотой приемной палате цариц. 18 сентября в Троицком богомольном походе царь для поминовения раздал из своих рук архимандриту Троицкого монастыря и братии 1822 руб. Октября 22 по случаю Дмитровской субботы для поминовения царицы царь снова кормил в Передней и в Комнате 60 чел. нищих и раздал им из своих рук по полтине. Ноября 28 таким же образом кормлены нищие 72 чел. в царицыной Золотой палате, дано из своих рук по полтине. 23 декабря государь разослал в монастыри к празднику Рождества Христова для поминовения рыбу, масло, 763 ведра меду кислого, 181 четверть круп гречневых.

В праздник Рождества Христова, 25 декабря, государь кормил нищих 80 чел. в Золотой царицыной палате и раздал из своих рук по рублю каждому. Такое же количество

нищих и в той же палате для поминовения царицы кормлено в мясопустную родительскую субботу 5 февраля 1670 г. В этом году по случаю годовщины, 4 марта, на Ильинском крестце куплено 2000 калачей двуденежных для раздачи нищим и колодникам в тюрьмы, а богаделенным роздана денежная милостыня; такая же милостыня разослана в монастыри. 5 марта для помину царицы кормлены на тюремном дворе все колодники, а в ее Золотой палате нищие 120 чел., которым дано из своих рук по полтине. Там же кормлен с раздачею милостыни 121 чел. марта 19. Марта 25 в день Благовещения государь кормил в царицыной Золотой палате 30 чел. священников, которые служат по ней, государыне, годовую службу, да нищих 60 чел., и раздал из своих рук: попам по 2 руб. и по портищу (куску) материи – дорог персидских, а нищим – по полуполтине. 3 апреля в Светлое Воскресенье кормлены нищие 30 чел. в Золотой царицыной палате, дано из своих рук по полтине. Такие же столы были справлены в той же палате 7 и 8 числа, 12 числа там же кормлены 120 чел. В тот же день куплено 15 пирогов больших, по 23 алт. 2 ден. за пирог, которые и развезены в богадельни и в тюрьмы. Мая 21 в Золотой палате царицы кормлено нищих 90 чел. с раздачею из своих рук по полуполтине. Мая 28 там же кормлены 33 чел. священников, которые служат по царице годовую службу, дано по 2 руб. и по портищу сукна. Сверх того, покорм нищих по тем же дням происходил и на Аптекарском дворе, а иной раз кормили и колодников на тюремном дворе и в Разбойном приказе, как было 5 марта и 6 апреля. Не говорим о других не столь значительных милостынных подаяниях.

Вообще годовщина памяти справлялась постоянно и неизменно каждый год и церковною службою, и раздачею милостыни и, между прочим, всенародною раздачею нищим калачей или хлебов. В 1674 г. государь указал раздать по царице Марье марта 3 для (памяти) преставления, а марта 4 для погребения по двуденежному хлебу на милостыню,

по Приказам колодникам, в тюрьмы тюремным сидельцам, в богадельни нищим, да по улицам нищим особо 1000 чел. Всего в первый день было роздано 2884 хлеба, в том числе в 28 приказах 471, в тюрьмах 933, в 12 богадельнях 480 и на 16 улицах 1000. Хлебы развозили на извозчичьих телегах[1].

То же самое, если и не с такою щедростью, происходило в подобных случаях и на царицыной половине. Так, в 1634 г., когда скончался патриарх Филарет Никитич, по нему в течение сорочин каждый день раздавалась нищим милостыня от царицы. Раздавал на дворце по рукам царицын дворецкий Федор Степанович Стрешнев. 10 октября на девятины роздано таким образом 3 руб., в остальные дни – по рублю и в самые сорочины, т. е. в последний день, 2 руб. В 1636 г. с 20 июня, когда скончалась маленькая царевна Софья Михайловна, по ней во все сорочины каждый день раздавалась из хором царицы милостыня нищим, причем самая высшая цифра в день была около 8 руб., а меньшая – 20 алт.

Все это была поминная милостыня только комнатная, своеручная и потому более или менее тайная. Приказная или официальная раздача на помин души духовному чину и нищим простиралась всегда до огромной цифры, особенно если поминки справлялись по самом государе. По свидетельству Котошихина, на царское погребенье выходило на Москве и в городах близко того, что на год собиралось казны или дохода со всего государства. На поминовение царицы выходило против царского вполовину; на поминовение царевича против царицына – малым чем с убавкою, а на поминки царевны против царского – в четвертую долю. Кроме денежной раздачи всегда также справлялись по установленным дням панихидные кормы.

Упомянем о деяниях царского нищелюбия и по случаю болезней и других домашних невзгод, о которых мо-

[1] Расходные книги приказа Тайных дел 177 и 178 г. в архиве Московского Дворцового ведомства.

жем догадываться только по расходным записям о выдаче той или другой суммы на раздачу заключенным и нищим. Так, в 1664 г. октября 19 государь от себя изволил отослать к своему духовнику Благовещенскому протопопу Лукьяну, на милостинную раздачу 300 руб. Сумма очень значительная по тому времени.

В 1674 г., быть может, по случаю нездоровья самого государя или по нездоровью царицы Натальи Кирилловны, которая в это время была на *сносях*, на 9-м месяце беременности царевною Феодорою, августа 3 по указу государя взяты были к нему, государю, в Верх с *Кресцов* (перекрестков) 20 чел. нищих *слепых*; и пожаловал им государь в церкви прпмц. Евдокии из своих государских рук милостыни по рублю человеку; да из них же нищему Семену сверх того рубль. Но еще в ночь против этого 3 числа августа по указу государя было роздано в милостыню для его государева и государыни царицы многолетного здоровья по Приказам колодникам и в тюрьмах тюремным сидельцам: первым – по алтыну, вторым – по два алтына. В Приказах число колодников не было особенно значительно; в 27 Приказах содержались всего 265 чел., но в тюрьмах содержались 1287 чел., в том числе на тюремном дворе, в особых тюрьмах, в Барышкиной – 71 чел., в Опальной 44 чел., в Заводной – 110 чел., в Сибирке – 50 чел., в Холопье – 54 чел., в Разбойной – 119 чел., в Женской – 37 чел., в Татарской – 314 чел.; на Земском дворе под Приказом в двух палатах – 62 чел. мужиков да 16 чел. баб; в Сущевской тюрьме – 139 чел.

6 августа на Аптекарском дворе по государеву указу кормлено 20 чел. нищих слепых приказными (т. е. по особому приказу) ествами; на милостыню им роздано по полтине человеку. Затем 9 числа государь у себя в Верху в Передней изволил кормить те же 20 чел. нищих слепых и пожаловал им из своих государских рук милостыни по полтине. Тогда же и на Аптекарском дворе кормлены нищих слепых же 9 чел. и дано им по полтине.

Собранные нищие слепцы могут указывать на болезненное состояние царских очей.

Из богомольных, также годовых походов по далеким замосковным монастырям, о которых мы отчасти уже упоминали выше, особенно был соблюдаем поход Троицкий к чудотворцу Сергию, куда царица, как и государь, ходили творить чудотворцеву память каждый год обыкновенно осенью, освящая богомольем день его преставления 25 сентября. Выше мы также видели, что, если по какому-либо обстоятельству этот осенний поход совершить было нельзя, царица хаживала туда и в другое время, чаще весною и даже зимою, почитая неизменным благочестивым обетом молиться у чудотворца в монастыре каждогодно. В иные года Троицкий поход она совершала и по два раза, например в 1548 г. в июне и сентябре; в 1637 г. в сентябре и потом в ноябре.

Само собою разумеется, что милостыня сопровождала каждый богомольный шаг царицы и особенно в этих отдаленных походах, предпринимаемых обыкновенно по обещанию. При богомольном настроении мыслей и при великом множестве нищих действительно нельзя было в то время и шагу сделать без подаяния, которое в мелких раздачах ограничивалось обыкновенно одним алтыном на человека.

Вообще царицыны богомольные и другие походы из Москвы своими расходными записками раскрывают особенную простоту отношений царицы к населению вообще, деревенскую простоту и непосредственность ее быта. Дорогою идучи, она нередко потешала своих маленьких детей, царевичей и царевен покупкою им игрушек и разных гостинцев, какие бывали на торгу и какими обыкновенно потешался простой народ.

Она покупала им в возок калачики пшеничные сдобные и тертые, яблоки садовые и резань, ягоды, орехи, морковь и репу и т. п. гостинцы кроме различных игрушек.

По дороге крестьянки, попадьи с попами выходили к ней навстречу из деревень и подносили кто что мог, у кого что было: хлеб-соль, калачи, пироги, ягоды, клюкву, квас, пиво, брагу, сотовой мед, пряники разных видов, сыр, блины, репу и т. п., за что получали небольшую награду – алтына по два, по гривне, по полтине, по рублю и больше, смотря по обстоятельствам и лицам.

Касательно других годовых выходов мы уже знаем, что царица не присутствовала публично ни при торжественных праздничных служениях Церкви, ни при совершении церковных торжественных обрядов, на которые неизменно всегда выходил один только государь и объявленный царству наследник – царевич. Но и в своем удалении от публичной жизни царица тоже следовала некоторым обычаям и обрядам, какие для непременного исполнения освящены были церковным благословением. Так, 1 августа, в день торжественного церковного освящения воды, когда государь погружался сам в иордань на Москве-реке под Симоновым монастырем[1], и царица совершала такое же погружение в иордань, при царе Михаиле обыкновенно в селе Рубцове на прудах. В 1629 г. июля 31 для этой цели из царицыной Белой Казны отпущено было в светлицу на простыни иерданские в село Рубцово пять полотен тверских. В царицыной казне сохранялась «коробья новгородская, а в ней простыни, которые были на иердани, как омочалась во иердани государыня царица Евдокия Лукьяновна».

Из описания царских выходов и приемов мы уже видели (т. I, гл. III и IV), что торжественные приемы у царицы как самого государя, так патриарха и высшего духовного и светского чина ограничивались немногими днями больших годовых праздников, каковы были праздник Рождества Хри-

[1] См.: Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. – С. 492, 493.

стова, один из прощеных дней Масляницы и Светлый день, а также какими-либо особыми торжественными случаями, семейными (свадьба, родины, крестины) и церковными (поставление святителей)[1].

Такие приемы происходили обыкновенно в царицыной Золотой палате. Нам неизвестно, в каком порядке окружал ее в это время ее дворовый чин или штат; но можем полагать, что порядок был обычный, какой соблюдался и в палатах государя. Так, без всякого сомнения, младшие женские чины царицы стояли церемонно и сидели в сенях перед палатою, а в палате приезжие боярыни сидели, подобно как и бояре у государя, на лавках по сторонам царицына места. У самого места подле царицы стояли боярыни из самых близких к царице особ, как, например, родная ее мать, тетка, сестра... К великому сожалению, выходные книги цариц, в которых могли быть записаны подобные чиновные приемы, не сохранились, но, судя по некоторым указаниям, существовали[2], да и должны были существовать, как обычные записки отдельного придворного ведомства царицыной Мастерской палаты.

И в этом случае дополнительною чертою может послужить рассказ песни-былины о приеме богатырей у Дюковой матушки:

Вошли они в палату белокаменну,
Они Господу Богу помолилися,
Крест они клали по писанному,
Поклон-то вели по ученому,
На все на три-на-четыре на сторонки покланялися.
Честной вдове (Дюковой матушке) в особину:
Здравствуешь честна вдова Настасья Васильевна,

---

[1] См.: Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. – Гл. III, IV.

[2] В 1650 г. февраля 11 переплетчик Степан Андреев переплетал три книги из царицыной мастерской палаты: *выходную*, приходную и расходную 156 и 157 (1648–1649) гг., за что и за приклад получил 13 алт. 2 ден. – Архив Оружейной палаты. – № 806.

Дюкова Степанова матушка!
Говорит она таковы слова:
Не есть я Дюковая матушка,
А есть я Дюковая *рукомойница*.
Вошли они в другой покой,
Опять низенько покланяются.

Здравствуют и получают ответ, что это Дюковая *портомойница*; в третьем покое также им ответила Дюковая *стольница*. Проводили, наконец, их красные девушки ко Дюковой матушке; поклоняются они и удивляются...[1] На Рождестве и на Светлой неделе патриарх с духовными властями приходил к царице и к большим царевнам «славить Христа». Вместе с тем на Светлой неделе он и духовенство подносили государыне и царевнам благословенные образы и кресты и обычные великоденские дары, в числе которых самое видное место занимают, как известно, *золотые* (иностранные червонцы).

В тот же самый день царица принимала у себя и государев светский чин, приходивший челом ударить и здравствовать с праздником. Так было в Светлый день 7 апреля 1667 г., когда вместе с патриархом и духовными властями царица в присутствии государя принимала бояр, окольничих, думных людей и спальников, т. е. ближних людей. В 1668 г. марта 24, во вторник[2] на Святой, царица в присутствии государя и объявленного царевича Алексея Алексеевича принимала в своей Золотой палате Вселенских и московского патриархов, властей и бояр.

В 1665 г. марта 26, в самый день Пасхи, царица по случаю последних дней беременности царевичем Симеоном не могла совершить этого торжественного приема, и потому в ее же Золотой палате справлял прием светского мужского

---

1 *Рыбников*. Т. I. – С. 294.

2 По другому свидетельству – в пятницу. См.: Выходы царей и Дополнения к Актам Историческим. Т. V. – С. 124.

чина 11-летний царевич Алексей Алексеевич, еще не объявленный народу и на этот только случай, как бы представляя лицо матери царицы, явившийся в первый раз пред царским синклитом, разумеется, в присутствии самого государя. Царевич в то время жаловал к руке бояр, окольничих, думных людей и спальников. Это было самое великое жалованье, какое только мог государь оказать своему боярству в великий день Светлого праздника. В 1675 г. подобный прием был назначен также в самый день Пасхи, 4 апреля, но по какому-то случаю отменен и происходил на другой день только у государя. В составленной для этого приема записке ему назначался следующий порядок: «Апреля в 4 день были у великого государя и у государыни царицы святейший Иоаким, патриарх Московский и всея России, да власти с образы: Павел, митроп. Сарский и Подонский; Филарет, митрополит Нижегородской и Алаторский; Мисайло, митроп. Белогородский и Обоянский; Варсунофий, архиеп. Смоленский и Дорогобужский; Иосиф, архиеп. Коломенский и Коширский; Иоаким, епископ Сербословенский и Оршанский; да архимандриты: Чудовской, Новоспасский, Симоновский, Андроньевский, Петропавловский, Богоявленский; да игумены: Знаменский, Здвиженский, Златоустовский, Стретенский, Новинский; да протопоп большого (Успенского) собора Кондрат, да ключари, да протодьякон. Того ж числа были у великого государя и у великой государыни царицы в ее Золотой палате челом ударить: царевичи Сибирской Алексей Алексеевич, Касимовский Михайло Васильевич и бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки, крайчий, постельничий, стряпчий с ключом и ближние люди. И жаловала государыня царица при нем, великом государе, к руке святейшего Иоакима патриарха да властей, да царевичев, да бояр, и проч. А были за государыней царицею и стояли в Золотой палате верховые боярыни (также родная мать и невестка царицы). А государыню царицу держала под руку, как жаловала к руке, ее мать, боярыня Анна Левонтьевна Нарышкина. Да у государыни

царицы были в те поры в приезде ж 15 боярынь разных чинов. Да перед великим государем и перед государынею царицею стояли бояре: отец царицы Кирилла Полуектович Нарышкин да Артамон Сергеевич Матвеев. А шапку и колпак и посох великого государя держали в те поры ближние люди, 2 чел., по переменкам. А образы указал великий государь принимать у патриарха и у властей, которым благословляли государыню царицу, и у архимандритов боярам отцу царицы Нарышкину и Матвееву и принявши отдавать уставщику Фоме Никифорову». Неизвестно, приходил ли с поздравлением к царице светский мужской чин, кроме Светлого дня, и в другие праздники. Кажется, это был только один день, в который растворялись двери женского терема ради самого церковного торжества, именно ради его особенного смысла.

В прощеные дни Масляницы, именно в сыропустное воскресенье, приходил к царице «прощаться» патриарх со властьми, например 3 марта 1633 г., 4 февраля 1649 г.

Необходимо заметить, что пришествие патриарха почти всегда сопровождалось и пришествием самого государя, да едва ли и случался какой-либо торжественный прием у царицы мужского чина не в присутствии государя. Само собою разумеется, что в это же время приходили к царице прощаться и наиболее близкие к ней люди из мужчин, т. е. родной отец, братья и др. В 1675 г. февраля 14, в сыропустное воскресенье, царица Наталья Кирилловна принимала у себя и жаловала к руке: Нарышкина своего отца, Матвеева, думного дворянина Лопухина и братьев; также свою мать, тетку, невестку и весь свой дворовый чин: мам, верховых боярынь, казначей, постельниц, мастериц.

В те же дни происходили и особенные торжественные приемы у царицы женского чина, именно приезжих боярынь, которые на Рождестве вместе с поздравлением подносили ей и царевнам *перепечи*[1], на Маслянице собирались к ней прощаться, а на Святой христосоваться, причем также подно-

[1] См.: Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. – С. 337, 451.

сили перепечи[1]. В это время прощаться и христосоватъся с приезжими боярынями приходил к царице и сам государь[2].

Само собою разумеется, что дворовый домашний чин царицы удостаивался государева лицезрения еще прежде назначаемых торжественных приемов, т. е. в то же время как государь приходил к самой царице. Так, в 1675 г. в самый день Пасхи, апреля 4, «пришедчи великий государь от обедни из соборной церкви к себе в Верх в хоромы государыни царицы, жаловал к руке и яйцы: мам, да боярыню Анну Левонтьевну Нарышкину, мать царицы с дочерью Авдотьеею Кирилловною, сестрою царицы, и с невесткою Прасковью Алексеевною Нарышкиною, женою Ивана Кирилловича, да верховых боярынь царицы и царевен, и крайчих, и казначей всех, и постельниц всех же».

Нет никакого сомнения, что на Святой царица и большие царевны принимали всех своих дворовых людей до самого младшего чина. Об этом мы можем заключать по поводу такого приема у царевны Ирины Михайловны, к которой как с своей помещице в 1675 г. на Святой неделе «при-

[1] 173 (1665) г. марта 26 на праздник Светлова Христова Воскресения государыне царице и великой княгине Марье Ильичне и государыням царевнам большим и меньшим ударили челом боярыни перепечами: Касимовского царевича жена 30 перепеч; Сибирского царевича большого – 30; меньшого – 30; боярина Бориса Ивановича Морозова жена, вдова Анна Ильична – 36; боярина Ильи Даниловича Милославского – 36; боярина князя Ивана Петровича Пронского – 30; боярина князя Ивана Алексеевича Воротынского – 30; боярина Ивана Васильевича Морозова – 30; боярина Василия Василия Бутурлина – 30; боярина Ивана Андреевича Милославского жена, вдова – 30 перепеч; боярина Глеба Ивановича Морозова жена, вдова – 30 перепеч; боярина Михаила Михайловича Салтыкова – 30; боярина Петра Михайловича Салтыкова – 30; боярина Василия Ивановича Стрешнева – 30; боярина князя Федора Юрьевича Хворостинина – 30; боярина князя Федора Никитича Одоевского жена, вдова княгиня Софья Ивановна – 30 перепеч; стольника князя Юрия Ивановича Ромодановского жена – 36 перепеч; стольника Никиты Ивановича Шереметева жена Авдотья Федоровна – 30 перепеч.

[2] На Святой: 22 апреля 1648 г., 24 апреля (в пятницу) 1663 г. и на Масленице: 2 февраля в пятницу 1649 г., 8 февраля в субботу 1651 г., 27 февраля в пятницу 1652 г., 18 февраля в пятницу 1653 г.

ходил с образы из села Покровского протопоп Покровской с собором; да за образы же приходил покровской прикащик вместе с протопопом, и старосты, и лучшие крестьяне. И государыня царевна пожаловала их, велела кормить протопопа с собором и прикащика со крестьяны доволи (сколько станет воли) и поить».

Справляя храмовые праздники у себя на Сенях, в своих верховых церквах, в которых нередко в присутствии государя служил литургию и сам патриарх, царица, без сомнения, после службы принимала его в своих хоромах в одно время с государем. Особенно чтим ею был храмовой праздник ее соборной церкви Рождества Богородицы, 8 сентября, праздник так называемого в народе *бабьего лета*. В этот день после молебна царице подносима была патриархом святая вода через патриаршего поддьяка, которому царица по обычаю всегда жаловала за это 16 алт. 4 ден.

До́лжно упомянуть также о приемах духовного чина из городов, монастырей и пустынь, который приезжал с праздничною святою водою и с крестом по случаю своих храмовых праздников.

На первой неделе Великого поста к царице приходили стряпчие из некоторых, вероятно, особо жалуемых монастырей и подносили ей, равно и всем царевнам, по хлебу, по кружке квасу и по блюду капусты, каждой особе от каждого монастыря[1]. Прием делался на внутреннем царском дворе, у постельных хором, на каменной лестнице, что у мастерской палаты (в нижнем этаже теремного здания). Но не можем сказать определительно, сама ли царица выходила на крыльцо, или же подношение происходило, что вероятнее, через ее дворецкого или дьяка и дворовых боярынь. Отчасти мы и выше видели (с. 335), что монастырскому хлебу и квасу как некоей благостыне придавалось особое значение, и этот благословенный монастырский дар принимался всегда с особым благочестием.

1 См.: Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. – С. 463.

Был также во многих монастырях обычай в дни празднования памяти своих основателей и чудотворцев посылать в царский дом различные местные изделия, изготовляемые руками иноков и приносимые от монастыря как благословенная святыня памяти чудотворца. Так, Кирилло-Белозерский монастырь каждогодно на память чудотворца Кирилла, отпуская в царский дворец обычную святыню (святую воду, просфору), посылал и казенные поминки: чашки, ложки, посохи двоерожные. Эта посуда и посохи в царском обиходе известны были под именем *Кирилловских*. На царицыну половину монастырь подносил только посуду своего изделия, особенно ложки, которые и употреблялись царицею с детьми, а иные сохранялись до надобности в их казне вместе с золотом и серебром и другими дорогими вещами.

Говоря о царицыных годовых приемах духовного чина, упомянем о частных, приватных приемах иных подвижников и пустынников, если по какому-либо случаю они появлялись в Москве и в царском дворце. С порядком такого случайного приема мы можем ознакомиться из одного рассказа в житии прп. Иринарха – затворника ростовского Борисоглебского монастыря. Преподобный жил в Смутное время. Осененный даром пророчества, он приходил однажды в Москву к царю Василию Шуйскому и прежде по обычаю приходить в Успенский собор на молитву. Об этом тотчас уведомили государя, который очень обрадовался посещению старца и повелел прийти ему в Благовещенский собор на сени дворца. Старец пришел, помолился, благословил царя своим крестом, целовал его царские руки и сказал: «Я, грешный, оставил труды и многолетнее сиденье на затворе для того, чтобы самому возвестить тебе: “Видел я град Москву, плененную от Литвы, и все Российское царство разграбленное, а ты стой о Вере Христовой мужеством и храбрством”». При выходе из храма царь Василий взял старца под руку, а под другую вел преподобного ученик его. Царь позвал его к царице, прося благословить ее. Старец не отрекся, пришел к

царице в палату с царем и благословил ее. Царица по обычаю послала к нему два полотенца. Старец не хотел их взять. Царь упрашивал его взять Бога ради. «Я пришел, – говорил он царю, – не ради даров, а пришел возвестить тебе правду». Царь потом проводил старца из палаты до двора и приказал боярину потчевать его и покоить и дать свой царский возок и конюха, чтобы проводить до монастыря.

Старец Иринарх знаменит был в то время великими трудами своего подвижничества. После него осталось его праведных трудов 132 креста медных, иные были весом по полугривенке; семеры труды (вериги) плечные, ужище (цепь) железное 20 саж., на шее были; путы ножные железные; связни на поясу тяготы пуд; да на руках было, на перстах оковцев медных и железных 18; еще палка железная, ею невидимых бесов изгонял.

Обыкновенные праздничные приемы у царицы, разумеется, одного только женского чина, происходили в дни годовых больших праздников: на Рождество Христово, на Велик день, в Преображение, 6 августа; в день Рождества Богородицы 8 сентября; также в один из прощеных дней Масляницы и в дни царских именин, празднование которых по случаю постов или других каких обстоятельств переносилось иногда на другие дни, более удобные для совершения торжества и пиршества. В эти дни к царице во дворец собирались *приезжие боярыни* и приезжали всегда по особому *зву* и по списку, составляемому предварительно царицыным дворецким. Звать боярынь ходили обыкновенно боярские дети царицына чина, получая всегда от них обычное *зватое* деньгами, а в чрезвычайных случаях, на родины и крестины, – подарками, более или менее дорогими, смотря по богатству или по особой радости этому зву и угодливости самой боярыни.

Так как по старому и очень древнему обычаю каждый подобный прием во дворце всегда сопровождался обедом, то и у царицы в те же дни каждый раз давались боярыням обычные столы. Известия о таких столах у царицы заносились даже в государеву разрядную книгу по той причине, что и здесь между боярынями встречались лица *разрядные*, которые имели право (и никогда его не покидали) тягаться между собою разрядами, разумеется, соответственно разрядной и родовой чести своих мужей. В официальные разрядные записки вносились, однако ж, имена только тех боярынь, которые пользовались правом считаться между собою по разрядам. Об остальных разряды вовсе не упоминают. Они даже и вовсе не упоминали никаких имен, когда боярыням бывал указ «сидеть без мест», и ограничивались отметкою: «У царицы был стол, а у стола были боярыни приезжия и сидели все без мест». Но это, однако ж, вовсе не значило, чтобы собиравшиеся на обед боярыни садились за стол без старшинства. Для них у царицы, по-видимому, строго наблюдался свой особый порядок сиденья, который вполне определялся значением всего чина приезжих боярынь. Этот чин заключал в себе главным образом *родство* государево или царицыно, т. е. их родственниц по мужьям или по урождению. Только одни родственные лица и пользовались правом приезда к царице по назначению в известные праздничные или торжественные дни. Неродственные боярыни, хотя бы жены, дочери или вдовы первых чинов, не приглашались во дворец к царицыным столам и могли представляться царице только на ее богомольных выходах, например в соборах, в монастырях, когда она выходила туда на Святой христосоваться, на Маслянице прощаться и т. п., как мы это видели, в описании выходов царицы Натальи Кирилловны.

Таким образом, если официальный приезд боярынь к царице, приглашение к ее столу основывались на родстве их с царским домом, то тем же родством, как мы упомянули, определялись и их места за столом. Степень близости

по родству к особе государя или к государыне и указывала каждой боярыне это место, и притом родственницы самого царя садились, разумеется, всегда выше родственниц царицы, даже выше ее родной матери – самого ближайшего к ней лица, занимавшего во всех других случаях первое место. Мать государыни за столом дочери-царицы получала обыкновенное рядовое место в родственном старшинстве боярынь, по крайней мере, так это значится в списках, по которым назначался их *зов* или *приезд*.

По этим спискам, например, за столом царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневых по родственному старшинству с царем всегда первенствовала боярыня Ульяна Федоровна Романова, жена боярина Ивана Никитича Романова, государева родного дяди, между тем как мать царицы занимала седьмое место (1633 г. июля 12). Точно так же боярыни, которые вели счеты о своих местах по разрядам, в то же время сидели: Черкасская – второю, Шереметева – третьею, а Головина – девятою.

В государских разрядах те же столы писаны только с именами боярынь, великих по разрядам. В них в этот раз Черкасская была первою, Шереметева – второю, а Головина – третьею; об остальных вовсе не помянуто. Здесь в разрядах первенствовала уже не Романова, а Мстиславская, и когда не было Мстиславской – Шуйская; когда не было Шуйской – Черкасская, за нею Шереметева, Трубецкая, Головина, Салтыковы. Однажды, 1634 июля 12, в разрядную записку была внесена последнею после Черкасской и Шереметевой и мать царицы – Анна Стрешнева. Для Стрешневых это могло быть находкою.

На обедах царицы Марьи Ильичны Милославских в первое время первенствовала сестра ее, Анна Ильична Морозова, по той причине, что Морозов был дядька царя Алексея, почитаемый им вместо отца родного. Мать царицы, супруга Ильи Даниловича Милославского, Екатерина Федоровна, занимала второе место, когда бывала только

с Морозовою, а в числе других боярынь – рядовое, смотря по старшинству государева родства.

Приводим общие сводные списки приезжих боярынь, которые в течение XVII столетия у трех цариц пользовались правом приезда во дворец к столам, получали именинные пироги и принимали от царицы почетные посольства *со здоровьем* по случаю ее родин. Порядок, в каком по спискам боярыни следуют одна за другою, приблизительно указывает и их местное старшинство, которое в частных списках довольно часто переменялось. При имени каждой включено и имя ее мужа, т. к. очень часто боярыни обозначаются только именами своих мужей.

Приезжие боярыни царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневых

Княгиня *Мстиславская*, жена Федора Ивановича, Орина Михайловна, с 1617 г.

Романова, Ивана Никитича, Ульяна Федоровна, с дочерью Прасковьею.

Годунова, Ивана Ивановича, Орина Никитична.

Княгиня *Черкасская*, Ивана Борисовича, Авдотья Васильевна, дочь боярина Василья Петровича Морозова, с 1622 г.

Княгиня *Черкасская*, Дмитрия Мамстрюковича, Олена Алексеевна.

Княгиня *Черкасская*, Якова Куденетовича, сноха жене Ивана Борисовича Черкасского.

Шереметева, Федора Ивановича, Марья Петровна, с 1616 г.

Лыкова, Бориса Михайловича, Настасья Никитична с двумя дочерями (одна Марья Борисовна).

Княгиня *Шуйская*, Ивана Ивановича, Марфа Васильевна и потом Овдотья Васильевна.

Шеина, Михаила Борисовича, Марья Михайловна со снохою.

Шеина, Ивана Михайловича, Марья Борисовна, дочь Бориса Михайловича Лыкова, с 1630 г.

Княгиня *Трубецкая*, Дмитрия Тимофеевича, Анна Васильевна, с 1618 г.

Княгиня *Голицына*, Ивана Андреевича, Софья Андревна, с 1617 г.

Княгиня *Голицына*, Андрея Васильевича.

Княгиня *Сулешева*, Василия Еншеевича, Мария (Марфа) Михайловна, с 1616 г., дочь М. М. Салтыкова.

Княгиня *Сулешева*, Юрья Еншеевича, Марья (Марфа) Михайловна, с 1616 г., дочь Михаила Михайловича Салтыкова.

Княгиня *Сицкая*, Алексея Юрьевича, Авдотья Дмитриевна.

Салтыкова, Бориса Михайловича, Марья Ивановна, с 1615 г.

Салтыкова, Михаила Михайловича, Прасковья Ивановна.

Княгиня *Воротынская*, Алексея Ивановича, Марфа Ивановна, дочь Ивана Никитича Романова, с 1635 г.

Княжна *Воротынская* Катерина, дочь Ивана Михайловича.

Княгиня *Сатыева*, Семена Андреевича.

Княгиня *Сатыева*, Андрея. Андреевича.

Бутурлина, Михаила Матвеевича.

Головина, Семена Васильевича, Ульяна Федоровна.

Годунова, Семена Васильевича, Анна.

Годунова, Никиты Васильевича, Анна Ивановна.

Морозова, Ивана Васильевича, Степанида Семеновна.

Морозова, Глеба Ивановича, Авдотья Алексеевна.

Княгиня *Одоевская*, Якова Никитича, Анна Михайловна.

Княгиня Пронская, Василия Романовича, Марья Ивановна.

Михалкова, Константина Ивановича, Орина Аврамьевна с матерью.

Собакина, Никифора Сергеевича.

Стрешнева, Лукьяна Степановича, Анна Константиновна, родная мать царицы, с дочерью Федосьею Лукьяновною, которая вышла потом за Матюшкина.

Стрешнева, Василия Ивановича, Орина Прокопьевна, потом Авдотья Андреевна. – *Стрешнева*, Семена Лукьяновича. – *Стрешнева*, Ивана Филипповича, Ульяна Ильична со снохою. – *Стрешнева*, Степана Федоровича. – *Стрешнева*, Ивана Федоровича Большого. – *Стрешнева*, Ивана Федоровича Меньшого. – *Стрешнева*, Ильи. – *Стрешнева*, Матвея. – *Стрешнева*, Максима. – *Стрешнева*, Левонтья, со снохою.

Измайлова, Григорья. – Княгиня *Шаховская*, Никиты. – *Комынина*, Богдана.

Юшкова, Петра. – *Юшкова*, Пимена. – *Панина*, Никиты. – *Давыдова*, Павла

Княгиня *Львова*, Ивана Петровича.

Матюшкина, Ивана Павловича, Федосья Лукьяновна, сестра царицы.

Княгиня *Хворостинина*, Федора.

Княгиня *Лобанова-Ростовская*, Никиты Иванова, Анна Никифоровна, впоследствии мама царевны Софьи Алексеевны.

Голохвастова, Иева, Матрена.

Плещеева, Бориса, Марья. – *Плещеева*, чашника 1616 г., Ивана Афанасьевича. – *Плещеева*, Афанасия Ивановича.

Чичерина, Прасковья с дочерью.

Щербачова, Аграфена.

Приезжие боярыни царицы Марьи Ильичны Милославских

Княгиня *Касимовская*, жена Касимовского царевича Василья Еруслановича, Марья Никифоровна.

Княгиня *Сибирская*, жена Сибирского царевича Алексея Алексеевича, Настасья Васильевна.

Морозова, Бориса Ивановича, Анна Ильична, родная сестра царицы.

Княгиня *Черкасская*, Якова Куденетовича, Авдотья Семеновна с дочерью княжною Анною.

Княгиня *Одоевская*, Никиты Ивановича, Авдотья Федоровна.

Морозова, Глеба Ивановича, Федосья Прокопьевна.

Лыкова, Бориса Михайловича, Настасья Никитична.

Княгиня *Трубецкая*, Дмитрия Тимофеевича, Анна Васильевна.

Княгиня *Трубецкая*, Алексея Никитича, Катерина Ивановна.

Морозова, Ивана Васильевича, Степанида Семеновна.

Милославская, Ильи Даниловича, Катерина Федоровна, родная мать царицы, и потом вторая его супруга, Аксинья Ивановна.

Княгиня *Хворостинина*, Федора Юрьевича, Елена Борисовна.

Княгиня *Пронская*, Ивана Петровича, Настасья Дмитриевна.

Княгиня *Одоевская*, Федора Никитича, Софья Ивановна.

Салтыкова, Михаила Михайловича, Парасковья Ивановна.

Пушкина, Григорья Гавриловича, Ульяна Осиповна.

Бутурлина, Василия Васильевича, Настасья Григорьевна.

Княгиня *Темкина-Ростовская*, Михаила Михайловича, Марья Ивановна.

Княгиня *Урусова*, Семена Андреевича, Федосья Борисовна.

Стрешнева, Василия Ивановича, Авдотья Андреевна.

Катырева, Ивана Михайловича, Арина Григорьевна.

Милославская, Ивана Андреевича, Аграфена Никитична и потом Анна Петровна.

Княгиня *Долгорукова*, Петра Алексеевича, Аксинья Прокопьевна.

Княгиня *Хилкова*, Федора Андреевича, Аграфена Богдановна.

Салтыкова, Петра Михайловича, Елена Васильевна.

Ртищева, Федора Михайловича, Аксинья Матвеевна.

Еропкина, Василия Михайловича, Аграфена Тимофеевна, а потом Марья Самойловна.

Княгиня *Львова*, Василия Петровича, Марья Никитична.

Милославская, Ивана Михайловича, Александра Кузмична.

Милославская, Ивана Богдановича.

Княгиня *Воротынская*, Ивана Алексеевича, Марья Федоровна.

Княгиня *Одоевская*, Якова Никитича, Анна Михайловна.

Ртищева Меньшого, Федора Михайловича, Ульяна Степановна.

Княгиня *Ромодановская*, Юрья Ивановича, Анисья Ивановна.

Морозова, Михаила Ивановича, Прасковья Алексеевна, а потом Домна Семеновна.

Княгиня *Одоевская*, Юрья Михайловича.

Княгиня *Троекурова*, Ивана Борисовича, Анна Семеновна.

Княгиня *Львова*, Михаила, Катерина.

Княгиня *Куракина*, Федора Федоровича, Аксинья.

Шереметева, Василья, Офимья.

Шереметева, Никиты Ивановича, Авдотья Федоровна.

Княгиня *Лобанова-Ростовская*, Никиты Ивановича, Анна Никифоровна.

Голохвастова, Иева Демидовича, Матрена.

Голохвастова, Василия Яковлевича, Анна.

Соковнина, Федора Прокопьевича, Анна Степановна.

К столам цариц Евдокии Стрешневых и Марии Милославских всегда также наравне с боярынями приглаша-

лись и старицы-монахини трех московских девичьих монастырей – Вознесенского, Новодевичьего и Алексеевского. До́лжно с большою вероятностью полагать, что эти старицы были тоже жены, вдовы или дочери бояр, нередко очень родовитых, а главное, родственницы царскому дому. Все это вместе: и бывалая знатность, и родство, и иноческий чин, столь уважаемый во дворце, – служило достаточным поводом к тому, чтобы и присутствие инокинь за царицыными праздничными столами стало делом обычным и необходимым. Из каждого из трех монастырей к столу всегда приглашались игуменья, келарь или казначея и *соборные* старицы, а сверх того – и избранные старицы, вероятно, свойственницы царскому дому. У царицы Евдокии, кроме чиновных стариц монастыря, бывали княжна Ирина Мстиславская, Александра Шереметева, две Морозовых – Анна и Олена; Сундулея Кочергина с ученицею, старицы Ромодановская, Коркодинова, Благинина, Вера Стрешнева; восемь стариц инокини Марфы Ивановны. Всего за столом в один раз бывало до 12 стариц.

Тем же порядком старицы призывались и к столам царицы Марии, у которой кроме чиновных бывали Морозовы, Шереметева, княгиня Сицкая, княгиня Куракина и др.

Приезжие боярыни царицы Натальи Кирилловны Нарышкиных

Грузинская царица Елена Левонтьевна.

Княгиня *Сибирская*, царевича князя Алексея Алексеевича, Настасья Васильевна.

Княгиня *Касимовская*, царевича Василий Арасланеевич, Марья Никифоровна.

Княгиня *Касимовская*, царевича Михаила Васильевича, Анна Григорьевна.

Княгиня *Пронская*, Ивана Петровмча, Аксинья Васильевна.

Княгиня *Одоевская*, Федора Никитича, Софья Ивановна.

Бутурлина, Василия Васильевича, Настасья Григорьевна.

Княгиня *Урусова*, Семена Андреевича, Федосья Борисовна.

Княгиня *Хворостинина*, Федора Юрьевича, Елена (Анна?) Борисовна.

Княгиня *Одоевская*, Якова Никитича, Анна Михайловна.

Княгиня *Воротынская*, Ивана Алексеевича, Настасья Львовна.

Княгиня *Куракина*, Федора Федоровича, Авдотья Андреевна.

Нарышкина, Кириллы Полуектовича, Анна Левонтьевна, мать царицы.

Салтыкова, Петра Михайловича, Елена Васильевна.

Хитрово, Богдана Матвеевича, Марья Ивановна.

Милославская, Ивана Богдановича, Дарья Прохоровна.

Милославская, Ивана Михайловича, Александра Кузминична.

Княгиня *Хилкова*, Федора Андреевича, Федора Богдановна.

Нарышкина, Федора Полуектовича., Авдотья Петровна.

Княгиня *Волконская*, Федора Федоровича, Пелагея Ивановна.

Ртищева, Федора Михайловича, Аксинья Матвеевна.

Хитрово, Ивана Богдановича, Акулина Афанасьевна.

Матюшкина, Афанасия Ивановича, Татьяна Ивановна.

Морозова, Михаила Ивановича, Домна Семеновна.

Княгиня *Одоевская*, Юрья Михайловича, Авдотья Федоровна.

Княгиня *Голицына*, Бориса Алексевича, Марья Федоровна.

Княгиня *Троекурова*, Ивана Борисовича, Анна Семеновна.

Княгиня *Одоевская*, Василия Федоровича, Акулина Федоровна.

Шереметева, Никиты Ивановича, Домна Парфентьевна.

Княгиня *Прозоровская*, Петра Ивановича, Анна Федоровна.

Княгиня *Хилкова*, Федора Федоровича, Авдотья Федоровна.

Княгиня *Щербатова*, Андрея Дмитриевича, Аксинья Борисовна.

Матюшкина, Петра Ивановича, Анна Ивановна.

Голохвастова, Иева Демидовича, Матрена Алексеевна.

Голохвастова, Ивана Демидовича, Авдотья Адексеевна.

Нарышкина, Ивана Кирилловича, Прасковья Алексеевна.

Княгиня *Мещерская*, Василия Лаврентьевича, Авдотья Васильевна.

Княгиня *Хилкова*, Якова Васильевича, Анна Ларивоновна.

Шереметева, Петра Васильевича, Татьяна Афанасьевна.

Измайлова, Матвея Петровича, Федосья Андреевна.

Камынина, Ивана Богдановича, Федора Ивановна.

Бутурлина, Федора Петровича, Прасковья Кондратьевна.

Зюзина, Бориса Григорьевича, Орина Борисовна.

Тарбеева, Григория Федоровича, Пелагея Васильевна.

Царицыны столы давались обыкновенно в ее Золотой палате, иногда в ее Столовой или в Передней. Обряд столованья бывал такой же, как и за царскими столами, только столовые должности здесь занимали большею частью женщины и дети. Точно так же для самой царицы накрывался особый стол, а для боярынь – один или два по сторонам, у стен палаты. У ее стола стояла всегда боярыня-кравчая и с нею другая боярыня в помощь. Они принимали и подавали ествы. Но за торжественными столами должности кравчих исполняли ближайшие к царице лица из мужчин. Так, за столами царицы Наталии Кирилловны, кроме боя-

рынь, у стола стояли и принимали ествы и ставили перед нею, великою государынею, ее отец Кирилла Полуектович Нарышкин и Артамон Сергеевич Матвеев. За поставцем царицы сидел и распоряжался отпуском кушанья ее дворецкий, а с ним – путные клюшники и стряпчие со всех столовых дворцов. К столу блюда и чаши приносили и есть ставили и пить носили царицыны стольники, малолетные дворянские дети, меньшие возрастом. Они же носили напитки и кушанья и в другие столы боярыням; средние возрастом стольничали особам более почетным, постарше – остальным боярыням. В столы смотрели, т. е. потчевали боярынь, дворовые боярыни меньших чинов[1].

Из духовных лиц за столом царицы присутствовал, вероятно, или ее духовник, или крестовый ее священник, т. к. и здесь совершался тоже обычный чин возношения хлеба Пресвятые Богородицы и отправлялась «чаша Пречистыя».

В обыкновенные дни, когда не было праздничных или других каких торжественных столов, которые по обычаю призывали государя делить трапезу и пировать в кругу боярства и всех других чинов, он всегда кушал вместе с царицею. Нет никакого основания полагать, как иные даже утверждают, что государь кушал большею частью один, порознь с супругою. Их могли разлучать лишь упомянутые торжества, на которых женщина вообще не присутствовала, и еще установленные Церковью дни поста и молитвы. В такие дни на обеих половинах царского дворца устав Церкви соблюдался очень строго. Но и об этих днях мы не можем ничего сказать определительного, порознь или вместе было кушанье, ибо свидетельств о повседневной их жизни встречаем вообще очень мало, а о повседневных столах и вовсе их не имеем. Знаем только, что повседневные столы бывали иногда в комнатах государя, иногда в хоромах царицы. И в том и в другом случае они не были открыты для боярского и дворского общества. Котошихин свидетель-

[1] Дворцовые разряды. Т. III. – С. 892, 894, 1054, 1072.

ствует, что когда случится царице кушать в покоях его царских с ним вместе, а которому боярину, окольничему, думному человеку случится прийти с каким делом на доклад, и они сами входить без указу не смеют, разве велит царь, или ожидают, когда он откушает. Так же как царь кушает у царицы, и в то время бояре и ближние люди бывают немногие, человека два и много – три, именно самые близкие лица по родству, например отец царицы или дядька государев. Столовые должности в это время были занимаемы обычными столовыми людьми государя и царицы: у государя стоял его кравчий, у царицы – ее боярыня-кравчая; стольничали обыкновенно царицыны стольники. Присутствовали ли за этими домашними столами и другие члены царской семьи – неизвестно; но, по всему вероятию, эти столы отличались семейным характером и потому, по крайней мере в известные дни, здесь бывали также и дети, царевичи и царевны, особенно возрастные, и, разумеется, по преимуществу царицын род. Иногда государь праздновал детские именины общим обедом; так, в 1633 г. июля 25 в именины трехлетней царевны Анны он кушал в царицыных хоромах. Такие обеды, вероятно, справлялись в каждый семейный праздник, когда не было столов чиновных. В 1667 г. по случаю всенародного объявления царевича Алексея Алексеевича и, стало быть, по случаю самого великого торжества для самой царицы – родительницы наследника государь на другой день, 2 сентября, справил семейный стол в Верхней комнате или в терему и кушал вместе с царицею, с объявленным наследником Алексеем и с малолетними царевичами Федором (5 лет), Семионом (2 лет) и Иваном (1 года). Нет никакого сомнения, что здесь же присутствовали и остальные члены семьи, по крайней мере, возрастные царевны, ибо официальные записки, всегда упоминая только об официальных же личностях, например о малолетних царевичах и о самой царице, принявшей в этом случае как бы официальное положение, по обыкновению также всегда

умалчивают о лицах приватных, какими бывали вообще женщины, а за этим обедом – и царевны.

До́лжно упомянуть, что и от царицына стола, подобно тому, как и от стола государева, всегда рассылались обычные *подачи* всем близким людям, родственникам из мужчин, приезжим боярыням и вообще каждому лицу, которому желали тем выразить особое внимание и расположение, и преимущественно, конечно, высшим духовным властям, патриарху, митрополитам. Так, когда Никон, еще новгородский митрополит, приехал в 1651 г. декабря 21 в Москву, чтобы потом отправиться в Соловки для перенесения мощей св. Филиппа, то в тот же самый день царица и особо царевны прислали к нему «со столом, с романеею и с ествою». Затем такая присылка «с подачею, с романеею и с ествою» от царицы, а также иногда и от царевен повторялась декабря 27, 29, в 1652 г. генваря 8, 10, 12, 26, 30, февраля 18, 20, 24, 25, 26, 29 и однажды 25 февраля и от обеда и от вечернего кушанья, т. е. от ужина; и даже в тот день февраля 26, когда он обедал у государя в именины царевны Евдокии Алексеевны. Потом, летом, когда он воротился из Соловок, перенеся в Москву святые мощи, на другой же день по его приезде, 7 июля, царица прислала ему питье в пяти кубках, 9 числа – подачи «с романеею и с еcтвы», что повторилось 11, 14, 16, 18, 20 и 24 чисел того же месяца с присылками и от царевен[1].

Приемы сколько-нибудь равных по значению и положению лиц происходили у царицы почти тем же порядком, как и у государя приемы иноземных послов, вселенских патриархов и иноземных особ царского достоинства. Только у царицы *чиновные* должности исполняли вместо мужчин тоже женщины боярыни.

В 1536 г. в генваре у вдовствующей правительницы великой княгини Елены Васильевны (Глинских) была на

[1] Временник Императорского Общества истории и Древностей Российских. Кн. 13.

приезде Шигалеева царица Фатма Салтан. Великая княгиня велела ее встретить у саней Аграфене – жене Ивана Волынского, да с нею молодым боярыням. Как царица взошла среди лестницы – и тут ее встретили боярыня Аграфена Челяднина – жена Василия Андреевича Челяднина, а с нею также молодые боярыни. Как вошла царица в сени перед палату Лазаревскую, и великая государыня пожаловала и почтила царицу, встретила ее сама в сенях перед палатою и с нею *карашевалась* и пошла с нею в палату. Войдя в палату, они уселись на места. Царицу посадили с левой руки от великой княгини. В то же время вошел в палату и маленький государь Иван Васильевич. Царица против его встала и с места своего сступила. Великий князь молвил царице: *табуг салам!* – и с нею карашевался, а потом сел на своем месте, у матери с левой же руки и справа от царицы. По обе стороны у него стояли бояре, а у великой княгини-матери стояли боярыни: княгиня Настасья, племянница отца государева, жена князя Федора Михайловича Мстиславского; Елена Челяднина, жена Ивана Андреевича Аграфена Челяднина, жена Василья Андреевича Аграфена Волынская, и иные многие боярыни.

И ела того дни Фатма Салтан царица у великой государыни в той же палате. А за столом у великой княгини сидела царица с правой руки в угле; а с левой руки у великой княгини сидела в лавке княгиня Настасья Мстиславская, а под нею сидела Елена Челяднина, да Аграфена Челяднина и иные боярыни. А в скамье сидела жена князя Дмитрий Федорович Бельского княгиня Марфа, да под нею Аграфена Волынская и иные боярыни. А в кравчих был у великой государыни Иван Иванович Челяднин, а у царицы был кравчий князь Василий Репнин; а стольники и чашники все у великой княгини за столом были.

А после стола великая государыня подала чашу царице, да туто ее и дарила, да и отпустила ее на подворье и велела боярыням проводить ее по тому же, как ее встречали.

Несколько прежде этого приема происходил прием у великой княгини в той же Лазаревской палате самого Шигалея царя, причем великая княгиня с сыном сидели на своих местах и у великой княгини сидели боярыни княгиня Настасья Мстиславская, Елена и Аграфена Челяднины и иные многие боярыни, а по обе стороны сидели бояре[1].

С лишком через 100 лет подобный же прием случился у царицы Марьи Ильичны (Милославских), также в генваре. 8 числа 1654 г. царица Марья Ильична принимала в своей Золотой палате[2] грузинскую царицу Елену Левонтьевну в присутствии государя. А ехали с царицею с двора в город княгиня Анисья Васильевна Хилкова – жена окольничего Ивана Андреевича, Марья Корнильевна Волынская – жена стольника, да жена Афанасья Осипова Прончищева. По указу государыни грузинскую царицу встречали. Первая встреча у каптаны: княгиня Авдотья Андреевна Куракина – жена боярина князя Федора Федоровича; княгиня Настасья Ивановна Ромодановская – жена окольничего Григорья Григорьевича. Вторая встреча на крыльце: княгиня Марья Борисовна Куракина – жена боярина князя Григорья Семеновича; княгиня Анисья Ивановна Ромодановская – жена стольника князя Юрья Ивановича. Третья встреча в сенях: княгиня Катерина Ивановна Трубецкая – жена боярина князя Алексея Никитича, княгиня Настасья Ивановна Ромодановская – жена стольника князя Федора Григорьевича.

В тот же день был стол у царицы по Передней[3], была грузинская царица Елена и боярыни, которые ее встречали: княгиня Трубецкая Катерина Ивановна, Куракина Марья Борисовна, Хилкова Анисья Васильевна, сидевшие как

[1] Царственная книга. – СПб., 1769. – С. 54, 57.

[2] В разрядной книге записано, что прием был в столовой избе, но царские выходы обозначают Золотую палату. – Выходы царей. – С. 305.

[3] По другой записке и прием, и стол был в царицыной Золотой палате, но, должно быть, так только предполагалось. – Дворцовые разряды. Т. III. – С. 395.

почетнейшие в лавке. А в скамье сидели: княгиня Куракина Авдотья Андреевна, Ромодановская Анисья Ивановна; Ромодановская Настасья Ивановна; Волынская Марья Корниловна и Прончищева – все те же встречницы. После стола по обычаю ездили потчевать грузинскую царицу на дом жены бояр – княгини Трубецкая Катерина Ивановна, Куракина Марья Борисовна.

Такой же прием царицы Грузинской Елены повторялся, вероятно, не один раз и между прочим – 8 мая 1660 г. В это время у царицы приставы были жены стольников князей Федора Андреевича Хилкова и Ивана Афанасьевича Прончищева. Первая встреча: жены стольников князей Андрея Ивановича Хилкова и Якова Семеновича Волынского. Другая встреча: жены стольника князя Василия Ивановича Хилкова да окольничего Василия Семеновича Волынского. Третья большая встреча: жены боярина князя Федора Федоровича Куракина да окольничего Михаила Семеновича Волынского. За столом были те же боярыни, а потчевала грузинскую царицу жена стольника князя Петра Семеновича Большого Прозоровского.

Потом царица Грузинская принималась уже как первенствующая и почетнейшая из приезжих боярынь, почему и со звом к ней хаживал царицын истопничий – начальный человек перед боярскими детьми царицына чина, которые обыкновенно ходили со звом к боярыням.

В описанных приемах, кроме немногих приезжих боярынь, участвуют как приставы и встречницы и другие боярыни, не бывавшие у царицы в приезде, например княгини Хилковы и Волынские. По всему вероятию, в подобных официальных случаях выбором боярынь руководил уже местнический счет, и самый стол царицы принимал по этой причине тоже официальное значение, отличное от столов обычных, в собственном смысле дворовых, к которым собирались боярыни, только приезжие царицына двора, между тем как другие боярыни, приста-

вы и встречницы, являлись здесь приезжими боярынями государева двора вообще.

По старому обычаю, новопоставляемые святители, патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы на другой или на третий день своего посвящения приходили к государю и к царице с благословением и с дарами. Этот торжественный прием совершался большею частью в царицыной Золотой палате. Епископ Елассонский Арсений, присутствовавший при таком приеме с Константинопольским патриархом Иеремиею, в январе 1589 г., когда был поставлен в Москве первый патриарх Иов, оставил подробное описание церемонии, которое для нас может служить достаточною характеристикою и других подобных приемов. После своего поставления вновь избранный патриарх Иов по обычаю давал обед государю и высокому гостю – вселенскому патриарху и всему приезжему греческому духовенству. В тот же день назначен был новопоставленному Иову прием с дарами у государя и у царицы Ирины Федоровны (Годуновых) – супруги царя Федора Ивановича. Пред самым обедом, говорит Арсений, когда после обычных встречных церемоний все сидели по местам, оба патриарха получили приглашение явиться во дворец к государю и тотчас туда отправились. Когда они вошли в царскую палату, государь, сидевший там с боярами, встал с трона, благословился у Константинопольского патриарха и потом все сели по местам. Тогда казначей стал являть государю патриаршие дары: благословение – образ Богородицы, чеканный, обложен золотом, с яхонтами, пелена атласная сажена жемчугом; даров: кубок двойной серебряный, бархат, камки, 40 соболей и 10 золотых угорских. Такие же дары были принесены и для царицы. Тут выступил на средину палаты боярин, присланный от

царицы. Обнажив голову, он с низким поклоном и громким голосом изложил ее просьбу патриархам, чтобы они пришли ее благословить. Государь тотчас встал и отправился с патриархом и со всем духовенством в покои своей супруги. Сперва шел государь, за ним оба патриарха, потом духовные власти по чину и весь царский синклит. В хоромах царицы все шествующие, не исключая и государя, должны были подождать во второй комнате, т. е. в передней палате. Здесь находилось множество женщин и девиц, служивших царице. Все они от головы до ног были одеты в белое, подобное снегу, шитье безо всякого украшения или убранства.

В этой палате гости видели образа святых угодников в богатых окладах, осыпанных драгоценными каменьями. Немного погодя, отворилась золотая дверь и от имени царицы другой боярин пригласил патриархов войти со всем собором. Тогда вошли только государь, патриархи с провожавшими их епископами, брат царицы, Борис Годунов, и более никого.

Тихо поднялась царица со своего престола при виде патриархов и встретила их посреди палаты, смиренно прося благословения. Вселенский святитель, осенив ее молитвенно большим крестом, воззвал: «Радуйся, благоверная и боголюбезная в царицах Ирина, востока и запада и всея Руси, украшение северных стран и утверждение веры православной!». Затем патриарх Московский, митрополиты, архиепископы, епископы, каждый по чину, благословляли царицу и говорили ей подобные же приветственные речи.

Она также ответила речью вселенскому патриарху: «Великий господин, святейший Иеремия цареградский и вселенский, старейший между патриархами! Многое благодарение приношу святыне твоей за подвиг, какой подъял на души странствия в нашу державу, дабы и дам даровать утешение видеть священную главу твою, уважаемую паче всех в Христианстве православном, от коей и мы восприя-

ли благодать иные и за сие воздаем хвалу Всемогущему Богу и Пресвятой Его Матери и всем святым, молитвами коих сподобились такой неизреченной радости. Воистину ничто не могло быть честнее и достохвальнее пришествия твоего, которое принесло столь великое украшение Церкви Российской, ибо отныне возвеличением достоинства ее митрополитов в сан патриарший умножилась слава всего царства по вселенной. Сего искони усердно желали прародители наши, христолюбивые государи, великие князья и цари, и не сподоблялись видеть исполнения своих благочестивых желаний; и ныне на сей их вожделенный конец чрез многие подвиги дальнего странствия привел во дни нашей державы твою святыню Всемогущий Бог». После такой речи, прекрасной и складной, по отзыву Арсения, царица, отступив несколько, стала подле своего места – между своим супругом – царем Федором, стоявшим справа, и родным братом – боярином Годуновым, стоявшим слева. Поодаль стояли боярыни, все в белом одеянии со скрещенными на груди руками и потупив глаза в землю. Царица подозвала одну из них, взяла из ее рук драгоценную золотую чашу, украшенную превосходными агатами, которая была наполнена жемчугом (в ней было 6000 жемчужин), и, поднося ее патриарху, просила его принять этот дар. Потом она села на царское место, а за нею присели и все гости.

Арсений говорит, что на царицу нельзя было смотреть без удивления – так великолепен и прекрасен был вообще ее царский наряд. «На голове она имела ослепительного блеска корону, которая составлена была искусно из драгоценных каменьев и жемчугами, была разделена на 12 равных башенок по числу 12 апостолов». Это был собственно «венец с *городы*», т. е. с зубцами. «В короне находилось множество карбункулов, алмазов, топазов и круглых жемчугов (гурмыцких); а кругом она была унизана большими аметистами и сапфирами. Кроме того, с обеих

сторон ниспадали тройные длинные цепи (рясы), которые были составлены из столь драгоценных каменьев и покрыты круглыми, столь большими и блестящими изумрудами, что их достоинство и ценность были выше всякой оценки. Чужестранцы почувствовали в себе род *тихого ужаса* при виде такой пышности и великолепия. Одежда государыни, рукава которой достигали пальцев, была сделана с редким искусством из толстой шелковой материи с многими изящными украшениями. Она (по краям) была искусно усажена драгоценными жемчугами, и посреди украшений блистали превосходные драгоценные каменья и яркие карбункулы. Сверх этой одежды на царице была мантия, другая, с долгими рукавами, весьма тонкой материи, хотя с виду очень простая и безыскусственная, но на самом деле чрезвычайно дорогая и замечательная по множеству сапфиров, алмазов и драгоценных камней всякого рода, которыми она была покрыта (по краям)».

Такою же пышностью отличались башмаки, цепь (монисто) и диадема (ожерелье) царицы. Арсений восклицает при этом, что если бы у него было и десять языков, то он все-таки не мог бы рассказать обо всех виденных им богатствах у царицы. «И все это, – присовокупляет он, – видели мы собственными глазами. Малейшей части этого великолепия достаточно было бы для украшения десяти государей».

«Не менее сильное впечатление произвело на иноземцев и великолепное убранство палаты, свод которой, казалось, был облит золотом, украшен драгоценными изображениями и сделан до того искусным образом, что в нем был какой-то чудный отголосок (звонко отзывались в нем тихие слова). На нем видны были многие роскошные украшения, деревья, виноградные кисти, родосские ягоды и разного рода птицы. Посредине (свода) находился лев, который в пасти держал кольцом свитого змея, от которого спускались вниз многие художественно сделанные и богато украшен-

ные подсвечники. Стены кругом украшены были драгоценною мусиею (иконописью, стенописью) с изображением деяний святых и ликов ангельских, мучеников, иерархов, а над великолепным престолом (местом царицы) ярко горела каменьями драгими большая икона Пречистой Девы с Предвечным Младенцем на руках и вокруг ее лики святых угодников, в златых венцах, по коим рассыпаны жемчуг и яхонты и сапфиры». Пол был устлан персидскими коврами, тканными шелком и золотом, на которых искусно были изображены охотники и звери всякого рода.

Так как царица просила патриарха дать благословение служившим при ней женщинам и девицам, то все они одна за другою благоговейно подходили к патриарху, принимали от него благословение, целовали у него руку и подносили ему каждая в дар по прекрасной ширинке (вероятно, собственного вышиванья). Тогда были явлены царице дары новопоставленного патриарха Иова.

После того по мановению государя выступил вперед на средину палаты величавый почтенных лет боярин (Дмитрий Иванович Годунов) и явил обоим патриархам новые дары от царицы: каждому по серебряному кубку и бархату черному, по две камки, по две объяри и по два атласа, по сороку соболей и по 100 руб. денег. Являя дары, он сказал патриарху: «Великий господин, святейший Иеремия цареградский и вселенский! Се тебе милостивое жалованье царское, да молишь усердно Господа за великую государыню царицу и великую княгиню Ирину и за многолетие великого государя и о их *чадородии*». Патриарх благословил царицу и ответствовал следующею речью: «Господь Бог да будет с тобою и все святые! Всемогущий Бог, разделивший Чермное море и проведший Израиля по суху, источивший из камене воду, напоивший его и проведший его в землю обетованную; Бог, иже Архангелу Гавриилу повеле Непорочной Деве Марии благовестити зачатие, той Преблагословенной Деве, юже достойно есть называти со-

судом, в нем же хранися манна, (называти) святою горою и несгараемою купиною, в ней же по рожестве своем живяше Христос, искупивший племя адамле из ада, – сей Бог да пошлет на мя глад и нищету, дондеже даст тебе достойный царского наследия плод».

Таким же образом были явлены дары московскому патриарху, греческому митрополиту Иерофею Монемвасийскому и архиепископу Арсению Елассонскому – описателю этой церемонии. Точно так же и к ним была обращена просьба молить Бога о здравии царицы и государя и о даровании им наследника. Все громким голосом молили Бога об исполнении этого желания.

Когда церемония даров совершилась, царица, печальная о своем неплодии, снова обратилась к патриарху и прочему духовенству со скорбною речью усерднее молить Бога о даровании ей и царству наследника. Вздохнув из глубины сердца и с горькими слезами она говорила: «О великий господин, святейший Иеремия вселенский, отец отцов, и ты, святейший Иов, патриарх Московский и всея Руси, и вы все, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы и весь освященный Собор! Бога Всемогущего блаженные служители, сподобившиеся большой милости и благодати у Господа и Его Пречистой Матери и всех святых от века угодивших Богу, и к ним непрестанно воссылающие молитвы! Молю вас и заклинаю из глубины души моей и со стенанием сокрушенного сердца, всеми силами усердно молите Господа за великого государя и за меня, меньшую из дочерей ваших, дабы благоприятно внял молитву вашу и даровал нам *чадородие*, и благословенного наследника сего великого царства, Владимирского и Московского и всея России». Горестная речь царицы растрогала всех предстоявших; все плакали и единодушно молили об исполнении ее желания. Патриархи же со всем собором единодушно возгласили: «Бог над всеми сущий и Его небесная Матерь и великий Предтеча и все святые,

да призрят слезы твои, благоверная царица, и наши о тебе стенания и да исполнят желания твоего сердца. Творец всяческих, на все призирающий милостивым оком, исполнивший всеми благами земными сие великое царство, да дарует ему и наследника свыше всех сих благ».

Государь и царица проводили патриархов до златой двери и приняли от них еще благословение[1].

В 1642 г. прием новопоставленного патриарха Иосифа происходил подобным же порядком. 14 апреля на Светлой неделе в четверг государь назначил ему быть у себя в Золотой палате. С утра, в другом часу дня, к патриарху съехались духовные власти. Он вышел к ним из келий в крестовую палату «и дожидались от государя по себя присылки в Крестовой палате». Когда прислана была от государя весть, то, совершив обычные молитвы, патриарх в сопровождении властей отправился во дворец. Впереди шел соборный ключарь, нес на блюде животворящий Крест Господень со святою водою. Во дворце пред Золотою Палатою государь встретил патриарха от дверей с сажень, принял от него благословение и шествовал в палату на царское место, а за ним патриарх со властьми. Вошед в палату, патриарх пел «Христос воскресе» трижды и говорил вместо «Достойно есть» «Светися» и прочее по чину и благословил царя Крестом Животворящим и кропил его святою водою, а также и царскую шапку. Государь велел патриарху и властям сести по чину. А посидев мало, пошел государь к царице, а патриарх со властями пошел за ним же. А государыня царица и великая княгиня Евдокия Лукьяновна была у себя в *Подписной* палате, сидела на своем царицыне месте на подушке золотной. С государем вошли в палату бояре князь Алексей Михайлович Львов, Лукьян Степанович Стрешнев (отец царицы), окольничий

1 Чтения Общества Истории и Древностей Российских. 1863. Кн. 2. Ч. IV. – С. 249–252, Журнал Министерства Народного просвещения. Ч. XXV, II. – С. 22; С.-Петербургский Вестник. Ч. 2. – 1778. – С. 174–177.

Федор Степанович (ее дядя и дворецкий) да Василий Иванович Стрешневы.

Войдя в палату, патриарх по чину пел «Христос воскресе», говорил вместо «Достойно» «Светися» и пр., потом кропил царицу святою водою, поздравлял ей, государыне, и поднес дары: кубок серебрян золочен с кровлею; два атласа золотных двойных, атлас гладкой червлен, камку куфтерь, камку одамашку, два сорока соболей да сто золотых. Такие же дары, только в меньшем размере, патриарх поднес царевичу Алексею (50 золотых) и трем царевнам Ирине, Анне, Татьяне (по 30 золотых). Обыкновенно случалось, что новопоставленный святитель по своему недостатку вовсе не мог поднести такие богатые дары; но старый обычай был так крепок, что ему никогда не изменяли, и необходимые дары выдавались на этот случай из царской казны, куда после церемонии опять и возвращались. «А взносили все те дары, – сказано в записке о настоящем приеме патриарха, – из государевы казны с Казенного Двора и отнесены опять на Казенный же Двор».

Если иногда святитель приносил и собственные дары, то большею частью по совершении обряда они также ему возвращались, а он во всяком случае получал от царского семейства взаимные дары, которыми его по обычаю дарили ответно. Так и в этот день новый патриарх получил от царицы, царевича и царевен по кубку серебряному, по атласу, от царицы – двойной по серебряной земле, от царевича – просто двойной, от царевен – по гладкому лазоревому; по камке куфтер: от царицы – багровый, а от прочих – по лазоревой, и по сороку соболей. «А назад те дары у патриарха не взяты. А пожаловав, государыня царица и царевич и царевны патриарха отпустили к себе»[1].

Таким же образом царица и царевны принимали у себя патриарха, когда поселялись на новоселье в новых хоромах. Патриарх при этом благословлял их иконою и подносил

[1] Древняя Российская вивлиофика. Т. VI. – С. 256.

хлеб и соль в серебряной солонке, а также и дары: обычные сорок соболей и кусок золотой или шелковой ткани. Впрочем, дары, большею частью с благодарным отказом, принимаемы не были и возвращались снова в патриаршую домовую казну. Впоследствии патриарх приходил благословлять такое новоселье только с иконою и с хлебом и солью.

Повседневные, комнатные приемы у царицы, равно как у больших царевен, ограничивались, разумеется, только лицами женского пола или родственными, самыми близкими, свойственными людьми из мужчин.

Котошихин рассказывает, однако ж, что бояре, думные и ближние люди и их дети в дни своего рождения (собственно именин) приезжали обыкновенно челом ударить царице и подносили ей свои *именинные калачи*, потом ходили с именинными калачами к царевичам и к царевнам. Царица в своей передней комнате принимала их лично, спрашивала о здоровье, поздравляла именинника и приказывала принять от него именинный калач, причем именинник получал иной раз что-либо в подарок. Так, например, в 1644 г. апреля 30 сыну князя Никиты Ивановича Одоевского Якову за то, что он поднес государыне свои именинные пироги, царица пожаловала два куска полотна: одно – двойное, другое – тройное. Точно таким же порядком принимали именинников и старшие царевичи. В 1675 г. августа 16 приходил к великому государю с именинными пирогами, и к государыне царице, и к царевичам боярин князь Никита Иванович Одоевский. Государь пожаловал его с пирогами к себе, и к царице, и к царевичам и велел потом ото всех послать ему подачи, ествы с кубками и с чарками, т. е. с винами. Могло также быть, что и маленькие царевичи принимали лично своих сверстников по возрасту, маленьких именинников, детей бояр, думных и ближних людей. Но едва ли допускались к ним посторонние старшие именинники, кроме их приставников и приближенных по родству людей. О приеме бояр у царевен Котошихин замечает: «А у

царевен у самих (именинники) не бывают, кроме свойственных бояр». Стало быть, здесь прием был заочный. Можно полагать, что и царица точно так же принимала заочно всех бояр и других сановников, которые не были ей близки по родству или по службе. Вообще указание Котошихина должно относиться по преимуществу лишь к *ближним* людям, вышедшим и в бояре, и в думу из царских комнат из домашних государевых людей.

Само собою разумеется, что подобного исключения не было для лиц женского пола. Боярские жены и дочери высшего, т. е. всего думного и ближнего чина, пользовались всегда личным приемом царицы и царевен. В дни своих именин они представлялись государыне и царевнам со своими именинными калачами; их также спрашивали о здоровье, поздравляли и повелевали принять подносимый калач – именинник.

Как в эти праздничные, так и в обыкновенные приезды к царице за каким-либо делом по ее вызову или с собственною просьбою боярыни приезжали зимою в каптанах (крытых возках), а летом – в колымагах и рыдванах. «А приезжаючи к царицыну двору, из колымаг и каптан они выходили у ворот[1], а на двор не въезжали и, приходя к царицыным или к царевниным покоям, посылали боярынь сказати о своем приезде царице или царевнам». Без сомнения, прежде они посылали своих боярских боярынь объявить о своем приезде дворовой боярыне, которая уже и докладывала об этом царице. Таким же образом шел доклад и царевнам через их комнатных боярынь. Пришед к царице или к царевнам, боярыни кланялись им в землю, челом били; затем государыни их спрашивали о здоровье. После этой обычной формы приема спрашивали и о деле, зачем приехали.

В иных случаях царица принимала даже и крестьянок, по крайней мере, своих же дворовых вотчин. Так,

[1] У Куретных дворцовых ворот, взади царицыных хором, откуда и всходили во дворец по светличной лестнице, находившейся подле этих ворот.

в 1635 г. мая 29 к царице Евдокии Лукьяновне в с. Рубцове (Покровском) приходили челом ударить *с пирогом* с. Рубцова рыбной слободки крестьянки, семь человек, причем царица пожаловала им по полтине.

При обозрении повседневной комнатной жизни цариц мы должны наметить только общие главные черты с помощью прямых и положительных свидетельств, предоставляя самому читателю рисовать себе живую и более или менее полную картину такой жизни из тех во множестве рассеянных в этой же книге мелких черточек, какие он сам может проследить, если употребит на это необходимое внимание. В последующих главах он найдет многие, хотя еще и сырые краски для воспроизведения подобной картины. Со своей стороны мы ограничиваем себя только одною черновою работою и в настоящем случае указываем лишь основные положения такой жизни.

После обычного утреннего моления у крестов к царице приходил от государя ближний человек спросить о здоровье, как почивала. Такой спрос происходил, однако ж, чрез комнатных боярынь. Одна из них, по преимуществу крайчая, принимала посланного и докладывала об этом царице, передавая тем же путем и ее ответ. Да и все другие сношения царствующих супругов всегда происходили посредством таких же «обсылок», чрез боярынь со стороны царицы и чрез ближних людей со стороны государя. Весьма понятно, что эти обсылки вверялись людям самым приближенным и испытанным или долгою службою, или особыми родственными отношениями. Обсылки, однако ж, происходили только в те дни, когда супруги почивали особо. Тогда после обсылки государь и сам приходил к царице здороваться, и т. к. эти дни бывали нередко богомольные, постные или праздничные, то супруги выходили

вместе к заутрени или к ранней обедне в одну из сенных церквей. Когда же царице не вместимо было идти в церковь, то царь приходил с нею здороваться, отслушав один церковную службу.

В повседневной царицыной жизни, как это было и везде, утро, т. е. все время до обеда, посвящалось, конечно, разного рода занятиям. Здесь важнейшим каждодневным предметом для размышлений, обсуждений и забот были женские рукоделия, заготовление разнообразных частей наряда и различной церковной «круты» или одежды. Вся такая рукодельная деятельность царицыной жизни сосредоточивалась главным образом в Светлице, обозрение которой мы помещаем ниже. Это было отдельное и обширное рукодельное заведение, исполнявшее всякие подобные работы даже и на половину государя. Немало требовалось времени только для того, чтобы пересмотреть вносимый для шитья и других рукоделий различный узорочный товар, разные дорогие и легкие ткани, шелки, золото и серебро, жемчуги, камни и т. п., а вместе с тем осмотреть, полюбоваться изделиями мастериц, предметами своего или детского убора и наряда; указать, чего желается, что нужно, как исправить, переделать или как пополнить работу. Если сам государь проводил много времени в осмотре работ своей Оружейной Палаты, иконописных, живописных, резных костяных и деревянных, золотых и серебряных и собственно оружейных, то еще больше времени проводила и царица в осмотре работ своей Светлицы. Здесь такой осмотр имел еще большее значение по той причине, что царица была сама рукодельницею тех же самых предметов. Она нередко по обещанию сама вышивала шелками, золотом и серебром и низала жемчугом и каменьями какую-либо утварь в домовые свои церкви, в соборы или в монастыри к особо чтимым угодникам. Точно так же она сама работала и некоторые предметы из платья государю и детям, например ожерелья или воротники к сорочкам и

кафтанам, как и самые сорочки, обыкновенно вышиваемые шелками и золотом, также ширинки или платки, полотенца и т. п. Детям у царицы в хоромах шились даже куклы, для чего отпускались туда нередко лоскутки и остатки разных дорогих и легких шелковых и золотных тканей. Мы не упоминаем о детском белье, которое большею частью тоже, по всему вероятию, изготовлялось в комнатах царицы, особенно для маленьких детей.

Мы увидим ниже, что так называемую *белую хамовную* или полотняную *казну* заготовляли по годовому окладу несколько особых слобод. Все это заготовление вместе с мастерами и мастерицами находилось в заведывании царицына приказа Мастерской палаты. Обыкновенно царицы сами пересматривали доставляемые полотна, скатерти, убрусы, пряжу и т. п. предметы льняного дела, сами сортировали их, иное оставляя для собственного употребления, иное назначая для даров и даже на продажу, что залежалось или не слишком чисто было сделано. Так, в 1631 г. мая 3 царица была в своей казне в Мастерской палате и велела перед собою выбрать на продажу 27 столбцов (кусков, свернутых столбцом) скатертных задейчатых, 24 столбца хлопчатых, 34 столбца тверских, 30 полотен двойных гладких лежалых и не лежалых, 8 полотен двойных полосатых, 32 полотна тройных полосатых, 20 полотен тверских; а выбрав, велела их оценить, а оценя, продать. Всего таким образом оценено торговыми людьми на 101 руб. 8 алт., а продано сверх оценки с прибылью на 51 руб. 6 алт. 2 ден. В 1632 г. сентября 6 царица была в своей казне и взяла 2 утиральника полосатые, убрусное полотенцо, полотно основное, 5 полотен тройных гладких, 15 полотен тверских, 30 полок убрусных. В 1633 г. генваря 21 царица была в своей казне и пожаловала Федору Степановичу Стрешневу (своему дяде и дворецкому) полотно двойное да полотно тройное гладкие; да отставных столбец скатертный, да полотно тройное; да дьяку Сурьянину

Тороканову полотно тройное гладкое; да царица выбрала в своей казне на продажу по оценке на 90 р. 10 алт., а денег взято продажею, а не по оценке, 126 руб. 28 алт. 2 ден. В 1640 г. октября 8 царица «смотрела своей Брейтовской казны», т. е. привезенной из села Брейтова, и оставила у себя в хоромах 50 полок убрусных и т. д.

Иной раз таким же образом царица пересматривала свой гардероб, назначая поношенное или залежавшееся в отставку, именно «в отдачу», т. е. в дар кому-либо из своих родственниц или из своих комнатных, а также на перешивку детям. Родственниц своих царица одевала по большой части если не с собственного плеча, то всегда из своей казны и из своей Мастерской палаты готовым платьем, постройка которого, без сомнения, происходила при ее же непосредственных хлопотах и заботах. Мелкие свидетельства всему этому мы найдем в записках *верхового взноса*.

В известное время царица принимала доклады о разных делах по ведомству своего Постельного приказа и своего дворцового обихода от дворецкого или от дьяка, а большею частью – чрез своих дворовых боярынь и преимущественно от боярыни-крайчей. Главные дела касались хозяйского и служебного устройства различных частей царицына обихода и всего ее чина. Она утверждала, конечно, не без совета с государем, определение и увольнение всех служителей своего двора; *приказывала* те или другие расходы, выдачи, раздачи, покупки, посылки, подачи и т. п. По всему вероятию, ее же решениям подчинялась и ее *судимая* или *судная* палата, где судился ее царицын чин, когда его дела касались каких-либо дворцовых случаев и обстоятельств, особенно по отношению к каким-либо беспорядкам, производимым во дворце, или, еще важнее, к посягательству нанести беспокойство государеву семейству, какой-либо вред его здоровью или чем-либо оскорбить его. Подобных дел случалось немало вследствие неимоверной дворцовой подозрительности и частых изветов или доносов.

Впрочем, в дневном деле у царицы преобладало всегда дело милосердия, дело помощи бедным, нуждающимся. Мы видели, с какою щедростью раздаваема была царицею милостыня нищим во время богомольных выходов и вообще во время богомольных дней. Но и кроме нищих, множество бедных людей, преимущественно женщин же, и главным образом из служилого только сословия пользовались всегдашним доступом к милосердию царицы, подавая ей через дьяка особые челобитные о своих нуждах и приурочивая эту подачу челобитных большею частью к праздничным и особенно к именинным царским дням. По всему вероятию, челобитные читались самой царице. В них вдовы и сироты рассказывали свою горькую нужду и бедственное положение: кто по сиротству шел в монастырь и просил на «постриганье»; кто просто извещал, что «судом Божиим, государыня, нет у меня ни отца, ни матери, вступиться в бедность мою некому»; кто просил окупить с правежу: «Стою я, бедная, в напрасне в 8 рублях на правеже (в долгу), а окупиться мне нечем»; кто писал: «Сговорила я дочеришку свою замуж, а выдать мне на срок после Крещенья в первое воскресенье, а выдать мне нечем», или: «А детишки мои часовники повыучили, а псалтыри купить не чем, прикажи на псалтыри дати, чем тебе, государыня, Бог известит»: или: «Мужа моего убили на вашей службе под Каширою, у Троицы на Белах Песках, за вас, государей, голову положил и кровь пролил. Пожалуй меня, бедную вдову, за мужа моего службу и за кровь, вели меня постричь в свое богомолье, в Вознесенский монастырь; а я стара и увечна и скитаюсь меж двор; чтоб я, бедная, волочась меж двор, не погибла; а я, государыня, нага и боса». Очень часто челобитчики изъясняли только, что скитаются меж двор, помирают голодною смертию, вконец погибают, а поить и кормить, и одеть и обуть некому, роду и племени нет, помощника себе никого не имеют, «окроме Бога и тебя, великой государыни».

Иной раз в челобитной какой-либо вдовы излагалось нечто вроде послужного списка, рассказывались подвиги и служба мужа. В 1642 г. февраля 16 царице была подана между прочими следующая челобитная: «Государыне царице и великой княгине Евдокии Лукьяновне бьет челом бедная и безпомочная вдова, древняя и скорбная, тверитина Камышникова женишко Рудакова Марьица: служил муж мой прежним государем и вам, государем, в сотниках в стрелецких всякие ваши государевы службы, в датцких и в свитцких немцах и в Стекольне был три года и вышел к Москве; а после того был на Низу в Астрахани с головою с Темирем Засецким и на Колуге город ставил, и был на вашей государеве службе четыре года; и как завоевались на Сивере и в сиверском Новегородке в осаде сидел с Михайлом Шеиным; и как под Москвою в таборье стояли воровские люди, а муж мой в ту пору на Дедилове сидел в тюрьме, и хотели с башни скинуть, и он ушел к вам, государем, к Москве, а вору креста не целовал: и как под Москвою в Тушине стояли литовские люди и мужа моего выбрали в полк к боярину к князю Михаилу Васильевичу Шуйскому Скопину, и его взяли в полон; и в полону был три месяца, в день ров копал, а на ночь к колку прикован; и из полону ушел. А как ходили с обозом на воровские люди, и мужа моего выбрали в обоз с сотнею, и в обозе его изранили, положили двенадцать ран; и как пошел под Царево Займище боярин князь Дмитрий, и мужа моего послали тут же с сотнею, и его взяли в полон, и был в полону два месяца; и из полону ушел к Москве из Можайска. И как литовские люди Москву разорили и муж мой ушел в Симонов монастырь и его убили на деле Литовские люди; а вору креста не целовал. И с тех мест и по ся мест, после мужа своего 30 лет скитаюсь меж двор, помираю голодною смертью, нага и боса: помираю голодною смертью; а которые и были у меня сродичи и те все побиты на вашей государевой службе под Смоленском; надеяться

не на кого. Государыня царица и великая княгиня Евдокия Лукьяновна! Пожалуй меня, бедную, дряхлую, скорбную, увечную, для своего государского многолетнего здравия, за службу, за кровь и за осадное сиденье и за полонское терпенье мужа моего и для моей бедности и скорби: вели, государыня, мне дати на одеженко, как тебе, государыня, Бог известит. Государыня, царица, смилуйся, пожалуй!». *Помета*: 150 г. февраля. 16: «Дать полтину».

Помету обыкновенно клал дьяк. Полтина была жалованьем средним; большею частью назначалась гривна, а иногда алтыны – один, два и больше. В особенно уважительных случаях царица жаловала и рубль. Само собою разумеется, что не все эти выдачи назначались самою царицею. До́лжно полагать, что вообще их разрешал ее дворецкий или дьяк, представляя царице только общий доклад и обращая ее внимание только на какие-либо исключительные и заслуживающие особого милосердия случаи.

Иногда до царицы доходили и челобитные из тюрем, от заключенных тюремных сидельцев. Однажды царице Евдокии Лукьяновне было подано следующее челобитье: «Бьют челом сироты ваши государские, бедные заключенные из темницы, из Разряду, из казенки, Литвы, Татаровя, Немцы и всякие людишки 27 чел. Помираем, государыня великая, бедные заключенные с голоду; ни милости царской, ни милости нам, бедным, николи не идет. Смилуйся, государыня, для своего многолетнего здоровья и своих благородных христолюбивых чад вели нас, государыня, заключенных, напоить и накормить».

Был еще в царицыном быту особый круг забот, которому также отдавалось достаточно времени, занятий и соображений. Для своего дворового и в особенности для своего дворового женского чина, как и для всех своих

многочисленных родичей, царица являлась сердобольною, попечительною матерью, которая должна была устроить жизнь и судьбу каждого из своих домочадцев. Таковы были требования давнего обычая, ставшего законом жизни. По этому закону, как известно, каждый домовладыка почитал своею прямою обязанностью заботиться о чадах дома, как о собственных детях, малых воспитать и научить, а главное, возрастных сочетать браком, девиц повыдать замуж, молодцов поженить. Так как царский быт в своих основах и общих началах ничем не отличался от обыкновенного вотчиннического или помещичьего быта, то и здесь очень естественно встретить обычные попечения о своих домочадцах, какие прилагал каждый помещик о своих крепостных. Вот почему все девицы всякого чина, жившие во дворе царицы, всегда из двора же были выдаваемы замуж за добрых дворовых же или сторонних людей по одобрению самой царицы. В расходных записках ее Постельного приказа нередко встречаются свидетельства или о постройке свадебного наряда для «верховых девок», или о выдаче им на свадьбу денег. Есть указание, что царица сама делала смотрины невесте для кого-либо из дворовых женихов, а стало быть, уже непременно сама же смотрела и женихов для дворовых девиц, разумеется, при соблюдении необходимых условий своего замкнутого быта, т. е. всегда потаенно и скрытно. В 1653 г. был такой случай: отставленый дворцовой сторож Иван Девуля пришел в Вознесенский монастырь к одной из стариц, именно к келарю, и просил, чтобы она «у себя в монастыре поискала девки, которая б была летна, хотя и увечна, и нага, и боса, а жениха, сказал, ты сама знаешь, зовут Фролом, Минин, малоумен». Затем он просил о невесте и у других монастырских женщин. Невеста вскоре была указана: сиротинка, жившая в келье у старицы Афросиньи. Желая устроить свадьбу и не надеясь, вероятно, выманить у старицы невесту для своего Фрола, Девуля схитрил и обманул ее следующим образом.

Он пришел к ней будто именем царицы, сказал царицыно жалованное слово, что по челобитью царице от ее царицына крестового дьячка хочет этот дьячок «тое девку замуж взять»; прибавив, что государыне «наперед тое девки досмотрится, а для того провести б ее мимо государыни в такое-то число, в 5 часу дни, а государыня-де будет в то время гулять в Царя-Борисовской палате; и ту девку провести б по улице мимо той палаты». Старица отказывалась, говорила, что у девки замуж и мысли нет и не хочет, что она нага, и боса, и платья ничего нет. Девуля объяснял, что платье все пожалует государыня царица: и полотна, и все даст с Верху для ради своего крестового дьяка.

В назначенный день Девуля вместе с избранною свахою явился в келью к старице за невестою, чтоб вести ее к смотренью пред государыню, мимо Царя-Борисовской палаты, и принес с собою для невесты доброе платье. Старица, не познав их лукавства и обману, нарядив девку к смотренью, отпустила с ними. А они отвели невесту прямо в церковь и там обвенчали ее с Фролом. Само собою разумеется, что обмануть подобным образом возможно было лишь в таком случае, когда всем было известно, что во дворце у царицы такие смотрины и такие сватовства – дело обычное, бывалое. Небывалому делу никто бы и не поверил. Здесь же именем царицы совершался обман, даже пред лицом игуменьи, как о том жаловалась впоследствии самой же царице старица Евфросинья. Подробнее этот случай рассказан в подлинном деле, которое мы приводим ниже.

Во дворце при хоромах царицы жило много девочек-сиротинок, которые попадали туда, разумеется, при посредстве верховых боярынь или по каким-либо случаям избирались и прямо самою царицею. Из таких случаев особенно часто встречалось крещенье в православную веру иноземок. Царица всегда принимала самое усердное участие в этих событиях, щедро награждала новокрещенных и после всегда им покровительствовала; детей же и именно сирот поч-

ти всегда принимала в свои хоромы. Но случалось, что девочки поступали к ней и от живых родителей. Так, в 1655 г. была взята в Верх от отца и от матери девочка-иноземка еврейской породы, крещена и воспитана во дворце, а потом выдана с Верху же замуж за певчего дьяка.

Царица часто крестила немок, татарок, калмычек, арапок; неизвестно только, бывала ли она сама восприемницею этих новокрещенных или отдавала кому из верховых боярынь; но крещаемым из дворца всегда из царицыной казны выдавалось платье и деньги. Так были крещены в сентябре 1652 г. немка Ульяна с дочерью, *вымышленикова* жена, вероятно, жена какого-либо немца-инженера, ибо именем вымышленика назывались у нас инженеры. В том же месяце крестилась немка Авдотья Александрова – жена полковника Лесля. Ей куплено: крест золотой весом 4 золотн. за 5 руб.; цепочка серебряная вызолоченная весом 14 золотн. за 3 руб., башмаки белые сафьянные, ичетыги червчатые за 21 алт. 4 ден. В октябре крещена немка Авдотья – Товиасова жена, которой куплено: крест золотой 2 $^{1}/_{2}$ руб., цепочка серебряная вызолоченная, 12 золотн., 2 руб. 23 алт. 2 ден., башмаки белые, ичетыги желтые сафьянные за 22 алт., ошивка кружевная, 16 алт. 4 ден. В ноябре в Варсонофьевском монастыре крещены татарки три вдовы, четвертая мужняя жена. Им куплены кресты: один серебряный позолоченный, 3 золотн., за 11 алт., три серебряных белых по 3 золотн. за 24 алт. Тогда же крещена девка-татарка, которой куплена телогрея киндячная на песцовом меху, рубашка женская и сапоги барановые красные. В это же время трем новокрещенным татарчонкам куплено три кафтана кушачные червчаты на зайцах с мишурными нашивками за 4 руб. 15 алт. В феврале 1653 г. в Вознесенском монастыре крещена девка-самоядка, которой тогда куплены сапоги желтые сафьянные и чулки белые за 23 алт. 2 ден.

При царице Евдокии Лукьяновне одна из новокрещенных немок девка Авдотья Капитонова находилась даже в

собственной комнате царицы, была ею очень любима и исполняла все комнатные ближайшие ее поручения и приказания. Замечательно, что через 18 дней после кончины царицы она была выслана из дворца в свое поместье, вероятно, прежде ей пожалованное. 5 сентября 1645 г. государь указал сослать с Москвы в Нижний Новгород девку Авдотью Капитонову да сестру ее вдову Авдотью же с детьми на своих государевых подводах, а из Нижнего указал государь их сослать в Нижегородский уезд в их поместье деревню Летнюю до своего государева указу. Для береженья с ними дослан сын боярский. В городе велено их принять воеводе, а приняв, «сослать в деревню и из деревни никуда выезжать им до государева указу не велеть, в обидах от всяких людей оберегать и в обиду людей их и крестьян никому не давать; а будет кто из дворян или из детей боярских на той девке Авдотье жениться похочет и тое девку велеть выдать замуж сестре ее, вдове Авдотье, из воли, безо всякого опасенья, а что у девки государева жалованья поместья и вотчины и тем поместьем и вотчинами государь пожалует жениха ее». Можно полагать, что она была крестницею самой царицы или самого государя.

Очень естественно, что еще большие заботы царица полагала об устройстве судьбы своих бедных родственниц, которые девицами жили обыкновенно в Верху на ее попечении. Они составляли особую степень верховых царицыных чинов под именем верховых девиц-боярышен. В этот чин царица определяла по большой части сирот своего родства, а иногда брала девиц и у родителей, по бедности не имевших средств дать нм воспитание, а главным образом, не имевших средств выдать их замуж. Таким девицам царицын Верх всегда являлся надежною опорою и заботливым покровителем. До возраста они стольничали у малолетних царевен, служили им в их детских играх и жили в их же комнатах. На возрасте царица выдавала их замуж за добрых людей, в которых, конечно, недостатка ни-

когда не было, ибо женитьба на верховой боярышне всегда сопровождалась значительными выгодами для жениха и в отношении приданого, и в отношении службы. «А иных девиц и вдов, небогатых, – говорит Котошихин, – царица и царевны от себя с двора выдают замуж за стольников, за стряпчих и за дворян, и за дьяков и жильцов, своим государским наделением, также и вотчины дают многие или на вотчины деньгами из царские казны, да их же отпущают по воеводствам, и те люди воеводствами побогатеют».

Однако ж, чтобы такое приданое, как и сама невеста, действительно попадали в руки доброму человеку, необходимо было наводить об избираемых женихах надлежащие справки, необходимо было подробно узнавать их житье-бытье, что, по всему вероятию, и делалось чрез верховых и приезжих боярынь, а равно и чрез ближних людей государя, конечно, при посредстве тех же боярынь. Нельзя также сомневаться, что, принимая особенное участие в судьбе своих верховых боярышен, царица и самолично досматривала их женихов скрытно и ни для кого невидимо, как подобало в царицыном быту.

В иных случаях делать подобные справки и досмотры было нетрудно, и именно относительно лиц, которые по службе часто бывали во дворце, как, например, стольники, стряпчие, жильцы. К тому же в хоромах царицы и вообще во дворце всегда очень хорошо было известно житье-бытье каждого из бояр и каждого из значительных дворян по той простой причине, что царь с царицею были по своим отношениям ко всей служебной среде прямыми вотчинниками-домовладыками и почитали все боярское и вообще дворянское общество Москвы за одну семью своих домочадцев. В этой среде царь значил то же, что старинный помещик в среде своих дворовых, о чем мы уже отчасти говорили в I томе. Очень естественно, что особенно важные и видные домашние дела каждого члена этой среды всегда были на виду и в царском дворце, где с ро-

дительским попечением и усердным опекунством непрестанно наблюдали за всеми действиями своих домочадцев. Во дворце бывало известно все, что говорили на площади, на пирах, даже в отдаленных походах. Об этом свидетельствует в своей переписке сам царь Алексей Михайлович. И, само собою разумеется, что раскрытие домашних дел служилого и приближенного общества всего любопытнее было для домашней же среды дворца, т. е. для женской среды, где собирались жены мужей, матери детей, сестры братьев и т. д. Это закрытое в своих теремах общество, никому не видимое во дворце, становилось по временам даже политическою силою, которая своим подземным влиянием давала известное направление государевым поступкам и делам, возводило людей на высоту царских милостей, а стало быть, и управления, или низвергало их с этой высоты, поддерживало падающих или помогало им в падении. История этого общества нема по той причине, что ее героями бывали все люди не письменные, жившие в покорении, в монастырском постничестве и молчании, но она весьма значительна и любопытна по несомненному присутствию ее скрытых деяний во многих государственных делах. Как история по преимуществу домашняя, она и раскрыться может только при всестороннем расследовании домашних же дел государя и народа.

Котошихин, отмечая подобную черту дворских отношений, говорит, между прочим, что боярские и вообще ближних людей жены, вдовы и дочери-девицы приезжали часто во дворец к царице, царевнам и к царевичам ходатайствовать о своих мужьях и детях, о своих братьях и родственниках и всегда успевали в этом, всегда находили у царской семьи надобную помощь и защиту во всяком деле. «Царь те дела делает, о которых бывает такое челобитье, хотя б которой князь или боярин или иных больших и меньших чинов человек в какой беде ни был, о чем бы ни бил челом, если б кто и к смерти был приговорен, и,

по прошению своей семьи может царь все доброе учинити и чинит; и таких дел множество бывает, что царица, и царевичи, и царевны многих людей от напрасных и не от напрасных бед и смертей свобождают, а иных в честь возвышают и в богатство приводят».

Бывало у цариц и царевен немало занятий, хлопот и забот и по вотчинному своему хозяйству, которое в некоторых подмосковных селах принадлежало им как бы в собственность, составляя их особую, комнатную статью хозяйского дела.

В первой половине XVII столетия такою домашнею вотчиною было с. Рубцово-Покровское (ныне Покровская улица), а во второй половине того же столетия – с. Измайлово. Рубцово, вероятно, было старинною вотчиною Романовых, и потому в первые годы царствования Михаила оно принадлежало его матери – иноке Марфе Ивановне, а от нее потом перешло в исключительную собственность к царевне Ирине Михайловне, которая и была его полною хозяйкою-вотчинницею. Впрочем, сначала, за ее малолетством, такою хозяйкою-вотчинницею была мать ее – сама царица Евдокия Лукьяновна. Селом управлял приказчик, в 1632 г. – Никифор Васильев, и управлял, видно, как следовало старинному приказчику, так что в это время старосты и крестьяне били на него челом, что делает им обиды и налоги многие и во всем их стесняет. И это было в Москве, под крылом и на глазах самой царицы. Решено было *сыскать* о нем в селе попами и дьяконами, т. е. допросить их по священству, справедлива ли была жалоба крестьян. Вотчинное хозяйство села состояло из обыкновенных хозяйских статей, которые ведали дворовые люди, получавшие годовое окладное жалованье: мельник – 6 руб., другой мельник засыпка – 3 руб.; два садовника по 5 руб.; два рыб-

ника – по 3 руб.; три коровника – по 2 руб.; два конюха – по 1 $^{1}/_{2}$ руб., с 1632 г. – по 2 руб., а потом и по 3 руб.; гусятник – рубль, с 1632 г. – 2 руб., дворник или сторож вотчинного двора – 2 руб., а потом 3 руб. Месячины им шло на месяц: мужу с женою по чети ржи, в мясные дни по части мяса, в постные дни по звену рыбы. По праздникам бывало указное питье. При Михаиле Федоровиче Рубцово-Покровское было любимым летним местопребыванием царской семьи, и потому на устройство тамошнего хозяйства были употреблены тогда немалые заботы. В 1632 г. печатного дела мастер Онисим устроил там пруды, а в 1635 г. разведены сады, которые в 1641 г. снова строил немец дохтур Вენделинус Сибилис. Хозяйство время от времени пополнялось также необходимыми статьями, какие требовались для его улучшения. Так, в сентябре 1634 г. куплены в табуне 4 кобылицы ногайские за 21 руб., царевны Ирины на обиход, и посланы на конюшню в с. Рубцово.

Со времени царя Алексея Покровское было оставлено в исключительном владении царевны Ирины[1]. Впоследствии в той же стороне царь устроил для себя особое вотчинное хозяйство и дачу в Измайлове, где все статьи хозяйства, и пруды, и сады явились несравненно в лучшем и обширнейшем виде и заведены были при помощи разного рода немецких мастеров. Царица заведовала здесь всеми женскими работами, в числе которых главное место занимало льняное дело.

Кроме этих двух вотчинных хозяйств были еще весьма значительные, по преимуществу садовые, хозяйства в селах Коломенском и Воробьеве, которые тоже служили увеселительными дачами для царской семьи. Само собою разумеется, что сады доставляли немало прохлады или удовольствия в замкнутой жизни цариц и царевен, как и всего их женского чина. В Коломенском и, без сомнения, и в других

[1] В начале XVIII столетия оно точно так же находилось в собственном владении цесаревны Елисаветы Петровны.

сельских царских дворцах хоромы царевен, именно их терема, выходили окнами прямо в сад, в густоту зеленых деревьев, из которых, по вкусам века, больше других любимы были деревья плодовые, груши, яблони, вишни.

Был в царском дворце стародавний обычай посылать близким знакомым и уважаемым людям из своих садов и огородов на каждый год в свое время новое *слетье* или *новь*, т. е. созревшие внове садовые ягоды и овощи, ягоды, дыни, арбузы, огурцы, редьку и т. п., а также и другие вновь появлявшиеся потребы, например сельди переяславские, когда было время их привоза. Все это рассылалось из дворца приближенному боярству, дворянству и особенно наиболее чтимому духовенству – патриарху, митрополитам, епископам, архимандритам, даже строителям монастырей, кто жил в Москве. Так, 20 июля 1652 г. царевна Татьяна Михайловна поспешила послать Никону, тогда еще новгородскому митрополиту, новую дыню и новую вишню. На другой день ему прислала вишни и царица Марья Ильична. На третий день, 22 июля, царица прислала ему дыню и другие новые ягоды. Таким образом, и садовое дело в летнее время доставляло царице и царевнам немало занятий и развлечений и забот о том, чтобы пораньше других собрать свою новь и разослать ее любимым и уважаемым людям.

Послеобеденное время, особенно в праздничные дни, равно как и долгие осенние и зимние вечера, отдавались, разумеется, разного рода домашним, комнатным утехам и увеселениям. Для этой цели во дворце существовала даже Потешная палата – нечто вроде особого, собственно потешного отделения с целым обществом разного рода потешников. Обозрению Потешной палаты или домашних дворцовых увеселений мы отделяем

особую статью, а здесь упомянем в общих чертах, какого рода забавы были обыкновенны в комнатах царицы. Можно наверное полагать, что ее забавы были «народны» и сообразовались с народным же порядком увеселений. Так, например, ко Святой царицам всегда устраивалась качель, и именно веревочная, обшиваемая по веревкам бархатом или атласом, с седалкою, обтянутою по хлопчатой бумаге тоже бархатом.

Так, в апреле 1629 г. царице Евдокии Стрешневых была устроена в передних сенях качель, обшитая сукном багрецом червчатым, а поверх сукна бархатом червчатым гладким. Когда не было увеселения, качель покрывали полотнищем сукна, для чего на эту качель было отпущено 3 арш. сукна червчатого же. В 1649 г. декабря 12 царевне Анне Михайловне (20 лет) обшиваны качельные веревки бархатом червчатым, пошло 3 арш. 2 верш. В 1686 г. в апреле в хоромы к царице Прасковье Федоровне было изготовлено три качели да миндер, т. е. тюфяк или матрац, тоже, вероятно, для каких-либо игр или для постилки под качель. Брюин, бывший в Москве в петровское уже время, рассказывает, что однажды он обедал в деревне у боярина Стрешнева: «После обеда, который был весьма вкусен и пышен, нас ввели в обширную залу, в коей к потолку были приделаны досчатые качели на веревках. Это здесь любимое упражнение: хозяйка дома села на одну доску и велела двум миловидным прислужницам себя качать. Она, качаясь, взяла на руки ребенка и пела весьма ладно со своими служанками какую-то национальную песню, извиняясь, впрочем, весьма много перед нами, что нет музыкантов, за которыми бы она не преминула послать в город, если бы знала о нашем посещении»[1].

На Маслянице во дворце устраивались скатные горы, на которых если и не сама царица, то всегда увеселялись царевны с верховыми боярышнями.

1 Отечественные Записки. 1830. CXXV.

На Рождестве, по всему вероятию, увеселялись святочными играми, так как на Троицкой неделе – хороводами и т. д.

Для таких игр при царицыных, равно и при царевниных хоромах существовали обширные сени, в загородных дворцах – холодные, а в московском – теплые. Это можем видеть на планах Коломенского дворца. В числе сенных девиц находились и *игрицы*, вероятно, исполнявшие эти народные игры. В описи казны времени Годунова и Шуйского упомянуты «восемь подволок камчатных и тафтяных разных цветов – деланы на игриц». Это были приволоки – верхнее женское платье вроде накидок или мантилий. Для повседневной забавы служили дурки, шутихи, также слепые игрицы – домрачеи, которые под звуки домры воспевали старины и былины, народные стихи и песни. Относительно разных игр имеем несколько указаний, что царицы играли в *карты*. Так, в 1637 г. октября 12 куплено в овощном ряду полдюжины карт за 5 алт. 2 ден., которые взяты к царице в хоромы, принял стольник Василий Голохвастов. В 1641 г. октября 11 тоже в овощном ряду куплены двои карты по алтыну, которые принял к царице в хоромы Иван Федорович Стрешнев.

Впрочем, более полные подробности о том, какие игры, забавы, увеселения и зрелища доставляли удовольствие царскому семейству, читатели найдут во второй части Домашнего быта царей.

Здесь необходимо упомянуть и о выездах царицы для гулянья. Простые небогомольные выезды и походы цариц совершались большею частью летом, когда они выезжали в загородные дворцы пользоваться удовольствиями деревенской жизни. Осенью и зимою такие выезды предпринимались очень редко и с одною целью, когда царица выезжа-

ла вместе с государем на какую-либо потеху. Так, в 1674 г. 25 октября царь Алексей Михайлович со всем семейством выехал на житье в свое любимое село Преображенское, где в то время была устроена новая потеха – театр и даны были *комидийные действа*: Юдифь, Есфирь и др.

Государь отправился туда торжественным шествием в одной карете с царевичем Федором и в сопровождении боярства и всякого походного чина. После него шла государыня царица с царевичами и царевнами в следующем порядке: наперед ехал в своей карете царевич Иван Алексеевич; с ним в карете сидел дядька князь Прозоровской; за каретою ехали его царевичевы стольники и Иван Кириллович Нарышкин. Затем ехала царица в колымаге в 12 возников (лошадей) цветных, с царицею сидели: маленький царевич Петр, меньшие царевны, да мамы, да царицына мать и невестка. За колымагою по сторонам и позади шли царицыны стольники (пажи) да 40 чел. дворян. Впереди их по сторонам колымаги бояре – отец царицы и Матвеев. Потом следовала колымага больших царевен, запряженная также в 12 возников цветных. С царевнами сидели доровые боярыни, а впереди шел пеш их дворецкий П. И. Матюшкин, около колымаги шли дворяне 30 чел. Далее колымага меньших царевен, сидевших с верховыми боярынями; впереди их шел пеш их дворецкий Б. Г. Юшков, а около – 30 чел. дворян; колымага была запряжена тоже в 12 возников цветных. За этим поездом ехали в колымагах верховые боярыни, казначеи, карлицы, постельницы; а всех шло 30 колымаг; подле колымаг ехали царицыны дети боярские по два человека, по списку.

Весь царицын поезд охраняли стрельцы: впереди открывал шествие стремянный полк под начальством стрелецкого головы, а по сторонам около экипажей шли с ружьем стрельцы рядового полка.

7 декабря ходил государь из с. Преображенского с царицею, с царевичами и царевнами, всем домом, в с. Из-

майлово тешиться и всякого строенья смотреть; и кушанье раннее (обед) было у государя в Измайлове.

На другой день, декабря 8, ходил государь из с. Преображенского также всем домом тешиться в с. Алексеевское; там же и кушанье раннее было. Декабря 9 государь ходил с царевичем Федором в с. Остров, а потом 13 числа один в с. Соколово тешиться. Между тем в тот же день царица со всем домом возвратилась из Преображенского в Москву. Наперед царицы шел царевич Федор в избушке (зимнем возке), запряженной в шесть возников темно-серых; с ним сидели дядьки: боярин князь Ф. Ф. Куракин, окольничий И. Б. Хитрово; царевича сопровождали бояре, окольничий, думный дворянин – ловчий, ближние люди, его царевичевы стольники, походные стольники, а около всего поезда шли пеши стрельцы с батожьем. Потом шла царица в каптане в 12 возников цветных; с нею сидели ее мать, и невестка, и боярыня М. В. Блохина. Впереди ехал стремянной полк под начальством головы, каптану сопровождали бояре Нарышкин и Матвеев, князь Прозоровский, ясельничий Вышеславцев, царицыны стольники, царевича Ивана стольники да дворяне. Большие и меньшие царевны ехали также в двух каптанах в 12 лошадей каждая. С большими царевнами сидели в каптане верховые боярыни да казначеи; с меньшими – мамы да казначеи. Их поезды сопровождали: дворецкий А. Н. Лопухин у царевен больших и дворецкий Б. Г. Юшков у меньших, а с ними дворяне. По обе стороны всего царицына поезда шли стрельцы с батожьем для береженья. За поездом ехали боярыни верховые, казначеи, карлицы, постельницы, каптан с пятьдесят, оберегаемые боярскими детьми царицына чина.

На следующий год весною, 24 мая 1675 г., государь со всем домом выехал на летнее житье на Воробьевы горы, для чего еще за месяц прежде, 19 апреля, туда нарочно был послан стольник князь Троекуров, а указано ему пересмотреть всякого строения в тамошнем дворце, а где худо, по-

строить все вновь к государеву пришествию. Выезд царицы с детьми происходил точно в таком же порядке, какой описан выше, при выезде в Преображенское. Те же колымаги в 12 лошадей, те же почти окружающие лица, те же 30 колымаг с боярынями и другими придворными чиновницами. 8 июня в именины старшего царевича Федора она ходила подобным же поездом с царевнами и меньшими царевичами к обедне в приходскую церковь к Троице, вероятно, в патриаршее село Троицкое-Голенищево.

19 июня государь ходил с Воробьевской горы в с. Преображенское со всем государским домом. «А сидел государь в одной карете с царицею, да с царевичами Федором и Петром. За каретою ехали тесть государев К. П. Нарышкин, дядька князь Прозоровской и стольники, братья царицы, все Нарышкины. Карета была запряжена в шесть лошадей карих. Вперед этого государева поезда и всего шествия ехал стрелецкий полуголова стремянного полка, а за ним вперед же государя везли государеву постельку, т. е. всякую постельную казну под охранением ближнего человека Ивана Демидовича Голохвастова и наплечных мастеров (портных). В другой карете ехали большие царевны, Ирина Михайловна с сестрами, а с нею сидели мамы, и боярыни, и кормилицы. В карете было шесть возников гнедых. Перед каретою ехали стольники и ближние люди все, да царевичевы Феодора стольники да стольники площадные все, а за каретою ехали бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки. В третьей карете ехали царевны меньшие, Евдокия Алексеевна с сестрами, а с ними сидели мамы, да боярыни, и кормилицы. В карете было шесть возников темно-серых. За каретою ехал дворецкий А. Н. Лопухин. В четвертой карете в шесть лошадей буланых шел царевич Иван Алексеевич, а с ним сидели царевны да боярыни. За каретою ехал Петр Иванович Матюшкин.

На другой день, 20 июня, государь из Преображенского ездил к обедне в с. Покровское и, возвратившись после

кушанья, ходил из Преображенского тешиться в с. Измайлово с царицею, царевичами и царевнами. В Преображенском остались только царевич Иван да две маленьких царевны Наталья и Феодора. В первой карете шел государь с царевичами Феодором и Петром. В другой карете царица с меньшими царевнами, окруженная братьями Нарышкиными. В третьей карете – царевна Ирина с сестрами и царевна Евдокия с сестрами. Далее в трех колымагах ехали мамы да в трех колымагах боярыни, казначеи, кормилицы. Кареты были запряжены каждая в шесть лошадей, а колымаги – парою; впереди поезда ехали бояре и все другие чины, сопровождавшие государя, а позади за колымагами – царицыны дети боярские. С потехи возвратились в Преображенское в 3-м часу ночи, т. е. часов в 11 вечера.

23 июня из с. Преображенского царица со всем домом, кроме государя, ходила к обедне в с. Покровское в каретах. А шли три кареты: в первой на 6 саврасых лошадях шел царевич Федор с дядькою. В другой карете на 6 темно-серых лошадях шла царица, сидевшая со своею матерью, и невесткою, и дворовою боярынею Блохиною. Карету сопровождал царицын отец и ее дворецкий, а позади ехали в колымагах дворовые боярыни. В третьей карете на шести лошадях карих шли царевны Ирина с сестрами да Евдокия с сестрами, а с ними сидели мамы. За ними ехали в колымагах верховые боярыни и казначеи. Карету сопровождали ближние люди Матюшкин и Юшков. Поезд оберегали стрельцы.

26 июня ходил государь из Преображенского опять в с. Измайлово с царицею, царевичем Федором и с большими царевнами. В эту поездку государь сидел в одной карете с царицею и с царевичем. Карета была запряжена в 6 саврасых лошадей. В другой карете, в 6 лошадей гнедых, шли царевна Ирина да царевна Евдокия, каждая с сестрами, а за ними в колымагах ехали мамы, верховые боярыни и казначеи. Поезд сопровождали ближние люди и оберегали стрельцы стремянного полка под началь-

ством головы. Тогда и кушанье было у великого государя в с. Измайлове *в роще*.

28 июня пошел государь после кушанья из Преображенского на Воробьеву гору со всем домом праздновать именины царевича Петра. Впереди всего поезда ехал стрелецкий голова Лутохин со стремянным полком; затем следовали бояре и другие чины, ближние люди и походные стольники. Потом ехал в своей карете маленький царевич Петр, а с ним в карете сидели его бабушка Анна Левонтьевна Нарышкина с дочерью Авдотьею Кирилловною, тетка Прасковья Алексеевна Нарышкина да боярыня Матрена Леонтьева. Карету сопровождали его дед Кирилла Полуектович Нарышкин, Артамон Сергеевич Матвеев, стольник Иван Фомич Нарышкин и стольник царевича Ивана Иван Головин. В государевой карете с государем сидели царица, царевич Федор, царевна Феодосия. В другой карете ехала царевна Ирина с сестрами, в третьей – царевич Иван с сестрами, а с ними сидели мамы, боярыня да кормилицы. Государеву карету сопровождал дядька царевича Федора, ближние люди Матюшкин и Иван Кириллович Нарышкин и царевичевы стольники. Царевнины кареты сопровождали тоже ближние люди – дворецкие Лопухин и Юшков. Около всего поезда шли стрельцы стремянного полка 100 чел. За царевниными каретами ехали прежде всего мамы и дворовые боярыни в пяти колымагах, по двое в каждой. За мамиными колымагами ехали казначеи государя, царицы, царевичей и царевен в семи колымагах, по две в каждой по порядку старшинства. В 8-й колымаге ехали карлицы царицы и царевен; в 9-й – комнатные бабки царицы, царевичевы и царевен; в 10-й – мастерицы. Затем следовали 40 колымаг, а в них сидели постельницы царицыны, царевичей и царевен. Кареты были запряжены каждая в шесть лошадей, а колымаги – парою. Колымаги оберегали дети боярские царицына чина по два человека да стрельцы, также по два человека.

В поезде следовала также государева постелька со всякою постельною казною, которую сопровождал вместо постельничего ближний человек и в комнате у крюка Петр Васильевич Хитрово, а с ним стряпчий, дьяк Мастерской палаты, комнатные истопники, сторожи, наплечные мастеры (портные); перед постелькою ехал сотник стремянного полка и с ним 20 чел. стрельцов.

В это время ангелу царевича Петра государь праздновал с особым торжеством. Накануне он послал думного дворянина к патриарху Иоакиму звать его в поход на Воробьеву гору к обедне, к празднику и к столу, со властьми, и указал для того выслать туда шатерничих со столовыми шатрами и столами тотчас, не мешкав. В день праздника 29 июня после заутрени патриарх шествовал на Воробьеву гору в следующем порядке: впереди ехали патриаршие дети боярские, потом следовала ризница с соборным протопопом, протодьяконом, ризничим и певчими. Сам патриарх ехал в карете в сопровождении своего боярина, дьяков и своих стольников.

К обедне государь ходил в Донской монастырь, где службу совершал патриарх с приехавшим туда духовенством. Пришед от обедни, государь жаловал боярство и двор именинными пирогами, а потом давал патриарху со всем духовенством и боярству обед в шатрах. В то же время на своей половине и царица жаловала именинными пирогами свой дворовый чин.

1 июля с Воробьевой горы государь выезжал под Девичий монастырь на потеху, «тешился там в лугах и на водах с соколами и с кречетами и с ястребы, и с государынею царицею и с царевичами Федором и Петром, в каретах». Эту поездку сопровождали отец царицы Нарышкин, дядька царевича Федора Ивановича Хитрово, да стольники и ближние люди и для обереганья стрелецкий голова Полтев со своим полком.

14 июля с Воробьевой горы государь переехал со всем домом в с. Коломенское. Оттуда 23 июля он ходил тешиться

в с. Соколово с царицею и царевичем Федором, а сидели они с государем в одной карете, запряженной в 6 лошадей гнедых. Карету сопровождали и ехали вперед боярин И. Б. Милославский, окольничий князь Долгорукой, думный дьяк, ближние люди и стольники походные; за каретою ехали братья царицы Иван да Афанасий Нарышкины, с сумою – ближний человек А. С. Шеин да стольник царевича князь М. Я. Черкасский. В Соколове жаловал государь погребом стольников походных и сокольников и слуг боярских и стрельцов, т. е. угощал их вином, медами и пивом со своего погреба. А из Соколова, идучи в Коломенское, заходил государь, и с царицею, и царевичем к Николе на Угрешу и слушал вечерню и молебен.

26 июля государь снова со всем домом переехал из с. Коломенского на Воробьеву гору; 26 августа он праздновал там именины царицы Натальи Кирилловны и царевны Натальи Алексеевны; слушал вместе с именинницами и со всем домом обедню в полотняной походной церкви в присутствии всего боярства и всех чинов, которые нарочно были вызваны к этому дню из Москвы.

После обедни в государевых хоромах царица из собственных рук жаловала своими именинными пирогами всех ближних комнатных и некомнатных бояр, окольничих, также думных дворян, думных дьяков и ближних стольников. «А как государыня жаловала пирогами, и в те поры сидел сам государь да с ним же царевич Федор». Такая раздача самою царицею именинных пирогов была не совсем обычным делом в государевом дворце.

ГЛАВА V
ЦАРИЦЫН ДВОРОВЫЙ ЧИН

Женский чин: мамы и верховые боярыни, их честь и место. — Казначеи. — Постельницы. — Комнатные бабы. — Мастерицы. — Портомои. — Мужской чин: приказный, крестовый, стольничий, походный, истопничий, мастерской. — Царицына слобода Кисловка. — Черты жизни и нравов младшего чина дворовых людей по сыскным делам и челобитным.

Дворовый чин или придворный штат царицы состоял в ближайшей службе по преимуществу из женщин. Первое место в женском чину принадлежало боярыням, которые именовались *дворовыми* или *верховыми*, а между ними первое место занимали боярыни-*мамы* малолетних царевичей и царевен. Старшинство мам соответствовало старшинству возраста царских детей, а потом старшинству мужского племени пред женским. Мамы царевичей, хотя бы и самых меньших по возрасту в целой семье, были всегда выше мам даже и старших возрастом царевен. В мамы избирались пожилые, опытные и, главное, самые приближенные к царице или к государю вдовы, большею частью из их же родственниц. Мамою царя Ивана Васильевича была вдова Аграфена Челяднина – жена государева дворецкого. Челяднины в то время занимали самые первые по приближению должности почти сряду в течение 20 лет (1496–1518 гг.) перед рождением Грозного. Отец и брат дворецкого были конюшими. Первому царевичу из рода Романовых Алексею Михайловичу (род. в 1629 г.) в мамы была избрана его бабушка по отце Орина Никитична Годунова, сестра Филарета Никитича и жена окольничего Ивана Ивановича Годунова – мужа доброго и благочестивого по отзыву иностранцев, который, служа царю Василью Шуйскому, погиб в Калуге от второго

Лжедмитрия в 1610 г., «скончася мученически, но к советникам самозванца не приложися».

Мамы получали годового жалованья более чем вдвое прочих дворовых боярынь. Во второй половине XVII столетия их оклад простирался от 50 и до 100 руб. Столовых или кормовых денег они не получали, затем что, живя во дворце, пользовались всем дворцовым содержанием. Исполнив свою прямую службу, мамы обыкновенно уходили в монастырь; но при царевнах иногда они оставались и после их возраста, заведуя по-прежнему всеми их делами и всем их обиходом. Мама царевны Софьи Алексеевны княгиня Анна Никифоровна Лобанова-Ростовская оставалось мамою в дворовом штате до своего пострижения в монастырь. Она скончалась в Новодевичьем монастыре в 1709 г. схимонахинею. При дворе, сначала в числе приезжих боярынь, она находилась более 60 лет.

В *чин* дворовых боярынь избирались обыкновенно вдовы по большей части из царицына родства или же по заслугам из придворных женщин меньшего чина, преимущественно из казначей, а иногда и из кормилиц, разумеется, после долгой и испытанной службы. Так, известная Анна Петровна Хитрово появляется в первое время, в 1630 г., казначеей у царевны Ирины Михайловны. В феврале 1646 г. по случаю разбора всего царицына чина умершей царицы Евдокии Лукьяновны она была отставлена, причем отмечено: по ее челобитью отпущена постричься. Но отметка была зачеркнута и показывала только, что Хитрая вышла из двора по собственному желанию. Спустя несколько лет, именно в 1658 г., она была пожалована прямо в дворовые боярыни и с этого времени постепенно приобретает влиятельное и первенствующее положение между боярынь. Она особенно возвышается назначением в мамы к царевичу Федору Алексеевичу. Когда царевич достигает возраста и по смерти старшего брата Алексея становится сам старшим в семействе и объявляется наследником престола, его мама

по естественной причине является тоже старшею и первою в дворовом женском чину. Она приближается даже и к новой царице – Наталье Кирилловне. В 1672 г. за родинным столом царевича Петра она стоит у ней в кравчих, что повторяется и в 1674 г. на родинном и потом на крестинном пиру царевны Феодоры. По смерти царя Алексея у царя Феодора, своего воспитанника, Хитрая становится ближайшим человеком, а по частым болезням молодого царя – и необходимым лицом в его комнате. Затем у новых цариц, у двух супруг царя Федора – Агафьи Семеновны Грушецких и потом у Марфы Матвеевны Апраксиных – она является полною хозяйкою и тоже исполняет важную должность кравчей, но не ради только торжественных столов, как у царицы Натальи, а повседневно. До́лжно полагать, что она введена во двор и в комнату к царевичу Феодору своим родственником, любимцем царя Алексея и его дворецким Богданом Матвеевичем Хитрово, при помощи которого она постоянно и высилась. В чиновных списках ее имя уже на втором месте упоминается еще в 1698 г.

Находившись такое долгое время, около 70 лет, в царицыных хоромах, зная насквозь весь царский домашний обиход, все тайные нити дворских отношений, эта женщина, всегдашняя приверженница рода Милославских, умела так себя держать, что невредимою прошла чрез все дворские смуты конца XVII столетия, хотя, как говорят, была одною из начальных причин семейной вражды между Милославскими и Нарышкиными, потому что была лютою враждебницею царицы Натальи Кирилловны и всего рода Нарышкиных. Под фарисейским только видом постница, пустой лицемерной бабьей святыни только устами полная, Хитрая по прозванию и поистине хитрая видом, нравом и самым делом, она ушничеством и ложным наговором, быть может, больше чем другие другими средствами, успела родовую вражду в царском доме довести до известной печальной стрелецкой трагедии. Так, по крайней мере,

писал о ней сын погибшего в этой трагедии боярина Матвеева Андрей Матвеев.

Дворовые боярыни утверждались в своем звании особым царским указом. Соблюдался ли при этом обряд сказыванья им их боярства – неизвестно; но, вероятно, царицын дворецкий или царицын дьяк провозглашали им царский указ в присутствии царицы и прочих боярынь. Этот указ вносился иногда даже в записные разрядные книги, в которых, например, читаем: 1675 г. июля 6 «пожаловал великий государь в *верховые* боярыни стольника Федорову жену Григорьева сына Кокорева – *вдову* Марью, Иванову дочь, а по отце Акифьевых. А указано ей быть, по указу великого государя, в *светлице* у мастериц и указано ей ведать мастериц всех»[1]. Таким образом, из верховых боярынь некоторым поручалось всегда какое-либо особое заведывание в обиходе царицына быта. Одна главнейшая боярыня была *кравчею*, находилась постоянно при царице и была, так сказать, ее правою рукою во всех домашних делах ее обихода. Другая заведовала вообще царицыною казною и называлась боярыней-*казначеей*, третья была *светличная*, заведовала всеми рукоделиями женского царицына чина, четвертая – боярыня-*постельница*, в ведомстве которой состоял весь постельный обиход царицы, в том числе и портомойное дело; пятая была боярыня-*судья*, рассуждавшая разные дела царицына дворового женского чина относительно исполнения придворных обязанностей, споров и ссор между тем же женским чином, особенно рукодельным и постельным. Сверх того, боярынею же называлась и *приказная* Хамовного двора, на котором изготовлялась всякая белая казна, полотна, скатерти и т. п. Этот двор находился в слободе Кадашове, отчего и боярыня, заведовавшая хамовным делом, называлось *Кадашевскою боярынею*. Она, впрочем, не принадлежала к чину дворовых боярынь, а равнялась по должности казначеям.

[1] Дворцовые разряды. Т. III. – С. 1515.

Верховые боярыни получали годовое денежное жалованье, смотря по своему достоинству и по значению их занятий. В XVII столетии оно не превышало 50 р. в год, а в меньшей степени, в начале столетия, доходило даже и до 10 руб. Впрочем, средний и обыкновенный их оклад бывал в 25 руб. Кормовых денег они не получали, потому что кормы, подачи и питье для них выдавались из дворца.

В начале царствования Михаила Федоровича, когда он собирался жениться на Марье Долгоруких, а царицыным двором правила его мать инока Марфа Ивановна, дворовыми боярынями были (1624 г. сентября 15) две вдовы княгини Долгоруких, Татьяна Степановна и Прасковья, из которых первая получала годового жалованья 30 руб., вторая – 28 руб. Вероятно, они назначены были служить во дворе молодою царицею как близкие ее родственницы. Третьею боярынею была Марья Юрьевна Головина, получавшая 10 руб. В 1625 г. мая 28 на место Долгоруких, которые по смерти царицы удалились в монастырь, именно в Вознесенский, к иноке Марфе Ивановне по ее же указу велено жить в Верху вдовам же Катерине Бутурлиной с жалованьем по 30 руб. и княгине Овдотье Коркодинове с жалованьем по 25 руб., причем Головиной назначено по 20 руб. Перед свадьбою царя на Стрешневой, в 1625 г. боярынями были те же Бутурлина и Коркодинова; вновь поступили: Федора Заболоцкая (жалованья 25 руб.), вдова Соломонида Васильчикова (жалованья 23 руб.) Быть может, последняя поступила на место Головиной, имени которой с тех пор мы не встречаем в записках.

Приводим списки боярынь, состоявших в царицыном чину в течение XVII столетия.

У царицы Евдокии Лукьяновны мамы: царевича Алексея – Орина Никитична *Годунова*, жена Ивана Ивановича; Ульяна Степановна *Собакина*, жена Сергея Степановича; царевича Ивана – Анна Константиновна *Стрешнева*; царевны Ирины – княгиня Марья Ивановна *Хованская*, жена

Ивана Федоровича; царевны Анны – княгиня Ульяна Васильевна *Троекурова*, жена Романа Федоровича; царевны Татьяны – княгиня Марья Ивановна *Пронская*, жена Василья Романовича.

Боярыни: Ульяна Степановна *Собакина*, крайчая 1628 г., а потом мама; Катерина Ивановна *Бутурлина*, жена Василья Матвеевича; княгиня Соломонида Петровна *Мезецкая*, крайчая; княгиня Авдотья Федоровна *Коркодинова*, светличная; Соломонида *Васильчикова*; Федора *Заболотская*, постельница; Анна Борисовна *Травина*; Анна *Пушкина*; Анна Андреевна *Колычова*, жена Ивана Федоровича; Татьяна *Скобелцына*; княгиня Анна Ивановна *Одоевская*, жена боярина Ивана Ивановича; княгиня Марья Елизарьевна *Туренина*, жена Василья Ивановича.

У царицы Марьи Ильичны мамы царевичей: царевича Димитрия – Катерина Федоровна *Милославская*; царевича Алексея – княгиня Арина Григорьевна *Катырева-Ростовская*; княгиня Анна Андреевна *Мещерская*; царевича Федора – княгиня Прасковья Борисовна *Куракина*, Анна Петровна *Хитрая*; царевича Симеона – княгиня Авдотья Михайловна *Хованская*, Аксинья Алексеевна *Кологривова*, княгиня Ульяна Ивановна *Голицына*; царевича Ивана – княгиня Анна Фирсовна *Ухтомская*, с 1667 г. *Мамы царевен*: царевны Евдокии – княгиня Фетинья Володимеровна *Сицкая*, с 28 декабря 1651 г.; княгиня Аксинья *Хилкова*; Пелагея Ивановна *Ивашкина*; царевны Марфы – Ульяна Петровна *Шереметева*, ск. 4 апреля 1676 г.; царевны Софьи – княгиня Анна Никифоровна *Лобанова-Ростовская*, с 1659 г.; царевны Екатерины – Настасья Федоровна *Шереметева*, Афросинья Демидовна *Зубова*, Анисья Юрьевна *Лодыженская*; царевны Марьи – Дарья Тимофеевна *Смайлева*, с 1660 г., Марья Ивановна *Ильина*; царевны Феодосии – Зиновия Степановна *Головина*, Дарья Силична *Мясново*, с 22 марта 1666 г.

Боярыни: княгиня Фитинья Володимеровна *Сицкая*, с 1653 г.; княгиня Марья Ивановна *Пронская*, 1647–1653 гг.;

Матрена Семеновна *Милославская*, с 30 марта 1648 г.; Анна Михайловна *Вельяминова*, урожденная Ртищева, с 30 марта 1648 г., крайчая; княгиня Авдотья Федоровна *Коркодинова*; Аксинья Григорьевна *Еропкина*, с 30 марта 1648 г.; Домна Семеновна *Давыдова*, из казначей, с 14 апреля 1648 г.; Наталья Алексеевна *Нарбекова* ; княгиня Анна Андреевна *Мещерская*, с 1663 г., жена князя Лаврентья; Устинья Ивановна *Вельяминова*; Анна Петровна *Хитрая*, вдова Степана Тарасова Хитрово; Аксинья Ивановна *Кологривова*; Анна Семеновна *Плещеева*; Анна Егупьевна *Колычова*; княгиня Агафья Романовна *Горчакова*, с 1667 г.; княгиня Домна Никитична *Волконская*; княгиня Анна Матвеевна *Хилкова*.

У царевен: княгиня Марья Ивановна *Пронская*; Ульяна Степановна *Собакина*; Анна Борисовна *Травина*; княгиня Ульяна Михайлова (Тимофеева) *Щетинина*; Дарья Ивановна *Толстово*, с 1663 г.; Марья Андреевна *Мартюхина*, крайчая у царевен больших, с 1659 г.; Анна Матвеевна *Супонева*, с 1667 г.; Пелагея Ивановна *Ивашкина*, с 1667 г.; Афросинья Демидовна *Зубова*, крайчая царевен меньших.

У царицы Натальи Кирилловны при жизни царя Алексея *мамы*: царевича Петра – княгиня Ульяна Ивановна *Голицына*, Матрена Романовна *Леонтьева*; царевен: Натальи – княгиня Прасковья Ивановна *Ромодановская*; Феодоры – княгиня Анна Львовна *Львова*, жена стольного князя Андрея Ивановича.

Мамы детей от Милославской: Ульяна Петровна *Шереметева*; княгиня Анна Никифоровна *Лобанова*; Настасья Федоровна *Шереметева*.

Боярыни: Анна Петровна *Хитрая*; княгиня Анна Андреевна *Мещерская*; Матрена Романовна *Леонтьева*; Анна Михайловна *Вельяминова*; княгиня Агафья Романовна *Горчакова*; Матрена Васильевна *Блохина*, из казначей, с 1672 г., на место Еропкиной; княгиня Домна Никитична

Волконская; Анна Степановна *Соловцова*; Марья Борисовна *Давыдова*, с 1672 г. на место Вельяминовой Устиньи; княгиня Анна Фирсовна *Ухтомская*; Федора Ивановна *Плещеева*; Дарья Ивановна *Толстова*; Марья Андреевна *Мартюхина*; Анна Матвеевна *Супонева*; Пелагея Ивановна *Ивашкина*; Аксинья Алексеевна *Мертваго*, с 1672 г. на место Зубовой, крайчая у царевен меньших; Марья Ивановна *Ильина*; Дарья Силична *Мясная*.

Чин боярынь за 1680–1682 гг. : *мама* – княгиня Анна Никифоровна *Лобанова*; *дворовые* – Марья Матвеевна *Грушецкая* у царицы Агафьи Семеновны; Анна Петровна *Хитрая* – боярыня у цариц Агафьи Семеновны и Марфы Матвеевны; княгиня Анна Андреевна *Мещерская*; княгиня Анна Фирсовна *Ухтомская*, была после у царицы Прасковьи Федоровны, ск. 20 марта 1688 г.; княгиня Агафья Романовна *Горчакова* – боярыня у царицы Агафьи Семеновны, а после у царицы Прасковьи Федоровны; Федора Ивановна *Плещеева* – царицы Агафьи Семеновны; Арина Федоровна *Вельяминова* – светличная царицы Агафьи Семеновны; Авдотья Ивановна *Свиньина* – царицы Агафьи Семеновны; Офимья Ларионовна *Орлова*; Анна Ивановна *Полтева* – царицы Агафьи Семеновны; Федосья Ивановна *Неелова*, из казначей царевича Федора – у царицы Агафьи Семеновны, потом пострижена в 1688 г.; Дарья Ивановна *Толстова*; Марья Андреевна *Мартюхина* – у больших царевен; Анна Матвеевна *Супонева* – у больших царевен, ск. в 1688 г.; Пелагея Ивановна *Ивашкина* – у меньших царевен; Аксинья Алексеевна *Мертваго* – у меньших царевен; Марья Ивановна *Ильина*; Дарья Силична *Мясново*; Анисья Юрьевна *Лодыженская* – в 1678 г. у царевен меньших; княгиня Марфа Тимофеевна *Шаховская*.

Царицы Натальи за 1680 г.: *мама* – княгиня Прасковья Ивановна *Ромодановская, Боярыни* – Матрена Романовна *Левонтьева*; Матрена Васильевна *Блохина*; *Кокорева* Настасья Ивановна, светличная; княгиня Домна Никитична *Волконская*.

Чин боярынь в 1691 г. и за последние годы XVII столетия: *мамы* – Анна Никифоровна *Лобанова-Ростовская*; Марья Михайловна *Салтыкова*; Анна Львовна *Собакина. Боярыни*: Анна Петровна *Хитрово*, княгиня Агафья Романовна *Горчакова*; Татьяна Ивановна *Фустова*, из казначей, ск. в 1695 г.; княгиня Анна Андреевна *Мещерская*; Федора Ивановна *Плещеева*; Арина Федоровна *Вельяминова*; Федосья Ивановна *Неелова*; Дарья Ивановна *Толстова*, ск. в 1698 г.; Марья Андреевна *Мартюхина*; Пелагея Ивановна *Ивашкина*; Аксинья Алексеевна *Мертвая*; Марья Ивановна *Ильина*; Дарья Силична *Мясная*; Анисья Юрьевна *Лодыженская*; Анна Андреевна *Измайлова* ; Авдотья Ивановна *Лодыженская* – у царицы Марфы; Дарья Лукьяновна *Нелединская* – у царицы Марфы; Прасковья Осиповна *Татищева*; Ульяна Михайловна *Водорацкая* – у царицы Прасковьи Федоровны; Мавра Васильевна *Мотовилова*; Марфа Ивановна *Белкина*; Афросинья Павловна *Дурная*, из казначей, с 1685 г.; Татьяна Ивановна *Панова*; Соломонида *Карташова*, из казначей, с 1685 г.; Авдотья Осиповна *Петрова*, с 1695 г. из кормилиц – у царицы Прасковьи Федоровны; Ульяна Ивановна *Коптева*, из казначей; княгиня Авдотья Васильевна *Мещерская*; Аксинья Петровна *Заболоцкая*; Олена Григорьевна *Лепунова*, ск. в 1698 г.; Авдотья Даниловна *Горяинова*, из казначей; Прасковья Матвеевна *Тарбеева*, ск. в 1697 г.; княгиня Марья Ивановна *Волхонская*; княгиня Аграфена Федоровна *Барятинская* – с 1695 г. у царицы Прасковьи Федоровны; Татьяна Семеновна *Бутурлина* – у царевны Прасковьи Ивановны мама с октября 1695 г.

Царицы Наталии: мама – княгиня Прасковья Ивановна *Ромодановская*; княгиня Домна Никитична *Волконская*; Прасковья Борисовна *Ордина-Нащокина*, после у царевны Наталии; Матрена Гавриловна *Чихачова*; Авдотья Поликарповна *Лапатина*; Авдотья Федотовна *Толстая*; Лукерья Семеновна *Махова*; княгиня Лукерья Гавриловна *Ухтомская*, жена окольничего князя Ивана Юрьевича, кормилица ца-

ревны Наталии, а с 19 июля 1694 г. – ее боярыня, на место умершей княгини Волконской.

Царицы Евдокии Лопухиных: Авдотья Авраамовна *Чирикова*; Наталья Осиповна *Лопухина*; Акулина Васильевна *Доможирова*, из казначей. *Царевича Алексея Петровича мама* Прасковья Алексеевна *Нарышкина*; боярыня Авдотья Семеновна *Нестерова*, из казначей.

Честь и место и на царицыной половине государева дворца между женщинами соблюдались с тою же заботливостью, поддерживались и охранялись с тою же ревностью, как и на половине государевой, между мужчинами. Честь и место даже дворовых боярынь ставились в *случай*, когда тягались между собою местники – бояре и другие разрядные люди. Так, в 1576 г. Васюк Зюзин, искавший своего места перед Федором Нагим, ставил в случай между прочими и следующее обстоятельство: «Да жила, господине, – писал он боярину-судье, – Петрова мать Шетнева (его родня) Фетинья у государя на сенех, и *какова была* с Оленою Плещеевою в государевой милости, *во чти* (в чести) и *в местех*, в том у государя в милости и о сыску челом бью».

В 1627 г. точно так же Василий Пушкин, тягавшийся о местах с Андреем Плещеевым, подал, между прочим, случай, что в 1547 г. когда царь Иван Васильевич понял в брак царицу Настасью Романовну, то у царицыных саней были Никифор Хвощинской да Иван Иванович Плещеев, а жена Ивана Плещеева, мать Смерда Плещеева, который являлся здесь основою спора, была у царицы Настасьи в Верху, и приказано ей было у портомой, а приносила она белое платье (чистое белье) к боярыням, которым над нею у белого платья приказано, к княгине Волконской да к Оксинье Губиной.

Пушкин этим доказывал, что Волконская была больше жены Ивана Плещеева, что больше ее была даже и Акси-

нья Губина, т. к. больше Ивана Плещеева был Хвощинский, а на Хвощинского и Губина ему, Пушкину, и случаев «добыть не уметь», потому что они молодые дети боярские. Словом сказать, Пушкин по этому случаю считал себя выше Плещеева «многими месты». Если таким образом честь и место дворовых боярынь шло, как говорится, тоже, как всякое лыко, в строку при местнических счетах, то им естественно было поднимать такие счеты и при их назначении во двор царицы, где они никак не хотели занимать должность меньшую против своих местниц или совместниц. По поводу одного такого назначения возбуждено было очень большое счетное судное дело между знаменитым князем Дмитрием Михайловичем Пожарским и князем Борисом Михайловичем Лыковым.

В 1602 г. при царе Борисе Годунове велено быть у царицы Марьи Григорьевны в дворовых боярынях княгине Марье Лыковой – матери Бориса Лыкова, а у царевны Ксении Борисовны – княгине Марье Пожарской, матери Дмитрия Михайловича. Пожарский стал бить челом царю Борису и писал в челобитной, что «по царской милости и по своему отечеству его матери, княгине Марье, быть меньше княгини Лыковой не вместно, а можно его матери больше быть княгини Лыковой многими месты и государь бы его пожаловал, велел ему с князем Михаилом Лыковым в отечестве дати суд и счет». Пожарский считал себя даже больше отца Борисова Михайлы, потому и просил считаться с ним, а не с сыном. Однако государь приказал боярам: в отечестве его судить и разряды сыскать с Борисом Лыковым. Бояре спросили: почему матери его, княгине Марье, меньше быть княгини Борисовой матери не можно? Пожарский привел множество случаев о чести и местах своего рода и ни одного – о чести и местах дворовых боярынь, как можно было бы ожидать от этого спора: ясно, что счеты о женских местах возникали не сами по себе, не были особыми самостоятельными придворными счетами и вполне зависели от

общих местнических счетов, в которых женское место точно так же, как и мужское, становилось *случаем*, находкою.

Спор и суд не был вершен при царе Борисе и возобновился с лишком через 6 лет – уже при царе Василье Шуйском, и притом со стороны Бориса Лыкова, который объяснил, почему и суд не был окончен. В своей челобитной царю Шуйскому он писал: «А преж сего, при царе Борисе в 1602 и в 1603 годах князь Дмитрий Пожарской доводил на меня, Бориска, ему, царю Борису, многие затейные доводы, что будто я, сходясь с Голицыными да с князем Борисом Татевым, про него, царя Бориса, рассужаю и умышляю всякое зло. А мать его, княж Дмитриева, княгиня Марья, в те ж поры доводила царице Марье на матерь мою, что будто мать моя съезжаючись с княгинею Василья Федоровича Шуйского-Скопина Оленою, и будто ся рассуждают про нее, царицу Марью, и про царевну Оксенью злыми словесы. И за те затейные доводы и за иная многая лганья царь Борис и царица Марья на матерь мою и на мене наложили опалу, учали в том гнев держати без сыску, и матери моей не велели без указу от себя с дворишка съезжать (выезжать из своего дома). И в те поры тот князь Дмитрий Пожарский *не по своему отечеству и не по стычке*, теша его, царя Бориса, бил челом на меня в отечестве о суде, и царь Борис его, князя Дмитрия, за те затейные доводы и за многая лганья жалуючи, а меня, по своему тайному гневу, позоря и казня, вместо смертные казни (как бы на смертную казнь) велел мне с неволю (неволею) отвечать ему, князю Дмитрию, в отечестве. И князь Дмитрий на суде говорил и разряды подавал Стародубских и Ряполовских князей, будто они больше бывали моих родителей – Оболенских князей. А сам он к тем Стародубским и Ряполовским ко многим князьям причитал отца своего и себя по родословцу лесвицею, и ставил отца своего в лесвице больше многих (тех) князей, а своих ближних родителей, Пожарских князей, которые бывали в городовых прикащиках и у иных (подобных) дел, за их худобою ни в

каких случаях не подавал и потому своему умыслу и по тем своим затейным доводам хочет больше быть мене лесвицею родословием, а не отечеством, т. е. ближними родители, и не по разрядам. И после того суда я многажды царю Борису бивал челом о вершеньи того суда, и царь Борис, не жалуючи меня за те его, князя Дмитриевы и его матери, затейные доводы, того суда вершить не велел, а велел мене для своей докуки послать на службу в Белгород и тот суд и по ся места не вершен; а ныне князь Пожарской по тому суду меня с собою в ровенстве ставит». Вообще тяжбу Пожарского Лыков объяснял придворными интригами, и случай между их матерями, который подавал повод тягаться с ним Пожарскому, не почитал настоящею местническою стычкою. Как бы ни было, но подобные случаи признавались в местничестве тоже опасными для родовой чести и в известных обстоятельствах могли служить немалою потеркою и позором всему роду, оттого местники и были так чувствительны ко всякой мелочи в своих местнических счетах.

При царе Михаиле Федоровиче, 1627–1630 гг., к его супруге царице Евдокии Лукьяновне была определена в Верх в дворовые боярыни княгиня Ульяна Васильевна Троекурова, жена Романа Федоровича Троекурова, и учинена во всем царском жалованье равною с боярынею Екатериною Ивановною Бутурлиною – женою Василья Матвеевича Бутурлина. В этот раз Троекурова самолично подала государю челобитную и объясняла, что ей с Катериною Бутурлиною в равенстве быть не можно: по вашей государской милости, по нашему отечеству, прадед родной Василия Бутурлина и его деды и дед его родной и дядя большой везде в *пятых* и в *шестых* товарищах (бывали) с дядею моим да с отцом в ваших государских разрядах». В доказательство она стала перечислять случаи и в заключенье просила: «Милосердый государь, пожалуй меня, рабу свою, не вели мне быть в ровенстве с Бутурлиною и вели по своим разрядам на Бутурлина в нашем

отечестве свою царскую боронь учинить, чтоб родству нашему тем вперед позорным от Бутурлиных не быть. Царь-государь, смилуйся!». Решено было против указанных случаев вывести справки из разрядов; но чем окончилось дело – неизвестно. Знаем только, что в списках дворовых боярынь Троекурова ставилась выше Бутурлиной.

В феврале 1623 г. царь Михаил Федорович женил царевича Михаила Кайбудовича на дочери Григорья Ляпунова Марье, а на свадьбе указал быть в сидячих боярах Ивану Плещееву и князьям Роману да Никите Гагариным, а в сидячих боярынях – их женам: Настасье Семеновне Плещеевой и княгиням Катерине Матвеевне и Марье Михайловне Гагариным. По случаю же болезни Плещеевой велено быть ее дочери, по муже Вельяминовой. Гагарины тотчас заявили, что по росписи им назначено быть меньше Плещеева, что теперь они хотя садятся под ним, но вперед станут бить челом государю; а женам их меньше Вельяминовой никак быть нельзя. Между тем Вельяминова не сама себя представляла в сидячих боярынях, а представляла только свою мать, почему на свадьбе ее и называли не собственным ее именем, а именем матери, Ивановою женою Плещеева; она только занимала место матери. Гагарины же не хотели сидеть именно под Вельяминовой как очень молодой перед ними. Однако из Разряду велено было князей посадить сильно на назначенных местах: «Да из Разряду же приезжал разрядный дьяк, а велел княгинь Гагариных посадить (стало быть, также сильно) под Вельяминовою. Вообще велено сидеть по росписи, где кому указано, а кому до кого будет дело, и они впредь государю бей челом... И они по росписи сидели, и после свадьбы Гагарины никто не бил челом».

Подобные столкновения даже и между женщинами во дворце были делом обычным и неизбежным по самому существу местнических отношений, ибо во дворце честь и место никогда не были мечтою. Здесь известная местниче-

ская потеря чести и места всегда сопровождалась потерею и многих служебных весьма существенных выгод – и не для одного лица, а для всех его родичей. Можно было о чем подумать и похлопотать, можно было вытерпеть и батоги, и тюрьму, и опалу, и всякие личные унижения, лишь бы сохранить то место, с которым приобреталась, а иначе вовсе терялась известная служебная ступень, а с нею все существенные блага, именно денежные и поместные оклады.

Но честь и место как понятие о достоинстве лица глубоко коренилось в нравах всего народа, от дворца до людских помещичьих изб, во всяком доме, где собирались люди, и особенно во всяком доме, где встречалось какое-либо служебное господарское разделение людей, где был двор в смысле дворовых людей. Вот, например, что писал в 1681 г. из Москвы некий дворецкий к своему помещику (Андрею Безобразову): «А что, государь, написано в памяти (твоей), чтоб баб развесть по избам, и бабы, государь, ни которая не слушает, все лиша бранятца меж себя, и меня, холопа твоего, не слушают, лают; и их развесть без твоего-де государского указу нельзя, все большие и старые. Приходил я, холоп твой, многожды в избу и им говорил, чтоб *изместили* Марью Чеглокову, дали места; и они не дают, нихто не хочет *ниже сидеть*»[1].

После верховых боярынь вторая степень женских царицыных чинов принадлежала *казначеям*, на руках которых сохранялась всякая казна, все уборы, вещи, деньги, различные материи и т. п. Они вели приход и расход этой казны, а потому до́лжно полагать, что по своим обязанностям они необходимо были грамотницами. Это подтверждается еще и

[1] Русский Исторический сборник. Т. V. – С. 3; т. II. – С. 268–272; Временник Императорского общества Истории и Древностей Росийских. Кн. 6. – С. 15; кн. 14. – С. 25, 105; кн. 9. – С. 57; Дворцовые разряды. Т. I. – С. 538; Древняя Российская вивлиофика. Т. XIII. – С. 128.

тем, что иные казначеи исполняли вместе и должность комнатных псаломщиц, комнатных чтиц или читальщиц. Казначеи находились при каждой комнате особо, т. е. у казны царицыной, у казны каждого царевича и каждой царевны. Таким образом, их штатное число определялось числом членов царской семьи. Впрочем, у самой царицы обыкновенно бывало по две казначеи. Годового жалованья они получали по 8 руб., да кормовых по 6 ден. или по 3 коп. на день.

После казначей следовала *ларешница*, у которой на руках были комнатные ларцы и которая, собственно, была второю казначеею у царицы, ибо эта должность состояла только при комнатах одной царицы, а у других членов царской семьи ларцами заведовали те же казначеи. После долгой и испытанной службы казначеи нередко жаловались в сан верховых боярынь.

В некотором равенстве с казначеями были еще следующие чины:

1) *учительницы* малолетных царевен грамоте или, как их иногда называли в том же смысле, *мастерицы*. В учительницах были: *мастерица* Марья, учившая царевну Татьяну Михайловну; Авдотья Пыпина, Варвара Лгова, Федора Петрова, учившие царевен с 1675 по 1691 г.;

2) *кормилицы* царевичей и царевен. Из кормилиц потом поступали с уменьшением чина и значения в постельницы или в комнатные бабки, а с возвышением – даже в верховые боярыни. Впрочем, государева кормилица оставалась в своем чину до смерти и получала в виде пенсии все свои оклады. На таком положении оставались кормилицы: царя Алексея – старица Анисья Ивановна, и царя Федора Алексеевича – Анна Ивановна, и пр. По окладу жалованья и учительницы-мастерицы, и кормилицы равнялись казначеям;

3) *псаломщицы*, получавшие жалованья по 6 руб. в год, кормовых по 6 ден. Впрочем, эту должность исполняли обыкновенно казначеи как штатные грамотницы. Так, у царевны Татьяны Михайловны псаломщицею была ее каз-

начея Василиса Пятово, вступившая в дворцовую службу в 1645 г. казначеей к царевне Ирине. В 1690 г. она умерла, и на ее место определена псаломщицею Татьяна Мартынова.

Под казначеями в чину стояли *боярышни-девицы, сенные боярышни*, жившие в комнатах царицы и царевен для разных услуг. Это была третья степень царицына дворового чина. У царевен они стольничали и как сверстницы жили для игр и забав и вообще для собеседничества, поэтому и штатное число их не было ограничено. Они избирались из дворянского сословия, но по преимуществу попадали в Верх по отношениям царицына родства или родства верховых боярынь. Котошихин говорит: «А которого боярина или окольничего и думного и ближнего человека дочь-девица или вдова понадобится царице или царевнам для житья взяти к себе в дом, и им то вольно, кроме самых больших бояр дочерей». Действительно, царице вольно было брать к себе в комнаты, кого она «похочет». Но мы уже видели, как Двор опасался людей малоизвестных, не сверстных и не родственных, на которых не мог вполне полагаться во всем; поэтому как в дворовые боярыни, так и в боярышни девицы избирались лишь те, которые вообще бывали близки царице по свойству и родству или по старинной испытанной дружбе и службе. Родовитых и знатных имен в этих чинах, и особенно в чине боярышень, вообще не встречается. Дóлжно думать, что здесь всегда набирался только особый родственный и свойственный царице кружок, вовсе недоступный для других, хотя и знатных, но мало ей известных личностей.

Боярышни-девицы, живя постоянно в комнатах царицы и царевен на всем готовом содержании, конечно, не нуждались в отдельном чиновном годовом жалованьи. Все, что было им нужно, жаловала царица. Но в конце XVII столетия и они стали получать окладное жалованье: старшие – по 7 руб. в год, младшие – по 5 руб. и самые меньшие в чину – по 3 руб.

К тому же чину девиц-боярышень принадлежали и *карлицы*, которых занятия также не были определены особою какою-либо должностью. Жалованья они получали в ряд с меньшими боярышнями, рублей по 3 и по 5. Число девиц-боярышень вместе с карлицами бывало, как мы сказали, неодинаково. В 1682 г. их было, получавших по 7 руб., – 11 чел.; по 5 руб. – 36 чел.; по 3 руб. – 4 чел. В 1691 г. получавших по 7 руб. – 12 чел.; по 5 руб. – 38 чел.

Четвертую степень царицыных чинов занимали *постельницы* и *комнатные бабы*. Имя постельниц обозначает и их должность; они «постели постилали под царицу и под боярынь, и спали у царицы в Верху посуточно, по переменам; сидели у царицы в сенях, поденно[1], а были они жены дворовых всяких чинов людей, разумеется, меньших степеней».

При каждой комнате, как-то у царицы, у каждого царевича и у каждой царевны находились свои особые постельницы, число которых не всегда было одинаково. У царицы их бывало человек по 20 и по 25; в 1683 г. у царицы Марфы Матвеевны Апраксиных их было 30. У царевичей – от 2 до 5; у царевен: старших – от 8 до 12 и больше; у младших – от 2 до 5 и больше. Окладного жалованья шло им в год по 4 руб. кормовых, старшим – по 6 ден., остальным – по 3 ден. на день.

Кроме постельниц у царицы и у царевен при каждой комнате находились *комнатные бабы* – по одной у каждой царевны и две у царицы. Это были собственно лекарки и поступали во дворец из принимальных или повивальных бабок, оставаясь здесь, по всему вероятию, после каждых родин при комнате ребенка, которого они повивали или принимали. Они получали жалованья по 1 $^{1}/_{2}$ руб. в год, кормовых столько же, сколько и постельницы; хлеба по 6 четей ржи и овса.

[1] В 1677 г. изготовлены «две шубы песцовые под стамедом, старыя, постельницам, в чем сидеть у царицы в сенях».

Пятую степень занимали *мастерицы* и *ученицы*, *золотные* и *белые*, т. е. золотошвеи и белошвеи, «мужни жены и вдовы и девицы, честных и середних чинов дворовых людей, которым делают и шьют золотом и серебром и шелками, с каменьем и с жемчугом». Число их так же, как и постельниц, было неодинаково и увеличивалось постепенно, вместе с нарождением царского семейства и распространением потребностей и надобностей двора. В первой половине XVII столетия оно доходило до 40 с лишком человек. В 1626 г. золотных мастериц было 15 чел., а белых – 11 чел. В 1682 г. их было 59 чел. и 22 ученицы, в 1691 г. – 87 чел. и с ученицами. Годовое жалованье и кормовые деньги назначались им не одинаково, смотря по мастерству и трудолюбию. Первостепенные получали от 2 до 4 руб., средние – по 1 руб. и по 1 $^{1}/_{2}$ руб., меньшие, а равно и ученицы – по полтине. В 1627 г. мастерицы первой статьи получали 4 руб., второй – 3 руб., третьей и четвертой – 2 $^{1}/_{2}$ руб., пятой – 2 руб. в год. Кормовых старшие получали по 5 и по 6 ден., средние – по 4, младшие – по 3 и ученицы – по 2 ден. на день. Хлебного, ржи и овса старшие получали по 7 и 8 четей, средние – по 5 и 6, младшие – по 3 и 4 чети. У кого было поместье, тем хлебного жалованья не давали. Число хороших мастериц стояло в разное время большею частью на 30, отчего они и назывались даже *тридцатницами*, так что попасть в список таких тридцатниц значило приобресть настоящую степень мастерства. Мастерицы и ученицы были жены и дочери дворовых же государевых людей, царицыных детей боярских, Сытного и Кормового двора стряпчих, подключников, конюхов, подьячих, а иные и из городового дворянства. Когда в 1680 г. произведена была поверка их дворовой службы, то оказалось, что некоторые служили в Светлице лет по 50, например Катерина Темирева, Татьяна Перепечина, а Анна Лукьянова Маслова служила 58 лет; другие – 40, 36 лет, 33 года, 27, 25 и вообще с лишком по 20 лет.

Шестую и последнюю степень женского царицына чина занимали *портомои* или, по Котошихину, – *мовницы*, иначе – прачки, «которые платье моют; жены дворовых людей. А когда прилучится им мыть платье, – говорит Котошихин, – и то платье зимою и летом возят на реку в санях, в сундуке, замкнув и запечатав, покрыв красным сукном; а за тем платьем идет боярыня для береженья». Число их в начале XVII столетия было невелико – всего 8 чел.; оно увеличивалось с нарождением царского семейства и в конце столетия доходило до 30 чел. В 1682 г. их было 24, в 1691 г. – 28 чел. Жалованья они получали по 3 руб. в год, кормовых – по 6 ден. на день. Хлеба, ржи – по 10 четей без полуосмины, овса – по 15 четей с осминою.

Общее число царицына женского чина, как мы видели, не было определено каким-либо штатным положением. Оно постоянно изменялось, смотря по действительной надобности в людях. Праздных и только штатных должностей не существовало. Очень немногие лица сохраняли свои места лишь в виде пенсии, и то в исключительных случаях. Так, мама царевны Софии княгиня Лобанова-Ростовская очень долго оставалась на своем месте и с получаемым окладом, который был даже увеличен до 100 руб. Но, быть может, она несла при этом какую-либо особую дворцовую обязанность. Она оставалась мамою и по удалении Софии в монастырь. Затем долго оставались на своих местах кормилицы государей.

Число женского чина младших степеней, начиная с казначей, как и число боярынь, в течении XVII столетия с приращением царского семейства постепенно увеличивалось. В 1620-х гг. это число составляло около 60 чел.; в 30-х гг. оно простиралось немного за 100; в 1630 г. было 102 чел., в 1634 г. – 106; в 1637 г. – 113; в 1640 г. – 120; через 10 лет, в 1650 г., было 149 чел.; в 1660 г. – 178; в 1673 г. – 233 чел.; в 1691 г. – 264.

В первое время все младшие степени чина, начиная с казначей, получали корм из Дворца, как и боярыни; но с 1 сен-

тября 1626 г. им были назначены кормовые деньги, от 6 до 2 ден. в день, смотря по чину и по старшинству в своем чине.

Женские лица неслужебного чина, число которых не было значительно и к которым принадлежали дурки-шутихи, юродивые, богомолицы, девочки-сиротинки, калмычки, арапки и т. п., пользовались готовым дворцовым содержанием, получая все надобное для одежды и для своего личного обихода из царицыной казны.

Мужской царицын чин можно распределить на приказный, крестовый, стольничий, походный, истопничий и мастерской.

Приказный чин управлял всем ведомством; он, собственно, и составлял *Постельный* (комнатный, кабинетный) *Приказ государыни царицы*, иначе *Приказ царицыной Мастерской палаты*, что имело тот же смысл. Приказ представляли собственно только два лица: царицын дворецкий, стоявший во главе ведомства, и дьяк. Царицыным дворецким бывал обыкновенно близкий человек по родству, по свойству или по старой испытанной службе. Так, у царицы Евдокии Стрешневых дворецким был ее дядя Федор Степанович Стрешнев, также Василий Иванович Стрешнев. У царицы Марьи Милославских – в первое время Прокопий Федорович Соковнин, потом Василий Михайлович Еропкин, а в последнее время – сын первого Федор Соковнин.У царицы Натальи Нарышкиных – Авраам Никитич Лопухин.

Должность царицына дворецкого по значению равнялась званию окольничего, поэтому и лица, занимавшие ее, постепенно из простых дворян возводились в думные дворяне, а напоследок в окольничие. Правою рукою дворецкого и главною силою всего Приказа был дьяк, на обязанности которого лежала вся письменная часть ведомства и все делопроизводство. Он вел приходные и расходные книги, денеж-

ные и материальные, и своею подписью утверждал расход; составлял описи и переписи всякой казны, чиновные и всякие другие списки и росписи подведомых лиц; производил и записывал сыскные и распросные дела и т. д.; словом сказать, это был главный секретарь царицы, производитель всякого ее *приказа* и всякого назначения и распоряжения. Его жалованье равнялось с жалованьем первых боярынь-мам. В конце XVII столетия, именно при царе Федоре, в чину находились два дьяка: один получал 80 руб., другой – 70.

Канцелярия дьяка состояла из двух или трех, а впоследствии – и из пяти подьячих, из которых старшие получали жалованья по 25 руб., а младшие – по 20, следовательно, столько же, сколько и верховные боярыни.

Так как дьяк представлял главный узел всяких дел Приказа, то Котошихин при обозначении, кем приказ управляется, вовсе и не поминает дворецкого, а говорит только, что в том приказе *сидит* дьяк, а надсматривает казначея-боярыня. Это указание до́лжно понимать в том смысле, что, действительно, боярыня-казначея как правая рука царицы и главный орган ее ежедневных приказаний являлась по необходимости и главною управительницею приказа во всем том, что касалось, так сказать, материальной и технической стороны ведомства, которое все-таки было Мастерскою палатою, т. е. учреждением для устройства всяких домашних, комнатных, постельных царицыных обиходов, причем дворецкий, конечно, не мог участвовать своею службою. В том приказе ведомо, говорит Котошихин, царицыно, и царевичей, и царевен платье и мастеровые люди – вот именно эта сторона дела и находилась в надзоре боярыни-казначеи. В ведении дворецкого оставалась, так сказать, внешняя, наружная сторона дела, т. е. все распоряжения, касавшиеся служебных лиц, разбирательство их споров, суд над ними и т. д., и потом всякое царицыно дело, производимое или устраиваемое вне хором царицы, а также и всякие сношения с другими ведомствами.

В Приказе, кроме того, были ведомы Хамовные слободы и села, в Москве – Кадашево, в Твери – Константиновская, переведенная потом в Москву же, и в Ярославской стороне – села Брейтово и Черкасово, которые выделывали на царский обиход полотна и всякую *белую казну*. Все эти люди, как и все царицыны чины, судом и расправою в истцовых исках были ведомы исключительно в приказе Мастерской царицыной палаты.

К крестовому царицыну чину мы относим крестовых дьяков, служба которых нам уже отчасти известна[1]: они служили у *крестов* во время обычных повседневных молений царской семьи, читали и пели, псалтырь говорили, конархали. Один из них, начальный, именовался *уставщиком*. Это, по всему вероятию, был знаток церковного устава и в то же время регент; он управлял порядком чтения и пения. Число крестовых дьяков в разное время было неодинаково. У царицы Евдокии Стрешневых их было всего 4 чел.; у Марьи Милославских в 1654 г. – 6 чел. и у царевен – 5 чел. При царице Наталье Кирилловне было 2 уставщика и 26 чел. крестовых. В 1682 г. царицыных дьяков было 8 чел. и с *уставщиком*, да кроме того, у больших царевен – 8, у меньших царевен – 9, у царевича Ивана Алексеевича – 10 чел. Жалованье они получали разное, вероятно, по заслугам, по познанию и по способностям. Уставщик получал 25 руб.; царицыны старшие – по 10 руб., средние – по 7 руб., младшие – по 5 руб.; у царевен больших старшие – 25 и 20 руб., средние – 12 и 13 руб., младшие – 9 и 10 руб.; у царевен меньших старшие – 25 и 20 руб., средние – от 11 до 16 руб., младшие – 10 и 7 руб.; у царевича – от 16 и до 4 руб. Сверх того, все они получали *кормовые* деньги, главные – по 6 руб., первой статьи – по 4 руб., второй статьи – по 3 руб.; также *славленые* или праздничные рождественские первой статьи по 2 руб., второй – по 1 руб. и *причастные*, на два поста – на Великий и Успенский: уставщик по 4 руб.,

[1] См.: Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. – С. 300.

остальные – по 2 руб. В 1650-х гг. за причастное сукно, на кафтан, уставщик получал по 6 руб., остальные – по 3 руб. и, кроме того, за годовые сукна – по 5 руб. каждый.

В стольничьем чину состояли царицыны стольники, которые по своей должности, по летам и по положению были отчасти то же, что пажи. «В стольники к царице, – по словам Котошихина, – берут боярских и окольничих и ближних людей детей, лет по 10 ростом (возрастом); а как они будут лет 15 или 17 и они в том чину не бывают, а бывают в царский чин взяты, в стольники или (особенно близкие) в спальники. А бывает их в стольниках человек 20». Прямая должность их обозначена самим их званием. Они стольничали за столом царицы и, кроме того, сопровождали ее в выездах и походах. Как детям им не было определено окладного жалованья, но зато их должность проводила их на лучшую дорогу на действительной службе в государевом чину. Хотя Котошихин и говорит, что это были дети бояр и вообще первостепенного сословия в государстве, однако, судя по фамилиям, из которых избирались царицыны стольники, мы должны заметить, что все эти фамилии вовсе не принадлежали людям знатным. Это были вообще дворяне рядовые, мелкопоместные, нисколько не знатные и вступавшие во дворец лишь по дворцовым же связям, особенно по свойству и родству с царицею или с приближенными к ней людьми. Так, например, у царицы Евдокии Стрешневых в стольниках находим Семена Лукьяновича Стрешнева, Алексея Никитича Годунова, Ивана Федоровича Стрешнева Большого, Ивана Федоровича Стрешнева Меньшого, Василия Васильевича Бутурлина, сына Василия Матвеевича; Ивана Львовича Волкова, Якова Стрешнева, Афанасья Стрешнева, Якова Ивановича Безобразова, князя Федора Ромодановского, сына Григория Петровича. У царицы Натальи Кирилловны стольниками были тоже все родственники, Нарышкины: Лев, Мартемьян, Федор Кирилловы, Кирила Алексеев,

Василий, Андрей, Семен Федоровы и пр. У царицы Марьи Ильичны Милославских находим в стольниках в первое время Милославского Матвея Богдановича, Голохвастовых Кузьму и Ивана, Ртищева Федора Михайловича, Соковнина Алексея Прокопьевича, сына ее дворецкого Прокопья Федоровича, Еропкина Федора, Траханиотова Александра Ивановича; потом Ртищева Луку Григорьевича, Колычова Алексея Яковлевича, Потемкиных Степана Петровича и Федора Ивановича, Чичериных Петра, Андрея и Артемья Яковлевых, Ржевского Алексея Ивановича, Хитрово Петра Савельевича, Мартюхина Ивана Артемьевича, Еропкина Ивана Ивановича, князя Елецкого, Луговского, Нарбековых, Блохина, Вельяминова, Сомова, Орлова, Прончищевых, Панина, Соколова, Жданова, Кологривовых, Лукина, Протасьева, Зиновьева, Собакиных, князя Львова, Кузмина, Головина, Полтева, Свиньина, Дашкова, Кутумова, князя Вяземского Федора Яковлевича, князя Волконского Ивана Васильевича, князя Мещерского Петра Федоровича, Мусина-Пушкина Ивана Алексеевича, Бутурлина Ивана Ивановича, князя Козловского Федора Григорьевича, Змеева, князя Долгорукова Владимира Дмитриевича.

Все это дети людей не совсем знатных и известных в то время. Напротив, здесь видим довольно фамилий, которые принадлежали дворовым боярыням, каковы Мещерские, Волконские, Нарбековы, Собакины, Вельяминовы, Мартюхины, Колычовы, Хитрово, Еропкины, Сомовы, Орловы, Блохины, Кологривовы и т. д., так что состав этих стольников, видимо, наполнялся родством и свойством дворовых царицыных чинов. Затем еще у царицы Марьи, т. е. в то время, когда писал о дворе Котошихин, указавший, что стольников бывало человек 20, мы находим их гораздо больше. К концу XVII в. число их быстро возрастает, особенно с того времени, когда в государском дворе явилось несколько цариц, собиравших каждая около себя свой особый *чин*, и особенно,

быть может, по той причине, когда молодой царь Петр стал забирать своих сверстников дворян к себе на службу в свое потешное войско. Тогда все те, кто не желал, чтобы дети их потешничали и, стало быть, по понятиям века, безобразничали в Преображенском, все вообще лежебоки и белые руки старались уйти в стольники к царицам, где служба была женская и легкая. В 1686 г. у одной царицы Прасковьи Федоровны – супруги царя Ивана Алексеевича – ее стольников числилось уже 263 чел., из которых в то время по требованию в Москву явились только 62 чел., а 201 чел. оказались в нетях, жили по деревням. В 1696 г. от царицы Евдокии Лопухиных присланы были в Разряд на смотр для службы 76 чел. и после смотра за малолетством были оставлены в царицыном чину по-прежнему.

Царицыны стольники, не получая никаких окладов, жалованы были только платьем, которое получали или готовым, или кусками тканей и деньгами на приклад. В 1653–1654 гг. они получали на холодное платье всего по оценке и с деньгами рублей на 17 с лишком.

К походному чину относим царицыных детей боярских. Служба их, по словам Котошихина, была такова: посылают их боярыни во всякие посылки, и ездят с царицею в поход, и спят у царицы в Верху для сторожи и оберегания в низких местах посуточно по переменам. Главнейшая надобность в них представлялась именно во время царицыных походов, когда они оберегали поезд на пути и оберегали царицын двор на станах. Штатное число их полагалось, кажется, около 100 чел., но бывало больше и меньше. Все они кроме денежного годового жалованья получали и *поместный* оклад. Старший денежный оклад бывал в 14 и 15 руб.; к нему поместного оклада назначалось от 400 до 500 четвертей или от 200 до 250 десятин. Средний оклад был 10–13 руб. денег

и 300–350 четвертей поместья; младший оклад – 7–9 руб. и поместья 150–250 четвертей. Прибавка жалованья назначалась по заслугам, а большею частью – по годам службы. Во дворе у царицы они служили обыкновенно по очереди по три месяца в году, переменяясь, а остальное время жили в своих поместьях. Месяцы их дворовой службы назывались *жилыми* месяцами, потому что в то время они жили в Москве, или, собственно, при дворе.

В истопничем чину начальное место занимал *истопничий*, который имел наблюдение за чистотою и отоплением хором и за всем обиходом, какой только требовался для этой цели. Его ведомство сосредоточивалось в *Истопничей палате*[1], где собирались подчиненные ему *мовные* и *сенные истопники* и *сторожи* и где сохранялась всякая истопничья казна, разные материалы и вещи.

В царицыном чину истопничий получал жалованья 30 руб. и по порядку чинов следовал за дьяком. Мовные истопники топили и готовили мыльни у царицы и у царевен и получали жалованья по 9 руб. Мовные сторожи работали у тех мылен за чистотою и сторожили; жалованья получали по 5 руб. В 1682 г. истопников было 2, а сторожей – 4. Сенные истопники, которые палаты и хоромы топят и метут и у дверей для отворения стоят, люди честные и пожалованные поместьями и вотчинами, а живут на Москве, т. е. в службе во дворце, по полугоду. Сенные сторожи стерегли и оберегали на сенях, крыльцах, лестницах и на дворах. Первые получали жалованья по 7 руб., а вторые – по 3 руб. В 1682 г. истопников было у царицы 14 чел., у больших царевен – 8 чел., у меньших – 17 чел.; сторожей у царицы – 39 чел., у больших царевен – 8 чел., у меньших царевен – 16 чел. Сторожи для своих занятий распределялись по разным местам и палатам: так, в 1646 г. в Мастерской палате их было 4 чел., у мастериц в светлице – 3 чел., в портомойне – 4 чел., в Казенной палате – 2 чел. и т. д., и

[1] См.: Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. – С. 113.

также особо у хором царицы, каждого царевича и каждой царевны, если те хоромы были строены в отдельности.

Мастерской чин состоял при царицыной Мастерской палате из разных мастеровых людей по изготовлению платья и разных других предметов постельного обихода. Это были портные мастера, между которыми старшее место занимали *закройщики*. Закройщиков бывало человека два, которые получали жалованья по 10 руб., кормовых – по 5 ден. на день. Рядовых портных бывало около 10 чел.; затем чеботники, человек шесть; шапочник, каптурник, шляпочник, кружевник, белильщик, игольщик, которые получали по 7 руб. жалованья и по 3 ден. кормовых.

В рукодельном чину, кроме мастериц, при светлице состояли: *знаменщики* – 2 чел., которые знаменили, т. е. рисовали потребные для шитья рисунки икон, всяких изображений и всякие узоры, и *светличный писец*, составлявший рисунки надписей, тоже для вышиванья. Они получали жалованья по 15 руб., кормовых по 6 ден. При той же светлице для пялечных и разных других подобных дел находился светличный *плотник*, собственно столяр, получавший 2 руб. жалованья и по 6 ден. на день кормовых.

Как старшие, так и младшие дворовые царицыны чины пополнялись всегда лицами, состоявшими в близком или дальнем родстве с теми, которые уже находились на службе. Родство с тем или другим чином всегда давало прямое право просить об определении в этот чин. В этом дворовый порядок находил наиболее верное ручательство при выборе служебных лиц, ибо род личности в то время всегда представлял естественную круговую поруку за своего родича, и если такая круговая порука состояла уже на службе, то тем легче и тем прямее была дорога для поступления на эту службу нового родича. В челобитных прямо и выставлялось это обстоятельство как основание просьбы. «Родители, государь, мои, – пишет один боярский сын, прося царя Алексея об определении в царицын чин, – *дядья* и *братья* у тебя, го-

сударя, во дворе, в царицыных детях боярских, в сытниках и в подклюшниках, а *матья* у тебя же, государя, во дворе, у государыни царевны Анны Михайловны в постельницах. Милосердый государь! Пожалуй меня, холопа своего, вели мне быть у государыни царицы в детех боярских».

Младший мужской чин – сенные истопники и сторожи, портные и другие мастера – в первое время избирался из добрых людей, вероятно, тоже по свойству и родству с дворовыми чинами. Но, конечно, при таком порядке ручательство и одобрение родственников и свойственников за доброе поведение избираемого не всегда оправдывало их выбор и нередко во дворце являлись большие безобразники, которых трудно было унять, остановить. В руках дворцовой власти не было никакого твердого обеспечения, что избранный во все время своей службы будет вести себя пристойно и благонравно во всех отношениях, поэтому и здесь впоследствии явилась необходимою единственная старинная мера охраны от всяких случайностей служебного зла и беспорядка, именно круговая порука. Это произошло по следующему обстоятельству. В 1660 г. генваря 7 «великая государыня царица и великая княгиня Мария Ильична указала истопников Пронку Пототуя да Микитку Шайкина за их многое бесчинство и пьянство отставить и учинить жестокое наказанье, бить кнутом. И того ж числа им чинено наказанье: вместо кнута биты батоги нещадно. Приказ о том из хором казначеи Матрены Блохиной. А на их место указала великая государыня взять вновь иных истопников с записьми и с крепкими поруками. А впредь указала государыня имать в истопники и в сторожи вновь с поручными крепкими с записьми, а без поручных записей отнюдь не имать».

После того при определении в такие должности всегда уже приносилась и поручная крепкая запись от людей, вполне ручавшихся за избранного, в которой они писали: «Поручилися есми в том, что такому-то быть по государеву указу в такой то должности, служить верно и государево

здоровье *опасать* и все памятовать, что ему чтено в крестопроводных статьях; у государева дела не пить, не бражничать, никаким воровством не воровать и с воровскими с *приличными* людьми не водиться, вином и табаком не торговать, карты и зернью не играть; и государского самому ничего не красть и для *покражея* к казне воровских людей не подвесть и дурна никакого и хитрости над государевою казною не чинить; всего государского беречь с великим раденьем и с опасеньем и подвоху над казною никакого не учинить; и что видячи над своею братьею какое дурно и о том начальным людям извещать, и с своею братиею дневать и ночевать по очереди; и без указу никуды не съехать и взем жалованье, не заслужа, не снесть и не сбежать и от чину, не бив челом государыне, собою не отстать; а буде определяемый что сделает противное этим статьям, то, писали поручики, на нас, поручиках, пеня, а пени, что государь укажет, взять на том, кто нас поручников будет в лицах, – наши поручиковы головы вместо его головы».

Вообще дворцовое бесчинство и особенно воровство наказывалось во всяком случае довольно строго. Однажды в мае 1688 г. портной мастер царицына чина Михайло Сергеев отрезал у двух царицыных подножий (род ковров) несколько соболей. Украденное он продал на Красной площади и денег взял всего две гривны. Дворцовая подозрительность проснулась; поднялся розыск, допытывались, с какою целью были отрезаны соболи, не мыслил ли вор какого зла на государское здоровье. Это нужно было знать тем более, что подножья принадлежали царице Наталье Нарышкиных, а тогда с этой стороны всего опасались от другого царского рода – Милославских. Розыск, однако ж, кроме простого воровства, ничего не открыл. За воровство портному была следующая сказка: «Мишка Сергеев! Будучи ты в Мастерской палате в портных мастерах, своровал государского достояния, от дву подножий соболи обрезал, и в том в твоем воровстве винился, и за то твое воровство великая государыня благовер-

ная царица и великая княгиня Наталия Кирилловна указала бить кнутом и от чину отставить и впредь у государских дел нигде не быть». Вследствие этого указа июня 19 он бит кнутом перед дворцом «за Куретными вороты, дано 30 ударов».

Обыкновенный способ исправления нравственности дворовых служителей и других меньших чинов состоял в том, что их отправляли, особенно за пьянство, *под начал* в монастырь, по большой части в Москве в Покровский, что на Убогих Домах, или в один из отдаленных северных. Так, в марте 1666 г. царицыны крестовые дьяки Михайла да Мартин Протопоповы были сосланы под начал: первый – в Убогий Дом, а другой – на Вологду в Каменный монастырь с наказом держать под крепким началом к церковному пению приходить и всякую работу работать. Эти крестовые могли быть сосланы и за раскольничьи мнения.

Такому же подначальному монастырскому исправлению подвергались в своих проступках и лица женского чина. Их ссылали под начал обыкновенно в Хотьковский монастырь, а иногда и в более отдаленные монастыри: в Успенский во Владимире, в Суздальский Покровский. В 1658 г. августа 4 сослана в Хотьковский монастырь комнатная Евгения Шишкина, возвращенная оттуда на другой год в мае. В 1694 г. июня 17 сослана в Володимир одна постельница при следующей грамоте: «В Володимер в Успенский девичь монастырь игуменье Феодосии с сестрами. Послана к вам от нас (государей) из комнаты царевны Марии Алексеевны под начал постельница Ирина Протопопова за ее бесчинство и пьянство; и вам бы ее дать под начал в келью старице княжне Максимилле Шеховской под крепкой начал и велеть ей ходить к церкви ко всякому пению и в келье поклоны класть, как чин монастырской надлежит; и после церковного пения быть у монастырской всякой работы; и с монастыря ее не спускать и хмельнова ничево не давать; а буде она в чем не послушна будет, и ее смирять, как чин монастырской надлежит».

Монастыри, таким образом, в старом нашем быту имели для правительства весьма важное значение как места исправления всяких худых нравов, худых мыслей, всякого самомнения и даже в случаях, когда кто-либо совсем лишался ума. В 1673 г. июля 6 царю Алексею била челом некая вдова Анютка Фомина: «Сынишка, государь, мой, Ивашка Степанов, будучи при твоей царской милости великия государыни царицы и великой княгини Натальи Кирилловны в Мастерской палате в портных мастерах, и в нынешнем, государь, во 181 г. после Светлого Христова Воскресенья за грехи мои залежал, и в скорби своей по грехом во уме порушился, меня не слушает и в домишку всякое неистовство чинит и пужаетца и бегает; а я, бедная, с невесткою своею, а с его женою – людишка одинакие, приберечь его и смирить некому, и не слушает. Милосердый государь! Пожалуй меня, бедную беспомощную рабу свою, вели, государь, его, сынишка моего Ивашка, сослать под начал в монастырь ко Всемилостивому Спасу на Новое, по коих мест Господь Бог во уме его утвердит, чтоб мне, бедной, от сынишка своего в позоре не быть и ему б, сынишку моему, впредь твоей царской милости не отбыть. Царь государь, смилуйся, пожалуй!». Государь указал сослать его в монастырь Покрова Богородицы, что на Убогих Дому, с наказом: «Велеть держать его под крепким началом и отдать его старцу воздержательному, и велеть ему ходить к вечерни и к заутрени и к литоргеи по вся дни, а вина б, и пива, и меду к нему никто не приносил».

Царицын младший женский и мужской чин, именно постельницы, мастерицы, портомои, мастеровые люди, дети боярские и пр., был поселен особою слободою, которая была расположена подле Никитского девичьего монастыря между улицами Никитскою и Смоленскою, ныне Воздвиженкою, и называлась *Кисловкою*. Это название и теперь сохраняется в тамошних переулках. От жившего здесь царицына чина самая улица Никитская именовалась

иногда Царицыною. По всему вероятию, заселение Кисловки дворовыми людьми царицы относится еще ко временам великих князей, т. е., по крайней мере, к концу XV в., когда Кремль был перестроен и слободы по Неглинной переставлены на новые места. Слободская земля была государева и раздавалась под дворы, смотря по надобности в известном размере. С течением времени с умножением населения и с переходом дворов от одного владельца к другому дворовая мера в иных случаях дробилась, отрезывалась на части, а иногда прирезывалась, получала больший размер против настоящего, что всегда между жителями возбуждало споры и ссоры. Каждый, особенно из вновь приходящих, требовал для себя законной меры, жаловался на соседа в неправильном владении даже одною саженью. По тесноте помещения, конечно, и одна сажень была дорога, а тем более если и от этой малой меры зависело удобство или неудобство в расположении разных хозяйственных построек. К тому же многие из царицына чина жили в разных местах по Москве и просили поместить их также в Кисловке, т. к. она была ближе ко дворцу, да и место было казенное, следовательно, для служащих по праву даровое. Для удовлетворения таких челобитий, для прекращения жалоб и приведения в порядок этого дела в ноябре 1689 г. было указано учинить в Кисловке все дворы поровну, т. е. длинные улицы или переулки разделить на равные части и отмерять для каждого двора поперек по воротам или 7, или 8 саж., соображаясь с длиною улицы или переулка, а на полдвора половину той и другой меры, т. е. 3 $^{1}/_{2}$ и 4 саж. В это время в Кисловке была одна улица и пять переулков, в том числе Тупой, Ивановский, Кузмодемьянский. Дворов было 115, мерою по наличной стороне на 744 саж. По новому размеру учинен 181 двор по 4 саж. и 208 дворов по 3 $^{1}/_{2}$ саж., причем еще осталось в разных концах мелкою мерою 40 $^{1}/_{2}$ саж. Таким образом, число дворов было увеличено с целью поместить всех желавших и имевших право здесь жить. Видимо, что время

от времени, смотря по приливу населения, узаконенная мера дворов изменялась. Так, в 1692 г. эта мера была только в 6 саж. на целый двор и длиннику внутрь двора 10 саж. Длинник всегда зависел от ширины квартала или сплошных дворов между двумя улицами, который и делился пополам, так что в иных местах он бывал и по 8 саж. Лишняя мера, которою по какому-либо случаю кто завладел, всегда могла быть отрезана, как скоро являлся челобитчик. По случаю отставки или смерти и вообще по случаю выбытия из чина владелец двора свозил обыкновенно свои хоромы или продавал их заступавшему его место. В иных случаях дворовые места отдавались жильцам из оброку; платили с поперечника по 3 алт. 2 ден. с сажени.

Во внутреннем, так сказать, домашнем устройстве слобода Кисловка отличалась от других московских слобод тем, что в ней не было ни старосты, ни сотского, ни десятских, т. е. она вовсе не имела самостоятельного земского значения, а имела значение дворовое как совокупность людских дворовых изб. Полное заведывание местом и жителями принадлежало Приказу царицыной Мастерской палаты, откуда для ближайшего надзора и управления, главным образом в полицейских делах, назначался в слободу и особый *приказчик* из боярских детей царицына чина. Иногда эта должность поручалась двоим. Приказчикам выдавалась *наказная память*, наказ, что, «будучи им в Кисловке в приказчиках над детьми боярскими и над всяких чинов людьми, которые живут там своими дворами, надсматривать, чтоб они вином и табаком не торговали, и корчмы и никакого воровства не чинили, и приезжих и пришлых всяких чинов людей несродичей к себе во дворы никого не принимали, и из дворов своих на улицу всякого помету не метали; а ослушников и винопродавцев, имая с вином, и питухов и корчемников и воровских людей приводили бы в Приказ царицыной Мастерской палаты, к дворецкому и к дьякам. А буде их оплошкою и нерадением что объявится, и учинится великому государю

ведомо мимо их и им приказчикам за то быти в опале и в жестоком наказаньи безо всякия пощады». Такой наказ дан был в 1670 г. апреля 27. Для береженья от воровских людей в слободе на четырех улицах было устроено в 1632 г. четыре *решетки*, а пятая улица с переулком загорожены наглухо, для чего было куплено 201 бревно разной меры, длиною от 2 $^{1}/_{2}$ до 4 саж. На каждую решетку выходило около 40 таких бревен. Это были крепкие заборы, которыми слобода на выездах отгораживалась от чужих улиц. В средине для проезда устраивалась брусяная решетка, которая днем поднималась, а на ночь опускалась, задвигалась железным засовом и запиралась замком. У каждой решетки была поставлена сторожевая изба, где постоянно жил *решеточный сторож*, наблюдавший вообще за слободским уличным порядком своего участка. Решетки по своему местоположению получали и особые названия: была решетка *здвиженская*, выходившая к Воздвиженскому монастырю на Смоленскую, ныне Воздвиженскую улицу, *никитская*, стоявшая подле Никитского монастыря, *ивановская* – у церкви Иоанна Милостивого.

Чтобы ознакомиться с людьми, с их жизнью и нравами, воспользуемся несколькими сыскными делами и челобитными, в которых являются не в воображаемом, а в действительном свете и слова, т. е. мысли, и дела, или поступки древних людей. Это самые достоверные свидетели старого житья-бытья, дающие всегда такие показания, которые трудно и совсем невозможно передать в образе какого-либо научного счета, итога или вывода, но которые, однако, скорее и прямее научных вычислений вводят читателя в исчезнувший мир старинных понятий, убеждений, представлений и действий, т. е. именно в тот мир, который исключительно именуется жизнью. Здесь мы приводим несколько таких документов, обрисовывающих отчасти дворцовый *Верх*, а по преимуществу – дворцовый *Низ*, т. е. младшую среду дворцовой службы и ее житейских отношений. Вот дело о *мышьяке*, принесенном неумышленно в Светлицу.

«1630 г. генваря в 13 день государыни царицы и великой княгини Евдокии Лукьяновны словом приказала крайчая княгиня Соломанида Мезецкая, а велела дьяку Сурьянину Тороканову итить в Светлицу и роспросити золотную мастерицу Онтониду Григорьеву, жену Чашникова, какое она государево дело ведает на мать свою на золотную ж мастерицу на Окулину Волкову, и она б про то сказала в правду, по государеву крестному целованью; а что она, Онтонида, в роспросе скажет и те речи записав, приказала государыни царица сказати себе, государыне.

И того ж часу по приказу государыни дьяк Сурьянин Тороканов золотной мастерицы Онтониды Чашниковы роспрашивал. Мастерица в роспросе сказала: в нынешнем во 138 (1629) г. декабря в 21 день ввечеру пошла из Светлицы к себе на подворье сестра ее родная Марья Ярышкина и выроняла в Светлице плат чорной, и она тот плат подняла, а в нем завязано в узлу с зерновую кость неведомо что: с одной стороны бело, а с другой черно; и она-де тот плат положила у себя для того, как сестра ее спросит. И на завтрее декабря в 22 день пришла в Светлицу сестра ее, та ж Марья, и учала говорить, что она вечор выронила плат с деньгами; и она-де ей сказала, что тот ее плат подняла она, Онтонида, а тот-де плат без денег, а в нем заверчено в узлу неведомо что; и учала... перед подругами своими, и она-де, Марья, тот плат у ней вырвала совсем и, побежав на лестницу, бросила детине своему Онашке, а Онашка, взяв тот плат, пошел с дворца; и она, Онтонида, учела ей говорити, для чего плат вырывать, а в нем было завязано неведо что? И та сестра ее, Марья, перед подругами своими говорила ей, что в том плату был завязан мышьяк, а после сказала, что была сулема; а подруги ее в те поры были в Светлице Ектерина Ходина, да девки Полагея Волкова, да Степанида Хлебникова; и Катерина учела ей, Марье, говорить, что она делает не гораздо, носит с собою в Верх мышьяк. И та-де сестра ее сказала, что тот мышьяк приготовлен был у ней на сверчков. И на

завтрее-де того, декабря в 23 день, била челом на нее, Онтониду, в Светлице боярыне княгине Овдотье Каркадинове Окулина Волкова, что она, Онтонида, тем сестру свою, а ее дочь Марью клеплет напрасно. В тот же день боярыня княгиня Овдотья Каркадинова сказывала про то государыне. И царица, и великая княгиня Евдокия Лукьяновна присылала про то сыскивать в Светлицу Василья Ивановича Стрешнева. Василий Иванович для того плата посылал к матери ее, к Окулине Волкове, нарочно. И мать ее, Окулина, принесла тот плат в Светлицу. Василий Иванович Стрешнев, смотря тот плат, казал ей, Онтониде. И она, Онтонида, в том плату смотря, сказала, что в нем завязано в узлу не то, что наперед того было; прежде того было в нем завязано с зерновую кость с одной стороны бело, а с другой черно; а после в том же плату заверчена соколья соль; а та сестра ее Марья, на кого она ныне извещает, перед подругами своими сказывала, что были в том плату завязаны деньги; а после она ж сказала, что был завязан мышьяк; а в-третьи сказала, что была сулема: а как ей тот плат показали, и в том-де плату завязана соколья соль, а не мышьяк и не сулема. И она-де, Онтонида, об том била челом Василью Ивановичу именно, что в плату подменено, а заверчено не то, что было наперед того завязано. И Василий Иванович, взяв тот плат, запечатал и отнес его к государыне в монастырь. И после того мать ее, Окулина, на нее, Онтониду, бранилась и хотела ее в Светлице за сестру ее, Марью, а за свою дочь, ушибити брусом.

Окулина, выслушав дочернины речи, запиралась, сказала, что она сестру свою Марью тем клеплет напрасно, такого плата дочь ее у ней из рук не вырывала, а дала ей тот плат она, Окулина, а была в нем заверчена соколья соль, а не мышьяк и не иное что, и та-де сестра ее Марья, взяв у ней тот плат, отдала племяннице своей Полагее Волкове, и Полагея, взяв у ней плат, отдала детине ее Онашке, а детина, взяв плат, отнес к себе. Полагея Волкова, ставлена с очей на очи, сказала, что тот плат, вынесши

из Светлицы, дала ей у дверей Марья Ярышкина, и она, взяв у ней плат, кинула из сенного окошка детине Онашке. И золотная мастерица Онтонида била челом, а сказала, что та Полагея Волкова, матери ее родная племянница, и она по тетке своей кроет, и про то б допросити другую мастерицу, которая в те поры тут же в Светлице была, девку Степаниду Хлебникову; она то ведает, как сестра ее Марья тот плат у ней вырвала, а не сама ей дала.

Девка Степанида спрашивана, сказала по государеву крестному целованью: декабря в 22 день бранилась сестра ее Марья в Светлице с нею, с Онтонидою, и Онтонида ей говорила: для чего она у ней вырывает плат, а в нем заверчен мышьяк; и она ее за то бранила, а как у ней, Окулины, сестра ее Марья тот плат из рук вырвала, и она того не видала, потому что шила государское дело.

И мастерица Онтонида била челом, и на мать свою и на сестру говорила в пример, что мать ее Окулина ее, Онтониду, не любит и по сестре ее, а по своей дочери, кроет; все-де то подлинно в те поры видела и слышала золотная мастерица Катерина Ходина.

Катерина Ходина спрашивана, сказала по государеву крестному целованью: с Окулиною-де она Волковою в побранке, а на чем государю целовала крест и она скажет вправду, хотя после вели государь про то сыскать мимо ее: декабря в 22 день пришла в Светлицу Окулинина дочь Марья Ярышкина и учала говорити сестре своей Онтониде Чашникове, что она вечор декабря в 21 день в Светлице выронила плат с деньгами; и Онтонида учала ей говорити, что она подняла плат ее без денег, а в нем завязано неведомо что; и та сестра ее Марья сказала, что в том плату завязан мышьяк. И она, Катерина, учела ей говорити, что она то делает негораздо, носит с собою в Верх мышьяк. И Марья сказала, что в том плату завязана сулема, а она тое сулему приготовила на сверчки. И после того Марья вырвала тот плат у сестры своей, у Онтониды, из рук и понесла из Светлицы

вон, а Онтонида почала с нею за то браниться, что она плат у ней вырвала: а в том-де плату завязано было, походило на зерновую кость, а не мышьяк и не сулема. А мать ее Окулина то видела ж и ныне по дочери своей кроет; а племянница Полагея Волкова не скажет подлинно для того, что Окулина Волкова ей тетка родная.

Окулина Волкова против тех речей во всем запиралась. Спустя с лишком три месяца, апреля 30, государь приказал дьяку Сурьянину про то дело сыскати накрепко, детину Онашку, поставя перед собою с золотными мастерицы с очей на очи, расспросить: да будет детина против известных речей в чем учнет запираться и государь велел про то дело его пытати; а кто что в роспросе и с пытки скажет, и государь про то дело велел сказать себе, государю.

Мая 3 дьяк Сурьянин послал по золотных мастериц да по детину царицыных детей боярских, а велел им, взяв их по подворьям безвестно, держати всех порознь. Того ж часу дети боярские, взяв по подворьям золотных мастериц да детину, привели к дворцу. И дьяк Сурьянин детину спрашивал. Детина сказал: декабря в 22 день приходил он на дворец к боярыне своей к золотной мастерице к Марье Ярышкине, и Марья-де попросила у него плата, в чом завертеть рыба; и он дал ей плат свой, а в нем в узлу завязана была соколья соль, а тое-де он соль пущал жене своей в очи для того, что у ней очи больны. И на завтра-де того пришел он к той же своей боярыне на дворец, и ему тот плат, вынесши на крыльцо, кинула Окулинина племянница девка Пелагея Волкова; в том-де плату завязана была в узлу та ж соколья соль, а не кость, и не мышьяк, и не сулема; а у боярыни своей, у Марьи Ярышкиной, плата инакова он не имывал, кинула ему с крыльца плат девка Пелагея. Дьяк Сурьянин спросил детину, только ему тот плат и соколья соль показати и он узнает ли? Онашка сказал, что узнает, да бил челом, чтоб ему показать. Потом, смотря плату, сказал, что плат его, а узол, в чем завязана соколья соль, не тот: прежний

узол был поменьше. Дьяк Сурьянин, развязав узол, казал ему соколью соль. Детина, смотря соли, сказал, кабы-де преж того была завязана та соль; а после того учал мяться, а сказывал, что та, а иное не та; да смотря соли, постояв немного, сказал, что в плату подлинно завязана была та соколья соль, а не иное что. Дьяк Сурьянин, видя, что детина почал в речах своих мяться, велел его приставом вести к пытке; а золотных мастериц Окулину Волкову с дочерями для подлинного сыску к роспросу велел вести с ним же вместе. И, приведчи к пытке, распрашивал их порознь. Детина, стоя у пытки, сказал прежние свои речи, что плат его, и завязана была в нем та соколья соль, что ему казана, а не кость, и не мышьяк, и не сулема.

Дьяк для подлинного сыску казал золотной мастерице Онтониде Чашникове плат, в чем заверчена соколья соль, тот ли плат с костью она видела. Онтонида, смотря плат, сказала, что она его у сестры своей видела и его знает, только в нем завязан был узол меньше того, а в том узлу заверчена была кабы что кость, величиною с зерновую кость, или кабы мышьяк, а не соколья соль, то-де подменила сестра ее Марья. А сокольи соли до сех мест в плату отнюдь не было, а заверчена после. И детина против того говорил, что она сестру свою тем клеплет, опричь-де той сокольи соли в плату завязано кости и мышьяку и сулемы не бывало; а Онтонида на детину говорила в пример, что отнюдь той сокольи соли в плату заверчено не бывало, а подменили они ту соль, завязав в плату в узол после. Дьяк Сурьянин, доставя с Онтонидою с очей на очи мать ее Окулину, да сестру ее Марью, расспрашивал, и плат, и соколью соль им казал. Они, смотря плата, сказали, что плат детины их прямой; и в нем заверчена была в узлу прямая соколья соль, а не кость, и не мышьяк, и не сулема, и ныне в плату там соколья соль, а не иное что.

Дьяк постращал детину пыткою, но и у пытки детина говорил то же; между тем мастерица Онтонида говорила в пример, что сокольи соли в плату завязано в узлу отнюдь

не бывало, а было иное, да и то подменено после. Дьяк Сурьянин, видя меж их спор, велел детину пытати. Детина с первой пытки не сказывал ничего, а с другой пытки повинился и сказал: в том он перед государем виноват, велели ему в плату подменити после Тимофей Ярышкин да жена его Марья да теща его Акулина; а был в плату завязан мышьяк, а купил он тот мышьяк в Новегороде окармливать лисицы; и как привез к Москве, и тот мышьяк заверчен у него был в тот плат, и он, пришед во дворец, отдал плат и с узлом завертети рыба боярыне своей Марье Ярышкине; и Марья, взяв у него плат, пошла в Светлицу; и как у ней тот плат в Светлице осмотрели, и на завтрее кинула ему плат из Светлицы в окно племянница Окулины Полагея. И того ж дни ввечеру пришла с Верху боярыня его Марья Ярышкина и велела ему в том плату переменити, а завертети сокольюю соль, а которой в плату завязан был мышьяк, и она его из плата вывязала и кинула. И дьяк Сурьянин ставил с детиною у пытки Марью Ярышкину и мать ее Окулину, и они в том запирались, а сказали, что того ничего не бывало и подменивать они ему не веливали; тем он их клеплет, хотя от них отойти из холопства. А детина перед ними пытан, с пытки говорил прежние ж свои речи, что и наперед того сказывал. А Окулина с дочерью запирались, что подменивать ему мышьяка сокольею солью не веливали: а детина с них не сговорил. Дьяк Сурьянин после пытки отдал детину и золотных мастериц держати приставом по прежнему, а пыточные речи сказывал государю. Государь указал золотную мастерицу Онтониду Чашникову, которая в том деле на мать свою и на сестру извещала, освободить, а до своего указу в Верх ей ходить не велел. А матери ее и сестре с мужем велел сказать: только они вины свои, в чем на них говорил с пытки их человек, не принесут, и государь их велел в том пытати. Мастерицы, выслушав речи, повинились; а сказали: в том-де они перед государем и перед государынею виноваты, что преж сего вины своей к ним, государем,

не принесли, боясь от них, государей, опалы. Принес-де к ней, Марье, тот плат детина их завертети рыбу спроста; и в те поры в плату завязан был у него мышьяк; и она, Марья, плат взяв у него и не россмотря, в Светлице выронила, а подняла его сестра ее родная Онтонида Чашникова и, развязав узол, казала подругам своим. И в те поры то дело пошло в огласку, и она, Марья, плат вырвав у сестры своей, отдала девке Полагее; и та, взяв у ней плат, отдала детине; и Онашка плат принес к себе. И как у ней про тот плат с сестрою был шум и она, Марья, пришедчи к себе на подворье, смотрили того плату у детины, что в нем в узлу было завязано, и в плату завязан мышьяк; и она детине своему учала говорить, для чего он к ней принес плат с мышьяком и ныне про него в Верху учинился шум. И Онашка ей сказал, что принес к ней плат с мышьяком, не ведая, спроста; и она, вывязав из плата мышьяк, кинула и ему заказала, чтоб он впредь про тот мышьяк никому не сказывал, а взяла у него соколью соль, что он пущает жене своей в очи, да в то место завязала в плат ту соколью соль и ему приказала говорить, только учнут спрашивать, сказывал бы, что в плату была завязана соколья соль, а не мышьяк. А муж ее и мать ее то сведали после. И в том-де волен Бог, да государь и государыня, учинили они то дело, боясь, спроста, а лихого у них умышленья никакого не бывало. И дьяк Сурьянин речи их сказал государю.

И государь указал, а велел золотных мастериц да детину их вести к пытке, а, приведчи к пытке, роспросити их накрепко и стращати всякими пригрозами, таки ль они тот плат с мышьяком взяли у детины спроста, и неумышленьем ли тот мышьяк для какого злого дела в Верх взносили и преж сего в Верх мышьяку или сулемы не нашивали ль и т. д. Мастерицы у пытки сказали, что они виноваты в том, как велели мышьяк, исторопясь, сокольею солью заменить, а тот был у них мышьяк принесен в Верх спроста, а лихого у них никакого умышленья не бывало. А детина их сказал,

что мышьяк принес к ним в Верх спроста, не ведая, а на лихое дело того мышьяку к ним не принашивал, и сам он тем мышьяком и сулемою никакого дурна не делывал и людей не порчивал. И дьяк Сурьянин велел того детину стращать и поднять на пытку дважды, а пытать его не велел. И тот детина ни в чем не винился, а говорил прежние ж свои речи.

Мая 5 государь для именин дщери своей царевны Ирины Михайловны золотных мастериц Окулину Волкову да дочь ее Марью Ярышкину пожаловал, велел их из-за пристава свободить и велел им быти у своего государева дела в Светлице в мастерицах по-прежнему; а человека их Онашку из-за пристава до своего государева указу свобожать не велел. Он был освобожден июня 3».

Приворотный корень обратим

В 1635 г. 30 генваря одна из царицыных золотных мастериц, та же Антонида Чашникова, выронила нечаянно у мастериц в палате, т. е. в Светлице, где все они работали, платок, а в том плату «заверчен корень неведомо какой». Платок и с корнем подняли две белые мастерицы и тотчас же объявили, т. е. представили государыне. На другой день по государеву указу и по именному приказу царицы велено дьяку царицыной Мастерской палаты Сурьянину Тороканову об этом *сыскати накрепко*. Дьяк тотчас начал розыск распросом: где мастерица Чашникова тот корень взяла, или кто ей тот корень, и для чего дал, и почему она с ним ходит к государю и к государыне в Верх, т. е. во дворец? Чашникова отвечала, что тот корень не лихой, а носит она его с собою от сердечных болезни, что сердцем больна. Само собою разумеется, что такой ответ был недостаточен: царское слово *сыскати накрепко* требовало самого полного и строгого исследования. Дьяк стал спрашивать со всякою пригрозою: если она про тот корень, какой он словет, и где она его взяла, или кто ей дал, и для чего дал, подлинно не

скажет и государю в том вины своей не принесет, то государь велел ее в том пытати накрепко. «Мастерица повинилась и сказала, что в первом своем распросе не объявила про корень подлинно, блюдясь от государя и от государыни опалы; а теперь про тот корень скажет подлинно: ходит-де в царицыну слободу, в Кисловку к государевым мастерицам к Авдотье Ярышкине и к иным жонка, зовут ее Танькою; и она-де той жонке била челом, что до нее муж лих, и она ей дала тот корень, который она выронила в Светлице; а велела ей тот корень положить на зеркальное стекло, да в то зеркало смотреться, и до нее-де будет муж добр. А живет та жонка на Здвиженской улице. Дьяк тотчас велел жонку Таньку отыскать и привести пред себя.

Когда посланные за ней дети боярские поставили ее к допросу, она сказала, что завут ее Танькою, а мужа у ней зовут Гришка Плотник, а живут они на Знаменке на дворничестве, т. е. в дворниках у дворянина Головачова. Потом жонка Татьянка, как нужно было ожидать, во всем заперлась и ответила, что она отнюдь в царицыну слободу в Кисловку ни к кому не ходит и золотной мастерицы Антониды Чашниковой не знает и иных никаких мастериц не знает и к ним не ходит. Их поставили с очей на очи. Мастерица говорила, что она, Танька, в Кисловку к мастерицам ходит, что там у ней с нею и познать учинилась, что она била ей челом, что до нее муж лих, бьет и увечит, и она, Танька, дала ей корень, а велела положить его на зеркальное стекло, да в то зеркало смотреться, и до тебя-де будет муж добр.

Ворожея во всем запиралась, говорила, что мастерица тем ее клеплет, что она ее и не знает и коренья ей никакова не давала. Да об том у них меж себя было спору много. Дьяк, видя их спор, начал их спрашивать, разводя порознь, со всякою пригрозою. Но ворожея стояла на своем. Дьяк потом распрашивал ее наодине со многою пригрозою, объявил ей, что если не повинится, то будут ее пытати накрепко и огнем жечь. Пригроза пытки подействовала, и ворожея

призналась, однако, в том только, что действительно дала корень мастерице от лихого мужа, чтобы ее муж любил; но в Кисловку ни к кому не ходит и никого там не знает. То же она говорила и на очной ставке с мастерицею, всячески запираясь, несмотря на улики, что в царицыну слободу к мастерицам не ходит и с ними не знается. Тем и заключился предварительный допрос. Записав речи, дьяк отдал подсудимых держать приставам.

Чрез пять дней, февраля 5, государь, слушав это дело, велел ехать к пытке окольничему Василью Ивановичу Стрешневу да дьяку Сурьянину Тороканову и про то дело сыскивать и мастерицу, и жонку Таньку распрашивать накрепко. В первых своих речах Антонида сказала, что ей жонка Танька дала корень от сердечной болезни, а потом сказала, что для того, чтобы до нее муж был добр, следовательно, речи свои рознила, потому и должна открыть все подлинно. Если она у той жонки взяла корень для лихого мужа, то по своему воровству ей довелось тот корень держать у себя на подворье, а к государю во дворец его носити не пригоже. А коли она тот корень принесла в Верх, и она для чего принесла и по какому умышленью; и его, государя, и царицу, и их царских детей портить не хотела ль и кто иной ее с тем не засылал ли? Или она сама по какому умышленью тот корень в Верх принесла и для чего принесла? А жонку Таньку расспросить: сказывает она, что тот корень дала мастерице для того, чтоб до нее муж был добр, и она б сказала подлинно, какой тот корень словет, и где она его взяла, и сколь давно она тем промышляет, и кому иным или ей, Антониде, опричь того какие коренья давала ли, и в царицыну слободу в Кисловку ходит ли, и с мастерицами знается ли, и будет знается, и почему у них с ними познать; и государя с государынею, и их царских детей не порчивала ли, и иным кому портить не веливала ли, и коренья им не давала ли, и на то дело кто у ней сам или засылкою не пытался ли? Ввечеру окольничий

Стрешнев и дьяк Тороканов ездили к пытке и распрашивали их, разводя порознь, по статьям.

У пытки мастерица говорила свои прежние речи, прибавив, что корень во дворец принесла спроста, без всякого умыслу, и портить никого из государской семьи не хотела. Несмотря на то, ее велели попытать слегка, повторив тот же самый допрос с некоторыми незначительными дополнениями. Так ли она над государем, царицею и царскими детьми кореньем или иною какою порчею не порчивала ли, и засылки к ней о том от верхних боярынь или от постельниц или из иных чинов от каких людей не бывало ль? Только один ли корень она взяла у жонки, не брала ли чего и еще, и с иными коренщицами не знается ли? Но прежний ответ был получен и с пытки.

Более подробностей рассказала у пытки ворожея и коренщица Танька; вот ее слова: родом она города Орла, бывала стрелецкая жена, да после того овдовела и шла за бродящего человека за Гришку Плотника. Оба они живут на Москве на дворничестве у Меншова Головачова. В нынешнем в 1635 г. генваря 27 прислала та мастерица Антонида к ней малова своего, чтоб она у ней побывала, и как к ней пришла, и она ей говорила, чтоб она ей сделала, чтоб ее муж любил; и она-де дала ей корень, зовут его *обратим*, а велела ей тот корень положить на зеркальное стекло, да в то зеркало смотреться. В остальном во всем она заперлась и ничего не прибавила во время пытки и при уликах на очной ставке, даже тогда, когда ее стали жечь огнем[1]. Сказала только, что

[1] «Устроены, – говорит Котошихин, – для всяких воров пытки: сымут с вора рубашку и руки его назади завяжут, подле кисти, веревкою; обшита та веревка войлоком; и подымут его кверху: учинено место, что и виселица (дыба), а ноги его свяжут ремнем; и один человек палач вступит ему в ноги, на ремень своею ногою и тем его отягивает. И у того вора руки станут прямо против головы его, а из суставов выдут вон; и потом сзади палач начнет бити по спине кнутом изредка, в час боевой ударов бывает тридцать или сорок; и как ударит по которому месту по спине, и на спине станет так слово в слово будто большой ремень вырезан ножем мало не до костей...... И жгут огнем, свяжут руки и ноги и вложат меж рук и меж ног бревно, и подымут на огонь». – С. 91–92.

корень дала мастерице не с умышленья, по ее просьбе, и держала его у себя спроста. И государя, и государыню, и их царских детей кореньем и иным ничем не порчивала и портить не хачивала и засылки к ней об том от верхних боярынь, и от постельниц, и от мастериц, и из иных чинов ни от каких людей не бывало, и в царицыну она слободу к мастерицам и к иным ни к кому не ходит и с ними ся не знает». Тем и окончился этот розыск. О судьбе этих лиц в сыскном деле находим известие, что сосланы в Казань за опалу в ведовском деле царицын сын боярский Григорий Чашников с женою, да на Чаронду Гриша Плотник с женою с Танькою и велено им жити и кормиться на Чаронде, а к Москве их отпустить не велено, потому что та Гришина жена – ведомая ведунья и с пытки сама на себя в ведовстве говорила».

Колдовство на царицын след

1638 г. ноября 16 извещали государю «мастерицы Марья Сновидова да Степанида Арапка и рассказывали: как был государь в Троицком осеннем объезде[1] и без него, государя, приходила в Верх к мастерице Дарье Ламанове неведомо какая жонка, а видели то они, мастерицы, да два сторожа – светлишной да портомойной. Да она ж, Дарья, украдчи, остатки государевых деланых скатертей отдала тем сторожам неведомо для чего. Да как государь пришел из объезду и, приехав из того объезда, подруга ее – мастерица Авдотья Ярышкина шла в Верх по каменной лестнице и она, Дарья, говорила ей, что сыпала песок на след государыни царицы Евдокии Лукьяновны; и то слово слышала она, Авдотья, да светлишная писица Ненила Волонская, а от писицы слышала мастерица Анна Коробанова. Да как после того царица шла по переходам мимо Светлицы, и в те поры они, изветчицы, говорили ей, Дарье, про светличную

1 Государь с царицею в этот год ходили молиться к Троице, в Переяславль и в Александрову слободу с 4 по 30 октября.

пропажу государских скатертей, и она им сказала: “Только б-де мне царицу уходить, а иные-де мне дешевы”, – и слышали то слово золотные мастерицы. Да она ж, Дарья, как государь был в Троицком объезде, ездила за Москву-реку к серпуховитину Ивану Соймонову ночевать; а приезжала к нему покрыта государским полотном, в которых полотнах делают государским детям сорочки, и она то полотно, ездя, изодрала». Вот какие светличные события происходили на этот раз в отсутствие государя и царицы. Надо было *сыскать* подлинно и обо всем расспросить. Государь указал сделать розыск тому же окольничему Стрешневу и дьяку Сурьянину Тороканову.

«При первом распросе мастерица Дарья сказала, что приходила к ней в Верх золовка ее Матренка Бахирева и стояла с нею у нижней Светлицы, а потом она взяла ее к себе в верхнюю Светлицу, потчевала медом и отпустила домой: остатки скатертей отдала сторожам потому, что они ни к чему не пригодятся (три лоскута, по смете всего с пол-аршина); песку на след царицы не сыпала и слова говорила такие: “Только б государыня ее пожаловала, а иные ей не дороги” – и к Соймонову ночевать не езживала.

Мастерица Авдотья Ярышкина рассказала, как и из-за чего началось дело. Как государь с царицею пришли из Троицкого объезда, она, быв в Верху, пошла к себе; и как будет на крыльце против палатки, где стоят на карауле, тут стояла мастерица Марья Сновидова с сестрою Домною: и Домна приказывает мужу Марьину, чтоб он ее сестру, а свою жену поучил гораздо за то, что она покрала в Светлице коробью у мастерицы Анны Коробановой, а она тое свою сестру завтра в Светлице перед всеми мастерицами выучит, чтоб она вперед не дуровала. Тогда мастерица Марья, оправдываясь, начала говорить: то-де на нас поносит мастерица Дарья Ламанова и только-де она в том на нас посягает, ино-де и то будет наруже, как она на след государыни царицы сыпала песок. Услышав от нее то слово, Авдотья ударила ее, Марью,

плетным батогом в голову: не ври-де ты, жидовка! Как ты такое слово говоришь, от чего голове твоей пропасть! Потом назавтра, пришед в Верх, она, Авдотья, сказывала то слово своим подругам; да слышала то слово и писица Ненила.

Изветчицы Марья и Степанида показывали, что как царица шла с переходов мимо Светлицы и Дарья в то время говорила: "Лише б мне уходить царицу, а они ей не дороги". Еще сказывала ей подруга их, та ж Дарья: есть-де у ней такая баба, что всему тому пособит, да и звала к той бабе за Москву-реку. Судьи поставили мастериц на очную ставку. С очей на очи Дарья Ламанова во всем запиралась; о царице говорила по случаю пропажи, только б государыня в той пропаже ее пожаловала, а они-де ей все не дороги. Судьи объявили ей: если она вины своей не принесет и правды не скажет, то государь указал пытать ее накрепко и огнем жечь.

Постояв немного, она заплакала и учала виниться. В том слове, что будто на след государыни сыпала песок виновата; нечто будет то слово подругам своим она молвила со пьяна. Да и в том она виновата, что за Москву-реку к Ивану Соймонову, покрывся государским полотном, ночевать ездила, и как приехала потом к себе на подворье и муж стал ее спрашивать, куда она ездила и где ночевала? И она, боясь мужа своего побоев, сказала ему, что грешным-де обычаем прожгла она царевны Ирины Михайловны сорочку и ездила за Москву-реку прибирать к той сорочке новое полотно вместо прожженного, которым и была покрыта. Но о жонке, которая приходила к ней в Светлицу, она подтвердила только прежния свои речи. На другой же день государь, слушав сего дела, велел мастериц и сторожей пытать: как мастерица Дарья на след государыни сыпала песок, как она, Дарья, звала с собою за Москву-реку Степаниду Арапку к бабе, а говорила, надо бы-де государское сердце уходить, а иные-де ей подруги ее сошлися даром, и для ль государской порчи хотела идти к бабе или для иного какого дела, и кто с нею в том деле, и какие люди в думе были; и в Верх к ней, Дарье,

в Светлицу та ли баба, которая живет за Москвою-рекою, приходила, или какая иная и для чего приходила?

У пытки Дарья повинилась: в том она перед государем и перед государынею виновата, что к бабе, к ворожее подругу свою Степаниду Арапку за Москву-реку звала, а тое-де бабу зовут Настасьицею, живет за Москвою-рекою на всполье; а спознала ее с нею подруга ее, золотная ж мастерица Авдотья Ярышкина, для того, что она людей приворачивает, а у мужей к женам сердце и ревность отымает; а наговаривает на соль и на мыло; да тое соль дают мужьям в естве и в питье, а мылом умываются; да и над мужем-де она, Авдотья, своим то ж делала и у него к себе сердце и ум отняла: что она, Авдотья, ни делает, а он ей в том молчит. Да она ж, Авдотья, ворует с братьями своими, двумя Соймоновыми, и ею, Дарьею, братьям своим сводничает, тому ныне четвертый год. И била челом, чтоб поставить Авдотью с нею с очей на очи и расспросить, потому что она про то дело, что ей, Дарье, давала баба-колдунья, подлинно ведает. Да та ж баба давала, наговариваючи, золотной же мастерице Анне Тяпкине, чтоб муж ее, Алексей Коробанов, добр был до ее, Анниных, детей. Стали пытать Дарью накрепко. С пытки она говорила, что ездила к той бабе и пыталась для мужа, чтоб ее муж любил, желала только приворожить мужа и что колдунья в Светлицу к ней не приходила. Но когда велели пытать другую мастерицу, Марью Сновидову, утверждавшую противное, и как ее учили разболокать, мастерица Дарья стала просить, чтоб ее не портить, присовокупив, что как сыщут ту бабу, с которою она спозналась чрез Авдотью Ярышкину, тут все объявится, а она ту бабу укажет, и где живет – она двор знает. Судьи тотчас послали за колдуньей. Привели жонку-колдунью. В роспросе она сказалась, зовут ее Настасьицею, Иванова дочь, родом Черниговка, а муж у ней Литвин, зовут его Янкою Павлов. На очной ставке ее все признали за ту именно бабу, которая приходила во дворец. Сама Дарья Ламанова сказала, что у ней та жонка

в Светлице была и медом она ее потчевала. Но Настасьица во всем запиралась: мастериц она никого не знает и у них в Светлице не бывала. Судьи велели ее пытати накрепко и огнем жечь. И, послыша то, мастерица Дарья учала винится и плакать, а той жонке Настке говорить, чтоб повинилась: "Помнишь ты сама, – говорила она ей, – как мне про тебя сказала мастерица Авдотья Ярышкина; и я по ее сказке к тебе пришла и ворот черной своей рубашки, отодрав, к тебе принесла, да с тем же воротом принесла к тебе соль и мыло. И ты меня спросила, прямое ли имя Авдотья, и я сказала тебе, что прямое, и ты в те поры той моей рубашки ворот на ошостке у печи сожгла и на соль и на мыло наговорила, а как наговорила – и ты велела мне тот пепел сыпать на государской след, куда государь и государыня царица и их царские дети и ближние люди ходят и тебе-де в том от государя и от царицы кручины никакие не будет, а ближние люди учнут любити. А мылом велела ты мне умываться с мужем; а соль велела давати ему ж в питье и в естве, так-де у мужа моего сердце и ревность отойдет и до меня будет добр. Да и не одна я у тебя была, – продолжала Дарья; – приходили после того со мною ж к тебе Васильева жена Колоднича, Семенова жена Суровцова, и ты им, наговоря, соль и мыло давала. Авдотья Ярышкина приходила к тебе с братьями своими Соймоновыми, да у тебя и ночевали"».

Несмотря на улики, сопровождаемые пыткой, ворожея запиралась. Мастерица же говорила, что именно от нее получила пепел и сыпала на след государыни у Светлицы по крыльцу, где ходят на переходы, да у дверей проходной палаты, где ходят на те ж переходы; а сыпала она тот пепел на царицын след, как государь пришел из рубцовского объезду (в конце августа). Стали пытать колдунью в другой раз и огнем жечь. Она не выдержала и повинилась, что мастерицам Дарье Ламанове и ее подругам, которых знает, а иных и не знает, сжегши женских рубашек вороты и наговоря, соль и мыло давала и пепел велела сыпать на государской след, но

не для лихого дела, а для того, как тот пепел государь и государыня перейдет, а чье в те поры будет челобитье – и то дело сделается; да от того бывает государская милость и ближние люди к ним будут добры. А соль и мыло она велела мастерицам давать мужьям своим, чтоб до них были добры.

Но этого было недостаточно. Предложен был новый вопрос: сколь она давно тем промыслом промышляет и от Польского и от Литовского короля к мужу ее литвину Янке присылка или заказ, что ей государя или государыню испортить, был ли; и чем она и какими лихими делами их, государей, портила; и давно ль она тому делу, что мужей приворачивать, научилась, и кто ее тому учил, и муж ее про то ведает ли? На пытке и на огне колдунья отвечала, что к мужу ее к литвину Янке и к ней из Литвы от короля для государской порчи приказу и иного никакого заказу не бывало, и сама она их, государей, не порчивала. Только она дала мастерице Дарье ворота сожженой рубашки пепел, а велела сыпать на государской след, чтоб государь, и царица, и ближние люди до нее были добры. «А что она мужей приворачивает, и она только и наговорных слов говорит: как люди смотрятца в зеркало, так бы муж смотрел на жену да не насмотрелся; а мыло, сколь борзо смоется, столь бы-де скоро муж полюбил; а рубашка, какова на теле бела, столь бы-де муж был светел; да и иные-де она не лихия слова наговаривала, чтоб государь и государыня жаловали, а ближние люди любили, а муж ее про тот промысел не ведает. А учила ее тому на Москве жонка Манка, слывет Козлиха, а живет за Москвою-рекою у Покрова».

Тотчас отыскали и Манку Козлиху и поставили их с очей на очи. Они, как и следовало, завели спор. «Настасьица сказывала, что ее ворожить учила она, Манка, а Манка отрекалась, говорила, что не учивала. Стали пытать. Почти то же Манка сказала и с пытки: ворожить не учивала, ворожбы не знает, а только и знает, что малых детей смывает да жабы, у кого прилучится, во рту уговаривает, да горш-

ки на брюха наметывает, а опричь того и ничего не знает». Между тем колдунья Настька не переставала ее уличать и доказывать, что она ворожить выучилась у нее. Стали Манку пытать в другой раз накрепко и огнем жечь. Но колдунья не сознавалась ни в чем. «Настька, уличаючи ее, говорила, что она запирается, будто мастериц никого не знает, она-де и портомой знает. Женился солдат у портомой, слывет Лидовской; и тот солдат с портомоею к ней, Манке, приходил. Та ответила, что приходил, но не для ворожбы».

В числе новых улик ворожея Настасьица сказала, что еще за год назад сын Манкин приводил к ней, Настьке, мастерицу Дарью Ламанову, которая с тем детиною принесла к ней наговаривать соль да мыло. И она, Настька, ему сказала: для чего к ней с тою мастерицею мимо матери своей ходит; и тот ответил, что мать его спит пьяна; и она, Настька, наговоря соль и мыло, для привороту ей, Дарье, дала. А наговаривала ту соль, отнимаючи ревность у мужей. На очной ставке все это подтвердила и мастерица Дарья; но Манка Козлиха не сознавалась ни в чем и просила пытать Настьку, потому что «она ее клеплет. Настька с пытки говорила прежния речи. Тогда велели пытать Манку в-третьи, накрепко и огнем жечь.

И жонка Манка с пытки повинилась, а сказала, что она сама ворожит и Настасьицу ворожить учила. А ей, Манке, тое ворожбу оставила при смерти мать ее родная Оленка; а как матери ее не стало, тому ныне семой год; а ворожа, она в привороте на соль и на мыло и на зеркало наговаривала: как смотрятся в зеркало да не насмотрятся, так бы муж на жену не насмотрелся; а соль: как тое соль люди в естве любят, так бы муж жену любил; а на мыло наговаривала: сколь скоро мыло с лица смоется, столь бы скоро муж жену полюбил; а вороты рубашечные, жегши, приговаривала: какова бела рубашка на теле, таков бы муж до жены был; а жабу, у кого прилучится во рту, уговаривает: святый ангел хранитель, умири и исцели, у того имянем у кого прилучится, болезнь сию. А иного

она ничего лихова опричь того не знает и лихим словом не наговаривает. Да и не одна она тем ремеслом промышляет, есть на Москве и иные бабы, которые подлинно умеют ворожить. Одна живет за Арбацкими вороты, зовут ее Ульянкою, слепая; а две живут за Москвою-рекою: одна – в Лужниках, а другая, зовут Дунькою, – в Стрелецкой слободе».

Таким образом, явились еще ворожеи: баба Улька, Дунька да Феклица – все слепые. Судьи тотчас послали «по тех баб». Когда их поставили к делу, с очей на очи с Козлихою, то в распросе они сказали, что Манки не знают и сами не ворожат и с ворожеями не знаются. Но та утверждала, что «они сами ворожат и ворожиться к ним изо многих дворов всякие люди ходят». Начали пытать накрепко жонку Ульку, повторяя все те вопросы, на которых главным образом сосредоточивалось все дело, т. е. не пыталась ли портить государское здоровье и верховых постельниц и мастериц кого знает? С пытки она сказала, что «только и знает, что около малых детей ходит, кто поболит, и она их смывает, и жабы во рте уговаривает да горшки на брюха наметывает, а наговорные слова у ней таковы: ангел хранитель утиши во младенце сем, у кого объявится болезнь сия, да наговоря на воду, детей смывает. А жабы во рте давит да тем жи словы наговаривает». Потом во время новой пытки и жжения огнем она прибавила, что «не одним тем промышляет, есть-де за нею и иной промысл: у которых людей в торговле товар заляжет, и она тем торговым людям наговаривает на мед, а велит им тем медом умываться, а сама приговаривает: как пчелы ярые роятся да слетаются, так бы к тем торговым людем для их товаров купцы сходились. И от того наговору у тех торговых людей на товары купцы бывают скорые. А как она мужей к женам привoрачивала, и она наговаривала на хлеб с солью да на мыло; а наговариваючи тот хлеб с солью, велела женам есть: как-де хлеб да соль люди любят, так бы муж жену любил; а мылом велела умываться: сколько скоро мыло к лицу прильнет, столь бы скоро муж жену полюбил.

А у кого случится сердечная болезнь, или лихорадка, или иная какая нутреная болезнь – и она тем людям, наговариваючи на вино, да на чеснок, да на уксус, давала; а в приговоре наговаривала: утиши сам Христос в том человеке болезнь сию, да Увар Христов мученик, да Иван Креститель, да Михайло Архангел, да Тихон святый и иные божественные слова, а не лихие, – и от того тем людям бывала легость». После новых пыток и жженья Улька ничего в речах не прибавила.

Другая ворожея, Дунька слепая, объяснила с пытки, что ворожбы и ведовства никакого не знает, а только знает, что «малых детей от уроков смывает да жабы во рту уговаривает. Да она ж на бруха, у кого что пропадет, смотрит. А на кого скажут неверну, и она, посмотря на сердце, узнает, потому что у него сердце трепещет».

Третья, Феклида, с пытки созналась только в том, что грыжи людям уговаривает, а наговаривает «на громовую стрелку да на медвежий ноготь, да с тое стрелки и с ногтя дает пить воду, а приговариваючи, говорит: как-де ей, старой жонке, детей не раживать, так бы, у кого та грыжа, и болезни не были; да она ж, у кого случится, на брюха горшки наметывает». Несмотря на жестокие пытки и жжение огнем, что повторялось несколько раз, все эти жонки колдуньи ничего более не открыли. Оставалось расспросить оговоренных мастериц. Авдотья Ярышкина ни в чем не созналась и сказала, что Дарья ее тем всем клеплет. Анна Тяпкина сказала, что в «прошлом году Дарья привезла к ней в Светлицу, пьяная, вина да в бумажке соли и велела ей то вино пить, а не сказала, что оно наговорное. Она, Анна, боясь, что от Дарьи чинится в Светлице пропажа, того вина не пила и его вылила, а соль рассыпала на земле; колдуньи она не знает и ничем на государское здоровье у ней не пытывалась. Прасковья Суровцова сказала, что пыталась у колдуньи и наговореную соль брала, для того, чтоб зять ее добр был до ее дочери; а иным ничем не пытывалась. Прасковья Колоднича сказала, что пыталась у колдуньи, брала наговореную

соль, потому что муж ее до нее лих, и она ему давала ту соль, для того чтоб до нее был добр».

Дело по разным обстоятельствам приостановилось почти на четыре месяца. В течение этого времени в январе 1639 г. после непродолжительной болезни умер пятилетний царевич Иван Михайлович, а в конце марта – новорожденный царевич Василий Михаилович (с. 347). Эти несчастные для царицы события не остались без влияния и на ход рассматриваемого дела. 1 апреля, следовательно чрез несколько дней по смерти новорожденного царевича, государь указал снова распросить и пытать накрепко и мастерицу, и ведунью женку Настьку.

Содержание новых допросов заключалось в том, что «т. к. мастерица Дашка к бабе-ворожее, которая людей приворачивает и у мужей к женам сердце и ревность отымает, – ездила и пыталась у ней, чтоб баба сделала, как бы до нее, Дашки, государь, и государыня, и их государские дети и ближние люди были добры; и колдунья Настька, сжегши ее Дашкин рубашечный ворот, велела ей сыпать на государской след: как-де государь и государыня перейдет тот след, а чье в те поры будет челобитье, и то дело сделается; и она, Дашка, на след царицы пепел сыпала, что все подтвердила с пытки и сама колдунья; и после того их воровства, как мастерица на след государыни сыпала ведовской рубашечный пепел, государыня царица Евдокия Лукьяновна учала недомогать и быти печальна; да после того ж вскоре грех учинился: государя царевича Ивана Михаиловича не стало; а после тое ж скорби вскоре государыня царица родила государя царевича Василья Михаиловича больна, и после ее государских родин и того государя царевича Василия Михаиловича не стало вскоре ж; и ныне государыня перед прежним скорбна ж и меж их, государей, в их государском здоровье и в любви стало не по-прежнему. И то знатно, кабы с того времени, как она, Дашка, по ведовству жонки колдуньи Настьки Черниговки на след государыни сыпала пепел

и от того времени и до сих мест меж их государей скорбь и в их государском здоровье помешка. И она б, мастерица Дашка, и ведунья жонка Настька сказали про то подлинно в правду, для чего она, Дашка, ведовской рубашечный пепел на след государыни царицы сыпала; а та ведунья Настька, что подлинно над тем пепелом наговаривала и на государской след сыпать велела: над государем, и над государынею, и над их государскими детьми какое лихое дело не умышляли ль, и их, государей, не портили ль, и детей их, государских, у них, государей, не отнимали ль, и совет их государской меж их, государей, своею ведовскою розныю к развращенью не делали ль, и детям их государским в их многолетном здоровье тем своим ведовским делом, порчею лет не убавливали ль, и иного какого зла им, государям, и их детям неумышляли ль, и, умысля что, не делали ль, про то б про все сказали вправду».

При особенной пригрозе, при новых пытках и жжении огнем и мастерица и колдунья говорили те ж речи, что и наперед того сказывали: именно, что одна сыпала, а другая велела ей сыпать пепел на след государыни для того, чтоб царица ее, Дарью, жаловала, а не для лихого дела.

Затем истязания прекратились, и колдуньи Настасьицы вскоре не стало – она умерла. Умерла также и другая колдунья – Ульянка слепая; прочие подсудимые были розданы приставам под стражу до окончания дела.

Спустя месяца четыре, в августе того же года, это дело опять было поднято пыткою и допросом оговоренных мастериц. На Авдотью Ярышкину несчастная Дарья Ламанова показывала, что «она ее спознала с бабою ворожеею, которая людей привораживает, а у мужей к женам сердце и ревность отнимает, что Авдотья, тем ворожучи, и мужа своего обошла, что хочет, то ворует, а муж ей в том молчит; что ворует она с братьями своими и ею, Дашкою, с ними сводничала». На новом распросе мастерица Ярышкина во всем запиралась и говорила, что Дарья все затеяла на нее по

недружбе. Но с пытки во всем повинилась. К колдунье она ездить пыталась для того, что у ней на дочери была падучая болезнь и еще для того, чтоб ее любил муж и ни в чем не возбранял, и подругою своею Дарьею сводничала; но на государей никакого зла не умышляла.

Прасковья Суровцова с пытки же повинилась в том только, что она действительно у колдуньи Настьки пыталась и наговорную соль, и мыло, и своей рубашки ворота жженой пепел у ней брала, и тем мылом велела дочери своей умываться, и соль, и пепел сыпала в питье, да давала пить зятю своему, чтоб зять ее добр был до ее дочери.

Прасковья Колоднича с пытки призналась также в одном, что «ходила за Москву-реку к бабе Настьке, и мыло, и белила, и соль наговорную у ней брала, и тем мылом умывалась и белилами белилась, а соль мужу своему давала в естве, для того, чтоб муж до нее добр был. И она, убелясь, вышла к своему мужу, как он пришел во двор, и муж в те поры ее убил (зашиб, прибил); и она, видя, что в том наговорном мыле, и в белилах, и в соли помочи нет, взяла да и достальное мыло и соль разметала».

В сентябре того же 1639 г. вышел государев указ: «Дарью Ламанову с мужем сослать в Сибирский город на Пелым; Авдотью Ярышкину с мужем, с сыном и с дочерью сослать в Каргополь; а их подруг, других мастериц, выслать из Двора и с мужьями и вперед в царицыном чину не быть; колдуний разослать в городы: Манку Козлиху – к Соликамской, Дуньку слепую – в Кайгород, Феклицу слепую с мужем – на Вятку. Сторожей, светличного и портомойного, бить батоги и из Двора выслать»; сына боярского Соймонова и подьячего Якунина, вероятно, по тому же делу, бить кнутом.

Посмешное слово постельниц

В 1639 г. августа 5 приходит к одному стрелецкому десятнику некая полонянка Акулина Незнанова писать че-

лобитье к государю с изветом на постельницу Любаву Волосатову, на ее дочь, и на сына, и на зятя и сказывать про них государево *дело*, про государя и про царицу посмешное *слово*. Стрелец тотчас написал и подал челобитье, прибавив, что «инова ему и писати нельзя, скажет все та иноземка полонянка сама у роспросу» и на очной ставке. 9 августа челобитная была уже в комнате у государя, где и решено *сыскать*, и розыск поручен царицыну дворецкому В. И. Стрешневу с тем же дьяком, которые на другой день велели тотчас перед собою поставить указанную полонянку. Акулина в распросе сказала: «Еще в 1633 г., как родился (июня 2) царевич Иван Михайлович (умерший в этом 1639 г. генв. 10), и в те поры, пришед с государских родин к себе на подворье, постельница Люба Волосатова с дочерью Домною да с сыном Иваном и с зятем Ортемьем говорили меж себя в разговоре: наряжу-де я курку свою гречанку в желтые сапоги, да в шубку, да в шапку и прикажу (определю) ее в Верх в постельницы, и она-де будет такова ж постельница ж, как и государские постельницы, кабы-де у государя и у государыни живут в Верху в постельницах добрые жены; да и сама-де царица не дорога, знали ее, кои она хаживала в жолтиках (в желтых сапогах), ныне ее Бог возвеличил! Акулина ссылалась, что те слова слышали две вдовы, которые у них в те поры на дворе были». Судьи велели тот же час поставить перед собою и этих вдов, которые от постельниц те непригожие речи слышали. Вдовы подтвердили, что такие речи действительно слышали в разговоре от одной Любины дочери Домны, а она в те поры была не в постельницах, а жила с матерью.

Судьи велели поставить перед собою постельниц – мать и дочь. На распросе они во всем запирались и говорили, что полонянка и вдовы «клеплют их, да в том имались с ними за пытку». Вдовы тоже просили постельниц на пытку, сказывая, «как-де им тем делом клепать; что слышали, то и сказывают вправду; да и объяснили, что одна из них сыну

Любину Ивану теща, а другая его жене бóльшая родная сестра, а ему своячина, и им будучи с ними меж себя в свойстве такого великого дела, как учало быть в сыску, таить не можно. Постельницы учали вдов бранить и называли их непригожими словами и корчемницами, что они, воруючи, продают вино и иным всяким воровством промышляют, а на них, постельниц, то затевают напрасно». Вдовы защищались и, оправдываясь в обвинении, ссылались на кадашевскую боярыню Анну Бегичеву, на всю Кадашевскую и Талмацкую слободу и на все Заречье, что они воровством никаким не промышляют, живут за Москвою-рекою в Талмацкой слободе и корчмы и винных продаж у них нет, а кормятся своею прямою работою, прядут, покупаючи, лен и делают полотна и берут убрусы, да что продадут, тем они и питаются; то всем их соседям известно. А что их постельницы называют ворухами (в известном смысле), и они – одна после своего мужа вдовствует 40 лет, а другая 30 лет, и им воровством никаким промышлять непригоже. «Да учали вдовы бити челом словесно: называют их постельницы ворухами, а та Домна, Любина дочь, сама прямая воруха; как она была за первым мужем, и она и тогда от мужа своего воровала с Пашковыми и лежала после того в зелье, а лечил ее зелейного ряду торговой человек, называют его Коротким, а взял он за лечбу 3 руб., и как Домница излечилась, и ее мать Люба промыслила тою своею дочерью в постельницы».

Полонянка-изветчица доводила также и на сына Любина Ивана, как он «бил однажды свою жену, сказывая, что ворует в Верху с верховыми людьми, и когда она, полонянка, вступилась за нее, стала просить, чтоб пощадил для ради государыни царицы, он, Иван, за то выбранил ее и с царицею. Иван, конечно, отрекался от этого, говорил, что таких слов не говаривал и жены своей не бивал. Полонянка, уличаючи его, указала на свидетелей, которые сказали, что видели они и слышали, как Ивашка, встретясь с полонянкою Окулькою на дороге, ей рукою махал и грозил:

уходишься-де ты, что на нас доводишь; и в Верху, пришед на лестницу к распросу, также грозил ей, чтоб она на них не доводила. Ивашко в том во всем запирался. А полонянка, постояв немного, еще сказала, что она от постельницы Домны про царицу и не одни непригожие речи слышала: сказывала ей Домна, что государыня царица Евдокия Лукьяновна, где найдет людские волосы, и она, государыня, с тем волосьем сучит свечки да их жжет, а сказывает, что будто ее портят постельницы. И только б она, Акулина, от Домны таких слов не слыхала, и ей того затеять не уметь. Домна в том во всем запиралась».

На другой день, 11 августа, по государеву указу судьи ездили к пытке. Там после очной ставки подсудимые опять звали друг друга на пытку. Сначала попытали слегка одну из вдов, которая подтвердила только прежние свои речи. Но постельница Домна с пытки повинилась во всем и сказала про государский чин, что в нем живут недобрые жены-постельницы и что она нарядит курицу и прочее говорила. «А про царицу говорила ли непригожие речи, того не упомнит; в те поры поразил ее о землю недуг, и, повалясь, лежала безгласна. Тут же, стоя у пытки, палач Васька подтвердил, что ту постельницу знает, и на ней та падучая болезнь давно. Спросили ее мать, которая, вероятно, не зная в чем дело, начала было отрекаться, что падучей болезни на дочери не бывало, разве что учинилась над нею теперь». Палач доказывал, что мать лжет, что на Домне давно падучая болезнь, как была она на одной свадьбе в свахах, и тогда та падучая болезнь на ней была. «Мать потом учала в речи мяться. Судьи велели ее розболочь и хотели пытать. Тогда она сказала правду, что болезнь была. Ее сын Ивашка в своем непригожем слове про царицу был пытан накрепко; но с пытки не винился, а сказал, когда бил жену, и в те поры был пьян, что говорил – того не упомнит. Полонянка подтвердила его показание, что был пьян». На том розыск и остановился.

Через несколько времени, 15 сентября, государь велел постельницу Любу с дочерью и царицыных детей боярских, ее сына и зятя, из царицына чину отставить и из царицыной слободы, из Кисловки, выслать.

Умышление испортить царицу Евдокию Лукьяновну

13 марта 1642 г. сидевший в тюрьме в Разбойном приказе по разбойному делу поляк Данилка Рябицкой объявил за собою *Государево великое верхнее дело,* о котором в Разбойном приказе не хотел сказывать, а скажет он про то дело боярину Ивану Борисовичу Черкасскому. По случаю болезни боярина князя разведать это дело было поручено боярину Борису Александровичу Репнину с дьяком. Поляк рассказал следующее: «На третьей неделе Великого поста, сидя в тюрьме, говорили они между собой с человеком боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского с Першкою Власовым, как им своей бедности пособить. И Першка молвил, что он умеет грамоте – сыт будет. А человек Ивана Федоровича Стрешнева Афонька Науменок почал говорить, что за ним есть и не такое ремесло, да только теперь-то он погибает, и сказал, что он делает серебряное дело, что он сделал государыне царице и великой княгине Евдокии Лукьяновне цепь, и ту цепь взял у него боярин его Иван Федорович Стрешнев и отнес к государыне царице»[1]. Начались распросы и допросы. Афонька Наумов сказал, что «прежде он служил в стрельцах и за черную немочь из стрельцов отставлен тому с год, и жил на воле, и пойман был с *табаком,* и вкинут в тюрьму, а из тюрьмы вынял его Иван Стрешнев тому с полгода; а ремесла за ним никакого нет, и серебряного дела делать

[1] В это время Иван Большой да Иван Меньшой Федоровы Стрешневы были стольники и *комнатные* люди как родственники царицы. – Дворцовые разряды.Т. II. – С. 693, 727.

не умеет; приказано было ему у Стрешнева на конюшне; а сидя в тюрьме, говорил с тюремными сидельцами пьяный про золотую цепь, которую послала к Ивану Стрешневу жена его Матрена с человеком его, с Андрюшкою Кривым, что он, Афонька, и не такую цепь сделает, а к какому слову то говорил, того не упомнит — был пьян». Да тюремные сидельцы спрашивали его, у кого он служит во дворе? И он сказал, что служит у Ивана Стрешнева. И тюремные сидельцы говорили: «Они (Стрешневы) ныне по государыне царице *велики;* и он, Афонька, к тому их слову молвил: "Дай, Господи, она, государыня, здорова была на многие лета", – а больше того иного ничего не говаривал». Но поляк уличал его, что он, Афонька, про государыню царицу непригожее слово говорил. Поставленный с очей на очи с поляком, Афонька сознался, что виноват: «Такое непригожее слово про государыню царицу молвил спьяна, а иное-де он во хмелю сбродит с ума... А цепи он на государыню царицу не делывал, да и делать не умеет». Об этой цепи человек Стрешнева Андрюшка Кривой Стахеев рассказал, что в 1642 г. в Великий мясоед посылала жена Стрешнева Матрена с ним к мужу своему для поделки цепь золотую, запечатав в бумаге, и он тое цепь отдал в Верху боярину своему Ивану Стрешневу, а как отдал ему – того никто не видал. Все это было очень подозрительно.

Сам государь, прослушав эти первые допросы, повелел Афоньку Науменка пытать, по какому он умышлению про государыню царицу непригожее слово говорил, и не знает ли он какого ведовства и еретичества и воровских заговоров, чтоб про то сказал в правду, не пытан. В новом допросе Афонька рассказал: «Как был на государеве службе под Смоленском Михайла Шеин, а он, Афонька, в те поры был на службе в Путивле в стрельцах, в Приказе Василья Жукова, и спознался с Путивльским казаком Ваською Кулаком, и у того Васьки научился привязывать кил, и для воровства женок привораживать, а привора-

чивает он женок тем: возьмет лягушку самца да самку и кладет в муравейник и приговаривает: “Сколь тошно тем лягушкам в муравейнике, столь бы тошно было той женке по нем, Афоньке”; а поминает в тот час имя той женки; и на третий день приходит он, Афонька, к тому муравейнику, и в муравейнике тех лягушек останется один крючок да вилки; и он то возьмет и тем крючком, которую женку зацепить, и та женка с ним и воровать станет; а как ему воровать с нею не похочется, и он тое женку вилками от себя отпихнет, и женка по нем тужить перестанет. А килы присаживает, дает пить в питье траву; имя той траве *воп,* растет при болоте; и как даст испить, и у того человека рудит (?) кила. А отсадить тое килу есть другая трава, имя той траве *малюк*: и как даст киловатому человеку испить – и килы не будет».

«А про государыню царицу он, Афонька, сидя в тюрьме, говорил такое непригожее слово, говорил умысля, хотел ее, государыню, уморить до смерти; а давать было ей государыне в питье траву *целебока,* а растет трава на реке на Оке и на Москве-реке; а положить было ему та трава государыне царице в питье, в те поры, как понесут про государыню царицу питье в Верх. А хаживал он за бояриином своим, за Иваном Стрешневым, в Верх к Светлицам. А только было ему тое травы государыне царице в питье положить самому не мочно, и ему было того докупаться, кем можно то дело сделать».

Допросы продолжались, и Афонька все больше и больше раскрывал свое знахарство и свою виновность в этом деле. Он сказывал, что «его научал государыню царицу портить и уморить до смерти стрелец Васька Мещерка тому с год; а сказывал ему Васька, что о том деле, чтоб государыню царицу уморить до смерти, били челом с Верху добрые люди, а кто именем – про то ему не сказал; а давал Васька ему, Афоньке, за это 10 руб.; приходил к нему о том говорить дважды и трижды, и просил у него, чтоб дал ему тое

травы, которою испортить и уморить государыню царицу. И он, Афонька, ему, Ваське, тое травы не дал; а хотел тем делом, как государыню царицу уморить до смерти, промышлять сам…». Говорил ему, Афоньке, Васька Мещерка: будет только от той травы государыня царица не умрет, ино б ей какую *спону* сделать. Афонька к тому слову молвил: «Я-де то сделаю, буде не умрет, и она сама над собою то сделает». Он и в тюрьме говорил: делать было ему то дело над государынею царицею так: напускать по ветру на зоре, на утреной или на вечерней, с которой стороны ветр идет, с призывательными словами говорить: «Народил да Сатанаил! Я вам верую, сослужите мне мою службу и отнесите песку и бросите на человека, на кого их пошлет».

Он же, Афонька, сказал: «Испортил он пушкаря Сусальника, а как ему имя – того не упомнит, – напустил на него беса, и бес его забил до смерти. И кого он, Афонька, похочет испортить, и он наговаривает на *соль* и призывает бесов, Народила и Сатанаила, и иных бесов; и к тем людям тех бесов посылает, а бесов он знает, – как их призовет, и бесы к нему приходят, старые и молодые, и что им велит, и они то делают, а он в них верует».

По этому поводу, что на пушкаря был напущен Афонькою бес и бес его забил до смерти, был произведен розыск по всей Пушкарской слободе для отыскания пушкаря Сусальника. Все московские пушкари 288 чел. удостоверили, что было у них с прозвищем Сусальника два человека – и те померли, одному смерть учинилась скорая с хмелю от черной болезни и умер без причастия, что и могло подтверждать показание Афоньки. Говорил еще Афонька: знается он с гулящим человеком, живет на Ваганькове, зовут его Фомка Андреев Путимец. Тот Фомка всякое ведовство знает больше его, Афоньки; у него, у Фомки, есть такая *книга,* которою призывают бесов. И о том он, Афонька, с ним, Фомкою, говаривал, и не одинова, как бы испортить и уморить государыню царицу; и Фомка ему сказал, чтоб дал ему

сроку, а он, Фомка, о том, как испортить и уморить государыню царицу, подумает.

Дальше Афонька говорил: учили его отречися Христа в Путивле казак Васька, а на Москве – гулящий человек Фомка Путимец. Первое – велели ему снять крест с себя и положить под пяту и ступить назад трижды и говорить: «Подите, бесы, ко мне, я вам верую, а вы мне служите, какую службу вас заставлю».

После того допрашивали Афоньку, кого он именно испортил и кого женок для воровства приворачивал. На эти вопросы он отвечал оговором на некоторых людей, которых по сыску на лицо не оказывалось, или оказывался напрасный оговор на них. Он рассказывал, что для воровства приворотил к себе женку, Наташкою звали, и воровал с нею с год; и та женка от него съехала в Ярославль к мужу, а муж у ней в Ярославле коновал, посадской человек (таких людей в Ярославле не сыскано). Да он же для воровства приворотил к себе женку Любку, а сидела она в Тесемном ряду и ныне сошла с Москвы безвестно. А на службах он, Афонька, для воровства многих женок к себе приворачивал, да на Москве и в городах многих людей порчивал, и от той его порчи многие люди померли. Воровал он также с женкою, Анискою зовут; и «как с нею воровать не похотел, и она, Аниска, на него грозилась, хотела его испортить и сделать *чернее земли».* Так как эта женка Аниска по оговору Афоньки являлась тоже колдуньею, то о ней произведен был розыск в Стрелецком приказе Жукова, где жила Аниска. Матери и жены всего Приказа, 600 чел., сказали в Божью правду, что стрелецкую женку Аниску они знают и воровства за нею и всякого дурна и ведовства не слыхали, жена она добрая.

Афонька оговорил также муромца Дмитрия Борисова, что будто Борисов просил у него такого коренья, чем бы ему в *Верху прислужиться,* чтоб его любили бояре; что такое коренье у него хранилось на дворе Ивана Стрешнева и пр. И это все оказалось лживым поклепом.

Афонька оговорил еще двух *держальников*[1] Ивана Стрешнева, будто один из них, Истома Темирязев, говорил ему, Афоньке, что «Стрешнева жена Матрена не сможет (испортить государыню царицу), а надобно такого человека добыть, чтоб испортил того, кому мы служим.... Пока разыскивали Истому, Афонька покаялся, что поклепал его напрасно, то же произошло и с другим держальником – Михаилом Савиным. А поклепал их по недружбе за то, как он жил у Стрешнева во дворе, и по их насердке ему, Афоньке, от боярина его, от Ивана Стрешнева, и не одинова *поученье* было».

Снова допросили Афоньку, чтоб сказал про то правду: бесов он призывает коим обычаем? Он сказал, что бесов призывает с прежними словами, что говорил наперед сего. У него в те поры есть трава, а без травы к нему бесы не придут, потому что бесы ту траву любят. Потом, постояв, он молвил, что и без травы к нему бесы придут. Затем спросили его: может ли он призвать бесов теперь? Нет, ответил, бесов ныне призвать не умеет, да и то сказал, что и сам себе пособить не может.

Наконец, после всех тех распросов Афоньку стали пытать, чтоб он сказал именно, по чьему умышленью он хотел портить государыню царицу и коим обычаем было ему портить? Было ему на пытке 40 ударов. Он при этом свалил вину снова на Истому Темирязева, говоря, что портить царицу велел ему Истома, давал ему за то два ведра вина да 5 руб. денег.

Как водилось, все распросные речи Афоньки были записаны и затем при новых допросах были ему прочитаны, все ли так написано. Он сознался, что все так написано, что во всем том виноват, что говорил. Для следователей самым важнейшим делом было дознаться, какие отношения Афонька имел с государевым Верхом, т. е. с Дворцом;

[1] *Держальник* и *Знакомец* – так прозывались молодые дворяне, находившиеся на службе у знатных людей, по объяснению историка Татищева, для посылок, как адъютанты. Держать их в боярских домах накрепко запрещено в 1701 г. для большего принуждения дворян к военной государственной службе.

кто ближние люди его знают и к ним он приходил ли, и дворовые люди есть ли у него знакомцы? Снова у пытки он допрашиван накрепко, чтоб сказал в правду, кто его научал портить и уморить государыню царицу и за что такое непристойное дело ему было делать, самому ль или кем иным такого воровского дела доходить? Он сказывал прежде, что ему велел государыню царицу портить и уморить до смерти стрелец Васька Мещерка да гулящий Фомка, и то дело не статочное: за что таким худым людям на великую государыню царицу такое лихое дело умышлять? На это Афонька ответил, что научал его испортить государыню царицу Левонтей Плещеев[1]. Да постояв немного, сказал, что Левонтья он тем поклепал, говорит про то *вне ума* и на себя и на людей в том деле говорит напрасно.

Затем у пытки он заявил, что портить и уморить государыню царицу нанимал его Федор Карпов[2] и говорил ему: можно ли такого человека добыть, чтобы испортить государыню, и он, Афонька, ему сказал, что такого человека промыслить можно. Афонька к этому прибавил, что Федор Карпов присылал к нему человека своего, Сеньку, и он, Афонька, с тем человеком у Федора Карпова был на дворе и пил вино; и Сенька от Федора говорил ему, Афоньке, чтоб добыть такого человека, чтоб дал боярину его, Федору Карпову, *коренья* или травы, чем испортить и уморить государыню царицу; и он, Афонька, дал ему слово, что таким делом промыслит. Афонька говорил также, что и сам Федор Карпов ему о том злом деле говорил же...

Таким образом, расследование напало на след и ближних ко Двору людей. Сначала стали разыскивать упомянутого Сеньку. Про него сыск производился на Петровке в двух приходах, у Пречистыя в Столешниках да у Воскре-

[1] Плещеев Леонтий Степанов, дворянин, в 1648 г. был судьею Земского приказа и мая 25 во время бунта убит земскими людьми.

[2] Стольник Федор Борисович Далматов-Карпов пользовался также приближением к Царскому двору и впоследствии, в 1645 г., был пожалован в окольничие, а в 1649 г. – в бояре. Ск. в 1664 г.

сенья, что *бывали старые богадельни,* в местностях около двора Карповых. Было приказано собрать свидетельства обо всех людях, которых зовут Сеньками, но указанного Сеньки не было найдено. Тогда государь повелел всех людей окольничего Льва Ивановича и стольника Федора Борисовича Долматовых-Карповых, что есть на Москве и в деревнях, взять к сыску и про Сеньку допросить. Опять такого Сеньки не найдено.

Было очевидно, что для проволочки дела Афонька его запутывал ввиду своих целей или, избываючи пытки, *не истерпя пыток,* клепал многих напрасно, в чем, однако, вскоре и сознавался и затем не раз проявлял полное раскаяние, что «в прежних своих речах и на пытках все на себя и на людей говорил напрасно; и никто его на то, что ему портить государыню царицу, не научал; и ведовства он никакого не знает, а говорил он то все в распросе и с пыток на себя для того, чтоб его скорее велел государь казнить».

Но следователи мало доверяли таким речам – и неуклонно возобновляли свои допросы, кто его научал портить государыню царицу, кто с ним умышлял на такое злое дело, каким злым кореньем он хотел портить? Очень требовалось узнать доподлинно, кто научал портить, т. к. такое наученье по подозрению должно было неотменно выходить от близких ко Двору людей. По этому подозрению время от времени Афоньку подвергали новым пыткам, а пытки заставляли его делать новые напрасные поклепы и оговоры.

После неоднократных заявлений, что его никто не научал, и сам он того, чем портят, не знает, он все-таки оговорил стрельца Гришку Казанца в великом колдовстве и в том, что Гришка знает того человека, кто научает их, чтоб испортить государыню царицу; «а чем ее портить и такое-де коренье у него, Гришки, есть, чтоб он, Афонька, не *хлусил,* про то никому не сказывал. А видал он, Афонька, у него, Гришки, такое коренье во дворе его, и в сенях, и в коробье. А как они с ним были на службе в Путивле и он, Гришка, заставливал

по себе стрелять свою братью стрельцов из пищалей, и его пищали не имут; и про то ведомо стрельцам всем, которые были в Путивле, потому что он похвалялся перед ними, что его стрельба не возьмет, хотя из ста пищалей».

Афонька у пытки подтвердил свои речи. Из застенка один из дьяков отправился с Афонькою на Гришкин двор, где в сенях, а иное в избе в коробках вынято коренье, и травы, и кости раковины, а иное, сказывает, громовая стрелка да чертов палец, и то все взято в Приказ. И тут же на дворе маленький мальчик сказал, что и у соседки Афимьицы есть тоже травы. Тотчас и у ней обыскали и нашли разные травы в трех узелках. Дознанием выяснилось, что это были травы простые лечебные.

Все, что было найдено у Гришки Казанца, о том жена его, Катеринка, сказала, что все то: «травы, коренья, раковины – принадлежит ей, Катеринке, и привезено ей мужем ее: иное – из Астрахани, иное – из Казани, а иное – из Валуйки. Всем тем предметам составлена была роспись, по которой значилось: 1) трава Божья, а скуривают тою травою квашню, а привез муж ее Гришка ту траву с Валуйки; 2) 2 раковины, сказала Катеринка – привез муж ее из Астрахани; 3) 3 шипка цвету, сказала – привез муж из Путивля; 4) 2 раковины піявочных, сказала – привез муж от города; 5) трава, коренья, сказала – привез муж от города, а едят от сердечной болезни; 6) камень – привез муж от города, а сказала – *громовая стрела*; 7) семя, сказала – горчица; 8) 2 раковины, сказала – привез муж от города; 9) трава, сказала – конская, а привез ей мужик-поморец; 10) сенной *скип,* сказала – привез муж с Валуйки, а дают пить от поносу...; 11) трава Божья, сказала – привез муж из Астрахани для духу; 12) семя, сказала – из шипов, привез муж из Путивля; 13) 2 деревца, сказала – привез муж из Путивля, а дают пить, у кого болят зубы; 14) трава чечуйная, сказала – пьют от зубов; 15) трава чечуйная – пьют от поносу; 16) семя, сказала – солнечник; 17) стрелка гро-

мовая; 18) кость, сказала – говяжья, а купил муж ее, хотел делать к ножу черен; 19) корень ир, сказала – кладут в вино для духу; 20) краска синяя; 21) обломок камени, Катеринка сказала – дуб лежал в воде и окаменел, а она держала у себя *для диковины*; 22) 2 корешка желты, сказала – желтят у сапог подошвы; 23) 4 травы разных цветов; 24) лыка, чешуя опонка; 25) кусок, походила на винную ягоду, жилы, сказала – не знает, привез муж от города».

Все это были вещи невинные, но более или менее подозрительные для следователей, почему, несомненно, они были подвергнуты осмотру докторов Аптекарского приказа. Вместе с кореньем найдено было два письма (писания), из которых в одном, между прочим, написано было следующее: «Из города из Наполи пишет, что в великой Калабреи новой пророк являлся и сказывался, что Мисеев сын, а по Руски Христов сын; Калабренская Земля ему дались все, и пошел на великия горы со многими тысящами и с полным воинским оружьем; и о том-де стала в Калабренском королевстве великая страсть. Галанской немчин Вилим Фандоблок сказал: объявился-де в Калабренской Земле пророк новой, а сказался, что он будто с Небес сын Христов, Я-де Миротворец, Землю-де вашу всее обороню и иные страны и Земли поемлю. И простые-де люди ему преклоняются, и он-де им говорит, что он их от того всего избавит; и станете-де на сем свете царствовати и жить беспошлинно и без дани, и ни от кого-де вам обиды не будет. А та Калабрейская Земля на границе меж Шпанской и Турской Земли».

Оказалось, что это писание Гришка получил от подьячего Разрядного приказа, который объяснил, что Гришка прашивал у него бумаги на заряды, и подьячий ему из-под стола драную бумагу на заряды давал и, должно быть, то писание дал ему в драной бумаге, а писаны те вести в отписке изо Пскова, и та отписка в разряде ныне есть. Получив эту бумагу, Гришка, по его словам, прочел и подивился.

Другое писание заключало в себе известный и до сего времени бытующий *Сон Богородицы,* который приводим здесь как древний список 1642 г.

«Крест на Галиада победа, Молитва Господу нашему Исусу Христу, святыя Богородицы сон. Мати Божия спала во святом граде во Ефлиеме. Приде к ней Господь Исус Христос и рече: Мария! Моя мати возлюбенная, спиши ли или слышиши; Рече Свитая Богородица: спала есми намаевсе во святом граде во Ефлиеме на марте месяце, унудив меня сон. И рече Господь Исус Христос: Мария! Мати моя возлюбленная, повеждь ми сон, преподобная, что видех? И рече Мария, мати моя возлюбленная, Господня Богородица, ко Исусу Господу нашему: Владыко, чадо мое! Видех тя во святом граде во Иерусалиме, измаевши, сладчайши меду и соту на кресте древа кипариса распята быти; и терно венец на главу положен; и заушение заплевана и желчи напоян; тростию по главе биен; а руце и нози ко кресту пригвожден бысть; и копие в ребра прободен; праведни Господи от жидов своего создания приял еси на землю и пострадал еси; и страсти волею изволил еси взыскати на землю; и взыскати погибших за преступление Адамово, смертию на смерть наступил еси; рукописание Адамово раздрал еси; Евину клятву разрушил еси; Адамово преступление грехи наша на кресте пригвоздил еси; и ада умертвил еси, дьявола супостаты студную силу нерушимыми руками и связал еси; Адама извел и спящая со Адамом из мертвых воскресил еси собою от тьмы на свет. И рече Исус Христос Бог наш: Мария! Мати моя возлюбленная, Богородице: неложно сон твой, истинное видение свое. Аще кто носит молитву сию Господню и страсти со крестом Господним, и твой сон святыя Богородицы на себе или в дому у себя, и тот человек будет от Господа помилован, на рати здрав, на суде прав, великих людех великого чину пожалован будет, а в беседе честен; к тому человеку не прикоснется и огнь, ни кой злой человек супостат, ни тать, ни разбойник,

ни душегубство, ни чародейства, ни притче, ни призор, ни прелюбодейство, ни чародейство, ни потеря, ни продажа, ни поклеп, ни болезнь, ни убыток, ни черная немочь, ни от дьявола искушения, ни во сне, на яве; аще Бог изволит душу его взяти, не могут беси взяти, но примут Ангели Божии по велению Господню и во веки веков аминь».

Об этом писании Гришка рассказал, что «взял он то письмо на Пизу с казака (?), как были на государеве службе, и носил он то письмо на себе для того, что ему сказали: кто то письмо на себе носит, и того человека стрельба не возьмет; и как-де его на службе в Путивле ранили, а то письмо было на нем, и он-де с тех пор тому письму не стал и верить, а держал его у себя спроста. Да была у него на жену болезнь, трясло ее ночью, и он, то письмо списав, клал на нее, и от того письма ей помочи ничего не было. Его жена Катеринка сказала, что то письмо она держала у себя для того, что на ней (болезнь) черная немочь».

О травах и кореньях Гришка объяснил, что они лечебные, что он лечился ими, и иные ему помогали; а траву, что имя ей Богородицына, да раковины морские привез он из Поморья для *показанья.* Видимо, что это был человек любопытствующий, каких едва ли много встречалось в то время. Он собирал разные предметы не только для леченья или для другой пользы, но и для *диковины*, для *показанья.* Кроме упомянутых вещей у него был найден *косной развод,* о котором он сказал, что держал его у себя *для глумовства*, а ничего на нем не угадывал и не знает... (о косном разводе см. с. 304. Нам не встретилось объяснений, какого рода было это колдовство.

Чем больше Афонька понапрасну оговаривал людей, тем сильнее возбуждалось подозрение, что он скрывает истину дела, потому снова и снова его подвергали пыткам с повторением тех же вопросов: кто его научал портить государыню царицу, какими кореньями и способами и т. д. Он пытан был накрепко, было ему 57 ударов и после того

жжен огнем дважды. С этой пытки он говорил, что людей окольничего и стольника Карповых и стрельцов клепал напрасно для того, чтоб ему невскоре умереть; что никто его портить государыню царицу не научал, а умышлял он портить царицу один, а портить было кореньем, а коренье имать в поле... А о бесах говорил, что с бесами знался и крест под пяту клал, а ныне бесы от него отступились и к нему не приходят, а как приходили и он их видал, старых и молодых. От знакомства с бесами, несмотря на повторительные пытки, Афонька никак не мог отречься. Снова его допрашивали об этом и снова он уверял, что коли он отвергся Христа, и тогда ему бесы помогали и во всем его слушали, что им велит делать; а как его пытали впервые, и с тех пор он бесей и по сию пору не видал; а верует он ныне в Господа нашего Исуса Христа, и помóги ему ныне от бесей никакой нет. На пытках он теперь твердил одно, что портить государыню царицу никто его не научивал, а сам он думал портить государыню царицу ни за что, с *малоумья*. На пытке была подожжена ему пята, да в заключенье на другой пытке ему было 17 ударов.

Выслушав это сыскное дело, бояре (6 бояр и 3 окольничих) приговорили: «Афоньку Науменко за его воровство пытать, и буде с пытки он ничего не прибавит, приговорили в струбе сжечь за то, что он в распросе до пытки и с пыток говорил сам на себя, что он Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа и православной христианской веры отвергся, и животворящий крест под пяты клал, и с бесы знался, и на людей бесов по ветру воровством напущал, и кореньем многих людей портил. Да он же говорил сам на себя до пытки и с пыток, что было ему государыню царицу и великую княгиню Евдокию Лукьяновну портить, напущать по ветру бесей и коренье в питье класть и всякими мерами домышляться, чтоб ее, государыню, испортить. И за то его воровство приговорили ему отсечь руку да ногу, да вкинуть его в сруб в огонь и сжечь его в струбу». По

другой записке приговора решено «обсечь ему руки и ноги, да буде только будет жив, досталь вкинуть в огонь, а казнить его на Болоте или на Площади».

Этот боярский приговор состоялся 20 августа 1642 г. Но сыски, розыски, допросы виноватого и оговоренных людей, по-видимому, тянулись с лишком целый год. Сам государь с большим участием следил за ходом этого дела, постоянно выслушивая доклады следователей. Окончилось оно 17 мая 1643 г., когда государь вместо казни повелел Афоньку сослать в Сибирь на Тару и держать его с большим береженьем в тюрьме, выдавая на корм по две деньги на день.

Афонька Науменок, отставленный стрелец, принадлежал, как видно из дела, к разряду людей, сбившихся с пути, каких немало появлялось и в старой Москве. О нем один из оговоренных им свидетелей сказывал, что не знается с ним тому лет с пять, как он начал воровать, пить и ходить почал за воровством. Именем воровства в то время называли не кражу, а вообще беспутную жизнь, готовую на всякие преступления. Подобное воровство Афоньки высказалось и в том случае, когда он говорил караулившим его стрельцам, чтобы они отпустили его на Дон, и сами они, и кто хочет, шли бы туда с ним, а он им на Дону даст атаманство, а иным – есаульство. Как на Дону он с ними будет, и им добро будет. «А буде вы меня не отпустите, говорил, ино-де и вам со мною тут же от кнута оторвать конца», т. е. не миновать кнута. Таким образом, Дон как область вольных людей представлялся обетованною землею для всех потерявших хотя бы и тесный, но добрый путь жизни и потому искавших нового наиболее вольного, наиболее *гулящего* пути.

Надобно принять во внимание, сколько тягости, трепета и страха и всякого замешательства испытывали целые слободы и улицы Москвы и даже подмосковные деревни от беспрестанных розысков по поводу лживых показаний этого беспутного человека. Но *государево великое верхнее,* т. е. *Верховое* или дворцовое *дело* требовало всестороннего

обследования, не умышлял ли кто на здоровье государыни царицы именно из Верховых приближенных или вообще дворцовых людей, хотя бы и из низших чинов[1].

Похвальба царицыным жалованным челобитьем

1651 г. ноября в 6 день извещал государю Петр Семенов сын Хомяков на сокольника на Тимошку Григорова, а сказал: «В прошлом в 159 г. в Коломенском селе на Потешном дворе в хоромех, перед оспожиными говейны, говорил ему, Петру, сокольник Тимошка Григоров, один на один с ним, Петром: до брата-де моего до Левонтья Григорова государская милость, а крестьянин-де их похваляется, ходячи по пирам: государыня-де царица, жалуючи мать Левонтьеву, прислала челобитье с человеком их с Трошкою; а как того крестьянина зовут, который такие речи говорил, и он, Тимошка, тому крестьянину имя сказал, а он, Петр, имя того крестьянина забыл. Да он же сказывал ему, Петру: нам-де к родителям своим и выехать нельзя; говорят нам, поделом-де вы, дураки, что вас государь не жалует, как милость государская к Левонтью и государыни царицы к матери его; царица-де государыня к матери Левонтьеве жаловала, приказывала челобитье.

И того же числа сокольник Тимошка Григоров распрашиван. А в распросе сказал, что он таких речей Петру Хомякову не говаривал, такие-де речи Петр Хомяков на него, Тимошку, затеял. А на очной ставке Петр Хомяков говорил на него, Тимошку, прежние речи, что он в распросе говорил. А Тимошка на очной ставке запирался, а сказал, что он Петру таких речей не говаривал. Да Тимошка ж говорил: за что-де он, Петр, на него, Тимошку, в ту пору не извещал, как будто я ему сказывал, и то-де знатно, что он, Петр, на меня затеял. И Петр Хомяков сказал: не извещал

[1] Чтения Общества Истории и Древностей Российских. Кн. III. – 1895.

государю на него в ту пору потому, поблюлся-де Левонтья, а к Левонтью в ту пору была государская милость, чего б-де он, Левонтей, на него, Петра, государю не сказал; а на него, Петра, государь в ту пору был кручиноват. Да он же, Петр, сказал: извещал он, Петр, государю, что кречет не кормлен; и Левка его, Петра, излаял: кто-де тебя спрашивал извещать государю; а как его, Петра, в ту пору Левка лаял, и то слышал Митрошка сокольник.

И Тимошка Григоров у пытки в распросе сперва говорил прежние свои речи, а постояв, винился: виноват-де я перед государем, Петру Хомякову такие речи говорил, что государыня царица Левонтьеву мать о здоровье спросить велела; а сказывал ему такие речи дьячок Григорья Богослова Коломенского уезда села Восцы на речке Селижарке Васка Артемьев. А он, дьячок, слышал от крестьянина деревни Алешкова, у Давыдки, а прозвище Волк, да от жонки тое ж деревни от вдовы от Дуньки: государыня-де царица боярыню нашу жалует, челобитье приказывает, человек-де наш Трошка Максимов шел дворцом, и государыня-де царица увидела моего человека и велела спросить с Верху боярыне: жива ль-де его боярыня, скажи-де ей челобитье».

Декабря 13 по государеву указу послан стольник Алексей Мусин-Пушкин для распросу в Коломенский уезд в с. Восцы для церковного дьячка и для Даниловых крестьян Григорова. По приезде на место декабря 18 стольник тотчас послал «сотника Андрея Ромейкова по дьячка Васку и по крестьян по Давыдку, прозвище Волк, да по вдову Дуньку Казаринову, да по дворового человека по Тришку Максимова. И того ж числа сотник привез крестьян, а Васку-дьячка в том селе, где он живет, не изъехали, выбежал с двора с женою и с детьми. И стольник Алексей Мусин-Пушкин крестьян распрашивал. Давыдко прозвище Волк в распросе сказал, что он не знает, не ведает. И к пытке Давыдко приведен, и он ни в чем не винился ж». Вдова Дунька, Казаринова дочь, к распросе сказала: говорил-де

ей дворовый человек Тришка такие речи, что «государь жалует боярина нашего Левонтья и боярыню нашу жалует же, приказывает государыня царица ей челобитье»; а говорил он, Трошка, такие речи: «пьян напився у дьячка на дворе, у Васки Артемьева, а в те поры были они у дьячка в гостях в прошлом во 159 г. в родительскую субботу; а он, дьячок, те речи слышал ли или не слышал, и она, Дунька, того не упомнит». Да Дунька ж в допросе сказала: «Приезжал с Москвы человек их, Янька Григорьев, до присылки за три дня, как их взяли к распросу с вестью; а ночевал он одну ночь, а наутро и поехал к Москве; а что в грамотке писано, и она того не ведает. А как приехал по них сотник Андрей Ромейков, и она в ту пору, Дунька, сидела в комнате у боярыни своей, пряла пряжу и слышала она от жонок, говорили жонки в хоромах: все-де им делается от своего ж, от Тимошки Григорова, а которая жонка говорила такие речи, и она того, Дунька, не упомнит, потому что в ту пору испугалась; а от боярыни своей и от бояр никаких речей она, Дунька, не слыхала». Трошка Максимов в распросе ни в чем не винился, и на очной ставке с Дунькою ставлен, и к пытке приведен, и подыман, и ни в чем не винился. Декабря 19 он, Трошка, и Дунька снова распрашиваны. И, постояв, он, Трошка, винился и говорил: «Приехал-де, Трошка, с Москвы в прошлом в 159 г., а в котором месяце и числе – того не упомнит, и пришодчи-де он в хоромы к боярыне своей, и боярыня его стала спрашивать: здорово ль сын мой живет, Левонтей, и по прежнему ль к нему государева милость, и приказывала ли мне государыня царица челобитье? И он, Трошка, ей говорил: шел-де я дворцом мимо хором государыни царицы, и из хором велела его государыня царица спросить боярыне: жива-ль-де твоя боярыня, скажи-де ей от меня челобитье. А говорил он такие речи боярыне своей с хмелю; а затеял он такие речи сам, а ни от кого он таких речей не слыхал; как по него, Трошку, приехал сотник Андрей Ромейков, и боярыня ему говорила, чтоб он ничего,

Трошка, не сказывал; а весть к нему была ль с Москвы или не была – и он того не ведает». Да Трошка ж в распросе сказал, что приезжал человек их, Янька Григорьев, с Москвы до присылки сотника за три дня, как их взял сотник, а с вестью он, Янька, приезжал или не с вестью – и он того не ведает, а ночевал-де он, Янька, одну ночь дома. И того ж числа сокольник Тимошка Григоров против вдовы Дунькиных и Трошкиных речей распрашиван, что он весть подавал ли или нет? И он, Тимошка, в распросе винился и говорил: писал-де он грамотку и, написав, послал ее со стрельцом к брату своему к Василью Григорову, что говорил на дьячка и на Артемья Бирева и на Даниловых крестьян Григорова, а которого приказу стрелец послал грамотку, и он того не упомнит; а писал он, Тимошка, грамотку до пытки.

Чем окончилось дело – неизвестно.

Обман в свадьбе царицыным жалованным словом

1653 г. «государыне благоверной царице и великой княгине Марье Ильичне всеа Русии бьет челом из Вознесенского монастыря богомолица твоя, старица Ефросинья, твоего, государыня, царицына двору, на Ивана Девулю да Вознесенского монастыря на белицу на вдову Овдотью, что живет у старицы, у Екатерины Солоховой. Жила у меня, богомолицы твоей, в келье сиротка, девочка Макринка, и в нынешнем государыня во 162 г. октября в 11 день пришел ко мне, богомолице твоей, в келью тот Иван Девуля и та вдова Овдотья, тое моей девки сватали за твоего, государыня, царицына крестового дьячка, а сказали мне, богомолице твоей, при старице Маремьяне Красниковой да при вдове-протодьяконице рязанской, при Овдотье, твое, государыня, благоверной царицы и великой княгини Марьи Ильичны, всеа Русии, жалованное слово: по челобитью-де твоего, государыня, царицына крестово-

го дьячка тое мою девку замуж взять. А указала-де ты, государыня, наперед тое моей девки досмотритца, провести мимо тебя, государыню благоверную царицу, октября в 13 день в пятом часу дни; а ты-де, государыня, благоверная царица, будешь в то время гулять в Царя-Борисовой палате; и ту бы-де мою девку провести по улице мимо тое палату. И я, богомолица твоя, им отказывала, что у девки замуж мысли нет и не хочет, а се нага и боса, платья ничего нет. И он, Иван, сказал: платье-де все пожалует государыня, благоверная царица, и полотна с Верху для ради своего крестового дьяка. И октября, государыня, в 13 день в четверг, в четвертом часу дни пришли ко мне в келью тот Иван Девуля да с ним же пришла, нарядясь, женщина, а сказалась мне и перед игуменьею Александрою, что она с Верху от тебя, государыни царицы, наплечного мастерова жена, а пришла-де по тое мою девку к смотренью перед тебя, государыню, провести мимо Царя-Борисову палату, и принесли на девку с собою доброе платье; и я, богомолица твоя, обрадовався твоей, государыня, благоверной царицы и великой княгини Марьи Ильичной всеа Русии, жалованью и призренью к убогой сироте, тое свою девку, не познав их лукавства и обману, нарядив, к смотренью отпустила с ними. И они, государыня, не водя тое моей девки мимо Царя-Борисову палату, отвели в церковь Козмы и Домьяна, что у святых Вознесенских задних ворот, и, изготовя новобрачного, и обвенчали, а обвенчав, и отвели к тому Ивану Девуле во двор, а не за твоего, государыня, крестового дьячка, взяли и выдали; а я, богомолица твоя, про то после сведала. И тот, государыня, новобрачный бродящий, за кого выдана, неведомый и незнаемый нам какой человек. А женився, государыня, ныне он и жить с нею не хочет, посажена у Девули нага и боса, помирает голодною смертью, и велит ей муж постричься. И то, государыня, они учинили, Иван Девуля и та вдова Овдотья, и с приходящею женщиною, умысля великою воровскою ста-

тьею, обманули твоим, государыня, благоверной царицы жалованным словом; тое девку у меня, будто перед тебя, государыню, к смотренью за крестового дьячка, выманили и замуж выдали безвестно, одночасьем. А мы, государыня, того новобрачного до тех мест и в те поры ни знали, ни ведали и в рожеи его не видали. А те, государыня, Иван Девуля и вдова Овдотья, сватая тое девки за твоего, государыня, царицына крестового дьячка, сказывали, что тот дьячок домом и прожитками человек полный и у тебяде, государыни, пожалован. Милосердая государыня, благоверная царица и великая княгиня Марья Ильична всеа Руси, пожалуй меня, богомолицу свою, и тое бедную сироту, вели, государыня, противу сее моей челобитной про то воровство, про оман Иван Девули и вдовы Овдотьи и приходящей женщины с платьем сыскать и свой, государыня, царский указ учинить. Государыня благоверная царица, смилуйся, пожалуй!»

И против сей челобитной отставленный сторож Ивашка Девуля распрашиван, а в распросе сказал: «В нынешнемде во 162 г. октября в 11 день Вознесенского монастыря к старице Офросинье в келью не прихаживал, и девки ее Макритки государыни царицы за крестового дьяка не сватывал, и таких речей ей Офросинье не говаривал, что тое девки наперед посмотрить и провесть тое девку мимо Царя-Борисовской палаты, а государыня царица будет в те поры в тех палатах; а в тех-де числах, которые писаны в челобитной, приходил он, Ивашка, в Вознесенский монастырь к келарю, к старице, а как зовут – того он не упомнит, и ей говорил, чтоб она у себя в монастыре поискала девки, которая б была летна, хотя и увечна, и нага, и боса, а жениха-де, ты сама знаешь, что зовут Фролом Минин, малоумен; и келарь-де ему, Ивашку, сказала, что она про него припамятовала, каков он, а невесты хотела поискать; а ему, Ивашку, велела у себя побывать иным временем. И он, Ивашка, от того келаря пошел к себе домовь и тут же-

де, на монастыре, попалась ему, Ивашку, навстречу вдова Дунка, Осипова дочь, что живет того ж монастыря у старицы, у Катерины Солоховы; и он-де, Ивашка, ее, Дунки, спрошал тому ж Фролу про невесту; и она-де, Дунка, ему, Ивашку, сказала про девку Сухоруку, которая живет того ж монастыря у старицы у княжны Александры Голицыны, и он-де, Ивашка, пришел к той старице к подклету, и та девка вышла к нему из подклета сама и ему, Ивашку, отказала, что она замуж не хочет, а хочет постричься; и он-де, Ивашка, отшедчи от той кельи, и стал с тою ж вдовою Дункою, и старица-де Офросинья шла мимо их, и Дунка-де учала ей, Офросинье, говорить: у тебя-де есть девка сиротинка, а Ивашка-де спрашивает невесты. И та-де старица Офросинья учала его, Ивашка, спрашивать: за какого-де ты человека сватаешь? И он-де, Ивашка, стал ей про Фрола рассказывать, что он, Фрол, – человек уродивой; и та-де старица послала тое вдову Дунку к нему, Ивашку, на двор того Фрола смотреть, и, смотрев, она, Дунка, его, Фрола, пришли с ним, Ивашком, к той старице Офросинье в келью, и с тою старицею он, Ивашка, за того Фрола тое девку и по рукам ударили; а поверила-де она, Офросинья, слову вдовы Дунки; и на завтрее-де того сватанья пришел он, Ивашка, к той старице Офросинье по невесту с отцом его, Хроловым, духовным, а как того попа зовут – того он не ведает; а служит-де он у Кузмы Демьяна, что у Чудова монастыря у святых ворот; да с свахою портного мастера с Ларкиною женою. И, взяв тое девку, со Фролом венчали в церкви Кузмы Демьяна. А против челобитной таких речей он, Ивашка, не говаривал, и жонке Дашке наплечного мастера женою называться он, Ивашка, не веливал».

А жонка Дунка в распросе сказала: «В нынешнем-де в 162 г., а в котором числе – того она не упомнит, приходил-де к ним в монастырь Ивашка Девуля и спрашивал ее, Дунку, где она живет, и ему-де, Ивашку, сказали, что живет она у старицы Александры Мещениновы; и он-де, Ивашка, к той

келье пришел; и она-де, Дунка, к нему, Ивашку, вышла, и он, Ивашка, учал ее спрашивать про невесту, девку-сиротинку лет в сорок, а у него-де, Ивашка, жених есть, лет в сорок же, Фролом зовут Минин. И она, Дунка, сказала ему, Ивашку, про невесту – девку Макритку, что живет у старицы Офросиньи, а та-де старица Офросинья, неведомо отколь пришла к ним тут же, и она, Дунка, учала ей, Офросинье, говорить, чтоб она тое девку за Фрола выдала замуж. И та-де старица послала к нему, Ивашку, на двор того Фрола смотреть; и она-де, Дунка, у него, Ивашка, на дворе была и Фрола смотрела и про него той старице Офросинье сказала; и старица-де с тем Ивашком за того Фрола замуж тое девку и по рукам ударила; а она, Дунка, за тое девку замуж по рукам ни с кем не бивала. И на завтрее того дни была у них свадьба. А что-де в челобитной старицы Офросиньи написано, того она ничего от Ивашка и от жонки Дашки таких речей не слыхала, и как она называлась наплечного мастера женою».

А жонка Дашка, Сидорова дочь, в распросе сказалась: «Портного мастера Ларкина жена Григорьева; была-де она, Дашка, по челобитью Фрола Минина у него, Фрола, на свадьбе в свахах и ходила в Вознесенской монастырь к невесте его, Фролове, с платьем свадебным; а были-де с нею в монастыре Ивашка Девуля да муж ее Ларка; а как-де она пришла в монастырь и ее-де спрошала Вознесенского монастыря игуменья, чья-де ты жена? И она-де, Дашка, игуменье сказала, что она гулящего человека Ларкина жена, портного мастера, а наплечного мастера женою она, Дашка, сама не называлась, и никто ее не научивал».

Челобитье на поругательницу жену

1670 г. в декабре царицы Марьи Ильичны чину сын боярской Никифор Скорятин бил челом на жену свою Пелагею, а в челобитной его написано: «Жалоба, государь, мне на поругательницу на жену свою Пелагею: в 176 г.

кусала она, жена моя, тело мое на плечах зубом, и щипками на руках тело мое щипала и бороду драла; и я, холоп твой, бил челом тебе, великому государю, в Приказе Мастерские палаты и подал челобитную окольничему Василью Михайловичу Еропкину. И против моего челобитья меня, холопа твоего, дьяк Иван Взимков в Приказе Мастерской палаты поругательство жены моей и зубного яденья на теле моем досматривал, и в том ее поругательстве жене никакого указу не учинено. И в 178 г. она, жена моя Пелагея, хотя меня, холопа твоего, топором срубить, и я от ее топорового сеченья руками укрывался, и посекла у меня правую руку по запястью, и я от того ее топорового посечения с дворишка своего чуть жив ушел и бил челом в Приказ Мастерской палаты стольнику Федору Прокофьевичу Соковнину; и стольник Ф. П. Соковнин приказал посеченую мою рану записать; и от той посеченой моей руки я вовеки увечен. Да и впредь она, жена моя, хвалится на меня всяким дурным смертоубивством, и по твоему государеву указу посажена она, поругательница, жена моя, за приставы; и она, сидя за приставы, хвалится на меня и ныне всяким дурным смертным убивством. Милосердый государь! Пожалуй меня, вели в таком поругательстве и в похвальбе ее, жены моей, свой царской указ учинить и меня с нею развесть, чтоб мне от нее, жены своей, впредь напрасною смертью не умереть». «*Помета*: 179 дек. 19 велеть противо челобитья на патриархов двор послать память и с памятью отослать Микифора Скорятина и с женою его с Полагеею». (Посланы с указом: учинить по правилом св. апостол и св. отец, чего доведется.)

Дело комнатной бабки, укравшей горсть соли

1671 г. августа в 13 день по указу (великого государя царя) и великого князя Алексея Михайловича (титул) государыни царицы и великой княгини Наталии Кирил-

ловны *комнатная бабка* Марфа Тимофеева «роспрашивана накрепко, а сказала: в нынешнем-де в 179 г. августа 11 дня пришла она к мыленке государыни царицы и перед мыленкою-де ходила и стряпала доктор Литовка, и принесла перед мыленкою на серебряном блюде грибы и поставила на том же серебряном блюде. А ей-де, Марфе, до того времени грибов печеных велми хотелось есть. И она-де украла перед мыленкою в сенях из стола соли из сковородки, из которой про государыню царицу в кушанье вынимает доктор. И она-де из той соли взяла в горсть тайно... к грибам и хотела с того серебряного блюда, которые принесены в стряпню про государыню царицу, украсть гриб и тою краденою солью тот краденый гриб осолить и испечь тут же в печи, где стряпают кушанье про государыню царицу. И в то-де время увидела дохтуриха, что она соль украла, стала ее в сенях спрашивать, что у ней в горсти? И она-де, Марфа, сказала ей, докторихе, что у ней в горсти ничего нет. И от той дохторихи пошла в мыленку для того, чтоб ей соль высыпать на землю, чтоб ее не увидели. И как-де она вошла в мыленку и увидела, что в мыленке сидит Анна Леонтьевна, испужалась ее, и тое соль подле ушата в мыленке у дверей из руки высыпала на землю. А в то-де время варили шти про государыню царицу. И, высыпав соль, пошла тотчас назад из мыленки, и доктериха-де ее спросила, что она носила в мыленку? И она сказала, что ничего не носила. И пошла от мыленки к портомойне. И у портомойни-де варила грибы государыни царевны и великой княгини Евдокии Алексеевны комнатная ж Офросинья. И она-де, Марфа, взяла гриб и, испекши, съела, для того, что ей безмерно хотелось в то время грибов есть. И после-де того, на другой день в субботу в обед, пришли в казенную Матрена Блохина и Марина Киникина. И сказала ей, Марфе, Марина, что-де про ее Марфино дело государыне царице известно. И она-де учала бить челом Матрене Блохине, чтоб ее заступила. И Матрена-

де на нее закричала и велела ей, Марфе, ехать к Москве. И она-де и поехала.

А нынешнего-де августа 13 числа была она у обедни у себя в приходе, в Хамовниках, у церкви Николая чудотворца, и, идучи-де от обедни, сошлась с соседкою своею, государыни царевны и великой княгини Софии Алексеевны, с постельницею с Марфою Кузминой и говорила ей со слезами, что она без хитрости впала в беду. И Марфа-де спрашивала ее, в какую беду? И она-де ей рассказала, как она соль украла и как хотела гриб украсть и, испужався Анны Леонтьевны, тое соль высыпала на землю в мыленке подле кади, и чтоб она, Марфа, где ей мочно, заступила. И Марфа-де ей сказала, чтоб она уповала на Бога, и на их государскую милость, и на бесхитростные вины их государское милостивое рассмотренье. И пошла-де она, Марфа, к себе на двор, потому что она живет в Хамовной слободе, и муж у ней был тое слободы тяглец, а сын и ныне живет в той слободе, а торгует в серебряном ряду. А родом-де отец ее был сын боярский Карташовых, а которого городу – того не упомнит. А сестра ей родная в Верху у государыни царицы в портомоях, а муж у ней был Стретенской сотни тяглец, Гришкою звали. А иных никого в Верховом чину и в государеве дворе сродников у ней нет.

Да она ж сказала, что хотела она бить челом великому государю, чтоб великий государь пожаловал велел ее отпустить в монастырь, что она в разуме проста, а *ныне*-де *стало не по прежнему жестоко*, никто-де ни о чем доложить не смеет, разве-де одна Матрена Блохина доложит о каком деле доведется. А она-де, Марфа, никуда в домы не вхожа и в деревнях у ней никого нигде сродников нет. А что-де она соли украла и гриб хотела украсть, и как ее спрашивали, что она в горсти несет и она запиралась, и то-де все учинила она без хитрости, для того, что-де ей и наперед сего грибы докториха давывала, и она-де в мыленке пекала. А она-де, Марфа, про государыню царицу делает всегда кислые шти,

а хитрости никакие за нею нет и не было, работает им, государем, лет с тринадцать.

И для подлинного розыску допрашивана государыни царевны и великой княгини Софии Алексевны постельница Марфа Кузмина, что ей нынешнего числа говорила бабка Марфа? И постельница Марфа сказала против распросу комнатные бабки Марфы: а родом она сказалась Вяземка, посадского человека жена, и *родители* все у ней и ныне в Вязме на посаде, а иных никого *родителей* нигде нет.

И бабка Марфа подымана на дыбу и висела, а сказала прежние свои речи. Она ж и к огню приношена и всячески стращена, а говорила то ж, что и в распросе сказала. И после распросу Марфа Кузмина освобождена, а Марфа Тимофеева посажена на Житном дворе в приказной избе за караул»[1].

Царицыны дети боярские в провожатых за боярынею

1673 г. апреля 10 в Приказе Мастерской палаты по случаю внезапной смерти одного из царицыных детей боярских, следовавших в проводах за боярынею, произведен был расспрос: отчего ему смерть приключилась? Тогда царицына чину сын боярский Иван Тавлеев в распросе сказал: «Апреля в 6 день ходили они, дети боярские, восемь человек с дворца на двор к окольничему к Ивану Михайловичу Милославскому, провожали боярыню Оксинью Мертвого да девку боярычню; а детей боярских было: Иван Кутузов, Илья Парской, Истома Брянцов, Иван Левашов, Григорий Мелехов, Яков Степанов да умерший Федор Аменев. И тот Федор с дворца шел за колымагою пьян, да и у Ивана Михайловича пил вино двойное, и пиво, и мед. И с двора окольничего Ивана Михайловича Милославского за тою колымагою пошли все; а как он, Федор, от колымаги отстал, и кто его бил ли, и как ему смерть

[1] Сообщено П. П. Пекарским.

случилась – того Иван Тавлеев не ведает, потому что все дети боярские были пьяны. Иван Кутузов сказал те ж речи, Истома Брянцев сказал те ж речи, Яков Степанов сказал те ж речи. А в том-де они все шлются на боярыню Оксинью Мертвого, и на девку боярычню, и на постельниц, которые за боярынею были, как они с двора окольничего И. М. Милославского подле той колымаги шли до самого дворца, а от колымаги ни на час не отставывали и ни с кем не бранивались. А приехала-де та боярыня на дворец, и они за нею пришли в четвертом часу ночи, и, проводя боярыню, пошли все семь человек в Кисловку вместе, а про него, Федора, чаяли, что он, отстав, пошел домов. После того осматривали умершего сына боярского Федора Аменина, а по осмотру половина лба и нос весь замерло багрово и на спине да на левом локте багрово ж».

Царевнина карлица в гостях

«1677 г. генваря 7 царицы Наталии Кирилловны сенной сторож Федка Степанов, прозвище Бородавка, про приезд к нему в дом карлицы девки Овдотьи и про скорую смерть ее распрашиван, отчего ей та скорая смерть учинилась; а в распросе сказал: царевны Екатерины Алексеевны карлица девка Овдотья приехала к нему в полчаса ночи, да с нею ж приехали Володимерова приказу Воробина стрелец Андрюшка Левонтьев, да сестра ее родная Огашка, того ж приказу стрельца Васкина жена Рожи, а его-де, Федки, в то время дома не было, а была в то время дома жена его Окулка; а как он пришел домой в час ночи, и она, карлица Овдотья, с женою его Окулкою были в то время в вышке, и из вышки сошли с ним, Федкою, в избу, и он им поднес вина по достоканцу троецкому и ужинали вместе и, поужинав, легли спать часу в девятом ночи; и проснулися они часу в десятом ночи и увидели они тое карлицу: лежит лицом к подушке мертва, а отчего ей та

смерть случилась – того он не ведает; а прежде сего в гостях она и сестра ее у него не бывали, а приехали они к нему впервые; да у него ж был в гостях и ночевал Стретенской сотни тяглец Ефремко Офонасьев, по знакомству. Федкина жена в распросе сказала: приехала к ним карлица девка Овдотья за полчаса до ночи, да с нею же приехала сестра ее родная Огашка да стрелец Андрюшка Левонтьев; а приехали к ним они пьяны; а сказала она, карлица, что была она у сестры своей родной Огашки; а мужа ее, Окулкина, в то время дома не было, а где он был – того она не ведает. И она им поднесла по достоканцу троецкому вина, а в достоканце будет чарки две или три, и после того водила она, Окулка, ее, карлицу, из избы в вышку одное и там ей поднесла тот же достоканец вина ж; а муж ее пришел домой часы в отдачи и ужинали вместе, а за ужином поднесли им по два ж достоканца; и, отужинав, стала она, карлица, говорить, чтоб ей дали место, где ей спать. И они положили подушку на лавку, и она тут и легла спать в час ночи; а они сидели часу до пятого ночи и хотели ее разбудить, чтобы она с ними ж сидела, и стали ее будить, и онаде лежит мертва, лицом к подушке; а тоскованья у нее и иные болезни не видали; только у мертвой усмотрели, что изо рта у ней шла пена. Стретенской сотни тяглец Ефремко Афанасьев в распросе сказал: был он в гостях у Федки Бородавки и к нему пришел стрелец Андрюшка Левонтьев и сказал ему, Федке, что будет к нему в гости карлица, и он, Федка, ходил для тое карлицы покупать вина. И без него, Федки, та карлица к нему приехала, да с нею сестра ее Огашка, да стрелец Андрюшка Левонтьев; а была-де в то время дома жена его, Федкина, Окулка; и поднесла им вина по достоканцу троецкому; а у Окулки в то время было подпито; и пошептала ей карлице она, Окулка, на ухо, и пошли из избы вон и, помешкав, пришли опять в избу; и Федка в то время пришел с ними ж в избу вместе, и сели ужинать; и та карлица ужинала и за ужином пила

вино тем же достоканцом и после ужина легла она, карлица, спать, и они все полегли спать же. И часу в пятом ночи стали ее будить, и она, карлица, мертва и лежит лицом к подушке, и лицо у ней посинело. Володимерова приказу Воробина стрелец Андрюшка Левонтьев в распросе сказал: карлицы Овдотьина сестра родная Огашка живет у отца его, у Левки, на дворе. И генваря в 1 день в понедельник приехала к ней, Огашке, сестра ее, карлица Овдотья, и жила у них генваря до 6 числа, а генваря в 6-м числе за два часа до вечера поехала от них та карлица с сестрою своею Огашкою да с ним, Андрюшкою, не пив ничего и не етчи, и приехала к Федке Бородавке в гости; а как они приехали и Федки в то время дома не было, а была жена его Окулка, и, знать, что у нее было подпито; и поднесла им по достоканцу вина и, поднесши им вина по достоканцу, и пошептала ей, карлице, в ухо, и карлица ей, Окулке, говорила, что-де мне с тобою делать? И она, Окулка, ей сказала: что-де заставят, то и делай! И взяла ее в вышку, и были в вышке с четь часа; и в то время Федка Бородавка пришел домой и прошел к ним же в вышку и, быв у них, Федка сошел в избу; после того вскоре и она, Окулка, и карлица сошли в избу ж и в избе сели на лавке; и в то время подносили им пасынок его, Федкин, и жена его Окулка и он, Федка, по достаканцу вина; и она, карлица, выпила у них только один достоканец, а двух достоканцев не пила, а говорила: полно-де пить вина, и так-де тошно; и объявилось, что хмель ее стал изнимать и стал язык мешаться; и сели они ужинать вместе, а как поставили студень, и она взяла кусок мяса и не донесла до рта, уронила и стала, сидечи, дремать и, дремав, храпела, и слины у ней изо рта текли; и подле ее положили подушку, и она на тое подушку повалилась беспамятно ничь; и, лежав, храпела, а после икала; а лежала она с четь часа, и стали ее будить, чтоб она, встав, с ними сидела, а она лежит мертва; а как ее подняли, и у ней лицо да правая рука посинели, а живот взнесло высок.

Карлицына сестра Огашка в распросе сказала те ж речи, что и Андрюшка, только в речах своих убавила, как-де ей, карлице, положили на лавку подушку и она, карлица, на тое подушку не сама повалилась беспамятно, а положила ее, карлицу, на тое подушку она, Огашка».

Пропавшая церковная чаша

1686 г. июля против 28 числа в церкви Пресвятой Богородицы Похвалы у всенощного пропала церковная чарка серебряная с житием Иосифа Прекрасного. 31 июля указано крестовых дьяков, и псаломщиков, и пономарей, которые тогда были на всенощной, роспросить подлинно. Указ о том был из хором царевны Екатерины Алексеевны. Одни сказали, что в церкви были, но в алтарь не входили и чарки не видали. Псаломщик Михаил Далматов сказал: «у всенощного в церкви он был, стоял на крылосе, и во всенощное пение из трапезы к крылосу вынесла девица Ирина щипцы медные, а велела вычистить пономарю, и он, Михайло, взяв те щипцы и вшед в алтарь, спросил пономаря, и в алтаре-де в то время пономаря не было; и он, вышед из алтаря, те щипцы сукном, которое прибито в приделе Алексея Человека Божия, вычистил и, вычистя, отдал той же девице Ирине; а чарки из алтаря он не имывал. Псаломщик Петр Борисов сказал, что он у всенощного был на левом крылосе, и в вечернее пение пришла к крылосу старица Афонасья Потемкина и велела ему послать пономаря Семена по священника по Дементиана, и он, Петр, того пономаря послал, а чарки из алтаря не имывал. Пономарь Иван Артемьев сказал: у всенощного пения в церкви был он в алтаре с товарищем своим, с пономарем же, с Семеном Тимофеевым, а седмица-де по очереди была его, Иванова; а пропавшая серебряная чарка стояла в приделе Алексея Человека Божия на горнем месте. Семен Тимофеев сказал: пришел он ко всенощному в то время, как поча-

ли говорить на вечерни кафизму, и, пришед в алтарь, чарки не видал. И того ж часа псаломщик Петр Борисов послал его по священника по Дементиана, и с тем священником пришел он в церковь на вечерни во время литии; и на стиховне он, Семен, вышел из церкви и стоял на паперти, и после того вышел к нему товарищ его Иван в кафизму, как учали говорить, на утренне; и сидели на паперти до второй кафизмы и пили кислые шти, и пошел с товарищем благовестить и звонить и, пришед в церковь после звону, той чарки он не хватился, а в соборном алтаре в то время были священник Дементиан да дьякон Борис; а как чарка пропала – того он не ведает; а хватился он той чарки того ж числа перед обеднею для изготовленья к службе священнику воды; а кто чарку взял, – того он не ведает».

«194 г. августа 3 великие государи цари указали распросить (их всех) в застенке с большим пристрастием накрепко, чтоб они сказали правду, кто из них чарку из церкви взял. Августа 4 крестовые дьяки, и псаломщики, и пономари в Кадашеве на Хамовном дворе в застенке у пытки распрашиваны с большим пристрастием накрепко и руки в хомут кладены. Все сказали прежние свои речи. Пономарь Иван Артемьев прибавил: августа 2 приходил к ним в Истопничую палату поп Василий, который служил у церкви Похвалы июня в 28, и говорил ему, Ивану, и всем им: "За то-де вам, для чего мне заслуженых денег не дали, да и впредь-де мне заслуженые деньги платить станете". И он, Иван, учал ему, попу, говорить, чтоб он чарку серебряную, которая пропала из церкви, отдал. И тот поп замолчал и молвил, что-де у него чарки никакой нет, и из палаты от них вышел вон».

194 г. августа 5 великие государи указали: которые сидели в Кадашеве на большом Хамовном дворе в пропалой церковной чарке – свободить. Указ о том из хором царевны Екатерины Алексеевны сказала боярышня Марья Ивановна Шеина.

ГЛАВА VI
ЦАРИЦЫНЫ НАРЯДЫ, УБОРЫ И ОДЕЖДА

Общий обзор. — Головной убор, девичий и женский. — Золотые уборы, или ларечная кузнь: золото, саженье, низанье. — Одежды. — Обувь. — Мастерская палата. — Светлица и ее рукоделья. — Белая казна.

Иностранцы, бывавшие в Москве в течение XVI и XVII столетий, единогласно восхваляют красоту русских женщин; иные (Лизек) присовокупляют, что красоте соответствовали и достоинства ума. Но зато все очень неодобрительно говорят о разных прикрасах женского лица, которые были в большом употреблении и, по их замечанию, только безобразили природную красоту. Один итальянец (Барберини), видевший наших прабабок в половине XVI столетия, отмечает вообще, что русские женщины чрезвычайно хороши собою, но употребляют белила и румяна и притом так неискусно, что стыд и срам! О том же свидетельствует Флетчер, говоря, что женщины, стараясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся так много, что каждому это заметно; что этого не стараются и скрывать, ибо таков обычай; мужчинам это очень нравится, и они радуются, когда их жены и дочери из дурных превращаются в красивые куклы. Из его слов можно заключать, что всякие притиранья в то время вовсе не имели значения искусственных средств подделывать природу, натуру лица или своей красоты, а были, так сказать, необходимою одеждою лица, без которой невозможно было появиться в обществе. «Что касается женщин, – говорит Петрей (нач. XVII столетия), – то они чрезвычайно красивы и белы лицом, очень стройны, имеют небольшие груди, большие *черные* глаза, нежные руки

и тонкие пальцы, только безобразят себя часто тем, что не только лицо, но глаза, шею и руки красят разными красками – белою, красною, синею и темною: черные ресницы делают белыми, белые – опять черными или темными, и проводят их так грубо и толсто, что всякому это заметно. Так они украшаются особенно в то время, когда ходят в гости или в церковь», т. е. вообще, когда появляются в общество. Олеарий в половине XVII столетия пишет между прочим: «Русские женщины вообще среднего роста, стройны, нежного телосложения, красивы, но в городах все почти румянятся, притом чрезвычайно грубо и неискусно; при взгляде на них можно подумать, что они намазали себе лицо мукой и потом кисточкой накрасили себе щеки. Оне красят себе также брови и ресницы черною, а иногда и коричневою краскою». Дальше он говорит, подтверждая Флетчера, что это был неизменный обычай, которому противиться не было никакой возможности. «Посещая своих близких или являясь в общество, женщины непременно должны быть нарумянены, несмотря на то, что от природы они гораздо красивее, чем в румянах». Это исполняется ими для того, объясняет автор, чтобы природная красота не брала перевеса над искусственным украшением. Стало быть, прибавим мы, это исполнялось для того, чтобы одеть лицо в известный образ красоты, возможно ближе стать под известный, господствовавший в то время ее тип и идеал, как в действительности и было, о чем скажем ниже. В доказательство своего заключения автор приводит пример. «Так, – говорит он, – во время нашего пребывания в Москве, когда жена знатного вельможи князя Ивана Борисовича Черкасского, женщина прекрасной наружности, не хотела сначала румяниться, то тотчас же оговорена была прочими женами бояр: зачем-де она презирает обычаи своей земли, что хочет, видно, опозорить прочих подобных ей! И чрез мужей своих они до того довели дело, что от природы прекрасная женщина должна была румяниться и, так сказать, уподобиться свечке, зажженной

при светлом солнечном сиянии». Такова была власть обычая, власть общественного мнения, прибегавшего, по характеру века, к самым предосудительным способам, чтобы заставить противника повиноваться. Очень вероятно, что дело о белилах и румянах Черкасской доходило до царя и что из хором царицы ей указано строго держаться в этом отношении общего уровня. Англичанин Коллинс, описывая такие обычаи русских женщин, замечает, что «румяны их похожи на те краски, которыми мы (англичане) украшаем летом трубы наших домов и которые состоят из красной *вохры* и испанских белил (из висмута). Они *чернят* свои *зубы* с тем же намерением, с которым наши женщины носят *черные мушки* на лице (т. е. для придания лицу большей белизны или белизне лица большей выразительности). Зубы их портятся от меркуриальных белил, и потому они превращают необходимость в украшение и называют красотою сущее безобразие. Здесь любят низкие лбы и продолговатые глаза, и для того стягивают головные уборы так крепко, что после не могут закрыть глаз, так же, как наши женщины не могут поднять рук и головы. Русские знают тайну чернить самые белки глаз. Маленькие ножки и стройный стан почитаются безобразием. Красотою женщин они считают толстоту. Худощавые женщины почитаются нездоровыми, и потому те, которые от природы не склонны к толстоте, предаются всякого рода эпикурейству с намерением растолстеть: лежат целый день в постеле, пьют русскую водку, очень способствующую толстоте, потом спят, а потом опять пьют». «Женщины в Московии, – прибавляет Корб (кон. XVII столетия), – имеют рост стройный и лицо красивое, но врожденную красоту свою искажают излишними румянами; стан у них также не всегда так соразмерен и хорош, как у прочих европеянок, потому что женщины московские носят широкое платье, и их тело, нигде не стесняясь убором, разрастается, как попало». Путешественникам с европейского Запада наша старая жизнь казалась вообще до чрезвычайности

странною, нелепою, чудовищною, и они, как видим, каждый по своему старались объяснить себе ту или другую сторону наших бытовых порядков. Относительно женских прикрас иностранцев главным образом поражало, как нельзя не заметить, полнейшее отсутствие и малейшего даже искусства, малейшей утонченности в употреблении таких прикрас; их поражала эта необыкновенная грубость мазанья и без того красивого лица. Но существовали же какие-либо причины, достаточные для того, чтобы крепко держался подобный нелепый обычай. Нам кажется, что первою из таких причин был своеобразный русский идеал женской красоты, а вторую – недостаток лучших средств в самих материалах, ибо краски для притиранья употреблялись простые и грубые, особенно в среднем городском быту, какой больше всего и наблюдали заезжие иноземцы. У русской красоты было

Белое лицо, как бы белой снег,
Ягодицы (на щеках), как бы маков цвет,
Черные брови, как соболи,
Будто колесом брови проведены;
Ясные очи, как бы у сокола...
Она ростом-то высокая,
У ней кровь-то в лице, словно белого заяца,
А и ручки беленьки, пальчики тоненьки...
Ходит она, словно лебедушка,
Глазом глянет, словно светлый день...

Несмотря на то, что эта последняя черта русской красоты – «ее взгляд, словно светлый день», – переносит представления о ней в область идеалов поэтических или романтических, однако в общем ее типе, как видим, господствуют представления самые материальные, господствуют сильные, резко определенные краски без всякой поэтической, т. е. романтической отживки, а так, как ими расписывались старинные эстампы деревянной лубочной печати.

В приведенном изображении идеала женской красоты материально обрисовываются и самые средства, какими обыкновенное лицо могло достигать этого идеала. Белизна лица уподоблялась белому снегу – естественно было украшать его белилами в такой степени, что в цвете кожи не оставалось уже ничего живого, ибо и самый первообраз не указывал ничего живого или поэтически и эстетически жизненного. Само сравнение «кровь-то в лице, словно белого заяца» еще сильнее обозначает то же представление о снегоподобной белизне лица. «Щеки – маков цвет», или «щечки – аленький цветок» точно так же свое идеальное низводили слишком прямо и непосредственно к простому материальному уподоблению красному цветку мака. Маков цвет должен был покрывать, как бы цветок на самом деле, только ягодицы щек; таким образом, снегоподобная белизна должна была довольно резко освещаться ярким алым румянцем, который не разливался по всему лицу, а горел лишь на ягодицах. Очень понятно, что при таком сочетании на лице белого и красного цвета требовался и цвет волос на бровях и ресницах наиболее определенный, который бы как можно сильнее выделял эту *писаную* красоту всего лица. Конечно, для такой цели ничего не могло быть красивее черных волос соболя – тонких, мягких, нежных, блестящих. Оттого соболь становится исключительным идеалом для характеристики бровей, и черная соболиная бровь, проведенная колесом, является необходимым символом красоты. Все это вместе служило самою выгодною обстановкою именно для светлости и ясности глаз. Ясные очи своим блеском, а вместе и взглядом, указывали идеал ясного сокола, который, по всему вероятию, и ясным обозначался тоже за особую светлость своих глаз. Однако ж для того, чтобы еще больше возвысить ясность, светлость и блеск очей, подкрашивали не только ресницы под стать бровям тоже черною краскою, сурьмою, но пускали черную краску и в самые глаза особым составом из металлической сажи с гуляфною водкою или розовою водою.

Таким образом, Петрей мог справедливо говорить, что у русских женщин глаза черные, чего, конечно, в действительности не было, но выходило так по украшениям бровей, ресниц и самых белков.

Черные брови и ресницы, как и черные глаза, служили типом желаемой красоты, а потому и господствовали в уборе красавиц, и тем более что сурмление доставляло более легкую возможность уподобить прикрасу самой природе. Другое дело было, когда желали украсить волосы под цвет русых или темно-русых. Недостаток доброго материала или же неискусство в составлении краски тотчас обнаруживалось, и волосы выходили коричневыми, как замечает Олеарий. Что же касается украшения ресниц белою краскою, о котором говорит Петрей, то, вероятнее всего, здесь лишь неискусно употреблялись белила или какая-либо пудра собственно для украшения лица. То же до́лжно сказать и о синем цвете, который на лице, на шее и на руках мог происходить от плохих белил или румян, оставлявших по себе синеватые следы. Как бы ни было, но эпический идеал красоты, живший с незапамятных времен в воображении народа, заставлял своими указаниями приближать к нему всякий образ красивого лица. Он должен был подчинять своему образу все другие представления о красоте, уравнивать их по своим чертам.

Однако ж, в сущности, основным понятием или основным представлением о красоте женского лица в допетровской Руси было простое представление о физическом цветущем здоровье. Это, конечно, самая коренная идея красоты. Старина не только не уважала бледной и изнеженно-слабой красоты, но почитала ту и другую болезненным состоянием здоровья, если так бывало на самом деле, или же относила эти болезненные по ее понятиям признаки прямо к худому поведению, к разврату, которому и самое имя выводила из одного корня со словом «бледный». В этом она совершенно расходилась с понятиями красавиц кон. XVIII столетия, а отчасти и нашей памяти, которые употребляли

всевозможные способы, *чтоб побледнеть*. Рассказывают, что некоторые из них всякое утро принимали по восемь катышков белой почтовой бумаги и беспрестанно носили под мышками камфору; также кушали мел, пили уксус и т. п.[1], стараясь достигнуть этой желанной цели. Старинные допетровские красавицы, напротив, употребляли все усилия, чтобы казаться в полном смысле девицами красными, и расцвечивали себя, как маков цвет. Идея романтической, сентиментальной красоты не была им известна; они еще были очень близки к самым реальным представлениям по этому предмету, к древнейшему коренному значению самого слова «красота». Они еще переживали эпический возраст русского развития, а потому и были так материальны в своих понятиях о красивом лице.

Само собою разумеется, что и в их время, как и во всякое время, уборы и наряды должны были служить тому же господствовавшему идеалу красоты. Головной убор, как и убор одежды, точно так же ставил себе целью придать лицу еще большую цветность и вообще возвысить описанную красоту в большей степени. Неизменные части такого убора всегда стремились произвести необходимую гармонию и с белизною лица, с алыми щеками и черными бровями, для чего в головном уборе одно из видных мест занимал убрус – повязка из тонкого белого полотна с золотым шитьем и низаньем из жемчуга; золотные кики украшались жемчугом в таком виде, что жемчужные нити окаймляли белое лицо со всех сторон: лоб украшала жемчужная кичная поднизь, стороны у щек – жемчужные нити ряс, шея красилась жемчужным стоячим ожерельем или же жемчужною нитью, которая называлась *перлом*. Припомним, что и самое достоинство жемчуга заключалось в особенной белизне и чистоте его блеска; желтого жемчуга, по свидетельству торговой книги XVI столетия, никто не покупал на Руси.

[1] Магазин общеполезных знаний с присовокуплением модного журнала. Ч. II. – СПб. 1795. – С. 271.

Среди жемчуга иногда блистали дорогие каменья, большею частью лалы (алые, малиновые) и изумруды, цвет которых подбирался с тою же главною целью придать лицу и глазам наибольшую цветность, светлость и выразительность. Само собою разумеется, что общим фоном для всех таких уборов служило непременно золото, т. е. золотное тканье, шитье, плетенье, а также и золотая кузнь, кованье в различных видах. Без золота невозможно было устроить никакого убора; это был самый обычный, общеупотребительный материал для всяких уборов, как и для убора самого платья. Для алых щек являлся господствующим особый цвет материй, атласов, бархатов, камок и т. п., именно червчатый и алый. На шапках этот цвет красился также жемчугом, что придавало немало блеску притиранью лица, румянам и белилам. В отношении бровей и ресниц их цветность усиливалась еще в большей степени меховою, обыкновенно черною бобровою или соболиною опушкою шапки. Мех, особенно соболий и бобровый, принадлежал к самым любимым и неизменным уборам в одежде, и нет сомнения по той именно причине, что вполне отвечал тогдашним идеальным представлениям вообще о женской красоте, служил самою изящною для нее и наиболее выразительною рамкою. Почти все одежды, особенно выходные, парадные – как зимние, так отчасти и летние, – окаймлялись бобровым пухом; а накладное бобровое ожерелье – род пелерины – составляло самую видную часть женской одежды в торжественных случаях и принадлежало к царственным уборам цариц и зимою, и летом. При этом дóлжно заметить, что бобровый мех для таких уборов всегда подкрашивался черненьем. Словом сказать, русские красавицы XVI и XVII столетий вовсе не были безучастны к красоте своего наряда; они вовсе не были такими, какими их рисуют некоторые наши исследователи, говоря вообще, что русские женщины допетровского века «не заботились ни об изяществе формы, ни о вкусе, ни о согласии цветов, лишь бы блестело и пестрело!.. Не имели понятия о том,

чтоб платье сидело хорошо» и т. д. Русские красавицы, как и красавицы всех времен и народов, точно так же очень много заботились о том, чтобы нарядиться *к лицу*, и нарядиться со вкусом и изяществом, как этот вкус и изящество сознавались в их время. Вкус и понятия изящного и красивого по отношению к одежде – вопрос весьма сложный и весьма спорный, так что, не разобравшись в подробностях всего дела, едва ли можно выводить решительные заключения. Необходимо прежде всего раскрыть основы и все условия, какие способствовали в известное время образованию того или другого вида эстетических представлений и вкусов.

Уже давно решено, что достоинство вкусов трудно оспаривать, и нельзя не согласиться, что вкусы, управляющие повседневными мелочами жизни, суть только выразители известной минуты в развитии эстетических, а также и нравственных идей и представлений у того или другого народа. В деле вкуса нравственные идеи имеют даже преобладающее значение. Нравы же в своих мелочах преходят, видоизменяются, как и все то, что именуем жизнью; а вместе с ними преходят и видоизменяются и вкусы, чему самым выразительным доказательством служат наши моды, которые так нравятся в свое время и становятся потом так нелепы и смешны. В этом отношении с такою же долею правды можно судить, упрекая в отсутствии вкуса, даже рассудка, обо всякой старой моде. С точки зрения наших мод, мы засудим, конечно, все, что с ними не согласуется. Но старинное народное платье, которое было носимо не месяцы или только годы, а целые столетия, всегда отличается несравненно в меньшей степени разными нелепостями и неразумием вкуса. Его покрой и характер убора установляется и обрабатывается под влиянием самой культуры народа, и потому в нем лежит всегда какая-либо очень разумная основа, которая дает ему многие черты, отвечающие вкусам всякого времени, следовательно, вообще отвечающие закону изящного, не говоря

уже о том, что старинное народное платье вместе с тем отвечает всегда и климатическим условиям страны.

Изучая старинные русские вкусы в женском наряде, мы встречаемся здесь с предметами, которые навсегда останутся наилучшим убором красоты, каковы, например, дорогие меха, жемчуг, золото и шелковые ткани, атласы, бархаты. Особенностью этих вкусов, для наших глаз, конечно, является излишняя пестрота или, в сущности, цветность наряда. Но яркая жизнь старины, даже в нравственных делах, требовала всего яркого и во всей внешней обстановке. Она в женском наряде, как видим, особенно предпочитала теплый, жаркий, живой колорит, что было совершенною необходимостью для обстановки живого здорового румяного лица, которое почиталось высшим идеалом красоты. Романтические тени, неземные созданья, т. е. красоты – мечты, отвлеченности – вроде античных беломраморных статуй, старине были недомыслимы. Притом и античные статуи, как доказывают, были тоже расписываемы красками для живства. Таким образом, наша старина, предпочитая в красоте то же самое живство, нисколько не отставала в своих идеалах от всех других своих товарищей по древности. В ней только, быть может, уж слишком долго сохранялись самые первоначальные и первобытные вкусы по этому предмету. В уборах одежды она очень любила, например, сочетание цветов, напоминавшее египетскую древность: лазоревое платье она окаймляла по подолу червчатою, алою или желтою тканью, желтый цвет ставила рядом с зеленым или синим, голубым и т. п.

Все это обозначало только глубокую древность вкуса, но никак не безвкусие, ибо нередко и самые моды попадают на тот же след в разных прикрасах наряда.

За такое свойство или за такой характер наших старинных вкусов иные причисляют нашу старину к разряду культур восточных, азиатских. Есть мнение, что даже весь свой старинный костюм мы заимствовали у татар; да и на наши теперешние глаза старинная русская женская одежда прямо

является татарскою. Но обманчивое сходство объясняется только тем, что у теперешних татар употребляются в одеждах золотные ткани, парчи, и мы забываем, что было время, когда вся Европа носила такие же ткани, что большею частью они и привозились к нам из той же Европы.

Действительно, наш допетровский костюм общим своим характером приближает нас больше к Азии, чем к Европе. Но это нисколько не доказывает, что он был когда-то заимствован у того или другого азиатского народа. Напротив, это доказывает только его глубочайшую древность, недосягаемую для исследователя, когда такой костюм был общим для многих народностей – и азиатских, и европейских, обитавших в той же климатической полосе. Сами названия, например кафтан и др., сходные с татарскими, турецкими, сходны также и с греческими (χαβάδιου) и указывают только на один общий источник их происхождения, разумеется, из Азии, откуда идут и древние народы, и древние языки. Нельзя думать, чтобы и наша народность, перенеся в Европу свой древнейший язык, не перенесла в то же время и костюма с его названиями. Родились мы и были одеты, конечно, в незапамятное время, и происхождение нашего костюма, особенно в главнейших его очертаниях, необходимо отыскивать в той же стране, где образовался и наш древнейший язык. Само собою разумеется, что бывали и заимствования, но они всегда ограничивались лишь теми частями и формами, которые являлись как бы знаками или выразителями новых идей и, стало быть, новых форм развития и жизни. Являлось особое сословие военное; по необходимости оно усваивало себе и различные знаки своего особого призвания и заимствовало их оттуда, где находило их уже в полном употреблении. Явилась идея княжеского, а впоследствии – царского достоинства, она точно так же по необходимости брала свои знаки оттуда, где это достоинство было облечено уже в полный его наряд. Таким образом, немалая доля нашего старого костюма была заимство-

вана у византийских греков и принадлежала в свое время к общей для всей Европы формам одежды, каков именно и был царский или княжеский наряд, сначала устраиваемый везде по византийским образцам, заимствованным, в свою очередь, у древних царей востока. Потом мы остались на месте, а европейская культура ушла дальше; мы, таким образом, и остались с восточным, азиатским, а в сущности – с самым древнейшим обликом во всем нашем развитии. Вот почему те же европейцы, приезжавшие к нам в XVI и XVII столетии, писали единогласно (Флетчер, Олеарий, Лизек), что русская одежда весьма сходна с греческою.

Особенно значительно в этом случае свидетельство Олеария, который путешествовал и по татарским землям в Персию, следовательно, мог основательно судить о сходстве русской одежды с татарскою. На самом деле, от татар мы могли заимствовать разве только некоторые незначительные части нашего костюма, которые всегда и обозначались в названиях *татарскими*, ибо, скажем опять, одеты мы были задолго до появления татар и во всякое время крепко держались своей старины, не допуская в ней больших изменений. Скорее наоборот, татары должны были заимствовать от нас некоторые наши кафтаны, ибо в XVI и XVII столетиях мы постоянно их одевали своим платьем в виде даров или поминков, заменивших ордынскую подать; точно так же, как в ту же эпоху, мы постоянно одевали своим платьем и сибирских инородцев, у которых у женщин до сих пор остаются в употреблении наши женские красные суконные шубки XVII столетия. Так точно в свое время наших первых князей и дружинников одевали своими даже царскими одеждами византийские императоры, о чем свидетельствует Константин Багрянородный, советуя своему сыну Роману прекратить этот постыдный обычай и рассказывать варварам, что царские одежды делаются не человеческими руками, что получены они еще Константином Великим от ангела с небес, всегда хранятся в Со-

фийской церкви, и кто из императоров станет их носить в обыкновенное, неторжественное время или дарить ими кого-либо, тот будет проклят. Если такая ложь требовалась для того, чтобы по возможности охранить перед варварами достоинство царского наряда, не вводя его в употребление между ними, то, без сомнения, прочие, так сказать, рядовые богатые византийские одежды и уборы принадлежали к самым обычным подаркам для наших варваров. Таким образом, наиболее богатый костюм первых русских князей и их дружинников, а следовательно, и их жен должен был установиться по византийским образцам и в отношении своих видов несколько отделиться от костюма народного. Близкие сношения с Византией, естественно, много способствовали тому, что всякие мелочи ее культуры легко и свободно переносились в наш быт. Константинополь в свое время был тем же Парижем не для одной русской земли. Богатая и роскошная обстановка его быта представлялась для всех окружавших его варваров образцом наиболее изящной, т. е. богатой жизни, и особенно в отношении костюма, который поэтому если не вполне, то наиболее видными частями водворялся повсюду. Этот-то костюм, частью заимствованный у византийцев, а частью украшаемый в подражание их образцам, составил тот особый выбор одежд, который исключительно употреблялся княжеским и боярским, вообще знатным и богатым сословием допетровской Руси и был потом упразднен реформами Петра. Что с древнейшего времени оставалось в нем в собственном смысле народного или всенародного, то сохраняется и до сих пор в народе, а все сословное, принадлежавшее княжеской и боярской культуре, совсем утратилось с преобразованием самой культуры по европейским образцам.

Нельзя, однако, в этом отношении забывать и влияния на наш костюм со стороны северной Европы через варягов, а в последующее время – чрез новгородские торговые связи. По крайней мере, с одеждами норманнскими

встречается в наших одеждах довольно сходного, частью в общем, а также и в частностях.

Но румяны, белила, сурмилы, подкрашивание глаз и прочее тому подобное – все это мы заимствовали с востока, непременно у византийских красавиц, и если не прежде, то, по крайней мере, еще во времена Ольги, ибо при ней русские женщины собственными очами могли любоваться красотою греческой обстановки[1]. В ее путешествии в Царьград сопутствовали ей 6 (или 16) родственниц и 18 приспешниц (женщин служебных), обедавших так же, как и княгиня, в царских палатах и получивших царские дары[2].

И нет сомнения, что это был не первый, да и не последний пример пребывания русских женщин в Константинополе. Оттуда же наши красавицы заимствовали если не самую кику, то ее княжескую или царственную форму с ее особыми украшениями, именно *рясами*, длинными жемчужными прядями, ниспадавшими к плечам по обеим сторонам этого головного убора. Такие рясы были носимы в Византии не только царицами, но и царями на царских венцах, как это видно на их монетах и на других древних изображениях византийских царей и цариц. Точно такой же головной убор существовал еще раньше в греческих черноморских колониях, именно в стране Киммерийского Босфора, где на Таманском полуострове в древнем царстве Фанагорийском нам случилось в 1864 г. открыть подобный убор в гробнице тамошней царицы или, как доказывают, жрицы богини Деметры (IV в. до Р. Х.)[3]. Он состоял из золотой кики, золотого начельника в виде волнистых волос и золотых же ряс в виде больших блях с сетчатыми длинными подвесками, тоже золотыми. Для нас в этом случае очень важно лишь то, что форма убора и его

---

1 Один летописец (Преяславль Суздальский), изображая первобытные нравы славян, замечает между прочим: «Слаб сущи женский обычай, и начаша одна пред другою *червити* (румянить) лице и белым тереть, абы юноша возжелал ея на похоть».

2 Известия Византийской истории. III. – С. 54, 55

3 См. Отчет Императорской Археологической комиссии за 1864 г. – СПб., 1865.

составные части имеют много сходного с такими же уборами русскими XVI и XVII столетий, а это указывает вообще на глубокую древность нашего убора и может отдалять его происхождение даже и за эпоху наших сношений с Византиею.

Точно так же одна из женских одежд с очень широкими и длинными рукавами, всегда роскошно украшаемыми золотым шитьем, именно летник, по своему покрою тоже много напоминает подобные же одежды византийские, в которых изображаются тамошние цари и царицы. Первообраз такой одежды (саккос) можно указать даже на изображениях в катакомбах Рима, относимых к первым векам Христианства, не говоря о сходных изображениях последующего времени. В XIII в. Рубруквис обозначил, что русская одежда вообще сходствовала с одеждою народов Западной Европы. На одном очень древнем окладе Евангелия X в. (Готской библиотеки) изображена германская императрица Феофания (с сыном Оттоном III) в костюме, который вполне сходен с таким же костюмом наших боярынь XVI и XVII столетий. Изображение определяется временем общего правления ее с сыном, именно годами 985–991.

Мы не имеем возможности удаляться в подробные сравнительные разыскания по этому предмету и желаем только обозначить сходство нашего старинного костюма с древнейшими образцами византийскими, а частью и со средневековыми западноевропейскими. Мы ограничиваем свою задачу лишь посильным объяснением собственной древности, после чего доступнее будут и сравнительные исследования, и выводы.

Как бы ни было, но Византия имела значительную долю влияния именно на женский наш костюм, по крайней мере в том его составе, который принадлежал верхнему народному слою древней Руси, княжескому и боярскому, или вообще, как мы говорили, знатной и богатой среде. Здесь это влияние выразилось известною постническою идеей, подчинившей своим целям даже и покрой женской одежды.

Идеал постницы, на котором воспитывалось и оканчивало жизнь наше старинное женское племя, смотрел вообще на красоту как на запрещенный плод и поучал убегать ее обольщений как великой греховной напасти. Он спрятал ее в терем, чтобы не смущался ею мир, чтобы и она не прельщалась красотою мира; он неутомимо следил за нею, наблюдал каждый ее шаг с целью отстранить от нее и малейший соблазн убора и наряда или какого бы то ни было лукавства (кокетства) в отношении умножения ее прелестей. По естественным и, впрочем, исключительным причинам он некоторую свободу в уборе и наряде с целью возвысить красоту благословлял только возрасту невест, которые, по крайней мере, могли носить открытые волосы. Этим обозначалась и известная доля женской свободы в девическом возрасте. Напротив, замужняя женщина, по слову Апостола, становившаяся под власть мужа, должна была навсегда спрятать свои волосы, ибо не муж от жены, а жена от мужа, и не муж создан для жены, а жена для мужа, посему и должна женщина иметь покрывало на голове в знак власти над нею[1]. Кроме того, покрывало вообще обозначало стыдливость и целомудрие, поэтому для постнических идей оно являлось необходимым и неизменным условием и сохранить, и выразить свою нравственную чистоту. Для женщины не было большего срама и бесчестья, как всенародно опростоволоситься, т. е. раскрыть свои волосы пред глазами общества. Целомудренное значение покрова распространилось и на покрой всей одежды, которая в сущности представляла тот же постнический покров для всего тела. В одежде постнические идеи заботливо старались совсем скрыть талию и весь женский бюст и торс, разрешив употребление пояса лишь в одеждах нижних, домашних, каковы были сорочки[2], и устранив во всех верхних выходных одеждах даже

[1] 1 Кор. 11:10.

[2] Тогдашние сорочки, верхние, соответствовали теперешнему *платью* в его специальном значении.

и малую складку, какая могла способствовать хоть малой обрисовке лебединой груди или вообще талии.

Самый пояс на сорочках был носим как символ целомудрия и благочестия и вовсе не служил средством придавать стану бóльшую стройность и красоту. Появляться в каких-либо случаях без пояса на сорочке значило обнаруживать свой разврат. Так могла поступать только молодая Марина Игнатьевна: она, призывая в свой терем Змея Горыныча, высовывалась по пояс в окно в одной рубашке без пояса. Так бегала по широкому двору Настасья Королевична – во единой рубашечке без пояса, – когда спасала своего милого Дуная. Вообще ходить распояской во всяком случае почиталось грехом. Распоясаны были только одни верхние одежды с тою целью, как мы сказали, чтобы не обнаружить ни одною складкою каких-либо частей тела. Все-таки одежды имели один покрой той же сорочки, т. е. простого полотнища, расставленного, где необходимо, клиньями, и у некоторых – разрезанного спереди на полы, причем ворот у всех возвышался до самой шеи. Таким образом, *лиф* был совсем изгнан из покроя женских одежд, а с ним, конечно, была удалена и вся красота женского наряда, ибо лиф в одежде есть непосредственный и существенный выразитель всего изящного одежды. Естественная потребность нравиться, быть красивою, изящною, т. е. естественная потребность изящного в костюме была ограничена, стеснена, а потому вместо эстетических духовных идеальных представлений о красоте явились представления исключительно материальные, представления об одних лишь физических ее достоинствах. Просторно сидевшие и длинные до пят платна по необходимости сводили понятия о красивой изящной фигуре на понятия о дородной фигуре, что на самом деле почиталось одним из достоинств старинной женской красоты; т. к. другим ее достоинством был высокий рост, которому те же длинные платна без всякой кринолинной пышности в подоле при-

давали, конечно, еще бóльшую высоту и тем дорисовывали идеал красивой фигуры по старинным понятиям.

Однако ж необходимо заметить, что суждения о нашем старинном женском костюме, именно об отсутствии в нем живописной красоты или вообще рисунка женской фигуры, не имеют достаточных оснований делать об этом решительные, окончательные заключения по той причине, что нет у нас перед глазами, как говорится, живой натуры. Нам известны большею частью рисунки древних одежд только иконописные, где и в платье, как в самых фигурах, и особенно в позах, столько же натуры, сколько натуры вообще находим в древней иконописи. Иконописец даже страшился изобразить что-либо натурально, а тем более страшился изображать натурально женскую фигуру с ее одеждою, дабы не ввести зрителя в прелесть сатанинскую. Не говорим о том, что он вовсе не умел рисовать, и особенно не удавались ему предметы живые, одушевленные. Символизм, условность его рисунка, рабски переводившего одни только старые образцы, не способны были воспроизвести ни одной натуральной черты – ни в лицах, ни в наряде. Желая обозначить пышность или складки костюма, он чертил совокупность известных линий, однажды навсегда усвоенных и приспособленных для этой цели. Он не мог размышлять не только о натуре, но вообще о школьной правильности рисунка в теперешнем смысле, ибо у него были свои, чисто условные, понятия об этой правильности, от которых он как знающий и опытный художник никогда не отступал. Изо всего этого выходило то, что иконописцы не только не оставили нам изображений, деланных, как они говорили, с *живства*, но и нарисованные ими изображения от руки они большею частью передавали без всяких характерных оттенков, плоско и стерто, указывая лишь одни общие наиболее типичные формы древнего костюма. Словом сказать, из этих иконописных изображений мы получаем очень скудные представления о живой действительности старого костюма даже в его общих

формах, не говоря о полноте разных предметов наряда, а тем более о разных подробностях, о которых находим сведения в старинных описях и вовсе не находим их в оставшихся рисунках. Здесь старое русское художество не только ничем не послужило старой действительности, но своими чисто ремесленными, условными, рабскими приемами даже обезобразило ее в наших глазах до последней степени. Совсем не то было на Западе, отчего тамошний средневековый костюм представляется не только в своей действительной, но во многом даже и приукрашенной красоте. Тамошние художники, напротив, всегда идеализировали современную им действительность не мертвою формою, а живою натурою: покрывали ее чертами не только правильного, но и изящного рисунка. Даже и в древнее время при несовершенстве искусства в их грубых изображениях мы все-таки встречаемся с более или менее правдивым и выразительным живством и в постановке фигуры, и в драпировке одежды. Искусство – всегда лучший и вернейший выразитель жизни и всегда в своих произведениях очень многое дает для правильного ее понимания. Ложный путь, по которому следовало наше древнее художество, не только отнял у него здоровые силы, лишил совсем развития, но и нам передал искаженные представления о прожитом нашем быте, так что не об одном костюме, но о всей нашей истории мы теперь думаем не иначе как о сухой, безжизненной форме.

Переходя к описанию допетровского женского наряда, мы в настоящем случае ограничиваемся только предметами, которые входили в состав наряда цариц и взрослых царевен в XVI и XVII столетиях, и касаемся общего описания одежд лишь настолько, чтобы объяснить частности, принадлежавшие собственно царскому быту. Это вообще предмет очень дробный и мелочный и потому требует рассмотрения, по

крайней мере, по сословным отделам, ибо в каждом сословном кругу он представлял свои видоизменения.

Само собою разумеется, что царицын быт как высший порядок жизни заключал в себе и все общие, т. е. основные черты древних нарядов и уборов. Так и в царском быту, как и во всенародном, взрослые девицы носили волосы открытыми и распущенными по плечам, причем в достаточном и знатном быту, а следовательно, и в царском волосы бывали завиты, как говорит Корб, «с великолепным изяществом в искусственные кудри». Это можно заметить и на современных изображениях.

Другой род волосного убора, столь же обыкновенный даже и теперь в простом быту, заключался в том, что волосы заплетали в одну косу или в две косы, которые и ниспадали назади к плечам и по спине. При этом в концы кос вплетались ленты или же бахрома, а иногда прикреплялась золотая кисть или подвеска. Это был *косник* или *накосник*. Но вместе с косами остаются и распущенные по сторонам волосы. Действительно ли употреблялся и в этом виде волосной убор – сказать не можем, но знаем, что, например, при венцах, корунах и киках у царевен всегда подавался и косник, который составлял даже принадлежность этих уборов и описывался как составная их часть. Между тем царевны в венцах видимы тоже с распущенными по сторонам волосами. Можно полагать, что по сторонам оставлялись только пряди волос, завитых в локоны, ибо локоны были очень употребительны в детском уборе и даже в уборе замужних женщины, именно цариц.

По свидетельству Болтина, «косу заплетали сколь можно слабее, дабы была она шире, разделив волосы на множество прядей и перевив их золотыми нитками» (упомянем, что подблюдная святочная песня поет: «Русу косу плетучи, шелком первиваючи, златом приплетаючи»); а у богатых на сии нитки нанизывался жемчуг. Потребно было искусство и привычка хорошо заплести косу и чтоб она закрывала всю шею от самых ушей и низвешиваясь по спине, постепенно

сужалась до самого косника. Таким образом, заплетенная коса представляла вид решетки, искусно связанной[1].

Косник или *накосник* состоял, главным образом, из кисти шелковой, золотной или жемчужной, непременно с золотною или жемчужною *ворворкою*, как называлась верхняя связка кисти, скреплявшая в одном узле ее нити и состоявшая обыкновенно из плетенья или вязанья, которое и представляло ворворку[2]. При устройстве косника эта ворворка или кистевая связка получала разнообразную форму, которая поэтому и приобретала отдельно название косника в собственном смысле. В богатом наряде она делалась даже из металла, из золотой или серебряной *цки* – дощечки или листа различной формы, к которой и прикреплялась необходимая кисть. Иногда эта цка устраивалась с тремя ворворками и двумя кистями; одна ворворка в таком случае помещалась вверху двух других и служила для них связью. Косник вплетался в косу посредством снурка и *пожилин*, которые находились вверху основной ворворки.

Болтин описывает старинный косник «треугольником в два или три вершка шириною, сделанным из картузной бумаги, обшитой шелковою тканью и унизанной в узор жемчугом и каменьями; привязывался он к концу косы одним углом». Из предыдущих указаний также видно, что косник и в виде кисти или какой-либо цки делался также треугольником.

Для сохранения в порядке ниспадавших по плечам волос являлась необходимою *перевязка*, какую видим. Это в обыкновенном повседневном употреблении была простая шелковая или золотная неширокая лента. Само собою разумеется, что она служила также и весьма красивым убором для головы, выделяя своим цветом, прибранным к лицу, или своими украшениями из золота, жемчуга и дорогих камней

1 Примечания на Леклерка. Т. I. – С. 437.

2 От *вереть, врат, вирать* – сплетать, плести: «Ворворки враны серебром; петли серебрены, концы обвираны золотом». Ср.: веревка, вервь, веретено, завереть лапти.

еще сильнее белизну, румяность и вообще красоту лица и волос. Очень естественно также, что в вырезке по краям она получала разнообразную форму, какая наиболее нравилась. Так, у царевны Татьяны Михайловны (12 лет) была *перевязка* «низанная с городы»; у царевны Анны Михайловны (22 года) упоминается *перевязочка*, «низанная жемчужная» с каменьи. Кроме того, иногда налобная, передняя часть перевязки устраивалась с большим богатством в виде какого-либо узорочного узла или фигуры. Такой перевязке присваивалось преимущественное название *чела, челки* как особого налобного украшения. *Чело* упоминается еще в духовной Калиты 1328 г. В числе даров дочери своей князь Верейский (1486 г.) упоминает *челку*, низану великим жемчугом[1]. В простонародном быту сама перевязка-лента носила название *начелка, начельника, очелка*, также *повязки* и *повязи*; таким образом, с именем перевязки соединяется смысл вообще головного начельного убора, который мог иметь весьма разнообразную форму.

Перевязка-лента обращалась в особый убор с именем чела или очелья и вообще повязки, когда устраивалась из более или менее широкой каймы, огибавшей чело стоймя на ребро, причем начельная часть делалась обыкновенно шире или выше, вроде кики, а концы сходили назад обрезами в виде зубцов или постепенно (серповидно) уменьшались до ширины простой перевязочной тесьмы. Эти концы связывались назади широкими лентами, ниспадавшими вниз по спине в виде лопастей.

Можно полагать, что подобная повязка в XV в. называлась *челом кичным*, ибо в передней части она стояла на голове или возвышалась кикою. Впрочем, чело кичное могло в действительности обозначать и одну только переднюю *цку* или доску самой кики.

Повязка, устроенная сплошною, например жемчужною, каймою вокруг головы, называлась *венком*. Особый

[1] Собрание государственных грамот и договоров. Т. I. – № 21, 122.

вид венка, который делался обыкновенно из металлической *цки* и прорезывался насквозь каким-либо узором с городками или зубцами вверху, назывался *венцом*. Венцу с городы, т. е. с острыми углами вокруг, присвоено было царственное значение, ибо он и делан был по образцу древнейших царских венцов, в каких цари и царицы, особенно восточные, изображались на монетах и других памятниках. Такой венец употреблялся у нас исключительно в девичьем уборе по той причине, что его носили только на открытых волосах. Нет сомнения, как девичий убор он существовал еще в древнем княжеском быту: удельный Верейский князь Михайло Андреевич в 1486 г. пожаловал дал дочери своей (Марье) «*венец* царьской с городы да с яхонты да с лалы да с зерни с великими; другой *венок* низан великим жемчугом»[1]. В XVI и XVII столетиях венец составляет необходимый убор царевен с малого возраста и государевых невест, когда они нарекались царевнами. Венцы надевались без всякого другого убора, принадлежащего к тому же наряду, каковы были *рясы, подниз, косник* или *накосник*. Однако ж в описях казны царевен эти принадлежности наряда описываются вместе с венцом как его составные части, а потому дóлжно заключить, что рисунки изображают наряд не вполне. Удельный князь Верейский отдал дочери (1486 г.) вместе с венцом царским между прочим и «*рясы* с яхонты да с лалы, колтки золоты с яхонты». Рясами, как увидим, назывались длинные пряди из жемчугу, каменьев с сережными кольцами и колтами, привешиваемые по сторонам венца. Поднизь в собственном смысле была начельником и прикладывалась к венцу с передней, налобной его стороны в виде перевязки или в виде сетки с жемчужными или золотыми висюльками по нижнему краю.

Свадебный венец царицы Евдокии Лукьяновны, носимый ею, когда она наречена была невестою-царевною, и хранившийся потом в ее казне в коробье новгородской за печатью ее свекрови иноки Марфы Ивановны, описан ко-

[1] Там же.

ротко: «венец с каменьи и с жемчуги» с отметкою, сделанною впоследствии, что в 1629 г. июля 5 «сее коробью и с венцом отнес ко государю в хоромы Фед. Ст. Стрешнев»; и потом, что в 1629 г. августа 30 «сее коробью и венец принес (в казну) от государя из хором В. И. Стрешнев, а сказал, что с того венца снято с городов для государева дела каменье да выпорото у венца из *косника* 5 запон золоты с каменьи».

Полный наряд венца описан у малолетней царевны Ирины Михайловны. У ней был «венец теремчат о десяти верхех делан по золотой же травы прорезные с финифты с розными, а в венце в нижних теремах в золотых гнездех три яхонта червчеты гранены да три яхонта лазоревы да четыре изумруда гранены; да в верхних теремах в золотых же гнездех четыре яхонта червчеты да три яхонта лазоревы да три изумруда четвероуголны; около верхних и нижних теремов и на низу обнизано жемчугом; по верх теремов на спнях десять зерен гурмыцких. Подложен тафтою червчатою. *Поднизь* по атласу по червчатому низана жемчугом большим и середним; меж жемчугу звездки золоты; у поднизи в пяти репьях жемчужных 5 гнезд золоты четвероугольны; а в гнездех 3 яхонты червчеты да 2 изумруда; по сторонам у поднизи ино репейку жемчужному, а в них 2 изумрудца невелики; да меж больших репьев 4 репьи жемчужных без каменья; у поднизи на привесках 31 зерно гурмыцких на золотых спнях. *Рясы* жемчужные, у ряс колодочки и колца серебрены золочены с финифтом с червчетым; меж ряс и по концам 6 яхонтов лазоревых да 6 лалов. *Косник* по цке серебреной золоченой низан жемчугом репьи; ворворка у косника низана жемчугом, кисть золота с шолком с червчатым».

Что значит *теремчат* и что означают здесь *терема* – определительно сказать не можем, ибо не знаем типической фигуры в украшениях, которая носила название терема. Она могла представлять род шатровых башенок, и вообще, видимо, что это были тоже зубцы, расположенные в два яруса и украшенные вперемежку яхонтами и изумру-

дами, а на верхах – жемчужинами. В 1636 г. генваря 24 на крестины царевны Татьяны царь Михаил пожаловал дщери своей царевне Ирине новый «венец золот с городы, по нем травы золоты прорезные с финифты с розными; у венца в городех и меж городов 96 алмазов да 109 лалов. *Накосник* по цке серебреной золоченой низан жемчугом большим, на конце у накосника три ворворки обнизаны жемчугом; в кистей место низано жемчугом мелким, по концам перепелы серебрены золочены, подложен тафтою желтою. Лагалище на венце деревяное оклеено кожею с поталью. *Отметка*: 1641 г. генваря 14 от сего венца накосник отпорола боярыня княгиня Марья Хованская и взяла к царице в хоромы», где, вероятно, был пришит к венцу другой «*косник* по цке серебреной золоченой низан жемчугом, меж жемчугу 4 изумруда да 2 яхонта лазоревы да 5 лалов; три ворворки да две кисти жемчужные». В описи при этом отмечено: «На венце один город в хоромех сломлен».

В 1635 г. августа 4 теремчатый венец с поднизью и рясами царица пожаловала царевне Анне, причем к венцу приложен был новый «косник цка серебрена золочена, ворворка низана жемчугом, кисть шолк с золотом». А для царевны Ирины тогда же был куплен венец *литовский* жемчужный за 430 руб., из которого в царицыной мастерской палате немецкие мастера устроили для царевны коруну и еще две коруны для царевен Анны и Софьи. Коруною назывался венец, подобный по устройству описанным выше, но с прибавлением к нему круглой тульи, состоявшей иногда из отдельных огибей, которые, как радиусы в центре, соединялись вверху, на самой маковке убора, где, именно в виде маковки, прикреплялся или дорогой большой камень, или золотая высокая запона, а у царей – крест.

Коруна царевны Ирины описывается так: «Коруна немецкое дело, делана по цке серебреной золоченой, низана жемчугом большим и середним, с городы: меж жемчугу 24 репьи золоты сенчаты с финифты с лазоревым да с бе-

лым; подложена тафтою алою. Да к той же коруне приложен у царицы в хоромех прежний царевнин косник от теремчатого венца, подаренного царевне Анне. Рясы к коруне были низаны жемчугом, промеж жемчугу и по концам 10 яхонтов лазоревых, да 8 лалов; колодки у ряс золоты, навожены чернью; в колодках 4 яхонта червчатых да 2 изумруда да на спнях 18 зерен жемчужных».

Точно так же описана коруна и царевны Анны, но с одним только косником, переложенным к коруне от теремчатого венца.

Подобная же коруна царевны Софьи, перешедшая по случаю ее смерти к царевне Татьяне, была также «низана жемчугом с городы по цке серебреной золоченой, меж жемчугу на коруне репьи золоты с финифтом с белым да с лазоревым, подложена тафтою алою; лагалище коженое с поталью».

Таким образом, и венец, и даже коруна были носимы царевнами с косником и рясами, а венец, кроме того, с поднизью. Эти принадлежности убора составляли обычный всенародный наряд кичный, носимый замужними женщинами при киках, с тою разницею, что вместо косника или накосника у кик женщины носили *задок* бархатный или соболий, покрывавший затылок и называемый в простом народе подзатыльнем.

Замужние женщины собирали свои волосы в *подубрусник* – род повойника или легкой шапочки из червчатой тафты или другой подобной ткани, например из дорогов гилянских, тоже червчатого цвета. Покрой подубрусника нам неизвестен; неизвестно, была ли это шапочка круглая вроде тафьи или скуфьи, облегавшая голову по ее овалу, или она состояла из окола, венчика, к которому пришивался круглый *верх*. Неизвестно также, стягивалась ли она около головы шнурком или надевалась просто, как шапка. Впрочем,

по всему вероятию, это был обыкновенный повойник. Прямое назначение подубрусника заключалось в том, чтобы подобрать и спрятать под него последний волосок, для чего с затылочной стороны при нем употреблялся еще подзатыльник – небольшой плат из такой же ткани, закрывавший затылок. В описях частного имущества в конце XVII столетия (1688–1695 гг.) эти предметы обозначаются так: шесть подубрусников тафтяных, шесть подзатыльников; или: десять подубрусников на оба лица с подзатыльниками. Судя по этим указаниям, можно полагать, что подзатыльник употреблялся и отдельно, как особый дополнительный убор, и сшивался вместе, как составная часть убора.

Подубрусник своим именем показывает, что он служил только принадлежностью, подставною частью другого убора, который назывался *убрусом*. Это было тонкое полотняное полотенце (полотнище), уменьшительно называемое *полкою, полка убрусная*. Оно украшалось или браньем, или шитьем белью, или вышивалось шелками с золотом и серебром и по концам, и на *челе* низалось жемчугом[1]. Убрус свертывался, повивался[2] на голове красивым узлом, для чего, без сомнения, требовалось немалое уменье и навык. Концы его, *застенки*, ниспадали с повязки на сторону. Составляя таким образом наиболее видную часть в уборе, они всегда богато украшались золотым шитьем, жемчугом и даже мелкими дробницами, т. е. разновидными бляшками. Убрусы прикалывались на голове в своих складках серебряными или золотыми булавками с жемчужинами, корольками или же дорогими каменьями. Кроме полотна, на убрусы употреблялись и шелковые легкие ткани, например тафта, и притом цветные, особенно любимого цвета червчатого. В казне царицы Шуйской сохранялись 7 убрусцов

[1] «Убрусец (образной) тафта червчата, по концом и на челе низано жемчугом мелким и шито золотом». – Архив Оружейной палаты. – № 153.

[2] «И рече Ярослав дружине: знаменаитеся, *повивайте* себе *убрусы* голову» (1016 г.). – ПСРЛ. Т. III. – С. 1.

тафтяных по концам, низаны жемчугом. В казне царевны Ирины Михайловны находим «два убруса тафта червчата, *застенки* низаны жемчугом, меж жемчугу дробницы серебрены золочены, по них резаны травы». Флетчер называет этот убор общим именем «шлык» и обозначает его русское название *obrosa* (убрус), которое Карамзин (X, прим. 465) полагал объяснить *наурусою, наурузом*. Но это последнее имя обозначало мужской головной наряд вроде колпака с полицами. Убрусные покровы в простом быту назывались также *спусками* (Временник. Кн. 25. – С. 167).

Убрусу как чепчику, который повязывался на голове из убрусной полки, соответствовал другой убор, в собственном смысле чепчик или готовая особая шапочка в этом роде. Это был *волосник* – головная сетка, вязаная или плетеная из волоченого или пряденого золота, или из серебра, или из золота и серебра вместе. Она по большей части *ошивалась*, украшалась по венцу или околу атласною или тафтяною *ошивкою* разных цветов, но преимущественно червчатого, алого или белого цвета, которая богато вышивалась золотом, канителью, унизывалась жемчугом в виде запон, украшалась дорогими каменьями и золотыми или серебряными дробницами, т. е. металлическими запонками. Само собою разумеется, что передняя часть украшалась богаче и узорочнее остальных, а потому и приобретала даже особое название *очелья*, которое иногда делалось с *подзором*, т. е. с каймою, более или менее широкою – вроде девичьей повязки. Так как *ошивка* в этом уборе составляла самую видную и богатую часть, то нередко весь убор назывался одним именем – *ошивкою*, при которой подразумевался и волосник; и наоборот, если ошивка была простая шелковая, или золотная, незатейливая, то убор удерживал только имя волосника. Впрочем, в описях имущества для точности ошивка обозначалась отдельно от волосника, который нередко назывался и просто *сеткою*. По способам вязанья и вышиванья *в цепки*, цепочками, или *в кружки*,

кружками, и ошивка, и волосник назывались цепковыми, кружковыми. Ошивка, сверх того, по большой части украшалась *паворозами* – особыми борами, сборками в виде каймы, которые служили вместе с тем связью для всего убора, ибо устраивались перекрестно на темени сетки или волосника и окаймляли убор или самую ошивку по околу головы. Здесь паворозы служили и задережкою, снурком, посредством которого убор стягивался по голове[1].

Таким образом, волосниковый убор составлял легкую шапочку, которая в народном быту называлась *зборником*[2], а в петровское время стала называться *чепцом* по той причине, что для ее изготовления употреблялся преимущественно один наиболее красивый способ шитья шелками и золотом, именно *в цепки, цепковый*, или по старому произношению *чепковый*, вроде тамбурной работы. В XVIII столетии старинная форма убора стала изменяться, приноравливаясь к потребностям европейского костюма; впоследствии она получила самые разнообразные видоизменения, подчинившись прихотям моды, но старое русское имя сохранилось до нашего времени. В начале XVII столетия эту шапочку, волосник с ошивкою и с паворозами, или чепец, носили сверх убруса. В последующее время ее надевали и под убрус, выставляя только переднюю часть ошивки. Такой порядок в употреблении этих уборов мог зависеть от их относительного друг к другу богатства. Более дорогой и роскошный

[1] Паворозы – то же, что повор, поворцы – веревки, коими связывается на возах сено, дрова; а также переметины, плетеницы на стогах, служащие связкою стога. Слово, как и ворворка, от того же корня «вереть», «вирать», «врать» – плести, сплетать. У Даля: павороз, паворозень – задёржка у мешка, кошеля; вздевка, затяжка, завязка, обора, гачник (т. е. вообще снурок, коим стягивается что-либо на петлях или на сборках; могло обозначать и собственно *оборку*).

[2] По объяснению Академического словаря, «зборник – головной женский убор, в простом народе употребляемый, состоящий из начельника и верхушки, спереди с сборами, а сзади стягивается шнурком». Он прямо называется также *волосником*. См.: *Шевырев С. П.* Поездка в Кирилло- Белозерский монастырь. Т. I. – С. 132.

убрус брал верх и надевался на ошивку, т. к. и более богатая, и роскошная ошивка в свой черед покрывала простой незатейливый или менее богатый убрус.

В начале XVII столетия ошивка или особый ее вид назывался *шамшурою*. В переписном продажном списке рухляди Никиты Строганова 1620 г. упомянуты между прочими вещами: «Шамшура шита золотом по белой земле, *очелье* шито золотом и серебром. Шамшура плетеная с метлеками, очелье шито золотом. Волосник, паворозы. Подубрусник. Очелье волосниковое»[1].

В описях частного имущества встречаем следующие описания ошивок: «1643 г. – ошивка низанная, волосник золотной, цена 10 руб.; ошивка шита волоченым золотом, волосник золотной, цена 4 руб.; 1666 г. – ошивка низанная, сетка золотная, другая ошивка цепковая, сетка серебреная. 1674 г. – два волосника золотные, у одного ошивка жемчужная низаная с камьем и с зерны, другая золотная. 1677 г. – волосник золотной, ошивка жемчужная с запоны и с каменьи; два волосника золотных, ошивки у них жемчужные, низаны в одно зерно; пять волосников золотных и серебряных с разными ошивками. 1689 г. – ошивка канительная по белому атласу, сетка серебро с золотом».

Подобный убор однажды царица Евдокия Стрешневых посылала своей сестре Федосье Лукьяновне, выходившей замуж за Матюшкина, причем была написана следующая грамотка: «От государыни царицы и великой княгини Евдокии Лукьяновны Федосье Лукьяновне. Пожаловали есмя послали к тебе своего… жалованья: волосник золотой (ошивка), низанная с канителью и с трунцалом; три цевки золота, три цевки серебра; аршин на подубрусники тафты виницейки червчатой; полотно двойное, да три полотна тройных; да пятьдесят золотников шелков цветов разных,

[1] В областном словаре шамшура – холстинный чепец, носимый замужними женщинами под кокошником (Арх., Перм.); также кокошник, повойник (Сибир.). Метляк – бабочка, мотылек (Перм.).

да два фунта белил. Да дочери твоей пожаловали есмя сережки золоты с жемчужки каменье лалы; да шубку камка желта на пупках собольих кружево серебряно, пуговки серебряны ж. Да ты ж нам била челом о серьгах, и мы те серьги пришлем к тебе вперед, а ныне не успели послати».

Подобно тому как девичий венец имел значение как бы короны девичества, так и *кика* была короною замужних женщин или короною замужества, венцом брачной жизни. Поэтому на свадьбах вместе с подубрусником, подзатыльником, убрусом и волосником она принадлежит к числу брачных женских регалий и занимает среди них первое место.

В царицыном быту рядом с кикою появляется и царственная регалия, *коруна*, обозначающая царственное достоинство царицыной личности; но кика как заветная и нерушимая старина сохраняет и здесь свое первенствующее значение. По крайней мере при свадебном обряде и даже в описях казны ставится на свое, первое, место. О царицыных корунах мы имеем мало сведений и находим упоминание об них только в описи казны царицы Агафии Семеновны. Там в первой главе описаны следующие наряды: «Кика 1 наряду во влагалище бархатном за хоромною печатью. Кика 2 наряду во влагалище бархатном за хоромною печатью». Во второй главе значится: «Две коруны низаны жемчугом с каменьи, 1 да 2 нарядов, во влагалищах бархатных за хоромною печатью. Коруна низана жемчугом с каменьи 3 наряда, во влагалище сафьянном за печатью хоромною. Коруна делана в цветах живые репьи шолки розных цветов обнизаны жемчугом, во влагалище сафьянном»[1].

Коруна от кики отличалась своею формою, именно коронною, кронистою, тульею из огибей или из целой цки, собранной, как скуфья, над обычным венцом.

[1] Архив Оружейной палаты. – № 148.

Обыкновенная и древнейшая форма кики представляла тулью вроде обыкновенного картуза, т. е. состояла из *подзора* – как бы пояса, вышиною в 3 или 4 верш., облегавшего вокруг голову, и из круга, плоского или устроенного по овалу, который помещался наверху, т. е. на темени. Ширина или диаметр этого круга, собственно кичной верхушки, всегда делалась вершка на 1 $^{1}/_{2}$ и на 2 больше ширины в венце или в лобной части кики, так что кика к верху постепенно расширялась, а в самом верху, где вшивался круг, устраивалась несколько развалом.

Такую форму кики встречаем еще у античных греков, по крайней мере в их черноморских поселениях, не только на рисунках, но и в самых предметах, открытых в 1864 г. на Таманском полуострове, о чем говорили выше, с. 580.

Тулья кики и с верхом сшивалась из какой-либо простой ткани на александрийской картузной бумаге и проклеивалась рыбьим клеем, а затем покрывалась атласом или другою подобною тканью яркого, обыкновенно червчатого цвета; иногда она покрывалась золотою или серебряною *цкою*, дскою, т. е. тонким листом из этого металла. Эта именно цка металлическая или золотная и атласная составляла *подзор* кики, т. е. ее пояс, кайму. Есть указание, что кичный подзор делался из *нерпы* или ворвани, тюленьей кожи, крашенной, вероятно, в белый цвет для белых кик. В казне царицы Евдокии Лукьяновны хранились «две ворвани: одна деланная, а другая неделанная, черные; и те ворвани пошли в дело к царицыным кикам». По всему подзору или собственно по тулье ставились золотые или серебряные вызолоченные запоны, репьи различной формы, с дорогими цветными каменьями, алмазами, яхонтами лазоревыми и червчатыми, изумрудами, лалами, бирюзами или достоканами (хрусталями) таких же цветов. Меж запон по местам ставились тоже камни отдельно в металлических гнездах, и вообще весь подзор убирался подобными драгоценностями в виде какого-либо роскошного узора.

Передняя налобная часть кичного подзора, разумеется, убиралась с большим богатством и особою затейливостью относительно узора. Она нередко устраивалась отдельно от кики и прикреплялась к ней, смотря по надобности. Как отдельная часть она получила и особое название; в старину ее называли *челом кичным*, а в конце XVII столетия – *переденкою*. В казне великого князя Дмитрия Ивановича (ск. в 1509 г.) хранилось «чело кичное золото с яхонты и с жемчуги и с жемчужинами и с плохим каменьем».

Конечно, во всем женском наряде и уборе кика сама по себе представляла подзор или такую часть, которая бросалась в глаза, наиболее была видима; подзорный – значит видный, также верхний, возвышенный, находящийся на видном месте.

Кроме дорогих камней, подзор, особенно напереди, убирался обыкновенно *пелепелками* или *переперками, переперами* и *живыми репьями*, т. е. металлическими, большей частью серебряными булавками вроде перышек и других подобных фигур, которые от движения головы качались, дрожали и тем производили еще больше блеску во всем уборе. Подобным образом были убраны кики к свадьбе царицы Евдокии Лукьяновны в 1626 г. Тогда старого государева двора серебряный мастер Давыд Омельянов делал серебряную *цку* к царицыной кике, *спни* к гурмыцким зернам, золотые *гнезда* к каменьям и на живые репьи 12 чашек золотых, да 12 трубок; а в Мастерской палате употреблено 4 золотн. волоченого серебра к царицыным *кикам цеплять пелепелки*. Уборка кик переперами идет из древности. В казне великого князя Дмитрия Ивановича (ск. в 1509 г.) хранились «три переперы кичные серебряны золочены с яхонты и с плохим каменьем; и 11 запонок с переперы с яхонты и с лалы и с жемчугом и с плохим каменьем[1]».

Внизу подзора или тульи со стороны лобной части прикреплялась *поднизь* – особая золотная вязаная сетка, низан-

[1] Собрание государственных грамот и договоров. Т. I. – № 147.

ная жемчугом со вставкою по местам жемчужных же репьев с каменьями или просто больших гурмыцких жемчужин. Поднизь окаймлялась также гурмыцкими зернами. В нижней ее части, ниспадавшей по лбу, ставились в привеске на спнях всегда самые лучшие зерна, т. е. самые крупные и особенно круглые или же отличавшиеся своею фигурою, *уродоватыя*. Кроме того, нижняя кайма поднизи украшалась какими-либо тоже жемчужными или металлическими фигурами вроде репьев, коронок, звездок и т. п., которые при движении головы тряслись и блистали, как об этом замечает в своих записках и Таннер, видевший при своем въезде в Москву между множеством народа и многих женщин, без милосердия набеленных и нарумяненных: у них у кик свешивались на лоб серебряные звездочки, которые тряслись и блистали. Подзор над самою поднизью убирался также особою каймою из каких-либо фигур. На одной из кик царицы Евдокии Лукьяновны такая кайма состояла из пяти птиц, снизанных из жемчуга и утвержденных на золотых спнях (булавках), так что они, вероятно, выдавались из убора несколько вперед.

К задней части кики, к нижней кайме подзора, прикреплялся *задок* – особый плат из черного бархата или из соболя, на что употреблялся один целый мех соболя, которым определяется и величина этого плата.

В каком виде кроился этот задок – сказать утвердительно не можем. До́лжно полагать, что плат, дабы он способнее ниспадал около шеи, должен был делиться на *лепести*, т. е. в нижнем конце он разрезался, вероятно, на три закругленные доли, которые и составляли лепести: одну – в средине на подзатыльи, а две – по сторонам. Бархатные и собольи задки подкладывались обыкновенно тафтою. О таких тафтяных лепестях упоминается при изготовлении белых кик царицы Марьи Ильичны; рисунок их, вероятно, был подобен лепестям каптура.

Царицына уборная казна не была, однако, слишком богата киками. У царицы Евдокии Лукьяновны было все-

го пять кик, из числа которых одну первого наряда царь Михаил подарил своей двухлетней дочери царевне Ирине в 1629 г. июля 3 (по другому свидетельству – ноября 3). Эта кика описана следующим образом: «*Кика* отлас червчат, на ней запоны золоты с каменьем с алмазы, и с яхонты, и с изумруды; у поднизи зерна гурмыцкие на золотых спнях; назади бархат чорной». Остальные: «*Кика* отлас червчат, на нем цка золота, по цке в репьях каменье, в гнездех яхонты лазоревы и червчаты и изумруды, в поднизи зерна гурмыцкие на спнях, назади бархат черной. *Кика* отлас червчат, запоны золоты с каменьем с алмазы, и с яхонты, и с изумруды, меж запон в гнездех яхонты лазоревы червчаты и лалы. В поднизи репьи низаны (жемчугом) с каменьи; по краем у поднизя зерна гурмыцкие; а по кике на спнях золотых птицы (5 птиц), низаны жемчугом; назади бархат чорной. *Кика* белая, у ней запоны золоты с каменьем с яхонты, и с лалы, и с изумруды, и с бирюзами; назади соболь. *Кика* белая ж, у ней цка серебрена золочена; назади соболь».

У царицы Марьи Иличны находим четыре кики – те же самые, которые с добавлением одной перешли и к царице Наталье Кирилловне. Вновь поступившая кика принадлежала царевне Ирине Михайловне, и, кажется, была только богаче украшена и, быть может, переделана из указанной выше, подаренной ей отцом. Она описывается так: «Кика – отлас червчат, на ней запоны золоты с алмазы и с яхонты червчатыми и с лазоревыми и с изумруды: в одной запоне орел одноглавой, в нем яхонт лазорев; в поднизи цка золотая: по ней низано жемчугом живые репьи с каменьи; в поднизи зерна гурмыцкие на золотых спнях; позади бархат черный» (бывала царевны Ирины Михайловны и поставлена та кика ее государыни царевны в казну, 1676 г.).

У царицы Агафьи Семеновны было две кики: одна – 1-го наряда, другая – 2-го наряда, которые хранились в бархатных влагалищах за хоромною печатью, а потому подробно и не описаны. Переходя по наследству от одной царицы

к другой, кики, разумеется, возобновлялись и переправлялись, особенно в тех частях, например задках, которые могли быть занашиваемы.

У кик был еще убор, составлявший необходимую их принадлежность, это были *рясы* – длинные пряди из жемчуга вперемежку с дорогими каменьями и с золотыми пронизками (бусами различной формы и работы). Пряди бывали двойные, тройные, четверные и т. д., отчего и рясы назывались *тройными, четверными* и т. п. Пряди утверждались в верхней части в золотые же колодки или лапки с кольцами, посредством которых рясы привешивались к кике по сторонам, над висками, и, следовательно, ниспадали вниз к плечам или на грудь. Иногда промеж жемчуга помещались вместо пронизок-бус тоже колодки или лапки с дорогими каменьями, также орлики и другие фигурки из золота[1]. У царицы Евдокии Лукьяновны в 1626–1627 гг. было четверо кичных ряс: «*Рясы* жемчужные, а в них промеж жемчугу и по концам 16 яхонтов лазоревых да 8 лалов, да промеж жемчугу ж и каменья 16 пронизок золоты репейчаты прорезные с финифты с розными; по сторонам у пронизок в гнездех искорки яхонто-

[1] Нет сомнения, что слово *рясы* одного значения с *ряснами*, ресницами, т. е. в отношении какого-либо убора, украшения оно обозначало вообще что-либо сходное с бахромою, прядями, кистями, махрами, также сборками, зубчиками и т. п. В южной песне при обращении к дубу говорится: «Листья твои *рясни*». Рясою в Тульской губернии называются семена березы; ряски – изодранное платье, отрепье, лохмотье, махры; он весь в *рясках*, *ряска на ряске*, говорят в Вологодской губернии. Отсюда понятен и старинный способ низанья жемчугом *врясную, рясою, ряскою* в отличие от низанья в *одно зерно*. В старинных кичных уборах рясами, как мы видели, назывались длинные жемчужные пряди, по всему вероятию, в единичном смысле рясы как только снизанной пряди, нити. В областном же быту значение этого слова распространено: *ряски* значит 1) жемчуг или бусы, вынизанные на шелку и поставленные *сборами*; 2) привеска жемчужная, пришиваемая к кокошнику у женщин и к венцу у девиц для украшения лба (Тверская губ.), или жемчужная решетка, сетка, пришиваемая к передней части кокошника или венца (Псковская губ.), что в других местах и в допетровском уборе, как видели, называется поднизью. Наконец рясами зовутся жемчужные серьги и жемчужные их подвески (Археологический Вологодский областной словарь; *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1865.

вые да изумрудные. У ряс колодки и колца золоты с финифты с розными, около колодок веревочки низаны жемчугом, у колодок в гнездех 4 алмаза, да 4 яхонта червчатых гранены, да два изумруда. *Рясы* жемчужные, а в них промеж жемчугу и по концом 24 яхонты лазоревых да 8 пронизок золоты с чернью; по сторонам у пронизок в гнездех искорки яхонтовые да изумрудные; у ряс колодки и колца золоты с чернью, в колодках четыре алмазы гранены, да четыре яхонты червчатых, да 2 изумруда, да у колодок же 24 зерна невелики на санях золотых. *Отметка*: 143 г. августа 14 се рясы царица пожаловала дщери своей царевне Ирине Мих<айловне>. *Рясы* жемчужные, промеж ряс и по концом 18 колодок золоты с чернью, у колодок по сторонам искорки яхонтовые да изумрудные; у ряс колодки золоты с чернью на три грани, в колодках 8 яхонтиков червчатых, да 2 искорки яхонтовых лазоревых, да 2 изумрудца; поверх колодок 2 прониски с колцы золоты, в пронисках искорочки яхонтовые да изумрудные (и 136 г. ноября в 8 день се рясы государыни царица и великая княгиня Евд<окия> Лук<ьяновна> приложила к чудотворному образу к Знамению Пречистые Богородицы, что у государева Старова двора). *Рясы* жемчужные, а в них промеж жемчугу и по концом орлики золоты, в орликах искорки лаловые да бирюзки (и 135 г. апреля в 23 д. се рясы государыни царица и великая княгиня Евдокия Лукьяновна приложила к чудотворному образу Пречистые Богородицы Владимерские, что стоит в соборной церкви Рожества Пречистой Богородицы на Сенех).

В летнее время при выездах в богомольные и другие походы царицы надевали *шляпы* белые поярковые с круг-лою тульею и с полями вершка в 2 и более ширины. Иностранцы находили эти шляпы сходными с клобуками их епископов. Действительно, шляпы были мужского образца. Наружная

их сторона покрывалась обыкновенно левкасом из белил (в обычных случаях из мелу) и рыбьего клея, что придавало убору глянцевитый, лоснящийся вид и сохраняло от дождя. Их поля, называемые *полками*, с исподи подбивались гладким или золотным атласом червчатого цвета, а по краям обшивались тафтяным торочком; внутри, в тулье, шляпы подкладывались гладким таким же атласом, если полки были золотные, или тафтою, червчатою, зеленою и других цветов. Кроме того, шляпа всегда украшалась *снуром*, атласною или тафтяною лентою, вышитою золотом, низанною жемчугом, убранною запанами с дорогими каменьями. Эта лента огибала шляпу по венцу тульи и через полку двумя концами ниспадала к плечам сбоку или по заду к спине. На концах, сверх того, висели низаные же *фуники* или *спицы* и кисти. В XVI столетии шляпы цариц убирались с особым богатством. В 1585 г. мая 21 царице Ирине Федоровне была делана шляпа большего наряду тремя золотошвеями-мужчинами, Мартыном Петровым, Юрьем Андреевым и Богданом Григорьевым, которые за то получили в награду по сукну в 2 руб. и деньгами по 2 руб.[1]. Довольно значительная награда показывает, что шляпа была устроена с большим искусством. В казне царицы Шуйской хранились «шестеры снуры с кистьми шиты золотом и серебром с шолки; 4 снуры шиты по белой тафте розными шолки, на концех кисти шолк червчат. Снур шляпочной делан картунелью и трунцалы с жемчуги, подложен тафтою зеленою, 4 кружива снурных, 2 низаны жемчугом, а 2 шиты золотом и серебром, 2 *фуника* от снур низаны жемчугом».

В числе уборов царицы Евдокии Лукьяновны находилось всего только семь шляп: «*шляпа* валеная бела, у ней полки по отласу по червчатому низано жемчугом с канителью, а в ней подложено отласом же червчатым; вторая – полки подложены атлас с серебром; третья – полки: атлас золотной, четвертая подложена атласом золотным по червчатой

[1] Дополнения к Актам Историческим. Т. I. – № 131.

земле травы и опахала (в 1631 г. мая 16 эту шляпу царица пожаловала своей сестре Федосье Лукьяновне Матюшкиной), пятая – полки: по отласу по червчатому деланы трунцалом травы»; и еще две шляпы подпушены полки отласом золотным по червчатой земле, по одном отласе травки велики, а по другом травы мелковаты с шолки с розными. Все шляпы в тульях имели атласную червчатую подкладку. К ним принадлежали *три* снура шляпочные: «*Снур* по отласу по червчатому низан жемчугом большим с канителью, в нем запоны золоты с алмазы, и с яхонты, и с изумруды, промеж запон и сверху и с исподи в гнездех каменье яхонты, и лалы, и изумруды. Другой такой же, с тем только отличием, что в числе камней находились бирюзы и не было лалов. Третий *снур* – по цке серебряной золоченой низан жемчугом, в нем 4 запоны золоты с финифты и с каменьях алмазы, и с яхонты, и с изумруды, меж запан три изумруда».

У царицы Марьи Ильичны находим в первое время шесть шляп и три шнура, а по ее кончине оставалось четыре шляпы и два шнура, которые перешли в казну царицы Натальи Кирилловны.

Но все эти шляпы и шнуры были устроены еще царицею Евдокиию, и вероятно, при надобности только подновлялись или переделывались по мере. В общей описи казны цариц Марьи и Натальи, 1676 г., о шнуре первого наряда, принадлежавшем и царице Евдокии (см. выше), находится следующая *отметка*: «184 г. февраля 20 из сего снура запона предняя вынета и *спицы* и кисти отняты и нашиты на снур большого наряду, что делан в нынешнем во 184 г. к Троецкому походу. И 185 г. октября 15 спицы низаны с кистми золотными выданы из хором, а на кистях жемчугу нет».

Наиболее обыкновенным головным нарядом, особенно в осеннее и зимнее время, были *шапки*, а исключитель-

но зимою – треухи и каптуры. *Шапка* состояла из *верха*, т. е. тульи и *пуха* или опушки, мехового окола. Шапки, носимые женщинами, отличались отчасти формою, а больше украшениями верха от мужских и потому назывались *женскими*. *Верх* или *вершок* сшивался из шелковой, а чаще из золотной ткани или кругло (сферически), или конусообразно, или делался столбуном (цилиндром).

В мужских шапках круглый верх большей частью делался вдвое выше, чем у женских, и притом конусообразно; между тем как женский образец придерживался правильной полусферы. Другое отличие женских шапок от мужских заключалось в кройке окола. Девичьи шапки в этом отношении мало отличались, но шапки замужних женщин кроились несколько иначе, именно окол, или собственно пух, начиная с боков, опускался вершка на 2 на затылок с тою целью, чтобы и этим нарядом скрыть от людских глаз свои волосы. Спереди в налобной части точно так же оставлялся небольшой *мысок*, вероятно, с целью придать наряду большую красоту, а лицу – выразительность. Оттого у женских шапок окол носил исключительное название *пуха*, ибо кроился не ровно, а смотря по фигуре выема.

Вершок женских шапок первого наряда всегда украшался с большим богатством и с большою затейливостью золотым шитьем, жемчужным саженьем с каменьями, переперами, запонами и тому подобными прикрасами. Естественно, что такие украшения трудно было ставить на мягкой тулье, и потому было необходимо устраивать ее подклейную, как у шляп; *шапочные подклейки* делались из александрийской (картузной) бумаги и заячины или из клееной легкой ткани; для простых шапок на это употреблялась клейная крашенина. В кроенье на вершок шапки выходило атласу под золотное шитье 5 верш., шириною около аршина, следовательно, тулья верха вышиною бывала не менее 4 верш. *Пух* или опушка, окол, кроился из бобрового черненого меха, на что выходило два бобра.

Для большей красоты между блестевшею золотом или серебром, жемчугом и каменьями тульею и ее бобровым околом помещали почти всегда особую кайму из золотного *плетенька* или *пояска*, который пришивался поверх пуха или окола, и из бобровой же *накладки* или *накладного пуха* – узенькой меховой ленточки, которая отделяла плетенек от узоров и украшений богатой тульи. Такое разделение меха от тульи золотно-меховою каемкою в действительности придавало наряду немало красоты и узорочности. На накладку выходило меху 2 звена, т. е. две части или половина целого бобрового меха. Иногда вместе с этою каймою или взамен накладного пуха употреблялось золотное плетеное или кованое кружево. Мы говорили, что в шапках первого наряда тулья всегда украшалась богато и затейливо. Кроме золотого шитья с канителью, трунцалом, бганью и т. п. и жемчужного низанья с каменьями, живыми репьями, переперами и пр. в виде разнообразных трав и узоров, эти тульи очень часто украшались и низанными из жемчуга или шитыми золотом изображениями различных животных, особенно птиц. Бывали низаны орлы двоеглавые и даже «осмиглавые», инроги (единороги), павы, птички, зверки.

Внутри тулья подкладывалась у холодных шапок атласом червчатым, а у теплых – легким мехом, обыкновенно черевами бельими.

Для сохранности шапок с богатыми уборами полагались на них тафтяные *чехлы*, и хранились они в Мастерской палате на шапочных *столбунцах* или болванах.

Мы заметили, что шапки, носимые девицами, походили на мужские. Они делались с *околом* в собственном значении, т. е. их меховая опушка огибала голову венком и не опускалась на затылок, как пух у женских шапок. Притом и околы их бывали обыкновенно собольи, особенно у шапок нарядных; окол из бобрового пуха ставился на шапках повседневных, победнее. Кроме того, как девичьи, так и женские шапки не имели, подобно мужским, *прорех* перерей и

задней. Шапки царевны Ирины описываются следующим образом: «Шапка – окол соболей, тулея отлас золотной по червчатой земле, по отласу низано жемчугом, меж жемчугу репьи золоты с финифты с разными, да репьи ж канительные с жемчуги, меж репьев вшита запона золота, а в ней 21 яхонт, червчаты. Шапка – окол соболей, тулея отлас серебрен по алой земле. Шапка – окол соболей, тулея отлас золотной по зеленой земле. Шапка – отлас ал с пухом, круживо золотное кованое (и тое шапку пожаловала государыня немке Дунке). Шапка шита по белому отласу цепи золоты, звески (звездки) с шелки с розными, поверх пуху плетенек золотной» и пр.

Кроме этого образца девицы в зимнее время носили шапки лисьи черные, *горлатные* и *черевьи*. Так исключительно назывались высокие прямые шапки, у которых вся тулья, вышиной от 6 до 8 верш., была меховая. В вершине такие шапки делались несколько шире, чем в венце. В них обыкновенно являлись бояре при посольских приемах, отчего они и носят название шапок боярских. На устройство их тульи, на подклейку употреблялась ирха (выделанная кожа) и ролдуга или ровдуга – замша.

Черевья или горлатная шапка была необходима для новобрачной, ибо по свадебному чину новобрачная должна была в ней выходить в хоромы на другой день свадьбы, когда ее торжественно поднимали с постели сваха и боярыни, поэтому мы находим такие лисьи шапки и у цариц в казне[1].

Столбунцами назывались шапки цилиндрической формы с прямою тульею, которая бывала или вся меховая, обыкновенно соболья, или из шелковых и золотных тканей, из атласа бархата, объяри зорбафа и т. п., с пластинчатою собольею опушкою. Вершок или *круг* в обоих случаях кроился также из шелковых и золотных тканей и украшался

[1] У царицы Евдокии Лукьяновны описаны шапки: «шапка лисья горлотная (135 г. марта 22 государь взял сее шапку и отдал в свою государеву Мастерскую палату). Шапка лисья черевья (137 г. июня 14, царица была в своей государской казне, и та шапка отнесена за нею, государынею, ко государю в хоромы».

иногда жемчужным низаньем с запонами и каменьями. Судя по кройке таких столбунцов маленьким царевнам, тулья их была не слишком высока. В 1632 г. пятилетней царевне Ирине «скроена шапочка столбунцом соболья, вышина 2 $^{1}/_{2}$ верш., ширина 5 $^{1}/_{2}$ верш., т. е. кругом 10 $^{1}/_{2}$ верш.; на верху круг камка серебрена по алой земле 3 $^{1}/_{2}$ верш.». В 1651 г. царевне Евдокии Алексеевне (ок. 2 лет) к празднику Рождества Христова был скроен «*столбунец* соболей, в кроенье пошло пара соболей в 35 руб. да соболь в 12 руб. с полтиною; да на тулейку (внутрь) пошло полсема пупка собольих. Нашит *верх* по бархату турецкому золотному (пошло вершок с четью во всю ширину ткани) низан жемчугом; да в том же *кружечке* вшито 8 запон золоты, промеж запон вшивано по 4 жемчужины, да среди кружка вшито запона золота в ней 21 яхонт червчат».

Холодные столбунцы подкладывались атласом и тафтою, а теплые – легким мехом. В царицыном быту столбунцы употреблялись редко; их находим только у царицы Марьи Ильичны один: «Столбунец – круг алтабас золотной розвода серебрена; тулея пупки, окол пластины собольи»; и у царицы Агафьи Сем<еновны> три, в том числе: «Столбунец – объярь серебряна, по ней травы золоты с шолки, подкладка отлас жаркой цвет; опушка пластины собольи. Столбунец – зарбаф серебрян, по нем травки золоты с шолки; подкладка отлас бел; без опушки».

В числе более употребительных зимних головных нарядов, преимущественно у замужних женщин и особенно у вдов, первое место принадлежало *каптуру*. О каптуре может дать некоторое понятие его потомок, выходящий уже из употребления, теперешний капор. Это был наряд, вполне защищавший голову от стужи, от ветра и от всякой непогоды. Он весь был меховой и покрывал не только голову, но и облегал по сторонам лицо до самых плеч. Каптур кроился из соболей с невысокою цилиндрическою тульею наподобие кики и с тремя ушами, ниспадавшими до плеч на затыл-

ке и по сторонам головы. В кройку обыкновенно выходило соболей 2 $^{1}/_{2}$ пары. По краям наряд опушался бобром, на что употреблялся или целый бобр, или два бобра без трети, смотря по ширине, какую желали дать опушке. Из целого бобра выкраивалось опушки 4 арш. 3 верш., шириною в 2 верш. В опушке около чела ставился особый бобровый мех, черненый, называвшийся духом *передним очельным, челошным*, для чего употреблялось полбобра (2 звена) и целый бобр. Кроме того, этот очельный пух убирался поверх еще бобровою же накладкою, *накладным пухом*, которого выходило одно звено или четверть бобра. Испод каптура подбивался так же мехом, собольими пупками, и т. к. он облегал кругом всю голову, то и назывался *оголовью, оголовьем*, причем по краям ставилась также небольшая опушка, называемая *оголовочным пухом*. На *ушки* ставилось треть бобра, самого доброго. Простые каптуры, деланные только для образца, кроились из мерлушек (овчины); вместо бобрового духу на них употреблялся козел черненой, а на оголовичный дух – барсук. Из этого сочетания различных мехов нагляднее выступает связь всего мехового убора в каптуре. *Верх* каптура покрывался арабскими миткалями, которых в кройку выходило 4 верш. широких и 8 верш. обыкновенных. Кроме того, для сохранности наряда всегда делался из таких же миткалей особый верх – *чехол*, на что употреблялось миткалей 6 верш. широких (в 2 арш. ширины) и 12 верш. обыкновенных (от 8 до 14 верш. ширины). При каптурах употреблялась также и *повязка* из полотна, которого выходило в кройку пол-аршина литовского.

Каптур соболий упоминается еще в духовной княгини Иулиании Волоцкой, 1503 г. У царицы Евдокии Лукьяновны в первое время было в казне только 4 каптура, потом их было 6, и, наконец, число их увеличилось до 8. У царицы Марьи находим их 7, из которых перешло к царице Наталье Кирилловне только 3. У молодой царицы Агафьи Семеновны в казне вовсе не было каптуров.

Подержанные и поношенные старые каптуры царицы обыкновенно раздавали боярыням. Так, в 1631 г. сентября 10 царица Евдокия из числа своих каптуров один, который был сделан еще ее предшественнице покойной царице Марье Долгоруких, подарила матери своей Анне Константиновне. В 1634 г. генваря 8 она пожаловала из своих же два каптура боярыням Орине Микитичне (Годуновой) да матери Анне Константивновне, которой еще был подарен каптур в 1641 г. февраля 20. В 1642 г. августа 12 пожаловала каптур боярыне княгине Анне Васильевне Трубецкой, причем относили каптур подьячий Мастерской царицыной палаты да каптурник. Кроме того, один старый каптур царица пожаловала царевниной кормилице Наталье.

Каптуры очень редко украшались богато наподобие нарядных шапок. Такой находим только у царицы Натальи Кирилловны – «каптур пластины собольи с пухом; *верх* – отлас бел низан жемчугом с каменьи с олмазцы, и с изумруды, и с яхонты червчатыми и с искры (делан у царицы в хоромех в 180 г.)».

Треух – зимняя шапка с тремя ушами, защищавшими уши и затылок. Его *верх* (тулья, покрышка) шился из шелковой или золотной ткани, из камки или атласу и алтабасу, которых в кроенье выходило 10, 12 и 16 верш.; но какой формы была эта тулья – в виде ли столбунца или скуфьи, – неизвестно. Впрочем, можно полагать, что это был по покрою тот же каптур, только крытый не мехом, а тканью. Испод у него, как и у каптура, кроился из собольих пупков или из пластин; выходило 5 пупков, а пластин 2 пары. Верх опушался также соболем, на что выходила пара; а кругом опушки поверх соболя треух украшался низаньем из жемчуга, или кружевом, или запонами с каменьями. Кроме того, у треуха были, как и у кик, *лепести*, на которые выходило тафты 2 верш., во всю ширину (1 $^{1}/_{2}$ арш.). Треухи принадлежали, однако ж, к таким нарядам, которые употреблялись довольно редко.

У царицы Евдокии Лукьяновны в казне находим только один треух соболий, покрыт атласом червчатым гладким; у Марьи Ильичны – также один, у Натальи Кирилловны – три. У царицы Агафьи Семеновны их было четыре, притом они шились уже из богатых тканей и украшались жемчугом и каменьями, что заставляет предполагать, что в конце XVII столетия треухи стали входить, так сказать, в моду: «*Треух* – отлас виницейский, по золотной земле травы и розводы шолк червчат, испод и опушка пластины собольи; кругом опушки поверх низано жемчугом кафимским. *Треух* – алтабас по золотной земле травы кубы серебрены; испод и опушка пластины собольи; вместо кружива запаны золоты с каменьи с алмазы и с яхонты червчатыми, с городы; кругом запан обнизано жемчугом скатным».

Уборы, известные под общим именем *золота* и *саженья* или *ларечной кузни* заключались, кроме некоторых головных, описанных выше, в нарядах шеи, каковы были *монисто, цепочка, ожерелье*, также ушей – *серьги*, и рук – *перстни, жиковины, обручи, запястья, зарукавья*. Самым значительным из этих уборов было монисто.

В областном языке до сих пор словом *манисты, манисто* обозначают ожерелье из бус, гранат и т. п., а также из монет; тем же словом обозначают косынку шейную (Новгородская губ.) и вообще *связку* предметов, снизку, например связку ключей – манистка ключей (Тверская губ.); называют так даже нижнюю челюсть белуги, вероятно, по сходству ее со снизкою бус.

В южном областном языке *намистом*, кроме того, называют ожерелье из бус, на котором носится всегда *дукач* – вероятно, дукат – серебряная, медная или оловянная бляха вроде медали, величиною в целковый.

Обычай носить на шее с ожерельем монеты, и особенно золотые, а также и подобные монетам бляхи, имевшие значение и амулетов, очень древен и к нам перешел с незапамятных времен.

Можно полагать, что «монисто» – слово испорченное из греческого «номисма» – золотой и что ближе к нему стоит южное произношение: «намиста», из которого на севере уже последовала переделка в «монисто». Как бы ни было, но монисто в древнем смысле означало шейный убор, ожерелье исключительно золотое, т. е. состоящее из золотых привесок, у которого на гайтане (снурке) помещались небольшие иконы, панагии, кресты, разделяемые в снизке золотыми *пронизками*, т. е. бусами. Летописец (Ипат. 219) рассказывает, что Владимир Василькович Волынский на смертном одре перед своими очами перелил все свое золото и серебро в гривны и разослал милостыню по всей земле: «И мониста великая золотая бабы своей и матери своей, все полья...». Он же возложил на наместную икону Богородицы монисто золото с камением дорогим (1288 г.) В числе женских уборов монисто упоминается и в Москве в 1328 г., когда Иван Калита отказывает своей дочери Фетиньи «матери ее монисто ново, что есм сковал».

Верейский князь Михаил в 1486 г. тоже отказывает своей дочери «на манисте икона животворящего древа окована золотом с зерны с великими да тринадцать хрестцев золотых с великими зерны то и с иконами...».

Волоцкая княгиня Иулиания (1503 г.) отказывает своей внуке Овдотье из дочернина приданого «манисто большое золото... Да манисто на гайтане: четыре кресты золоты, да четыре иконы золоты, да три кресты камены с золотом, да восемь пронизок золотых...».

Около того же времени первовенчанный Московский князь, внук Ивана Васильевича, Димитрий (ск. в 1509 г.) в своей духовной обозначает хранящиеся в его казне: «Мани-

сто золото *леска...* (лесенка, четки – *лесенки*) да манисто со кресты и иконы и прониски...».

На монисте казны царицы Шуйской было: «Икона золота Пресвятой Богородицы, 5 крестов золотых с каменьи и жемчуги и 8 пронизок золотых». В той же казне хранилось «монисто золото на чепочке золотой». В «Книгах царицы Евдокии Лукьяновны Мастерские палаты крестом и *манисту* и судам и платью и иной казне» царицыно монисто описано следующим образом: «*Ящик* оболочен бархатом червчатым, а в нем манисто да кресты с мощми, которыми благословила царицу и великую княгиню Евдокию Лукьяновну великая государыня инока Марфа Ивановна. Манисто чепочка золота звенчата, у чепочки наконечники золоты ж резь гранми с чернью, а на чепочке *в манисте* на гайтане понагея золота на четыре углы в ней яхонт лазорев, на яхонте резь Спасов образ Вседержителя, по полям два яхонта червчаты да два изумруда; напереди на главе резь херувим, а на другой стороне резь великомученик Дмитрей, навожено чернью; под главою в закрепке по концом два зерна гурмыцких. (И 135 г. маия в 3 д. сее понагею взяла царица и в<еликая> к<нягиня> Евдокия Лукьяновна к себе в хоромы. 136 г. апреля в 12 д. сее понагею выдала от царевны (Ирины) из хором на гайтане шолковом червчатом боярыня княгиня Марья Хованская, а сказала, что царица и великая княгиня Евд<окия> Лук<ьяновна> *благословила* тою понагеею царевну и великую княгиню Ирину Михаиловну и велела ее держать в царевнине казне. Да с тою ж понагеею княгиня Марья Хованская выдала от царевны из хором две *прониски* корольковые, одна бела, а другая червчета, а велела их положить с понагеею вместе.) Два *креста* золоты с мощми, в них животворящее древо Господне, на крестех Распятия Господня золоты литые; у крестов в гнездех по два яхонтика лазоревых да по два лала да по изумруду, около крестов обнизано жемчегом большим; у глав в закрепках по концам по 4 зерна гурмыцких, а в крестех по подписям мощей: мощи

Ивана Предотечи, древо животворящее, мощи Иякова Персского, мощи мученика Прова, мощи архидиакона Стефана, мощи мученика Артемия, мощи прп. Стефана Нового, мощи Павла Исповедника, мощи мученика Еустратия, мощи мученика Ивана Нового (и 136 г. апреля в 29 д. из сих крестов крест золот с каменьи и с жемчуги взяла царица и великая княгиня Евдокия Лукьяновна *благословить* дщерь свою – царевну и великую княгиню Пел<агею> Мих<айловну>). *Крест* золот, на нем Распятие Господне вольячное, у креста в гнездех 3 яхонта лазоревы да яхонт червчат, да лал; около креста обнизано жемчугом, назади резь: снятие Господне со креста. *Крест* золот решетчат, на нем распятие Господне литое, на главе Спасов Нерукотворенный образ; да на кресте в гнездех 4 яхонта лазоревы, около креста жемчуги на спнях да бирюзки в гнездех, а назади бирюски ж в гнездех да подпись по гречески. *Крест* золот с мощми, на нем Распятие Господне литое, в кресте 3 яхонта лазоревы да лал, около креста обнизано жемчугом, на главе Спасов Нерукотворенной образ, в закрепках по концам по жемчугу, а в кресте по подписи мощей: риза Александра Сверского чудотворца, мощи Пантелеймона, перст святого Марка и иных многих святых мощи. *Крест* золот с мощми, на нем Распятие Господне литое, на главе резь: Нерукотворенный образ Господень, да на кресте ж в четырех гнездех яхонты лазоревы, а на зади у креста Предтечев образ литой, да резных образов Иоанна Богослов, Никола чудотворец, святый мученик Георгий, святая мученица Ульянея.

Да на манисте ж промеж понагей и крестов на гайтане две прониски золоты решетчаты да две королковые белые, да две королковые ж червчаты, да прониска яшмовая зелена. И 135 г. марта в 28 д. с сего маниста золотую чепочку государыни царица и великая княгиня Евд<окия> Лук<ьяновна> взяла к себе, государыне, в хоромы. Да маия в 3 д. с сего ж маниста государыня царица взяла две прониски королковыя (138 г. мая 3, с сего царицына мониста золотую чепочку

с наконечники, которая была в 135 г. с того ж маниста снята, выдала от царицы из хором боярыня Катерина Бутурлина, а велела на нее положить царицыно манисто по-прежнему)».

Из этой описи мы видим, что в собственном значении монистом называлась снизка икон, крестов и пронизок и что цепочка, как и шелковый гайтан – шнур, представляли только составную и, разумеется, необходимую его часть. В самом заглавии описи крестам и монисту кресты указаны отдельно по той только причине, что после крестов мониста описывается еще несколько крестов, хранившихся особо. Впрочем, в конце XVII столетия монистом называлась снизка бус, жемчугу или металлическая цепочка с крестом, который носили на этой снизке или цепочке. Само собою разумеется, что иногда таких снизок и цепочек носили с крестом по нескольку, а в древности – даже и мужчины. В 1147 г. «бьюче Кияне Михаила отторгоша хрест на нем и с *чепьми*, а в нем гривна золота» (Ипат. 34). В XVII столетии у царевны Ирины Михайловны находим «крест золот литое дело и три цепи золоты *воротные*». Были ли носимы *воротные* цепи как простое ожерелье, без креста, – неизвестно.

Заметим в заключение, что на свадьбах монистом или панагеею по обычаю благословляла новобрачную родная мать. Царицу Евдокию, как видели, монистом благословила ее свекровь, инока Марфа Ивановна. До́лжно также упомянуть, что упомянутые выше корольковые пронизки на гайтане мониста принизывались к монисту не без особой цели. В старинных лечебниках о корольках, между прочим, говорится: «Аще который человек на манисте кралки носит, того колдование и иное никакое ведовство не имет; а как тот человек позанеможет, то кралки красные белети станут, а как поздоровеет тот же человек, так кралки опять станут черны... От тех же кралков дух нечистый бегает, понеже кралек крестообразно растет».

Ожерелье. Именем *ожерелья* (от слов «горло», «жерло») обозначался шейный наряд или убор, состоявший

собственно из атласного и редко другой шелковой ткани, низанного жемчугом, стоячего воротника. От мужского подобного же ожерелья оно отличалось лишь своею длиною, также характером низанья и других украшений. Мужское низалось обыкновенно в шахмат, а женское – во рефидь. Шириною такое ожерелье бывало не более 3 верш. и кроилось во всю ширину атласного полотнища (от 8 до 12 верш.). Эта лента ставилась на александрийскую (картузную) бумагу и подкладывалась киндяком, а по нему – алою тафтою, вероятно, по настилке из хлопчатой бумаги. К платью оно прикреплялось посредством шелкового *мутовыся* или мутовоза, особой вздержки, которая сплеталась по нижнему его краю. Напереди ожерелье застегивалось богатыми пуговицами. Его носили как стоячий воротник, но располагали также около шеи и несколько отклонно к плечам, причем, разумеется, оно и выкраивалось иначе: в нижней части шире, чем вверху, в самой горловине.

В 1328 г. Иван Калита в числе золота отказал своей дочери Фетинье *ожерелье*, не обозначив подробно, какое оно было; а двум меньшим дочерям – Марье и Федосье – отдал наряд с двух своих кожухов «с аламы с жемчугом – на ожерелья». Князь Верейский, 1486 г., отдает дочери ожерелье «с великими яхонты, сажено с зерны с великими»; другое ожерелье «пристежное с передци низано».

Княгиня Волоцкая, 1503 г., отказывает сыну своему Ивану ожерелье «сожено с пугвицами с большими», а своей внучке Овдотье – «ожерелье сожено, а исподней ряд снизон да 4 у него пугвицы жемчужны...».

В казне князя Дмитрия Ивановича (ск. в 1509 г.) находились «ожерелье на цках на золотых розрушано с яхонты и с жемчуги и с плохим каменьем в 13 жеребьех и с придельными жеребьи; да ожерелеицо сажоно жемчугом гурмыским и новогородцким».

Описания ожерелий цариц XVII столетия мы не встречаем по той причине, что их *низанье* сохранялось всегда в

ларцах и шкатулах за хоромною печатью и не поступало в руки дьяков для описи.

У царевны Ирины Михайловны было ожерелье: «по цке серебреной золоченой низано жемчугом рогатым большим; в ожерелье меж жемчугу 20 изумрудов в золотых гнездех; у ожерелья 6 пугвиц зерна гурмыцкие большие на золотых спнях; у пугвиц в закрепках 3 яхонты лазоревы да 3 лалы в золотых ногтях, подложено тафтою алою».

Более употребительный узор низанья ожерелий, особенно во второй половине XVII столетия, был рефидь или арефидь.

Приводим несколько описей женских ожерелий из свадебных рядных записей XVII столетия: «1643 г. Ожерелье жемчужное низано в рефидь, пугвицы золотые, цена 150 руб., другое ожерелье – обнизь пугвицы серебреные позолочены, цена 70 руб. 1667 г. Ожерелье жемчужное, обнизь пугвицы золоты с искрами яхонтовыми. 1674 г. Ожерелье жемчужное большое, низано в рефидь с пуговицы; другое ожерелейцо малое пришивное с каменьем. 1677 г. Ожерелье жемчужное, низано в рефидь, пугвицы золотые с яхонтовыми и с изумрудными искрами и с зерны бурминскими; ожерелье уское с изумруды и с зерны кафимскими, у него три пугвицы – лад, да изумруд, да яхонт с зерны бурминскими».

Ожерелья-воротники составляли наиболее богатый и видный убор этого рода по той причине, что, обнизанные жемчугом, а нередко и каменьями, представляли в убранстве больше узорочья, чем ожерелья простые, низанные в снизку на нитях. Закрывая высоко шею и грудь, они, кроме того, в полной мере отвечали требованиям постнического идеала не раскрывать обольщений женской красоты, а потому и составляли самый употребительный и обычный наряд не только для женщин, но и для девиц, которые, разумеется, употребляли и простые снизки жемчугу на нитях, пользуясь свободою открывать, по крайней мере, хотя

одну шею. У царевны Анны Михайловны находим два таких ожерелья, одно – зерна гурмыцкие, другое – жемчуг рогатый большой.

Серьги. Обыкновенная, наиболее употребительная и, вероятно, самая древнейшая форма серег состояла из кольца, вдеваемого в ухо, к которому прикреплялась висящая булавка или *спень* с надетым на него дорогим камнем, всегда просверленным для этой цели, ибо в древности иначе не умели укреплять камни в подобных случаях. Конец спня, остававшийся ниже камня, украшался, кроме того, двумя большими жемчужными зернами, точно так же надетыми на спень одно к другому. Взамен зерен ставились и золотые *бубенчики* (бусы дутые), а также *каточки* (бусы литые). Это были серьги *одинцы, одиначки*. Иногда таким же образом укреплялись два камня на двух спнях, тогда серьги назывались *двойчатыми*, двойчатками, *двоечками, двоинками*; если три – *тройчатыми*, тройнями.

Серьги-*лапки* назывались так, если ушное кольцо книзу устраивалось в виде лапки. В лапки вставлялись жемчужины или дорогие камни.

Серьги-*колты*, серьги колодкою, состояли из ушного кольца, которое в нижней части оканчивалось различной величины и различной формы бляхою – кубовастою, круглою, овальной, или на углы, также сенчатой, островерхой и т. п., что, собственно, и называлось *колтом* (колодка, брусок). К этому колту снизу прикреплялись *подвески* из жемчужных зерен, а самый колт всегда украшался финифтью или каменьями. У древнейших серег на таких колтах изображались финифтью птицы, звери, сирены, львы, цветки и т. п.

Серьги-*запаны* состояли из ушного кольца и прикрепленной к нему запаны разного вида. Запаною называлась вообще бляшка в виде репья, у которой в средине ставился дорогой камень большого размера, а вокруг него несколько камней меньших или же несколько искор. Внизу запаны

почти всегда ставились три привески из жемчужин или из золотых бус с алмазами. Такие серьги составлялись иногда из нескольких запан разной величины, которые отделялись друг от друга золотыми с каменьями привесочками с жемчужинами по концам.

И запаны, и колты, и каменья всегда украшались разнообразными привесками, каточками, трубочками, чепочками, репьями и т. п., которые размещались по желаемой форме или образцу. Упоминаются серьги-*орлички* или *орлики*, называемые так по фигурам орлов, служившим привесками. По свидетельству Флетчера, обыкновенная длина серег бывала в 2 дюйма и больше; но вообще тогда любили носить серьги длинные.

Перстни-жиковины. В духовной великого князя Дмитрия (ск. в. 1509 г.) именем перстней обозначены жиковины: «А перстней моих золотых: напалок да 14 жиковин с лалом и с яхонтцом и с берюзами и жемчужки и с перефтми (перелефть, халцедон) и с плохим каменьем». Там же упомянуты «двадцать и три жиковины *женских* золоты с яхонтцы, и с лалцы, и с изумруты, и с жемчушка и с плохим каменейцом». Семнадцать жиковин золотых отказывает своей дочери князь Верейский в 1486 г.

Именем жиковины в XVII столетии обозначалась большая дверная петля, вырезанная в виде лапок жука или вообще в форме, сходной с цеплястою лапою какого-либо подобного насекомого. Таким образом, можно полагать, что жиковиною называлось кольцо с дорогим камнем, который был укреплен во вставке или в гнезде посредством какой-либо цеплястой фигуры, охватывавшей его подобно лапкам жука. В XVII столетии при описании подобных перстней такой способ укрепления камней обозначался так: «Гнездо (с алмазом) в нохтях, или в нохтях яхонт синь к верху островат». Но точно так же жиковиною мог обозначаться перстень древнейшего устройства, который делался не сплошным слитым кольцом, а кольцом – согнутым или

обогнутым около пальца, так что концы этой огиби, приходившиеся с исподней стороны, охватывали палец подобно лапкам жука или когтям птицы.

Кроме того, известно, что у египтян, а потом и у древних греков жук имел символическое значение и очень нередко изображался на перстнях. Эти перстни – скарабеи – устраивались обыкновенно так, что резная в виде жука печатка из дорогого камня или металла вставлялась в кольцо на вертлюгах или осях, которыми служили концы самого кольца. Вставка с верхней стороны изображала фигуру жука, а с исподней на ней вырезывалась печатка, т. е. какие-либо знаки, иероглифы или какое-либо изображение. Перстень по верхнему изображению жука именовался вообще скарабеем. Впрочем, судя по некоторым указаниям, *жуком, жуковиною* обозначалась вообще выпуклая часть чего-либо, например на плоскости вроде сука, суковины. Жуковиною называется выпуклая округлая часть верхней доски от распиленного бревна в отличие от плоской, которая называется запилёнком. Жучками назывались особые косточки на гладкой коже некоторых рыб – у осетра, стерляди и т. п. Жуки – особые металлические выпуклые репьи, *исподники*, род небольших ножек, приделываемых по углам к нижней доске переплета на книгах напрестольных евангелий. Таким образом, жиковиною на самом деле могла обозначаться различного вида выпуклая бляшка, составлявшая необходимую принадлежность перстня, который тем и отличался от простого кольца.

Что царицы носили перстни, в этом, конечно, нельзя сомневаться; к сожалению, особого описания их перстней нам не встретилось. Имеем только описи перстней царевен, где в числе ларечной кузни царевны Анны Михайловны обозначено 14 перстней; в казне царевны Ирины Михайловны хранилось 25 перстней; но к обозрению казны царевен мы еще возвратимся в своем месте. В 1614 г. в государеву казну поступило «из *Маринкины* рухляди, присланной из

Астрахани, 10 перстней, в том числе: 1 – с яхонтиком червчатым, около его искорки алмазные, цена 8 руб.; 2 – со звездою и камышки алмазными, 20 руб.; 3 – с чернью о семи алмазцах, 15 руб.; 4 – четвероуголен о четырех алмазцах, 20 руб.; 5 и 6 с яхонтом лазоревым, один гранен островат; другой гладок продолговат, цена по 3 руб.; 7 – с финифтом с белым в нем яхонтик лазорев, 4 руб.; 8 – о шести алмазцах, 12 руб.; 9 – с чернью и с яхонтом лазоревым, 2 руб.; 10 – с бирюзою, цена 1 руб.».

Перстни, серьги и другие подобные предметы, конечно, хранились в футлярах или особых коробочках, которые и изготовлялись, смотря по надобности. Так, в мае 1692 г. царице Наталии Кирилловне было сделано «шесть *перстневиков* длиною по 4 верш., в ширину 1 $^{1}/_{2}$ верш., с выдвижными ящики; три *коробочки сережные* длиною и шириною по 2 $^{1}/_{2}$, а вышиною по 1 верш., с лица оклеенные бархатом красным, внутри тафтою, по краям серебряным галуном».

Кроме перстней к золотым нарядам рук, именно ручной кисти, принадлежали *обручи, запястья* и *зарукавья*, соответствовавшие нынешним браслетам. *Обручи*, состоявшие собственно из золотой и вообще металлической проволоки, более или менее толстой, гладкой или свитой вдвое, втрое и т. д., были самою древнейшею формою такого наряда; по крайней мере, в отношении их названия они указывают такую древность, которая превосходит древность *обруча* уже в переносном его значении – как связки для разной деревянной посуды, например бочек, кадок и т. п. Очень естественно, что и употребление обручей мы встречаем в более старое время, чем описываемая нами эпоха. Так, в XIV в. они, по-видимому, были еще очень любимым нарядом. В 1328 г. Калита отдает своей дочери Фетинье из *золота* ее матери 14 обручей. Княгиня Волоцкая в 1503 г. отдает своей внучке уже только три обруча золотых, а своей снохе – два обруча золотых. Затем в XVII столетии об обручах уже не поминается; их заменяют зарукавья и запястья, да и те

сравнительно с другими нарядами в виде браслетов употребляются очень редко. Быть может, большим и меньшим употреблением этой части наряда рисуется самый переход женского быта от большей свободы общественного положения женской личности к большей его замкнутости, даже и в отношении одежды. Более открытая одежда требовала, конечно, и в большей мере таких нарядов, как обручи – браслеты; напротив того, когда одежда становилась покровом постничества, то оказывались излишними и разные ее принадлежности, возвышавшие красоту открытую.

Что касается *запястий*, то этим словом очень редко обозначаются браслеты вроде обручей. Запястьем называлась у всякой одежды конечная часть рукава, противоположная *кореню*, по той, вероятно, причине, что она покрывала запястье руки, т. е. не только верхнюю часть ручной кисти, но и верхнюю ее сторону, противополагаемую ладони. На такое значение запястья указывает кройка рукавиц, у которых исподы полагались в ладонях из беличьего меха, а запястья – из собольего; у холодных рукавиц *запястья*, собственно поверхность рукавицы над запястьем или вся поверхность кисти богато украшались золотым шитьем. У некоторых одежд, особливо у мужских, запястья (обшлага) также украшались или кружевом, или шитьем и низаньем и даже дорогими каменьями, как, например, у царских становых кафтанов. В женской одежде подобным образом украшались запястья верхних сорочек. Прямых известий о том, что подобные запястья носились на руках отдельно от одежды, мы не имеем. Запястье, упоминаемое в духовной князя Верейского 1486 г. и принадлежавшее к ожерелью спереди («того ж ожерелья запястье великим жемчугом низано»), есть, по всему вероятию, жемчужный спорок с какой-либо одежды, как и само это ожерелье. О таком же запястье упоминает в своей духовной и княгиня Волоцкая, 1503 г.: «ожерелейной жемчуг и передцевой и с запястьем». Запястья со значением браслета, т. е. носимые

не на рукавах только, а на руках, назывались по большой части *зарукавьями* как убор, которого место на руке было за рукавом, по конец рукава. От *обручей* такие браслеты отличались тем, что состояли из цепочки более или менее широкой или, собственно, из нескольких звен, соединенных цепочками или петельками, между тем как обручи делались из цельной проволоки кольцом и могли разниматься разве только посредством вертлюга (шолнера), что вошло в употребление уже впоследствии.

Богатые зарукавья и запястья-браслеты находим в царской казне Шуйских. У царевны Ирины было «зарукавье – две чепочки золоты звенчаты, навожены черную; у зарукавья в гнездех 10 алмазцов граненых да 10 зерен жемчужных». Под это зарукавье для хранения сделаны две *колодки*, обшитые тафтою алою – род футляров, на которые зарукавья надевались.

В описи казенного государева Двора 1663 г. упоминаются «*зарукавье*, золото с алмазы и с черчеты яхонты, а в них 16 мест, цена 70 руб.; челом ударил греченин Петр Богданов, 168 г. июля 13; *зарукавье* золото с каменьи с искры яхонтовыми червчаты, а в них 39 мест, а одного места нет». В описях частного женского имущества находим: «1674 г.: зарукавье низаное по цке с каменьем; 1677 г.: зарукавье золотое с яхонты; зарукавье жемчужное; 1681 г.: зарукавье низаное жемчужное и с каменьем».

Дорогие *булавки*, которыми закалывали на голове убрусы и с этою целью употребляли и в других уборах, упоминаются еще в конце XV столетия с именем *занозок*. В 1489 г. князь Верейский отказывает своей дочери, между прочим, «трои заноскы золоты». В царской казне начала XVII столетия описаны «3 булавки зерна гурмышские на золотых спнях большие скатные; 4 булавки зерна невелики гурмыжские ж, три на золоте ж, а четвертая на серебре». Булавка, таким образом, состояла или из одного *спня*, как занозка, или из спня с жемчужною головкою.

Особого рода булавки назывались, кажется, *пелепелками* и собирательно – *пелепелом*[1].

В духовной великого князя Дмитрия (ск. в 1509 г.) упоминаются «11 *запонок* с переперы с яхонты и с лалы и с жемчугом и с плохим каменьем», которые, по всему вероятию, были не что иное, как булавки.

Все описанные предметы назывались общим именем – *кузнью*, потому что были металлические, кованые; также *низаньем* и *саженьем*, потому что были жемчужные, т. к. в низанье и саженье употреблялся один лишь жемчуг и небольшою частью – дорогие самоцветные каменья, или просверленные, или же утвержденные в гнездах с ушками.

Ларец, в котором все это сохранялось, был вместе с тем и уборным ларцом, вполне заменявшим для наших прабабок уборный столик. В таком ларце, величина которого была различна, смотря по богатству и широте потребностей, в верхней кровельной его доске устраивалось иногда и зеркало; но большею частью зеркала делались в особых металлических же влагалищах – футлярах, бывали небольшие вершка в 3 и 4 или меньше и больше, и всегда с закрышкою, т. е. всегда закрывались створкою своего футляра. Если же такое зеркало было вставлено только в ободу, в рамке, то во всяком случае его хранили тоже во влагалище суконном или бархатном.

О различных уборных принадлежностях мужских и женских мы достаточно говорили в первой части Домашнего быта царей. Здесь в дополнение упомянем, что в уборном ларце кроме белил, румян, сурмил и клея для подклеиванья волос, особенно бровей, сохранялись, по всему вероятию, и различные другие снадобья, необхо-

[1] В Серебряной палате состояли особые мастера *переперщики, пелепелщики*, из которых в кон. XVII столетия был известен Матвей Данилов, получавший в год окладу 7 руб. жалованья и кормовых по 6 ден. на день. В 1661 г. переперщиком был Игнашка Федоров, прозвищем Серебряник, которому декабря 16 дано делать 1000 серебряных пелепелков. В 1658 г. августа 25 Грузинскому царю к карете употреблено пелепелков золоченых 3 $^1/_4$ золотн., в покупке за золотник по 8 алт. 2 ден.

димые для возвышения всяческого телесного благолепия и красоты, как-то: умыванья, ароматы или водки (духи), балсамы (помады) и т. п. В царском быту такие составы изготовлялись обыкновенно в Аптекарской палате, смотря по надобности, по рецептам царских врачей. Но нет сомнения, что простые, не слишком замысловатые снадобья, особенно умыванья, готовились также и домашними лекарками, *комнатными бабками*.

Старинные «Прохладные или избранные *Вертограды*, изысканные от многих мудрецов о различных врачевских вещах» или врачевские книги, лечебники, дают много советов, как и чем наводить благолепие и светлость лицу, глазам, волосам и всему телу. Все они, конечно, вместе с переведенными лечебниками приходили к нам из средневековой Европы и там значительною долею заимствованы еще от античной древности; но до́лжно полагать, что от той же древности, чрез посредство Византии, иное из этих советов было и нам известно задолго до появления в нашей письменности упомянутых Прохладных Вертоградов. Силы естества в растительном и минеральном царстве были знакомы и нашим доморощенным ведунам и знахарям, а по женской части – ведуньям и знахаркам, которые, как мы уже и видели, с. 517 и след., сохраняли много способов и средств нравиться даже тайных, в собственном смысле ведовских.

Простые средства приобретать красоту всех родов и видов были делом самым обычным и потому, быть может, так мало нам известны, ибо не было никакой надобности записываньем сохранять о них память. Так, из лечебников и из доморощенной практики наши допетровские красавицы должны были знать, что *овсяная* мука, смешанная с добрыми белилами и варенная в воде, доставляла умыванье, от коего лицо бывало бело и светло; *ячмень* толченый без мякины, варенный в воде «до великой клеести», потом выжатый сквозь плат, доставлял умыванье (в виде теплой воды) от загара. *Сорочинское пшено*, варенное в воде, вы-

водило из лица сморщенье. Вода из *бобового цвета*, равно и из бобовой травы, когда ею умывали лицо и тело, всякую нечистоту выгоняло, придавало телу гладкость и светлость. Тоже производили и бобовые скорлупы, варенные в воде до клея. «*Мука бобова*, мелко толчена (пудра), если потирать ею тело, каким обычаем ни буди, лице и тело ставила гладким». Семя *дынное*, варенное в воде, давало умыванье для лица и рук, отчего тело бывало чисто и бело. Семя дынное, высушенное на солнце, толченное без чешуи мелко, смешанное с мукою бобовою, или ячменною, или пшеничною на гуляфной водке (розовой воде) в виде пресночка (лепешки), высушенное потом на солнце, доставляло особый род мыла, от которого при умываньи лица и рук тело становилось светлым и всякая нечистота и лишаи пропадали. Вода из дубового листвия как умыванье тоже очищала все тело и доставляла ему светлость. Вода из *зори* как умыванье сгоняла нечистоту с лица, и угри черные и прыщеватые, и светлость наводила. К тому же служил сок кореня травы *бедренца*, от которого лицо делалось чисто и молодо. Вода из травы *иссоповы* как умыванье и питье давала лицу светлость; иссоп в вине наводил лицу благолепие и т. п. Всякие подобные травы в достаточном количестве разводились в царских садах, московских и подмосковных, а также и в аптекарских огородах. Нет сомнения, что в этих садах, по совету тех же врачевских Вертоградов, собиралась девицами с цветов роса, которая тоже доставляла лицу свежесть и светлость. «Платом чистым, – говорит Вертоград о рябом и угреватом лице, – сбирать росу с цвету колосов пшеничных зеленых и с цветов всяких, и плат выжимай (собирая воду), и тою росою умывать лице, чисто будет».

По советам врачевского Вертограда, многое благолепие доставляли также пряные зелья. Он говорит, между прочим: «Кто часто *корицу* в брашне приемлет, у того бледность из лица выведет и благолепостен станет, также темность очную сгонит и светлость творит; *гвоздика* часто при-

ята – очам светлость наводит; *мушкатный орех* на тощее сердце прият утре (пол-ореха) благолепие лицу наводит; *перец* ефиопской, аще во рте жуем, благовоние рту наводит и смердящей дух отгонит; *шафран* прият в питии благолепие лицу наводит и сердце укрепляет» и т. д. Все такие пряности, как известно, и в действительности употреблялись в допетровское время в большом количестве во всякого рода брашнах и снедях и во всяких питьях, в водках, медах, винах. В XVII столетии, например, во всеобщем употреблении был аптекарский «сыроп коричной», равно и *коричная водка* (вода), т. к. самым употребительным лечебным (предохранительным) средством была *водка-апоплектика*, ароматическо-спиртуозная вода, в состав которой кроме разных сильно духовитых, пряных растений входили, главным образом, *дух*, т. е. спирт гладышев, коего шло ок. $^2/_3$, и водка гуляфная, ок. $^1/_3$; и которая поэтому употреблялась и вообще как благовоние для тела, ибо ею мыли голову.

Словом сказать, благовонные, ароматические и спиртуозные воды различного состава во дворце и особенно на женской половине были в большом употреблении, как это видно по кратким указаниям рецептов, например для царевен Екатерины Алексеевны, Евдокии Алексеевны и др.[1] Такие воды и водки хранились у царевен в особых *погребчиках*, ящиках и коробочках. В 1685 г. декабря 15 в хоромы царевны Феодосии Алексеевны велено сделать два погребчика к 32 сулейкам (скляницам) измайловского дела, один – на четыре грани, другой – на шесть граней о 16 местах, где быть сулейкам.

В казне царевны Ирины хранились «шкатула дереверая, немецкое дело, писана золотом, с замком, а в ней 8 скляниц на аспидное дело, у скляниц шурубцы (пробки-завертки) оловянные. Шкатулка оклеена бархатом червчатым, оправлена серебром, в ней 5 скляниц, шурупы серебрены, *араматник* золот с *балсаны*, навожен финифты

1 *Рихтер В. М.* Указ. соч. Ч. 2. – С. 169, 207.

розными, наверху ниже колца в закрепке 8 алмазцов, да в стоянце 12 искорок алмазных. *Араматник* золот с финифты с розными, привязка золото с серебром». У царевны Софьи Алексеевны был также *араматник* алмазной. Кроме того: «*шкатул*а оправлена волоченым и сканным серебром, сделана из благоуханного дерева с зеркалом и с двумя ящики; в той же шкатуле ящик серебряной с камешки, да блюдечко, да малой ящик. *Погребец* деревянной, оправлен серебром, в нем 6 скляниц, 2 достокана хрустальные».

Совсем убранная, наряженная и изукрашенная красота покрывала свое лицо *фатою* – тонким сквозным покрывалом огненного цвета, как замечает Рейтенфельс, чрез которое можно было все видеть и самой быть видимой. Флетчер говорит, что такое покрывало употреблялось особенно летом и состояло из тонкого белого полотна или батиста, было густо унизано дорогим жемчугом и завязывалось у подбородка с двумя длинными висящими кистями. Фатою вообще назывался большой четыреугольный плат – покров, сшитый из самой легкой ткани, каковы были, например, выбойки турские и индейские, миткали арабские, камки индейские, бязи и т. п. Она бывала и цветная, т. е. набивная разными цветами, разноцветная, и одноцветная алая, синяя, но больше белая, нередко полосатая, например «синя полосы белы, полосата розные шелки». В 1645 г. у царевны Ирины была фата бела полосата, кругом фаты кайма червчата. Ей же в 1648 г. подано «в хоромы на фаты 7 арш. камки индейской серебреной по алой земле».

По порядку первою одеждою была *сорочка* – и в качестве белья, как рубашка, и потом в качестве теперешнего *платья*. Как белье, рубашка, шитая обыкновенно из полотна, она называлась в общем смысле *белою*. Собственно, это была сорочка нижняя. Как платье она шилась большею ча-

стью из цветных тканей и потому носила общее название сорочки *красной*, т. е. верхней, более красивой и по материалу, и по убору. Нижние полотняные или *белые* сорочки кроились равно широко и в вороте, и в подоле, т. е. из прямых полотнищ, без клиньев в подоле и с обыкновенными короткими рукавами. Ворот стягивался пояском или шнурком и посредине на груди имел небольшой разрез, дабы удобнее было надевать одежду.

Верхние сорочки кроились так же, как и нижние полотняные, с тою разницею, что они были шире и длиннее и имели до чрезвычайности длинные рукава, которые обыкновенно собирались на руке во множество мелких складок. О такой длине рукавов иностранцы свидетельствуют: «Складки их едва можно было уложить от кистей рук до самых плеч, что множество складок так хорошо защищали руки и плеча от холода, что даже зимою не было нужды надевать какую-либо одежду в рукава». Действительно, покрой вторых или средних одежд вполне соответствовал назначению носить рукава сорочки наруже и даже как довольно заметный убор во всем наряде. Вторые одежды, хотя и шились тоже с рукавами, но в мышках имели всегда проймы, в которые обыкновенно и продевалась рука, одетая в сборчатый рукав сорочки, так что рукава вторых одежд висели за плечом и кроились больше для полноты наряда, а вовсе не для употребления. Ниже увидим, что сорочечные рукава украшались, сверх того, богатым золотным шитьем и низаньем как необходимым убором для видной, открытой части наряда.

По свидетельству Олеария и Корба, рукава сорочек бывали длиною в 6, 8 и 10 локтей. Если считать обыкновенный локоть в 10 $^2/_3$ верш., как он переводился на русскую меру в XVI и XVII столетиях, то выйдет, что длины в таких рукавах бывало 4 арш., 5 $^1/_3$ и 6 $^2/_3$ арш.

Коллинс, говоря об одежде царицы, замечает, что ее наряд от других особенно отличался длиною рукавов у со-

рочки, которые бывали от 30 до 36 английских футов. Чем тоньше была материя, тем длиннее делались рукава, и потому длина кисейных бывала больше 10 локтей.

Верхние сорочки шились из легких шелковых тканей, преимущественно из тафты червчатой, алой, белой, желтой; также из тафты полосатой – «полосы белы да червчаты, желты да червчаты, зелены да червчаты»; из шиды[1] – «полоски алы с золотом, белы с золотом»; из *кушаков*, тоже шелковой полосатой ткани – «полосы белы, а другие желты с золотом»; из кисеи, особенно из цветной полосатой, – «шелк желт бел, бел зелен червчат, желт зелен, бел червчат» и т. п. Нарядные сорочки по швам вынизывались мелким жемчугом в *веревочку*, причем рукава по запястью до локтя и по швам низались особым, более красивым способом – *рясою* или *ряскою*, т. е. наподобие бахромы.

Иногда вместо жемчуга по швам бывали *кладены* пояски плетеные (тесьмы), золотные или серебряные. Особенно богато всегда отделывались рукава, преимущественно на плечах и у запястья; здесь они узорочно вышивались цветными шелками, золотом, серебром, низались жемчугом с мелкими золотыми дробницами или разновидными бляшками. У сорочек, которые надевались под вторую одежду, рукава богато украшались шитьем и низаньем только у запястий. В описях царицыной казны времени Годуновых и Шуйского находим достаточные подробности о таких сорочках. Упомянем также, что еще в 1486 г. князь Верейский в своей духовной жалует своей дочери в числе прочего наряда «сорочку шидену сажену с дробницею, да четыре сорочки красны, да ларец желт с сорочками с шидеными»; а княгиня Волоцкая (1503 г.) отказывает своей внучке между прочим сорочку «шита (шида?) червчата, рукава сажены».

---

[1] *Шидою* или *шитою*, откуда *ситец*, называлась индейская бумажная набивная ткань. У нас именем «шиды» могли обозначаться и различные шелковые ткани, особенно тонкие тафты, но также всегда набивные, привозимые тоже из Индии.

Сорочка верхняя, как мы заметили, соответствовала в употреблении теперешнему *платью*. Это была исключительно комнатная повседневная одежда, носимая с поясом, следовательно, обозначавшая стан и грудь, что и ставило ее в разряд одежд стыдливых. Показаться пред посторонними людьми, и особенно пред мужчинами, в такой сорочке для женщины было величайшим неприличием. По рассказу Поссевино, из-за такого именно обстоятельства совершилось при Грозном несчастное убийство царевича Ивана: «Все благородные и не совсем бедные женщины, – говорит он, – носят здесь обыкновенно по три одежды, которые, сообразно с временем года и состоянием погоды, то легче, то тяжеле. Женщина, которая носит только одну одежду, навлекает на себя дурную славу. Однажды во дворце, в Александровской слободе, в жаркий летний вечер третья жена царевича Ивана, бывшая на последних порах беременности, лежала, растянувшись на скамье в легкой одежде, как вдруг вошел свекор ее, великий князь. Она тотчас вскочила, но великий князь вне себя от гнева ударил ее рукою по щеке, а потом палкою (посохом), которую постоянно носил с собою, до того ее отделал, что она в следующую же ночь преждевременно разрешилась сыном. Царевич Иван прибежал на этот шум, вступился за жену и стал упрекать отца, что по его же жестокости он лишился своих прежних двух жен, удаленных в монастырь. Тогда гнев отца обратился на него, и он нанес ему посохом такой сильный удар в висок, что тот упал, смертельно раненный, и, несмотря на всевозможную помощь, скончался по прошествии пяти дней».

Мы видели что и былины, описывая зазорное поведение некоторых своих героинь, изображают их в одной сорочке и притом еще без пояса, делая тем самым прямой намек на забвение необходимого и обычного приличия.

Из вторых или выходных одежд самою употребительною была *телогрея*. Это было платье распашное, застегиваемое по передам небольшими пуговками или нашивкою,

т. е. завязками. Она кроилась, как и все другие выходные одежды, в длину почти до пят, при среднем росте в 2 арш., в ширину в плечах – около аршина, в подоле в 3 арш. (или кругом в 6 арш.), с воротом в 8 верш. ширины с длинными до и ниже подолу рукавами, имевшими ширины в корени вершков 6, в запястье – ок. 3 верш., у которых под мышками, в ластках делались *проймы* вершков в 5 длиною, в расстоянии от ворота вершков на 6 и больше.

В эти проймы телогрея и надевалась на сорочку, так что ее рукава всегда оставались висящими и ниспадали позади рук до подолу или связывались назади за спиною вперекидку друг на друга. По свидетельству иностранцев, такие рукава почитались необходимым украшением этого платья, как и вообще обычного женского выходного наряда[1]. Для телогрей, как и вообще для выходного платья, употреблялись ткани более тяжелые, чем для верхних сорочек, именно золотные и простые камки, атласы, объяри (гродетур), изредка тафты, а иногда *зуф*, шерстяная ткань вроде камлота и т. п. По вороту, по полам и по подолу эта одежда окаймлялась кружевом, обыкновенно золотным, также шелковым; полы, как мы сказали, застегивались пуговицами, число которых бывало различно – от 9 до 20 и даже до 30; обыкновенно бывало 15 и 17. Они ставились по всей поле от ворота до подола.

Холодные или *летние* телогреи подкладывались тафтою, а по подолу, сверх того, имели атласную или камчатную *подпушку*, вершка в 1 $^{1}/_{2}$ шириною, которая во всех подобных одеждах употреблялась для сохранности подольной части платья. Подпушка своим цветом всегда более или менее ярко отделялась от подкладки. К лазоревой,

[1] В простом быту эти длинные рукава служили глубокими карманами или, вернее, мешками для поклажи надобных предметов и вещей. В народе ходило присловье: «*Шей, вдова, широки рукава, было б класть куда небылые слова*», которым ярко обозначалось в старом обществе беззащитное положение вдовьего быта, всегда подверженного небылым словам, т. е. клеветам на вдовье поведение.

червчатой, брусничной, зеленой подкладке пришивалась подпушка желтая; к белой, лазоревой, желтой – червчатая; к червчатой – светло-зеленая; к желтой – зеленая, алая и т. п. Есть известие, что у телогрей бывали и *зепи*, карманы, на которые царице Агафье Семеновне вышло тафты алой четверть аршина[1]. Под *теплые телогреи* подкладывался меховой *испод* – горностаевый, белий, лисий, соболий, песцовый, а иногда и черевий, заячий, с *пухом*, т. е. с бобровою опушкою, причем на полах оставлялся *подполок* из той же ткани, из коей был скроен верх. Белые меха нередко *нацвечивались* черными, например белый песцовый нацвечивался черными песцами, т. е. по местам вшивались лапки, хвостики[2].

При описании одной из телогрей царицы Евдокии Лукьяновны упоминается «*запястье*, по отласу по червчатому низано жемчугом с канителью». Но у телогрей запястья ничем не украшались, а тем более жемчугом, и это упоминание есть лишь описка вместо слова «кружево»[3].

К тому же отделу вторых или средних одежд принадлежала *шубка накладная* или *столовая*, в XV и XVI столетиях обозначаемая просто *шубою*. Верейский князь в 1486 г. отказывает своей дочери: «Шуба кована, бархат червчат, шуба камка мисюрская, шуба червчата, шуба зелена, шуба багряна, шуба рудожолта, шуба бела, да другая шуба бела». Княгиня Иулиания Волоцкая, 1503 г., отдает своей внучке женского платья: «Две шубы скорлат червчет, одна без тафты, да шуба бело-голуба, без тафты ж, да шуба цини (ценинного цвета) без тафты ж, да шуба червчетая ипская, да шуба светло-зелена лунская, да шуба багреци...». Так как наиболее обычною тканью для шубок было сукно, то в этой росписи о

[1] Архив Оружейной палаты. – № 536.

[2] Меха по мездре прокладывались ветошками: «153 г. июля 15 наплечный мастер купил на 8 алтын 2 денги ветошек рубашечных на царицыну телогрею киндячную черную, на черевей заячий испод на настилку».

[3] *Савваитов П.* Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов. – СПб., 1865.

нем и не упоминается, а обозначается только его цвет и иногда местность, откуда привозилось, ипское лунское.

Шубка этого названия шилась покроем сорочки, без разреза на полы, и надевалась, как сорочка, с головы, отчего в отличие от других верхних одежд и называлась *накладною*, ибо не накидывалась на плечи по-кафтанному, а накидывалась, как мы сказали, с головы. В этом ее различие от телогреи. Кроилась она длиною тоже до пят, при среднем росте в 2 арш., шириною в плечах около аршина с высоким прямым воротом, как у сорочки, т. е. с небольшим разрезом на груди для надеванья, который застегивался пуговкою с петлею. Рукава ее ниспадали почти до подолу и в мышках или ластках имели проймы, в которые обыкновенно продевались руки, одетые в сорочку. Ширина подола расставлялась клиньями и обыкновенно бывала в 3 арш. или кругом в 6 арш.

Это платье, быть может, потому называлось шубкою, что на него употреблялись ткани плотные и тяжелые, шелковые, и большею частью золотные бархаты, атласы, алтабасы, зарбафы, объяри, камки (по преимуществу камка кизылбашская и *бурская* как самая дорогая и тяжелая). Из золотных тканей кроились шубки парадные, праздничные, выходные и ездовые. Они подкладывались обыкновенно тафтою. Другой разряд накладных шубок, назначаемый только для домашнего употребления, кроился из сукна – белого, червчатого, желтого без подкладки, только с тафтяною подпушкою по подолу. В накладных шубках обыкновенно выходили за стол, отчего они и назывались также *столовыми*.

Так как накладная шубка не была одеждою распашною, то на ней и не встречаем никаких наружных уборов – ни кружева, ни нашивки, ни пуговиц. Она оставалась *чистою*, т. е. без всякого наряда и убора. На богатых выходных и ездовых шубках всегда носили *накладное ожерелье* – круглый широкий воротник или пелерину из бобрового меха.

Покрой шубки и дорогие тяжелые ткани, из которых она шилась, способствовали тому, что у царицы, как и у

больших царевен, она, особо украшенная, приобретала значение царского платна, порфиры, или вообще одежды царственной. Тогда она делалась распашною, с рукавами длиною только по кисть и шириною в запястье вершков в 7 или 8, и роскошно украшалась широким кружевом по запястью рукавов, по полам и по подолу. На полах, кроме того, ставились богатые пуговицы числом 13, 14 или 15. Кружево, особенно по передам, украшалось нередко *аламами* – большими круглыми бляхами из басменного золоченого серебра.

На плечах у такой шубки полагалось из той же ткани круглое широкое ожерелье – род пелерины, соответствовавшее царской диадеме и потому всегда богато украшаемое кружевом с аламами, обнизанными жемчугом.

Так украшена была царская шубка царицы Марьи Ильичны и царицы Агафьи Симеоновны, которая впоследствии в 1681 г. марта 3 употребила весь этот богатый убор своей шубки на оклад образа Пресвятой Богородицы в церковь на Потешном Дворе. На этой шубке «аламов было в кружеве и на ожерелье 46 мест, весу в них 12 ф. 83 золотн.».

Подобные шубки-платна переделывались иногда из готовых уже шубок. В 1682 г. для новобрачной царицы Марфы Апраксиных были «переделаны платном с широкими рукавы, две шубки покойной царицы Агафьи Грушецких: первая 28 марта – отлас виницейской по серебреной земле травки и репьи золоты оксамичены изредка, в обводах шелк бел; подкладка тафта червчата (кроено в 189 г. ноября в 14 д.); вторая 30 марта – бархат виницейской золотной, по нем морх червчат да орлы двоеглавые оксамичены золотом и серебром; подкладка тафта ала»[1].

Из числа золотных, шелковых и суконных столовых или накладных шубок царицы Евдокии Лукьяновны описываются следующие: «*Шубка* бархат червчат, на ней кру-

[1] Архив Оружейной палаты. – № 148. В «Описании старинных царских утварей…» г. Савваитова отметка об этой переделке у первой шубки не упомянута (с. 135); а у второй (с. 136) передана не совсем точно, с обозначением: «Переделана *платием* вместо *платном*».

живо серебрено золочено басмянное обнизано жемчугом, подкладка тафта жолта; на ней 15 пугвиц золоты с чернью (144 г. июня 10 с сее шубки у царицы в хоромех около *аламов* жемчуг на государские дела снят местами). *Шубка* бархат венедитцкой, по червчатой земле круги серебрены, под кругами листье золото, в них шолк зелен да червчат, подкладка тафта двоелична, шолк бел да ал. *Шубка* алтабас, по серебреной земле травы золоты, подкладка тафта червчата. *Шубка* алтабас, по серебреной земле травки розные, шолки с золотом, подкладка тафта виницейка червчата (и 135 г. ноября 27 сее шубку царица пожаловала княгине Устинье Оболенской). *Шубка* отлас по червчатой земле, реки и листье шолк бел да зелен с золотом, другое листье серебрено с лазоревым шолком, подкладка тафта лазорева. *Шубка* камка кизылбашская по червчатой земле, люди и звери золоты с розными шолки, подкладка тафта виницейка жолта. *Шубка* сукно скорлат червчат, подпушка тафта лазорева. *Шубка* сукно скорлат бел, подпушка тафта червчата. *Шубка* сукно лундыш светло-зелено, подпушка тафта червчата».

Летник принадлежал к одеждам накладным, т. е. надеваемым, подобно сорочке, с головы, а не в опашку, и потому кроился также сорочкою без разреза на полы. Его покрой в стану сходствовал с покроем накладной шубки. Но он отличался от всех одежд особым покроем рукавов, которые и назывались даже не рукавами, а *накапками*. В длину эти рукава, начиная от плеча, равнялись длине всего платья, следовательно, простирались несколько, вершка на 4, ниже подола; средняя их ширина была в половину длины, причем в корени они делались шире на вершок против запястья. Они сшивались рукавами только до половины длины или несколько более; нижняя их половина оставалась несшитою и украшалась вошвами, так что на руке они висели, как перекинутое полотнище.

Нет сомнения, что по этой кройке и по особой ширине рукавов одежда и получила особое название летника

как одежды, открытой в рукавах, прохладной. Стан в плечах также кроился на несколько вершков просторнее, чем у других летних и даже зимних одежд. Ширина подола была обыкновенная, 3 арш., или вокруг 6 арш. Длина всего платья простиралась до пят и при среднем росте имела около 2 арш., как и все другие верхние выходные одежды, носимые в хоромах.

В кройке составные части летника были следующие: перед, зад или стан, крыльца, клинья передние и задние поднакопошные, ворот (воротник), подольник. Перед и накапки иной раз кроились из одной ткани, более богатой или узорчатой, а зад и клинья – из другой, разумеется, подобранной под цвет и под узор; а если из гладкой, то в этом случае ее подделывали вышиваньем, золотным или шелковым, смотря по ткани переда.

Подольник составлял особую от платья кайму шириною с небольшим в 2 верш., которая пришивалась по подолу, но не опушкою, внакладку, а как прибавка к длине подола; она по большей части бывала атласная или из другой подобной же блестящей ткани и всегда другого цвета с платьем; так, к белому атласному летнику пришивался подольник алый или червчатый, к червчатому – зеленый, светло-зеленый, празеленый; к лазоревому или желтому – червчатый и т. п. Нет сомнения, что в выборе цвета на подольник руководились желанием подобрать его к лицу, т. е. возвысить им и собственную красоту, и красоту всего наряда. Все платье шилось из золотных и шелковых тканей, по преимуществу из золотной камки бурской, кизылбашской и подобных, также из кушаков, золотной же тяжелой полосатой ткани, и из шелковых – атласа, камки, тафты, дорогов и пр. Подкладка ставилась подо всем платьем легкая тафтяная.

Особый наряд или убор летника составляли *вошвы*. Это были небольшие полотнища или платы, скроенные косынями длиною в 1 $^{3}/_{4}$ или в 1 $^{1}/_{2}$ арш., шириною в верхнем конце вершков в 8 и более. Нижний же конец несколько

округлялся и срезывался на нет[1]. Они делались из более тяжелой, плотной и дорогой ткани, обыкновенно парчовой, а большею частью – и из гладкого атласа или бархата, по которому роскошно и богато украшались золотым и шелковым шитьем и жемчужным низаньем с дорогими каменьями и нередко с металлическими дробницами.

Эти косыни своею долевою стороною пришивались к нижнему концу рукавов или накапок, причем широкий конец вошвы ставился к передней части рукава, а острый – к задней, так что при подъеме руки широкий конец находился вверху, а острый ниспадал к подолу; в этом положении вся вошва всегда оставалась открытою и служила самым видным и роскошным убором одежды. Для того чтобы вошвы всегда оставались пышными и несмятыми, их подклеивали с подкладки рыбьим клеем.

Разумеется, такой покрой и убор рукавов требовал, чтобы руки всегда были подняты или прижаты к груди, дабы поддерживать вошву в долевом и открытом ее положении. В чрезвычайно длинных накапках с такими дорогими вошвами опускать руки было невозможно, тогда и накапки и вошвы волочились бы по земле. Но т. к. летник, и особенно богатый, нарядный, был всегда одеждою парадною, а известно, что в допетровское время во всяких парадных, церемонных, а по-русски – во всяких чинных случаях держание рук у груди представлялось для женщин обычным, самым необходимым приличием, выражавшим вообще кроткое и покоренное их положение в обществе, то это видимое неудобство в покрое рукавов летника вполне совпадало с обычными и приличными формами уменья держать себя в обществе.

Самое слово *вошва* указывает, что плат вшивался в накапку. Но оно же могло обозначать и то, что эти платы в богатом и достаточном быту украшались всегда вышиваньем,

---

[1] Обыкновенно из полотнища в 1 3/4 и в 1 1/2 арш. длины, в аршин или больше шириною, кроилось с угла на угол две вошвы косынями.

следовательно, означали предмет наряда исключительно вышивной работы. Кроме вошев на рукавах летник украшался подобными же, но меньшими косынями на груди у ворота, которые поэтому назывались *передцами*.

У царицы Евдокии Лукьяновны был летник «отлас бел, вошвы отлас турской по червчатой земле, развода и круги велики золоты, в кругах шелк лазорев, листье шолк бел: подольник отлас червчат, подкладка тафта бела. У летника на вороту *передцы* по отласу по червчатому шиты золотом да серебром». В духовной Верейского князя 1486 г. упомянуто «ожерелье пристежное с *передци* низано и с запястьем»; в духовной княгини Волоцкой 1503 г. – ожерелейной жемчуг и *передцевой* и с запястьем. Все это принадлежало к убору какой-либо одежды.

Передцами вообще назывались платы разного вида, вшиваемые в платье для большей красоты на видных передних местах. Самые вошвы – запястья накапок украшались иной раз тоже передцами, т. е. особыми нашивками. В царицыной казне времен Шуйского были вошвы столпчатые, очень богато расшитые золотом шипами и на чеканное дело, у которых были пришиты передцы – «шиты по червчатому отласу золотом и серебром волоченым».

Для осеннего и зимнего времени летник опушался бобровым пухом, т. е. меховою лентою около полвершка или меньше шириною, по вороту, по краям вошев и по подолу. С такою опушкою летники иногда носили и летом.

В холодную пору с летниками носили накладное бобровое ожерелье; в летнее время вместо такого ожерелья подавалась *опашница* – род короткой мантии из богатой золотной ткани, украшенной золотым шитьем. На таких опашницах времени Шуйского были вышиты золотом и серебром: на одной – орлы, олени, павы; на другой – орлы и олени, на третьей – орлы. Кроме того, у одной из этих опашниц были еще и *передцы*, шитые тоже золотом и серебром и бархаченные шелками. Четвертая опашница имела 14 пуговиц.

Опашница Евдокии Лукьяновны была украшена вышитым золотом белым атласным кружевом и червчатыми тафтяными передцами, шитыми так же. Летничная опашница иначе называлась летничною *приволокою*. В казне Шуйских сохранялась приволока из лазоревого золотного бархата с горностаевою опушкою. У царевны Ирины Михайловны с летником *большого наряда* подавалась «приволока тафта червчата, с пухом, вошвы по отласу по червчатому низаны жемчугом». В другой описи у той же приволоки вместо вошев обозначено *оплечье*.

В августе 1648 г. молодой царице Марье Ильичне была сшита приволока тоже из червчатой тафты с бобровою опушкою, с 10 пуговицами и с оплечьем, по червчатому атласу низанным жемчугом большим. У царицы Агафьи Семеновны была приволока тафта червчата: *нарамки* низаны жемчугом по червчатому атласу; на рамках ж пух бобровый: на ней же нашито 5 пуговиц с финифтью. Таким образом, древние передцы в XVII столетии стали обозначаться оплечьем, а потом нарамками, сохраняя и общее название – вошев как частей вшивных, пришивных.

Нет сомнения, что подобная же одежда называлась и *подволокою*, которая с этим именем употреблялась в XV и XVI столетиях и украшалась тогда богатым *запушьем*. Верейский князь в 1486 г. отказывает дочери своей четыре *подволоки*: «подволока на червьце желт шелк, подволока бела, подволока желта, подволока камка на золоте», а великому князю Ивану Васильевичу «*запушье* подволочное сажено...». Быть может, это же самое «запушье подволочное сажено жемчугом гурмыским з дробницою на бели на камке на червчатой» находим потом в числе *саженья* в казне сына великого князя Ивана Васильевича, Димитрия Ивановича (1509 г.). Но здесь это запушье могло обозначать наряд мужской подволоки.

В свадебных чинах летник приобретал значение как бы штатной мундирной одежды, равно как и накладная

шубка, надеваемая с ним вместе. Свадебные чины, свахи, сидячие боярыни по уставу должны были до совершения обряда наряжаться в летники желтые, в шубки червчатые, в убрусы и в бобровые ожерелья, а зимою вместо убрусов – в каптуры. Сама невеста, готовясь к обряду, была в венце и также в желтом летнике и в червчатой шубке. С этою целью к свадьбе царицы Агафьи Семеновны постельницам было сшито 15 летников камчатых желтых, вошвы атлас золотной по таусинной земле, подложены киндяком, и столько же шубок накладных суконных червчатых[1]. На другой день по чину и новобрачная, и боярыни одевались в белые летники. Кроме того, свадебный чин уставляет невесте прикрываться накапкою, когда являлся князь, молодой жених, и садился подле нее на место. На другой день, когда сваха с боярынями новобрачную поднимали с постели, одевали в белый летник, в шубку золотную обычную и в горлатную шапку, она, шествуя в хоромы, должна была по чину тоже прикрывать себя накапками[2].

Летник, разрезанный на полы, распашной, назывался *роспашницею*, а иногда и *опашницею*. Роспашницу кроили из легких шелковых или золотных тканей, из камки, тафты, атласу, большею частью белого или червчатого и алого цвета; подкладывали или тафтою, или дорогами, и украшали кружевом около ворота, на полах и по подолу; также дорогими пуговицами, числом 15 и 20, которые пришивались на вороту, т. е. в верхней поясной части пол; рукава обшивали богатыми вошвами. Неизвестно, как длинны бывали рукава этой одежды. От летника она отличалась еще и тем, что не имела подольника, который заменялся кружевом.

В 1627 г. царице Евдокии Лукьяновне была скроена роспашница, обозначенная также и опашницею и описанная в числе летников следующим образом: «Роспашница, камка куфтерь бела, вошвы по бархату по червчатому

1 Архив Оружейной палаты. – № 243.

2 Временник Общества Истории и Древностей Российских. Кн. 25.

шиты золотом и серебром, орлы оксамичены, круживо по отласу по червчатому шито золотом и серебром травы, в травах орлы, и инроги, и львы, и павы, на вороту 15 королков червчатых резных, у королков репейки и спни золоты, в закрепках искорки изумрудные, подкладка у опашницы (*sic*) тафта (виницейка) бела (и с тое роспашницы королковые пугвицы сняты и положены в казне, а на роспашницу нашиты 15 пуговок серебрены золочены, сняв с царицыной с тафтяной с алой телогреи, что на пупках собольих. 144 г. сентября 3 сее роспашницу царица пожаловала боярина Иванове дочери Никитича Романова)».

Другие роспашницы описаны так: «Роспашница, камка куфтерь червчата травная, круживо по отласу по белому шито золотом да серебром, вошвы по бархату по черному шиты золотом да серебром травы, меж трав орлы, и инроги, и птицы, и листье оксамичены, подкладка тафта виницейка желта; на роспашнице 15 пугвиц золоты островаты с чернью. Роспашница, тафта виницейка ала, круживо по тафте по зеленой шито золотом да серебром. На опашнице 15 пугвиц серебрены золочены островаты, по них полоски (147 г. апреля 24 сее роспашницы верх царица пожаловала княжне Ростовской). Роспашница, камка бурская, на червце травы и листье золото; вошвы по бархату по черному низаны жемчугом с дробницы и с каменьи с яхонты с лазоревыми и с червчатыми; круживо по бархату по червчатому низано жемчугом репьи и косы, в репьях и в косах в золотых гнездех зачеканивано каменье яхонты, и лалы, и изумруды, и бирюзы; на *вороту* 15 пугвиц серебрены золочены велики продолговаты сенчаты с финифты с розными, сверху и снизу репейки финифт темно-лазорев, в закрепках зеренчаты; подкладка светло-зелена тафтяная (146 г. генваря 2 с сее роспашницы из кружива низаного выпорото 26 репьев с яхонтами червчатыми в гнездах, 76 бирюз, 101 искорка яхонтовых червчатых, 29 кос с каменьем, всего 232 места; нашито каменье на государево

круживо, которое платно было на государе на Богоявленьев день в нынешнем 146 г.)».

Опашен, иначе *охобен* – верхнее летнее распашное платье из шелковой или золотной добротной ткани, а большею частью – из червчатого сукна. Покрой его был такой же, как и у других верхних одежд, т. е. с прямым станом и со вставкою по бокам обычных клиньев. Как верхняя одежда он делался во всех частях полнее; ворот у опашня кроился скошенным к полам и служил их продолжением. Около шеи к нему пришивалось вокруг *ожерелье* или *воротник* из ткани более богатой, обыкновенно парчовой; ширина этого воротника бывала вершка в полтора и к концам скашивалась или закруглялась, а длиною он ставился вершков в 20, так что концами опускался вершков на 5 или на 6 по груди по обеим сторонам. Рукава бывали полные, обычной длины, т. е. невступно до подола. Полы и подол украшались кружевом – золотным, жемчужным, а полы, кроме того, застегивались такими же петлями и серебряными пуговицами, украшенными финифтью, каменьями и всегда великими, величиною с грецкий орех и больше, иногда половинчатыми, которые по своей величине справедливо назывались также *чашками*[1]. Они украшались финифтью и каменьями. Кружево часто полагалось вдвойне: одно – широкое, другое – узкое. На суконных опашнях вместо кружева делалась *строка*, прострочка мелкая, или крупная, или же обе вместе, которые бывали и низаны жемчугом, одна – в рясную, другая – в одно зерно. Иногда вместо строки полагался картулин.

С исподу опашень подкладывался тафтою с атласною подпушкою под передами, т. е. под полами; впрочем, бывала и одна только подкладка без подпушки, или же одна подпушка без подкладки; суконные же по большей части делались с одною подпушкою. Число пуговиц, которые ставились на опашень, бывало неодинаково, что зависело частью от их величины (особенно крупные, занимали место

[1] Архив Оружейной палаты. – № 673.

больше и, разумеется, ставились реже), а частью от роста, т. е. от длины пол. Пришивали 5, 7, 9, 11 и 15 пуговиц.

Опашни как выходная верхняя одежда в царицыном быту всегда убирались с большим богатством. К свадьбе царицы Евдокии Лукьяновны в 1626 г. на ее опашень в Серебряной палате было сделано в кружево 53 золотых гнезда, в чем ставить каменье весом 12 золотн.; да в жемчужное кружево 64 гнезда золотых же.

Опашень, или охабень, положенный на меху – собольем, лисьем, горностаевом и т. п. – назывался *шубою*. Воротник (ожерелье) у шубы ставился бобровый, отворотный, как у опашня. На передах или полах пришивались такие же большие пуговицы, числом 9, 11 и больше, с петлями или нашивкою, всегда украшенною кистями с золотными или жемчужными ворворками. Кружево на шубе не употреблялось. В царском быту в XVII столетии шубы кроились только для детей и очень редко – для взрослых, ибо их вполне заменяли теплые телогреи, обозначаемые иногда шубами; также кортли и торлопы. У цариц в числе платья даже вовсе не находим шуб. В простом быту шубы употреблялись на образец мужских.

Кортель – одежда зимняя меховая, соболья, белья, горностайная, кунья, иногда нагольная, но обыкновенно покрытая легкою шелковою тканью, тафтою, камкою, кушаками. Кортель, даже и нагольный, украшался всегда богатыми вошвами и подольником; эти его части указывают на сходство в покрое с летником, почему, за неимением других, более прямых указаний, можно полагать, что это был по покрою тот же летник, только исключительно зимний, меховой. Сходство с летником дополняется и тем, что у кортеля не было ни кружева, ни пуговиц. Но были ли у него столь же длинные и столь же широкие рукава – накапки – неизвестно. Можно полагать, что рукава кортеля делались в обычную длину, но были широки по-летничному, а потому и обозначались в описях только именем вошев как необходимой их принадлежности. Впрочем, тем же именем,

как мы видели выше, могло обозначаться и оплечье, также передцы, т. е. особые платы, вшиваемые в одежду по плечам для большого ее убранства.

Кортель, как и всякая зимняя и вообще теплая одежда, опушался бобровым пухом, с тем отличием, что такой пух ставился у него гораздо шире, чем у других одежд. В 1630 г. к горностайному нагольному кортелю царицы Евдокии был скроен пух к вороту в 2 верш. без чети, а около вошев и подольника – в 3 верш. без чети. Этот и два другие кортеля из числа ее одежд описаны следующим образом: «Кортель горностайной наголной, опушен пухом чорным. Кортель тафта бела на черевах на бельих, вошвы отлас турецкой, по червчатой земле розвода и круги золоты в цветах шолки розные, опушен пухом черным (143 г. августа 23 сесь кортель царица пожаловала боярина княж Иванове княгине Борисовича Черкасского). Кортель дороги алы, подкладка тафта немецкая светло-зелена на черевех на бельих, подольник тафта виницейка желта, вошвы по отласу по таусинному шиты золотом да серебром».

Торлоп, судя по описанию, – то же, что и кортель, – меховая одежда, крытая тафтою, украшенная вошвами на рукавах и подольником. Быть может, от кортеля она отличалась воротником стоячим или отворотным, как у опашня и как у теперешнего тулупа, который происходит, по всему вероятию, от торлопа. Употребление вошев указывает, что рукава его были широкие, летничные.

В числе одежд торлопы вообще встречаются редко. В царицыной казне Марьи Ильичны в XVII столетии (1648–1676 гг.) находился только один «торлоп горностайной, опушен пухом черным», который и записан в числе кортелей, а по другой описи – даже и значится под именем кортеля[1]. Видимо, что этим именем назван описанный выше нагольный кортель царицы Евдокии Лукьяновны. В таком случае можем заключить, что торлопом именовался кортель без

[1] Архив Оружейной палаты. – № 146, 204.

покрышки, нагольный (тулуп). Впрочем, в царской казне Шуйских описан торлоп, крытый тафтою.

Поверх некоторых одежд – именно летников, шубок, плечи даже и в летнее время покрывались, как мы говорили, пуховым (бобровым) ожерельем, которое по особым способам кройки называлось *накладным* и (в XVI столетии) *наметным*. Такое ожерелье кроилось из бобрового пушистого меха, непременно черненого, т. е. подкрашенного в самый черный цвет. Оно делалось различной величины, смотря по желанию или по надобности, и потому кроилось иногда только из половины бобра, иногда из целого меха и самое полное – из двух бобров. Хороший, добрый, бобровый мех ценился в половине XVII столетия (1644 г.) в 15 руб., так что полное ожерелье стоило 30 руб. без приклада и без работы. Накладным оно называлось по той причине, что кроилось без разреза на полы, а цельным круглым воротником с отверстием в средине для надеванья через голову. В этом отверстии для большего удобства при надевании делался спереди небольшой разрез, который потом застегивался с исподи пуговками. Впрочем, наметное ожерелье отличалось от накладного разрезом на полы. В этом последнем виде оно употребляется и теперь в простом быту при коротких шубенках. Наметкою в старину вообще назывался наряд вроде длинного воротника или пелерины (например, наметка чернеческая).

В царицыном быту употреблялись пуховые ожерелья только накладные. В таком ожерелье на заглавной странице этой книги изображена царица Марья Ильична. Пуховое бобровое ожерелье вообще придавало старинному наряду, по преимуществу цветному и золотному, весьма значительную долю красоты; оно же своим черным цветом много способствовало и возвышению красоты лица, всегда набеленного и нарумяненного. По этим причинам оно надевалось довольно часто. Несмотря на то, количество таких ожерелий, сохранявшихся в царицыной казне, не было значительно.

У царицы Евдокии Лукьяновны в первое время (1626–1628 гг.) хранилось всего шесть ожерелий, из коих одно она подарила своей матери Анне Константиновне, а другое – родной сестре Федосье, вышедшей замуж за Ивана Матюшкина; третье приказала написати в отставку. Затем (1629–1642 гг.) у царицы употреблялось и сохранялось только четыре ожерелья, из которых одно поношенное отдано жене брата Семена и взамен сшито новое. У царицы Марьи Ильичны сохранялось в казне пять ожерелий, у царицы Натальи Кирилловны – шесть, и с оставшимися от царицы Марьи; у царицы Агафьи Семеновны – одно.

Зимою для защиты рук от холода, кроме теплых рукавков, царицы надевали иногда *рукав* (муфту). Этот рукав не был, однако, так пышен и полон, как делают муфты теперь. Кроился он из бархата или атласа и разных золотных тканей, длиною всего в 5 верш., с опушкою из собольих хвостов вершка по 2 шириною, следовательно, всей длины имел не более 9 верш. Внутри подкладывался также соболем пупками полегче или пластинами потяжеле. Снаружи по простой шелковой ткани украшался иногда золотным кружевом, а в особых случаях – и жемчужным низаньем с каменьями.

Однако в описях казны царицы Евдокии Лукьяновны в числе других предметов наряда рукава не встречаем.

После царицы Марьи Ил. оставался один только «рукав объерь, по серебреной земле травы золоты, испод и опушка пластины собольи». Но у царицы Агафьи Семеновны находим семь рукавов собольих: «бархатный червчатый с круживом плетеным с городы золото с серебром; атласный золотный червчатый же травы и разводы шолк червчат; алтабасный – по золотной земле травы кубы серебрены; атласный серебрен, травы золоты с серебром; алтабасный золотной – травы серебрены с горностаевым исподом, но с опушкою соболиною; атласный червчатый – реки и травы золоты; и рукав низан жемчугом по алому

бархату с запаны алмазными и с яхонты червчатыми и с изумруды»[1]. Можно полагать, что в конце XVII столетия употребление рукавов стало входить в моду.

Судя по тому, что в описях царицыной казны первых лет XVII столетия вовсе не упоминается о перчатках или *рукавках перщатых*, даже и о простых рукавках, т. е. рукавичках, можем полагать, что в то время, а равно и в XVI столетии в царицыном быту они еще не были в употреблении, по крайней мере, не принадлежали к обычным статьям женского наряда. Разумеется, в простом трудовом быту в зимнее время употреблялись, смотря по надобности, и рукавицы – и простые, и перщатые, но в общем наряде в них не было даже и надобности, ибо их вполне заменяли длинные рукава одежд, которыми руки прикрывались и от холода, и во всяких других случаях.

Вообще как статья нарядная перчатки употреблялись очень редко. Царице Евдокии Лукьяновне в 1626 г. ноября 6 были сшиты теплые рукавки, на которые употреблена пара соболей. Потом царь Михаил в 1629 г. июня 28 в Троицком богомольном походе подарил своей супруге *рукавки персчаты* «немецкое дело, вязены узором, шелк брусничен, запясье по отласу по алому делано канителью и трунцалы». Затем в период времени 1629–1632 гг. находим у царицы еще «рукавки теплые, бархат червчат, на черевех на лисьих на чернобурых опушены соболем». В последующее время, 1633–1643 гг., в казне царицы хранились рукавки «бархат червчат на пупках на собольих, запясья по червчатому бархоту шиты канителью золоченою да серебреною с картулином да с трунцалом в нацвете, шолк зелен да лазорев, запясье подложено камкою жолтою куфтерем, немецкое дело». Эти рукавки в 1642 г. сентября 18 были подарены государем царевичу Алексею Михайловичу.

В том же году у царицы находим новые «рукавки везенные, шолк червчат, немецкое дело; запясья шиты по от-

[1] Ср.: *Савваитов П.* Указ. соч. – С. 134.

ласу по червчатому канителью да трунцалом золоченым, травы, и звери, и птицы, и в травах низано жемчугом мелким, промеж трав звездки золоченые пришиваны с жемчугом, около запясей обделывано золотом, подложены запясья тафтою червчатою».

Таким образом, царица Евдокия Лукьяновна имела, собственно, только одну пару перчаток, переменяя с течением времени, с 1629 по 1642 г., старую пару на новую. Это и показывает, что они употреблялись очень редко и вовсе не входили в круг обыкновенных потребностей наряда. У одной из дочерей царицы – у царевны Ирины Михайловны – находим также только две пары рукавков, одни – «рукавки *иршаные* (лайковые) немецкое дело, запястье шито золотом; другие – рукавки тафта червчата на соболех».

Носили ли перчатки царицы Марья Ильична и Наталья Кирилловна – неизвестно. В описи их казны о рукавках не упоминается. У царицы Агафьи Семеновны «рукавков перщетых» было две пары: одни – «отлас бел, из-под пупки, опушка пластины собольи; кругом галун золотной»; другие – «шелковые шемоханские вязеные, запястье круживо золотное; по краям круживо золото с серебром».

При выходах в церковь или к гостям и вообще в парадных случаях царицы и царевны, как и все женщины и девицы, в руках всегда носили *ширинку* – носовой платок, роскошно вышитый золотом, серебром и шелками, а иногда и низанный жемчугом и *накищенный* по каймам золотыми кистями. Ширинки кроились из тонких арабских миткалей, а по большой части, и особенно наиболее богатые, из белой виниценской тафты. Бывали также и кисейные, которые иногда присылались в дарах из Крыма. Особенная ценность ширинки заключалась в шитье, где со всею роскошью выказывалось женское рукодельное искусство – не только в чистоте и тонкости работы, но и в женском замышлении по отношению к сочинению узора и всяких украшений. Ширинка, таким образом, всегда слу-

жила хвастовским предметом домашнего рукоделия и указывала значение и высоту рукодельных достоинств всякой доброй и порядливой домоводицы из женщин и трудолюбивой и, следовательно, добронравной невесты из девиц. В самом наряде это была наиболее заметная статья в этом отношении; и женщина, и девица, неся в руках ширинку, тем самым как бы доказывала если не всегда собственные рукодельные таланты, то всегда искусство и совершенство работ своей светлицы, следовательно, свои хозяйские таланты. Оттого ширинки вместе с убрусами, волосниками, сорочками как исключительные предметы домашнего рукоделия занимают очень видное место и в свадебных дарах, где такими дарами всегда старались представить с самой выгодной и похвальной стороны рукодельное прилежание и художество невесты и ее семьи. Чужой род, как и все гости, получали здесь наглядные доказательства о таких достоинствах невестина рода и дома.

Цена, по какой иногда покупались сработанные ширинки, восходила от 2 до 8 руб. Сумма сравнительно с другими ценностями того времени очень значительная, указывающая вообще, как дорого ценилась такая работа. Иногда на ширинках выставлялось даже имя хозяина дома, где она работалась. Олеарий рассказывает, что подобную ширинку он получил (1643 г.) от молодой супруги графа Шляковского, женившегося на русской. Это был, по его словам, «носовой платок из белой тафты, вышитый золотом и серебром, с длинною по концам бахромою (накищенье); такими носовыми платками обыкновенно дарят невесту жены и дочери знатных вельмож: так, на полученном мною мелкими буквами вышито было имя *Стрешнева* – брата отца великой княгини (царицы Евдокии Лукьяновны)».

В казне царицы Евдокии хранилось «19 ширинок тафтяных белых» (поступивших к ней из казны патриарха Филарета Никитича), и в том числе: «ширинка тафтяная *везена* золотом, репьи низаны жемчугом; 18 ширинок по белой же

тафте шиты золотом и серебром с шолки розными; кисти у всех у 19 золоты ж (взяты у стольника у князя Юрья Ондреевича Сицково, да у дьяка Тимофея Голосова, государевы патриарховы казны. И те ширинки взял и отнес к царице в хоромы окольничей Василий Иванович Стрешнев)».

В казне царевны Ирины находим «25 *ширинок*, шиты по тафтам по белым золотом да серебром с шолки с розными; у ширинок кисти золотные. *Ширинка* – тафта бела без кистей; на ней в кругу вышит орел двоеглавой, по углам шиты травы золотом да серебром с шолки с розными. *Ширинка* – тафта бела без кистей, шита золотом да серебром, около ширинки обшивана веревочка золотная. *Ширинка* кисейная – турское дело, по ней по всей шиты травы золотом да серебром волоченым с шолки с розными».

До́лжно заметить вообще, что ширинкою назывался носовой платок, более или менее украшенный шитьем. Обыкновенные *платочки* носили свое обычное название и кроились в царицыном быту тоже из белой тафты или из миткалей и редко – из тонкого полотна.

При богомольных выходах царицы по примеру своих супругов употребляли также жезл как знак царственного их достоинства. С таким жезлом в руке царица Марья Ильична шествовала в Вознесенский монастырь к панихидам. В казне царицы Евдокии Лукьяновны хранился «жезл, немецкое дело, дерево черное гладкое; в рукоядь врезываны травы серебрены; меж рукояди в дву шурупех серебреных золоченых шурупцы костяные, в шурубцах составы араматные; да тут же костяной ставик с кровлею, а в нем зуботычки костяные. Да в том же жезле трубка зрительная; да поверх жезла и рукояди в шурупе серебреном золоченом часы солнечны с маточником. Кровля серебряна золочена, на кровле дерется лев со змеем. Подковец у жезла серебрен золочен. *Отметка*: и тот жезл взят к царице в хоромы, а из хором выдан в казну; 146 г. мая 26, от царицы из хором половину того жезла принес Родион Стрешнев; а другую половину выдал боярин

Лукьян Степанович Стрешнев; и у того жезла в шурупех попорчено и шурубцы костяные с араматы и костяной ставик с кровлею с зубочистки из того жезла выняты».

Царицыну обувь составляли чулки, башмаки, ичедыги, чеботы. В царском быту *чулки* вязаные или вязеные употреблялись очень редко и дома не изготовлялись, а покупались у немцев готовые. У царицы Евдокии Лукьяновны было трое таких чулок: «Чулки вязеные, шолк лазорев с серебром, немецкое дело; двои чулки вязеные, шолк ал да желт, немецкое ж дело». Обыкновенно чулки кроились из тафты, камки, атласа, дорогов и даже из сукна. Атласу в кройку выходило на пару 1 арш. 2 верш. во всю ширину полотнища (12 верш.); таким образом, длина женских чулок была вершков в 12 и более. Ширина их измерялась в *верхах* и над *стрелками*, около щиколотки. Конечно, их кроили вплотную по ноге, для чего и необходимы были острые кланья или стрелки. Холодные чулки подкладывались тафтою: червчатые – лазоревою, желтые – червчатою и т. п. Под теплые подкраивались меховые исподы лисьи и бельи черевьи, собольи пупчатые, песцовые. В особых случаях холодные украшались даже кружевом. Так, царице Евдокии Лукьяновне на камчатные червчатые чулки было нашито «кружево серебряное с пелепелы». При особой длине всех одежд для чулок такого убора, конечно, вовсе и не требовалось; но здесь, вероятно, обнаружилось лишь общее требование богатого убора в соответствие всему остальному. По свидетельству Рейтенфельса, чулки носили без подвязок. Действительно, сведений о женских подвязках нам не встретилось. Надо прибавить, что царицы носили и *онучки*, о чем свидетельствует расход Белой казны за 1587 г., когда 22 июня царице Ирине Федоровне Годуновых было подано на онучки полотно Кадашевское.

Башмаки кроились из бархата, атласа и сафьяна. Бархату в кройку выходило 6 верш. во всю ширину (12 верш.) полотнища, атласу – 9 верш. (ширина ок. 8 верш.), сафьяна – четверть кожи; на подкладку тафты широкой в 1 $^1/_2$ арш. – 3 верш. По *швам* башмаки обшивались золотным с шелком пояском или кружевом, которого выходило 1 $^1/_2$ арш. и больше; *каблуки* или *закаблучье* всегда обвивались волоченым золотом, на что требовалось золотой нити 5 и 8 арш. Бархатные и атласные, как и сафьянные, *переды* по большей части узорочно вышивались золотом, низались жемчугом, иногда с дорогими каменьями. У сафьянных переды ставились иногда бархатные, на что употреблялось ткани 2 верш. По верхним краям башмаки опушались атласом или бархатом другого цвета. Наиболее употребительный цвет башмаков в царском быту был червчатый, но шились также башмаки белые, желтые, зеленые, алые, лазоревые. Под каблуки, которые бывали очень высоки, всегда ставились у простых, повседневных, скобы железные, а у нарядных выходных – серебряные. *Стельки* ставились полстяные и обшивались червчатою тафтою. Употреблялась полсть *старицкая* белая. На поднаряд употреблялась иногда объярь, шелковая ткань, а на подклейку – *ирха* и клей; подошвы ставились обыкновенные. Башмаки, кроме того, всегда *строчились* волоченым золотом или серебром.

С башмаками как их принадлежность носились нередко *ичетыги* или *ичедоги*. Это в точном смысле – сафьянные чулки, ибо всегда шились из сафьяна без поднаряда и без особой подошвы. По большой части они покрывались, оболакивались камкою, или атласом, а с исподней стороны подкладывались, как чулки, тафтою того же цвета или червчатые – лазоревою, белые – червчатою и т. п.; по верхнему краю подпушались атласом другого цвета. В комнатном быту ичетыги могли заменить спальные сапоги, так что их носили и без башмаков – тогда к ним ставили легкую подошву. Очень редко они употреблялись без поволоки или обо-

локи шелковою тканью. Нет сомнения, что ичетыги с самым названием[1] заимствованы у татар, и в XVII столетии упоминаются нередко «ичетыги крымские, крымское дело». Упоминаются при башмаках еще и *черевинки*, тоже крымские, быть может, обувь вроде туфлей или тех же ичетыгов.

Женские *чеботы*, род сапог, кроились, как и башмаки, из сафьяна, бархата и атласа. Это были башмаки с голенищами (которые назывались *пряжниками*), а потому и в кройке, в отделке и в украшениях они сходствовали с башмаками. На чеботы выходило в кройку: на сафьянные полсафьяна, на бархатные и атласные – этой ткани на *полные* – по 1 арш. 6 верш.; на *полуполные* – по аршину с вершком и с 2 верш., смотря по ширине портища. На подкладку употреблялась тафта червчатая от 8 до 11 верш. Верхи обшивались атласом или бархатом другого цвета, выходило 3 верш.: по швам пришивался золотный поясок или кованое золотное узкое или широкое кружево, которого выходило 3 арш. и больше. Иногда на переды вместо кружева пришивались *образцы*, низанные жемчугом, какие-либо изображения, фигуры или узоры: тогда на остальные части кружева выходило только 2 арш. Скобы ставились также у простых – железные, у нарядных – серебряные.

Кроме указанных украшений нарядные чеботы всегда вышивались богато золотом, унизывались жемчугом с каменьями и по швам вместо золотного пояска низались жемчугом же. Особенно узорочились их *переды* и *задники*.

Чеботы бывали *кривые* и *прямые* относительно кройки подошвы; *полные* и *полуполные* относительно длины голенища. *Строчились*: простые – шелком, а нарядные – золотом. Цвет употреблялся такой же, как и для башмаков: червчатый, белый, желтый, зеленый, алый. По свидетельству Маржерета, вышина каблуков была в 3 пальца, т. е. вершка в 1 $^{1}/_{2}$. Олеарий говорит, что женщины и преимущественно

[1] Ичь – итык – внутрь – сапог, следовательно, чулок. См.: *Савваитов П.* Указ. соч. – С. 178.

девушки носили башмаки с очень высокими каблуками, вышиною в четверть аршина, так что носок едва касался земли, и ходить было очень затруднительно. Чрезмерную вышину каблуков подметили даже и народные былины. У Дюка Степановича были сапожки «зелен сафьян, под пяту-пяту воробей пролети, о пяту-пяту яйцо прокати».

Сапогами в собственном значении называлась обувь кожаная, которая в царском быту в женском наряде не употреблялась, а изготовлялась только для придворных женщин. Они шились из опойка (телятинные) и из сафьяна (козловые и барановые) таких же цветов, каких бывали и чеботы, т. е. червчатого, желтого, зеленого, лазоревого, белого и смирные – черного. В царских кладовых в начале XVII столетия находим, однако ж, сапоги бархатные и атласные, низанные жемчугом с каменьем.

Мы видели, что царицыно платье большею частью шилось из тканей довольно тяжелых, каковы были сукно и золотные и шелковые плотные, скоба-скобой, камки, атласы, бархаты и т. п. Очень понятно, что женские руки царицыных мастериц не могли хорошо управляться ни с кройкою, ни с шитьем таких портищ. Была необходима более сильная и твердая мужская рука для того, чтобы с успехом владеть ножницами, иглою и утюгом для устройства из этих толстых полотнищ целого наряда. Таким образом, мы и находим в Мастерской царицыной палате не портних, а портных мужчин, которые притом пользовались почетным именем *наплечных* мастеров, ибо одевали царское плечо.

Личный состав Мастерской палаты указан выше, с. 502. Кроме наплечного или портняжного дела мужские работы заключались еще в изготовлении обуви и головных покровов: шапок, каптуров, столбунцов, треухов, тафей, шляп, а по однородности дела – также меховых ожерелий и т. п., тре-

бовавших не одного шитья тканей, но их подклейки и шитья разных клеенок и кожи. Мастерская палата вообще занималась изготовлением всяких нарядов как бы вчерне. Все, что касалось украшения, убора в каждом таком наряде, то принадлежало уже занятиям и работам царицыной Светлицы.

Расход различных материалов при употреблении их в кройку или для другого изготовления очень подробно и обстоятельно, даже иногда с расценкою, записывался в особую книгу, которая по главной статье употребления называлась книгою *кроельною*. Здесь записывалась также и мера кроенному шитью с обозначением *скупо* или *сыто*, какая часть скроена, сколько оставлено в запасе и т. п. Из кроельных книг, хотя и не сохранившихся вполне, мы узнаем, по крайней мере приблизительно, какие именно предметы наряда бывали в большем употреблении сравнительно с другими, и потому чаще строились и расходовались; совсем изношенные – в отставку, а годные и новые – для подарков родственным и служебным лицам. Вот примерные цифры подобных построек для цариц Евдокии Лукьяновны 1627–1629 гг. и Марьи Ильичны 1648–1650 гг.

	136 г.	137 г.	156 г.	157 г.	158 г.		136г.	137 г.	156 г.	157 г.	158 г.
Шапка	1	7	-	11	2	Роспашница	1	-	-	-	3
Каптур	1	1	-	-	-	Опашень	-	2	2	-	-
Треух	-	1	1	2	-	Рукавки	1	-	-	-	-
Шубка	2	1	7	3	1	Чулки	2	3	3	-	-
Телогрея	9	14	25	18	20	Башмаки	8	4	8	-	4
Летник	10	5	15	21	10	Ичедыки	-	-	2	-	-
Приволока	-	-	1	-	-	Чеботы	11	15	17	2	15

Кроме значения мастерской, которое было, так сказать, коренное, почему и самый Постельный царицын приказ большею частью назывался тоже Мастерскою палатою, эта

палата имела еще значение царицыной кладовой, иначе – гардеробной, в которой в особых помещениях – в поставцах, коробьях, шкатулах, ларцах, ящиках и сундуках – сохранялись всякие предметы из платья и уборов, разумеется, за исключением только тех, которые употреблялись вседневно и поэтому хранились в хоромах у самой царицы или у царевен. Выдавая наряды по назначению, Палата вела точные и подробные об этом записки, известные под именем *выходных* книг, которые по отношению к царицам и царевнам, к сожалению, не сохранились.

Из общих ее описей мы получаем любопытные сведения о количестве платья и уборов, какое за известное время сохранялось в казне и которое дает понятие вообще о степени щегольства в быту цариц и царевен. С этою целью помещаем здесь сводную роспись различных одежд цариц Евдокии Стрешневых, Марьи Милославских, Агафьи Грушецких и взрослых царевен больших, от Стрешневой, и меньших, от Милославской.

Уборы и одежды	Царицы					Царевны (1673 г.)							
	Евдокии Лук.			Марии Ильичны	Агафьи Семеновны	Ирины	Анны	Татьяны	Евдокии	Марфы	Софьи	Екатерины	Марьи
	1626–8	1632	1642										
Коруны	-	-	-	-	4								
Кики	5	-	-	4	2								
Рясы	4	-	-	1	-								
Шляпы	7	-	-	6	-								
Снуры шляпочные	3	-	-	3	-								
Каптуры	18	-	-	7	-								
Ожерелья бобровые	16	-	-	5	1								
Шапки	8	15	38	27	2								

Уборы и одежды	Царицы					Царевны (1673 г.)							
	Евдокии Лук.			Марии Ильичны	Агафьи Семеновны	Ирины	Анны	Татьяны	Евдокии	Марфы	Софьи	Екатерины	Марьи
	1626–8	1632	1642										
Горлатные шапки	2	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Пух шапочный	-	-	-	3	-								
Верхи шапочные	-	-	5	11	1								
Треухи	1	1	1	1	4								
Столбунцы	-	-	-	-	3								
Приволока	-	-	-	1	1								
Опашни	2	5	6	7	-	2	2	1	1	1	1	1	2
Летники (вообще)	49	65	95	116	9	33	10	16	18	13	10	11	5
В том числе:													
золотные	-	-	33	50	-								
атласные	-	-	11	20	-								
камчатные	-	-	25	27	-								
объяринные	-	-	14	11									
тафтяные	-	-	11	8	-								
дорогильный	-	-	1	-	-								
Роспашницы (золотн., камч., объяр., тафт.)	-	3	9	9	-								
Кортли	-	3	5	4	-								
Шубки (вообще)	-	-	-	-	-	18	10	9	11	9	7	7	7
бархатные	5	5	-	-	4								
алтабасные	2	1	-	-	-								
атласные	5	4	-	-	3								

Уборы и одежды	Царицы					Царевны (1673 г.)							
	Евдокии Лук.			Марии Ильичны	Агафьи Семеновны	Ирины	Анны	Татьяны	Евдокии	Марфы	Софьи	Екатерины	Марьи
	1626–8	1632	1642										
камчатные	2	2	-	-	-								
суконные	14	18	24	22	2								
золотные	-	-	11	14	-								
объяринные	-	-	-	-	1								
Телогреи теплые и холодные (вообще)	35	52	124	-	-	37	15	30	43	47	25	23	27
золотые	-	-	27	-	35								
атласные	-	-	22	-	12								
камчатные	-	-	30	-	15								
объяринные	-	-	20	-	8								
тафтяные	-	-	23	-	2								
дорогильные	-	-	2	-	-								
Одеяла	-	4	-	-	-	7	9	3		5	4	5	
Вошвы	13	12	-	-	-								
Рукавки	1	1	1	-	2								
Чеботы	12	20	42	-	-								
Башмаки	7	9	18	-	8								
Рукав	-	-	-	-	7								
Чулки вязен. и камчат.	-	-	13	-	6								

Здесь не поименованы некоторые, особенно богатые уборы и вообще *кузнь ларешная*, всякие драгоценности, по той причине, что, как мы уже говорили, и само ведомство Мастерской палаты ничего не знало об их количестве, ибо они хранились всегда в особых ларцах, ящиках, шкатулах и коробьях за царицыною печатью и в таком виде сдава-

лись дворецкими и дьяками при случае нового пересмотра и новой переписи. Так, здесь нет описи царицыных корун, венцов, богатых ошивок, убрусов, жемчужных ожерелий, монист, серег, перстней и т. п. В казне у царицы Евдокии Лукьяновны в числе ларцов находились: «*Ларец* кипарисный с костьми, обложен серебром, во влагалище в суконном червчатом с замком за печатью царицы, а ключ от замка у ней, государыни, в хоромех. *Ларец* по зеленой земле травы писаны розными краски за печатью государыни великия старицы иноки Марфы Ив<ановны>. *Ларец* зелен окован железом за печатью царицы, а в нем государя (т.) нарядные сорочки. *Ларец* кипарисный за царицыною печатью, а в нем государевы полотенца. *Ларчик* кипарисный окован, а в нем царицыны ошивки. *Коробья* новгородская с замком за печатью царицы, а в ней царицыны сорочки. *Коробья* новгородская окована железом, замкнута, за царицыною печатью, а в ней государевы да царицыны отставные сорочки. *Коробья* осиновая бела с вислым замком за царицыною печатью, а в ней по ярлыку написано: *низаные убрусцы*; а ключ того замка у царицы в хоромех. (155 г. генваря 31, се убрусцы взял государь (Алексей Мих<айлович >) и отнес к себе в хоромы). *Ларец* кипарисный окован, с замком, а ключ от того замка у царицы в хоромех. А по сказке боярыни Анны Костянтиновны в том ларце сорочки царевны Ирины. *Ларчик* оболочен бархатом червчатым, оковцы серебрены; во влагалище суконном с замочком вислым, а ключ от того замка в хоромех». Точно так же и от нескольких других ларцов, коробей и шкатул, в коих неизвестно что хранилось, ключи тоже находились у царицы в хоромах.

Что касается одеял и именно того обстоятельства, что у царевен они значатся в весьма достаточном количестве, то до́лжно припомнить, что царевны совершали свои выходы под покровом именно таких одеял или пол (см. выше, с. 351), изготовляемых для этой цели не только из сукна, но в парадных случаях большею частью из тяжелых золотных тканей.

Одежды и уборы цариц после их смерти преемственно переходили со всею их казною к новым царицам, за исключением разве носильного повседневного платья, которое большею частью раздавалось на помин души родственницам бывшей царицы или же продавалось с целью раздать деньги тоже на помин по церквам и монастырям. Так, в 1615 г. по смерти царицы Евдокии продано было ее черное (траурное) платье с предварительною оценкою торговых людей[1]. Парадное выходное платье, вообще не часто надеваемое, долго оставалось свежим и новым и потому долго сохранялось в казне. Новые царицы из остававшегося запаса выбирали многое и для своего гардероба, переделывали и перешивали, что не была по плечу, а иное, что было в пору, приказывали подавать себе и без переделки. Так, спустя 11 лет по смерти царицы Марии Ильичны, некоторые ее одежды – 2 шубки, 5 летников, 2 телогреи – поступили даже к молодой царице Агафье Семеновне, а еще прежде вся ее казна перешла к молодой царице Наталье Кирилловне, которая к оставшемуся гардеробу в течение первых 5 лет прибавила только 9 летников (к остававшимся 116), 7 шубок (к остававшимся 56) и до 40 телогрей, коих после царицы Марьи, вероятно, оставалось ок. 70. Между тем и гардероб

[1] В частном быту раздача церквам на помин души одежды, даже и женской, производилась прямо выдачею в церковь того или другого платья. В 1565 г. вдова князя Юрья Ивановича Шемякина-Пронского княгиня Авдотья Ивановна к своем духовном завещании писала следующее: «Да что у меня моего платья, и я его велела роздати по церквам по своей душе: Пречистой на Площади (Успенский собор) *торлоп* отласен на черевех; к Олексею чудотворцу в Чудов монастырь *летник* камчат червьчат; к Вознесенью (монастырь) в городе *летник* зелен отласен; к Спасу в Новой монастырь в девич *летник*, рудожелта камка; в Олексеевской монастырь *летник* коран; да к Благовещенью на Ваганково *летник* зелена камка; да к Троице в городе (Троицкое подворье) *летник* дороги червчаты; да в Симоновской монастырь *шупка* бело-голуба; да в Ондрониковской монастырь *кортель* куней; к Спасу на Новой *шупка* светло-зелена; да к Пречистой к Веденской *летник* червчата тафта; да к Пятнице святой за Болотом *шупка* багрец червьчат; да к Ивану Предотече за Волотом же *шупка* скорлат червчат; да к Ивану Златоусту в монастырь *летник* багрова тафта; да к Пятнице Кожевниковской *каптур* соболей». – Акты, собранные А. Федотовым-Чеховским. Т. I. – Киев, 1860. – С. 225.

царицы Марьи заключал в себе значительное количество одежд, перешедших к ней от царицы Евдокии – ее свекрови. Таким образом, количество более или менее богатых одежд накоплялось в царицыных кладовых постепенно в течение десятков лет и даже целого столетия. Укажем на постепенное приращение одежд у царицы Евдокии, число которых в 20 лет увеличивалось вдвое и втрое по той причине, что тут же сохранялись и старые, не изношенные, но шитые прежде. Не говорим о *выростках*, т. е. о детском платье, из которого дети вырастали и которое обыкновенно переходило последовательно к младшему поколению иногда в полном составе. Заметим также, что то богатство нарядов, какое мы находим в царицыной казне в эпоху Смутного времени, известное нам лишь по отрывочным, не вполне сохранившимся описям, объясняется тою же обычною бережливостью царского Двора. Здесь многие предметы, особенно предметы Светличного рукоделья, каковы, например, летничные вошвы, могли оставаться еще от первых цариц XVI столетия, т. к. в кон. XVII столетия оставались еще в царицыной казне уборы, например кики и одежды царицы Евдокии (ск. в 1645 г.). Такая сохранность одежд и разных других предметов обнаруживала, с одной стороны, великую бережливость и, можно сказать, великое скопидомство, каким отличалось государево, и особенно царицыно хозяйство до последних мелочей. Последний вершок ткани, остаток и обрезок сохранялся и шел в дело или в домовом обиходе, или в дар. В расходных царицыных записках часто встречаются отметки, что тому или другому ее родственному или служащему лицу выдавались именно вершки тканей, золотники шелков и т. п.

Здесь старое хозяйство было верно своему старому, искони вечному Домострою, который учил: «Остатки и обрезки (от кройки тканей и др. предметов) ко всему пригожаются в домовитом деле: поплатить ветчаново тово ж портища или к новому прибавить, или какое-нибудь почи-

нить; а остаток и обрезок как выручит; а в торгу устанешь прибираючи в то лицо, в тридорога купишь, а иногда и не приберешь». Этот добрый совет не оставался пустою речью, или одним только поучительным присловьем, а водворялся в действительности, даже и в таком богатом и широком обиходе, каков был обиход царицы. В казне царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневых находилось немало коробей и ящиков, именно со всякими остатками и обрезками. Например: «*Сундук* кипарисной кованой, а в нем шубка бархат червчат, кружево кованое, низано жемчугом, и иная мелочь, камчатые и тафтяные остатки. *Коробья* лубеная, а в ней остатки и всякое лоскутье бобровое и лисье. И те остатки и лоскутье проданы, для того что излежались. *Коробья* осиновая, а в нем остатки тафтяные и шелк. *Коробья* белая, а в ней бобровые и лисьи остатки. И те остатки проданы. *Коробка* ноугороцкая невелика, с замком с нутреным, а в ней остатки золотные и отласные большие и мелкие. *Коробья* бела осиновая, а в ней остатки камчатые и тафтяные и пестредилные. *Коробья* невелика с замком с нутреным, а в ней отласные, да камчатые, да тафтяные мелкие остатки». Множество подобных остатков, обрезков и лоскутьев сохранялось в казне времени Годунова и Шуйского.

Если с такою бережливостью сохранялись мелкие лоскутки, то очень естественно, что целые одежды переживали иной раз не одно поколение. Их береженье, главным образом, поддерживалось тем обстоятельством, что в то время вовсе не были известны модные покрои платья, которое кроилось по вековечным неизменным образцам, притом из таких тканей, что могло даже через целое столетие вполне отвечать и потребностям, и вкусам тогдашних красавиц, и какой-либо богатый и роскошный летник, сшитый в нач. XVI столетия, например великой княгине Елене Глинской, мог послужить в конце столетия таким же богатым и роскошным нарядом и для царевны Ксении Годуновой, лишь

бы пришелся по плечу и в рост[1]. Надо заметить, что Смутное время или московская Разруха опустошила царские кладовые до нитки, так что первые царицы XVII столетия должны были делать себе все вновь, снова накоплять свою казну, которая в действительности к концу XVII столетия и наполнилась множеством различных одежд, нашитых разными царицами постепенно в течение столетия.

Мы уже говорили (т. I, гл. 1), что Светлицею вообще в старинных хоромах называлась более обширная сравнительно с другими и светлая хоромина, которая в домовитом обиходе, и особенно на женской половине, устраивалась по преимуществу для женских рукоделий, была рабочею комнатою[2]. Своим устройством, т. е. большими красными окнами и их количеством, она походила на терем и отличалась от него лишь тем, что ставилась не в самом верхнем ярусе древних хором, т. е. не входила в состав жилого хозяйского Верха, а принадлежала к хороминам нижним и в смысле местоположения, и в смысле своего служебного, рабочего назначения. Впрочем, светлица всегда устраивалась только для чистых работ, и если в иных случаях занимала верхнее помещение, то и называлась теремом, каков, например, в царском дворце XVII столетия был *иконный терем*, находившийся в верхнем этаже набережной стороны Дворца. Сохраняя общее значение светлой, чистой и просторной рабочей комнаты,

[1] Упомянем, что в государевой казне 1645 г. сохранялась, кажется, еще старая сума великого князя Ивана Калиты. В кроильной книге (Архив Оружейной палаты. – № 1158), апреля 19 записано: «Скроена сума, камка индейская, шолк голуб да вишнев, против старые сукны великого князя Ивана Даниловича Калиты». В росписи государева большого запаса 1642 г. описана также и *Калита* старинная великого князя Данила, «сафьян чернен, шитая волоченным серебром и украшенная золотым прибором». По-видимому, эта Калита составляла принадлежность государевых регалий, почему и могла сохраниться вместе с Мономаховою шапкою, как и *сума* Ивана Даниловича.

[2] Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Гл. I.

светлица, конечно, бывала необходимою принадлежностью и для других статей домовитого хозяйства, например, в государевом дворце были особые светлицы на Сытном дворе «у отпуску боярской водки и у винной раздачи в столовое и вечернее кушанье»; на Хлебенном – «у присмотру приказных еств», т. е. которые бывали особо приказываемы, и т. д.[1] Но частное, так сказать, специальное ее значение оставалось по преимуществу за комнатою женских чистых рукоделий, которая и носила название Светлицы по преимуществу.

Сначала в государевом дворце Светлица находилась в деревянных хоромах и всегда обозначала совокупность нескольких рукодельных комнат. В 1625 г. позади дворцовых зданий над Куретными дворцовыми воротами выстроена особая *светличная каменная палата*, которая посредством крытых и открытых переходов или галерей соединялась с постельными хоромами царицы и царевен, а следовательно, и со всем остальным дворцом. Но и в это время подле Светличной палаты были поставлены и еще отдельные деревянные светлицы по той причине, что, вероятно, одной каменной палаты было недостаточно для помещения царицыных рукодельниц. В этих-то зданиях сосредоточивалась вся рукодельная статья царицыной жизни. Здесь постоянно работали более 50 женщин, мужних жен, вдов и девиц – мастериц и учениц, из которых одни занимались *белым* шитьем, т. е. шитьем всякого белья; другие – *золотым*, под именем которого разумелось и шелковое шитье, т. е. всякое вышиванье золотом, серебром и шелками. Первые назывались поэтому *белыми швеями* и *белыми мастерицами*, вторые – *золотыми* и *золотными мастерицами*.

Само собою разумеется, что в царском дворце искусство вышиванья получало самое деятельное и обширное применение и всегда стояло на высшей степени своего совершенства, всегда славилось и лучшими во всей стране

[1] В 1667 г. ноября 10 на кормовой и на хлебенный дворцы в *светлицы* отпущено на полавочники – на покрышку лавок – две половинки сукна красного лятчины.

искусницами шитья, и лучшими образцами произведений, чему, конечно, очень много способствовали государские дворцовые средства – как в отношении богатства, так и в отношении сосредоточения в своих руках всего лучшего, всего наиболее достойного по искусству и наиболее ценного по материалу. Царицына Светлица была в своем роде такою же художественною школою, какою на половине государя была Иконописная палата и которой Светлица ни в чем не уступала, изображая те же иконы не красками, а шелками с такою тщательностью и отчетливостью, что они и до сих пор заслуживают удивления археологов. Стиль иконописной раскраски, своего рода мозаики, давал полную свободу подражать ему в воспроизведении иконописных ликов такою же мозаикою шелкового шитья, которое притом исполняло свои работы по тем же иконописным переводам, прорисям и образцам с соблюдением не только основных линий, но и колорита раскраски.

Царицына Светлица, таким образом, представляет нам целый особый и забытый мир художнической деятельности, в которой художником является русская женщина, приносившая рядом с мужчиною свой усердный и столько же замечательный труд на возвышение красоты и великолепия Божьего храма.

Начало шелкового и золотого шитья мы должны относить к самым первым временам нашей истории, когда оно, по всему вероятию, служило лишь домашним потребностям богатого наряда и убора. Само собою разумеется, что с принятием Христианства, благодаря потребностям Церкви и знакомству и близким связям с византийскою Грециею, откуда, без сомнения, вместе с образцами работы являлись к нам мастера и мастерицы, – это женское по преимуществу художество получило обширнейшее применение, распространилось и утвердилось как особая отрасль художества, служившего исключительно Церкви. Вероятнее всего, что в первое время особому его распространению способствовали

женские монастырские общины. Мы видели (с. 111), что уже первые княжны основывают монастыри, собирают черноризиц и с богомольными целями путешествуют даже в Греки, в Царьград, где, конечно, в женских же монастырях знакомятся еще ближе с искусством. Женский монастырь должен был существовать женским же рукоделием; а какое же рукоделие было соответственнее монастырскому настроению мысли, как не то, которое прямо шло на украшение Божьего храма? Очень естественно, что первые женские монастыри были и первыми мастерскими, и первыми рассадниками этого искусства. Татищев упоминает, что первая монахиня из русских княжон, дочь Всеволода Янка, сама учила черноризиц-девиц грамоте, петь, шить[1]. Он же приводит свидетельство, что другая – Анна Всеволодовна, жена Рюрика Ростиславича (1200 г.), «ни о чем более прилежала, как о милости и милостыни; обидимых и страждущих в напастех охраняла и защищала, еще же и должность материнскую хранящи, научила чад своих словесам и закону Божию, также милости и благонравию. Сама прилежала трудам и рукоделиям, швениям златом и сребром, как для себя и своих детей, пачеже для монастыря Выдубицкого, которому особенно усердствовала вместе с мужем»[2]. Припомним Февронию Муромскую, которая, быв крестьянкою, «ткала красна», а став княгинею, а потом и монахинею, однажды «в храме Пречистые соборные церква своими руками шила воздух, покров на священные сосуды, на нем же бе лики святых». В это время бывший ее супруг, также инок, князь Петр присылает к ней вестника, что приблизился час его кончины и ждет он ее, чтоб вместе «отити от тела». Она ответила: «Пожди – вот дошью воздух

[1] *Карамзин Н. М.* Указ. соч. Т. XI, – Прим. 156.

[2] История Российская с самых древнейших времен... собр. и опис. ... В. Н. Татищевым. Кн. III. – С. 329. Летопись не говорит об учении детей рукоделью (Ипат. 153); но прибавки нашего первого историка вполне вероятны, оправдываются всеми обстоятельствами и могли быть заимствованы из позднейших сказаний, которые обозначали подробнее то, что разумелось вообще в коротких словах летописца.

во святую церковь». Супруг присылает вторично, говоря, что остается мало ожидать; присылает в третий раз со словами, что ожидать уже невозможно. «Она же останошное дело воздуха святого шияше, уже бо единого святого риз еще не дошив, лице же нашив, и преста, и воткне иглу и приверте нитею, ею же шияше, послала к блаженному супругу о преставлении купнем и, помолившееся, преставилась».

Таким образом, не будет и малейшего сомнения в том, что в одно время с построением у нас первых христианских храмов явились на украшение их и первые памятники женского золотого и шелкового шитья. Скупые на подробности летописцы, редко, и то уже в позднее время, описывают самые предметы вышивания и обозначают их вообще именем церковной *круты*.

В 1146 г. они упоминают, как князь Изяслав взял город князя Святослава и церковь Святого Вознесения, «всю облупиша», забрал сосуды, «индитьбе и платы служебныя, а все шито золотом».

В 1183 г. в граде Володимере Суздальском сгорела соборная церковь, Богородица Златоверхая, а в ней все узорочья и в том числе «порт (одежд) шитых золотом и жемчугом, яже вешали на празник в две верви от Золотых ворот до Богородице, а от Богородице до владыцних сений во две же верви, чудных».

В XIII в. они упоминают о церковных сооружениях князя Владимира Васильковича на Волыни, который, между прочим, устроил «завесы золотом шиты, платцы (воздухи) оксамитны, шиты золотом с женчюгом – херувим и серафим, иньдитья золотом шита вся».

Из предметов мирского наряда упоминают облечье, золотом шито, как принадлежность одежды знатных людей, и «сапози зеленого хза шити золотом», что указывает вместе с тем и на мужское золотошвейное искусство.

Но, конечно, не одни монастырские мастерские доставляли украшениям церкви столько работ, и еще чудных, как

обозначает их летопись. Впоследствии, особенно когда монастырские идеалы вполне водворились в семейном быту, каждый княжеский и боярский дом, каждый достаточный дом, направляемый благочестием и особенным усердием к Церкви, точно так же приносил ей свои труды – или на помин души, или исполняя свои набожные обеты и моления. Это становится, наконец, святым обычаем, которому следовали непреложно и неизменно в течение всего допетровского века, хранили его как догмат благочестивой семейной жизни.

Многочисленные памятники этого женского, всегда молитвенного усерднейшего труда сохраняются и доселе в ризницах монастырей и церквей и отчасти в светских собраниях и музеях. Видимо, что древние рукодельницы немало дорожили своими благочестивыми работами и своим искусством в вышивании и потому нередко вносили и свои имена в надписи о сооружении таких памятников. В Историческом музее Императора Александра III в Москве сохраняется в высокой степени замечательный по работе *Воздух*[1], из надписи на котором узнаем, что он *создан Костянтиновою Огрофеною* в первой четв. XV столетия (1410–1425) в Суздальский собор Рождества Богородицы. В слове *создан* может заключаться и указание на то, что Огрофена соорудила его собственным рукодельным трудом, конечно, при помощи мастериц своей Светлицы.

Что касается самой Огрофены, то ее прозвание «Костянтиновая» указывает на имя ее мужа, Константина, который, по всему вероятию, принадлежал к знатному роду и занимал в городе и в Суздальской области выдающееся, всем знаемое положение, так что одно имя «Константин» служило уже достаточным указанием, какая это была значительная особа. Возможно предполагать, что этот Константин был родителем тех Константиновичей – Петра, Никиты, которые во время Шемякиной Смуты много кра-

[1] Подробно описан В. Н. Щепкиным в XVI т. «Древностей» Московского археологического общества».

молили против великого князя Василия Темного в пользу Шемяки, и Никита в 1446 г. даже коварно захватил великого князя пленником Шемяки. Род этого Константина, прозванием Добрынского, вместе со знаменитым родом Хабаровых происходил от Редеди, Касожского князя, которого в единоборстве победил Мстислав Тмутораканский в 1022 г., взял его семью, и в том числе двух сыновей, которых крестил, и за одного, Романа, выдал дочь свою. От него и пошли роды Добрынских, Хабаровых, Белеутовых н др.

Брат Константина, Андрей, был боярин у великого князя Дмитрия Донского; сын Андрея, Александр Белеут, был в боярах у великого князя Василия Дмитриевича; сыновья Александра – Роман и Федор – были в боярах у великого князя Василия Темного. Все это показывает, что и Константиновичи занимали также боярские места, а *Воздух* их матери Огрофены своим значительным размером и богатством шитья подтверждает и знатность, и богатство самого Константина Ивановича Добрынского.

В 1485 г. подобный же Воздух создан замышлением великой княгини Рязанской Анны в церковь Успения Богородицы в Переяславле Рязанском.

В 1499 г. создана пелена в Троице-Сергиев монастырь замышлением и повелением царевны Царегородской, как читаем в надписи, великою княгинею Московскою Софиею. Надпись заканчивается словами: «Молилася Троице Живоначальные и Сергию чудотворцу и приложила сию пелену».

В последующее время, в XVI и XVII столетиях, мы находим, что в каждом домостройном и достаточном хозяйстве золотное и шелковое *пяличное* дело принадлежит уже к необходимым статьям общего домоводства и занимает самое видное место в числе разных других рукоделий. Каждая достаточная государыня и добрая домоводица, а главное, добрая рукодельница всегда сама была искусницею в этом пяличном деле. Оно служило первым признаком хорошего воспитания и образования в женском быту, лучшим украше-

нием хозяйских добродетелей девицы и женщины. К тому же и самое положение женского быта, монастырски замкнутого и недоступного обществу, должно было особенно благоприятствовать укоренению и распространению этого рукоделия. В достаточной среде трудно было найти занятие, более соответственное общему набожному настроению мыслей и набожным представлениям о наилучшем мирском подвиге жизни; с другой стороны, нельзя также было найти занятия, более соответственного, так сказать, «изящному» провождению времени, по крайней мере, по понятиям века, и особенно для девиц. И действительно, это рукоделие вполне могло удовлетворять самым возвышенным потребностям тогдашних стремлений и вкусов, созидая памятники на украшение Божьему храму и производя множество предметов для красоты женского, а отчасти и мужского наряда. Словом сказать, золотное и шелковое шитье все-таки вводило людей в мир искусства вообще, приближало их к изящному в жизни, и тем самым, быть может, смягчало нравы, направляло их к лучшей по обстановке века жизни, т. е. к жизни иноческой.

Как бы ни было, но еще и до сих пор в монастырях и церквах сохраняется множество памятников, которые показывают, что женский труд вышиванья нисколько не уступал мужскому иконописному труду и в такой же мере обогащал Церковь своими более разнообразными произведениями. В этих памятниках пред лицом истории женская личность свидетельствует о своей многовековой деятельности, о своем независимом самостоятельном труде, который был приносим с единою целью возвысить красотою и богатством обстановку церковного служения и молить о спасении души.

Некоторые памятники в своих надписях или в записках по случаю их постройки красноречиво рассказывают эти благочестивые стремления женской личности. Так, на одной древней епитрахили в новгородском Антониевом монастыре читаем следующие слова: «Госпоже Богородица, Пречистая Мати Божия, Милостивая Царице, пожалуй, Госпоже, поми-

луй рабу свою Марию, отдай ей грех; буди, Госпоже, помощница в сем веце и в будущем рабе своей Марие и раба своего Феодора. Спаси ее, Госпоже, Царица Пречистая. Пожалуй, Госпоже, помилуй!»[1]. В записках новгородского Софийского синодика XVI в. между прочим значится: «1541 г. шила *пелену* княгиня Анна Оболенская в дом св. Софии неизреченные премудрости Божия, к ней же пелена и приложена бысть. А за то поминати (княгиню) в сенанике и в литейном поминании в повседневном, докуда и храм св. Софии стоит, а из поминания не выгладити (не выскоблить имени) княгини Анны». «1543 г. шила златом и сребром *пелену* княгиня Ксения Шуйская в дом св. Софии, а приложена к Спасову образу. И как представится княгиня Ксения – поминати (ее) в сенанике и в литейном поминании и в повседневном, докуды и храм св. Софии стоит». 1543 г. та же княгиня Ксения шила *покров* десяти пядей образа Иоанна, архиепископа Новгородского – «златом и сребром и шолки различными цветы». И на праздник на святую Пасху положила на гробе чудотворца Иоанна во храме святого Иоанна Предтеча – за здравие князя Ивана Михаиловича (ее супруга), и за свое, и за своих благородных чад. А по преставлении князя Ивана и княгини Ксении поминати их во всенаники и в литеи во веки в церкви Святой Софии и в храме Святого Иоанна Предтеча, идее же лежат мощи Иоанна Новгородского»[2].

Выше (с. 339) мы упоминали, что первая царица Анастасия Романовых вышивала и украшала своими руками на плащанице образ Никиты Столпника – Переяславского чудотворца для положения на его раку в благодарность за его молебную помощь в чадородии. Само собою разумеется, что и последующие царицы по тем же или другим благочестивым поводам точно так же своими руками устраивали различные церковные утвари. Упомянуто выше (с. 347), что

[1] Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях, соч. архим. Макария. Ч. II. – С. 337.

[2] Временник Общества Истории и Древностей Российских. Кн. 24. – С. 40.

царица Евдокия Лукьяновна Стрешневых точно так же, как и царица Анастасия, своими руками и со своими дочерьми устроила богатый покров на раку чудотворцу Александру Свирскому. В Тихвинском Богородицком монастыре доселе сохраняются воздух и два покрова, данные ею в 1664 г.

При настоящей задаче нашего труда мы не имеем намерения да и возможности делать перечисление памятников, какие были совершены в разное время искусством вышиванья. Повторим только, что, несмотря на утраты, их много сохраняется и до сих пор, а в прежнее время их существовало великое множество, чему свидетелями могут служить все древние описи церквей и монастырей, в которых отдел церковной «круты», т. е. одежд разного наименования и назначения, шитых и саженных, или низанных жемчугом, всегда бывает столько же полон и богат, как и другие отделы храмовой утвари. На памятниках наиболее замечательных почти всегда вышивалась и летопись их сооружения, иногда даже с обозначением имен трудившихся. В Антониевом новгородском монастыре хранятся ризы (1654 г.), у которых «на оплечьи шиты золотом и серебром» с передней стороны образа Богородицы на престоле, восемьАпостолов и четыре новгородских чудотворца»; а с задней стороны – Спас и Богородица и Предтеча, т. е. деисус, и в летописи обозначено: «Шила Ростквина (?) Катерина Петрова»[1].

В сольвычегодском Благовещенском соборе сохраняется пелена к образу царевича Димитрия, шитая по малиновому атласу золотом, серебром и шелками, на которой изображены царевич во весь рост и событие его убиения, а в полях – святые и в углах – символы евангелистов. На задней стороне вышита летопись: «7163 (1654) года октября 19 совершена бысть сия пелена к образу святого благоверного царевича и великого князя Димитрия Московского и всея Русии чудотворца, что на посаде у Соли Вычегодской в цер-

[1] Археологические описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях, соч. архимандрита Макария. Ч. II. – С. 324.

ковь Благовещения Пресвятые Богородицы *по обещанию именитого человека Димитрия Андреевича Строганова, а труды и тщание сия пелены жемчугом жены его Димитрия Андреевича Анны Ивановны, а в лицах и в ризах и во всякой утвари труды инокини Марфы, по реклу Веселки*»[1].

Таким образом, и в царицыной Светлице главными и первыми самыми видными предметами золотого и шелкового вышиванья были различные церковные утвари, исполняемые точно также по обещанию или в ознаменование усердных молений и благодарений по случаю каких-либо домашних, семейных событий, домашних семейных отношений между царствующими супругами, за здравие живущих и на помин души умерших, так что сооружение таких памятников всегда олицетворяло в них внутреннюю задушевную историю благочестивой жизни царского Дома.

В разное время, смотря по требованиям и по назначению царицы или царевен, мастерицы изготовляли здесь следующие предметы церковной утвари: святительские шапки и саки (саккосы), омофоры, епитрахили, орари, оплечья ризные и стихарные, поручи; на церковные сосуды покровцы и воздухи, пелены и застенки к образам, убрусцы; хоругви, плащаницы, надгробные покровы и т. п.

Из домашних мирских вещей первое место в светличных золотошвейных рукоделиях принадлежало *вошвам*. Это были бархатные или атласные, вообще шелковые платы, о которых мы уже говорили (с. 638) и которые всегда роскошно расшивались узором, травами и разными изображениями; а потому из них же очень часто устраивали оплечья у священнических риз и у дьяконских стихарей, и их размер вполне был пригоден для такого употребления. Были в обычае богатые женские наряды, именно *причастные*, в которых причащались Св. Таин, и именно летники с богато шитыми вошвами жертвовали по смерти в церковь на ризы. По всему вероятию, эти-то *вошвы-платы*, вши-

[1] Сольвычегодская старина, рукопись В. Попова.

ваемые в оплечья риз, и возбудили мнение о неприличии такого дела еще в XII в. в известных «Вопросах» Кирика.

Из других частей старинного женского и мужского наряда мастерицы вышивали шапочные вершки, особенно у женских шапок, ожерелья или воротники, стоячие и отложные, запястья, женские башмачные и чеботные переды из бархата и атласа; вышивали также женские и мужские сорочки, фаты и особенно много изготовляли вышивных ширинок, фусток или платков, полотенец, убрусов, т. е. головных покровов. В государеву Мастерскую палату изготовляли так называемый *кречатий наряд* – убор ловчих птиц и для собственного употребления, и для посылки в дарах к турецкому султану в Царьград, в Кизылбаши к персидскому шаху и к европейским государям, особенно к английским королям. Этот убор состоял из вотолки, нагрудника, нахвостника, нагавок, шитых из атласа, и клобучка из бархата, которые частью вышивались золотом, а преимущественно низались жемчугом, а также из обнажей, должика, силец и задережек, которые украшались жемчужными низанными ворворками и кляпышками.

В золотное дело употреблялось волоченое золото и серебро, немецкое и отчасти турское, *сканое* и *пряденое* с шелком, а также золотая и серебряная нить разновидного изготовления, именно *канитель, трунцал* или *струнцал*, *картулит* или *картулен, картунел; бгань* или *гбань*и разные роды так называемых блесток: *звездки, пелепелы, плащики, чепочки* и т. п. Больше всего употреблялась канитель, и особенно немецкая, которая была *тонкая* и *толстая*, *гладкая* и *грановитая*, *красная*, собственно золотая, и *цветная* (разных цветов), а также *белая*, серебряная; трунцал также был *красный* золотой и *белый* серебряный, как и вообще словом «белый» обозначалось серебро в отличие от золота и золоченья.

Все эти предметы покупались в Серебряном ряду и у торговых немцев за золотник по 5 алт. Толстая канитель была дороже и покупалась по 6 алт. 4 ден.; в этой же цене

была канитель цветная. Трунцал, бгань и цепочки продавались также несколько дороже, по 5 алт. по 2 и по 4 ден. золотник. Волоченое или пряденое золото и серебро продавалось намотанное на цевки или катушки или же связаное кистями и весилось *литрами* (72 зол.) и цевками (6 золотн.), отчего и называлось литерным и цевочным; нитями в золотнике считалось 10 нитей, а в цевке 60.

В XVI столетии литра продавалась дешево по 4 $^{1}/_{2}$ руб. и дорого – по 6 руб. В XVII столетии дешевая цена была 10 руб. 80 коп. (по 15 коп. золотник), дорогая 14 руб. 40 коп. (по 20 коп. золотник). Та же самая цена стояла и на все другие изделия из золотой и серебряной нити, поименованные выше.

Так как волоченого золота и серебра и канители употреблялось много, а дома все это можно было приготовлять дешевле и выгоднее, то во Дворце еще в нач. XVII столетия было заведено канительное производство, были вызваны немцы, мастера и устроен канительный стан. В первой пол. XVII столетия находились при Дворце и в царицыну Мастерскую палату поставляли канитель и подобные предметы канительные мастеры Иван Баженов, 1614 г.; Мурза Гаврилов, 1614–1626 гг.; Фредрик Гурик и Курик, 1622–1632 гг.; Юрий Яковлев, волочильник, 1623–1630 гг.; Авраам Юрьев Каврик и Гарвин, 1628–1633 гг.; Ульян Ульянов, 1632–1636 гг.; Иван Буков, 1632–1633 гг.; француженин Иван Бостин, 1633 г.; Абрам Арфин, 1634–1637 гг. и др.

О способах и о самом производстве золотого шитья мы имеем мало сведений. По всему вероятию, многое из старинной техники этого дела сохраняется и теперь, у нынешних русских золотошвеек, особенно по украинным старинным городам. О способах шитья в XVII столетии встречается несколько указаний при описании шитых вещей. Так, обозначается шитье *гладью, высоким швом, высоким швом сканью, высоким швом со звездки, начеканное дело*, т. е. наподобие чеканной металлической работы; *наканительное дело*, спи-

ралью; шитье *в петлю, в большую петлю, в круги, в мелкие кружки, в цепки, в вязь, в клопец, в лом, в черенки, сканью, набором лапки.* Чаще встречается обозначение шитья *на-аксамитное дело* наподобие аксамита – особого рода парчи, в которой узоры, травы и разводы ткались или возвышенно перед полем, или фоном материи, или же наоборот: поле ткалось возвышенно, а разводы – углубленно, причем поле бывало золотное, а разводы – шелковые, или поле шелковое, а разводы – золотные. Золотое и шелковое шитье подражало этому способу ткани, почему и самый способ такого шитья определялся словом *аксамитит*, т. е. шить подобием аксамита. Таким же образом шитье подобием бархата обозначалось выражением: *бархатит*[1].

Нераздельно с золотошвейною работою стояло *низанье* или *саженье* жемчугом, который ценился по величине, окатности или скатности, особенной круглоте и по чистоте воды, т. е. по чистоте (лоску) и белизне зерна, вообще цена ему была «по зерну смотря», т. е. в высшей степени различна. «Память, почему знать купить разные всякие купеческие рухляди и товары» насчет жемчуга советует так: «Покупай жемчуг все белый да чистый, а желтого никак не купи: на Руси его никто не купит». Напротив, у восточных народов предпочитался жемчуг желтоватый, никогда не терявший своей воды, между тем как белый через несколько лет темнел и желтел.

Жемчуг зерновой окатной, чистый и белый покупался в XVI в. за зерно без малого в золотник весом по 8 руб. По этому расчету с некоторым понижением ценились зерна и меньшей величины, так что зерно в $^1/_6$ золотн. стоило рубль. Это был жемчуг «великий, большой». Жемчуг средний и мелкий, ссыпной и притом *рядовой*, т. е. обыкновенный, не отличавшийся особенною чистотою и окатностью, ценился также сообразно своей величине: 15 зерен в золотнике стоил 1 $^1/_2$ руб.; 30 зерен – 1 руб.; 50 зерен – полтина и т. д. Зубова-

1 Ср.: *Савваитов П.* Указ. соч. – С. 290.

тый, т. е. не гладкий, угольчатый, рогатый, но чистый, шел при гладком в полцены; а самый окатный или окатистый чистый при рядовом в две цены. *Зернятка*, очень мелкий, и *бутор*, лом, продавался еще дешевле.

Лучшим, а следовательно, и более дорогим почитался жемчуг *гурмыцкий*, или *бурмицкий, бурминский*, вывозимый из Ормуза или Гурмыза (страна, город и остров при Персидском заливе)[1]. Затем следовал жемчуг кафимский, вывозимый из Кафы (Феодосии). Много жемчугу привозили и с западной границы чрез Архангельск. Употреблялся также и русский жемчуг *варзужский*, добываемый в р. Варзуге (Архангельской губ. Кемского у.); он же, вероятно, в начале XVI столетия назывался *новогородским*.

Низали жемчугом *в снизку, в ряску, в рясную, рясою, в перье, в прядь, в одну, в две, в три пряди, в одно зерно, в шахмат, в рефидь, лесом, зелы*, т. е. в виде буквы зела, и т. п., вообще способ низанья обозначался фигурою узора или какого изображения.

Кроме жемчуга в украшенье золотого и серебряного шитья употреблялись и дорогие камни разных наименований, всегда для низанья просверленные; а также и простые камни из стеклянных сплавов, называемые *достоканами, варениками* и *смазнями*. В XVII столетии употреблялись в низанье камни *черные бирюзки*. *Пронизки* или бусы и *бисер* в работах царицыной Светлицы употреблялись редко, по той причине, что это был наряд небогатый. В соответствие камням шитье украшалось нередко и металлическими, золотыми и серебряными *дробницами*, т. е. дробными, мелкими чеканными или резными фигурами и *запонами* с каменьями или с финифтью.

Всякие изображения и узоры и надписи, назначаемые для вышиванья или низанья, прорисовывали по тка-

---

1 Город Гурмыз был центром южной азиатской торговли; о нем мавры говаривали: «Аще бы свет был перстнем, Ормузд был бы его каменеем. Там торгуют купцы всякого народу».

ни обыкновенно белилами или чернилами состоявшие при Светлице *знаменщики* или рисовальщики. В иных случаях рисунки изготовлялись и на бумаге, черченьем и прокалываньем. Мастерицы по рисунку выметывали очерк белью и затем расшивали шелками или золотом и серебром. В свое время для царицыной Светлицы много работал и знаменитый иконописец второй половины XVII столетия Симон Федоров Ушаков, состоявший сначала знаменщиком в Серебряной палате.

По штату при Светлице знаменщиков было двое. В 1620 г. знаменщиками золотных мастериц были Иван Некрасов, Иван Иванов, которые апреля 3 получили, вероятно, в награду за труды до 4 арш. сукна. Потом упоминаются Петр Ремезов (с 1625 г.), на место которого 1652 г. февраля 29 поступил Карп Тимофеев. Прося этого места, он писал в своей челобитной 12 генваря, что «при нем, Петре Ремезове, знаменил он многие *дела* в прибавку больши 10 лет, по иконному: святительские шапки, и саки, и амфоры, и патрахели, и улари, и ризные и стихарные оплечья и поручи; плащаницы и на церковные сосуды покровцы, и воздухи, и гробные покровы, и на пеленах святых отец деяние, и *столповые слова* около покровов, и воздухов, и пелен, и подписи; и всякое травное дело знаменит; а прежний-де знаменщик, Петр Ремезов, знаменил одно *травное дело*, а по иконному знаменить и *словописново дела* и подписей писать не умеет; а знаменивали прежде сего, по иконному, его (Карповы) братья, иконники, из корму, а давано им от того дела по 2 алт. по 2 ден. на день; а словописец-де был жалованной; а ему было денег 15 руб. да хлеба 20 чети ржи, овса то ж; и он, Карп, жалованьем перед своею братьею, иконниками, скорблен; и живучи у государева дела безпрестаня, оскудал и одолжал», почему и просил сравнять его с жалованными иконниками. Из этой челобитной видим, что светличные знаменщики знали только одно травное дело, а по-иконному рисовать не умели. Для иконного знаменья,

как увидим, призывались знаменщики – иконники из Серебряной и Оружейной палат. В кон. XVII столетия, 1660–1690 гг., светличными знаменщиками были Петр Симонов, Оника Онисифоров, Афанасий Резанцев, Григорий Лукьянов; писцами – Иван Ферапонтов, Дмитрий Третьяков.

Чтобы дать некоторое понятие вообще о рукодельной деятельности царицыной Светлицы, приводим несколько записок о *знаменных* делах, по которым исполняли свои работы мастерицы.

Само собою разумеется, что рукоделия царицыной Светличной палаты не ограничивались только этими первостепенными богатыми и роскошными работами, вышиваньем и низаньем. Мастерицы занимались также шелковым и золотным плетеньем, вязаньем, тканьем, сканьем (сученьем), изготовлением кистей, шнурков, поясков, тесемок и т. п. разными мелочными делами, не говоря уже о *белом деле*, о шитье белья и вообще о шитье всяких предметов, даже и кукол маленьким царевнам и царевичам и разного потешного их рукоделья.

Во второй пол. XVII столетия в Москве славились своими работами и Светлицы некоторых боярынь. Андрей Матвеев говорит, что окольничий Василий Волынский, человек гораздо посредственного смысла и легкомысленной совести и муж малограмотный, вошел у тогдашних временщиков в великое жалованье, а стало быть, проложил себе путь и к высшим местам по своему лицемерному похлебничеству, и «*супруги своей по всехвальному в Москве в те времена всякого золотом и серебром дорогого шитья в своем доме, гораздо знаменитых швей художеству*»; таким образом, «не по разуму своему, но токмо по той льстивой и стеклянной фортуне приобрел зело светлое благополучие. Ему был дан в управление даже Посольский приказ, а он это управление и политические дела столько остро знал, сколько медведь на органех играть»[1].

1 История о Невинном заточении боярина А. С. Матвеева. Изд. 2. – С. 388.

Супруга окольничего Василья Семеновича Волынского, Авдотья Яковлевна, между прочим, в 1762 г. работала в Патриаршем доме, низала *передник* на саккос да шила анфор – Страсти Господни. Августа 28 ей выдано на приклад, на шелк, и на трунцало, и на золото, и на всякие покупки к тому переднику и онфору 10 руб.

Другая знаменитая боярская светлица принадлежала боярыне Дарье Прохоровне Милославской, – жене боярина Ивана Богдановича Милославского, у которой иногда покупались разные вещи во дворец, в государевы хоромы.

Третья – не менее, если не более знаменитая то время светлица принадлежала жене стольника Ивана Васильевича Дашкова – Анне Алексеевне, представителем которой в сношениях с Патриаршим домом являлся сам стольник, принимал заказы, получал деньги на приклад и за работу, доставлял исполненные работы. В 1691 г. сентября 5 патриарх Адриан в награду за труды Дашковой благословил ее Богородичным образом в серебряном окладе «за ее мастерство, что у ней в дому строили патриарху амфор шит по серебряной объяри золотом и серебром и низан жемчугом с запаны алмазными и с каменьи». А домовых ее мастериц 12 чел. благословил по образу Богородичному без окладов. В 1690 г. мастерицы этой светлицы вышивали золотом два амфора патриарху; в 1691 г. вышивали и низали жемчугом *скрыжали* на новую патриаршую мантию.

Быть может, эта светлица унаследована от княгини Дарьи Ивановны Дашковой – жены князя Ивана Ивановича Дашкова, которая своими трудами и тщанием вышила в 1672 г. покров в новгородский Софийский собор на раку святого епископа Никиты Новгородского чудотворца и в 1673 г. – другой покров на раку святителя Иоанна чудотворца. Покровы сохраняются и доныне[1].

---

1 Протоиерей Петр Соловьев. Описание Новгородского Софийского собора. – С. 176.

Четвертая – не столь деятельная – светлица находилась у боярыни вдовы княгини Авдотьи Петровны Куракиной, у которой в 1690 г. низали жемчугом бархатные поручни патриарху, за что святейший благословил княгиню образом Соловецких чудотворцев в серебряном окладе.

Не говорим о девичьих монастырях, где золотошвейное искусство всегда процветало, особенно в Вознесенском, в котором в начале царствования Михаила сосредоточена была даже и вся дворцовая светличная работа, ибо там жила великая инока Марфа Ивановна – мать государя, управлявшая в первое время всем царицыным хозяйством двора.

Но и менее значительные монастыри также славились своими мастерицами.

Старица-золотошвея Варсонофьевского монастыря Домникия Волкова в 1631 г. делала патриарху к новому *саку*, который был прислан из Кизыл-Баш, 12 завязок с кистьми с ворворки да к омофору делала две кисти новых и старые поделывала, и источники жемчужные перенизывала. В 1642 г. она перенизывала Фатеевской сак (древний саккос митрополита Фотия) наново, и иные саки и амфоры починивала, и святительскую шапку перенизывала и получила за работу 5 руб.[1] В 1651 г. делала и обнизывала жемчугом святительскую шапку в Назарет назарейскому митрополиту Гаврилу.

В тверском Жолтиковом монастыре сохраняется покров на гроб чудотворца Арсения, шитый в 1600 г., как значится в надписи в Москве, игумениею Алексеевского монастыря Феогниею Огневых[2].

Надо упомянуть и о боярыне княгине Федоре Андреевне – жене князя Дмитрия Михаиловича Пожарского, которая, по всему вероятию, собственным шитьем обогащала ризницу суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, где

[1] Материалы для Истории Москвы. Ч. I. – С. 959, 960, 961, 964, 1018,1023, 1027, 1031.

[2] Историческое и статистическое описание Успенского Желтикова монастыря. – Тверь. 1852. – С. 36.

был погребен князь Дмитрий Михайлович. Там еще сохраняются ее даяния: две епитрахили и покров, данный ею в 1644 г. «по муже своем и по душе своей»[1].

В серпуховском Владычнем монастыре хранятся ризы, низанные жемчугом, устроенные в 1620 г. тщанием игумена с братиею и возобновленные уже в позднее время, в 1748 г. Рукодельницы к древней надписи прибавили и свои имена: «1748 году октября 30 дня низали си ризы города Серпухова девицы Пелагия Василиева, Анна Николаева, дочери Кишкины».

Само собою разумеется, что монастыри были наполнены такими рукодельницами, ибо туда поступали девицы и вдовы, уже искусные во всяких домашних рукоделиях, а золотое шитье, как мы говорили, всегда было необходимым и почти исключительным занятием женщин достаточного, а особенно знатного круга, для которого монастырь обыкновенно становился единственным приютом, как скоро по какой-либо причине до́лжно было оставить кров домашний.

Петрей, обозначая вообще положение русских женщин, говорит, что «в домашнем хозяйстве лучшие и знатнейшие женщины имеют мало значения: мужья содержат их как невольниц; они сидят взаперти в своих комнатах и обыкновенно шьют либо вышивают на полотне ширинки золотом, серебром и шелками; они очень искусны в этом деле и мастерицы вышивать по всякому узору, некоторые даже до того, что перещеголяют иных швей в шитье жемчугом, и *рукоделья их вывозятся в дальние краи*».

После этого обзора светличных работ необходимо упомянуть, что в наше время в Москве существует и пользуется заслуженною славою Археологическая светлица Натальи Леонидовны Шабельской, представившей в высокой степени замечательные работы шелкового вышиванья по древним образцам и вместе с тем – много и премного тру-

---

1 *Сахаров Л.* Историческое описание Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. – Владимир, 1876. – С. 94.

да положившей на подробное исследование и разъяснение всякого рода древних тканей относительно их техники и названий, как и самых способов древнего вышиванья. Эти многолетние исследования должны обогатить русскую археологическую науку совершенно новым и крайне любопытным отделом своеобразных древностей, доселе остающихся в непроглядной темноте.

Именем *белой казны* обозначался запас полотен и разных других льняных изделий, изготовляемых про царский обиход. Как в крестьянском быту льняное дело находилось исключительно в женских руках, так точно и в государевом дворце эта статья домашнего хозяйства принадлежала исключительно ведомству самой царицы. Здесь по обширности потребностей это дело было устроено в широких размерах. Изготовлением разных предметов белой казны занимались две большие городские слободы: в Москве – Кадашевская и в Твери – Константиновская (впоследствии переведенная в Москву), и два села Ярославского уезда Тихвинского стана – Брейтово и Черкасово. И слободы, и села назывались хамовными по имени главного производства, которым занимались, т. е. тканья полотен, что в собственном смысле и называлось *хамовным делом*. Нельзя полагать, что это слово *хам* идет от шведского *ham* (рубашка) и вообще от немецкого, следовательно с Запада. По всему вероятию, оно идет, быть может, вместе с производством еще из Индии, где *хаман* значит полотно бумажное белое, очень тонкое и частое, уподобляющееся голландскому. Оттуда вместе со многими индейскими тканями, например шидою (ситец), оно и привозилось в древнейшее время; а после, по его образцу, стали ткать его и у нас.

Полотна в царицыных слободах ткались двойные из двойной пряжи, гладкие и полосатые; тройные из тройной

пряжи, потолще, тоже гладкие и полосатые; тверские, тоже тройные, составлявшие третий сорт, похуже первых двух. Затем скатерти или скатертные столбцы – задейчатые, посольские, большие, средние и малые, тверские, хлопчатые; убрусы или полки убрусные; утиральники, полотенца, и, кроме того, изготовлялись нити и бель.

Производством занимались хамовники (ткачи) и деловицы: ткальи, пряльи, бральи, швеи, задельницы, бельницы или беляницы и бердники. Работа была распределена между ними на годовые уроки. Каждый урок назывался *делом*: дело ткалейное, дело прядитье, дело бралейное, швейное, беляное, бердяное. Объем дела уравнивался большею или меньшею трудностью изделья; хамовники работали *на дело*, т. е. в годовой урок по семи полотен тонких (двойных) и по семи полотен тверских (тройных), причем двойное полотно одно считали за 1 $^1/_2$ полотна тройных, и так счет держали между собою при раскладке дел по общему тяглу.

Мастерицы-ткальи работали на дело по шесть полотен двойных и по восемь тройных. Мерою в длину полотна ткались в 14 арш. Для полотен пряжу готовили для каждого сорта особые пряльи и ставили пряжи на дело в годовой урок для двойных полотен – два полотна, а для тройных – три полотна. Пряльи тверских полотен ставили пряжи на дело по восемь полотен тверских. Убрусы или убрусные полки и утиральнички готовили также бральи, пряльи и швеи. Бральи ставили на дело по 10 полочек, причем утиральничек бральи ставили *во бранье* за три полочки убрусных, следовательно, по работе он в три раза был труднее убрусов. Для того же дела пряльи ставили, т. е. пряли основки, называемые по особому качеству пряжи убрусными. На дело в годовой урок таких основок они пряли по 20. Швеи утиральничных и убрусных дел шили на дело по пять убрусов и утиральничек в шитье ставили по трудности работы за четыре убруса.

Так было в московской хамовной слободе Кадашове. В ярославских селах уроки убрусного дела немного отлича-

лись от московских. Там убрусы работали тонкие и двойные из двойной пряжи. Бральи брали таких убрусов по восемь на годовое дело; швеи шили тонких убрусов по пять, а двойных – по шесть на дело. Для двойных убрусов прядьи готовили пряжи в годовой урок по 24 убруса. Двойному полотну по делу равнялись 8 убрусов, а тройному – 12 убрусов.

Полотна скатертные или скатертные столбцы изготовлялись бральями, прядьями и бельницами. Эти столбцы также бывали двойные и тройные, мерою по 10 арш. Здесь, по особому способу работы, ткалей заменяли бральи, которые готовили на дело в годовой урок по два столбца двойных и тройных. Пряжу для них ставили особые прядьи, работавшие в годовое дело пряжи для двойных столбцов по два столбца; для тройных столбцов – по шесть столбцов; для хлопчатых скатертей – по восемь столбцов. Бель для тех же скатертных столбцов ставили прядьи-беляницы: для двойных столбцов – по четыре столбца; для тройных – по восемь столбцов. Двойные столбцы назывались также задейчатыми. Прядьи этих задейчатых скатертей работали пряжи на дело по 10 основок и по 10 утков. Так называемых посольских скатертей, украшаемых кроме бранья еще и шитьем, изготовлялось всего два столбца в год, на что требовалось бралейных 4 $^{1}/_{2}$ дела, а швейных – 9 дел.

Обыкновенно каждый скатертный столбец, т. е. полдела, работала одна бралья, одна прядья пряла основки и утки, и одна беляница давала бель. Но иногда два столбца работали три бральи, три прядьи и две беляницы.

Узоры, которые выбирались на скатертях, известны следующие: 1) ключатик, 2) ореховая развода по два олене в гнезде, 3) ореховая развода по оленю в гнезде, 4) лоси под деревом, 5 полтинки, 6) петухи, 7) немецкое колесо, 8) чешуйки, 9) листочки, 10) месяцы, 11) деревье, 12) осмерног в двазубь, 13) осмерног в тризубь, 14) бараньи рога, 15) безконечник, 16) кривоног, 17) красная развода, 18) караваи,

19) гусиная плоть – узор, наиболее употребительный для расхожих скатертей, и др.

Годовой урок нитной пряжи для нитей расхожих, а равно и белевой, измерялся мерою полотна, т. е. количеством пряжи, какое ставилось на целое полотно. На годовое дело нитные пряльи ставили нитей по шесть полотен. Кроме того, дело нитное и белевое измерялось также мотами или пятинками. Бели целое дело заключало в себе 24 мота, а столбцами – восемь столбцов, ибо столбец считался за три мота.

Бердники в целое годовое дело изготовляли берд на 100 дел различной белой казны, ткалейных, бралейных, прядитьих.

На покупку необходимых для производства работы припасов – на лен, мыло, золу, на ничаницы (тонкие веревки) и окончины для окон – выдавалось из царицыной казны денежное жалованье, смотря по делу. В ярославских селах пряльи получали в год на дело 47 алт. 4 ден.; ткальи – 23 алт. 2 ден.; бральи убрусов – 23 алт. 2 ден.; бральи скатертей – 46 алт. 4 ден.; швеи – 35 алт. 3 ден.; бердники на лен на перевой – 46 алт. 4 ден. В Кадашевской слободе хамовники и бердники – по 30 алт., деловицы все кругом – по 17 алт.

Кроме того, выдавалось еще хлебное жалованье также по размеру дела. На целое дело шло в Кадашове в 1631 г. по 10 четвертей без полуосмины ржи и по 7 четвертей без полуосмины овса. В ярославских селах в 1670 г. по 10 четвертей с осьминою ржи и по 6 четвертей овса. В тверской Константиновской слободе в 1659 г. – 9 и 6 четвертей ржи, 10 четвертей с осминою и 7 четвертей с осминою овса и на квасы по четверику овса.

Каждая хамовная слобода и ярославские села были обложены известным количеством дел соответственно количеству земли, занимаемой дворами и для посева льна, а также и полевой в селах, отделяемой тоже для посева льна. Мера *деловой* дворовой земли называлась дворовою *загородкою* и равнялась, кажется, 200 квадратных саженей. К этому в селах

на дело назначалось для посева льна полевой земли по два *четвертачка* или по полудесятине в поле, а в дву по тому ж.

В Кадашове окладных дел было 189 с полуделом (1624–1644 гг.), занимавших в слободе 413 дворов да пустых мест целых 7 дел. В тверской Константиновской слободе в 1631 г. – 29 дел; в 1659 г. – 28 дел, а в 1682 г. на 60 дворах – 37 дел без чети. В селах Брейтове и Черкасове в 1625 г. – 154 дела без 12 доли дела. В 1638 г. – 175 $^1/_2$ дел и пол-пол-трети дела; а в 1670 г. на 248 дворах – 200 дел с третью. Та же цифра оставалась здесь и до последних годов XVII столетия (1696 г.), хотя число дворов к этому времени увеличилось до 300. Таким образом, из этих указаний о числе дворов и числе дел мы видим, что жилой двор вовсе не был мерою целого дела.

Царицына Мастерская палата назначала в слободы и села только общее количество окладных дел и не входила в подробности распределения этих окладов между хамовниками и деловицами. Слободы и села сами уже разверстывали оклады по дворам и по людям, смотря по тому, кто и какою долею общего земляного надела пользовался и какую долю хамовного дела работал. В этом случае хамовному населению была предоставлена полная свобода. Из окладных дел всякий брал себе то, что умел сработать. Каждое дело при разверстке дробилось не только на половины и четверти, но даже и на осмухи, и двор-семья мог сидеть и на полуторе деле, и на целом деле, и на трех четвертях, и на половине, и на четверти дела, и к тому еще даже и эту величину мог составлять из мелких долей различных дел, смотря по тому, кто что умел в семье работать. Так, бывали дворы или семьи, работавшие, например, полдела с осмухою или пять осмушек: 3 осмушки дела прядитья двойных полотен, осмуха дела прядитья тройных полотен, осмуха прядитья двойных убрусов. Или: двор – на три осмухи прядет полотно двойное без четверти, да на осмуху прядет полполотна без осмухи тройных, да на осмуху прядет два убруса с четвертью двойных убрусов. Или

двор – три чети дела: полдела ткалейна тройных полотен да четь прядитья двойных полотен; двор – целое дело: полдела прядитья тройных полотен, четь прядитья двойных полотен, четь швейная тонких убрусов; двор – целое дело: полдела прядитья тонких убрусов, четь прядитья тройных полотен, четь бралейна двойных столбцов. Таким образом каждый член семьи из женского племени избирал себе бóльшую или меньшую долю того или другого дела и работал эту долю на годовой урок. Иной брал четь шитья убрусную и шил убрус с четью, ибо на целое дело шитья убрусного шло 5 убрусов; иной брал половину дела бралейную столбешную (двойных столбцов) и брал столбец, ибо на целое дело шло 2 столбца; иной – четь ткалейную двойных полотен и ткал 1 $^{1}/_{2}$ полотна; иной – осмуху дела прядитья двойных полотен и прял четь полотна; иной – четь дела беляную и прял бели на столбец двойной или шесть мотов и т. д. По таким дробям распределялось и денежное, и хлебное жалованье.

В ярославских селах в 1670–1696 гг. 200 $^{1}/_{3}$ дел были распределены следующим образом: двойных полотен ткалей – 18 $^{1}/_{3}$ дел; прядитьих – 54 $^{1}/_{2}$ дела. Тройных полотен ткалей – 18 дел, прялей – 48 дел. Тонких убрусов бралей – 5 дел, прялей – пол-5 дела; швей – пол-8 дела. Двойных убрусов бралей – пол-2 дела, прялей – полдела, швей – 2 дела. Двойных скатертных столбцов бралей 8 дел, прялей – 8 дел, беляниц прялей – 4 дела. Тройных скатертных столбцов бралей – 12 дел, прялей основкам и уткам – 4 дела, беляниц прялей – 4 дела. Бердных – 2 дела. Всего в годовой урок готовилось: двойных полотен – 108, по 14 арш. длины, да полотно убрусное полосатое; тройных – 144; тонких убрусов – 38; двойных убрусов – 12; скатертных столбцов двойных – 16, мерою по 10 арш.; тройных – 24 столбца (22 столбца да за 2 столбца: 2 полотна нитяные по образцу, тонкое да ровное; да 20 мотов нитей тонких и ровных в пятинку, по образцу). Денежного жалованья на все дела выдавалось в год 251 руб. 24 алт. 5 ден.

Нам неизвестно время первоначального заведения хамовных слобод и сел. Знаем только, что московские слободы существовали уже в половине XVI столетия, именно за Москвою-рекою, где в Кадашове в это время царем Иваном Васильевичем была построена церковь Козмы и Дамьяна, которая и содержалась на государевой руге. В той же местности царица Анастасия Романовна устроила еще слободу *белильную*, которая по церкви именовалась Екатерининскою (теперь церковь св. Екатерины на Ордынке), и поставляла в царицыну казну белевую пряжу. Впоследствии эта слобода принадлежала царице Ирине Федоровне, а после Московской разрухи (в Смутное время) снова была устроена по приказу иноки Марфы Ивановны в 1626 г. со льготою на три года, из вольных охочих людей.

Но, вероятно, мысль об устройстве новой слободы была оставлена, ибо через год, в 1627 г., Екатерининская слобода поступила из ведомства царицына Постельного приказа в Земский приказ, т. е. в число черных слобод. Вероятно также, что взамен новой слободы была в это время переведена в Москву из Твери хамовная тверская Константиновская слобода, поселенная тоже за Москвою-рекою. В 1635 г. эта Константиновская слобода называется еще *новою*. Нет сомнения, что теперешнее урочище Хамовники (церковь Николы в Хамовниках), где также была хамовная слобода, упом. с 1624 г., принадлежит к первым хамовным поселениям Москвы.

В 1643 г. царица Евдокия Лукьяновна устроила под с. Рубцовым–Покровским новую хамовную слободу, Введенскую, с церковью Введения, которая была заложена 14 сентября 1643 г. и освящена 17 ноября[1].

[1] Впоследствии слобода Семеновская с урочищем Введенские горы. В расходной книге царицыной Мастерской палаты 152 г., между прочим, записано: сентября 14, как окладывали церковь Введения Пречистые Богородицы в новой хамовной слободе и по приказу государыни царицы Евдокии Лукьяновны, идучи с окладу, нищим и всяким бедным людем дано милостыни 15 алт. 2 ден. Ноября 17, как государыня царица пошла в Рубцовский объезд и с Москвы дорогою идучи и на освящение церкви Введения Пречистой Богородицы нищим и всяким бедным людем милостыни 42 алт.

Хамовные слободы хотя и находились в ведомстве Постельного приказа цариц и были подсудны только этому приказу, но во внутренних своих делах управлялись по старым обычаям собственными выборными людьми, мирским сходом или советом и старостою с целовальниками и десятскими, которые все выбирались обыкновенно на год. Эти служащие лица утверждались в своих должностях особою записью, *выбором*, где прописывались и обоюдные обязанности. В Кадашевской Хамовной слободе в конце XVII столетия по случаю большого населения (больше 2000 дворов) выбирали 2 старост, 4 целовальников, 16 десятских и дьячка (писаря). Выбиравшие писали: «И быть им старостам на Хамовном дворе и за нашими мирскими делами ходить неоплошно и об наших мирских делех радеть и о чем доведется бить челем великому государю; а нам их всею слободою слушать и в челобитье их не подавать и по их присылке на Хамовной двор на *совет* приходить без ослушания и не огуряться…». В ярославских селах в выборных службах бывали староста, три целовальника, два земских дьяка, два доводчика.

Центральною местностью слободы в деловом отношении был Хамовный двор, на котором находилось несколько хамовных изб, просторных и светлых, с большими окнами, для производства различных работ – ткалейных, бралейных и швейных. Сюда-то и собирались каждый рабочий день хамовники и деловицы, садились за станы, ткали полотна, брали скатерти и убрусы и шили в пяльцах. По дворам они работали только не очень сложные дела, особенно пряжные или прядитьи, и вообще такие, которые не требовали обширного помещения.

В Кадашевской слободе на Хамовном же дворе жила в особом помещении кадашевская приказная боярыня и стоял особый амбар с хамовною всякою казною, где хранился лен нечесаный, очесаный кужель, чески и т. п., также берда простые и берда с набилками, что берут посольские скатерти, берда наметочные полотенные, утиральничные,

убрусные, нитные и пр. На том же дворе находилась и слободская *схожая* изба, в которой слобожане собирались на мирские советы.

В 1658–1662 гг. Кадашевский хамовный двор был построен каменный. Когда по царскому указу приступали к постройке деловых палат, то прежде всего опросили приказную боярыню Татьяну Шилову, всех деловых хамовников и мастериц, какие именно палаты, какой величины и какого устройства будут надобны, чтобы делать в них всякое хамовное дело. Те объяснили, что надобны четыре палаты поземные, а промеж их сени, а мерою длиннику 21 саж., поперек 5 саж.; а против тех палат другие таковы ж мерою.

Около двора выстроена каменная ограда кругом на 157 саж., в вышину от белокаменного фундамента в 2 саж.; с двумя воротами большими и малыми, шириною пол-5 саж.; вверх до орла 6 саж.; и с четырьмя наугольниками круглыми (род башен) вышиною от ограды до яблока в 1 $^{1}/_{2}$ саж. Деловых палат выстроено две больших в длину внутри каждая по 85 саж., шириною внутри по 4 $^{3}/_{4}$ саж., со сводами пазушными вышиною 2 саж. с лишком и каждая с 20 окнами в свету по 1 $^{1}/_{2}$ арш. длины и по 1 арш. ширины. Меж ними сени шириною 2 $^{1}/_{2}$ саж. с рундуком; а во втором ярусе палата над сенями с 6 окнами и две палаты по сторонам того же размера и с тем же количеством окон, как в нижних палатах. Всход был сделан с рундука лестницею в 17 ступеней.

В палатах было построено пять печей, четыре белых, а пятая – *киевская мурамленая*. Кроме того, подле хамовного двора огорожен решеткою *беленной* двор для беленья полотен в длину 34, а поперек – 16 саж., с решетчатыми же воротами, а на меже беленного и хамовного дворов вырыт колодезь. Впоследствии при Петре из этого хамовного двора устроен Суконный двор, сохранивший и доселе свое имя в так называемых суконных банях, между Большим и Малым каменными мостами.

Кадашевская хамовная слобода, пользуясь большими льготами в торговых промыслах, была едва ли не самая богатая слобода в Москве. Из ее жителей всегда пополнялась и Гостиная сотня. Однако ж для того, чтобы хамовное дело стояло всегда вполне и не расстраивалось от выхода из слободы деловиц, было крепко заказано (особенно с 1670 г. октября 25), чтоб кадашевцы дочерей своих и племянниц и внучат, не бив челом государю, за слободу и в Кадашево инослободцев и гулящих людей замуж отнюдь не выдавали и в домы не принимали.

Управлявшая хамовным делом слободы Кадашевская боярыня заботилась главным образом о том, чтобы белая казна во всех своих видах работалась как возможно лучше, чище, отчетливее. Когда она доставляла царице казну в наиболее исправном виде, то обыкновенно получала в награду портище сукна на опашень. Точно так же хамовники и деловицы, особенно отличавшиеся в искусстве своего рукоделья, тоже получали от царицы награду, а их рукоделье посылалось на хамовный двор как образец для работы с приказом делать точь-в-точь по такому образцу. Время от времени являлись большие искусники в том или другом роде хамовного рукоделья. В 1692 г. великим государям Иоанну и Петру бил челом *сиделой* хамовник ткач Авдюшка Епифанов и писал между прочим: «Работаю вам, государям, лет с 15, и рукодельишко мое вам, государям, годилось, и в образцах с Верху на хамовной двор сходило, чтоб точь моей руки было, слово в слово; и моей руки в точи ни у кого не прибрали, только прибрали в точи моей же руки работу».

В ярославских селах Брейтове и Черкасове хамовный двор назывался *Семеренным* двором от семеренных изб, в которых производилось хамовное дело, сидели мастерицы. Семернею именовалась изба или хоромина 7 саж. длиною, со светлыми по обеим стенам окнами – постройка, именно по своей длине необходимая для ткацкого дела. Мы виде-

ли, что в Кадашове палаты имели каждая 8 $^1/_2$ саж. длины и по 10 окон в стенах. Подобным образом устроены были и семерни, т. е. помещения деревянные. В селах хамовным делом и хамовниками заведовал приказчик, назначаемый от царицыной Мастерской палаты. Двор его стоял подле семеренного двора. Сельчане же между собою управлялись и разверстывали хамовное дело своими выборными людьми, мирским сходом. На ответственности приказчика, старост и целовальников лежала исправная доставка белой казны в Москву, в Приказ царицыной Мастерской палаты, куда казну отвозили старосты с целовальниками и сдавали ее в коробьях за своею печатью. Когда на Семеренном дворе *новую* казну в дело заводили (каждогодно в начале февраля, 9 числа, иногда в начале апреля), то в семеренных избах попы всегда пели молебны Спасу, Богородице и Ивану Предтече и воду святили. Изготовление казны оканчивалось в конце ноября, и когда ее укладывали в коробьи, декабря 1 или 10, чтобы везти в Москву, то попы также пели молебен Рождеству Богородицы, Иоанну Предтече, Алексею Человеку Божию, за что причту на весь собор вообще давалось в первом случае 6 алт. 4 ден., а во втором – 4 алт. 2 ден. и к образам свеч восковых ставилось на 6 ден.

О населенности этих сел переписные книги свидетельствуют, что в 1669 г. в Брейтове находилось жилых дворов 159, людей в них 910 чел.; в Черкасове – 89 дворов, людей в них 490 чел. В 1671 г. мая 20, по случаю целованья креста новой царице Наталье Кирилловне в Брейтове и на посадах, на Заруцком и на Воронецком, хамовников и братьи их и племенников и детей и внучат было 233 чел. мужского пола и хамовниц и девиц 234 чел. В Черкасове мужского – 134 чел., женского – 135 чел.; и обоего – 736 чел.

СОДЕРЖАНИЕ

Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 14 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 110 томов).

Редактор Л. А. Попенова
Корректор А. А. Полякова
Компьютерная верстка Е. Е. Поляков
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 27.07.2013 г. Формат 84 x 108 $^{1}/_{32}$.
Гарнитура «Times». Объем 32,4 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация *(вышел)*
Русское Православие в трех томах *(вышли)*
Русское государство *(вышел)*
Русский патриотизм *(вышел)*
Русское мировоззрение *(вышел)*
Русский образ жизни *(вышел)*
Русская география
Русское хозяйство *(вышел)*
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература *(вышел)*
Русская икона и религиозная живопись в двух томах *(вышли)*
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.

Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.

Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.

Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПЛАТОНОВ О. А. СОБРАНИЕ ТРУДОВ В 6 ТОМАХ

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.